

- Евгений Федоров
 - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7

- [8](#)
- [9](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)

- [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)
-

Евгений Федоров

ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Никита Акинфиевич Демидов — могущественный владетель Нижнетагильского, Кыштымского, Каспийского и многих других уральских заводов — находился в зените своей славы и богатства. Царствующая императрица Екатерина Алексеевна не оставляла заводчика своим вниманием. Обладая несметными богатствами и недюжинным умом, уральский магнат играл роль просвещенного вельможи. Подражая своей покровительнице-государыне, он вел переписку с французским философом-энциклопедистом Вольтером на вольнолюбивые темы.

В этот памятный теплый летний день Никита Акинфиевич, грузно развалившись в кресле на широкой террасе своего нижнетагильского дворца, писал очередное письмо пребывающему в изгнании фернейскому мудрецу. С террасы открывался безбрежный зеркальный пруд с островками, покрытыми яркой зеленью тенистых дубрав, приятных освежающей прохладой. Леса, просторы, гребни Уральских гор — все вдали покрывала легкая сиреневая дымка. На лоне светлых вод под жарким полуденным солнцем плавал большой, сверкающий нежной белизной лебедь. Где-то на островке неожиданно раздался выстрел. Встревоженный лебедь приподнялся над водой и замахал широкими серебряными крыльями. Среди брызг пены он шумно, на весь пруд, как мифический Пегас, быстро-быстро побежал по воде, наконец поднялся, сделал плавный круг и потянул вдаль, роняя звонкие клики. Он поднимался все выше и выше и, как чудесное видение, вскоре растаял на фоне пухлого облака. А над прудом все еще звенели, угасая, его стонущие крики.

«Эх, подлецы, напугали птицу!» — недовольно поморщился Никита Акинфиевич и прислушался к заводским глухим звукам.

От пруда веяло живительной прохладой, над просторами вод, поблескивая крылышками, летали стремительные стрекозы. День был напоен солнцем. Поблизости, на садовой дорожке, дрались неугомонные воробьи. На дубовом паркетном полу колебались ажурные тени, падающие от густого хмеля, укрывшего террасу. Без парика, но в атласном голубом камзоле, седеющий Демидов склонился над письмом:

«Просвещеннейший учитель, — медленно, с тяжелой одышкой писал он, — все дни мои занимают мысли о человеческом достоинстве и свободе человеческой личности. Из священных писаний и токмо из отеческих преданий поведано, что человек создан по образу и подобию божьему. Не токмо великие вельможи, но и крепостной раб имеют равную душу, и потому...»

Никита Акинфиевич вздрогнул: кто-то осторожно позади кашлянул и обеспокоил хозяина. Заводчик отложил перо и взволнованно оглянулся. У двери стоял приказчик Селезень. Он давно уже тихо пробрался на террасу и, стоя за креслом хозяина, зорко следил за каждым его движением. В пронзительных, мрачных глазах приказчика была тревога. Когда-то бравый Селезень, проворный и видный молодец с цыганским лицом, теперь подсох, ссутулился, поседел. В этом былом красавце угасало все, но с годами он стал еще злее и рачительнее к демидовскому добру.

— Ты что? — встревоженно взглянул на приказчика Никита Акинфиевич. — Что тебе надобно?

Селезень переминался, поскрипывая сапогами, не решаясь что-то сказать хозяину.

— Говори, холоп, что стряслось? — грозно насупился Демидов.

— Плавку передержал мастерко Иванко; все порушилось, — сдержанно вымолвил Селезень.

— Черт! — вспыхнул и налился багровостью хозяин. — Что же он думал, пес? Наше добро переводить осмелился, лукавый!..

Тяжелой поступью Демидов прошелся по паркету. Дышал он прерывисто, с посвистом. Лицо стало сизым от прилива крови, по жилам так и расходилась злость. Никита Акинфиевич не сдержался, поднял большие кулаки и, наступая на приказчика, зарычал:

— Забить подлого за такое дело! Забить! Положить на горячую плиту и хлестать плетями. Пусть знают холопы, как надо беречь хозяйское Добро!

Он хрипел, отдувался, каждая жилка в его большом дряблом теле трепетала от раздражения. Почувяв сильную грозу, Селезень учтиво поклонился и, скрываясь за дверью, выкрикнул:

— Постараюсь, хозяин!

Приказчик исчез так же быстро и неслышно, как и появился.

Демидов знал, что приказ его выполнят точно и безжалостно, но мысль об этом не принесла успокоения. Еще с утра его томила тяжелая тоска, кружилась голова и что-то давило на темя, покрытое реденькими седыми волосами. Раздражительность все больше овладевала им. Шаркая ногами, он утомленно заходил по террасе. Серые мешки под его глазами набухли, прорезались сетью глубоких морщин. Он смотрел на серебристый пруд и огорченно думал:

«Ох, горе! Как быстротечна жизнь, словно талые воды! Красота — и та меркнет от неумолимого времени! Неужели пришла старость?»

Цепкими сухими пальцами он схватился за балясины перил и жадно задышал свежим прудовым воздухом. Однако ни свежесть, ни сияние радостного летнего дня не могли успокоить дряхлеющее тело. Все продолжало клокотать в нем. Никита Акинфиевич пытался овладеть собой, но не смог погасить вредное волнение.

Сколько прошло времени, он не помнил. Ему казалось, пролетела вечность. Напряжение, которое держало его тело и мозг, достигло невероятной силы. Он возбужденно поглядывал на дверь, прислушивался к звукам на дворе, но кругом было тихо.

«Что же так долго не слышно крика? Почему не возвращается Селезень?» — обеспокоенно подумал Демидов.

Тусклые глаза его скользнули вдоль аллеи, убежавшей от террасы в глубину сада. Окаймленная цветущей сиренью, она манила прогуляться. Укрытые пышными душистыми гроздьями цветов, кусты казались лиловыми.

Старый, густолиственный, совершенно запущенный сад с тенистыми дорожками, с дремучими зарослями одичавшего кустарника, — сколько грустных воспоминаний навевает он сейчас! Вот прямо от ступенек террасы круглый бассейн, наполовину покрытый зеленой ряской. Подле воды, на низком гранитном пьедестале, белеет нестареющая статуя козлоногого сатира. Сколько в нем дикости, силы и страстности! Он стоит, скрестив на косматой, с выдающимися ключицами, груди худые руки. Большой жадный рот с толстыми чувственными губами искривлен от желаний, а выпуклые, навывкате глаза нагло и дерзко смеются.

Да, когда-то в этом парке проходила иная жизнь, и тогда он, Демидов, был молодой и сильный. А сейчас он очень походил на покойного дядюшку Никиту Никитича! Тот же злой, волчий взгляд,

высокомерная брезгливость к окружающим и такая же прорва жестокости.

Никита Акинфиевич, опираясь на суковатую палку, спустился к бассейну. Повеяло прохладой, легкий ветерок рябил тихую воду, и в ней, в зеленой глубине, сверкало отражение сатира. Оно слегка покачивалось на воде, и Демидову казалось, что живот и грудь козлоногого дрожали от беззвучного смеха. Никите стало не по себе, и он обеспокоенно оглянулся на статую.

«Но что же так долго не идет Селезень?» — недовольно нахмурился он и нетерпеливо захлопал в ладоши.

— Эй, кто там есть, холопы! — пробасил он хриплым голосом, и глухой рокот покатился к хоромам.

По его зову на веранде вновь появился приказчик. Избегая встретиться взглядом с Никитой Акинфиевичем, он смущенно потупился, молчал.

— Ну? — строго спросил Демидов. — Отхлестали? Молчком, что ли, отошел в лоно Авраамово?

Селезень поднял на хозяина потемневшие глаза.

— Сбег! — коротко сказал он.

— Как сбег? — выпучил глаза от изумления Никита Акинфиевич. — Не может быть! — Он крепко сжал толстую палку и пошел на приказчика. Лицо хозяина искривилось от злобы, толстые багровые щеки, похожие на окорока, тряслись.

— Побойтесь бога, Никита Акинфиевич! — покорно взмолился Селезень. — Да нешто я виноват в сем деле?

Взор Демидова внезапно упал на мраморного циника, руки которого по-прежнему были скрещены на груди сильным движением, а губы кривились от наглости и презрения. Демидов повернулся к бассейну, и на его колеблющейся поверхности он увидел, как могучее тело сатира — его худые выдающиеся ребра и тощие бока — дрожало от злорадного хохота. Никита взбесился, размашистым сильным движением бросился к статуе, опрокинул ее на землю и стал колотить палкой.

Голова сатира, упавшего на каменный край водоема, с дребезгом откатилась к ногам обезумевшего заводчика. Белыми искрами сыпались куски мрамора в зеленую глубину пруда и на платье Никиты.

— Над кем смеешься? Над кем? — в ярости кричал Демидов, и вдруг внезапная страшная судорога прошла по лицу. Он странно обмяк, бессильно выпустил палку и, словно подкошенный невидимой силой, упал на обломки и протяжно простонал:

— А-а-а...

— Батюшки, да что же это такое? — в отчаянии вскрикнул приказчик и бросился к Демидову. Лицо хозяина стало бледнее полотна, расширенные зрачки застыли, на дряблых слюнявых губах пузырилась пена.

— Люди, с хозяином худо! — вбежав на террасу, на все хоромы истошно закричал перепуганный приказчик. Он быстро вернулся и обнял Никиту Акинфиевича за плечи. — Батюшка, что с вами? Очнитесь! — упрашивал он Демидова. А тот, упав лицом на холодный изуродованный мрамор, хрипел.

На испуганный крик приказчика отозвались многочисленные голоса: со всех концов дворца сбегалась дворня. Толкаясь, дворовые спешили выбраться на террасу. Прибежал с лейкой в руке старичок садовник, за ним приковылял домашний лекарь — сухонький, тщедушный немчик Карл Карлович. Поблескивая большими сползающими на красноватый нос очками, он суетливо растолкал дворню и схватил хозяина за обвислую руку.

— Это есть апоплектична удар! — с ученой важностью вымолвил лекарь. — Надо живо в постель!

Еще больше огрузневшего Никиту с натугой отволокли в просторный светлый кабинет и положили на широкий ковровый диван. Селезень проворно разоблачил Демидова. Набежавшая дворня, толпясь, с любопытством молчаливо рассматривала поверженного внезапной хворостью заводчика. Их волновали и страх и радость. Могучий и грозный хозяин, который держал в своих руках огромные владения и заставлял трепетать вокруг себя все живое, вдруг разом сражен и стал беспомощен. И оттого, что грозный нижнетагильский властелин так сейчас беспомощен, радовалось сердце крепостных. Не одна пара глаз дворовых с плохо скрытой ненавистью смотрела на Демидова.

— Уйди прочь! Уйди сейчас! — суматошно замахал руками лекарь на дворню. — Нужна пускать кровь!

Он прокричал что-то черноглазой горничной девке, и та, мелькнув крепкими пятками, унеслась из кабинета. Селезень выгнал дворовых, закрыл за ними массивную дверь. Никита Акинфиевич лежал скрюченный и безмолвный. Приказчик пытливо посмотрел на лекаря.

«Неужто помрет хозяин?» — спросил его встревоженный взгляд.

— Он будет жить! — важно сказал Карл Карлович и стал засучивать рукава. — Мы будем открывать кровь...

Словно перед устрашающей бурей, во всем обширном доме установилась глубокая, гнетущая тишина. Никита Акинфиевич незадолго до беды овдовел, дочь отвезли на воспитание в Санкт-Петербург к родственникам, и сейчас при отце оставался один сынок Николенька. Гувернантка, мисс Джесси, увела его в сад.

Лекарь пустил Демидову кровь. Густая, черная, она тяжелыми каплями с легким стуком падала в подставленный медный таз. Черноглазая горничная девка со страхом смотрела на стекающую кровь.

Три дня Никита Акинфиевич безмолвно лежал, отвернувшись к стене. Страшное оцепенение овладело не только его телом, но и душой: все вдруг стало безразличным. С назойливостью вспоминалось безнадежное изречение из книги пророчества Экклезиаста: суета сует и всяческая суета!

Осторожно, тихо слуги вынесли из кабинета лишнюю мебель, и стало больше простора. По приказу лекаря закрыли ставни, в комнате сгустился полумрак, и всюду запахло сыростью, лекарствами и неприятным застоявшимся воздухом, обычным в плохо проветриваемых помещениях.

На четвертый день Демидов пришел в себя, вызвал приказчика Селезню и долго пытливо смотрел на него.

— Что, небось холопы думали — умру? — В глазах больного вспыхнули злорадные огоньки. — погоди, я еще-встану. Жить буду!

Говорил хозяин уверенно, спокойно, и приказчик твердо уверовал, что Никита Акинфиевич и в самом деле скоро поднимется со своего скорбного ложа.

— Покличь сына! — властно приказал Селезню Демидов.

— Mein Gott!^[1] — потрясая руками, огорченно вскричал лекарь. — Мой добрый господин, что вы делаете? Вам нужна абсолютная покой...

— Ты погоди, не лезь! — рассудительно остановил его хозяин. — Хватит, еще належусь. Наследника хочу зреть. Зови! — кивнул он приказчику.

В эту самую пору в большом зале за круглым столом сидела англичанка Джесси, а подле нее вертелся на стуле неугомонный сынок Демидова Николенька. Крепкий, широкоплечий, с румянцем во всю щеку, пятнадцатилетний мальчуган нетерпеливо выслушивал нудные наставления гувернантки. Из его карих озорных глаз брызгал смех. Она сидела прямая и сухая, вытянувшись в струнку, с седеющими жиденькими волосиками, тщательно завитыми. Из-под рыжеватых бровей на Николеньку строго посматривали серые живые глаза в очках. Перед мисс Джесси лежала раскрытая книга, но она не смотрела в нее, а все говорила и говорила, медленно, тягуче и так скучно, как скучно и надоедливо моросит осенний дождик.

— Ты очень взбалмошенный мальчишка! Ты несколько не жалеешь отца! — укоряла она его. — Он очень болен, весьма болен. Это надо понимать!

Сухие губы мисс недовольно поморщились. Она вскинула на мальчугана серые глаза и продолжала свою бесконечную жвачку:

— Каждый человек всегда должен думать о своем здоровье. Я когда немножко болен, иду к Карлу Карловичу, прошу узнать, что это такое? Он говорил мне надевать мою теплую шубку, шарф, платок, хорошую обувь, и тогда я шла на солнце. Я вот так сидела целый день. Смотри! — Она молитвенно сложила на плоской груди руки и жадно задышала. — Это очень, весьма полезно для здоровья...

— Трах! — вдруг хлопнул кулаком по столу Николенька. — Убил! Мисс Джесси нервно вздрогнула, скривила тонкие губы.

— Ах, какая нечистота! — морщась, недовольно посмотрела она на озорника. — Так не может поступать благородный человек!

— Так это ж муха! Ха-ха, муха! — Молодой Демидов вскочил и запрыгал на паркете. Он кривлялся, размахивал руками, гримасничал, не замечая грустного выражения на лице оскорбленной мисс.

Косая полоска солнца упала в распахнутое окно дворца, золотой дорожкой протянулась по паркету и воспламенила густые кудреватые

волосы озорника, его круглое курносое лицо и большие оттопыренные уши.

— Ха-ха, муха! — кричал неистово Николенька, когда на пороге чинно появился приказчик Селезень.

— Вас зовут, Николай Никитич, — почтительно сказал приказчик шалуну и хмуро посмотрел на гувернантку. «Опять небось великовозрастному детине морочит голову, а у него на уме, поди, другое!» — недовольно подумал он.

Веселый, потный и румяный Николенька ворвался в комнату Никиты Акинфиевича.

— Батюшка! — радостно кинулся он к отцу. — Батюшка, милый, вы все еще лежите, а на дворе-то как хорошо!

Щеки мальчугана пылали. Каждая жилочка, каждый мускул в его резвом здоровом теле жаждали движений, игры. Желтое, поблекшее лицо Демидова озарилось доброй улыбкой.

— Все озорует, буян? — сказал он ласково.

— Ви будьте очень осторожна: господин есть болен! — строго предупредил лекарь, сдерживая пыл демидовского наследника.

Нахмутив круглый загорелый лоб, Николенька осторожно уселся на краешек дивана. Он поджал полные длинные ноги и выжидательно смотрел на отца. Демидов залюбовался сыном. Стройный, крепкий, с выпуклыми темными глазами, он многим напоминал Никите Акинфиевичу деда — тульского кузнеца.

— Хорош! Демидовская кость! — не утерпел и похвалил сына больной. На мальчугане были надеты короткие бархатные штаны и камзольчик коричневого цвета, плотно обтягивавший его крупное, слегка полное тело, на груди — белое кружевное жабо. «Настоящий барин, дворянин!» — с одобрением подумал Никита, и чело его омрачилось: «Жаль, не дожидала Александра Евтихиевна до сих дней. Полюбовалась бы детищем!» Он вздохнул и, построжав, сказал сыну:

— Видишь, немощен я стал. На сей раз по благодати бога выберусь из беды, но курносая все же не за горами сторожит меня. По всему видать, отгулял я свое, а у тебя на уме только шалости. Помни, сын, ты мой единственный наследник, и на тебя теперь все упования — не только мои, но и рода демидовского. Все, что не довелось завершить мне, сделаешь ты! Пора к делу ближе стать. Экий ты

великовозрастный стал, прямо жених! — с искренним любованием вырвалось из уст старика.

Он многозначительно замолчал, собираясь с мыслями. Николенька между тем егозил на диване; его нежный сыновний порыв давно уже остыл: затхлый воздух комнаты, лекарственные запахи были ему не по душе и гасили его шальную радость. Он недовольно, слегка брезгливо морщил нос, стараясь почтительно смотреть в глаза отцу.

— Вы что-то хотели сказать, батюшка? — нетерпеливо напомнил он больному.

— Да, да, сказать! — перебирая сухими скрюченными пальцами по голубому атласному одеялу, сказал Демидов. — Селезень, ты здесь? — повысил он голос и властно посмотрел на приказчика, ожидающе вытянувшегося у двери.

— Здесь, Никита Акинфиевич, и слушаю вас, — негромко отозвался Селезень. — Вам шибко говорить вредно!

— Подойди сюда поближе да слушай, холопья душа! — сурово сказал Демидов. — Сына моего и наследника настала пора приучать к делу. Отыщи разумного мастера, пусть пройдет с ним все доселе известное в нашем искусстве. Искони Демидовы знали добычу руд, плавку их, изготовление железа. Пусть и он, Николай Никитич, до всего доходит сам. Пора! А мисс Джесси пусть с годок поживет у нас в имении... Все... А ты можешь идти! — обратился он к сыну и одними глазами улыбнулся ему.

Николенька вскочил и вихрем вырвался из кабинета. Скользя по навощенному паркету, он пронесся по залу и через широко распахнутые двери выбежал на куртину. Там, подняв голову, стояла англичанка и восхищенно любовалась пухлыми облаками, величественно-медленно плывущими по синему-синему небу. Завидя шумного питомца, она закатила под лоб глаза и томно вздохнула:

— Ах, Николенька, давай будем любоваться природой! Мы будем сейчас немного благоразумны: вот хороший дорожка, и мы пойдем взад и вперед по ней, и будем глубоко дышать, и смотреть на облака и на вот эти цветочки, и думать о чудесный божий дар — природа!

Молодой Демидов скорчил постную гримасу, отмахнулся.

— Ну вас, мисс Джесси! — Он взвизгнул и резвым жеребенком побежал вокруг куртины.

— Странно, очень странно! — глядя ему вслед, укоризненно сказала англичанка. — Я никак не предполагала, что ты не любишь природу. Ты совсем равнодушен ко всему этому!

— Люблю! Люблю! Не равнодушен! — закричал весело Николенька. — Только вы мне надоели!

Зоркими глазами Николенька заметил на плотине рыжую девчонку, разбежался, подпрыгнул и с визгом одним махом пронесся через клумбу и помчался по дороге к пруду. В минуту он почти настиг рыжую, но, заметив барчонка, стройная и проворная дворовая быстро вильнула и скрылась в тальнике. Молодой Демидов следом за ней вломился в зеленую чащу.

Мисс Джесси долго смотрела на колеблющиеся тонкие вершинки тальника, потом огорченно вздохнула:

— Боже мой, что только будет с ним! В мальчике говорит плебейская кровь. Фи, с какими людьми он ведет знакомство! — Она презрительно передернула худыми плечами и, горделиво вскинув голову, пошла к террасе.

Николенька нисколько не унывал оттого, что с отцом случился удар. Только теперь, в дни болезни Никиты Акинфиевича, он почувствовал истинную свободу. Его порывистый, страстный и необузданный характер не знал границ, только один строгий и крутой на руку отец мог сдерживать его порывы. Сейчас эта преграда пала: батюшка второй месяц недвижимо лежал у себя на диване.

Совсем недавно Карл Карлович разрешил открывать ставни, и голубой летний день, смотревший в окна кабинета, бодрил Демидова. Его слух привычно ловил знакомое ритмичное дыхание завода. Изредка в окно доносились крики дворовых, а среди них выделялся резкий, буйный голосок сына, от которого у Никиты Акинфиевича теплело на душе. В эти часы душевного покоя он чувствовал, как в его огромное костистое тело вновь возвращается жизнь. И с постепенным приливом сил Демидов вспоминал давно минувшее: свою первую любовь — золотоголовую горячую полячку Юльку, горемычную Катерину, итальянку Аннушку и горькую судьбу Андрейки.

«Все, все отошло, словно в туман уплыло! — грустно думал он. — Много бед и крови... Ох!» — тяжело вздыхал он, беспокойно ворочаясь

на постели...

А в эти часы печальных отцовских раздумий сынок куролесил среди дворовых. Мисс Джесси оставалась в одиночестве и подолгу сидела у распахнутого окна своей горенки, в которой в давние годы томилась Юлька. Молодой Демидов бушевал в нижних хоромах. Однажды в послеобеденный час, когда грузно набившая утробы дворня вместе с приказчиком находилась в дремучем сне, Николенька прокрался к рыхлой, толстой стряпухе и густо вымазал ее лицо сажей. Только что пробудившийся от обуревавшего крепкого сна приказчик Селезень скричал подать квасу. Почесываясь, стряпуха вышла из каморки.

— Свят, свят, с нами бог! — оторопело пятясь к двери, закрестился приказчик. — Анчутка! — заорал он.

На крик набежали дворовые и со страхом пялили глаза на стряпуху.

— Да вы сдурели, что ли? — сердито сверкая белками глаз, закричала она.

— Господи боже, твоя воля, никак это голос Домахи? — все еще не веря своим глазам, ахали дворовые. Толстопятая горничная девка сбегала в барские покои и принесла серебряный поднос.

— Накось, взгляни на себя! — предложила она, подставив под круглое лицо стряпухи зеркальный металлический лист.

— Ахти, худо мне! — взглянув, вскрикнула стряпуха и стыдливо закрыла лицо передником. Она бросилась к рукомойнику, мылась, терлась и вся кипела от нахлынувшего гнева.

Через распахнутые окна кухни, в которой жаром дышала раскаленная печь, донеслись озорные крики молодого Демидова.

— Ах он, пакостник! Ах, бесстыдник! — вскричала баба и кинулась во двор, где шумели чем-то встревоженные куры.

Там, среди площадки, вертелся Николенька с зажатым между коленями пестроперым петухом и щипал из него перья. Сильный и злой певун не поддавался озорнику. Хрипя, дергаясь, он вырвался из разбойничьих рук Николеньки и не струсил, не убежал, а взлетел на спину своему тирану и стал клевать его в затылок. Втягивая голову в плечи, стараясь смахнуть с себя злобную птицу, молодой Демидов побежал по двору. Но прославленный по всему заводу бесстрашный петух-забияка так вцепился острыми шпорами в бархатный

камзольчик, и так сильно бил крыльями, и так упорно и больно продолжал долбить в спину, в плечи, в затылок, что Николеньке на самом деле стало страшно. Он не удержался и закричал на весь двор:

— Ка-ра-у-ул!

— Что? — ехидно ухмыльнулся в седую бороду Селезень. — Нашла коса на камень? Этот, братец, петух на весь петушиный народ разбойник! — Приказчик схватил метлу и бросился оборонять молодого Демидова.

Встрепанный, изрядно исцарапанный, но веселый, Николенька побежал по двору и залиvisto на ходу закукарекал.

— Это же непорядок, Николай Никитич, — степенно осудил задиру приказчик. — Петька победил, а вы оповещаете весь двор!

Но мальчуган не слышал увещеваний старого приказчика: он уже мчался через площадь к слободским избам, напрашиваясь на новую потеху.

— Слава тебе господи! — облегченно вздохнула стряпуха. — Хоть часик-другой даст дворовым роздых!

Однако Николенька не добежал до слободы, свернул к пожарке. Там, у наполненных водою бочек, дремал худой, сутулый дед, босой, в теплом гречушнике. Подле него в тени лежал разморенный жарой дряхлый козел. Демидовский сынок тенью скользнул мимо деда, подобрался к грязному, всклокоченному козлу и подвязал к его хвосту погремушку. И этим еще не удовлетворился озорник: птицей взлетел он по ступенькам скрипучей лесенки на каланчу и тревожно зазвонил в набатный колокол.

Дед очумело вскочил и выбежал из-под навеса. Протирая красные, слезящиеся глаза, взглянув вверх и узнав Николеньку, старик взмолился:

— Ну что наробил, баринок? Засекут теперь меня, старого, по наказу Никиты Акинфиевича.

Разбуженный пожарным сполохом, козел по привычке выбежал на площадь, и так как звон позади него не прекращался, он ошалело закружился на месте. Со всех сторон на тревогу сбегались поднятые работные и, не видя дыма, наперебой спрашивали друг друга:

— Что стряслось? Не отошел ли, часом, хозяин?

И тут перед каланчой, как всегда словно из-под земли, вырос вездесущий приказчик Селезень.

— Николай Никитич, пожалуйста домой! — закричал он, задрав бороду к вышке.

Молодой Демидов прекратил звонить, но сейчас его внимание привлекла чудесная панорама, которая развертывалась вокруг, по необъятному синему небу вереницей плыли пухлые облака, и легкая лебяжья стая их чудесно отражалась в нежно-аквамариновых водах пруда. За белым дворцом зеленой стеной стоял густой сад, а за ним, где-то далеко, на слободе лаяли псы. На самом солнцепеке, на песке у пруда, лежали заводские ребята; то и дело их бронзовые тела ласточкой бросались с высокого гребня плотины в темный омут. Ух, как хорошо! У Николеньки дух захватило от возбуждения. Только серебряные брызги, как искры, быстролетно мелькали на солнце. А над головой молодого Демидова, медленно шевеля распахнутыми крыльями, высоко в лазури парил орел. Мальчуган опустил глаза вниз. Там, поминутно подтягивая сползающие с костлявого тела портки из ряднины, дед-пожарник незлобиво грозил:

— Вихорь его возьми! Погоди, ужотка доберусь до тебя. Ишь лупоглазый, что натворил!..

Теплая летняя ночь; стояла пора звездопада. С гор дул мягкий ветер и порывами приносил запахи соснового леса, легкой гари с болот. Густые кроны деревьев в господском саду тихо, задумчиво лепетали, и еле слышный шорох их сливался и угасал в глубоком безмолвии ночи. В демидовском доме давно погасили огни, и все отошли ко сну. Только среди темных ветвей древней дуплистой березы, которая росла у стены дворца, вверху блестели, точно золотые дощечки, освещенные оконца в светелке мисс Джесси. В косых лучах света чуть-чуть дрожали озаренные листья, и тонкий, слегка дурманящий аромат доносился в распахнутое окно.

Среди горенки с низким потолком на ветхом, обтертом стуле сидела мисс Джесси. Спина ее горбилась, вокруг большого рта легли усталые, печальные морщины. Ее глаза, освобожденные от очков, казались совиными, странно щурились, принимая тревожное, недоумевающее выражение.

Старая дева пристально разглядывала себя в овальное зеркало. Покачивая утиной головкой с навернутыми бумажными папильотками

— от чего на стене колебались тени рогулек, — она то приближала лицо к зеркалу, то вновь отклонялась от него. Улыбаясь загадочно, мисс щерила большие желтые зубы, и улыбка эта удивительно походила на страшный оскал мертвой головы.

О чем думала мисс Джесси в эту минуту? Ночью, когда глубоко и свободно дышит вся природа и тысячи ароматных испарений насыщают воздух, когда каждый цветок и каждая былинка, согретая солнцем, и теплая росистая земля, и мимолетное облачко — все, все веет чистотой, свежестью, прохладой и покоем, — мисс Джесси, наверное, думала об утерянном...

Жалкой и смешной казалась себе старая дева. И еще смешнее показалась она, когда спустила с плеч платье и залюбовалась своим желтым костлявым телом, покрытым от холодка гусиной кожей.

Молодой Демидов сидел на дереве среди густых ветвей и все видел.

— Ух, страсти! — разочарованно вздохнул Николенька. Он неосторожно зашевелился, и под его ногой треснул сучок. Англичанка вздрогнула, быстро прикрыла плечи и подошла к окну.

— Кто здесь? — испуганно прошептала она.

Среди озолоченных светом листьев показалось смеющееся лицо Николеньки. В глазах его светилось озорство.

— Что вы здесь делали? — строго спросила мисс Джесси.

Молодой Демидов не смутился; смотря в глаза гувернантке, признался:

— Больно уж захотелось поглядеть, похожи ли вы, мисс, на наших крепостных девок! — Николенька ехидно улыбнулся, высунул язык и быстро по Стволу березы скользнул вниз. Под его торопливыми движениями слышался шелест листвы, да между заколебавшимися ветками выглядывали синие звезды. Англичанка свирепо процедила сквозь зубы:

— Какой стыд! Взбалмошенный мальчишка!..

Она энергично захлопнула окно, резким движением задернула штору и взволнованно опустилась в кресло, закрыв лицо руками. В эту минуту Джесси поняла, что она некрасива, поблекла, что никто ее не понимает и не поймет в этой стране, где люди и сильны и напористы. Слезы заблестели на ее рыжеватых ресницах.

— Боже мой, как страшна и безобразна старость! — тяжело вздохнула она и устало опустила руки.

Россия деятельно приступила к утверждению своей безопасности на юге со стороны турок. В 1778 году в Азовском крае стараниями русских были возведены многие города. На берегах моря возникли Херсон и Мариуполь, а на границах Крымского ханства — Екатеринослав. Беспокойство Турции было велико. Особенно встревожились турки, когда увидели, что подвластные им греки и армяне с семьями и со всем своим скарбом стали перебираться в отстроенные российские города. Но более всего тревожило Порту положение в Крыму, который долгое время служил угрозой русской земле. Издавна, многие столетия, отсюда крымчаки совершали свои набеги и нашествия на Русь. Через Дикое Поле, по старинному Муравскому шляху, прорываясь через засеки на север, многочисленные орды татарских наездников добирались до Москвы. Не раз столица Московского государства пылала от их рук. Настало время, когда решено было положить предел вечным беспокойствам на южной границе нашей родины. В Крыму в эту пору шла ожесточенная борьба двух партий, турецкой и русской ориентации. Хан Шагин-Гирей, свергнутый с престола турецкими ставленниками, обратился за помощью к русским. Россия вернула ему трон, но поскольку интриги и происки Турции не прекращались, число русских войск в Крыму увеличилось, и в скором времени начались переговоры с ханом Шагин-Гиреем, которые привели к желанной цели. Хан отказался от своих прав, и Крым 8 апреля 1783 года навсегда был присоединен к России.

Событие это вызвало чрезвычайно сильное волнение в Константинополе. Ожидался разрыв между Россией и Турцией, которая грозила войною. Однако благодаря усилиям Потемкина и русского посла в Турции Булгакова Порту удалось отклонить не только от войны, но еще и заключить с нею 23 июня 1783 года очень выгодный для России торговый трактат, а 28 декабря была подписана с турками конвенция, по которой Крым оставался за Россией и река Кубань назначалась границей между обоими государствами. Таким образом, за русскими закреплялся обширный, богатейший, но малонаселенный край, названный Новороссией.

Генерал-губернатор вновь приобретенных земель князь Потемкин энергично приступил к устройству городов, возведению крепостей, заселению диких степных пространств и развитию земледелия. Он мечтал о превращении Новороссии в оживленный край, в котором процветали бы промышленность, искусства, и тем самым Россия прочно стала бы на Черном море.

По его приказу разводились в степях леса, виноградники, тутовые деревья для шелковичных червей, возникали фабрики, казармы, дворцы и театры. И, самое важное, на Черном море стали строить русский флот.

Своим дерзновением Потемкин поражал многих современников. Он засыпал государыню самыми смелыми и неожиданными проектами, в которых было больше необузданной фантазии, чем реальной возможности. Екатерина Алексеевна, не зная подлинного состояния дел в Новороссии, слепо верила своему фавориту, щедро награждала его чинами, крепостными, дворцами. Потемкину пожаловали все русские ордена, звание генерал-фельдмаршала и президента военной коллегии. Ему шли огромные суммы, из которых он беззастенчиво заимствовал на личные надобности и прихоти. Генерал-губернатор Новороссии не считался ни с чем. Пользуясь особым доверием и благорасположением к нему государыни, Потемкин злоупотреблял своею властью, часто не различая государственных средств от личных. Миллионы рублей уходили на удовлетворение причуд светлейшего. Города оставались недостроенными, проекты забывались, а между тем казна заметно опустошалась. Нашлись люди, которые повели против Потемкина борьбу, стремясь доказать, что он обманывает государыню, что делаемые огромные затраты не принесут никакой пользы, да зачастую и используются-то они не по назначению. В ответ на козни Потемкин прибыл в Санкт-Петербург и, хотя был принят Екатериной Алексеевной с заметной холодностью, все же сумел увлечь ее грандиозными проектами изгнания турок из Малой Азии. Он мечтал на развалинах Порты восстановить Грецию под скипетром Константина — внука Екатерины. «Греческий» проект наделал много шуму, и, хотя на первый взгляд казался плодом неудержимой фантазии Потемкина, на самом деле он был построен на серьезных основаниях. Стремление осуществить его привело к большим историческим

событиям. Русские окончательно утвердились на Черном море, Крым стал неотъемлемой частью России, и границы нашего государства далеко раздвинулись на запад и юг.

Чтобы показать воочию, что творится на юге, Потемкин пригласил государыню совершить путешествие в Новороссию. 7 января 1787 года Екатерина Алексеевна с огромной блестящей свитой выехала из Царского Села. Потемкин окружил это путешествие императрицы большой помпезностью и блеском. Все делалось наспех, разбрасывались огромные средства, хищнически использовалась рабочая сила — и все только для того, чтобы обмануть царицу. Как опытный постановщик спектакля, Потемкин разыграл перед ней фантастическую феерию. По его проектам на пути следования государыни были построены на скорую руку показные дворцы, станции и даже города. Кременчуг был превращен в маленькое своеобразное подобие столицы. Всюду прокладывались дороги, разбивались тенистые сады, а на Днепре взрывались пороги. На левом берегу реки, против Херсона, в течение нескольких зимних месяцев 1787 года возвели город Алешки. На Днепре готовились десятки роскошных галер в римском вкусе; Шло строительство Черноморского флота.

Путешествие императрицы Екатерины, которое она совершала вместе с австрийским императором Иосифом II, походило скорее на сказочный спектакль, чем на деловой осмотр вновь приобретенного края.

Громадная флотилия галер, во главе с самой роскошной — «Днепр», двинулась по реке. За ней следовал «Буг», на котором пребывал Потемкин. В наиболее живописных местах флотилия останавливалась, и государыня с гостем выходила на берег, где в ее честь устраивались пышные празднества, происходили маневры казачьих войск, гремели пушки и огнями радуг рассыпался фейерверк.

На всем протяжении пути по степи государыня и ее свита видели изумительные картины. Там, где еще недавно простиралась дикая пустыня, теперь виднелись богатые села, красивые здания, церкви, в гаванях — купеческие корабли, груженные товаром, а на полях паслись бесчисленные стада тучного скота. Красочно одетые поселяне водили хороводы и прославляли счастливую жизнь.

Еще более великолепные картины цветущего края раскрылись перед Екатериной Алексеевной в Крыму, где сама ласкающая природа и голубое море окончательно пленили ее. С момента вступления государыни в Тавриду императорскую карету сопровождала блестящая татарская конница. Самые знатные татарские мурзы, разодетые в яркие одежды, составляли почетный кортеж государыни, приводя ее в восхищение джигитовкой и различными конными эволюциями: Даже австрийский император не мог налюбоваться на это поистине прекрасное зрелище.

В Симферополе Екатерину Алексеевну поразили пышный сад, разбитый в английском вкусе. Не менее роскошный сад чисто восточного стиля привлек внимание государыни в Карасубазаре. Неумолчно журчали фонтаны, шумные водопады в знойный полдень приносили освежающую прохладу. В густой сени парка высился пышный дворец, а с наступлением ночи императрица была изумлена сказочным фейерверком в триста тысяч ракет. Все здесь напоминало сказку из «Тысячи и одной ночи».

Но самое эффектное зрелище ждало императрицу в Инкермане. В специально выстроенном для приема дворце во время обеда вдруг распахнули занавес, и перед очарованной государыней открылся вид на море. словно по волшебству, перед ней предстала Севастопольская гавань с десятками военных кораблей. И в этот торжественный миг началась пальба из пушек, приветствовавшая рождение Черноморского флота...

Государыня осталась в восторге от всего увиденного ею. В результате путешествия в Новороссию светлейшему были выданы большие награды и присвоено наименование Потемкина-Таврического...

Враги Потемкина были посрамлены и не посмели раскрыть перед царицей горькую правду. Между тем она была просто-напросто обманута энергичным и ловким фаворитом. Великолепные селения, которые императрица видела издали на своем пути, были не что иное, как театральные декорации. Огромные стада, которые паслись возле наспех созданных «потемкинских деревень», были пригнаны со всего края и украшали собою дорогу, а ночью их перегоняли с места на место, чтобы показать царице, сколь изобилует новый край. Передавали, что в интендантских складах вместо муки находился

песок, а разодетые, веселящиеся пейзажи сгонялись со всей Новороссии, чтобы создать картину полного народного благоденствия. Разговоры об обмане Потемкиным государыни были справедливы: в предприятиях его оказалось много показного и несерьезного. Но один несомненный и неопровержимый факт остался непоколебимым: благодаря талантливым русским флотоводцам и кораблестроителям отныне Российская держава упрочилась на Черном море, и это могущество нашей земли заставило призадуматься иностранные державы...

Блистательное путешествие в Новороссию русской императрицы явилось своеобразной политической демонстрацией. Турция не выдержала и объявила России войну, которая и началась в августе 1787 года. Открывшиеся военные действия потребовали от Урала — старинного испытанного поставщика оружия — огромного количества пушек, ядер, железа. Это придало силы Никите Акинфиевичу Демидову. Он постепенно стал поправляться от перенесенного удара. Жажда движения, стремительной деятельности по-прежнему овладела его дряхлеющим телом. Неудержимо потянуло на завод. Но, увы, тело все еще не было послушно его желаниям! Шаркая парализованной ногой, опираясь на плечо приказчика Селезня, он с большим трудом на ранней заре подошел к распахнутому окну. Словно вновь рожденный, хозяин с любопытством оглядывал горы, пруд и прислушивался к заводским звукам. Тучи пара и дыма окутывали старые домны, в которых день и ночь плавил руду, лили чугун и сталь. Багровые языки пламени порой прорезали дымную мглу, и тогда Демидову казалось, будто на верхней площадке домны распускается невиданный жаркий цветок. На земле еще лежала ночная тень, но первые лучи солнца уже скользили по гребням высоких гор... Постепенно и незаметно все начало сверкать золотыми отблесками. Широкий пруд покрылся шелковистой рябью. Жирные и тугие караси выплывали на поверхность, стремительно выскакивали из воды и с громким плеском тяжело падали, сверкая золотой чешуей. В небе пронеслись трубные звуки перелетных лебедей. Осень надвигалась на горы, бродила по лесам и парку, раскрашивая их в золотисто-оранжевые цвета. На кустах в парке слюдяным блеском сверкала паутина.

— Ах, хорошо! Ах, дивно! — улыбаясь, прошептал Никита и стал жадно дышать.

Впереди на заголубевшем небе темнел четкий контур горы Высокой, давшей жизнь заводу. Редкие кустики чахло зеленели на красных глинистых склонах, по которым серыми змейками сбегали глубокие рытвины, промытые дождями. Кругом темными силуэтами громоздились знакомые с юности вершины Белой, Острога Камня, Старика, Шайтана, Веселых Гор; Одиноким пиком высился Медведь-Камень. А на берегу пруда, в самом центре Тагила, — высокая Лисья гора. Никиту Акинфиевича потянуло на вершину.

— Несите на Лисью! — приказал он.

— Ой, что ты, хозяин! — в страхе взглянул на него Селезень. — Поберечься надо! Придет час — сам зашагаешь... Мы еще потопаем по земле, Никита Акинфиевич, — лукаво ободрял он Демидова.

Прибежал лекарь, умоляюще поднял худые костлявые руки и затараторил:

— Бог мой, этого нельзя делать! Нельзя! Нельзя!

Маленький, остроносый, он походил на щуплого заморенного курчонка. Никита поморщился, отмахнулся от лекаря.

— Кш... Уйди. Мне лучше себя знать. Нести на гору! — властно приказал он.

Соорудили род паланкина, накидали гору подушек и на них уложили хозяина. Крупный, породистый, с горделивой осанкой, он возлежал, как римский патриций. Его несли бережно, медленно, словно хрупкий сосуд с драгоценной влагой. Паланкин тихо и ритмично раскачивался в такт движению. Толпа слуг, во главе с Селезнем и лекарем, сопровождала хозяина.

Стоял синий сентябрьский день. Умиротворенный Демидов ненасытными глазами разглядывал окружающее. Было так отраднo ощущать заново мир, играющий всеми красками. В голубом небе тянули гусиные косяки. Он проводил их завистливым взглядом. Мимо горы сторонкой промелькнула стайка хохлатой чернети. Где-то тонкоголосо звенел ручей, и ветер приносил из леса смолистые бодрящие запахи.

С каждым шагом в гору все шире и пестрее раскрывается окрестность. Среди старых деревянных строений постепенно поднимается завод и распаиваются необъятные дали.

Хозяина принесли на вершину Лисьей горы.

— Стойте! — крикнул он людям, и они послушно спустили паланкин на землю, обложили Демидова подушками. Он сидел как старый зоркий коршун, рассматривая свое родовое гнездо.

Вот в широкой живописной долине синееет река Тагилка, неся свои воды к необозримому заводскому пруду. Огромный белый дворец среди осеннего парка. Под ярким солнцем пруд зыблется и мерцает. У самого берега — село Гальяны. А еще дальше — могучие, суровые горные кряжи, которые придают всему окружающему грозное величие. И опять взор перебегает на любимый завод. Знакомые доменные печи, выпускающие клубы черного дыма со снопами ярких искр и жаркими языками вырывающегося по временам огня. На склонах Магнитной горы, в отвалах, словно муравьи, копошатся люди, роют руду, грузят ее на тележки, и обозы лентой тянутся к доменным печам.

Никита пытливо посмотрел на приказчика и сказал:

— Многие всю жизнь ищут кладов втуне. А вот он, великий, неисчерпаемый клад! — Он указал глазами на Высокую и добавил: — Отныне и до века не исчерпать тут руд. И все мое, демидовское! Руды тут самые лучшие, и железо оттого непревзойденное. Знал батюшка, где искать добро!

И впрямь, похвала Никиты Акинфиевича была не пустая: демидовское железо с маркой «Старый соболь» славилось не только на своей земле, но и за границей. К марке «Старый соболь» он добавил свое клеймо: «CCNAD», что означало — статский советник Никита Акинфиевич Демидов.

Хозяин еще раз оглядел завод и отвалы Высокой; взор его перебежал к пруду, к зеленым островкам, и вдруг на ресницах повисла тяжелая слеза. Никто не знал, что тронуло сердце заводчика. А перед его задумчивым взором вдруг мелькнуло минувшее. В куще дуплистых вязов догнивал старый дедовский дом — первое жилье Демидовых на Тагилке-реке. Обрушивался на островке храм Калипсо. Давно ли это было? Кажется, только вчера они бродили вместе с золотоголовой Юлькой, совсем недавно он был молодой, сильный, и вот все ушло и не воротится больше!

Никита Акинфиевич глубоко вздохнул и поманил приказчика.

— Несите к дому, — упавшим голосом сказал он.

На душу Демидова легла тихая грусть, он присмирел и дорогой не проронил ни слова...

Несмотря на томление, которое охватило хозяина при воспоминании о прошлом, он быстро справился с тоской.

— Хватит! — словно ножом отрезал он минувшее. — Снявши голову, по волосам не плачут! Не вернуть лихую младость. Все проходит, но и осень бывает мила сердцу!

Успокаивая себя, он потребовал из конторы книги и вновь с жаром принялся за хозяйственные дела. Он вызывал к себе в кабинет приказчиков, писцов из конторы, подолгу выслушивал доменщиков, литейщиков, рудокопов, давая дельные указания. Долгие часы Демидов высиживал за столом и проверял книги, стараясь наверстать упущенное за время болезни. В хлопотах и за делами Никита Акинфиевич стремился забыть неумолимую старость. Однако и среди бесконечных дел он не забывал о наследнике. Часто и подолгу отец заглядывался на своего единственного сына. Николенька был румяный, большеглазый и всегда озорной.

«Ничего, уйдет это! — успокаивал себя Никита. — Кончится ребячья пора, другим станет. За дело время, за работу!»

Однажды по приказу хозяина Селезень привел в дом сивобородого мастера.

— Вот, хозяин, этот и есть самый лучший у нас! — показывая на него, сказал приказчик.

Старик был широк в плечах, сухопар, строгие серые глаза не опустились перед Демидовым.

— Как звать тебя? — любопытно спросил Никита Акинфиевич.

— Крещеное имя — Ерофей, а по батюшке Иванов, а народ запросто кличет Уралкой. Родился я тут, изроблюсь и кости сложу на этой земле!

— Сколько же тебе годков? — поинтересовался Демидов.

— Семь десятков исполнилось, — твердо ответил мастерко. — Еще при отце твоём, Акинфии Никитиче, робил я здесь...

Работный стоял прямо, старость не смогла еще согнуть его плечи. Зубы у него сохранились, были крепкими и белыми. Никита позавидовал старику.

— А помирать когда думаешь? — с подковыркой спросил он старика.

— Вот брякнет сотня годочков, тогда и на погост! — отозвался старик и вызывающе посмотрел на Демидова.

— Выходит, не торопишься на тот свет? — улыбнулся, хозяин.

— Торопиться не к чему, пекло с чертями не уйдет от меня, да и тут похоже на это! — дерзко сказал он.

Демидов помрачнел, отвернулся и сказал Селезню:

— Зови Николеньку! А ты, неукротимый, — обратился он к работному, — держи язык за зубами. Учить нашего наследника поручаю!

— Уволь, хозяин! Несвычны мы с таким делом, — запросил мастерко. — За работой тяжело, а коли тяжело, всегда любое слово сорвется!

— Ничего! — снисходительно сказал Никита. — Ко времени сказанное крепкое слово бодрит русского человека, к стойкости приучает работника. Учи сына, как надо демидовскому корню. Пусть взглянется в наше дело. Пользе научишь — награжу. Оплошаешь — бит будешь!..

Пришел Николенька, и после наставлений хозяина мастерко увел его на завод. Из лесу, из-за Тагилки-реки доносилась чуть слышная тоскливая песня. Уралко прислушался и сказал:

— Жигали от горемычной жизни завели! И-их, как жалобно поют, за душу берет! Тяжело им живется, сынок, а горщику и литейщику совсем пекло! Идем, идем, кормилец! — с лукавинкой посмотрел он на молодого хозяина и зашагал быстрее. Николенька еле успевал за сухопарым стариком. Навстречу им нарастал неровный гул, издавна знакомый Николеньке. Однако на сей раз заводские голоса звучали по-особому: Демидов впервые вступал в недра завода, и все ему казалось сегодня в диковинку. Вот гремят молотки, визжит железо, свистит что-то, да шумит вода, падающая в шлюз. А когда Николенька вошел в заводские ворота, завод предстал перед ним страшным чудовищем, неумолчно грохочущим, стучающим, ревушим, лязгающим. Под горой протянулись приземистые кирпичные здания, потемневшие от времени, высились мрачные трубы, извергавшие тучи черного дыма. Под крышами шум непрестанной человеческой работы стал» еще

оглушительнее. У молодого Демидова голова пошла кругом. Уралко пытливо посмотрел на барчонка и недовольно покрутил головой.

— Погляжу я на тебя, сынок, с виду ты гладкий, откормленный, выпестованный, а душа и глаза пугливые! — сурово сказал он. — Страшно тут-ка? А как нам доводится? Мы весь век свой на огневой каторге прожили!

Николенька присмирел. Правда, хотелось ему наговорить старику дерзостей, но в первые минуты гром, лязг и визг ошеломили его, и он растерялся.

Мастерко провел Николеньку в кладовушу и добыл там для него кожаный фартук с нагрудником — запон.

— Ну, обряжайся, кобылка! — подавая ему рабочую одежонку, насмешливо сказал Уралко.

— Я не кобылка, а хозяин! — запротестовал Николенька.

— Ну, брат, не спорь здесь. У нас так: все ученики кобылкой кличутся! — пояснил мастерко.

Молодой Демидов нехотя надел фартук.

— Ну, а теперь пойдем в нашу храмину. Сперва оглядись, а потом, господи благослови, и за ученье!

Старик провел Николеньку в молотовую. Тяжелые огромные молоты срывались откуда-то сверху и с громом падали на куски железа. Мальчуган зажал ладошками уши, но Уралко оторвал руки и строго прикрикнул:

— Не дури, парень, приучайся к нашей веселой жизни!

Стуки молота жестоко отдавались в мозгу. К ним присоединился свист вихря из огромных черных мехов, и сильные струи воздуха, откуда-то вырывающиеся, сорвали с головы Николеньки шапку и унесли бог знает куда. Глаза слепило от яркого раскаленного железа. Кругом был совершенный хаос: все мешалось, кружилось, сверкало искрами, гремело. От страха Николенька схватил деда за руку.

— Ну-ну, не балуй! Гляди-разглядывай, уму-разуму учись! — прикрикнул мастерко. — Эка невидаль, обдало жаром-варом, а ты стой, смотри, не смигни! Тут, брат, сробел — пропал! Это тебе, сынок, не шанежки^[2] есть да молочко пить. Что верно, то верно: тут такая круть-верть, что страшно и взглянуть, но ты не пугайся! Запомни: страх на тараканьих ножках бродит. Гляди, не робей! Эва, поглядывай!..

Озаренный красным пламенем, Уралко щерил крепкие широкие зубы. С поговорками, со смешком, с одобрением мастерко провел Николеньку вперед. Вверху под стропилами — черный мрак, а рядом — жаркими ослепительными пастями пылают плавильные горны.

— Гляди, что надо робить! Примечай! — крикнул старик и устремился к одной из печей.

На ходу он проворно схватил железные щипцы и подбежал к пасти. Еще мгновение — и Уралко, озаренный пылающим металлом, как демон в преисподней, бросился к огромному молоту. У Николеньки от страха захолонуло под сердцем: ему почудилось, будто раскаленный шар стремился прямо на него, оставляя позади себя светящийся хвост. Но Уралко пробежал мимо, на мальчугана пахнуло горячей струей нагретого воздуха.

Темный грузный молот легко поднялся вверх, старик проворно положил под него раскаленный металл. И в тот же миг громадный, грузный молот с грохотом обрушился на белую от накала крицу, и потоки ослепительных звезд брызнули в стороны. Одна из них, шипя, упала на кожаный запон Николеньки и прожгла его. Тысячи других звезд, вспыхнув, меркли во мраке на сыром песке пола и на черных от копоти кирпичных стенах. Иные уносились в далеко темные углы и долго светились в воздухе.

Несколько раз поднимался молот и ударял по чугуно. Но вот наконец Уралко стащил отработанное железо и отбросил в сторону. А на смену старику уже бежал другой работный.

— Видал, сокол? — спросил Николеньку старик, утирая пот. — Вот так и бегай и торопись, как челнок в пряже. Одним словом, горячая работенка!

Молодой Демидов все еще с опаской озирался вокруг. В полутьме по-прежнему скользили черные тени, зловещим сиянием озарялись печи, и на фоне этого золотого сияния четко вырисовывались силуэты людей со щипцами, с полосами железа или непонятными крючьями в руках.

Работа кипела. Со стороны Николеньке казалось, что люди, стремительно снующие от печи к молоту, руки их, несущие раскаленный металл, не знают напряжения, — так легки и плавны были их движения.

Однако один из перемазанных сажей работных вдруг пошатнулся и чуть толкнул Демидова.

— Поберегись, парень! — прохрипел он.

— Ты пьян! — рассердился Николенька. — Смотри, батюшке скажу!

— Не грехи! Не видишь, от работы очумел человек; еле держится на ногах, воздух ртом хватает. Закружился, стало быть, неважко стало! — сурово сказал Уралко и нахмурился.

— Верно, измаялся! — глухо отозвался работный. — С утра от печи не отходил, а во рту маковой росинки не было. Задыхаюсь! Ох, тошно мне!..

— Выйди на ветерок, подыши! Не ровен час, от натуги сердце лопнет! — сказал Уралко, и работный с тяжело опущенными руками пошел во двор. — Пойдем, передохнешь и ты, — предложил он мальчугану и вместе с ним вышел к пруду.

В лицо пахнуло свежестью. Николенька глубоко вздохнул:

— Славно здесь!

Он огляделся. За прудом весело шумящий лес. Пики елей синели на светлом фоне неба, по которому плыли седые клочковатые облака. На листьях склоненной над прудом березки дрожали капельки росы. Окружающий мир показался Николеньке прекрасным, и ни за что не хотелось возвращаться в молотовые, где грохотал и вспыхивал изнуряющим жаром кремешный ад. Молодой Демидов полагал, что Уралко сейчас же начнет ругать свою долю и работу. Но старик присел на камень на самом берегу пруда и, щурясь на солнце, с душевной теплотой вымолвил:

— Хорошо и на солнышке! Хорошо и на работе! Работа да руки, сынок, надежные в людях поруки. Мастерство наше, милок, старинное, умное...

Уралко испытующе посмотрел на мальчугана и продолжал:

— Стары люди говорят: красна птица пером, а человек — умением. И наши деды, и отцы, и мы — работнички, привычные к железу. Железо-металл стоящему человеку дороже всего! Железо — первый металл!

Демидов улыбнулся и сказал старику:

— Неверно! Самый первый и дорогой металл — золото! Мой батюшка железо добывает, а сбывает его за золото!

Уралко укоряюще покачал головой.

— Эх, сынок, не то надумал ты. Послушай-ка, скажу тебе такое, о чем стары люди сказывали в давние годочки. В былое времечко наши горы — Камень — впусе лежали: жило тут племя незнаемое — чудь белоглазая^[3] да бродячие людишки. Охотой все больше промышляли. И пришли сюда издалека, из новгородской земли, пращуры наши. Крепкий народ! Добрались они на ладьях к подножию гор и закричали властелину Камня:

«Э-ге-ге-гей, горный царь, пришли мы к тебе; издалека счастья искать!» — «А чего вы хотите для счастья? — спросил их властелин гор. — Золота на сотню лет или железа навсегда?»

В ответ пращуры наши подняли мечи и закричали владыке горных дебрей:

«Железа нам! Железа навсегда!»

И тогда, сынок, из гор прогремело громом:

«Добрый твой выбор, могучий народ! Будь счастлив отныне и до века, железный род!..» Вишь ты, как вышло! — С умной улыбкой Уралко посмотрел на Демидова и предложил: — Хватит балясы точить. Надо и честь знать! Айда, сынок, за работу!

Мастерко снова увел Николеньку к пылающим жаром печам...

Проворный и сильный Николенька оказался медлителен и ленив в работе. Старик то и дело прикрикивал:

— Живей, живей, малый!

Мальчугану казалось, что он попал в преисподнюю. Что за люди окружали его? Сумрачные, молчаливые и злые в труде. Лица их обожжены на вечном огне подле раскаленного железа, потные лбы, медные от жара, кожа покраснела. Рваные рубахи взмокли от пота. Дед Уралко поминутно утирал рукавами морщинистое лицо, по которому стекали грязные струйки.

— Пот у нас соленый, сынок! До измору работаем! Рубахи от труда дубяные! — пожаловался старик; из его натруженной груди дыхание вырывалось с громким свистом. — Эх, дырявые мехи у меня стали. С продухом! — горько улыбнулся он.

Кругом мастерка бегали подручные, перекликаясь хриплыми голосами. А Уралко все подбадривал:

— Проворней, проворней, сынки!

Работали все до изнурения. Николенька неприязненно поглядывал на старика:

— Скоро ли пошабашим? Надоело, дед. И к чему эта мука?

— К науке! — отозвался Уралко. — Ты, милый, работой не гнушайся! На работе да трудах наших Русь держится. Сам царь Петра Ляксеич хорошее дело любил. Кто-кто, а он уж знал толк в мастерстве. Слушай-ка...

Он поманил Николеньку во двор и там, шумно дыша, уселся на камень.

— Маленький роздых костям старым! — устало сказал он. — Слышь-ко, ты не думай, я ведь знавал самого государя. Годов полсотню тому меня в Воронеж гоняли на верфи. Батя мой плотничал, а я якоря пристраивал... Батя отменный корабельный плотник был, царство ему небесное! Ух, топором рубил — как песню пел...

Один разок и похвались мой батя:

«Все Петр Ляксеич да Петр Ляксеич! Да я не хуже царя плотник! Да я...» «Стой, не хвались!» — крикнул тут бате высоченный мастер.

Отец оглянулся и обмер: перед ним стоял царь. Он-то все слышал, а батя его и не заметил.

Петр Ляксеич подошел к плотнику и сказывает:

«Хвасты у тебя много, а поглядим, как ты на деле себя окажешь!» — «Виноват, ваше царское величество!» — повинился батя.

Царь говорит ему:

«Ну-ка, покажи свое мастерство! — и кладет свою руку на стол. — Давай выруби топором между этими перстами, да не задень ни единого, тогда ты не уступишь царю Петру — хороший, значит, плотник будешь!»

Ну что тут делать? Хочешь не хочешь, а пришлось мастеру рубить. Да так рубил он: не задел ни единого перста. Тогда царь и сам похвалил его:

«Молодец! По-честному хвалился умением: добрый ты мастер!...» Вишь ты как!..

Николенька посмотрел на свои грязные руки, вздохнул тяжело.

— Дедушка, а скоро ли домой?

— погоди, сынок, не весь урок сробили. Великий урок твой батюшка задал: от темна до темна стараешься, а всего не переделаешь!

— Я уйду! — рассердился Николенька.

— А попробуй, бит будешь! — пригрозил Уралко и с презрением посмотрел на Демидова. — Погляжу на тебя: на баловство ты мастак, а в работе ни так ни этак! — Старик укоризненно покачал головой и добавил:

— Ты только краем хватил нашей корявой доли, а мы весь век свой надрываемся. А что, сынок, не сладко работному?

Демидов угрюмо молчал.

«Ничего себе растет звереныш! — подумал мастерко. — Деды и отцы Демидовы терзали нас, и этот крепнет на злосчастье наше».

Уралко прищурился на солнышко.

— Высоко еще, пора идти работать! — и опять повел Николеньку к молотам.

Из Санкт-Петербурга внезапно прибыл фельдъегерь с письмом от военного министра, а в нем сообщалось, что государыня, милостиво вспомнив о Демидове, определила судьбу его сына Николеньки.

«Не приличествует сыну столь славного дворянина пребывать в забвении, — высказала свое мнение Екатерина Алексеевна, — потомуку знатных родителей надлежит служить в гвардии, у трона своей государыни!»

Это весьма польстило Никите Акинфиевичу и взволновало его. С малолетства любивший именованную знать, он мечтал о блистательной карьере для своего наследника. Об этом в свое время мечтала и покойная жена Александра Евтихиевна. Когда они возвращались из чужих краев и в метельную ноябрьскую ночь в селе Чирковицах, в восьмидесяти верстах от Санкт-Петербурга, родился столь долгожданный сын, решено было, по примеру столбового дворянства, немедленно записать его в гвардию.

По приезде в столицу младенца тотчас же зачислили на службу в лейб-гвардии Преображенский полк капралом. В 1775 году двухлетнее дитя произвели в подпрапорщики, а когда Николеньке исполнилось девять лет, последовало повышение в сержанты; ныне пятнадцатилетний юнец был переведен с тем же чином в лейб-гвардии Семеновский полк. Так, находясь в отчем доме на попечении мисс Джесси и других наставников, Николенька, по примеру всех дворянских недорослей, успешно проходил военную службу в гвардии.

И сейчас повеление государыни призывало его в свой полк, которого он отродясь не видел, но числился в нем офицером.

Никита Акинфиевич затосковал перед разлукой с наследником. Все дни слуги хлопотливо готовили молодого Демидова в дальнюю дорогу, укладывая в сундуки белье и одежду. Мисс Джесси закрылась в светелке и все ждала: вот-вот появится Николенька: она расскажет ему о своей неудавшейся жизни, и, кто знает, может быть он пожалеет ее и скажет ласковое слово? А питомец мисс в эти минуты сидел в отцовском кабинете и выслушивал поучения старика. Ссутулившийся, поседевший Никита Акинфиевич тяжелыми шагами ходил по кабинету и строго внушал сыну:

— Может, это последнее расставание с тобой, Николай. Неладное чует сердце! Стар стал. Помни, на тебя ноне вся надежда. Род наш стал велик и прославился, но ты главный демидовский корень, не забывай об этом! Деда наши и отцы были сильны хваткой, величием духа, своего достигали упорством. Добрый корень, сын мой, скалу дробит, так и демидовская сила преодолевала все!

Старый Демидов размеренно ходил по комнате, и слова его глухо отдавались под сводами. Покорно опустив голову, Николенька притворно вздыхал и соглашался во всем:

— Будет по-твоему, батюшка!

А внутри него каждая жилочка трепетала от радости. Ему хотелось вскочить и пуститься в пляс, но юнец сдержал себя. Он уже мечтал о предстоящем путешествии и мыслями был в Санкт-Петербурге, но покорно слушал старика, который внушал.

— Кланяйся матушке государыне да поблагодари за всех Демидовых!

— Поблагодарю и поклонюсь! — охотно кивнул головой Николенька.

— Слушайся управляющего нашей Санкт-Петербургской конторой Павла Даниловича Данилова. Он есть главный опекатель добра нашего! Поберегись, сын мой, мотовства! Сие приводит к разорению и бедности! — продолжал внушать Демидов.

— Буду слушаться, батюшка, господина Данилова и поберегусь.

— Данилов не господин, а холоп наш! — сердито перебил Никита Акинфиевич. — А с холопами надо себя держать высоко и вызывать к

себе почтение, господин гвардии сержант! — Он поднял перст и, довольный, рассмеялся.

Николенька покраснел от удовольствия, что батюшка впервые назвал его по чину. Был весьма счастлив и Никита Акинфиевич: сбылось то, о чем он сам мечтал в младости: сын его, наравне со знатными отпрысками империи, состоит в гвардии. Это сильно льстило старику. Он обмяк, прищурил лукавые глаза на сына:

— Небось побегать хочешь впоследне по заводу?

— Хочу, — чистосердечно признался Николенька.

— Иди, — отпустил его отец.

Угловатый, загорелый Николенька проворно вскочил и устремился из горницы. Выйдя из отцовского кабинета, он сразу повеселел и запрыгал по обширным паркетам. Из светелки на шум спустилась мисс Джесси. Она укоризненно взглянула на питомца, но тот вдруг вытянулся по-строевому, стал грозен и прокричал на весь зал:

— Смирно! Руки по швам! Глаза на-ле-во! Сержант лейб-гвардии Семеновского полка шествует.

У мисс испуганно округлились глаза, и на них навернулись слезы.

— Вы варвар! — укоризненно пожаловалась она. — Мы скоро расстаемся, а вы...

Она не договорила и приложила к мокрым ресницам платок. Костлявая англичанка выглядела жалко, но у здорового Николеньки не было жалости. Он небрежно махнул рукой и на ходу бросил ей:

— Как всегда, вы очень сентиментальны, мисс...

Ему хотелось скорей вырваться из этих опостылевших стен, где за каждым его шагом следили, делали бесконечные замечания, где только и разговоров, что о рудах да о железе!

«Я есть главный демидовский корень! Погодите, я покажу вам, как надо жить!» — с гордостью подумал про себя Николенька...

Между тем Никита Акинфиевич после глубоких раздумий избрал среди дворовой челяди дядьку для отбывающего в столицу сынка. Несколько лет Николеньку обучал русской словесности дьячок домово́й церкви — крепкий, жилистый Филатка. Церковный служака вел себя хитро, замкнуто и отличался страшной скупостью. Про него сказывали, что он носил червонцы зашитыми в шейный платок. От хмельного дьячок упорно уклонялся, держался всегда трезво и рассудительно. Это и понравилось Демидову.

«Такой скареда не подведет, юнца обережет от соблазнов. Скупость — достоинство человека. Копейка за копейкой бежит, глядишь — и рубль в кармане! Пусть Николай перенимает, как надо беречь добро!» — решил Никита Акинфиевич.

Хозяин вызвал дьячка к себе в кабинет. Тот робко переступил порог, опасливо огляделся. Демидов зорко осмотрел приглашенного.

— Чирьями не болеешь? Тайную хворость какую-либо не скрываешь? — вдруг пытливо спросил он дьячка.

— Что вы, Никита Акинфиевич! Помилуй бог! — взволновался церковный служитель. В уме у него мелькнула догадка о доносе. «Кто же чернить задумал меня перед хозяином?» — в тревоге подумал дьячок.

Демидов взял его за руку и подвел к окну.

— Ну, милоч, раздевайся!

Филатка испуганно покосился на хозяина, взглянул на окно.

«Помилуй бог, не худое ли задумал старый пес? Демидовы — они, брат, такие!» — со страхом подумал он, но покорился и, поеживаясь от неловкости, разоблачился.

Дьячок был статен, сухопар, телом чист и бел.

— Гож! — облегченно вздохнул Никита Акинфиевич.

— Батюшка! — вдруг спохватился и бросился голым в ноги хозяину дьячок. — Неужто под красную шапку надумали сдать? А известно вам, сударь, что духовные лица законом ограждены от солдатчины?

— Молчи! — прервал его сердито Демидов. — Не о том идет речь! Одевайся!

Филатка облачился и все еще стоял среди комнаты в недоумении.

Никита Акинфиевич опустился в кресло и, положив на стол большие руки, вразумительно сказал:

— Надумал я дядькой тебя к наследнику приставить. Поедешь ты с ним в Санкт-Петербург. Угодно ли тебе служить моему единственному дитяти?

— А мне, сударь, все едино, что богу служить, что господину, лишь бы в убытке не был! — просто ответил дьячок.

— В убытке не будешь! — подтвердил Демидов. — Гляди, самое дорогое вручаю на попечение тебе!

— Много довольны будете, сударь! От мирских соблазнов ваше чадо, ей-ей, сохраню, Никита Акинфиевич!

Однако хозяин не довольствовался одними пустыми обещаниями: он подвел Филатку к образу и поставил его на колени.

— Клянись! — строго предложил дьячку Демидов. — Клянись беречь моего сына как зеницу ока и наставлять его на трудном житейском пути!

— Клянусь! — торжественно сказал дьячок и, положив крестное знамение, пообещал: — Крепче жизни буду охранять отрока Николая и на путь истины бескорыстно и благолепно наставлять!

После этого Демидов успокоился и отпустил дядьку:

— Ну, иди и готовься в дорогу...

Наконец настал день отъезда. К этой поре подросли крепкие заморозки, горные леса сбросили последний багряный лист, а дороги установились твердые и надежные. Путешествие предстояло совершить «на долгих» Собирая коней в путь, их загодя откормили, объездили. На день вперед отправили обоз со съестным и поваром, чтобы готовить на привалах и ночлегах обеда и ужины для молодого заводчика. Дьячок Филатка составил опись всего имущества Николая Никитича и упрятал ее в ладанку. Такая заботливость понравилась Демидову.

Призвали священника, и он вместе с дьячком торжественно отслужил напутственный молебен. Демидов стоял рядом с сыном, одетый в мундир, при всех орденах и регалиях, пожалованных государыней. Поодаль от него стояла дворовая челядь, учителя, мисс Джесси и приказчик Селезень. Долго и торжественно молились, а после молебна демидовская стряпуха поднесла всем по чарке.

— Чтобы дорожку сгладить, чтобы добром поминали молодого хозяина! — объявил Селезень.

После полудня Николай Никитич отбыл из отцовской вотчины...

В экипаже, обитом мехом, было уютно, и, как ни буянил на дороге ветер, Демидову было тепло. Уральские горы постепенно уходили назад, заволакиваясь синью. Окрест лежали серые унылые деревушки. К вечеру навстречу показался бесконечный обоз. Головной воз

поднимался на соседний холм, а последние подводы терялись в дальнем перелеске. Молодой Демидов загляделся на проезжающих.

«Что за люди? Куда едут в такую глухую пору?» — подумал он.

Впереди обоза трусил на сивой кобыле старик капрал в ветхом, выцветшем мундире, а между телег на холодном осеннем солнце скупно сверкали штыки. На подводах сидели мужики в рваных сермягах, в истоптанных лаптях. У многих за поясом торчали топоры, у некоторых в руках были пилы, завернутые в грязные тряпицы.

— Кто это? — спросил Николенька и, не дожидаясь ответа, выскочил на дорогу.

Хотелось поразмять ноги и порасспросить проезжих. Демидов подбежал к первому возу и отшатнулся. На телеге непокрытыми лежали два мертвеца со скрещенными на груди руками. Закрытые глаза покойников запали, носы заострились, и лица их казались пыльными, серыми. К сложенным рукам каждого была прислонена иконка.

— Что смотришь, барин? — угрюмо окликнул капрал. — Замаялись люди, лопнула жила!

Не глядя на капрала, Николай Никитич спросил:

— Куда столько народу собралось?

— Известно куда! — недовольно блеснув глазами, хмуро отозвался бородатый мужик. — Не демидовскую каторгу. Приписные мы!

— А покойники почему? — в расстройстве спросил Николай Никитич.

— Проедешь тыщу верстов да вместо хлеба кору с мучицей пожрешь, небось не выдержишь! А тела влекем для показа барину, что не убегли. Да и без пристава мертвое тело хоронить не дозволено. — Крестьянин исподлобья хмуро посмотрел на молодого Демидова. А тот, растерявшись, совсем некстати спросил:

— А зачем тогда идете в такую даль?

— Вот дурак, прости господи! Да нешто сами пошли, силой нас повели! — обидчиво ответил мужичонка.

— Ну-ну, пошли-поехали! — закричал капрал. — Не видишь, что ли, вечер наползает, под крышу поспеть надо.

Скрипя колесами, обоз покатился дальше. Тощие лошаденки с хрипом, надрываясь, тащили жалкие телеги. Покачивая заостренными

носами, покойники поплыли дальше, оставив среди дороги ошарашенного молодого Демидова.

— Э, батюшка, хватит вам о сем думать! — потащил его в экипаж Филатка. — Всех, родимый мой, не пережалеешь, на каждый чих не наздравствуешься!

Стояла глубокая осень, когда Николай Демидов прибыл в Санкт-Петербург. По небу плыли низкие набухшие тучи, изредка моросил мелкий дождик. Из гавани доносились одиночные орудийные выстрелы: жители островов оповещались о грозившем наводнении. Но никто не обращал внимания на сеющий дождик, который покрывал одежду прохожих серебристой пылью. Никого не интересовали орудийные выстрелы. По широкой Невской перспективе лился оживленный людской поток, то и дело проносились блестящие кареты с гайдуками на запятках. Нередко впереди позолоченной кареты бежали скороходы, предупреждая народ:

— Пади! Пади!

Среди пестрого людского потока выделялись высокие кивера рослых гвардейцев, одетых в цветные мундиры, украшенные позолотой и серебром. На всю перспективу раздавался звон шпор, бряцание волочившихся по панели сабель. Семенили отставные чиновники, совершая утренний моцион, прогуливались дамы в бархатных нарядах. У Гостиного двора толпы бородатых людей в синих кафтанах и в меховых шапках осаждали прохожих, предлагая товар, голосисто расхваливая его и чуть ли не силком зазывая покупателей. «Купчишки!» — презрительно подумал молодой Демидов и брезгливо отвернулся. На площадке перед Гостиным двором раздавались крики сбитенщиков...^[4]

Сквозь разорвавшиеся тучи неожиданно блеснул узкий солнечный луч и засверкал на адмиралтейской игле. И это минутное золотое сияние по-иному представило город. Среди оголенных рощ и туманной сырости он вставал прекрасным и неповторимым видением. Окрашенные в разнообразные колера красок стены домов, омытые дождиком, радовали глаз своей свежестью. Строгие, гармоничные линии зданий — творений великих зодчих — вставали во всем своем величии и красоте. Полуциркульные арки над каналами, одетыми в гранит, стройные колоннады, чугунные садовые решетки подле особняков — все казалось чудом, от которого нельзя было оторвать восторженных глаз. Вот налево мимо коляски проплыл дворец Строгановых, строенный славным зодчим Растрелли. Возвели его руки

уральских крепостных, среди которых были отменные мастера по каменной части. Напротив — трактир Демута. Простое, строгое здание, а влечет душу...

Николай Никитич вздохнул. Луч солнца угас, и снова все ушло и укрылось в серый сумрак промозглого осеннего дня. На набережной Мойки возок Демидова свернул к старым отцовским хоромам. При виде их сердце потомка болезненно сжалось. Тут когда-то пребывали отец и дед, и на эту землю ступил первый из Демидовых — тульский кузнец Никита.

Двухэтажный родовой особняк сейчас выглядел мрачно. Сложенный из серого камня, он сливался с хмурым петербургским небом. Огромные зеркальные окна его отсвечивали холодным блеском. Тяжелые черные двери из мореного дуба медленно и плавно распахнулись. Из них выбежали слуги в потертых ливреях и засуетились вокруг экипажа. На пороге появился невысокого роста, толстенький человек с обнаженной лысой головой. Несмотря на темный бархатный камзол и башмаки с пряжками, он скорее походил на купчика средней руки. Разгладив курчавую рыжеватую бороду, он подобострастно склонился перед Николаем Никитичем в глубоком поклоне.

— Заждались, сударь! Дом без хозяина — сирота! Сколь годков пустуют покои, пора их по-настоящему обжить!

«Управляющий Санкт-Петербургской конторы Данилов», — догадался Демидов и, сделав надменное лицо, пошел прямо на него. Управителя несколько не смутило высокомерие молодого хозяина. Поддерживая Николая вежливо под локоток, он повел его по широкой мраморной лестнице, покрытой ковром, во второй этаж.

Данилов провел Демидова по анфиладе парадных залов — обширных, холодных. Ощущение холода усиливали зеркальные окна, отливавшие синевой льдин. В одном из пышных залов висели портреты предков. Из старинных золоченых рам величественно и строго взирали на юнца основатели уральских заводов — прадед Никита Демидов и дед Акинфий Никитич. Находился тут и портрет батюшки Никиты Акинфиевича и матери Александры Евтихиевны. Из потускневших рам все они зорко следили за молодым Демидовым. Ему стало не по себе, и он ускорил шаг. Управитель провел Николая

Никитича в отведенные покои. Они не отличались обширностью, но были опрятны, чисты; директор конторы, как бы оправдываясь, сказал:

— Сами изволите видеть — безлюден наш дворец, а на содержание многие тысячи требует: отопление, освещение, ремонты, челядь... А нельзя! — огорченно развел он руками. — Прилику ради и славы благодетелей наших содержится сей дворец!

Данилов взглянул на Филатку, который прошел следом за Демидовым в отведенные покои, и строго сказал ему:

— Ты дядькой приставлен к господину и блюди его, ибо он еще млад и неопытен!

Филатка покорно поклонился управителю конторы:

— Будь покоен, Павел Данилович, перед богом поклялся беречь нашего господина!

Николай Никитич от досады прикусил губу, налился румянцем. Его злило, что его все еще считают мальчишкой, и он успокоился только тогда, когда Данилов покинул комнату.

В доме застыла тишина. Казалось, весь мир был погружен в глубокое безмолвие.

— Ты займись хозяйством! — приказал он дядьке, а сам обошел весь дом.

Залы и небольшие комнаты были обиты штофом разных расцветок, уставлены хрупкой витой мебелью и дорогими вазами. За окнами наплывали сумерки, когда Николай Никитич покинул опустевшие покои, возвратился к себе и там снова застал Данилова. На этот раз на управителе был красный бархатный камзол, белоснежное кружевное жабо. Он выглядел важно и надуто.

— Ты выйди, не мешай нам! — приказал он дядьке.

Когда Филатка покорно вышел, управляющий санкт-петербургской демидовской конторы без приглашения уселся в кресло и положил на стол книгу в толстом переплете. С минуту он многозначительно молчал, барабаня пальцами по переплету, отчего на безымянном пальце нежными искорками засверкал перстень.

— В сей книжице записаны все доходы и расходы на содержание по дому, сударь! — строго начал он. — Волею господина нашего Никиты Акинфиевича указано нам, сколько будет вам отпускаться на приличествующее содержание. — Данилов говорил медленно, сильно окая, от чего слова его казались округленными и весомыми.

Некоторая вольность обращения и наставнический тон не понравились Демидову. Однако Николай Никитич сдержался и промолчал. Между тем управитель продолжал свою назидательную речь:

— Знайте, сударь, что Санкт-Петербург — город великий и много в нем прощелыг, которые алчны и ненасытны. Никакими доходами не ублаготворишь всех. Много прогоревших господ шатается по столице и рыскает, как бы за чужой счет поживиться. К тому же, сударь, прелестницы-метрески и прочие соблазны тут в изобилии! Наказано нам господином нашим крепко блюсти интересы ваши, сударь...

— Я не сударь вам, а господин! — вдруг резко прервал управителя Николай Никитич и поднялся из-за стола. — Вот что, холоп, я тут наследник всему. Слышал это?

Молодой хозяин насупился и пронзительно посмотрел на Данилова. По лицу управителя прошла тень недовольства. Делая вид, что не замечает вспыльчивости молодого хозяина, он продолжал спокойно:

— То верно, что вы наследник всему! Но пока батюшка ваш установили расходы, преходить их нельзя! Ведомо вам, господин мой, что доходы сии от заводов притекают. Оно верно, хвала богу, выплавка железа в Нижнетагильском заводе велика, и в Англию ходко оно идет, потому что нет во всем свете славнее нашего уральского металла. А с той поры, как англичанин Томас Фауль вошел в торговую сделку с вашим батюшкой, железо наше поплыло за океан, в Америку. Вот куда метнуло, господин мой... А все же надо беречь копейку, сударь... господин, — поправился Данилов, — ибо с копеечки Москва построилась, с невеликих денег и праотец ваш, покойной памяти Никита Антуфьевич, начал свое дело. Большим потом и превеликим трудом каждая копейка добывается на заводах. Вот оно как!

— Я один у батюшки, и мне на мой век хватит! — сердито отрезал Николай Никитич. — А потом — знай наперед порядок: когда разговариваешь с господином своим, чинно стоять полагается. Ишь расселся, борода, словно купец из Гостиного! — Глаза Демидова вспыхнули гневом. — Встать изволь, Данилов!

Управитель растерялся. «Откуда что и взялось», — удивленно подумал он, живо поднялся, и лицо его приняло строгое выражение. Он чинно поклонился молодому Демидову:

— Слушаю вас, господин!

— Я вызван ко двору государыни... Чтобы в короткий срок сделали экипировку. Гвардии сержанту надлежит явиться по форме. Не копейки считать я сюда прибыл, а воевать за свою жизнь и фортуна. Надо сие разуметь, Данилов!

— Разумею, господин, — подавленным тоном отозвался управитель. — Все будет сделано...

— А теперь иди! Устал я с дороги, и словеса твои ни к чему. Иди! — Он властно указал Данилову на дверь.

Присмиривший и покоренный, управитель тихонько вышел из комнаты и за дверью столкнулся с Филаткой. Дядька с блудливым видом отскочил от замочной скважины.

— Ты у меня смотри, ершина борода! — пригрозил управитель и сокрушенно вытер выступивший на лбу пот.

Уходя в контору, он растерянно подумал:

«Вон куда метнуло! Демидовский корень!..»

Данилов с горестью понял, что кончилась его размеренная, чинная жизнь. Молодой хозяин принес с собой большие заботы и треволения...

Мундир гвардии сержанта отменно сшил лучший военный портной Шевалье; экипировка была в полном порядке, и Николенька порывался немедля предстать перед князем Потемкиным. Письмо батюшки он тщательно берег и знал, что оно возымеет силу. Однако осторожный управитель Данилов удерживал Демидова от визита.

— Потерпите малость, господин. Не к вашей выгоде сейчас ехать к князю, — уговаривал он Николеньку.

— Да ты откуда о сем знаешь, борода?

— Знаю-с! — многозначительно отозвался Данилов. — К сему есть верная примета! У подъезда его сиятельства нет карет — все отступились...

— Да что ты мелешь? — поразился Николенька.

— А то, что есть! Карет нет, выходит — обойден светлейший милостями государыни...

Николенька не знал, что придворная знать интриговала против Потемкина, стараясь его свалить. Сын княгини Дашковой, бывшей в

милости и в доверии у государыни, передал сведения, порочившие князя. Было доложено императрице, что Потемкин допустил злоупотребления в устройстве Новороссийского края.

Потемкин жил в эту пору в царском дворце, в особом корпусе. Из него вела галерея, и проход шел мимо апартаментов государыни. Всем придворным стало известно, что князь закрылся в покоях и не показывался несколько дней во дворце. Все покинули его. Всегда запруженная экипажами петербургской знати Миллионная, словно по мановению жезла, опустела. Вскоре Николенька и сам убедился в справедливости слов Данилова.

В ожидании перемены он пешком ходил по столице, любуясь красотой города. Екатерининские вельможи обзавелись великолепными дворцами. Фронтоны их были украшены массивными балконами с позолоченными решетками. Летом, по праздничным дням, на этих балконах играли хоры роговой музыки, привлекавшие гуляющую публику. Во всем великолепии зданий и дворцов чувствовалась талантливая рука русских зодчих. Но что поразило Николеньку — в обществе почиталось за стыд признаваться, что все это величие создано русскими умельцами. Все наперебой старались хвалиться иностранцами, находя в этом особую прелесть. Придворные пустили молву, что отстроенный в Царском Селе дворец, в котором летом пребывала Екатерина Алексеевна, возведен якобы по плану итальянского зодчего Бартоломео Растрелли. Однако многие из осведомленных людей в столице знали, что возведение этого чудесного дворца начал в 1743 году по своему проекту русский архитектор Андрей Квасов. В 1745 году он уехал на Украину, и дворец достроил Савва Чевакинский, много внесший своего дарования в дивное творение. В столице знать всюду расхваливала архитектурный ансамбль Александро-Невской лавры, приписывая его творчеству Доменико Трезини, а на самом деле лавру возводил русский зодчий Михаил Расторгуев, умышленно забытый знатью. В народе знали, что бесподобный шереметевский дворец над Фонтанкой-рекой возвел не кто иной, как русский строитель Федор Аргунов... Во всем Николенька чувствовал преклонение перед иноземцами и, сам того не замечая, проникся преклонением перед ними. Особенно поразила Демидова невский водный простор и скачущий Медный Всадник. Об

этом творении говорила вся Европа, а о том, что отливал статую русский литейщик Хайлов, не вспоминали.

Удивляло Николеньку необычное сочетание прекрасных зданий с неустройством городских улиц. Плохие булыжные мостовые при езде по ним вытряхивали душу. Ночью улицы Санкт-Петербурга тускло освещались масляными фонарями, отстоявшими друг от друга на расстоянии ста пятидесяти шагов. В одиннадцать часов вечера огни гасились, и на столичных улицах водворялась тьма. Тишину лишь изредка нарушали переклички сонных будочников:

— Слуша-ай!..

Иногда в ночном мраке раздавалось призывное:

— Караул!..

Но будочники или сладко посапывали в своих будках, или делали вид, что не слышали истошных криков...

В эту пору Демидову становилось страшновато, и он торопился засветло явиться домой.

В хождениях и любовании столицей прошла неделя долгих и томительных ожиданий. Ударили северные ветры, которые принесли холод и легкий снежок. Было синее «морозное утро, когда в покой Николеньки поспешно вошел управитель и, ликуя, сообщил:

— Наша взяла, господин! Возьмите батюшкино письмо и, не мешкая, поезжайте к светлейшему!

— Что случилось?

— Все хорошо, Николай Никитич. Вся Миллионная запружена экипажами, проехать невозможно. Все вельможи поторопились к светлейшему. Вновь возвратилась к нему милость государыни нашей!

Мешкать не приходилось. Демидов нарядился в парадный мундир. К подъезду подали выездную карету.

«Чем бы удивить князя? Что поднести ему?» — обеспокоенно подумал он.

Однако пришлось отбросить эту мысль. Потемкина ничем нельзя было удивить. Все имелось к его услугам: власть, чины, ордена, богатство, бриллианты. Любое желание его исполнялось немедленно.

Николенька захватил лишь письмо батюшки.

Еле удалось въехать на Миллионную, столько теснилось на улице экипажей. Николенька легко взбежал по лестнице, крытой ковром, в приемную князя. Слуги с бесстрастными лицами распахнули перед

ним дверь. Приемная блистала великолепием расшитых золотом мундиров, сверканием бриллиантов, украшавших прически дам. Весь вельможный Санкт-Петербург собрался сюда: первые министры государства Российского, увешанные орденами генералы, разодетые в шелка жеманные дамы. Николенька оторопел: ничего подобного ему никогда не приходилось видеть. Демидова подавила неслыханная расточительная роскошь, по сравнению с которой богатства отца и деда потускнели. Огромные зеркала отражали и умножали сияние бриллиантов и золота. Свет из золоченых люстр искрился в хрустальных подвесках и озарял своим сиянием дорогое убранство. Шелка, драгоценные камни, затейливые прически дам, их обнаженные молочно-белые плечи — все скорее походило на сказку, чем на действительность. Вся эта высокородная знать с нескрываемым удивлением и презрением посмотрела на переступившего порог приемной гвардейского сержанта. Весьма бойкий дома, Николенька здесь стушевался и робко подошел к адъютанту. Протягивая письмо, он сказал офицеру:

— Прошу вас доложить его светлости о Демидове и вручить сие письмо!

Упоминание фамилии Демидова нисколько не тронуло адъютанта. С заученной учтивой улыбкой он ответил:

— Прошу вас, господин сержант, обождать!..

Приемную наполнял легкий гул голосов, напоминавший полет роившихся пчел. Кавалеры и дамы с подчеркнутой учтивостью спешили поделиться светскими новостями. Только один Демидов, всеми забытый, не принимал участия в общем оживлении. Каким ничтожеством вдруг он показался себе!

Время тянулось медленно. За окном постепенно угасал серый день. Однако за массивной палисандровой дверью, богато отделанной инкрустациями и бронзой, царила тишина. Несколько раз адъютант уходил в апартаменты князя и возвращался с неизменной улыбкой.

— Как чувствует себя светлейший? — тревожно перешептывались ожидающие кавалеры и дамы. — Выйдет ли?

За окном темнела синева вечера. Люстры засверкали ярче. Свет, дробясь о хрустальные подвески, сыпал искрами всех цветов радуги. А в это время с каждой минутой меркли лица ожидавших. Словно в отместку им за дни забвения, Потемкин так и не вышел.

— Не в духе князь, — разочарованно прошептал один из ожидавших в приемной вельмож.

— Хандрит...

— Ипохондрия... Ныне даже цирюльника прогнал...

— И это в день милости государыни...

Пугливо озираясь, шепотком переговариваясь, гости один за другим удалились. Миллионная пустела. В раззолоченных покоях установилось безмолвие.

А Николенька все сидел в углу в глубоком кресле и наивно ждал.

— Что же вы, господин сержант, выжидаете? — бесцеремонно спросил его адъютант.

Демидов поднялся и увидел, что письмо батюшки все еще сиротливо лежит на столе.

— Жду, когда вручите. Иначе не уйду отсюда! — набравшись духу, сказал он.

Адъютант улыбнулся. То ли храбрость молодого гвардейца покорила его, то ли он решил потешиться над неопытным офицериком, не испытанным на себе гнева светлейшего.

— Хорошо, письмо ваше, господин сержант, вручу немедленно! — вдруг уступчиво согласился он. — Только за последствия не ручаюсь!

Схватив со стола письмо, позванивая шпорами, он поспешно удалился во внутренние покои...

Спустя минуту Николенька слышал недовольное рычание, и вслед за тем из княжеских апартаментов выбежал раскрасневшийся адъютант.

— Прощу! — торопливо пригласил он Демидова и повел его за собой, сам распахивая перед ним двери. Николенька робел, но, скрывая это, твердой поступью шел за адъютантом, который раскрыл последнюю дверь и доложил громко:

— Демидов, ваша светлость!

В большой комнате, ярко освещенной люстрами, на широком диване сидел в незастегнутом халате одноглазый великан. Всецелый пятрней он с наслаждением чесал свою широкую волосатую грудь. Голубой, чуть навькате глаз недовольно уставился в Демидова.

«Потемкин», — догадался Николенька и в немом восхищении застыл у двери.

Несмотря на халат, неряшливость, лицо князя и его рост поразили уральца. Перед ним сидел богатырь, могучий в плечах, с красивым холеным лицом.

Потемкин не сводил с гвардии сержанта пронизательного взгляда.
— Демидов! — заговорил он и поманил к себе. — А ну, покажись!

Николенька шагнул вперед и стоял перед князем ни жив ни мертв. Потемкин внимательно оглядел гостя.

— Дерзок! Как смел попасть мне на глаза?

— Батюшка приказал! — твердо выговорил сержант.

— Батюшка! — усмехнулся князь, и на мгновение сверкнули его чистые ровные зубы. — У батюшки твоего кость пошире и хватка похлеще! А ты — жидковат... В шахматы играешь? — неожиданно спросил он.

— Играю, ваше сиятельство, — поклонился Николенька.

— Садись! — указал Потемкин на кресло перед шахматным столиком. Сам он удивительно легко и живо поднялся с дивана и уселся напротив Демидова.

Николенька поспешно расставил на доске фигуры. Князь молча оперся локтями на стол, зажал между ладонями свою крупную голову и внимательно смотрел на фигуры. Лоб у него был высокий, округлый. Потемкин поднял приятно выгнутые темные брови и глуховато предложил:

— Начинай, Демидов!

Николенька украдкой взглянул на руку Потемкина. На большом пальце князя блестел перстень из червонного золота: тонкая змейка, сверкая чешуей, обвила перст, глаза ее — из алабандина, а на жале искрой брызнул вкрапленный адамант. Пониже змеиной головки сиял камень хризопраз...

— Что же ты медлишь? — повторил Потемкин, и Николенька, быстро сообразив, передвинул фигуру.

Мисс Джесси не раз удивлялась преуспеванию питомца в шахматной игре. И как пригодилось это искусство Николеньке сейчас!

Потемкин двинул офицера, но Демидов, помедлив лишь минуту, понял его ход и передвинул пешку...

Погруженные в игру, они забыли обо всем. Казалось, все сосредоточилось на шахматной доске. Где-то звонко проббили куранты. Адъютант исчез...

Потемкин изредка отрывался от фигур, изумленно разглядывая Демидова. Николенька не щадил самолюбия князя: беспощадно наседал и, сделав неожиданно удачный ход, весело объявил:

— Мат королю!

Князь вскочил, сбросил со стола шахматы. Голубой глаз его сверкнул, лицо налилось темно-сизым румянцем.

— Как ты смел позволить себе это! — взбешенно закричал он.

— Ваше сиятельство, игра велась по чести! — смело глядя Потемкину в глаза, вымолвил Николенька.

— Да я всегда выигрывал! — закричал князь и ероша волосы, возбужденно прошелся по комнате.

— Я не знал здешних порядков, — учтиво ответил сержант.

— Шельмец! — не унимался Потемкин. — Выходит, меня надували?

Он набежал на Демидова, но юнец бестрепетно стоял перед ним, не сводя влюбленных глаз.

— Не нашелся покривить душой. Виноват, ваше сиятельство! — чистосердечно признался Николенька.

Внезапная улыбка озарила лицо Потемкина. Он засмеялся и хлопнул Демидова по плечу.

— Молодец! Потемкина не побоялся. Ай, молодец! Прямая душа! — Он снял с руки перстень — золотую змейку — и вручил сержанту: — Бери и уходи немедля!

Николенька откланялся и стал отступать к двери. Они вдруг сами распахнулись, и перед Демидовым предстал улыбающийся адъютант. Провожая Николеньку через покои, он весело сказал ему:

— Вам повезло, господин гвардии сержант. Еще того не бывало, чтобы так быстро «в случай» попасть!

— Ну, это вы напрасно! — дерзко отозвался Николенька. — Демидовы не случаем славны, а заводами! — Шумно звеня шпорами, он стал быстро спускаться с лестницы...

Потемкин не забыл просьб Никиты Акинфиевича Демидова. Гвардии сержанта вызвали в полк и объявили ему, что он записан на предстоящую неделю в «уборные». В ту пору так именовались сержанты, вызываемые во дворец на дежурство. Обряженный в

парадный мундир лейб-гвардейского Семеновского полка, Николенька направился во дворцовую кордегардию. Голову сержанта украшал шишак, сделанный наподобие римского, со сверкающей серебряной арматурой и панашом страусовых перьев. Сума для патронов тоже была украшена серебром.

Явившийся к дежурному караульному офицеру Демидов был проинструктирован о поведении. Когда часы отбили десять, дежурный повел Николеньку в паре с другим сержантом на пост. Демидов оказался на часах перед кавалергардским залом. В это дворцовое помещение допускались военные только от капитана и лица, носящие дворянский мундир. За обширным залом находилась тронная, у дверей которой на часах стояли два кавалергарда. Не всякий генерал-поручик и тайный советник мог пройти в тронную. Только особое соизволение государыни открывало туда доступ...

Николенька застыл на часах. Его сотоварищ превратился в безмолвный столб. В большом зале сияли мундирами генералы, вельможи, бриллиантами — дамы, одетые в русские платья особого, парадного покроя. Для уменьшения роскоши государыней был введен род женских мундиров по цветам, назначенным для губерний. Однако придворные прелестницы находили возможность украшать драгоценностями и эти требующие скромности платья.

Несмотря на то, что в зале пребывало много ожидающих выхода царицы, стояла тишина. Николеньку влекло неудержимое любопытство: он косил глаза в сторону кавалергардов и поражался их огромному росту и блестящему обмундированию. На офицерах были синие бархатные мундиры, обложенные в виде лат кованым серебром. Шишаки тоже были серебряные и весьма тяжелые. Сержант втайне позавидовал кавалергардам. До чего они были хороши!

Николеньке стало немного грустно, ему хотелось вздохнуть, но он только перевел взгляд на товарища и, подобно ему, старался не шевелить даже ресницами.

Ожидался выход государыни к обеду, и это держало Демидова все время в напряжении. Сколько с упоением рассказывал батюшка о государыне! В результате у Николеньки в душе сложился образ величественной, обаятельной женщины, и он готов был пасть к ее стопам. С замиранием сердца он ловил шорохи, идущие по дворцовому залу. Прошло много времени, когда наконец после

томительного напряжения вдали послышался еле уловимый шум. Все взоры устремились на дверь, охраняемую кавалергардами. Отделанная бронзой и голубой эмалью, она отражала сияние огней, с утра зажженных в это серое петербургское утро. Легкое движение прошло среди ожидавших выхода. Готовые улыбки появились на лицах. Демидов догадался: из далеких внутренних покоев приближалась государыня.

Высокие двери красного дерева распахнулись. Сержант переглянулся с товарищем и затаил дыхание. Из анфилады дворцовых залов величаво, медленно приближалась государыня Екатерина Алексеевна в сопровождении Потемкина. Статный, в малиновом бархатном камзоле, он шел, улыбаясь государыне. Большая бриллиантовая звезда горела на левой стороне его груди.

Возбужденный рассказами отца, Николенька восторженно смотрел на приближающуюся императрицу. Он ожидал увидеть роскошную, цветущую красавицу, величественную, с неотразимым взглядом.

Увы, государыня не отличалась красотой! Она была толста, сильно нарумянена, но даже густые белила и румяна не могли скрыть старческую морщинистую кожу. Царица выглядела старухой, одетой с претензией на красоту и молодость. Она двигалась медленно, и каждое движение, наклон головы сопровождались сиянием драгоценных камней, украшавших прическу государыни. Седые волосы у нее были зачесаны кверху, с двумя стоячими буклями за ушами. Вокруг головы располагались короной самые крупные и ценные бриллианты. Они имели форму ветки, каждый листок которой прикреплялся к сучку посредством крупного бриллианта. Около больших камней помещались более мелкие по зубчикам листьев. С обеих сторон этого великолепного убора красовались два громадных сапфира...

Насколько ослепительно сверкали драгоценные камни, настолько усталыми и потухшими были глаза государыни.

Все низко склонили головы, а дамы присели в плавном реверансе. Государыня шла вперед с застывшей, безжизненной улыбкой. Сопровождавший ее Потемкин выглядел превосходно. Он пленял Николеньку своим ростом, могучеством и свежестью лица.

Сержант уловил веселый взгляд князя, и ему показалось, что Потемкин слегка наклонил голову в сторону государыни и что-то

шепнул ей. Не успел Демидов прийти в себя, как государыня оказалась уже рядом. Усталый взор царицы скользнул по сержанту слева и вдруг остановился на Демидове.

Государыня с минуту задержалась подле него, и на Николеньку неприятно пахнуло: то ли от болезни, то ли от иной причины от царицы тяжело пахло.

— Ваше величество, это и есть сын Демидова! — чуть слышно сказал ей Потемкин.

Государыня прищурила глаза, улыбнулась:

— Надеюсь, господин сержант, вы будете столь же ревностно служить трону, как ваш дед и отец!

Голос царицы оказался глуховатым и неприятным. Не слушая ответа Николеньки, она медленно удалилась. А рядом с ней, сдерживая шаги, весь сияя и свысока рассматривая знать, шел Потемкин.

Демидов разочарованно подумал: «Где же то, что я ожидал увидеть?»

Он перевел глаза и увидел слегка сутулую спину и седые букли государыни. Просто не хотелось верить, что это и есть повелительница огромного государства, воспетая в одах Державина...

В первый же день пребывания в полку молодой Демидов познакомился с гвардии поручиком Свистуновым. Рослый, подтянутый красавец с роскошными пушистыми усами браво подошел к сержанту и наглыми серыми глазами оглядел его.

— Свистунов! — запросто представился он. — О тебе наслышан. Сказывали! Из толстосумов...

Он говорил отрывисто, энергично, без стеснения повернул Николеньку, осмотрел с головы до ног. Демидов был строен, с нежным девичьим лицом, в форме гвардейца выглядел неотразимо. Поручик остался доволен осмотром, похлопал Демидова по плечу:

— Хорош! Чудесен! Ну, братец, поздравляю! Среди столичных дам успех будет превеликий!

Сержант хотел обидеться на бесцеремонность Свистунова, но только покраснел и смущенно промолчал. Поручик взбил короткими пальцами, на которых сверкнули драгоценные перстни, пушистые усы.

— Понимаю, братец, не обстрелян пока! Придет первое дело, и смелость обрешь. Погоди, не одну штурмом брать будем!

Николенька гуще залился краской.

— А служба когда же? — наивно спросил он.

— Служба? — как бы удивленно спросил Свистунов. — Ты что, братец, ради службы в столицу да в гвардию изволил прибыть? Выслуживаются, Демидов, тут не в полку, а на паркетe! Служба, братец, и без нас исправлена будет. Солдат выправит! Господину офицеру наипервейшее дело метреску завести, хорошо пунш пить, в карты играть! Разумей, дорогой: на свете есть три вещи, которые для господ офицеров превыше всего, — карты, женщины и вино!

— А долг воинский? — осмелев, смущенно вымолвил сержант.

— Долг воинский? — возвысив голос, повторил поручик. — Придет время, и умирать будем. Русский солдат — наилучший в мире: терпелив, вынослив, храбр, находчив, благороден и земле родной предан до самозабвения! Он не выдаст, не подведет, братец! Русского солдата сам черт боится!

В эту минуту через комнату проходили два офицера с бледными, усталыми лицами. Гремя шпорами и саблями, вялой походкой они прошли в приемную полкового командира.

— Фанфаронишки! Пустомели! За тетушкиными хвостами укрываются! — сквозь зубы злобно процедил Свистунов. — В полку бывают дважды в год. С ними не играй, братец, обчистят в полчаса. Идем отсюда! — Он увлек Демидова на улицу.

Ведя сержанта под руку, поручик дружески спросил:

— Червонцы есть?

Удивленный вопросом, Николенька промолчал.

— Не беспокойся! В долг не беру и сам не даю! — предупредил Свистунов. — А для знакомства нужно, братец, бокал поднять. Время? — Поручик вынул золотой брегет и посмотрел на стрелки. — Пора, Демидов! В «Красный кабачок» на Петергофской дороге. Ах, братец, какие там прохладительные напитки, вафли и...

Остальное он досказал многозначительным взором. Николенька повеселел. Вот когда пришел долгожданный час веселья. Все почтительные и нудные поучения Данилова мгновенно вылетели из головы. Он радостно взглянул на Свистунова. В поручике ему

положительно все нравилось: и то, что он хорошо, со вкусом одет, подтянут, и то, что держится с достоинством.

Перед подъездом ожидала карета, а подле нее вертелся дьячок Филатка, одетый в новенькую темно-синюю поддевку, но все с тем же грязным платком на шее — так и не расставался дьячок со своими спрятанными червонцами.

— Твой выезд? — кивнув на карету, спросил поручик.

— Мой! — с удовольствием отозвался Демидов и ждал похвалы поручика. Однако Свистунов весьма небрежно оглядел коней.

— Плохие, братец! — сказал он строго. — Толстосуму Демидову коней надо иметь лучших! Золотистых мастей! Погоди, выменяем у цыган! Ты ведь один у батюшки! А это что за морда? — показал он глазами на Филатку.

— Дядька мой.

— Прочь, оглашенный! — прикрикнул на Филатку поручик, но дядька нисколько не испугался гвардейского окрика. Он проворно вскочил на запятки кареты и закричал:

— Без Николая Никитича никуда не уйду! Дите!

— Черт с тобой, езжай! Но запомни: барин не дите, а господин офицер лейб-гвардейского полка.

Свистунов по-хозяйски забрался в демидовскую карету и пригласил Николая Никитича:

— Садись, братец, славно прокатим. Эй, ты! — закричал он кучеру. — Гони на Петергофскую дорогу, да быстрее, а то бит будешь!

Поручик самовластно распоряжался, и Николенька подчинился ему: не хотелось молодому Демидову опростоволоситься перед блестящим гвардейцем. Без Свистунова он был бы сейчас как рыба без воды. С этой минуты он всей душой прирос к поручику.

Со взморья дул холодный, пронзительный ветер. Наступали сумерки, а на Петергофском шоссе было оживленно: вереницы экипажей — самые роскошные кареты и простая телега крестьянина, наполненная всевозможной поклажей, — стремились за город. Скакали конные, чаще гвардейцы, которые не могли пропустить своим ласкающим взором ни одной из дам, сидевших в экипажах. Петербургские модницы в роскошных туалетах, нарумяненные и

напудренные, не оставались в долгу, отвечая на призывный взор гвардейцев томной улыбкой.

На седьмой версте от Санкт-Петербурга, в соседстве с грустным кладбищем, шумел, гремел «Красный кабачок». Ожидая гуляк, лихие тройки нетерпеливо били копытами, гремели бубенчиками.

— Прибыли! — закричал Свистунов и первый выскочил из экипажа. — За мной, Демидов!

— Куда вы, батюшка Николай Никитич? — бросился к хозяину дядька. — В этакое вертепе разорят поганые, опустошат!

— Не мешай! — с неудовольствием отодвинул его Демидов и поспешил за поручиком.

В большом зале было людно, шумно и дымно от трубок. Впереди, под яркой люстрой, вертелись в лихой пляске цыгане. Черномазые, кудрявые, они плясали так, что все ходуном ходило вокруг. Разодетые в пестрые платья молодые цыганки, обжигая горящими глазами, вихляя бедрами и плечами, кружились в буйном плясе. Высокий носатый цыган с густой черной бородой, одетый в бархатную поддевку и в голубую рубашку, бил в такт ладошами и выкрикивал задорно:

— Эх, давай, давай, радость моя!

Шумные гости — гвардейские офицеры, дамы — с упоением смотрели на цыганскую пляску.

— Свистунов! — энергично окликнул поручика кто-то из гуляк, но тот, схватив за руку Демидова, увлек его в полутемный коридор. Навстречу гостям вынырнул толстенький кудлатый цыган.

— Отдельный кабинет и вина! — приказал Свистунов. — Сюда! — показал он на дверь Николаю Никитичу.

Цыган, угодливо улыбаясь, посмотрел на поручика.

— Вина и Грушеньку, душа моя! — обронил Свистунов. — Песни расположены слушать.

Все было быстро исполнено. Только что успели офицеры расположиться в комнате за столом, уставленным яствами и винами, как дверь скрипнула и в кабинет неслышно вошла молоденькая и тоненькая, как гибкий стебелек, цыганка. Большие жгучие глаза ее сверкнули синеватым отливом, когда она быстро взглянула на гостей. Демидов очарованно смотрел на девушку. Одета в легкое пестрое платье, с закинутыми на высокую грудь черными косами, она прошла на середину комнаты. Склонив головку, тонкими пальцами она стала

быстро перебирать струны гитары. Робкий нежный звук легким дыханием пронесся по комнате и замер. С минуту длилось молчание, и вдруг девушка вся встрепенулась, взглянула на Свистунова и обожгла его искрометным взглядом.

— Грушенька, спой нам! — ласково попросил он. Неугомонный гвардейский офицер стал неузнаваем: притих, размяк; ласково он смотрел на цыганку и ждал.

— Что же тебе спеть, Феденька? — певучим голосом спросила она.

Простота обращения цыганки с гвардейским поручиком удивила Демидова; очарованный прелестью юности, он неотрывно смотрел на девушку и завидовал Свистунову.

— Спой мою любимую, Грушенька! — сказал поручик и переглянулся с цыганкой.

И она запела чистым, захватывающим душу голосом. Николай Никитич поразился: цыганка пела не романс, а простую русскую песню:

Ах, матушка, голова болит...

Как пленяла эта бесхитростная песня! Словно хрустальный родничок, словно звенящая струйка лилась, так чист, свободен и приятен был голос. Грушенька сверкала безукоризненно прекрасными зубами, а на глазах блестели слезинки.

Подперев щеку. Свистунов вздыхал:

— Ах, радость моя! Ах, курский соловушка, до слез сердце мое умилила!..

Цыганка умоляюще взглянула на поручика, и он затих. Сидел околдованный и не мог отвести восхищенных глаз. Не шевелясь сидел и Демидов. Что-то родное, милое вдруг коснулось сердца, и какая-то невыносимо сладкая тоска сжала его.

Голос переходил на все более грустный мотив, и глаза цыганки не поднимались от струн. Словно камышинка под вихрем, она сама трепетала от песни...

Демидов неожиданно очнулся от очарования: рядом зарыдал Свистунов. Схватясь пальцами за темные курчавые волосы, он

раскачивался и ронял слезы. Цыганка отбросила гитару на диван и кинулась к нему:

— Что с тобой, Феденька?

— Ах, бесценная моя радость, Грушенька, извини меня? — разомлевшим голосом сказал поручик. — Твоя песня мне все нутро перевернула.

Она запросто взяла его взъерошенную голову и прижала к груди:

— Замолчи, Феденька, замолчи!..

Он стих, взял ее тонкие руки и перецеловал каждый перст.

— Хочешь, я теперь романс спою? — предложила она и, не ожидая согласия, запела:

Милый друг, милый друг, сдалеча поспеши!..

Плечи ее задвигались в такт песне, стан изгибался. И как ни хороша была в эту минуту цыганка, но что-то кабацкое, вульгарное сквозило в этих движениях. Очарование, которое охватило Демидова, угасло. Перед ним была обычная таборная цыганка. Николай Никитич прикусил губу.

— Грушенька, бесценная, не надо этого! — поморщился Свистунов.

Она послушно на полуслове оборвала песню и уселась рядом с ним.

— Уедем, радость моя! Уедем отсюда — ко мне, в орловские степи! — жарко заговорил Свистунов.

Цыганка отрицательно покачала головой.

— Убьет Данила! Да и куда уедешь, когда нет сил покинуть табор! — печально отозвалась она. — Не говори о том, Феденька!

Поручик взглянул на Демидова.

— Ну, если так, гуляй! Своих зови!..

Кабинет так быстро заполнился цыганами, словно они стояли за дверями и ждали. Цыганки, в цветистых платьях и шалях, с большими серьгами в ушах — старые и молодые, — начали величание. Цыгане, в цветных рубахах под бархатными жилетами, запели.

Свистунов полез в карман и выбросил в толпу горсть золотых. И разом все закружились в буйной пляске. Огонь и вихрь — все стихии

пробудились в ней. Сверкающие глаза смуглых цыганок, полуобнаженные тела, трепетавшие в сладкой истоме под лихие звуки гитар, пляски удалых цыган захватили Демидова.

В круг бешено плясавших ворвался сам Данила и завертелся чертом. Он пел, плясал, бесновался, брэнчал на гитаре и кричал во все горло:

— Сага баба, ай-люли!

Вся тоска отлетела прочь, от сердца отвалился камень. Буйные и шальные напевы подмывали, и молодой Демидов пустился в пляс...

Груша все еще сидела рядом с поручиком и, опустив голову, нежно разглядывала перстень с голубым глазком.

Разгоряченный, охваченный безумием пляски, Данила, однако, успевал зорко следить за цыганкой. И когда Свистунов обнял ее, он вспыхнул весь и закричал девушке что-то по-цыгански. Груша вскочила и ворвалась в круг. Данила громче ударил в ладоши и яростнее запел плясовую...

Ночь прошла в шумном угаре. Николай Никитич впервые был пьян. Свистунов оставался неизменным. Цыгане пили вино, разливали его, шумели, — разгул лился через край. Пошатываясь, Демидов вышел в коридор, ощупал кошелек и с огорчением подумал: «Все, выданное батюшкой, спустил...»

За окном прогремели бубенчики: гуляки покидали «Красный кабачок». Зал опустел. Николай Никитич вернулся в комнату и мрачно предложил:

— Пора и нам!

Он полез за деньгами, но поручик решительно отвел его руку:

— За все плачу я! Слышишь? — Он выхватил пачку ассигнаций и вручил Даниле.

— Бери!

Цыган жадно схватил деньги и упрятал под жилет.

— Эх, черт! — горестно выкрикнул Свистунов цыгану. — Погасил ты мое горячее счастье... Ну, Груша, прощай!..

Цыганка мелкими шагами подбежала к нему и поцеловала в сухие губы.

— Это можно, в нашем обычае! — спокойно сказал Данила и поклонился гостям: — Благодарим-с, господа!

— Сатана кабацкая! — отвернулся от него поручик. — Идем, Демидов, отсюда!

Оба вышли из кабака. На востоке ясно было сизое небо. Запоздалые тройки уныло стояли у подъезда. Из-за угла выбежал Филатка и пожаловался Демидову:

— Батюшка, почитай все спустили! Эти сатаны умеют подчистую господ потрошить! — Он взглянул на восток и часто закрестился: — Спаси, господи, нас от цыганской любви! Она, как пламень, пожрет все, а после нее только и остается один пепел да пустой кошелек!

— Слышишь, Демидов? — сказал поручик, забираясь в карету. — Твой холоп, поди, и не знает, что есть возвышенное чувство? Ах, любовь, любовь! — вздохнул он и зычно закричал ямщику:

— Погоняй!

Над Санкт-Петербургом стояла синяя дымка. Дорога еще была пустынная, и в свежести осеннего утра особенно грустно заливались бубенцы под дугой...

Всю неделю колобродил Демидов с однополчанами. После бурно проведенной ночи он до полудня отсыпался, затем приказывал закладывать карету и снова выбывал в город.

Столичные увеселения увлекали старых и молодых, Вся петербургская знать восторгалась новым балетом «Шалости Эола», в котором пластикой и грацией танца пленял знаменитый танцовщик Ле Пик. Демидов, который досель не видел ни балета, ни театра, был ошеломлен. Разве мог он пропустить хотя бы одну постановку и не полюбоваться на привлекательных русских балерин Наточку Помореву и Настюшу Барилеву? Что могло быть очаровательнее этих созданий? И как можно было не сделать им презента и не увлечься? На Царицыном лугу имелся театр, а в нем подвизалась русская вольная труппа. Крепостной певчий Ягужинского — Михайло Матинский написал и поставил презабавную оперу «Гостинный двор». Все роли игрались актерами до слез уморительно. После театра Свистунов непременно увозил Демидова в злачные места, в которых так умело опустошались господские кошельки...

Напрасно Данилов приступал к Николеньке с уговорами — ничто не действовало. Демидов презрительно выслушивал тирады

управителя и, махнув рукой, отговаривался:

— Все сие известно издавна! Запомни, Данилов: настоящее веселье бывает только в младости, и на мое счастье выпали великие капиталы батюшки!

— Да нешто их по ресторациям да по цыганам проматывать надо? Капитал всему хозяин. Без него и заводы станут...

Только от дьячка Филатки не было избавления. Он не отставал от Николеньки, всюду его сопровождая. Не успеет Демидов и рот раскрыть, а дядька уже громоздится на козлах. На все протесты господина у него находился один ответ:

— И, батенька, ругайте не ругайте, все равно не оставлю вас. Мне доверено ваше драгоценное здоровье, и я в ответе за него!

Когда экипаж трогался, он толкал кучера в бок:

— Ты, парень, небось все перевидал в столицах, а я родился в лесу и молился колесу. А бабенки и тут бывают впрямь хороши, только вся беда — худы телом. Тьфу, прости господи, Вавилон здесь, и у доброго человека голова закружится, глядя на все это...

Кучер, плечистый мужик в синей поддевке и в круглой шапочке с павлиньими перьями, свысока разглядывал Филатку:

— Ты бы, пономарь, хоть лоскут с шеи скинул. Стыд на людях тряпицу носить!

— Да нешто это тряпица! — возмущался Филатка. — Это шейный платок, притом заветный. Сибирская зазноба поднесла!

— Ну-ну, хватит врать! Какая дура ухватится за тебя! Одна ершиная бородака стоит алтын, да рубль сдачи! — насмешливо разглядывал кучер тощую растительность на хитрой мордочке дьячка.

Управителя санкт-петербургской конторы Данилова сильно тревожило поведение демидовского наследника.

— Закружил, завертел! С цепи сорвался малый. Не сходить ли к светлейшему, — одна надежда и спасение. Приструнит, не посмотрит, что Демидов!

Он всерьез подумывал добраться до Потемкина и просить угомонить не в меру расходившегося Демидова.

Николенька так разгулялся, так свыкся с поручиком Свистуновым, что на все махнул рукой. Столичные увеселения целиком захватили его, и в полк он больше не являлся. В эти дни его увлекли разные прелестницы. Все они нравились и одновременно не нравились ему.

Назойливые, бесстыдные и жеманные, они отталкивали его своею бесцеремонностью и опустошенностью. Среди них только одна цыганка Грушенька запечатлелась сильно. Но Грушенька была «предмет» Свистунова...

«Эх, мне бы ее! — с досадой думал он. — Я бы уволок ее в уральские горы».

Но тут в памяти вставал грозный батюшка, и Демидов остывал...

В одно туманное утро Николенька и Свистунов возвращались домой с очередной попойки. Лихая тройка пронесла их по шоссе, кони прогремели копытами по мосту через Фонтанку-реку и вынесли в Коломну. Впереди, среди оголенной рощицы, высилась церквушка Покрова. Из высоких стрельчатых окон лился бледный свет лампад.

— Стой! — крикнул Свистунов кучеру. — Давай, брат, Демидов, зайдем в церквушку. К богу потянуло...

Следом за поручиком Николенька вошел в притвор. Там, в полутьме, мерцали одинокие восковые свечечки. Было тихо, благостно. После шумной ночи Демидов сразу окунулся в другой мир. Тут, в притворе, он увидел потемневшую картину страшного суда: рогатых дьяволов и грешников, влекомых в огонь... А рядом с устрашающей иконой, склонив головку, в полумраке стояла хорошенькая монашка с кружкой на построение храма. Золотистые блики от восковых свечей падали на ее лицо. Николенька взглянул в большие синие глаза сборщицы, и по сердцу прошла жаркая волна.

— Как тебя звать? Откуда ты? — тихо спросил он.

Монашка подняла холодные глаза, они блеснули, как синеватые льдинки.

— Инокния Елена, — с достоинством отозвалась она и протянула кружку: — Пожертвуйте, сколько в силах!

Чудеснее всякой музыки показался ее голос Николеньке. Он поспешно полез в карман.

— Эх, и хороша голубка! С огоньком, шельма! — бесцеремонно взял ее за приятный подбородок Свистунов.

Монашка изо всей силы ударила поручика по руке:

— Не смей, барин!

— О-о! — удивленно взглянул на нее гвардеец. — Гляди, Демидов, и зубки есть! Хороша порода!

Николенька не слушал друга. Строгость сборщицы ему была приятна. Он открыл кошелек и все золотые, которые берег до случая, со звоном опустил в кружку. Глаза монашки расширились от изумления, и руки чуть-чуть задрожали от волнения.

— Вот, Аленушка, все тебе отдал! И сердце готов! — ласково сказал он.

— Спасибо, барин. Только я не Аленушка, а инокиня Елена! — сдержанно сказала она. — А сердце свое добрым делам отдайте!

— Дай я тебя поцелую! — осмелел вдруг Николенька и потянулся к ней.

Монашка заслонила лицо кружкой и пригрозила:

— Гляди, матушке Наталии пожалуюсь, несдобровать тебе!

— А что нам твоя матушка, если мы самого черта не боимся! — рассмеялся Свистунов и попытался поймать ее за руку. — Милая Аленушка, будь сговорчивей!

Со страхом глядя на красивых гвардейцев, монашка отступила в церковь. Они тоже вошли под своды храма. Две старушки стояли у колонн и шевелили бескровными губами. Дребезжащий голос попаика наполнял пустынную храмину. Монашка легкой походкой прошла вперед и опустилась перед образом. Она ни разу не оглянулась, впилась взором в икону. Стараясь не бряцать шпорами, гвардейцы, томясь, долго стояли в углу.

— Хороша шельма! — с молитвенным выражением на лице шепнул Свистунов. — О господи!.. — Он часто закрестился, возвел очи горе и завздохнул: — Пресвятая богородица, сколько соблазнов рассеяно на человеческом пути в юности... Ей-ей, она получше моей Грушеньки...

— Перестань! — сердито обрезал Николенька. — Аленушка про меня писана Заклинаю тебя, не мешай!

— Боже, спаси меня и помилуй! — нарочито громко, покаянно взмолился Свистунов...

Что творилось в эту минуту в душе молодой сборщицы, — больше всего волновало Николеньку. Впервые в его жизни сердце защемило сладкой любовной тоской. Синие глаза Аленушки покорили его своей безмятежностью. Разбивая очарование, поручик возмущенно прошептал другу:

— Ну и дурак же ты, Демидов! Все золото сразу высыпал! Это же поповские глаза, разве их насытишь!

Николенька не хотел слушать. Он недовольно повел плечами.

«Оглянись, оглянись, голубка!» — мысленно призывал Николенька, не сводя глаз с девушки.

Словно угадывая его призыв, кланяясь образу, монашка украдкой взглянула на Демидова. И Николеньке почудилась ответная ласка в этом взоре. Неожиданно осмелев, он подошел к ней, опустил в кружку последний рублевик и прошептал:

— Люблю! Ой, как люблю...

Как горячее дыхание, пронеслось это и коснулось ее слуха. Она ниже склонила головку, а он, чуть слышно позвякивая шпорами, удалился на свое место и потянул Свистунова за рукав:

— Уйдем, тут больше нечего делать!

Они вышли на паперть. Со взморья тянуло густым туманом. Большой каменный город, пробуждаясь, наполнялся шумом. Вездесущий Филатка немедленно подвернулся Николеньке под руку и зашептал ему укоризненно:

— Нехорошо, батюшка, совращать духовное лицо!

— А разве ты видел ее? — удивился Демидов.

— Все видел, батюшка. Слов нет, хороша! Ой, и до чего хороша! Да и вы, батюшка, красавец. Ой-ой, на архангела Гавриила сейчас похожи... Только грех, большой грех — с духовным лицом!..

Глубокая заноза засела в сердце Николеньки: он засыпал и просыпался с мыслью об Аленушке.

Два дня спустя он вместе со Свистуновым ранним утром отправился к Покрову. Все так же под сводами горели редкие лампадки, те же безмолвные старушки шевелили морщинистыми губами. Увы, монашки ни в храме, ни в притворе не было!

— Езжай к Симеону! — приказал Демидов кучеру.

Но и в церкви Симеона он не встретил знакомых синих глаз. Гвардейцы объездили все церкви и церквушки и нигде не встретили сборщицы. Николенька упал духом, заскучал.

— Ах, Свистунов, один раз улыбнулось счастье, и то угасло! — с глубокой скорбью пожаловался он поручику.

— Ты что ж, и впрямь полюбил девку? — строго спросил Свистунов.

— Полюбил, сильно полюбил! — признался Николенька.

— Эх, любовь, любовь! — вздохнул Свистунов. — Из-за нее ни зги не видать. И себя потерял и от людей отошел!

— Что же теперь делать? — спросил юнец, и в голосе его прозвучала искренняя сердечная боль. — Как найти ее? Санкт-Петербург велик, ищи песчинку в море!

— А ты у своего Филатки спроси! Он из духовных и нравы этих бестий досконально знает! Эй, Филатка! — позвал Свистунов.

Дьячок насторожился.

— Послушай, церковная крыса, где нам отыскать Аленушку?

Филатка почесал в затылке.

— Монашку? — догадался он. — Известно где: на то и курица, чтобы в курятнике жить, а монашествующая девка — в монастыре. А какой монастырь в Санкт-Петербурге для инокинь? Известно какой! Новодевичий...

— Видишь! — похвалил Свистунов. — Рыбак рыбака чует издалека. Эй, погоняй в монастырь!

— Пощадите, батюшка! — взмолился Филатка — Сами в грех по уши завязли и меня с собой в адскую пучину тянете!

— Гони коней! — прикрикнул поручик, и коляска понеслась к Московской заставе.

Филатка оказался прав, и час этот был удачным для Демидова. Оставив карету у монастырских ворот, гвардейцы прошли за ограду. По дорожке к церкви шла бледная и скучная Аленушка. Завидев Николеньку, она вспыхнула, глаза ее озарились радостью, но тут же, спохватившись, монашка смущенно потупила взор.

— Аленушка! — вскричал Николенька. — Мы весь Санкт-Петербург обрыскали, отыскивая тебя!

Она молча шла вперед, не поднимая головы. Гвардеец не отставал, страстно нашептывая:

— Жить не могу без тебя!

Она приостановилась, подняла на Демидова синие глаза. В них заблестели слезинки.

— Зачем смутили мою душу! — с тоской сказала она.

— Я хочу видеть и слышать тебя! — воскликнул Николенька.

Монашка степенно пошла к церкви, оставив гвардейцев на дорожке.

— Боже мой, что делать? — горестно вырвалось у Николеньки.

— Ну, брат, пустяки! Дело в порядке. Нельзя больше колебаться: атака, приступ, победа!

— Как?

— Очень просто, Демидов. Взгляни на себя: господь бог наградил тебя смазливой рожей. А это все!

— Лицо у меня девичье! — со вздохом признался сержант.

— Вот это и хорошо! Ты по виду совершеннейшая девица! — вразумительно сказал Свистунов и посоветовал: — Одеть тебя в платье, и всякий за девицу примет, ничтоже сумняшеся. Понял?

— Ничего не понимаю! — недоумевающе посмотрел на друга Николенька.

— С завтрашнего дня ты моя сестра Катюша я желаешь вкусить иноческую жизнь. Я тебя представлю сюда на испытание, ну ты и поживешь! — Глаза поручика сверкнули озорством.

Николенька засиял.

— Свистунов, братец мой, дай расцелую. А она не закричит?

— Да что ты, милый! По глазам видно: согласна с тобой хоть в омут головой!..

Свершилось небывалое: дядька Филатка по настоянию Николеньки пригубил чарку. Ничего — легко прошла! За ней — вторую. Еще веселее прокатилась.

— Я о том и говорил: первая — колом, вторая — соколом, а потом — мелкими пташками! — смеялся Свистунов и подбадривал дядьку: — Пей, пей, дьякон! Пити — веселие Руси. Так, что ли, в законе божьем сказано?

— Так, батюшка, так! — охотно согласился Филатка и осушил третью чару. Скоро дьячок захмелел и мертвецки пьяным свалился у кабацкой стойки. Вечерело, когда он очухался под забором. Ни барина, ни кареты. Хвать, и шейный платок с червонцами исчез.

— Караул! — завопил дьячок. — Дотла обчистили и барина похитили!

Набежали будочник, квартальный и стащили очумевшего с похмелья Филатку в участок.

— Батюшки, не губите, барина потерял! — завопил он.

Дьячок упал на колени и повинулся: сколько лет не брал в рот хмельного — зарок перед богом и господином дал, а тут разрешил! Размазывая слезы, с горьким сокрушением рассказал он квартальному про свою беду.

Уставившись в мочальную бороденку дьячка, квартальный вдруг захохотал хриплым басом:

— Ха-ха-ха! Гвардейцы — известное дело! Пошалили малость! — Он хохотал до колик и хватался за бока.» А когда отошел от смеха, вдруг сдвинул брови и поднялся со скамьи. — А это видел? — сунул он под нос Филатки волосатый кулак. — Сгинь, шишига! По-пустому караул кричал! — Он сгреб его за шиворот и выбросил за порог.

Дьячок долго кружил по площадям и улицам, боясь предстать перед управителем. Когда же появился перед ним, то поразился: Данилов не топал, не кричал, а повалился на стул и, пуча серые жабы глаза, все спрашивал:

— Что теперь будет? Куда запропастился Николай Никитич? Матушка ты моя, запрет нас Никита Акинфиевич, сгноит в погребнице! Ох, милые мои!

Толстый, плешивый, всегда такой внушительный, он вдруг стал жалким и растерянным.

— Что же ты глядел, дурья твоя голова! — укорял он дьячка.

Филатка потер ладонью длинную тощую шею.

— Где тут было глядеть, когда и свое добро упустил! — скорбно пожаловался он...

Весь день оба обсуждали: куда мог скрыться Демидов? Под страхом батогов допросили кучера, и тот поведал:

— Верно, отвозил барина к Свистунову. Стоял час. Барин загостился, вместо него вышел поручик с ихней сестрицей и сказал: «Отвези в монастырь». Известное дело, отвез...

— А куда же девался Николай Никитич? — наседали на кучера Данилов.

— Господин Свистунов сказал, что барин пешим пошел.

Николенька как в воду канул. С большой осторожностью управитель объявил квартальному о беде. Тот и ухом не повел.

— Закутил барское чадушко! — с насмешкой отозвался он. — В столице всякое видано!

На третий день пришла горшая беда, — в демидовскую контору примчался курьер и объявил Данилову: его благородие гвардии сержанта Демидова князь Потемкин требует!

А где отыскать его благородие гвардии сержанта, если третьи сутки ни его, ни Свистунова?

«Большая гроза будет», — с ужасом подумал Данилов, тщательно обрядился в бархатный кафтан, надел парик и поплелся с повинной к светлейшему. Долго он сидел в обширной приемной, пока его допустили к князю.

Войдя в гостиную, он брякнулся Потемкину в ноги.

В расшитом золотом халате, в туфлях на босу ногу, князь удивленно разглядывал демидовского слугу:

— Ты почему здесь? Мне Демидов нужен! Где он?

— Ваше сиятельство, батюшка, пропал демидовский сынок, ой, пропал! Не сносить мне головы!

— Вставай, дурак! — Потемкин ткнул ногой в бок управителя. — Как так пропал? Где это слыхано, чтобы в Санкт-Петербурге пропал гвардеец? Найти, живо отыскать!

— Ума не приложу, где искать! — взмолился Данилов.

Потемкин запахнул халат, прошелся по комнате. В руках его был длинный черешневый чубук, он затянулся и пустил клубы дыма. Управитель не поднимался с колен. Его беспомощный, растерянный вид разжалобил князя.

— Скажи, борода, за кем Демидов волочился? — улыбаясь, спросил он.

— Дядька сказывал, к монашке приставал...

— О! — удивленно поднял брови Потемкин. — В монастырский курятник забрался сержант. Эх ты, чумазый, вот где надо искать господина сержанта. Живо! Квартальному наказать!

В Новодевичьем монастыре в ту пору поднялся переполох, ударили в набат. Подоспевший к обители Данилов и квартальный диву дались: ни дыма, ни огня. Стало быть, не пожар. Бросились в покои к игуменье Наталии.

— Что стряслось в обители, матушка? — смиренно стали допытываться они. — Ни огня, ни дыма, а набат?

— Ах, голубчики, отцы вы наши! Несчастье совершилось. От века тут подобного не слыхано. В инокиню Катерину бес вселился!

— Не может этого быть, матушка! — поразился квартальный. — В моем околотке да такое... Нет, тут что-то не то, матушка. Бес?..

— Истинно бес! — гневно выкрикнула игуменья. — Судите сами, отцы мои: девица Катерина — сестра поручика Свистунова — женщиной оказалась!

— Неужели? Господи, да что градоначальник скажет! — возопил, в свою очередь, квартальный.

— Верно, бес... Он все! Он, враг рода человеческого! Такая девица богомольная, почтительная была и вдруг... Ах, господи, мы ее с инокиней Еленой в одной келье держали!..

— Да где же этот бес? — просияв, спросил Данилов.

— А там, на колокольне, заперли его. А он, проклятый, в набат! На всю столицу теперь на обитель поношение.

— Благослови, матушка! — Квартальный и управитель бросились к звоннице.

Самая храбрая из инокинь отперла им железную дверь, а другие монашки шарахнулись в сторону. Лица побледнели у них, глаза испуганные. Вот-вот из двери выбежит бес.

Одна Аленушка тихо стояла в отдалении и молчала.

Квартальный вызвал будочника, и тот, погромыхая алебардой, полез вверх. За ним, опасливо озираясь, стали подниматься Данилов и квартальный. В звоннице было темно, только гул набата, ударяясь о каменные стены, стал гуще; казалось, сверху бросали камни.

— А что, если и в самом деле бес завелся в околотке? — беспокойно закрестился квартальный.

Набат вдруг стих, и сверху раздался крик.

— Эй, кто там? — закричал квартальный.

— Здесь бес, ваше благородие. Тут он, — отозвался будочник. — Держу!

— Давай вниз!

— Да он и сам идет!

По лестнице раздались шаги, и в полумрак притвора спустились двое. Данилов взглянул в лицо монашенки и заорал от радости:

— Николай Никитич, да вы ли это?

Демидов поморщился и нехотя отозвался:

— Не видишь, что ли, грехи замаливал!

Управитель и квартальный бережно усадили Николеньку в карету и покатали. Рядом с ним поместили Филатку.

— Ты его упустил, ты его и стереги! — пригрозил управитель.

Николенька и не думал бежать. Ехал он молча, хмурился. Дьячок вертелся, пыхтел, никак не мог уgomониться. Распирало любопытство.

— Ну чего юлой вертишься? — сердито спросил Демидов. — Или блох нахватал в трактире?

Филатка пытливо посмотрел в лицо Николеньки и лукаво спросил:

— Скажи, батюшка, по совести, выгорело ли задуманное?

— Вот о том и горюю, что шуму много, а дела ни на грош! — с обидой отозвался он и отвалился в угол кареты.

Дьячок укоризненно покачал головой:

— Эх, батюшка, ну и простак ты по всем статьям! Где это видано: в курятнике побывать и вернуться без пушинки в зубах! А хлопот, хлопот сколько, и все зря... Эх-хе-хе, промазали, господин мой хороший!

Вернувшись домой; Николенька нашел на столе большой синий пакет. Он поспешно вскрыл его и прочел предписание немедленно явиться на прием к светлейшему князю Потемкину. Демидов изрядно струсил.

«Ну, будет головомойка за озорство в женской обители!» — со страхом подумал он. Всем был известен необузданный нрав светлейшего. Особенно опасно было попасть под руку разгневанного всесильного вельможи. Николеньке оставалось одно — покориться участи.

Он тщательно натянул новенькие лосины, надел в талию сшитый мундир и долго, внимательно разглядывал себя в зеркало. Подле него вертелся Данилов. Он чутьем догадывался о тревоге Николеньки, а самого в это время подмывала радость.

«Вот когда остепенится! Григорий Александрович прижмет хвост, не посмотрит, что демидовский корень!» — утешал себя управитель.

С важным, степенным видом он проводил гвардии сержанта до кареты. Стоя на ступеньке крыльца, Данилов с особым упоением прокричал кучеру:

— Гони к светлейшему!

На сей раз выезд обошелся без дядьки. Огорченный Филатка псом вертелся подле управителя, умильно заглядывая ему в глаза:

— Как там обойдется без меня, Павел Данилович? Глядишь, я присоветовал бы Николаю Никитичу, какое словцо к месту сказать, направил бы его на добрую стезю.

— Ну, это и без тебя светлейший похлеще сделает! Непременно пустит по прямой стезе! — насмешливо сказал управитель. — Ты вот что, лучше подале от меня уходи, а то сердце мое кипит. Сам тебе стезю покажу!

Пугливо озираясь, дьячок юркнул в прохладную прихожую. Данилов сладко зевнул и торопливо перекрестил рот:

— Помоги, господи, избавиться от суеты и беспокойств!..

Между тем Николенька подъехал к дворцу. С трепетом он вступил в разубранные чертоги князя. В приемной, устланной пушистыми коврами, сверкающей зеркалами, золоченой мебелью, толпилось много одетых в парадную форму генералов, важных, в атласных камзолах, вельмож. Все они разговаривали вполголоса, с плохо скрываемым беспокойством поглядывая на высокую, изукрашенную бронзой дверь. Никто из них не обратил внимания на скромного сержанта, пробиравшегося в угол.

В приемную торопливо вышел адъютант, краснощекий гвардеец: его мгновенно окружили.

— Светлейший в духе? — приглушенным голосом, косясь на дверь, спросил толстоносый генерал. — Опять хандрит? Ах, боже мой, когда нам солнышко блеснет!

Адъютант поднял голову и торжественно объявил:

— Светлейший изволит сейчас выйти!

В ту же минуту два арапа бесшумно распахнули дверь. Из анфилады раззолоченных покоев величественно, медленно приближался знакомый гигант в лиловом, шитом золотом мундире, усыпанном звездами. Говорок сразу стих, и установилась глубокая тишина. Николенька услышал учащенные удары своего сердца. Грузные шаги раздались совсем близко. Все в приемной склонилось в глубоком, почтительном поклоне и с замиранием сердца ждали.

С холодным, строгим лицом, никого не замечая, Потемкин вышел на середину зала. Неуловимый трепет прошел среди ожидающих.

Николенька стоял в тени, за спинами вельмож, чувствуя, что у него от страха холодеют руки. Каким маленьким и незаметным показался он себе в эту минуту! Разве до него сейчас князю среди такого блистательного общества?

Светлейший остановил свое единственное око на молоденьком адъютанте, улыбнулся чему-то и вдруг громко сказал:

— Гвардии сержанта Демидова сюда!

Все вздрогнули, удивленно взглянули на юнца с темным пушком на губе. Давно ли он носит форму, а между тем...

Потемкин равнодушно повернулся ко всем спиной и, тяжело ступая, пошел в апартаменты. Адъютант предложил Демидову следовать за князем.

«Теперь пропал!» — твердо решил Николенька и безмолвно пошел за Потемкиным.

Бледный сержант проследовал за князем через ряд роскошных покоев. Потемкин безмолвствовал, и это еще больше усиливало тревогу Демидова.

Войдя в диванную, князь присел на широкую софу, поднял на сержанта свой взор. В голубом глазу циклопа вдруг вспыхнул веселый смех.

— Ну что, сибирский плут, наблудил в обители? — улыбнулся Потемкин, и крупное красивое лицо его подобрело.

— Был грех! — сознался Демидов.

— А скажи, любезный, о чем ты сейчас думал? — улыбаясь, спросил князь.

— А я ни о чем не думал. Со страху умирал, следуя за вами! — чистосердечно признался Николенька.

— Страшен я, что ли? — построжав, спросил Потемкин.

— Совсем другое, ваше сиятельство, — осмелев, пояснил сержант; — Страшно стало, что больше не увижу вас. Прогоните за озорство! А то — страшнее смерти!

— Ну, брат, молодец! — вставая с дивана, сказал Потемкин. — За монашку прощаю. Быль молодцу не укор. Только о сей черной курочке не выходило звонить на весь Санкт-Петербург! Экое кукареку задал, братец!

— Винюсь! — склонил голову Николенька.

— Повинную голову и меч не сечет! Поздравляю, братец, тебя своим адъютантом. Собирайся в путь, а пока поспеши в полк, непременно отдай последний визит командиру...

Радость брызнула из глаз Николеньки, он схватил руку князя и жадно поцеловал ее.

— На всю жизнь обязан вам! — восторженно воскликнул он.

Потемкин улыбнулся и сказал:

— Не думай, что избран ты по капризу! Ради рода твоего сие сотворил. Демидовы — народ крепкий, упорный — дубы! А такие мне на службе нужны. Прощай!..

Николенька откланялся и сияющий выбежал из покоев. Все кинулись к нему с расспросами, но он, отмахиваясь, бросил скороговоркой:

— Извините, спешу, послан светлейшим...

Он вихрем пронесся через приемную, галопом проскочил ступеньки крыльца и, влетев в карету, закричал кучеру:

— Гони в лейб-гвардии Семеновский полк!

Стоило Демидову явиться туда и поведать о своем назначении, как командир обнял его и расцеловал.

— Желаю, господин сержант, удачи! Светлейший умен, деятелен, и вам, господин адъютант, улыбнулась фортуна.

Он учтиво проводил Николеньку до приемной.

Не чуя под собой ног, Демидов бросился к Свистунову. Сонный денщик подал гостю наспех написанную цидульку.

«Демидов, — писал поручик, — извини, не буду дома два дня. Веду фортеции к новой твердыне. Дама черненькая, с пухлой губкой, одно слово — прелесть!»

«А Грушенька? — подумал Николенька и тут же махнул рукой. — Для этой свой брат цыган дороже гвардейца!»

У подъезда Демидову встретились знакомые однополчане, которых невзлюбил Свистунов. Завитые, раздушенные, затянутые в корсеты, они выглядели изысканно. Гвардейские аксельбанты и галуны горели жаром.

— Демидов, пойдем с нами! Наслышаны о твоей фортуне! Попал в случай! — залебезили они перед ним. — Идем, идем, брат! Испытай счастье на зеленом поле.

Они увлекли сержанта в собрание. Демидов не успел опомниться, как очутился за карточным столом. Кругом в клубах табачного дыма ходили офицеры, многие из них, любопытствуя, стояли за креслами у зеленых столиков. Николенька скользнул взглядом по лицу банкюмета. Бледнолицый, с тяжелым взглядом свинцовых глаз, он стал быстро метать. Мало смысливший в игре, Николенька внимательно следил за картами. Он высыпал все золото на стол и стал ждать.

А ждать долго не пришлось.

— Ваша бита, сударь! — сухо отрезал банкюмет.

Демидов улыбнулся неудаче, отделил пять червонцев.

— Погодите, придет фортуна и ко мне! — пригрозил он. — Валет на пе!

Но и в другой раз его ставка была бита. Николеньку охватил азарт. «Не может того быть, чтобы все время проигрыш!» — подумал он и поставил на все.

Банкюмет тщательно перетасовал карты и стал метать.

— И эта, сударь, бита! — ухмыляясь, сказал он.

У Николеньки на лбу выступил холодный пот. Просто не верилось, что в полчаса весь кошелек опустошили.

— Ну что ж, будем играть еще, сударь? — спросил партнер и поощряюще улыбнулся Демидову. — Право, получилось неудобно: впервые встретились, и вы проигрались...

На лице сержанта вспыхнул румянец. Преодолевая смущение, он признался:

— Все червонцы вышли, господа. Не знаю, как и быть.

— Демидов, душа! — вскочил партнер и вкрадчиво предложил: — Мы тебе под офицерское слово верим. Пожалуй в долг! На мелок!

«Отыграюсь! Непременно отыграюсь!» — решил Николенька и согласился:

— Давай в долг!..

Банкюмет сбросил карты.

— На сколько?

Николенька решил на все. Но только он произнес крупную сумму, как сморщился, словно от зубной боли.

— Бита:

Руки Демидова задрожали. Он взглянул на грудку червонцев и мелок, которым партнер быстро нанес пятерку с четырьмя нулями.

— Пятьдесят тысяч! Не может того быть!

В отчаянии, больше не владея собою, он чужим голосом выкрикнул:

— На пятьдесят, сударь!

— Пожалуйста, сержант! — скрипучим голосом отозвался банкомет, быстро стасовал карты и выкинул три.

Николенька открыл свои.

— Вам сегодня не везет, сударь. Надо прекратить игру. Сто тысяч за вами! — Он смешал карты, небрежно сгреб червонцы и сухо поклонился Демидову. — Когда прикажете, сударь, прибыть за долгом в контору?

Только сейчас дошло до сознания Николеньки, какую опрометчивость он совершил. Смертельная бледность покрыла его лицо. Он встал, ухватился за край стола.

— Так скоро! А если... если я сейчас стеснен? — пробормотал он.

— Уговор дороже денег, сударь. Карточные долги для офицерской чести обязательны...

Загремели стулья.

— Я, может быть, отыграюсь, господа! — вскричал в отчаянии Николенька.

— Нет, господин сержант, с вас хватит. Да и ваш управитель Данилов вряд ли больше уплатит! Итак, до завтра! — Офицеры небрежно раскланялись и вышли из зала.

Николенька, с покривившимися губами, готовый заплакать, огляделся. Кругом с сочувствием глядели на него, но молчали...

— Господа, как же это?

— Господин сержант, вы сами допустили промах! — пожалел его седоусый капитан. — Теперь извольте расплачиваться.

«Да они обобрали, ограбили меня!» — хотел закричать Демидов, но промолчал и, пошатываясь, пошел к выходу.

— Не пойман за руку, не вор! — негромко вслед сказал капитан. — Напрасно, сударь, связывались с фанфаронишками.

Николенька не помнил, как в прихожей ему набросили на плечи плащ и он вышел к карете. Обезумевший, он помчался прямо в контору.

— Данилов! — закричал он с порога. — Со мной беда!

— Выходит, их сиятельство Потемкин на озорство ваше рассердились? — радуясь в душе, спросил управитель.

— Никак нет! Пожалован адъютантом! — вспыхнул Николенька и вдруг со всей отчетливостью представил себе беду.

— Так нешто это плохо? Дозвольте, господин, поздравить вас со столь высоким назначением. Батюшка обрадуются!

— Не в этом дело! — бросаясь на стул, отчаянно выкрикнул молодой Демидов. — Я сто тысяч только что проиграл!

Жирное лицо Данилова выразило крайнее изумление.

— Да где же вы столько денег взяли?

— Я в долг играл! — с горечью выпалил Николенька. — Понимаешь, в долг!

— Как это можно в долг, Николай Никитич? Денежки-то батюшкины, а вы руку в них запускаете. Не гоже-с!

Лицо управителя побагровело. Тяжело дыша, он полез в карман, вытащил клетчатый платок и отер блестящую от пота лысину.

— Ах, господин, что вы натворили! Однако...

Он схватился за большой выпуклый лоб, задумался.

— Разумею я так, карточный долг не подобает платить! — после глубокого раздумья сказал он. — Во-первых, вы, господин, совершенное дитя, во-вторых, расписки не давали!

— А честное слово офицера? — с негодованием перебил его Николенька. — Плати, Данилов!

— Не буду, господин! Шутка ли? — Управитель мешком опустил в кресло. — Не буду... Ох, господи, какая беда!

— Плати, Данилов! — стоял на своем Николенька. — А не то хуже будет! Я горшую беду тебе учиню... Знаешь, что в таких случаях офицер повинен над собой сделать, коли не в силах выполнить долг чести?

У Данилова от страха отвисла нижняя челюсть, глаза расширились. С нескрываемым ужасом глядел он на Демидова.

— Да вы что, Николай Никитич! Меня тогда ваш батюшка батогами засечет! Помилуй господи, пронеси несчастье великое!..

Он опустил голову и задумался.

«Подумать только, этикие деньги — и придется платить. И кому? Шаромыжникам, шулерам! Ай-яй-яй...»

В Нижний Тагил пришло неожиданное сообщение от управляющего Санкт-Петербургской конторой Данилова, в котором он осторожно доносил хозяину о похождениях наследника. Словно почуяв неладное, Селезень долго мял пакет в руках, рассматривал его на свет, раздумывал, отдать или не отдавать его сегодня Никите Акинфиевичу. Наконец решившись, осторожно покашливая, он вошел в кабинет хозяина. Демидов сидел перед громоздким дубовым столом. Погрузившись в глубокое мягкое кресло, он утомленно опустил голову и полудремал. Жирные сизые щеки его отвисли, а под глазами темнели отеки. Прикрывая ладошкой рот, Селезень покашлял громче. Никита Акинфиевич поднял усталые глаза.

— С чем явился, старик? — недовольно спросил он.

— Пакет, батюшка, из Санкт-Петербурга с оказией прислан. Должно быть, весточка от Николая Никитича, — протянул синий конверт приказчик.

Демидов жадно схватил пакет, вскрыл его и обеспокоенно забегал глазами по строкам. Лицо Никиты мгновенно налилось багровостью, судорожным движением он скомкал письмо и бросил в угол.

— Подлец! Разоритель! — страшным голосом закричал он. — Отец и деды великим усердием наживали каждую копеечку, а он в одночасье спустил петербургским фанфароникам сто тысяч! Погоди ж!

Никита Акинфиевич сердито сорвался с кресла, вскинул над головой большие кулаки и, весь закипая злобой, пригрозил:

— Наследства лишу, беспутный, коли не умеешь беречь отцовское добро! Ты! — прикрикнул он на Селезню. — Беги за попом, пусть духовную перепишет... Вырастили разорителя! Мот! Картежник!..

Он хотел еще что-то выкрикнуть в палящей злобе, но вдруг схватился за сердце, обмяк и грохнулся на пол.

«Господи! — в страхе подумал Селезень. — Второй удар!»

— Батюшка мой! — заголосил он и кинулся к хозяину, схватил тяжелое тело под руки, но, внезапно ставшее громоздким и безвольным, оно выскользнуло на пол.

Приказчик присел рядом и заглянул в лицо хозяина. Полуостекленевшие глаза Демидова поразили Селезню, его сознания

коснулась страшная догадка:

«Батюшки, никак хозяин отходит!»

Из глаз приказчика выкатились скупые слезы. Он выпрямился, взглянул на образа и трижды истово перекрестился:

— Господи, господи, прости и помоги нам!

В эту минуту Селезню стало жаль не столько хозяина, сколько себя.

«Вот и прошла жизнь, а сколько было суетни и беспокойств. Отлетели радости!» — огорченно подумал он. Ноги старого приказчика отяжелели. Шаркая ими, он вышел в людскую и оповестил:

— Сбегайте за управителем Любимовым. Хозяину дурно!

Прибежали Любимов, лекарь, дворовые люди, уложили тяжелое тело Никиты Акинфиевича на широкий диван. Демидов лежал без движения, у него отнялся язык. Медленно, в безмолвии проходил день, и по мере того как угасал он, угасал и старый Демидов. К вечеру Никиты Акинфиевича не стало. Пушки оповестили о том Тагильский завод, а над барским домом взвился траурный флаг.

Похоронили Никиту Акинфиевича с великой пышностью. Еще задолго до своей смерти Никита Акинфиевич возвел на кладбище Введенскую церковь. Это каменное сооружение было построено выписанным итальянцем во вкусе эпохи Возрождения. Иноземный художник расписал своды и купол фресками. Лепные украшения делали крепостные мастера... В этой церкви, в склепе, и нашел свой вечный покой Никита Акинфиевич, последний из Демидовых, который сам управлял и доглядывал за уральскими заводами.

После него осталось девять заводов с деревнями и вотчинами, в которых числилось девять тысяч двести девять душ крепостных. Государыня утвердила вскрытое демидовское завещание, по которому все богатства поступали во владение сына заводчика, Николая Никитича. Так как он был весьма неопытен в делах управления имениями, то над ним была назначена опека во главе со статс-секретарем императрицы Александром Васильевичем Храповицким, а фактическим управителем уральских заводов остался Любимов, который по-прежнему сохранял старые демидовские порядки.

Ничто не изменилось в судьбе приписных, только в хозяйских хоромах поубавилось дворовой челяди, часть которой управитель

приставил на рудокопную работу. И совсем без дела остались двое: высохшая англичанка Джесси и старый приказчик Селезень.

Мисс долго сиротливо бродила по пустынным демидовским покоем, вспоминая своего питомца Николеньку. Всеми забытая, она обратилась к управителю завода за пособием, но тот отказал ей в помощи, не возражая против отбытия англичанки из Нижнего Тагила.

— Пусть убирается с богом! Кабы моя воля, по-иному бы решил!

Селезень бережно уложил тощий чемоданчик мисс Джесси в тряскую тележку, усадил ее на охалку сена и отправил в дальнюю путь-дорогу.

— Отслужились мы с тобой, милая! Одры стали! — сочувственно напутствовал англичанку отставной приказчик. — Скажи спасибо, что из наших палестин отпустили. У Демидовых такой обычай: ни своих, ни иноземцев из вотчин не отпускать. Тут изробился, тут и кости донашивай! Но воли покойного Никиты Акинфиевича не переступишь: в завещании указал отпустить тебя, сударушка. Ну, трогай! — ощеря зубы, крикнул он вознице и отвернулся...

Спустя неделю и сам Селезень покинул Нижне-Тагильский завод. Все свое незатейливое имущество он собрал в котомку, взял посох и ушел в обитель.

— Побито, нагреблено, обижено людей — не счесть! Пора у бога прощение вымалывать, — примирение сказал он и, ссутулившись, тихой походкой странника на зорьке ушел по пыльной дороге из демидовского гнезда, где столько было пережито и перечувствовано...

Николай Никитич не долго скорбел по бабушке. Легкомысленный по своему характеру, он быстро забыл горе и увлекся своим новым положением. Демидовский наследник бегал по обширному дедовскому дому и ко всему присматривался. «Все это теперь мое! Все мое!» — восторженно думал он.

Ему казалось, что он теперь властелин всего. Управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилов стал весьма почтителен и быстр на повороты, но, однако, не все позволял молодому наследнику. Многие после смерти бабушки было немедленно опечатано и ждало приказа опекунов. Когда Николай Никитич в своем любопытстве тронул замок одного чугунного шкафа, Данилов встревоженно схватил его за руку.

— Бабушка милый, сюда нельзя до поры до времени заходить! — почтительно остановил он гвардейца.

— Как нельзя! — удивился Демидов. — Да я же хозяин!

— Это верно, что вы, господин мой, ныне хозяин, но пока еще хозяин не в полной силе! — мягким голосом сказал Данилов и лукаво прищуренными глазами посмотрел на Николая Никитича.

— То есть как это — не в полной силе? — обидчиво выкрикнул Демидов.

— Над вами пока опека, господин мой! От нее и ваши расходы зависят будут! — отечески-ласково пояснил управляющий.

— Вот как! — разочарованно вырвалось у гвардейца. — А если я, скажем, задумаю в этот ящик забраться, что тогда?

Данилов развел руками.

— Этого никак невозможно, бабушка! Слом печати и вскрытие шкафа почтется за воровство! — пояснил он.

— А что здесь хранится? — Демидов испытующе посмотрел на старика.

— Хранятся тут редкие драгоценности вашей покойной матушки.

— Бриллианты! — засиял Николай Никитич. — Когда же я смогу ими воспользоваться?

— Завещано Александрой Евтихьевной передать сие богатство, драгоценные камни и жемчуг, вашей супруге, когда господь бог

наградит вас ею! — терпеливо рассказывал управляющий.

Николай Никитич помрачнел. Сразу все стало как-то буднично, серо. Он недружелюбно посмотрел на управляющего и с сожалением вымолвил:

— Вялая душа у тебя, Данилов! Жить теперь хочется, а ты все в долгий ящик откладываешь!

— Потерпите годочки! Да и денежки-капиталы не на потехи оставлены вам, а на усиление заводов! О них вам завещаны заботы!

Тоска и злоба распирали грудь демидовского наследника. Одним махом он опрокинул бы этого скупого слугу, но тот, крепкий и медлительно-внушительный, был упрям и опасен. Каждую копейку приходилось выжимать у него со скандалом. Готовясь к отъезду в Яссы, Николай Никитич не щадил ни управляющего, ни дворовых. Он загонял их своими поручениями. И как ни бесился Павел Данилов, Демидов щедрой рукой рассыпал деньги на покупки, связанные с предстоящим путешествием. Были приобретены и отменная лисья шуба и драгоценные меха, сукна и бархат, аксельбанты и темляки, табакерка, усыпанная бриллиантами, и «походный домик», штабная кухня и походная конюшня, и людская палатка, и фуры, и кибитки, и верховая арабская лошадь с турецким седлом, и дорогие конские уборы. Все дни на демидовском дворе каретники ремонтировали экипажи, кузнецы ковали коней, шорники украшали упряжь. В конюшни нагнали целый табун коней, купленных на окрестных ярмарках. В приемной Демидова с утра до ночи толклись и шумели бородатые купцы-гостинодворцы, вертлявые комиссионеры, черномазые цыгане-барышники и неизвестные ветхие старушки, предлагавшие свои секретные услуги. Николай Никитич всех гнал прочь, посылая к Данилову.

Озабоченный управляющий вставал с первыми петухами, обегал конюшни, мастерские, проверял контору. То и дело слышался его зычный недовольный голос, ругающий работников, или раздавались плаксивые жалобы на дороговизну вещей...

В одно июльское утро, потный и разгоряченный, он вбежал в комнату Демидова. Лицо у него было самое несчастное, горемычное. Он размахивал руками и жадно ловил раскрытым ртом воздух.

— Батюшка дорогой, что вы с добром делаете? Каким шаромыжникам вы векселя надавали? — визгливым голосом заголосил

он. — Глядите, как разошлись! За все путное и непутное истратили на дорогу сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят девять рублей, как одну копейку! К тому же расходы по дому да по конторе! К тому же за труды опекунству! А где же их взять?.. Ах ты, господи!..

Он тяжело вздохнул, стащил с потной головы парик и отер лысину пестрым платком.

— Батюшки! — продолжал он жаловаться. — Где же нам столько денег взять?

— А заводы на что? — изумленно спросил Демидов.

— Заводы, мой господин, железо и чугун льют, а не деньги! — сердито ответил Данилов. — Заводам самим капиталы до зарезу нужны! Не могу больше я отпускать на расходы! Все!..

— Да ты сдурел, кошачьи глаза! — вспыхнул Демидов. — Да я тебя самого на червонцы порежу. Достань да выложь!

— Убейте меня, батюшка! Все одно — сразу конец! — взмолился управляющий.

— Ну и выжига ты, Данилов! — сердито крикнул Демидов, поспешно обрядился в новенький мундир, схватил кивер, саблю и выбежал из покоев.

Легкой походкой, словно молодой резвый конек, играя каждым мускулом, гвардеец сбежал с крыльца, забрался в карету и возбужденно крикнул:

— Пади!

Сидевший на козлах Филатка толкнул кучера в бок.

— Гляди, как ноне мы размахнулись. Все нам нипочем, море по колено! Заиграл Демидов!

Филатка с умилением оглянулся на Демидова и одобрительно покрутил головой.

— Вот коли наша взяла, Николай Никитич! Ну и заживем! Ух, и заживем!

Николай Никитич думал о другом. В приемной светлейшего он встретил очаровательную особу. Она была стройна, изящна, с большими темными глазами. Когда адъютант своей легкой походкой, вздрагивая бедрами, прошел мимо нее, она подняла длинные ресницы и обожгла его взглядом. Сердце Демидова сладко защемило.

«Кто же эта прелестница?» — взволнованно подумал он.

Адъютант прошел в покои светлейшего. Густая тишина стыла в обширных залах: светлейший отбыл во дворец. За громадными окнами потемнело, набежали тучки, и сразу померкло сияние яркого солнечного дня. Демидов прошелся по безмолвным апартаментам князя и вернулся в приемную. Звякнув шпорами, он молодцевато оповестил на всю приемную:

— Светлейший отбыл к ее императорскому величеству!

Он тщательно и веско выговаривал каждое слово, следя за смуглой пышной красавицей.

— Ах, боже мой! — всплеснула она руками. — Что же мне делать? К тому же, кажется, пошел дождь! — Продолговатые, осененные пушистыми ресницами выразительные глаза умоляюще смотрели на гвардейца. Верхняя пухлая губа капризно полуоткрылась, и ослепительно блеснули белые мелкие зубы.

Николай Никитич решительно подошел к незнакомке, щелкнул шпорами и учтиво поклонился.

— Сударыня, разрешите предложить вам мою карету!

— Галант! Ах, как я благодарна вам, господин адъютант! — восторженно отозвалась она и, не колеблясь, подала ему руку. Демидов вспыхнул от нежного женского прикосновения.

Она прильнула к нему, красноречиво взглянула в глаза юнца. Ей, видимо, по сердцу пришелся краснощекий гвардеец с темным пушком на губе. Белые лосины плотно обтягивали его полные ноги, грудь он держал горделиво. Всем своим вызывающим видом молоденький адъютант весьма напоминал бойкого забияку-петушка. Счастливая юность, неизрасходованные силы переполняли его, он так легко и свободно чувствовал свое сильное и свежее тело, что его вовсе не обременял парадный мундир.

Незнакомка окинула его опытным взором и осталась довольна беглым осмотром.

«Потешный мальчуган!» — удовлетворенно подумала она.

Прелестница хорошо знала, кто этот юный адъютант, но детски наивным взглядом удивленно смотрела ему в глаза.

— С кем имею честь беседовать? — жеманясь, спросила она.

— Я Демидов. Слышали о таком? — с важностью своего возраста сказал он, усаживая ее в карету.

— О! Но вы совсем мальчик! — восторженно прошептала она, и ее рот округлился приятным колечком.

— Далеко не мальчик. Я владелец многих заводов на Урале!

— Вот как! Интересно! — голос ее прозвучал интимно-нежно. Она слегка пожала ему руку.

Волнуясь, путаясь в мыслях, он косноязычно пробормотал несколько комплиментов. Она засмеялась ласковым, приятным смехом; казалось, рядом прозвучали серебряные колокольчики.

— Вы совсем ребенок и не умеете интриговать дам! Но это очаровательно! — ободрила она гвардейца и, не смущаясь, склонила головку к нему на плечо.

У Демидова сперло дыхание. Как в тумане, он где-то далеко слышал насмешливый, вкрадчивый голос.

— Я не ребенок, а независимый человек! — обиделся гвардеец.

— Ух, какой сердитый! — наклоняясь к нему, прошептала она.

Демидов осмелел и, словно бросаясь в бездну, потянулся к ней. Она проворно ускользнула из его рук. Приложив тонкий пальчик к губам, она таинственно прошептала:

— О, поцелуй невозможен...

Косые сильные струи хлестали в окно кареты. На улицах быстро темнело. Кони пронеслись по Невскому проспекту и свернули на Садовую.

— Теперь скоро! — тихо обронила она и откинула головку на спинку сиденья. Слегка прижмуренные глаза были неподвижно устремлены вперед.

— Я пойду с вами! — решительно предложил Демидов. — Я должен вам все рассказать!

— О, это не нужно! Страшно! — округляя темные глаза, прошептала прелестница.

Свет мелькнувшего за окном кареты фонаря на мгновение озарил ее лицо, маленькую руку в серой тонкой перчатке, державшую у рта надушенный платок.

Гвардеец быстро наклонился и заглянул в глубину женских влекущих глаз. Синие шальные огоньки сверкнули в них.

«Теперь или никогда!» — решил Демидов и, загораясь страстью, схватил ее в объятия, сжал до боли в груди и стал осыпать поцелуями

лицо, шею, руки. Она безвольно откинулась на спинку кареты и укоризненно шептала:

— Только не здесь, мой мальчик! Только не здесь! Ваш слуга может увидеть, и тогда узнает свет!..

— Ах, что мне свет! — отчаянно отмахнулся адъютант. — Никто и ничего не узнает!

В последний раз кони цокнули подковами, кучер разом осадил пару, и карета остановилась. Незнакомка оттолкнула гвардейца, изумленно разглядывая его.

— Так вот вы какой! Сильный, смелый и решительный! Мальчик!..

И вдруг, наклонясь, быстро и неуловимо поцеловала Демидова в губы.

— Приезжай завтра! Буду одна! — прошептала она и, словно летучая мышь, бесшумно выпорхнула из кареты и скрылась в мокром осеннем мраке.

Адъютант взволнованно старался проникнуть взглядом во тьму. На улице было безлюдно, с хлопанием выхлестывали струи из водосточных труб, дождь все усиливался.

На дне кареты что-то белело. Он наклонился и схватил оброненный платочек. Тонкий запах духов исходил от батиста. Демидов прижал к губам платочек, и опьяняющее очарование любви охватило все его существо.

«Ну да, я ее любовник! Как же иначе? Теперь я, как и все великосветские люди, имею очаровательную, веселую любовницу! — самодовольно подумал юнец и усмехнулся. — Всего только в десяти шагах спит, как сурок, ее муж. Интересно посмотреть на его лицо в эту минуту! Каков рогоносец!»

— Куда ехать, барин? — окликнул кучер, вернув его к действительности.

— Живее домой! — приказал Демидов, сам не понимая, почему он заторопился в дедовский особняк.

Отослав кучера, Демидов тихой тенью скользнул в подъезд, сам открыл дверь и без света, в потемках, прошел в свою половину. Утомленный переживаниями, он устало опустился в глубокое кресло.

В ушах все еще слышался ее мелодичный смех. Демидов зажег свечу и задумался. В комнатах огромного дома было тихо и безмолвно. Филатка ушел в город, а слуги спали. Где-то под полом заскреблись мыши, подчеркивая тишину. На свече заблестели горячие капельки растопленного воска. Демидов протянул руку к свече, глаза его вспыхнули мрачной решимостью.

«Да, да, ей нужен подарок! Надо показать, кто такие Демидовы!» — с бесшабашностью юности подумал он и отрезал кусок воска. Он долго мял его в руках. Податливый и теплый воск был послушен. «Вот, вот именно так», — прошептал он, погасил свечу и впотьмах выбрался из комнаты.

Гвардеец безмолвно обошел старинные покои. Скрипнул раздругой высохший паркет. Снова заскреблись мыши. Тайные тихие звуки внезапно возникали и быстро гасли. В темноте все казалось необычным и загадочным. Демидов бесшумно пробрался в комнату, в которой стоял знакомый чугунный шкаф. Он нащупал его в темноте и, огладив холодный металл, приложил мягкий воск к замочной скважине.

«Что я делаю? — испуганно спросил он вдруг свою совесть. Однако преступный соблазн победил нерешительность. — Я покажу тебе, какой я мальчик! Демидов хозяин всему здесь, и ты завтра убедишься в этом!» — пригрозил он мысленно Данилову.

С отпечатком замка в руке он вернулся в комнаты, переоделся и воровски выбрался на осеннюю улицу. Дождь продолжал хлестать, жалобно гудели ржавые трубы, и в оголенных деревьях бесприютно шумел ветер. Демидов на все махнул рукой: под ливнем, в грязь он прошел Мойку, вышел на Вознесенский проспект и долго кружил, отыскивая Мещанскую улицу, на которой жили немецкие кустари...

Наконец он отыскал подвал с ржавой вывеской, сошел по ступенькам и стал стучать в дверь. Стучал долго, настойчиво, а дождь все лил и лил ему на плечи.

— Откройте! Откройте! — упорно взывал гвардеец.

В оконце мелькнул робкий огонек, и встревоженный голос за дверью испуганно спросил:

— Кто здесь? Что нужно?

— Открой! — властно предложил Демидов. — Не пугайся, к тебе стучит благородный человек.

— Добрый человек не ходит в такую ночь, — ломаным русским языком ответили из-за двери. Однако вслед за тем звякнули засовы, дверь полуоткрылась и в щель высунулось худенькое морщинистое лицо старичка немца в ночном колпаке. Завидя гвардейского офицера, стоявшего под ливнем, немец торопливо отступил.

— Что вам нужно, господин, в такую ночь? — обеспокоенно спросил он.

— Меня пригнало срочное дело! — отозвался Демидов, уверенно вошел в мастерскую и закрыл за собою дверь. С брезгливостью оглядел он темное убогое помещение с низкими сводами. У стола стояла испуганная бледная женщина. В углу за пологом копошились разбуженные стуком ребята. Демидов без приглашения присел к столу.

— Чем могу служить господину офицеру? — с тревогой спросил немец.

Демидов встал, подошел к двери, проверил, закрыта ли она, и, убедившись в этом, положил перед мастером застывший воск.

— Мне нужно срочно сделать ключ. У меня утерян от денежного ящика, — сказал он.

Немец испуганно переглянулся с женщиной. Она отвела глаза в сторону, нахмурилась. Мастер долго молчал.

— Что же ты молчишь? — нетерпеливо спросил Демидов. — Я тороплюсь, мне нужны деньги!

— Может быть, господин офицер, вы слишком торопитесь? — тихо обронил немец. — Может быть, этот ключ не от вашего ящика?.. В карты можно проиграть и казенное...

— Не мели пустого! — вспыхнул гвардеец. — Разве ты не видишь, с кем имеешь дело?

— Господин офицер, сейчас дождь, а вы так торопитесь! — не сдавался немец.

— Говори дело и принимайся за работу! — хмуро предложил Демидов.

Немец взглянул на его злое, решительное лицо, пожал плечами и, взяв восковый отпечаток, засеменял к верстаку...

Адъютант не сводил настороженных глаз с неторопливых, но уверенных движений мастера. Тянулись минуты. Демидову казалось, что старик нарочно медлит, чего-то выжидает. Пламя в лампешке то меркло, то вспыхивало трепетным синим язычком. У гвардейца

слипались глаза от усталости, и он уже задремал, когда тщедушный сухонький немец легонько толкнул его в плечо.

— Господин, работа исполнена! — Мастер робко протянул Демидову ключ и со слезами на глазах взмолился: — Бог мой, я честный немец. Господин, берите этот ключ и уходите скорее. Я не знаю, для чего он вам. Дай бог, чтобы не для худого дела. Пусть будет так: ни вы, ни я не видели друг друга!..

— Хорошо! — согласился Демидов. — Это и меня и вас устроит. Получай за труды! — Он полез в карман и небрежно выбросил оттуда золотой. — Прощай!

Он сам открыл дверь из подвала и вышел на улицу. Ветер разогнал тучи; дождь перестал лить. В просветах блестели холодные одинокие звезды...

Когда адъютант вернулся домой, в покоях по-прежнему царила полуночная тишина. Николай Никитич разулся и, крадучись по коридорам, добрался до заветного чугунного шкафа. Под его сильной рукой мигом отлетела сургучная печать. Он оборвал шнурок и ключом открыл шкаф. Вот она, заветная шкатулка с фамильными драгоценностями матери!

«Кто же в конце концов она?» — думал о прелестнице Демидов. Он просмотрел записи в приемной, но они ничего не сказали. Дежурный адъютант Энгельгардт, высокий, представительный офицер, понял беспокойство сослуживца. Он взял его под руку и увлек в угол, к дивану.

— Я догадываюсь, Демидов: вас интересует эта особа? — интимным тоном повел он разговор. — Эта прелестная дама выдает себя за польскую графиню. Мне думается, что это ложь!

— Кто же тогда она? — огорченно воскликнул Демидов.

— Тшш... Не волнуйтесь! — улыбнулся Энгельгардт. — Будьте терпеливы. Я кое-что узнал из верных источников. Сия прекрасная фанариотка^[5] — гречанка, она пятнадцати лет была рабыней у турецкого султана Абдул-Гамида. Как рабыню и купил ее посланник Боскан. Но случилось так, что Боскана внезапно отозвали в Варшаву. Он поехал туда и узнал, что его больше не отпустят в Константинополь. Тогда он послал в Турцию своего конюшего и

поручил привезти известную вам особу с вещами и прислугой в Варшаву. Однако красавица была столь строптива и капризна, что в Яссах взбунтовалась и отказалась ехать дальше. Тогда Боскан приказал оставить ее в сем городе.

— Что же дальше? — взволнованно спросил Демидов.

— Чувствую, вы равнодушны к ней, — спокойно заметил Энгельгардт. — Однако умеете выслушать меня до конца. Наголодавшись в Яссах и не найдя предмета, достойного внимания, она сбежала на свой риск в Каменец. Там ее увидел комендант крепости, полковник де Витт, сразу пленился ею и сделал супругой...

— Это он и пребывает с ней в Санкт-Петербурге! — с горечью вымолвил Демидов.

— Э, нет! При ней неизвестное лицо, которое именует себя польским графом и мужем сей особы!

— Так ли это? — недоверчиво спросил Демидов.

— Бабушка надвое сказала. Известно только, что она и от полковника сбежала, появилась в Варшаве, вскружила многим головы и очаровала принцессу Нассаускую. Сия принцесса повезла ее в Париж, где красота прекрасной фанариотки пленила многих... И вот она теперь здесь!

— Что же она тут ищет? — дрогнувшим голосом спросил Николай Никитич. — Она видела светлейшего? Понравилась ему?

— Нет, она еще не видела князя, не попалась ему на глаза. Я не допустил ее. Боюсь...

— Неужели так страшно? — наивно спросил Демидов.

Энгельгардт презрительно сжал губы, промолчал.

— Эта особа прибыла из Франции. А граф, видимо, вовсе не граф. На какие средства они живут? Что им в Санкт-Петербурге нужно? Положение главнокомандующего обязывает нас, Демидов... Вы поняли меня? — пытливо взглянул он на адъютанта.

— Догадываюсь! — упавшим голосом отозвался Николай Никитич.

В приемной на камине тикали часы. Демидов взглянул на стрелки и с потухшим видом поднялся. Смущенный, он уехал домой и весь день с тревогой бродил по комнатам. А когда над Петербургом опустилась ночь, Николай Никитич велел заложить карету и отправился на Садовую, к знакомому дому.

Сухая старуха, со строгим лицом, в белом чепце, открыла дверь и провела Демидова в уютную гостиную, стены которой были крыты розовым штофом. Взволнованный офицер вынул из-под плаща ларец и осторожно поставил на стол. Долго, очень долго он сидел в одиночестве. В глубокой тишине отчетливо стучало сердце. И вот наконец после томительного безмолвия за стеной послышался шорох, дверь бесшумно открылась, и в облаке белоснежных кружев появилась прекрасная фанариотка...

Взгляд прелестницы упал на черный ларец, и глаза ее мгновенно зажглись шаловливым огоньком. Адъютант перехватил ее взгляд и, весь красный, дрожащий от волнения, раскрыл ларец и вынул алмазное ожерелье. В ярком живительном потоке света брызнули синеватые искры, и драгоценные камни заиграли переливами радуги.

— Какая прелесть! — Очарованными глазами гречанка впиалась в сверкающее ожерелье.

Демидов молча подошел к ней и бережно надел драгоценности на ее смуглую шею. На теплой коже самоцветы вспыхнули жарким огнем. Гречанка подбежала к зеркалу и, околдованная переливами красок, долго любовалась сказочными камнями. Охваченная восторгом, сияющая, она, как ребенок, радостно захлопала в ладоши:

— Смотри, смотри, как сияют!

Демидов подошел к ней, желая обнять, но прелестница протянула руку, и он покорно поцеловал ее. Жеманясь, она пригрозила ему:

— Больше ни-ни!

— Разве это вся награда? — разочарованно спросил он.

— Не сердись, мой мальчик! — ласково посмотрела она. — Нельзя!

Гвардеец вспыхнул и решительно двинулся к ней...

В этот миг распахнулась дверь, и на пороге появился низенький лысый человечек в бархатном камзоле. Он почтительно поклонился Николаю Никитичу.

— Ах! — с фальшивым испугом вскрикнула прелестница. — Мой муж. Знакомьтесь!

Демидов холодно раскланялся и, недовольный, молча уселся в уголок. Она подошла к мужу.

— Займитесь гостем, граф! — прощebetала она и упорхнула из комнаты.

«Граф» уселся в кресло. Рассеянным взглядом он бродил по комнате, не нарушая молчания. Так, безмолвные и отчужденные, они просидели несколько минут и разошлись.

Чувствуя себя обманутым, Демидов, сбегая с лестницы, оскорбленно думал:

«Нагло надули! Опростоволосился! Так тебе и надо!»

Ему хотелось броситься обратно, схватить «графа» за воротник и потрянуть. Но кто знает, кто там еще стоит за дверями? Боясь скандала, бичуя себя, он сошел к подъезду, уселся в карету и, разочарованный, поехал в Семеновский полк.

Предстояла разлука с Петербургом и друзьями. С прощальной попойки у Свистунова Николай Никитич вернулся на рассвете в дедовский особняк. В голове шумело, глаза застилала хмельная одурь.

Утро было прохладное, окрашенное в сиреневые цвета. Догорали последние звезды. Столица досыпала сладкий сон. На востоке в небе вспыхнули первые отблески поздней зари. Наступал тихий день.

Демидов выбрался из кареты и, пошатываясь, стал подниматься на крыльцо. Заспанный слуга, старик с лиловым носом и седой щетиной на щеках, в помятой ливрее, распахнул дверь и обеспокоенно взглянул на хмельного хозяина.

В доме шла суета. Николай Никитич пытливо посмотрел на слугу:

— Что случилось?

В живых, умных глазах старика выразилось недовольство.

— Беда, барин! В дом забрался лиходей! — угрюмо пробурчал он и опустил голову.

— Что за лиходей? — пошатываясь, спросил Демидов. Он толкнул слугу и торопливо поднялся в покои. В дальней комнате раздавались громкие голоса и ругань. Гвардеец подошел к знакомой горнице, в которой стоял чугунный шкаф, и распахнул дверь. На скамье, со связанными на спине руками, сидел Филатка, а с боков его стояли два полицейских будочника. За столом расположился усатый пристав и усердно писал. Растрепанный, без парика, лысый Данилов, завидя Демидова, обрадовался:

— Вот и сам барин!

— Батюшка! — слезно взвизгнул Филатка и повалился хозяину в ноги. — Батюшка, спаси и огради меня от сей нечисти! — вопил он; у него из носа обильно сочилась сукровица.

— Ну-ну, ты, гляди! Двину! — угрожающе сжал кулаки Данилов. — Сумел грабить, изволь по совести и ответ держать!

— Грабителя нашли во мне, окаянные! Батюшка, Николай Никитич, скажи им, балбесам, что невиновен я. Век у Демидовых жил, и ни одной пушинки не пристало! — не унимался Филатка.

— Молчи, ворюга! — выкрикнул управитель конторы и показал на чугунный шкаф. — Оглядел и вижу — печатка долой. И ни шкатулки, ни самоцветов!

— Дело ясное, господин! — откашливаясь, встал из-за стола полицейский пристав и, не сводя глаз с Демидова, отрапортовал: — Доказуемо! Сей плут найден хмельным в комнате. Несомненно, он в шкафу хозяйничал. Драгоценности, господин, растаяли, яко дым! Кто в сем виновен? Ясно, сей пьянчуга и хват!

— Слышали? — со слезами выкрикнул дьячок. — Ни ухом, ни слухом не ведаю. Одна беда, хмельным забрел в горницу и проспал тут. А кто и что, не ведаю. Батюшка, прикажи освободить. Избавь от позора!

Демидову стало жалко истерзанного дядьку. Худенькое острое лицо Филатки с косыми глазками просяще уставилось на хозяина. Однако Николай Никитич строго и надменно сказал:

— Не понимаю, кто же тогда вор?

Всегда веселый и легкомысленный хозяин показался дьячку вдруг грубым и злым.

— Уж не ты ли, Данилов, похитил шкатулку? Да, кстати, ведь и ключи у тебя хранятся! — с легкой насмешкой продолжал Демидов.

Глаза Данилова испуганно забегали, он торопливо перекрестился.

— Что вы, господин! Убей меня бог! Да разве ж я смею царскую печать ломать? Да разве ж я хоть на крошку хозяйского добра позарился?

Пристав грубо-наставническим тоном перебил:

— Господа, не будем спорить! Вопрос ясен. Вот вор, берите его! — приказал он будочникам.

— Кормилец, батюшка, не дай на поругание и погибель! — снова заголосил Филатка.

Демидов с холодно-брезгливым лицом оттолкнул дядьку.

— Поди прочь! Не пристало мне, столбовому дворянину, покрывать татей!

Он повернулся и пошел прочь. Филатка внезапно выпрямился, дернулся, веревки впились в тело. Глаза его налились жгучей ненавистью.

— Худая душа! Кровососы! Сами грабят, а других чернят. Стой, стой! — прокричал он вслед Николаю Никитичу, отбиваясь от побоев будочников. — Все равно не смолчу я. Невиновен, истин бог, невиновен! Братцы, за что же бьете! Братцы!..

Он упал и забился в припадке.

Демидов угрюмо прошел в свои комнаты, свалился в кресло и, протягивая ноги, выкрикнул камердинеру:

— Разоблачай! Сон валит!

Он сладко зевнул, потянулся. В душе его не проснулось ни чувства сожаления, ни справедливости. В очищение своей совести он хмуро про себя рассудил:

«Неужели мне самому срамиться из-за ларца? Дьячку и каторга впору, а столбовому дворянину — не с руки! Да и кто поверит холопу?..»

— Эй ты, окаянный, не сопи! — прикрикнул он на камердинера. — Живей раздевай!

Из-за деревьев, раскачивавшихся за окном, брызнул скупой солнечный луч. Слуга, старательно и осторожно раздевая барина, подумал:

«Все люди как люди! А наш трутень ночь кобелем бегает, а днем при солнышке дрыхнет...»

В последний день пребывания в Санкт-Петербурге Демидов снова неожиданно встретил прелестницу. Она сходила по широкой лестнице вниз. Поймав его обиженный взгляд, она на мгновение задержалась и прошептала:

— Ради всего святого, не сердитесь! Мы не можем встречаться... Князь и муж... Могут быть неприятности... Пожалейте меня и себя... Ах, какая сегодня чудесная погода!

С невозмутимым видом она улыбнулась и унеслась, как пушистое, легкое облачко.

«Авантюристка!» — зло подумал Демидов, но все же ему стало жаль расставаться с нею.

В приемной его встретил Энгельгардт. Он сидел, опустив голову на ладони, задумчивый и печальный.

— О чем закручинились? — окликнул его Николай Никитич.

— Ах, Демидов! — беда! Сия авантюристка добралась-таки до светлейшего, и теперь он без ума от прелестницы. Поостерегись, милый!

— А я и не думал вступать с нею в связь! — стараясь сохранить спокойствие, сказал адъютант.

— Ну вот и чудесно! Теперь я спокоен за вас. Я так и знал, что вы благоразумный офицер! — Он с горячностью схватил руку Демидова и крепко пожал ее.

Демидовский обоз приготовили к отправке. На обширном дворе громоздились фуры, экипажи, ржали кони — шла обычная суета перед дальней дорогой. Управитель Данилов обошел и самолично пересмотрел все: ощупал бабки коней, проверил подковы, узлы, ящики. Все было в порядке. Подле него ходил новый дядька, приставленный к молодому потемкинскому адъютанту. Рядом с Даниловым дядька Орелка казался богатырем с широкой грудью, с большими цепкими руками. С виду холоп походил на безгрешную душу: тихий, молчаливый, с невинным простодушным взглядом. Но кто он был на самом деле, трудно сказать. Орелка вел трезвую жизнь и старательно избегал женщин. Это и понравилось Данилову. Испытывая нового дядьку, управитель с лукавым умыслом укорил его:

— Гляжу на тебя, мужик ты приметный. Бабы, как мухи на мед, липнут. Отчего гонишь их прочь?

— Баба — бес! Во всяком подлом деле непременно ищи бабу! — потемнев, отрезал Орелка.

— Это ты верно! — согласился Данилов. — Но ты, мил друг, помни, что в человеке дьявол силен. Ой, как силен! — Прищурив глаза, Данилов с удовлетворением оглядел могучую, сильную фигуру Орелки.

— Так что же, что силен дьявол! Умей свою кровь угомонить! Ты, Павел Данилович, про женский род мне не говори! Знаю.

В жизни Орелки многое казалось темным управителю санкт-петербургской демидовской конторы. Признался Орелка в том, что он беглый, а откуда и почему сбежал — один бог знает. Догадывался Данилов, что не от добра сбежал барский холоп к Демидовым и что непременно в этом деле замешана женщина. То, что Орелка сторонится женщин, понравилось управителю.

«Стойкий перед соблазном человек, уберезет и хозяина своего от блуда!» — рассудил Данилов и посоветовал дядьке:

— Смотри, береги демидовского наследника, тщись о его здоровье, а баб от него гони в три шеи! Гони, родимый!

Скупой и прижимистый Данилов не пожалел хозяйского добра: он обрядил Орелку в новый кафтан, выдал крепкие сапоги и наградил чистым бельем.

— В баню почаще ходи! Чист и опрятен за барином доглядывай. Помни, что он есть адъютант самого светлейшего!

— Не извольте беспокоиться, Павел Данилович! — пообещал слуга.

Он и в самом деле оказался чистоплотным и рачительным слугой. Орелка пересмотрел гардероб хозяина, вытряс, вычистил одежду и бережно уложил в сундуки.

Демидову он понравился своею статностью и силой.

— Песни поешь? — с улыбкой спросил его адъютант.

— Пою! Только про горе больше пою! — признался Орелка.

— Почему про горе? — любопытствовал хозяин.

— Известно почему, — нехотя отозвался дядька. — Земля наша большая, всего, кажется, человеку вдоволь, а между людей — разливанное горе! Отчего так, господин?

— Не твое дело о сем рассуждать. Будешь так думать — спятишь с ума! — недовольно сказал Демидов.

Орелка ничего не ответил, смолчал. Стоял он, покорно склонив голову, а глаза его были спокойны. Угодливость холопа понравилась Демидову. Понравилось и то, что дядька как-то незаметно вошел в его жизнь. Казалось, он век служил Демидовым. Все у него ладилось и спорилось, и приятно было смотреть, как Орелка без суеты, молчаливо готовил хозяина в дорогу.

Быстро подошел день отъезда. На заре запрягли коней в большие фуры и ждали отправки. Ночью выпал первый чистый снежок, и на

деревьях блестело тонкое нежное кружево инея. Голубые искорки сыпались с прихваченных морозом веток. Луна неторопливо катилась над сонным городом, бледный ее круг светился золотым сиянием.

В этот тихий утренний час в распахнутые ворота вошла молодая монашка. Хлопотавший у подвод Данилов сразу узнал ее. Со злым, хмурым видом он подошел к черничке.

— Ты зачем здесь? Кто звал тебя? Орелка, гони отсель черную галку! — закричал он холопу.

Из-за возов степенно вышел Орелка. Он приблизился к монашке, встретился с нею глазами и растерялся.

— Кто ты? — смущенно спросил он.

— Аленушка! — спокойно ответила девушка. — Не гони меня!

— Ты, девка, лучше уходи отсюда! — насупив брови, глухо сказал Орелка, а у самого на сердце разлилось тепло. «Глаза-то какие синие! Ох, господи, грех-то!» — ласково подумал он, переминаясь перед ней и не зная, что же делать.

— Гони ее, гони! — не унимался Данилов. — Эй ты, пошла, пошла со двора! — толкнул он девушку в спину.

Аленушка спокойно взглянула на управителя, глаза ее потемнели.

— Не трожь! Не к тебе пришла и не с тобою разговор буду вести!

Монашка неторопливо прошла в глубь двора и уселась на бревнышке.

— Не для того явилась, чтобы уходить! — решительно сказала она, а глаза ее затуманились слезой. — Бессердечные, куда гоните!

Орелка смущенно опустил голову. Данилов сердито запыхтел и сказал с укором холопу:

— Ну чего болваном перед бабой стоишь! Гони прочь! Сам только что сказывал, баба — нечистая сила! Блудницы!

Но Орелка, однако, не двинулся с места. Что-то привлекательное, чистое было в этой девушке. Холоп по-своему угадал причину появления Аленушки. «Господин обманул! Вот грех!» — подумал он, и ему сердечно стало жаль девушку. Боясь выдать свои чувства, он сурово сказал монашке:

— Без спросу, милая, нельзя ломиться в чужой двор. Уж, право, не знаю, что и делать с тобой.

Широко раскрытыми синими глазами Аленушка смотрела на Орелку:

— Видать, не было у тебя в жизни горя! Так и знай: не сойду, пока не увижу Николая Никитича!

— Батюшки! — огорченно вскрикнул Данилов. — Что ты делаешь со мною, монашеская душа! Только-только откупился от пристава за монастырский шум, а тут изволь, черная галка опять шаст в хоромы! Блудница! — поднял кулаки управитель.

Орелка закрыл собою девушку:

— Зря обижаешь духовное лицо, Павел Данилович! Она и сама подобру уйдет!

Аленушка хотела что-то сказать, но вдруг всплеснула руками и рванулась вперед.

— Николенька! — обрадованно закричала она.

В распахнутые ворота на белом арабском скакуне тихим аллюром въехал Демидов. Аленушка подбежала к нему и крепко уцепилась за стремя.

— Николенька, ой, Николенька! — тихо и жарко прошептала она, и мелкие слезинки брызнули из ее глаз.

Адъютант смущенно слез с коня. Статный, в гвардейском мундире и в сверкающем кивере, он бережно взял ее за руку.

— Уйдем отсюда, Аленушка. Тут народу много, неудобно! — краснея под взглядом Данилова, обронил он.

Просиявшая, затихшая, она послушно пошла за ним. Демидов обернулся к Данилову и сказал властно:

— Оставь нас!

Управитель недовольно пожал плечами.

— Помилуй, Николай Никитич! — взмолился он. — Сия чернорясница не к добру пришла. Известно, что у вас душа добрая, но только скажу вам, господин, что и рубрики у нас не бросовые!

— Пошел прочь! — багровея, оборвал его адъютант и провел Аленушку в хоромы. Массивная дубовая дверь захлопнулась перед самым носом Данилова.

Николай Никитич усадил Аленушку в кресло и, удивленно разглядывая девушку, спросил:

— Как ты узнала, где я живу?

— Узнала! — загадочно сказала она и, вспыхнув, со всей страстью, запросила:

— Николенька, возьми меня с собой! Не жить мне без тебя, не жить! Все ночи думала, очи выплакала! — Синие глаза ее просяще смотрели на Демидова.

— А монастырь? А матушка? — взволнованно спросил он.

— Люб ты мне! Ой, как люб! — жарко сказала Аленушка и прислонилась к его плечу. — Ушел ты, и словно солнышко закатилось. Что мне монастырь? Не жить мне без тебя... Истерзалась!

— Но почему ты тогда гнала меня прочь? — допытывался он.

Лицо Аленушки зарделось, она стыдливо опустила голову.

— Да разве ж можно так? Испугалась баловства...

— А теперь пойдешь за мной? Не будешь жалеть? Не будешь раскаиваться?

— Теперь все равно! Хоть день, да с тобой, родненький ты мой! — Она теснее прижалась к его плечу. Демидов взглянул на зардевшиеся щеки монашки; стало тепло и хорошо на сердце. Он долго-долго смотрел на хорошенькое личико, гладил ее русые волосы и шептал ласковые слова, а она все ниже и ниже клонила голову, прислушиваясь к нежным словам...

Через час Николай Никитич вышел из покоев и позвал Данилова. Когда управитель явился, он приказал строго:

— Знаю, что скажешь! Не спорь! Решено нами: Аленушка едет с обозом. Переодень ее, а монашеское платье сожги, да не пытай ее своими расспросами. Посади ее в лучшую фуру, и пусть Орелка бережет...

Данилов порывался что-то сказать Демидову, но тот не дал ему и слова вымолвить.

— Помолчи, так лучше будет! — пригрозил он.

Оставив раздраженного управителя, Николай Никитич снова ушел.

— Это ты все, сатана! — прикрикнул Данилов на Орелку. — Говорил, что баба — бес! А теперь на-ка, вступился! Как это понимать? Вот и береги свою птаху!

Орелка не осердился на брань управителя. Он спокойно выслушал его и смущенно попросил:

— Прости ты меня, Павел Данилович, руки не поднялись на синеокою. Видать, душевная девка! Может, и не на радость пришла

сюда, да что ж поделаешь, Павел Данилович, против хозяйской воли не пойдешь!

Орелка и сам поразился своим речам; откуда явилась эта приبلудная монашка, и что за сила в ее глазах! Взглянула на Орелку, и он смирился!

«Эх, девка, девка, на огонек потянулась! Гляди, сгибнешь. А жалко!» — подумал он об Аленушке.

Потемкин выехал из Санкт-Петербурга 5 мая 1789 года. Толпы народу сбежались посмотреть на пышные проводы светлейшего. Ехал он в золоченой карете, сопровождаемый блестящей свитой. Впереди бежали скороходы, одетые в алые кафтаны с золотыми позументами. Размахивая булавами, они на ходу зычно кричали толпам зевак:

— Пади! Пади! Стронись!

На запятках княжеской кареты громоздились два громадных арапа в лиловых плащах. Они сверкали изумительно белыми зубами, сохраняя при этом совершенно невозмутимое выражение лица. За каретой скакали уланы, драгуны, казаки. Сбоку экипажа на вороном коне следовал адъютант Демидов в походной лейб-гвардейской форме. Николай Никитич восхищенно поглядывал в окно кареты, ловя каждое движение светлейшего. Потемкин держался величественно: полное лицо его дышало покоем. Демидову было приятно показать себя толпе. В белых лосинах, затянутый в мундир, румяный и свежий, он выглядел красавцем. Сам понимая это, он горячил своего коня, чтобы покрасоваться. Игривый конь гарцевал под ним, кося на толпу влажные фиолетовые глаза. Он бережно нес всадника, играл каждым мускулом и, высоко задрав длинную тонкую голову, время от времени оглашал дали звонким ржанием...

Вот и застава! Толпы поредели и наконец совсем отстали от поезда. Перед Демидовым распахнулась поросшая вереском равнина. Скороходы теперь тащились за каретой. Потемкин опустил голову и ехал задумчивый. Кто знает, о чем он думал?

Демидов с завистью смотрел на выхоленное лицо князя, на его умение держаться величественно и надменно. «Он ведет себя как триумфатор!» — восторгался светлейшим его адъютант.

И в самом деле, не успел Потемкин отъехать десяти верст, следом за ним погнались курьеры. Они везли князю то записочки государыни, то подарки, то благословение на подвиги. Под станцией Бологое княжеский поезд нагнал императорский курьер и испросил у Потемкина личный прием. Светлейший приказал остановить карету и вышел на шоссе. Курьер почтительно вручил князю шкатулку, присланную императрицей. На виду всей свиты Потемкин благоговейно поцеловал шкатулку и раскрыл ее. В ней лежали медали с его портретом и письмо. Светлейший вынул письмо из шкатулки, горячо облобызал его и прочел про себя. Затем князь неторопливо вернулся в карету, и поезд тронулся дальше.

На всем пути Потемкин сохранял величие и спокойствие. Демидов скакал рядом, его сменял Энгельгардт. Весь день так и не удалось Николаю Никитичу вырваться к обозу, в котором ехала Аленушка. Да ему и не очень хотелось: на душе кипела буря. Блеск и величие, окружавшие поезд светлейшего, заставляли Демидова пожалеть о совершенном. Ему очень нравилась Аленушка, ее нетронутость и покорность, приятный ласковый голос с мягким тембром и непорочные синие глаза. Но то, что так сильно захватывало сердце час назад, теперь охлаждало своей простотой. В почтительном расстоянии от поезда светлейшего медленно катилась вереница блестящих экипажей, в которых князя сопровождали столичные друзья, знакомые и таинственные искатели приключений. Среди этого шумного, беспокойного общества кавалеров и дам ехала и очаровательная гречанка де Витт.

Еле успевал Демидов смениться, как его уже тянуло к экипажу коварной прелестницы. Она ехала в зеркальной карете, принадлежавшей Потемкину. Рядом с красавицей восседал желтый и мрачный муж. Он злобно взглядывал на подъезжавшего адъютанта, когда тот появлялся у кареты, но все же снисходительно перекидывался с Демидовым ничего не значащими фразами, а дама держалась очень заносчиво.

На одном из привалов, воспользовавшись общей суетой, она, сверкнув глазами, шепнула Демидову:

— Прошу, не преследуйте меня. Слышите?

— Но мы еще не сквитались! — озорно сказал адъютант и нагло посмотрел в ее темные глаза.

— На большее не рассчитывайте! — резко сказала она и отошла к экипажу, где ее поджидал хмурый муж.

С этого времени Демидов вздыхал, терзался, он избегал встречаться с гречанкой...

Далеко позади остались дремучие брянские леса, русские избы, приветливые волнистые холмы. Впереди раскинулась степь, могучая, необъятная и однообразная. Деревни прятались в балках. Белые мазанки укрывались в садочках. Глубокая тишина охватила степь: ничто не нарушало ее однообразия и безмолвия. Изредка навстречу попадались огромные овечьи отары. Древние пастухи в вывернутых мехом наружу шубах, с длинными посохами стерегли стада. Они подолгу недвижимо стояли среди живого руна, пристально всматриваясь в даль, где небо сходилось с землей. Поджарые злые псы, завидев поезд Потемкина, с хриплым лаем бросались вслед, но казаки разгоняли их плетьюми.

С наступлением сумерек на степь надвигалась синеватая мгла, и все быстро уходило в ночь. Лишь изредка в стороне, в отдалении, вспыхивал костер странника.

На ночлегах обычно ждали в степи разбитые палатки, и потемкинский поезд шумно устраивался на отдых. Усталый и обозленный, Демидов уезжал в табор, забирался в палатку, устроенную Орелкой, и валился на походную кровать.

Напрасно Аленушка просяще смотрела на него. Могучий сон обуревал адъютанта, слипались глаза, и как ни боролся Николай Никитич с дремотой, Орелка еле успевал разоблачить гвардейца, и тот сразу засыпал. Аленушка не уходила из палатки. Усевшись в изголовье, она долго любовалась своим возлюбленным, осторожно приглаживала его темные волнистые волосы. В глубокой ночной тишине, как еле уловимый ветерок, шелестел шепот девушки:

— Николенька... Николенька...

Она на все лады повторяла это приятное для нее имя. Все свои душевные переживания и настроения она вкладывала в это волшебное для нее слово, произнося его с различными оттенками в ночном безмолвии. В нем звучали и любовь, и радость, и восхищение, и горечь, и тихая печаль. Далеко за полночь, затаив дыхание, она все сидела и ждала ласки. Вот он проснется, протянет руку и привлечет к себе...

Но ласки возлюбленного оскудели. Аленушке становилось страшно за будущее. Что будет, если Николенька разлюбит? Она гнала прочь тревожные мысли, старалась не думать о плохом...

Утром звучали рожки. Небо яснило, уходила ночная мгла. Первые лучи солнца распахивали перед взором широкий простор. Вдали на солнце блестели золотые кресты сельской церквушки. С просветленным лицом Аленушка радостно приветствовала пробуждение мира. Она склонялась над возлюбленным и будила его:

— Николенька, проснись!

Наступали блаженные минутки его пробуждения. Здоровый, сильный, он протягивал руки и привлекал ее к себе. Она ждала этого мгновения и не сопротивлялась его бурной ласке.

Орелка проворно обряжал господина, и освеженный адъютант, улыбнувшись Аленушке, спешил к шатру светлейшего.

Снова весь день она одна ехала в кибитке, от безделья разглядывая встречных. Тянулись обозы. Ленивые волы, еле передвигая ноги, медленно влачили пыльные арбы, бежали крестьянские лошаденки по темной степной дороге, в стороне важно расхаживали стаи ворон. Раз ей навстречу попался худой носатый монах. Был он весь пыльный, на груди бряцала железная кружка. Он внезапно возник перед кибиткой. Черные глаза монаха насквозь прожгли Аленушку.

— Подайте на построение божьего храма! — сиплым голосом попросил он.

Она стала рыться в узлах и вспомнила, что у нее нет ни копейки. С тех пор как девушка пришла к Демидову, она боялась взять в руки деньги, чтоб не осквернить свое безмятежное счастье. У нее много лет хранился перстенок, подобранный на дороге в ее блужданиях по храмам. Чей он был — кто знает? Однако она берегла его...

Монах все еще не опускал протянутой загорелой руки. Аленушка испугалась его черных пронизывающих глаз, силилась отвернуться — и не смогла. Чтобы избавиться от него, она сняла с пальца золотой перстенок и опустила в кружку.

Монах истово перекрестился. Страшная улыбка прошла по его коричневому лицу.

— С барином едешь? Прости, господи, блудницу! — Он тряхнул кружкой и медленно пошел прочь. Испуганная Аленушка замерла и

долго смотрела ему вслед, пока он не исчез в сиреновой мари. Весь день она находилась под впечатлением встречи со странным монахом с пронзительными глазами...

Вечером на привале к палатке на белом коне прискакала нарядная дама. Она осадил скакуна перед Аленушкой и, снисходительно улыбаясь ей, крикнула:

— Холопка, Демидова сюда!

Напудренная, в ярком шелковом платье, украшенном лентами, она казалась пестрой птицей, залетевшей издалека. У Аленушки замерло сердце. Она потемнела от обиды и ревности. С ненавистью посмотрела на щеголиху.

— Его нет! — коротко отрезала она и уперлась в бока, готовая сцепиться с приезжей.

— Где же он? — настойчиво допытывалась всадница.

— Не знаю! — Аленушка недовольно повела плечом и подошла ближе к сопернице: ох, как хотелось вцепиться в ее надушенный парик!

Конь гарцевал под незнакомкой, но она ловко протянула руку и ухватила Аленушку за подбородок. Глядя в ясные глаза девушки, щеголиха насмешливо сказала:

— Не злись, милая простушка! Мне твой Демидов вовсе не нужен!

— Что же тогда вам тут понадобилось? — строго спросила Аленушка.

— Полюбопытствовала, с кем блистательный адъютант изволит сейчас водиться! — засмеялась она, стегнула скакуна хлыстом и умчалась к шатру светлейшего.

— Паскуда! — сплюнула ей вслед Аленушка. — Это вам баловство — любовь, вы...

Ей стало горько, слезы подкатились к горлу. Как она смела светлое, глубокое чувство к Николеньке назвать таким словом!

— Будь ты проклята! — заплакала Аленушка и, ссутулившись от большого горя, скрылась в палатке...

Чем дальше на юг, тем прозрачнее и синее становилось небо. Вот и запорожские хутора миновали, и на дорогах теперь белеют долгополые свитки и широкие войлочные капелюхи молдаван. На бойких местах — еврейские корчмы и лавчонки. Нередко дымят

костры, а подле них шумный и грязный цыганский табор. Все оживленнее становился шлях: то навстречу пронесутся казацкие разъезды, то обгонят в походном марше идущую роту пехотинцев или надоедливо проскрипят арбы, запряженные верблюдами.

Последний привал, и в полдень показались Бендеры. Внизу блеснули воды Днестра. Демидов поразился виду городка. Он ожидал встретить тихие, безлюдные улицы, поросшие травой, и чем больше вглядывался в окружающее, тем все больше удивлялся. Под городом поезд светлейшего встретила делегация. Тут было самое разнообразное, пестрое общество. Заиграла музыка, и при появлении у заставы кареты Потемкина грянули пушки.

Маленький захолустный городок вдруг предстал перед очами Демидова неким подобием столицы. По широкой немощеной улице катились золоченые кареты, скакали в блестящих мундирах гвардейцы, то и дело слышались пронзительные выкрики фореиторов: «Пади!»

Напудренные щеголи, петиметры в цветастых одеждах и в пышных париках сновали мимо окон, из которых выглядывали томные красавицы под стать столичным. И что было всего поразительнее — на улицах разгуливало много иноземцев: французов, греков, итальянцев, молдаванских бояр в живописных нарядах.

Большой двухэтажный дом, роскошно обставленный, являлся ставкой Потемкина. Уже по одному кипучему оживлению у подъезда можно было догадаться об этом. Черкесы, татары, армяне, турки, молдаване, венгры осаждали штаб командующего, стремясь попасть на прием. И как только поезд князя остановился у подъезда, самая пестрая и разноязычная толпа окружила князя. Заиграл роговой оркестр, и плеяда блестящих кавалеров и дам поспешила навстречу Потемкину...

Потемкин нисколько не изменил своих привычек с тех пор, как покинул Петербург: по-прежнему он был расточителен и жаден к увеселениям. Пышность и роскошь, которыми он окружил себя в Бендерах, изумляли всех. Главная ставка князя скорее походила на великолепный двор восточного деспота, чем на военный штаб главнокомандующего. Полковник для поручений Бауэр насадил вокруг потемкинских покоев сад в английском вкусе. Капельмейстер Сартис с

двумя хорами роговой музыки забавлял гостей князя. С утра до глубокой ночи в большой приемной Потемкина толпились разные искатели приключений, просители и пройдохи. Князь не занимался делами. В кабинете на дубовых столах валялись запыленные военные карты, книги и важные донесения. На низком турецком столике, украшенном инкрустациями из золота и перламутра, лежали груды пакетов, нераспечатанных писем и депеш. Всея перепиской Потемкина ведал начальник канцелярии Попов. Низенький, тучный, с нездоровым цветом лица, он никогда не снимал с себя изрядно помятого мундира. Круглые сутки он стоически дежурил, всегда исполнительный и готовый к услугам своего господина.

В первые же дни пребывания в Бендерах адъютант Демидов был ошеломлен. После многих дней пути — пыли, грязи, дождей, ломоты в костях, грубых окриков гайдуков, унылых, спаленных степей, переполненных и душных станций, истерзанных, загнанных коней — вдруг, словно по волшебству, он очутился во дворце, в сиянии яркого света, хрустальных люстр, прекрасной музыки, благоухания цветов, среди волнующегося моря перьев, кружев и воздушных тканей над очаровательными женскими головками и мраморными плечами красавиц. Впервые ему пришлось попасть в такое большое пестрое общество, какое наполняло «княжеский двор». Это был элегантный двор вассала, не знающего границ в своих причудах. Двести прекрасных дам почти ежедневно собирались на празднества, устраиваемые светлейшим. Потемкина всегда окружали самые изысканные прелестницы: графиня Самойлова, княгиня Долгорукова, графиня Головина, княгиня Гагарина и другие великосветские красавицы. Не менее блестящее общество кавалеров теснилось вокруг князя: граф де Дама, дворянин из Пьемонта — Жерманиан, знатные португальцы де Фрейер и де Пампелионе и многие другие, не говоря уже о русской знати. В передней князя можно было встретить и низложенного султана, и турецкого пашу, и казацкого есаула, и македонского инженера, и персидского посла.

Среди всего этого шумного общества Демидова больше всего волновала черноглазая де Витт, при встречах мельком взглядывавшая на Демидова и ленивым движением чуть-чуть кивавшая ему кудрявой головой. Она все время старалась завоевать внимание Потемкина, неотступно следовала за ним. Игривая и бесцеремонная, она целиком

завладела князем. Непонятное чувство испытывал Демидов: он ненавидел гречанку и тянулся к ней. Большие жаркие глаза прелестницы влекли его к ней, но она, как хитрый хищный зверек, скалила зубы. Де Витт была значительно старше Демидова, опытна в любовной игре и доводила его своим равнодушием до бешенства.

В большом зале, где под музыку Сарти кружились пары, адъютант осмелился пригласить ее на танец. Светлейший сидел за карточным столом и был весьма занят мужем прелестницы.

В ответ на учтивый поклон Демидова де Витт полунасмешливо, полупрезрительно улыбнулась, но все же прошла с ним в круг танцующих. Они шли в плавном полонезе. Не сводя с нее влюбленных глаз, офицер прошептал:

— Вы обещали мне... Я вас люблю...

Она горделиво вскинула голову, стала недоступной.

— Я ничего не обещала вам. Вы наивный мальчик и не понимаете всего!

Демидов вспыхнул. На шее де Витт горели драгоценности его матери. Вся кровь прилила к его лицу, ему хотелось схватить, смять эту хищницу и отобрать ожерелье. Прелестница поняла, что в душе офицера творится неладное, испугалась:

— Что с вами?

Он промолчал и, волнуясь от возбуждения, отвел ее к креслам. Разгоряченный, он выбежал в сад. Ветер раскачивал деревья, шумел в кустах. Заходило солнце, и золотистая небесная ширь становилась все ярче и красочнее. Как все окружающее не походило на родной Урал! Там человеческие отношения отличались простотой. Демидов на Урале был хозяином и распоряжался людьми, а здесь с ним играют...

Он долго смотрел на закат, не переставая думать о прелестнице. Вдруг тяжелая рука опустилась ему на плечо. Николай Никитич оглянулся. Перед ним стоял Энгельгардт.

— Демидов, мне жалко тебя! — с большой искренностью сказал он. — Я все вижу и боюсь за тебя. Ты знаешь, кто ее покровитель?

— Я никого не боюсь! — вспыльчиво ответил адъютант.

Энгельгардт спокойным взглядом остановил его.

— Не говори так, Демидов! Ведь мы друзья. Ты несчастлив в любви, дорогой. Но если бы пришла удача, помни — наш ревнивец не

пощадит тебя! Майор Щегловский за польскую панну угодил в Сибирь!

Энгельгардт не произнес имени виновника несчастий, но Демидов догадался, кто он...

Адъютант сердечно пожал руку Энгельгардта:

— Спасибо...

Офицер наклонился к Демидову и полусшепотом признался:

— Боюсь еще, что сия неизвестная особа не случайно вертится в штабе. Надо быть осторожным, господин адъютант! — Он приложил палец к губам и замолчал.

И все же авантюристка захватила внимание Демидова. Она завлекала его, дразнила, по-прежнему оставаясь недоступной. Но адъютант чувствовал, что и Потемкин обманут: он несколько вечеров просидел за картами с мужем прелестницы, проигрывая большие суммы. Возмущенный за своего покровителя, Николай Никитич недоумевал: «Чего она добивается? Почему противится?»

Разве можно было сравнивать мужа фанариотки со светлейшим? Потемкин был могуч, строен, с крепкими мускулами и высокой грудью. Орлиный нос, красиво выгнутые густые брови, из-под которых светился огоньком голубой глаз. Князь смеется всегда от всей души, и тогда блестят его ровные ослепительные зубы. Не мудрено, что многие женщины ищут его ласки. Рядом с ним искатель счастья казался невзрачным, сутулым и жалким. Морщинистый, в пышном парике, благодаря своей острой мордочке он выглядел хорьком. Сухими цепкими руками он жадно сгребал проигранные светлейшим червонцы.

«Выбор может быть только в пользу Потемкина! Но почему же она трепещет под злым, пронзительным взглядом проходимца, почему она послушна ему? Что связывает эту пару?»

Демидов не находил ответа. Одно стало очевидным: Потемкин безнадежно влюблен и теряет терпение. Ненавидя де Витт, Николай Никитич тайно ревновал ее к светлейшему. Он подкарауливал ее всюду, подбирал небрежно разбросанные Потемкиным записки и воровски читал их. Она писала князю: «Машурка, здоров ли ты? Как я ласкова, когда думаю о вас. От вас зависит платить неравною монетой.

Гаур, москов, казак, яицкий Пугачев, индейский петух, павлин, кот заморский, фазан золотой, тигр, лев в тростнике. Шалун, скоро, скоро...»

Демидов тщательно прятал надушенную записку и ходил пьяным от ревности. Потемкин в это же время находился в большом ударе и беспрерывно шутил с адъютантом.

— Демидов, отправляйся на батарею и узнай, все ли в порядке! — предложил однажды князь.

Николай Никитич поспешил выполнить приказ. Вечером предстоял бал, и он трепетал от одной только мысли, что встретит гречанку. С волнующими мыслями адъютант выехал за городок. Ярко светило солнце в степи, серебрило воды Днестра. На крутом яру расположилась батарея. Демидов спешил и пошел к орудиям. Его встретил загорелый седоусый майор в изношенном мундире. Он холодно оглядел потемкинского адъютанта и коротко доложил:

— Двадцать пять пушек готовы к залпу. Проволока в кабинет светлейшего проведена, звонок в исправности; как только светлейший даст команду, немедленно грянут пушки!

Артиллерист держался строго официально. Глаза офицера были сумрачны, лицо хмуро. С неприязнью он поглядывал на новенький мундир адъютанта и розовое лицо юнца. Демидову стало не по себе от холодного, плохо скрытого презрения к нему фронтового офицера. Однако он с напускной важностью обошел орудия, хотя ничего не понимал в артиллерии.

— Что желаете еще доложить князю? — спросил Николай Никитич.

— Прошу вас, господин офицер, передать главнокомандующему мою просьбу: вся команда с нетерпением ждет отправки под Измаил! — вытянувшись по-строевому, отрапортовал майор.

Демидов возвратился в ставку раздосадованным. Он почувствовал, что, помимо потемкинского штаба, рядом есть могучая сила, которая, в сущности, решает судьбы России. Это выносливая, терпеливая и лучшая в мире русская армия. Однако, сознавая это, Николай Никитич держал себя заносчиво перед рядовыми офицерами, которые были ему просто непонятны, тем более он оказался не в состоянии понять душу простого русского солдата. Стараясь отвлечься от тревожных мыслей, адъютант поторопился в штаб.

В особняке князя уже собралось многочисленное общество. Дамы с обнаженными плечами, с пышными, затейливыми прическами, сверкая драгоценностями, щебетали без умолку. Это был живой благоухающий цветник. Свитские генералы, гренадерские офицеры, петербургские петиметры и просто безыменные бродяги, присвоившие себе громкие титулы, в бархатных камзолах и мундирах, разукрашенных позументами, лентами и орденами, шумной толпой двигались по залам.

Адъютанта немедленно окружили женщины. Жеманницы забросали его вопросами, он краснел и смущался в их обществе. Откровенные костюмы дам заставляли Демидова опускать глаза и волноваться. Невпопад отвечая на слишком бесстыдные шутки красавиц, он глазами отыскивал гречанку. Графиня Браницкая, сестра Энгельгардта, дама с томными глазами, взяла Николая Никитича под руку и увела его из дамского кружка. Загадочно улыбаясь, она прошептала адъютанту:

— Ее здесь нет... Светлейший забыл своих настоящих друзей ради этой турецкой рабыни! — В словах Браницкой прозвучало недовольство. Она потащила Демидова за собой: — Идемте! Какой же вы увалень!..

Она прошла с гвардейцем в большой двусветный зал. Там, на широком диване, покрытом розовой материей, затканной серебром, сидел Потемкин с гречанкой. Прелестница в прозрачном голубом платье, полуобнаженная, не сводила восторженных глаз с князя, который что-то ей шептал. Рядом с могучим исполином она казалась щебечущей птичкой, теряющейся в облаке газа и кружев. Драгоценные камни звездами переливались в кружевной пене. Группа веселых дам окружала князя и его избранницу. Сиреневый дым благовонных масел, разлитых в чашечки, вился к потолку. Рядом с диваном застыли два арапа в лиловых камзолах, держа наготове серебряные подносы, наполненные ароматными фруктами.

Браницкая крепко сжала руку адъютанта:

— Он всегда так... Но это скоро пройдет... Тогда вы сможете.

Она что-то горячо шептала, все сильнее сжимая его руку. Но Демидов не слушал ее; чувство жгучей ревности снова наполнило его. С надеждой он взглянул на фанариотку, но та не пожелала заметить

его. Это еще сильнее укололо в сердце. Он осторожно освободился от Браницкой:

— Я не могу здесь...

— Понимаю вас! — с легкой насмешкой отозвалась дама и, величаво кивнув ему головой, плавно пошла к свите Потемкина.

Демидов прошел в зал, где за карточными столами в клубах табачного дыма сидели игроки, и среди них муж прелестницы. Рядом с ним, с замкнутым серым лицом, над зеленым полем склонился Попов. Он был в своем неизменном помятом мундире. Короткими толстыми пальцами, поросшими рыжеватыми волосами, правитель канцелярии выбрасывал карты. Его маленькие, мышинные глаза бегали тревожно.

— Бита! — вдруг веселым голосом объявил он и жадно придвинул к себе пачку радужных ассигнаций.

— Ставлю пятьдесят тысяч! — подчеркнуто громко сказал муж прелестницы.

Попов снова стасовал карты и приготовился метать. Противник поставил две карты и загнул каждую мирандолом^[6]. По второму абцугу^[7] правитель канцелярии вскрыл свою карту, и вновь она оказалась выигрышной.

— И эта бита! — спокойно объявил Попов.

У его партнера заходили руки. Он вскочил и, весь красный, предложил Попову:

— Давайте на мелок!

— Э-э, государь мой, на мелок я не играю! Пожалуйте на чистые!..

— Вы черт! — зло обронил муж прелестницы и, увидя Демидова, взял его под руку. — Идемте к столу!

Он провел адъютанта в княжескую столовую, где за большим столом шумело веселое общество. «Граф» быстро отыскал свободное место и усадил рядом с собою Демидова. Налив бокал шампанского, высоко поднял его.

— Господа, я предлагаю тост за здоровье и удачу светлейшего!

Острыми, пронизательными глазками он обежал круглый стол. Ни Потемкина, ни прелестницы за ним не было. Дамы многозначительно переглянулись с кавалерами. Николай Никитич догадался и покраснел. Но муж де Витт несколько не смутился этим обстоятельством. С

победоносным видом он осушил бокал до дна и обвел всех веселым взором.

В это мгновение грянул пушечный залп.

«Свершилось!» — в отчаянии подумал Демидов, поняв значение этого залпа, и в страхе взглянул на мужа прелестницы. Но тот нисколько не взволновался. Услышав залп, он только пожал плечами и цинично сказал на весь зал:

— Скажите, какое громкое кукареку!..

С этого памятного вечера гречанка стала заносчивее и беззастенчивее. Встречаясь с Демидовым, она вовсе не замечала его. Николай Никитич, однако, не мог успокоиться и, помимо своей воли, продолжал тянуться к де Витт. Все, что было в ней порочного, наглого и лживого, вскрылось в эти дни. И все-таки, несмотря на грубую, неприкрашенную истину, стоило гречанке бросить притворно робкий, невинный взор из-под темных ресниц, гнев Демидова таял, словно по волшебству. В эти минуты прелестница казалась слабым, хрупким созданием; Николай Никитич становился податливее, мягче воска и старался оправдать ее изменные поступки.

Только один Энгельгардт не терял голову. Он зорко следил за фанариоткой и ее подозрительным мужем.

— Здесь военный штаб, и ей не место тут! — резонно рассуждал он. — Кто знает, какие замыслы таит любая из красавиц, прибывших сюда из Санкт-Петербурга?

Адъютант судил строго и прямолинейно:

— В день дежурства я неспокоен, Демидов. Это черт, а не женщина!

В самом деле, гречанка назойливо проникала всюду. Демидов уставал от тревог. Разбитый, он приходил в домик просвирни, в котором жила Аленушка, и не находил покоя. Чистая русская красота перестала увлекать гвардейца. Аленушка чувствовала его охлаждение, молчала и стойчески удерживалась от упреков.

Однажды Демидов проснулся среди ночи. Над ним склонилось девичье лицо с синими глазами, полными слез. Ему стало жалко свою молчаливую подружку.

— Что с тобой, Аленушка? — ласково спросил он.

— Боюсь, Николенька! Ой, боюсь! — страстно прошептала она и теплым плечом тесно прижалась к нему.

Порыв возлюбленной всколыхнул Демидова. Он осторожно стал ласкать ее светло-русую голову, круглые плечи.

— Чего же ты боишься, моя дурочка? — взволнованно спросил он. — Или ты узнала что-нибудь худое про меня?

— Ах, не то! — покачала головой Аленушка. — Совсем не то! Я знаю, что ты не ангел, но сердцу ведь не прикажешь оставить тебя. Пошла за тобой — выходит, на все решилась: на муки, на радости, на горе! Ах, Николенька, когда любишь человека, то и терзания бывают сладки! Без них не может быть любви! — искренне, горячим шепотом раскрывала она перед ним свою душу.

Демидов удивленно разглядывал девушку.

«Так вот ты какая!» — в умилении подумал он и пожалел о своей слабости:

— Да, нехорош я, Аленушка! Страсти меня обуревают!

Мокрой от слез щекой она прижалась к его щеке.

— Милый ты мой, да где тебе стать хорошим? Барин ты, трудов не знаешь. Все тебе в руки далось без стараний, пришло от богатства! А в безделье человека ржа разъедает! Некрепок он тогда!

— Так ты и боишься этого, что некрепок я и не устою против соблазна? — спросил он, приподнялся и пытливо, долго смотрел ей в глаза.

— Боюсь! — чистосердечно призналась Аленушка. — На худое могут уговорить.

— Кто же меня уговорит?

— Известно кто! — простодушно ответила она. — Подле князя много вертится разных людей, а кто они — один бог знает! Берегись, Николенька! Я прощу обиды, но бывает такое, что никто не простит: ни мать, ни жена, ни люди!

Демидову стало нехорошо под пытливым взглядом девушки. Он опустил глаза, задумался. Потом тихо-тихо снова заговорил:

— Сейчас и я боюсь, Аленушка. Боюсь, что ты моя совесть...

— Далеко мне до этого, Николенька! Я простая русская баба.

Он по-иному рассматривал ее теперь. Впервые увидел в ней человека, русскую душевную женщину. И эта душевность покорила его. Он взял руки Аленушки и перецеловал их.

— Что ты, что ты! — смущенно запротестовала она. — Не надо так! Обними лучше покрепче!

В полуночный час на душу Демидова сошел покой.

— Спасибо тебе! — прошептал Николай Никитич и нежно обнял девушку...

Весь день на очередном дежурстве адъютант напряженно думал. В ставке перебивало много людей: офицеры — курьеры из-под Измаила — ждали приказаний от главнокомандующего, статный кавалергард в серебристых латах из Санкт-Петербурга стремился попасть на глаза Потемкину, генералы, гонцы, просители добивались приема, но Демидов боялся войти для доклада в покой светлейшего. Однако томление достигло предела, и адъютант наконец решился пробраться в комнату князя. С робостью он переступил порог покоя, устланного коврами. Стояла тишина; На пестрой широкой софе валялся Потемкин в атласном голубом халате, надетом на голое тело. На волосатой груди его поблескивали образки, ладанка, два крестика на шелковых шнурках, потемневших от пота. Нечесанный, неумытый, светлейший дремал в забытии, не интересуясь ни курьерами, ни делами.

При входе адъютанта Потемкин поднял голову.

— Это ты, Демидов? Уйди, надоело мне все!

— Ваша светлость, вы просили напомнить о делах.

— К черту дела! — заревел князь. — Уйди, пока цел!

Потемкин упал лицом в подушки и затих. Адъютант на цыпочках вышел в приемную.

— Господа, князь чувствует себя плохо, и прием не состоится! — оповестил он ожидающих.

Постепенно все нехотя разъехались. Осталась лишь одна де Витт. Шумя шелком, она быстро проскользнула мимо адъютанта и скрылась в покоях Потемкина.

Было за полночь, когда Демидов склонил голову на руки и задремал. За стеной слышались голоса курьеров, берейторов, казаков-скороходов. Тихий говорок монотонно сочился в приемную и усыплял...

Скрип половиц пробудил адъютанта. Он испуганно открыл глаза: что-то легкое, белое мелькнуло мимо него и скрылось в кабинете Потемкина.

«Светлейший!» — в страхе подумал Демидов, и сон как рукой сняло. Он вскочил и, пройдя к незакрытой двери, заглянул...

По мягкому ковру, в ночной сорочке, разглядывая кабинет, медленно двигалась прелестница. На мгновение женщина остановилась, прислушалась и, как мелкий ночной хищник, стала шарить глазами по стопкам депеш...

Шумно дыша, Демидов ворвался в кабинет и схватил ее за руку.

— Что вы здесь делаете? Кто вам разрешил? — возмущенно закричал он, сильно сжав хрупкую руку.

Гречанка приглушенно вскрикнула и виновато прошептала:

— Николенька, я искала вас... Светлейший уснул...

От женщины шло приятное дурмящее тепло, тонкий запах притираний мешался с запахом тела и кружил голову. Она умоляюще смотрела на адъютанта.

Демидов оттолкнул женщину.

— Врешь! — закричал он. — Ты не меня искала! Ты шпионка!

— Николенька, не кричите! Я люблю вас, милый! — жалобно-просяще прозвучал среди ночной тишины ее голос.

— Врешь! Ты не за этим сюда шла! — гневно выкрикнул он и схватил ее властным движением. — Идем!

На крик распахнулась дверь, и вошел встрепанный, вечно бодрствующий Попов. Удивленно разглядывая дежурного адъютанта и полуобнаженную прелестницу, он двусмысленно улыбнулся.

— Простите, я, кажется, помешал! — неприятно скривил он тонкие губы.

— Шпионка! Арестовать! — вне себя негодуя закричал Демидов.

— Прошу вас, тише, господин адъютант! Боже сохрани, разбудите его светлость! — вкрадчивым голосом прервал его правитель канцелярии.

Мягко ступая, он прошел вперед. Его лисье лицо было полно самоуверенности и покоя.

— Демидов, вы с ума сошли! — сказал он сердито. — Мадам де Витт здесь свой человек. Отпустите немедленно!.. Прошу вас! — учтиво поклонился гречанке Попов. — Нельзя быть такой неосторожной...

— Я шла в туалетную! — детски наивно пролепетала она и потупила глаза.

— Вы ошиблись дверью, сударыня. Вот сюда! — Он открыл дверь в покои светлейшего и пропустил ее. Прелестница торопливо скрылась.

— Она шпионка! — гневно сказал Демидов.

— Замолчите, сударь! Своим бестактным поведением вы оскорбляете высокую особу! Слышали? — прошипел правитель канцелярии.

— Вы забываете, господин полковник, что законы военного времени карают шпионов! — наливаясь краской, вымолвил Демидов.

Попов усмехнулся. Оглянувшись, он вплотную подошел к офицеру и прохрипел:

— Запомните раз и навсегда, сударь: все законы здесь, в этом доме, сосредоточены в светлейшем. Он один карает и милует! Потом помните, Демидов, пред вами выбор: или вы будете молчать обо всем, или вам не сносить головы! Вы могли ее соблазнить! Вы понимаете, что это значит? Как посмотрит на это светлейший? Слышали?

У Николая Никитича потемнело в глазах. Его обезоружил этот сутулый, с серым обрюзглым лицом и красноватыми крысиными глазками прислужник князя. У Демидова все внутри кипело, протестовало, но ему стало ясно, что Попов не остановится перед любой ложью.

— Вы слышали? — властно и зло повторил Попов.

— Слышал! Вы подлец! — гневно сорвалось с языка Демидова.

Адъютант схватился за шпагу, готовый вступить в поединок. Но Попов презрительно скривил губы и невозмутимо ответил на вызов:

— Вы ответите мне за оскорбление, Демидов! Драться с вами я не намерен. Вы мальчишка, а я старик; мне не к лицу разыгрывать светские комедии. Спокойной ночи! — Он неторопливо повернулся и тихим шагом вышел из дежурной.

Гречанка и ее муж внезапно исчезли из Бендер. Казалось, никто не обратил внимания на отсутствие де Витт. Даже Потемкин успокоился в тот же день. Оживленный, помолодевший, он весь вечер ласково беседовал со своей племянницей Браницкой.

«Неужели Попов предупредил обо всем прелестницу и они испугались разоблачения? Пустое, эти авантюристы не трусливого десятка! Что же тогда такое?» — растерянно думал Демидов.

Сдавая дежурство Энгельгардту, Николай Никитич задержал его.

— Вы ничего не заметили?

— Нет! — равнодушно отозвался офицер. — На мой взгляд, все идет хорошо!

— Но куда скрылась графиня де Витт? — Демидов пытливо посмотрел на адъютанта.

— Это меня нисколько не интересует! — безразлично ответил тот. — На нашем южном небосклоне каждый день вспыхивают и погасают метеоры. Разве можно обращать внимание на обыденные явления?

В поведении Энгельгардта на этот раз чувствовались превосходство, самонадеянность. С важностью человека, имеющего большой вес, он сказал:

— Только постоянные звезды излучают ровный, негаснущий свет, и это дорого нам, Демидов!

«Он рад за свою сестру, графиню Браницкую. Дальнейшее его не интересует!» — сообразил Николай Никитич.

Демидов взволнованным возвратился в домик просвирни. У огонька, склонившись над шитьем, сидела Аленушка. Тихо скрипнула дверь, девушка обеспокоенно подняла глаза.

— Что с тобой, Николенька? — встревоженно спросила она своего возлюбленного. — На тебе лица нет!

Демидов не спеша снял мундир, обрядился в домашний халат и присел рядом.

— Гречанка сбежала! — глубоко вздохнув, признался он и поведал обо всем, что случилось ночью.

Она внимательно выслушала его.

— Милый ты мой! — воскликнула Аленушка. — Энгельгардт — немец! Ему до России нет дела. Чует мое сердце, Николенька, что не все еще кончилось. Остерегайся!

— Ну, знаешь, волков бояться — в лес не ходить! — насмешливо перебил Демидов.

— Ты не шути! — остановила его строгим взглядом Аленушка. — Звери бывают разные. Трусливая нечисть опаснее храброго зверя!

Боюсь я за тебя, Николенька! — Она нежно прижалась к его плечу и стала гладить мягкие волосы.

В маленькой опрятной горенке уютно. В лампочке потрескивает фитилек. В спокойном ровном свете лицо Аленушки выглядит розовым и умиротворенным. Она с душевной лаской смотрит на Демидова. От этого ему приятно и радостно. После шума и суеты в штабе здесь все просто, тихо, успокаивает, и забываются все невзгоды.

Аленушка снова принялась шить. Изредка она отрывалась от работы и с загадочной улыбкой взглядывала на Демидова.

— Чему улыбаешься? — ласково спросил он подругу.

— Многое, Николенька, человеку передумается, особенно когда он день-деньской один. Все думаешь и думаешь! — мечтательно промолвила Аленушка. Она снова отложила шитье и склонила на плечо Демидова голову. — Знаешь, Николенька, мне бы... — Она смутилась и покраснела.

Демидов недовольно отодвинулся.

— Да что ты надумала? — обеспокоенно спросил он, и глаза его трусливо забегали.

— Ты не бойся, Николенька! — душевно придвинулась к нему Аленушка. — Ничего этого нет, а случится — не пугайся. Живи как знаешь. Понимаю — не пара ты мне. На это шла...

Круглым розовым локотком она облокотилась на стол и долго задумчиво смотрела на огонек. Он горел ровным пламенем, внося в душу покой и тихую радость. Глядя на грустное лицо Аленушки, Николай Никитич думал:

«Как непохожи русские женщины на авантюристок-инозенок, которые вертятся в ставке светлейшего! У одних любовь и материнство превыше всего, а у тех пустоцветов — ложь, обман и липкая грязь. Фу, мерзость какая! Но отчего же эти пустоцветы больше влекут нас к себе, чем хорошее и чистое? Может, оттого, что последнее — простое и спокойное, а человек вечно чем-либо недоволен, все ищет бури для своего неугомонного сердца! Ах, любовь, любовь!» — вздохнул Демидов.

Угадывая его мысль, Аленушка приласкалась к нему.

— Не кручинься! Не для укора призналась я тебе в своем желании и не для обиды. Господи, как я хотела бы, чтобы ты был простой мужик, пахотник, а я — твоя баба. Натрудился бы ты в поле,

наломался над сохой, пришел домой, я тебя бы накормила, обласкала...
Николенька...

Он смотрел на нее радостно-удивленным взглядом: Аленушка не оказалась алчной и завистливой. И все же он поторопился отогнать от себя простые и добрые мысли.

«Видать, и во мне сказывается плебейская кровь тульских дедов! — недовольно нахмурился Демидов. — Однако прочь, сии сельские идиллии не для меня писаны!..»

Стараясь скрыть свое настроение, он деланно-протяжно зевнул и пожаловался:

— Спать пора! Сбежал я сюда от суеты на часик-другой!..

Она быстро взбила постель, погасила огонек и улеглась рядом с ним, теплая и покорная.

Не напрасно тревожилась Аленушка: Демидова подстерегало испытание. Поздним вечером он дежурил в штабе. Было около полуночи, когда его сменил Энгельгардт. Веселый и самодовольный, он задержал адъютанта и, обняв его за талию, прошелся с ним по комнате.

— Знаешь, Демидов, я очень счастлив за Сашеньку... Теперь я спокоен...

Николай Никитич озабоченно прервал Энгельгардта:

— А я обеспокоен другим: князь мало уделяет внимания делам...

— Пустяки! Светлейший — чародей, маг! Он все успевает, а для черновой работы — Попов! — отмахнулся адъютант.

«Казнокрад и подлец!» — хотелось выкрикнуть Демидову, но он сдержался. Для многих не составляло секрета, что Попов ночи напролет просиживает за ломберным столом, проигрывая огромные суммы. Откуда они у него?

Хмурый, усталый Демидов посидел полчасика в штабе и, вспомнив Аленушку, решил навестить ее.

На южном бархатно-темном небе мерцали яркие звезды. За Днестром шумели сумрачные заросли. Только что прошел дождь, и в дорожных колеях, наполненных водой, серебрился отраженный серп месяца.

Николай Никитич поспешил по знакомой тропке к дому просвирни. Отчего-то ныло сердце. В потемкинском штабе он чувствовал себя на положении бедного родственника. Санкт-петербургская контора на все просьбы выслать денег скупно отписывалась, тянула и слала ему гроши. Правитель Данилов, ссылаясь на опекунов, не давал размахнуться молодому хозяину. Между тем в главной квартире успех обеспечивался тому, у кого имелся тугой кошелек. Прелестницы дарили Демидову улыбки, жеманились, но подшучивали над ним:

— Не торопитесь, миленький! Ведь вы опекаемый. Дитя!

Он понимал, что дамы знают о состоянии его кошелька, и шутки их злили адъютанта...

В глубоком раздумье пробирался он среди зарослей бересклета, кизила. Позади раздался приглушенный голос:

— Господин, обождите одну минутку!

Демидов оглянулся, вздрогнул. В кустах стоял высокий, широкоплечий татарин в бараньей папахе. Он улыбался, в густой черной бороде блестели зубы.

— Что тебе нужно? — встревоженно спросил Демидов, хватаясь за шпагу.

— Дело есть, господин хороший! — надвигаясь на него, насмешливо сказал татарин. — Зачем трусишь, оставь шпага!

— Какое дело? Кто ты такой? — отступил от него Демидов, пытливо оглядывая бродягу.

Внезапно он услышал тихий плеск и вороватые шаги: кто-то вышел из кустов и преградил тропку.

— Стой! — зло окрикнул его татарин. — Пришел твой конец!

Он ощерил крепкие волчьи зубы и взмахнул рукой. Серебристой искрой сверкнул кинжал, но Демидов проворно уклонился от удара и выхватил шпагу. Он никогда в жизни не дрался на шпагах. Суетливо, но быстро он отбивал удары, стараясь держаться лицом к противникам.

— Зачем канитель такой! Лучше скорый смерть! — насмешливо выкрикнул татарин и с большой яростью напал на офицера. — Не мешай мне! — сказал он своему товарищу.

Медленно отступая, Демидов чувствовал силу и проворство противника.

«Неужто смерть? — мелькнула страшная догадка, и он закричал что было мочи:

— Караул! Грабля-ят!..

— Ну чего кричишь, господин! Добрый офицер стыдится страха. Хороший рубака не кричит, а ты баба! Фазан! Кричи не кричи, все равно тебе сделаю смерть! — размахивая кинжалом, зловеще проговорил татарин. — Смотри!

Он сделал прыжок, но в это мгновение кто-то с разбегу прыгнул ему на спину:

— Ге-е!.. — прохрипел татарин и выпустил кинжал.

С минуту он раскачивался и, с выпученными, изумленными глазами, словно завидев что-то страшное, упал на тропку. Второй противник, грузный и безмолвный, кинулся в кусты...

— Злодей! Николенька, бей их! — раздался женский голос.

— Аленушка! — изумленно прошептал Демидов.

— Круши! — ободряюще позвала она и бросилась за грузным бродягой...

Но Николаем Никитичем овладел страх, безумный, неодолимый страх, от которого похолодела кровь. Не помня себя, он побежал через рытвины и кусты на дальний огонек.

«Господи, спаси меня, спаси!» — тяжело дыша, просил он.

Но никто за ним не погнался. Позади было тихо.

«Ух! — вздохнул Демидов. — Где же Аленушка, что с ней?» — опомнился он.

Впереди на холмике темнел домик, из подслеповатого окошечка струился робкий свет. Демидов взбежал на крылечко и заколотил в дверь:

— Спасите! Спасите!

Распахнулась дверь, в сенцах стоял седенький попик в холщовой ряске.

— Что случилось, сын мой? — встревоженно спросил он.

— Батюшка, там мою холопку режут! — закричал Демидов и схватил его за рукав. — Идем! Идем!

— Эх перепугался! Ничего ей не станет! — спокойным голосом отозвался попик. — Однако погоди, сынок!

Священник вошел в домик и разбудил попадью. Вооружившись топорами, они пошли за Демидовым.

— Что за грех такой! — удивленно пожимал плечами попик. — Откуда и что? Слышишь, все тихо, и, стало быть, понапрасну ты поднял шум!

Они шли по влажной тропке. Ноги скользили, кусты кизила цеплялись за одежду. Зеленый свет месяца то вспыхивал, то погасал. Демидов шел, опустив голову. Ему стало стыдно за напрасную тревогу и за свою трусость.

— Ахти, господи! — вскрикнул вдруг священник и наклонился над тропкой.

Скупой свет пролился из-за тучки. На стежке лежала бездыханная Аленушка. Священник приподнял ее голову.

— Господи, прости ее грешную душу! — тяжело вздохнул он и перекрестился. — Каким извергам понадобилось убивать сию кроткую молодницу?

Демидов упал на колени подле тела Аленушки. Тихие и горькие слезы стали душить его.

Печальная улыбка болезненно скривила губы священника.

— Теперь поздно предаваться отчаянию, господин! Нечистое дело тут вышло! Кто виновен, не я здесь судья!..

Он выпрямился и сказал попадье:

— Пойдем, матушка! Надо прибрать тело!

Мертвящий свет месяца смотрел в похолодевшее лицо Аленушки. Демидовым овладела тоска, смертная, горькая тоска.

В то самое время, когда в ставке главнокомандующего Потемкина шли бесконечные пиршества, в столице происходили весьма важные политические события, которые сильно взволновали императрицу Екатерину. Прежде всего ее беспокоила война со Швецией, начатая высокомерным и честолюбивым шведским королем Густавом III, возомнившим себя непобедимым полководцем. Мысль о разгроме России и завоевании балтийских берегов вскружила ему голову. Самонадеянный король хвастался перед придворными, что скоро шведские войска займут Санкт-Петербург и он опрокинет Медного Всадника в Неву. Свитским дамам он заранее обещал пригласить их на великолепный бал, который устроит в Петергофе по случаю занятия русской столицы. Отправляясь в поход, Густав III писал одному из своих друзей:

«Мысль о том, что я могу отомстить за Турцию, что мое имя станет известно Азии и Африке, все это так подействовало на мое воображение, что я не чувствовал особенного волнения и оставался спокойным в ту минуту, когда отправлялся навстречу всякого рода опасностям. Вот я перешагнул чрез Рубикон...»

Военные действия против России начались в 1788 году осадой Нишлотской крепости, находившейся в нескольких днях пути от Санкт-Петербурга.

Императрица сильно перепугалась и на докладе статс-секретаря Храповицкого раздраженно сказала:

— Ах, право, очень жаль, что государь Петр Первый так близко от врага возвел нашу столицу!

Сдержанный и педантичный придворный учтиво ответил:

— Ваше величество, он основал ее прежде взятия Выборга, следовательно надеясь на себя!

Это нисколько не успокоило царицу, волнение ее усиливалось, и в Петербурге со дня на день ждали появления шведов на берегах Невы.

Однако русский гарнизон крепости Нишлота оказался стойким, и шведы не смогли овладеть этой небольшой твердыней. Дальнейшие события показали, что и на море шведы не добились желанных успехов. Битва при Гохланде, которая состоялась 17 июля, закончилась

победой: шведские корабли вынуждены были удалиться в Свеаборгскую гавань, и там их блокировал русский флот.

Не удалась Густаву III и главная операция — взятие Фридрихсгамской крепости. Во время приготовлений к осаде в шведском лагере среди офицеров началось волнение. Они отказались сражаться, указывая на незаконность наступательной войны, начатой без согласия сейма. Около ста офицеров подали в отставку и готовились покинуть лагерь. В Аньяле образовалась конфедерация, которая и положила конец военным операциям 1788 года.

Король был в отчаянии. Своему приближенному генералу он признался:

— Наша слава исчезла навсегда, я ожидаю смерти от руки убийцы!

В результате неудач шведский король вынужден был начать переговоры. Между русскими и шведскими войсками возникли самые оживленные сношения.

Один из современников шведского похода сделал очень меткое ироническое замечание об этом событии.

«Шведы в этом походе, — писал он, — нуждались не столько в солдатах, сколько в трубачах для оказания услуг при непрерывном обмене визитами шведских и русских парламентаров».

Екатерина обрадовалась внезапному благоприятному повороту событий. Теперь, когда миновала страшная угроза, она выражала сочувствие шведскому королю и осуждала недовольных им офицеров.

— Изменники! Предали своего монарха! — гневно сказала она о последних. — Был бы король с нами учтивей, он заслужил бы сожаление, но теперь, увы, надо пользоваться обстоятельствами: с неприятеля хоть шапку долой!

Однако радость царицы оказалась преждевременной — вскоре обстоятельства круто изменились к худшему. Королю Густаву III удалось подавить конфедератов. Он стал полным диктатором и с новыми силами бросился в поход.

Вековые враги России, правящие круги Англии и Пруссии были очень довольны тем, что война со Швецией и Турцией затягивается. Мало этого — эти державы готовы были сделать все для того, чтобы еще больше разжечь вражду между воюющими. Атмосфера накалялась с каждым днем, и можно было ожидать

внезапного нападения Пруссии. Обеспокоенная таким оборотом дела, Екатерина 13 мая 1790 года писала Потемкину:

«Мучит меня теперь несказанно, что под Ригою полков не в довольном числе для защищения Лифляндии от прусских и польских набегов, коих теперь почти ежечасно ожидать надлежит. Король шведский мечется всюду, как угорелая кошка. Долго ли сие будет, не ведаю, только то знаю, что одна премудрость божия и его всесильные чудеса могут всему сему сотворить благой конец. Странно, что воюющие все хотят и им нужен мир. Шведы же и турки дерутся в угодность врага нашего скрытного, нового европейского диктатора (короля прусского), который вздумал отнимать и даровать провинции как ему угодно: Лифляндию посулил с Финляндией шведам, а Галицию полякам...»

Положение для России создалось крайне тяжелое, тем более что 17 марта 1790 года шведы неожиданно захватили Балтийский порт. Правда, через несколько часов русские войска выгнали их оттуда, но все же это событие сильно встревожило царицу.

Король Густав III к этому времени разработал план, по которому предполагалось обойти русские крепости Фридрихсгам, Выборг, Вильманштранд, Нишлот и нанести удар непосредственно Петербургу. Это вынудило бы Екатерину заключить мир.

В столицу дошли слухи, что в Балтийском море крейсирует сильный шведский флот и надо ожидать скорого нападения. Царица сильно струсила. Статс-секретарь Храповицкий по обыкновению аккуратно занес 3 мая 1790 года в дневник свои наблюдения за событиями и поведением императрицы: «Шведский корабельный флот в 26 парусах подходит к Чичагову^[8], на ревальском рейде стоящему. Великое беспокойство. Почти ночь не спали...»

Царица на самом деле не сомкнула от страха глаз. Однако тревога ее оказалась напрасною. Русский флот всегда отличался неустрашимостью и решительностью действий. Так случилось и в этот раз: утром на следующий день курьер привез весть о победе над шведами. Вражеские корабли были рассеяны.

К сожалению, радость вскоре была омрачена. Несколько дней спустя по столице пронесся новый слух о том, что шведский флот приближается к Кронштадту. Беспокойство, охватившее население Петербурга, достигло крайнего напряжения. Стоило только на одной из

окраин города взорваться небольшому запасу пороха, как жители вообразили, что шведы ворвались в столицу.

Вскоре все выяснилось, но горожане по-прежнему собирались на перекрестках, на базарах, — только и было разговору о шведах. В народе в эти дни возникла мысль о создании добровольческих военных дружин для защиты Петербурга. Городская дума одобрила пожелание и решила на свои средства создать команду из двухсот добровольцев.

В таможне в эту пору работал управляющим Александр Николаевич Радищев. Вельможный Петербург считал его очень интересным, но в то же время весьма опасным и беспокойным человеком. Радищева знали и при дворе, так как в юности, во время коронации Екатерины в Москве, он состоял в пажках, затем служил в сенате и даже некоторое время исполнял в нем обязанности обер-аудитора. И там он всегда противодействовал несправедливым решениям; нажил себе среди сенаторов врагов и вынужден был уйти в отставку. О своем прошлом Радищев откровенно говорил:

— Худо ладил со своими начальниками, был не льстив и не лжив.

Александр Николаевич любил литературу, много писал и все свои творения посвятил самому главному в своей жизни — борьбе с крепостничеством и его защитником, царским самодержавием. Лет семь тому назад, в 1783 году, он закончил свою оду «Вольность», которую за резко выраженное революционное содержание отказались поместить в журналах. Списки оды «Вольность» ходили по рукам, и многие с жадностью читали слова о том, что настанет время, и самодержавие рухнет в России, и революция создаст новый строй. Это было неслыханно! Так еще никто не писал:

Из недр развалины огромной,
Среди огней кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы темной,
Что лютый дух властей возжег, —
Возникнут малые светила,
Незыблемы свои кормила
Украсят дружества венцом,
На пользу всех ладью направят
И волка хищного задавят,

Что читил слепец своим отцом...

Радищев происходил из дворянской помещичьей семьи и еще в раннем детстве хорошо ознакомился с положением крепостной деревни. Мальчиком он забегал в крестьянские избы и там видел совсем иной мир, который резко отличался от жизни в барской усадьбе. Крепостные вели убогую полуголодную жизнь. В курной избе черно от налета сажи, которая покрывала все: и стены, и потолок, и скамьи. Люди спали прямо на полу или на полотах, подостлав солому и прикрывшись рваным зипуном. Зимой свое жилье крепостные разделяли с ягнятами, телятами, которых брали на ночь, боясь, чтобы они не погибли в холодном хлеву. Долгие зимние ночи трудились при свете лучины. Чрезмерный труд на господ страшно изнурял, и совсем не оставалось времени для работы на себя. Барщина продолжалась четыре, пять, а иногда и все семь дней в неделю. Даже терпеливый отец Александра Николаевича о помещиках-тиранах сокрушенно говорил:

— Они налагают на мужиков труды, выступающие за пределы сносности человеческой.

Ко всему этому за малейшую провинность, а иногда и вовсе без всякой провинности, господа подвергали крепостных порке. Но самое страшное — о крепостных помещики говорили как о вещи или собаке. Крепостных продавали, как обычно продают скот на базаре, иногда разбивая семьи. Еще до восстания Пугачева Радищеву приходилось читать возмущившие его душу публикации о продаже крепостных. Среди них были подобные:

«Сбежал черный курчавый пес; с того же поместья сбежал и дворовый человек. Приметы: рост 2 аршина 6 вершков, бел, кругловат, волосы на голове темно-русые, глаза серые, от роду ему 18 лет, обучен шить мужское платье».

Или:

«Продается дворовая девка 28 лет, умеющая чисто шить и приготавливать белье и знающая частью женское портное дело».

Или:

«Продается мальчик 16 лет, знающий отчасти поварское искусство».

Все это вызывало искреннее возмущение у Радищева; всюду, где мог, он старался по возможности облегчить участь крепостного раба. Когда петербургская городская дума решила организовать добровольческую дружину, он подсказал, что в патриотических целях неплохо будет принимать в команду и крестьян, бежавших от помещиков. Городская дума согласилась с этим, и вскоре появилось много беглецов, пожелавших встать в ряды защитников отчизны. Таким образом записавшиеся в отряд крепостные избегали кары за побег от барина и, кроме того, получали в руки оружие.

О решениях городской думы доложили императрице. Она пришла в ярость.

— Как смели они делать подобное — в гневе закричала она и повелела немедленно возвратить беглых крепостных помещикам. А тех беглецов, которых помещики не пожелают принять обратно, сдать в солдаты.

Узнав об этом, Радищев сильно огорчился: он явился невольной причиной того, что многие беглые крепостные попали в ловушку.

Между тем беспокойство в Петербурге усилилось. 23-24 мая при Сейскаре произошла морская битва со шведами, и гром орудий был слышен в самой столице. К счастью, и на этот раз шведский флот потерпел поражение и вынужден был удалиться в Выборгскую бухту, где его и блокировали русские. Совершенно неожиданно для короля положение шведов стало самым отчаянным. Ни одно суденышко не могло прорваться сквозь цепь заграждений. Сам Густав III голодал. Екатерина пожалела короля и направила ему особо снаряженное судно с провиантом и пресной водой. Шведам предложили капитулировать, но король, однако, пошел на рискованное дело. Неся огромные потери в людях и в кораблях, окутанный дымом, шведский флот прорвался сквозь густой строй русских кораблей и галерных судов и устремился в открытое море. Даже эта удача шведов не произвела в Европе должного впечатления. Все понимали, что дело короля проиграно...

Казалось бы, Екатерина должна радоваться, однако весь двор находился в большой тревоге: из Франции стали поступать вести одна другой тревожнее, и царица оставалась мрачной, притихшей.

Императрица не случайно отменила решение Санкт-Петербургской думы о допущении в отряд добровольцев беглых крепостных. Русский посол Симолин, пребывающий в Париже, со срочными эстафетами аккуратно присылал ей секретные сообщения о событиях, которые происходили во Франции. К донесениям он прилагал пачки литературы. Каждый раз царица взволнованно вскрывала дипломатическую почту и со страхом читала о событиях во Франции. Но еще больше ее тревожили выписки из донесений французского поверенного Жане. Тайным шифром он сообщал в Париж о настроениях, царящих в России. Пронырливый и оборотистый Безбородко, исполняющий обязанности члена коллегии иностранных дел, сумел добыть ключ к французскому шифру, перехватывал на почтамте письма Жане и делал из них наиболее интересные выписки для императрицы.

В начале ноября 1789 года французский дипломат писал в Париж:

«Если бы русские крестьяне, которые не имеют никакой собственности, которые все находятся в состоянии рабства, разорвали бы свои оковы, их первым движением было бы перебить дворянство, которое владеет всей землей...»

Агенты Жане подробно информировали его о настроении народных масс России, и в своем очередном письме поверенный очень метко оценивал положение в стране:

«Народ громко жалуется на строгость и повторность рекрутских наборов, на дороговизну всех товаров, на хлебные цены, — писал он. — При таких обстоятельствах достаточно одной искры, чтобы направить все умы к возмущению...»

Екатерина понимала истинное положение дел и принимала меры к предотвращению возможных возмущений в стране. Она подтвердила старый указ о запрещении толков о делах, касающихся правительства, зорко следила за всеми вестями, идущими из-за границы.

Все же в столице жадно ловили слухи о революции во Франции. «Санкт-Петербургские ведомости» зачитывались. Скучные сведения, проникающие на газетные страницы, давали некоторое представление о том, что сейчас происходило в Париже.

13 июля 1789 года газета сообщала:

«Вчера всю ночь били набат в разных приходах, и весь народ волновался беспрестанно, а сего дня все лавки и казенные дома

заперты, по всем улицам метается чернь с оружием, и чем сие беспокойство окончится, единому богу известно».

На другой день по газетным сообщениям события приняли более грозный характер.

«Все оружейных мастеров лавки еще ночью были разломаны и стояли поутру уже пусты. Французская гвардия и некоторые другие войска, отложась от государя, вступили на службу мещанства, — сообщали „Санкт-Петербургские ведомости“ и добавляли более волнующие сведения: — Мятежники, взяв Бастилию, освободили всех там содержащихся, из коих один сидел уже сорок лет. И, наконец, принялись разрушать стены Бастилии, которая работа и по сие время продолжается с величайшей поспешностью...»

Агенты тайной полиции доносили, что народ воспринимает эти сообщения благосклонно. Между тем наступил 1790 год, в мае сообщения Симолина стали еще тревожнее. Во Франции все быстрее развертывались революционные события, среди населения быстро росло влияние якобинцев. Екатерину угнетало признание русского посла в том, что революционный пожар грозит перебраться в соседние страны.

«Они не удовлетворятся тем, что привели Францию в состояние ужасной анархии, но стремятся уподобить ей все королевства Европы», — писал о якобинцах Симолин. Он просил царицу установить строгое наблюдение за французскими эмигрантами, прибывающими в Россию. Все более решительной становилась и революционная литература, пересылаемая послом из Парижа. Царица с ужасом просматривала ее. Это были пачки брошюр и памфлетов, направленных против короля, дворян и духовенства. Она боялась «революционной заразы» из Франции, но еще более трепетала при мысли, что Жане сообщал правду — среди русского народа продолжалось брожение. Несколько лет тому назад подавленное движение, поднятое Пугачевым, далеко не означало победу крепостников: то здесь, то там выведенные из терпения тиранством крепостные крестьяне восставали против помещиков, убивали их и жгли усадьбы.

«Разве возможно в такое время допустить беглых мужиков в городской отряд и дать им в руки оружие?» — с возмущением думала царица.

С нарастающей тревогой она продолжала следить за революционными событиями во Франции. Желая хоть немного забыться от тревог, Екатерина выбыла в Царское Село, где ее ждали различные сомнительные удовольствия. Однако и в тишине тенистых царскосельских парков ее преследовал призрак революции. И что мучительнее всего было для нее — среди придворных не было такого человека, который мог бы что-либо посоветовать. Царица металась по дворцу и не находила душевного покоя. Изредка она наезжала в Петербург, и в один из таких дней, 26 июня, Храповицкий молча положил перед ней книгу.

— Что это? — с недобрим предчувствием раздраженно спросила императрица.

— Сочинение неизвестного автора «Путешествие из Петербурга в Москву». В сей книге...

Учтивый статс-секретарь не закончил свою речь, глаза Екатерины сверкнули злобным огоньком. Она быстро поднялась с кресла и нервно заходила по кабинету.

— Выходит, и у нас якобинские писания появились! Кто пустил сию заразу? Вызвать обер-полицмейстера!

Храповицкий покинул кабинет, но взволнованная до крайности императрица долго еще не могла прикоснуться к развернутой книге. Взяв себя в руки, она, нахмурясь, принялась читать. Ее бросало то в жар, то в холод.

— Кто смел так дерзостно! Бунтовство! — время от времени восклицала она, отрываясь от книги.

Екатерина внимательно прочла первую главу и снова вызвала Храповицкого.

— В книге — невероятное! — багровея от негодования, с ненавистью сказала она. — Тут рассевание заразы французской, отвращение от начальства! Сии опасные мысли могут и у нас породить революцию! Обер-полицмейстер прибыл?

— Прибыл, ваше величество, и ждет вашего приема, — ответил статс-секретарь, склоняясь в глубоком поклоне.

— Пусть войдет! — резким голосом сказала царица.

В кабинет вошел бравый полковник и вытянулся в струнку. Императрица с презрением и гневом посмотрела на обер-полицмейстера и слегка поморщилась. В столице все знали этого

весьма исполнительного, но тупого и ограниченного служаку, про глупость которого ходили сотни самых невероятных анекдотов. Сама государыня в припадке откровенности сказала однажды Храповицкому:

— Ежели полковые офицеры малый рассудок имеют, то от практики могут сделаться способными обер-полицмейстерами. Но здешний сам дурак, ему и практика не поможет.

Прищурившись, царица спросила обер-полицмейстера:

— Ты читал сию книжицу?

— Никак нет, ваше величество! — простецки ответил полковник. — Не имею склонности к чтению.

— А меж тем ты разрешил цензурою! Зачти это место! — Она раскрыла ему главу «Тверь» и показала на стихи.

Заикаясь от страха перед царицей, обер-полицмейстер взволнованно прочел:

Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил...

На широком лбу полковника выступил холодный пот. Он застыл в изумлении.

— Ведомо тебе, о чем тут написано? — спросила царица.

— Никак не понять, ваше величество, — искренним тоном сознался обер-полицмейстер.

— Как и сие непонятно тебе? — удивилась государыня тупости полковника. — Да то похвала Кромвелю, казнившему аглицкого короля. Что сие? Якобинство!

— Матушка государыня! — повалился в ноги обер-полицмейстер. — Будь милостива, пощади, от чистого сердца каюсь, не читал сей рукописи, а печатать разрешил. Думал, пустобайка одна...

— Дурак! — гневно выкрикнула императрица.

— Истинно так! — покорно признался обер-полицмейстер. — Накажите, но помилуйте!

Искреннее отчаяние ползающего на коленях служаки тронуло царицу, она вдруг улыбнулась и сказала:

— Пойди и узнай, кем и где написана сия книга.

— Будет исполнено, ваше величество! — быстро поднялся и снова вытянулся в струнку полковник.

В своем дневнике 26 июня Храповицкий записал: «Открывается подозрение на Радищева», а на другой день императрица приказала начать формальное следствие. Она с большим вниманием углубилась в чтение книги и на листиках аккуратным почерком тщательно занесла свои суждения о каждой главе. Внутри у нее все клокотало, но, сдерживая себя, Екатерина холодно, расчетливо делала резкие, полные злобы пометы. Царица должна была сознаться, что «Путешествие из Петербурга в Москву» написал умный и весьма образованный человек, но «намерение сей книги на каждом листе видно, сочинитель оной... ищет всячески и выищивает все возможное к умалению почтения к власти и властям, к приведению народа к негодованию против начальников и начальства», — писала она.

Привыкшая к восхвалениям, к напыщенным одам, в которых воспевалось блаженство подвластного ей народа, сейчас она гневно порочила все добрые побуждения Радищева.

«Сочинитель ко злости склонен, — продолжала писать Екатерина. — ...подвиг же сочинителя, об заклад биться можно, по которому он ее написал, есть тот, для чего вход не имеет в чертоги; можно быть, что имел когда ни на есть, а ныне не имея, быв с дурным и, следовательно, неблагодарным сердцем, подвизается пером».

Императрица клеветала на Радищева, стараясь придать своей клевете правдивый вид ссылкой на то, что труд автора появился якобы вследствие зависти к вельможам, имеющим доступ в царский дворец. В душе своей она все же признавала, что это совсем не так. Екатерина понимала, что Радищев является убежденным врагом самодержавия. Из каждой строки его сочинения проступала жгучая ненависть к крепостному строю. Особенно разгневала царицу ода «Вольность», в которой звучал явный призыв к расправе с монархией.

«...ода совершенно явно и ясьно бунтовской, где царям грозит плахую! — возмущенно отметила императрица. — Кромвелев пример приведен с похвалою. Сии страницы суть криминального намерения,

совершенно бунтовский, о сей оды спросить сочинителя, в каком смысле и кем сложена».

Да, ода «Вольность» не походила на слащавые оды придворных пиитов!

В главе «Медное» Екатерина увидела призыв к крепостным, поднимающий их на восстание. К этой странице она сделала свое заключение: «то есть надежду полагает на бунт от мужиков».

Скрывая истинное положение крепостных в России, царица с цинизмом заметила на странице сто сорок седьмой: «едит оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшее сюды наших крестьян у хорошова помещика нет по всей вселенной».

Главу за главой, страницу за страницей прочитала она книгу Радищева и на полях ее написала свои краткие, но злые замечания.

Закончив чтение, она вызвала Храповицкого. Он тихо вошел в кабинет и стал у стола в угодливой позе. Императрица долго не поднимала на статс-секретаря своего взора. Однако придворный по выражению лица Екатерины догадался об охватившем ее глубоком волнении.

— Что полицмейстер? — коротко, энергично спросила она.

— Он ведет со всем усердием полицейское дознание, ваше величество.

— Вели скорее кончать и передать все Шешковскому. Надо спешить.

Храповицкий понял, к чему клонится дело. Перед его глазами встала Тайная канцелярия и ее начальник Шешковский — подвижной старик с колючими, злыми глазами. Этот льстивый человек с елейными, сладкими речами в душе ненавидел всех и преданно служил только одной императрице, в знак верности которой он повесил в допросной на самом видном месте портрет ее с собственноручной надписью:

Сей портрет Ее Величества
Есть вклад верного ее пса
Степана Шешковского.

Весь Петербург, в том числе и Храповицкий, боялся этого садиста. Статс-секретарь дрогнувшим голосом спросил Екатерину:

— Будет исполнено, ваше величество. Неужто так страшен сей сочинитель? Кажись, он немощен и пребывает в бедности...

Императрица поднялась с кресла. Внимательно глядя на Храповицкого, она с негодованием сказала:

— Он бунтовщик, страшнее Пугачева! Возьмите! — протянула она книгу и свои пометы статс-секретарю и добавила: — Передайте, кому подобает!

Храповицкий принял врученное и с бьющимся сердцем покинул кабинет государыни. Он почувствовал, что судьба Радищева уже решена.

«Кнутобоец Шешковский не выпустит жертву из своих жестоких рук!» — со страхом подумал он.

Обер-полицмейстер рьяно занялся следствием. Он установил, что книга недавно продавалась в Гостином дворе, по Суконной линии, в магазине книгопродавца Герасима Зотова. Купца схватили и с пристрастием допросили. Бледный, перепуганный, он повинился:

— Верно, я продавал сию книжицу. Но, господин полковник, я по глупости своей не мог думать, что она противная правительству. Если изволите, ваша милость, взглянуть то увидите, что на ней имеется помета цензуры Управы благочиния. Да и говорено мне, что вы сами изволили разрешить ее печатание...

— Цыц! — побагровев, прикрикнул на него обер-полицмейстер. — Не о том тебя спрашиваю! Сказывай, кто писал книгу?

— Батюшка мой, истинный бог, не ведаю о том! — упал на колени Зотов.

— Ну, коли не ведаешь, сгною в каземате до той поры, пока не откроешься! — пригрозил полковник. — Готовься, борода, на каторгу!

Книгопродавец понял, что с ним не шутят. После раздумья признался:

— Наши гостинодворцы и писаря Радищева сказывали, что книга-де эта печатана в его типографии.

— Радищева? Давно бы так! — одобрил полковник. — Теперь поведай мне, голубь, сколько у тебя было книг и кто купил их?

Герасим Зотов задумался. Обер-полицмейстер тем временем прикидывал:

«Втянуть продавца или освободить? Если привлечь, то, чего доброго, лишним словом напомнит, что я разрешил цензурой...»

Постепенно гостинодворец вспомнил и назвал фамилии некоторых покупателей. Полковник велел писцу записать адреса и послать полицейских отобрать книгу.

— А всего, барин, поручено мне было двадцать пять книг, — разъяснил Зотов.

— Молись богу, что по чистоте признался. Иди прилавку да гляди в оба; другой раз на моей стезе больше не попадайся!

Перепуганный книгопродавец поторопился убраться из полицейского управления.

Обер-полицмейстер на этом не успокоился: он вызвал и допросил таможенных служащих, писарей и слуг Радищева. Было установлено, что надзиратель Царевский, обладавший красивым почерком, по просьбе Радищева переписал начисто рукопись «Путешествия из Петербурга в Москву», которое автором было закончено еще в декабре 1788 года. Другой таможенный служащий Мейснер отнес переписанную рукопись в Управу благочиния и, не объявляя фамилии сочинителя, сдал ее для цензуры. Тем временем Радищев, урезывая себя в самом необходимом, приобрел у типографа Шнора частично за наличные, частично в долг необходимое оборудование типографии. В ней и набирал сочинение таможенный досмотрщик Богомолов, а в том ему помогали слуги писателя Давид Фролов и Петр Кутузов.

О собранных материалах обер-полицмейстер дол о жил Екатерине, и дело без задержки направили в Тайную канцелярию.

В июне Радищев с детьми и свояченицей Елизаветой Васильевной находился на даче. Все же до него дошли неблагоприятные слухи; от слуг он дознался о вызове их к обер-полицмейстеру и понял, что на него надвигается гроза. Как ни тяжело было, он собрал готовые экземпляры сочинения и сжег их. Это, однако, его не успокоило. С каждым часом душевная тревога усиливалась от сознания того, что будет с четырьмя детьми-сиротами, если вдруг его арестуют. Правда,

Елизавета Васильевна опекала их, как родная мать. Но кто знает, как она воспримет столь жестокий удар судьбы?

Предчувствие Радищева оправдалось: 30 июня, когда над окрестностями пылал золотой закат, на дачу прикатила черная закрытая карета. Из нее вышли два бравых усатых унтера и, не обращая внимания на слезы Елизаветы Васильевны и плач детей, произвели тщательный обыск. Не найдя ничего подозрительного, они арестовали Александра Николаевича, увезли его в Петропавловскую крепость и заключили в сырой, холодный каземат с грузными каменными сводами. Было поздно. В узкую амбразуру, забранную железной решеткой, струилась скупая полоска белой ночи. Этот призрачный, скудный свет еще сильнее подчеркивал мрачность обстановки. Каменная темница походила на могилу, в которой гасли все звуки. Мысль о детях все сильнее и сильнее терзала Радищева. Однако, несмотря на внезапный тяжелый удар, он не впал в отчаяние. Стоя лицом к лицу перед Тайной канцелярией, узник решил держаться твердо.

Всю ночь он сидел в глубоком раздумье перед узкой полоской трепетного света и не заметил, как серебристое сияние сменилось розовым отсветом, а затем перешло в золотистое. Утром пришел конвоир, и заключенного по глухим коридорам отвели на допрос.

У дверей большой комнаты с низкими каменными сводами стояли часовые. За столом, покрытым зеленым сукном, сидел Степан Шешковский. Его пронзительные серые глаза впились в Радищева. Узника подвели к столу. Тихим, вкрадчивым голосом начальник Тайной канцелярии стал допрашивать.

— Безмерны сердечность и милости нашей всеславной государыни, — елейно начал Шешковский. — Неизреченна ее терпимость. Полагаясь на чувствительное сердце монархини, сказывай всю правду, и тем ты облегчишь свою участь!

Александр Николаевич поднял голову, посмотрел на палача.

— Я готов говорить истину и признаюсь охотно в превратностях моих мыслей, если меня в том убедят, — спокойно сказал он.

Рысьи глаза Шешковского сверкнули. Не изменяя слащавого тона, он снова спросил:

— Итак, ты взывал к мщению, поднимал на бунт холопов?

Радищев, глядя в колючие глаза, ответил:

— Я не имел намерения содействовать народному восстанию. Писано мною все ради славы сочинителя.

— Так, так, — шепеляво, ласково сказал Шешковский. — Кто сему поверит, ежели книга вышла без имени?

— Пытался уяснить, насколько гожусь я в сочинители.

— Врешь! — ударил кулаком по столу начальник Тайной канцелярии. — Говори правду! — Он поднялся с кресла и подошел к узнику.

Несмотря на старость, Шешковский обладал большой силой. Людская молва приписывала ему жестокую славу. Сказывали, что он страшным ударом в подбородок выбивал зубы, любил тешиться страданиями жертвы при пытке.

Он прошипел в лицо Радищева:

— Или пытки захотел?

Александр Николаевич не дрогнул и смело ответил:

— Душевные пытки страшнее телесных. Истинно говорю вам, что меня томила страсть повторить сочинителя Стерна. Читана мною с великим удовольствием книга оного «Сентиментальное путешествие».

— Так ли? — прищутив жесткие глаза, сказал Шешковский. — Ведомо мне, что твое писание не схоже с писанием господина Стерна. Не безвинное странствование затеяно тобою для сладостных размышлений и приятных вздыханий, а в сем «Путешествии из Петербурга в Москву» стремишься ты к другому, чтобы зажечь гнев против государыни! — Он снова вернулся к столу, уселся в кресло и выдвинул ящик. Из него он извлек знакомую книгу. — Вот она! Истинно сказано: что написано пером, того не вырубишь топором!

Он перелистал книгу, внимательно всматриваясь в пометки, сделанные на полях царицей. Радищев не знал об этом и не обратил внимания на листики, стопкой лежащие на зеленом поле стола. Шешковский обласкал их рукой и, чувствуя за своей спиной государыню, резко вымолвил:

— А ода «Вольность» против кого направлена? Что скажешь в ответ?

— В сей оде имелись в виду худые цари Нерон и Калигула, — отозвался допрашиваемый и по зловещему шепоту начальника Тайной канцелярии догадался, что тот ему не верит.

Шешковский холодно и бездушно тянул допрос, стремясь только к одному: продлить терзания Радищева. На лбу заключенного выступил пот. Александр Николаевич понимал, что опытный и беспощадный кнутабоец Шешковский будет до последнего изматывать его душевные силы. Все же, чем больше домогался признаний страшный инквизитор, тем упорнее и решительнее становился Радищев.

— Не имел ли сообщников к производству намерений, в сей книге изображенных? — допытывался Шешковский.

Радищев поднял большие выразительные глаза и отрицательно покачал головой.

— А мартинистом был? — упрямо спрашивал с бесстрастным лицом страшный старик.

Александр Николаевич не любил масонов, которых в Петербурге по фамилии одного из их руководителей — Сен-Мартена — называли мартинистами, и решительно ответил:

— Мартинистом не токмо никогда не был, но и мнение их осуждаю!

— Вот ты поведал мне, что цензор разрешил к печати твое писание, господин сочинитель, — с ядовитой улыбочкой продолжал мучитель. — А не прибавил ли чего-нибудь после цензуры?

Радищев с достоинством ответил:

— Менял некоторые речения для ясности слога. Сущность моего писания после цензуры не изменял.

— Так, так, — одобрительно кивнул Шешковский, и глаза его устало закрылись. Наступило молчание. С минуту инквизитор сидел безмолвно и неподвижно, усиливая тоску заключенного.

Наконец он поднял веки и взглянул на книгу с пометками царицы. Екатерина знала об изменениях, произведенных автором после цензуры, но назвала их «бесдельством».

Выдержав многозначительную паузу, Шешковский величаво поднял голову и торжественно объявил:

— На сегодня будет! Увести его, и будем надеяться на неизреченную милость нашей премудрой государыни...

Радищева водворили в мрачный сырой каземат. Но только что он, обессиленный душевной пыткой, упал на постель и устало закрыл глаза, как его опять растормошили и повели к Шешковскому. И снова потянулся длинный, изнуряющий допрос.

Сгустились сумерки, служитель зажег свечи. И большое серое лицо кнутабойца стало еще угрюмее, а глаза зло поблескивали.

Шешковский заговорил:

— Сколь милостива наша мудрая государыня, и сколь низменно твое поведение! Будет ли принесено чистосердечное признание?

— Все мои намерения мною признаны, — сдержанно ответил Радищев.

Шешковский неумолимо смотрел в глаза узника. Александр Николаевич, бледный, усталый, неподвижно стоял перед столом. Молчание длилось долго. Облокотившись на стол, в расстегнутом мундире, с взлохмаченной головой, начальник Тайной канцелярии внимательно разглядывал свою жертву. Радищева то знобило, то бросало в жар, — начиналась лихорадка. Однако он мужественно выдержал этот страшный душевный поединок.

Шешковский придвинул листы и предложил:

— Изволь ответить на вопросные пункты! Сейчас! Эй, служивый, займись им!

Часовой отвел Радищева в камеру и остался в ней у двери. Александр Николаевич тщательно перечитал вопросные пункты, писанные четким почерком старательного канцеляриста. Хотя ужасно болела голова, он собрал все свои силы и волю и решил сопротивляться. Там, где невозможно было отрицать, он признавал правильность фактов, истолковывая их по-своему. Он давал уклончивые, туманные ответы, сознательно уклоняясь в сторону от самого главного.

Вопросник спрашивал:

«Почему он охудал состояние помещичьих крестьян, зная, что лучшей судьбы российских крестьян у хорошева помещика нигде нет?»

Радищев осторожно и умно отвечал:

«Охудение мое было только на одно описанное тут происшествие, впрочем, я и сам уверен, что у хорошева помещика крестьяне благоденствуют больше, нежели где-либо, а писал сие из своей головы, чая, что между помещиками есть такие, можно сказать, уроды, которые, отступая от правил честности и благонравия, делают иногда такие предосудительные деяния, и сим своим писанием думал дурного сорта людей от таких гнусных поступков отвратить».

В каменном узилище тишина. Потрескивает свеча. Клонит ко сну. Но усатый унтер покашливает, напоминает о себе. Склонившись над бумагой, Радищев пишет по каждому разделу своей книги объяснение:

«Происшествие, в „Чудове“ описанное, было в самом деле, и спящего систербецкого начальника сравнил с Субабом, дабы он устыдился».

«Происшествием, описанным в „Зайцеве“, я не убивство тщился и намерен был одобрить, но отвлечи жестокосердых от постыдных дел».

Строку за строкой писал он, а в душе его кипел гнев. Он хорошо понимал, что Шешковский по указанию царицы решил сломить его и физически и духовно. Они стремились побороть его ненависть к насилию и заставить примириться с рабством. Радищев не сдавался, уходил от прямых ответов.

Двадцать четвертый вопросный пункт гласил:

«Начиная с стр. 306 по 340 между рассуждениями о цензуре помещены и сии слова: *«Он был царь. Скажите же, в чьей голове может быть больше несообразностей, естьли не в царской»*, то как вы об оных словах думаете?»

Александр Николаевич долго думал и, прикрываясь восхвалениями Екатерине, с горькой иронией писал:

«Признаюсь, что они весьма дерзновенны, но никак не разумел тут священныя ее императорского величества особы, а писал подлинно о царях известных по истории, которые ознаменованы в свете в прошедших веках, могу сказать, дурными поступками. Напротив же сего, что я могу сказать о такой самодержице, которой удивляется свет, ее премудрому человеколюбивому правлению...»

Трое суток продолжался допрос и самые напряженные душевные истязания. Шешковский не давал сомкнуть глаз Радищеву, задавая много раз повторные вопросы и требуя новых ответов.

Чутьем догадывался опытный палач, что арестованный под простыми, смиренными словами таит неугасимую ненависть к царице...

Без конца тянулись тягостные дни. Не знал Александр Николаевич, что оставшаяся при детях сестра его покойной жены Елизавета Васильевна Рубановская собрала все свои скромные сбережения и семейные ценности и решила «подарками» воздействовать на Шешковского. Старый, преданный слуга Петр отнес

их и поклонился в ноги начальнику Тайной канцелярии Он слезно просил отпустить хозяина ради бедных сирот При виде «подарков» Шешковский стал ласковым, захохотал, закричал. Он потирал руки и огорченно жаловался:

— Ох, беда, ох, напасти... А помочь надо... Непременно надо...

Подойдя к слуге, он похлопал его по плечу:

— Вот что, милый, кланяйся от меня госпоже и скажи, что все идет хорошо, по справедливости. Пусть не беспокоится.

Доверчивый Петр поверил лихоимцу и, придя домой, стал успокаивать Елизавету Васильевну:

— Степан Иванович сдались, взирая на ваше горе Кланяются и обещают!

Между тем время шло. Радищев по-прежнему сидел в одиночной камере, страдал от бессонницы и от неизвестности о детях. Шешковский продолжал его допрашивать, изматывая своими иезуитскими вопросами. В то же время он исправно получал от Елизаветы Васильевны гостинцы, зная, что судьба арестованного писателя фактически решена самой царицей. Однако для формы он задержал книгопродавца Зотова, которого изрядно припугнул. Видя, что купец не виноват, он нагнал на него страху и в конце концов выпустил из Петропавловской крепости, взяв с него предварительно подписку о молчании.

Чтобы хоть немного отвлечься от мрачных дум, Радищев попросил разрешить ему чтение книг. Шешковский всегда прикидывался набожным и благочестивым человеком и поэтому разрешил арестованному читать только церковные книги. Радищев был рад и этому. Он засел за чтение повествования о жизни Филарета Милостивого. Тоскуя о семье, Александр Николаевич надумал переработать эту церковную историю на свой лад, незаметно внося в нее факты из своей жизни. Он надеялся, что рукопись разрешат переслать детям, которые потом разобрались бы в тайном смысле писания отца. Однако упорный труд оказался напрасным — Шешковского невозможно было перехитрить. Он запретил пересылку семье написанной с таким трудом рукописи.

Снова пришла смертная тоска. Радищеву казалось, что он пробыл в заточении целую вечность, а на самом деле прошло всего две недели

после ареста. Вскоре Екатерина указала Шешковскому считать следствие законченным...

13 июля императрица Екатерина дала санкт-петербургскому главнокомандующему графу Брюсу указ, в котором предопределила судьбу Радищева:

«Недавно издана здесь книга под названием „Путешествие из Петербурга в Москву“, наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе негодование противу начальников и начальства, наконец оскорбительными изречениями противу сана и власти царской...»

Дело писателя срочно направили в уголовную палату. Все сделали для того, чтобы Радищева осудили жестоко. Заседание палаты открылось чтением «опасной» книги. Из зала суда были удалены все посторонние, и даже секретарь суда уходил в то время, когда оглашалось «Путешествие из Петербурга в Москву».

Книга обсуждалась в отсутствие Радищева, который в это время страдал в сыром каменном мешке крепости. И лишь когда начались допросы, его в строгой тайне, в закрытой карете, привозили в здание уголовной палаты. Председатель дал особую инструкцию чиновнику, который сопровождал узника. В ней указывалось: «При принятии и отправлении обратно Радищева соблюдайте всякую предосторожность, которую должно иметь со столь важным преступником...»

Александр Николаевич похудел, потемнел от раздумий, но перед судьями держался с большим достоинством. Ответы его отличались краткостью, четкостью. Своей невозмутимостью он раздражал судей.

Перед судилищем прошел ряд свидетелей: слуги Радищева, таможенный досмотрщик Богомолов, набиривший книгу. Все они искренне хотели облегчить участь писателя, но судьи были неумолимы. Они осудили Радищева как возмутителя и преступника, который покушался на жизнь царицы...

Но тут возникли большие трудности. Угодливым чиновникам хотелось осудить Радищева на смерть, однако встал вопрос: на основании каких законов можно учинить расправу? Они перечитали

старинное «Уложение» царя Алексея Михайловича, составленное в 1649 году, и отыскиали там статью, в которой говорилось:

«А которые воры чинят в людях смуту и затевают на многих людей своим воровским умыслом затейные дела, и таких воров за такое их воровство казнити смертию».

И этого судьям палаты показалось мало. Вспомнили о воинском уставе Петра I, карающем за бунт. Применили и эту статью...

24 июля Радищеву зачитали приговор. Бледный, с горящими глазами, он молча слушал. Председатель палаты, высокий упитанный старик, торжественно-четким голосом произносил слово за словом.

И когда он громко зачитал: «Лиша чинов и дворянства, подвергнуть смертной казни, а книгу „Путешествие из Петербурга в Москву“ отобрать у всех и истребить», — Радищев не пошевелился. Он знал, что пощады от правительства не будет, и поэтому слушал приговор с гордо поднятой головой. Первой после заслушания приговора была мысль о завещании.

Его увели из зала суда. Когда отзвучали его гулкие шаги и закрылись массивные двери, председатель в страхе сказал:

— Это ужасно, господа! Он даже смерти не испугался. Теперь я очень счастлив, что книга будет уничтожена! Что бы произошло, если бы ее прочитали холопы? Боже мой, об этом страшно подумать!..

Однако смертный приговор подлежал еще утверждению. Времени оставалось мало, и в глухом крепостном застенке Радищев засел писать краткое завещание.

Обращаясь в нем к детям, он напомнил им, что великий смысл жизни каждого человека заключается в безоговорочном и честном выполнении долга перед народом и родиной. Об этом никогда не следует забывать! Он сердечно и тепло писал, что долг свой выполнил.

Медленно тянулась ночь, слабо потрескивало пламя свечи, скрипело гусиное перо. Александр Николаевич вспомнил слуг и написал о них, проявив заботу друга. Ласково и тепло он просил отца отпустить их на волю.

Скупой серый рассвет обозначился на стенах камеры, когда душевно измученный узник уснул на влажной охапке соломы. В углу попискивали крысы, но он не слышал, тревожно ворочаясь во сне...

Дело о Радищеве пошло в сенат. Сенаторы понимали, что в угоду царице следует потомить писателя. Они не торопились, тем более что

стояла летняя пора и многие из них прохлаждались в своих загородных особняках и на дачах.

Наконец после долгого и напряженного ожидания 31 июля в сенате приступили к слушанию дела Радищева. В дремотной тишине сановники со скучающим видом заслушали протоколы допросов и решение уголовной палаты и стали писать постановление.

Они-то очень хорошо знали желание императрицы! Надо было проявить всю суровость и в то же время дать возможность Екатерине предстать перед общественностью снисходительной и милосердной монархиней.

Сенаторы утвердили приговор и добавили:

«По силе воинского устава 20 артикула отсечь голову».

Свое постановление они дополнили мнением, что можно и не отсекал голову Радищеву, а вместо этого отстегать его публично кнутом и в кандалах сослать в Нерчинск, на каторжные работы...

Сановники сумели найти больное место: публичное наказание кнутом для Радищева было бы мучительнее, чем казнь...

Свое решение сенат направил на утверждение государыне.

К этому времени прошло уже полтора месяца после решения уголовной палаты. На висках Радищева гуще засеребрилась седина. Он часами неподвижно сидел, тяжело опустив на грудь голову. Самые противоречивые чувства терзали его.

«Неужели я один-одинешенек на белом свете против самого страшного крепостного тиранства! Неужели с моей смертью все забудется и погибнет! И народ не встанет против своих угнетателей?»

Но в то же время в его мужественной, негибавшей душе поднимался горячий протест.

«Нет, я жил не напрасно! Мои слова дойдут до пламенных сердец, всколыхнут их! Потомки вспомнят обо мне!»

Между тем императрица умышленно стремилась продлить мучительное состояние пленника. Она передала все дело на рассмотрение императорского совета. Хитрая, не лишенная ума стареющая царица очень боялась суда потомства и поэтому старалась оградить себя и с этой стороны. Всю ответственность она старалась свалить на других. Угодливые вельможи — члены императорского совета — рассудили коротко: «Сочинитель сей книги, поступая в

противность своей присяге и должности, заслуживает наказание, законами определенное»

После этого приговор поступил на окончательное утверждение Екатерины.

И снова потянулись страшные, изнурительные дни. Императрица две недели в Царском Селе предавалась забавам, стараясь забыть о Радищеве.

Наступили первые дни золотой осени. В дворцовом парке пожелтели листья, студеной стала прозрачная вода в глубоких прудах, на юг с криком тянулись перелетные птицы. Государыня с грустью вернулась в Санкт-Петербург и первым докладом заслушала сообщение о Радищеве.

Наконец-то пришло время показать всему свету ее «терпимость и снисходительность»!

Царица подписала указ с подробным перечислением обвинений Радищева, которые сама же тщательно отметила на полях книги «Путешествие из Петербурга в Москву».

Широковещательно оповещая сенат, что всегда следует своему правилу «соединять правосудие с милосердием», а также принимая во внимание общую радость по случаю заключения мира со Швецией, она соизволила начертать о Радищеве:

«Освобождаем его от лишения живота и повелеваем вместо того, отобрав у него чины, знаки, ордена св.Владимира и дворянское достоинство, сослать его в Сибирь, в Илимский острог, на десятилетнее безысходное пребывание...»

9 сентября Александра Николаевича Радищева доставили в губернское правление, объявили ему окончательный приговор и заковали в кандалы.

Ему не дали проститься ни с родными, ни со знакомыми. Одели в засаленную нагольную шубу, пропахшую махоркой и едким потом, и в тележке под охраной отправили в дальний путь.

Императрица Екатерина думала сломить мужество Радищева, но он, несмотря на все муки, держался стойко. В нагольной шубе, с кандалами на ногах тяжело было ехать в прохладные осенние ночи по Московскому тракту, который он так недавно ярко описал в своей

книге. Правда, в Новгороде кибитку со ссыльным нагнал царский курьер, который привез «милостивый» указ Екатерины расковать арестанта. Однако Александру Николаевичу от этого не стало легче. Душевные муки его усилились, когда он получил весть о том, что его мать, узнав о судьбе сына, была сражена параличом.

Потянулась знаменитая Владимирка — каторжная дорога. Сколько по ней пришлось встретить арестантов, осужденных на ссылку и на каторгу! Горько было смотреть на несчастных! Осенний дождь хлестал их лица, в рваных сапогах они месили глубокую жидкую грязь. В пути Радищев не терял ни минуты. Он с жадностью присматривался ко всему новому — к свежим местам и людям. Вечерами, на ночлегах, он записывал все, что видел днем. Наблюдения его поражали своей глубиной и говорили о больших знаниях.

Из Нижнего Новгорода он писал Воронцову:

«Когда я стою на ночлеге, то могу читать; когда еду, стараюсь замечать положение долин, буераков, гор, рек; учусь в самом деле тому, что иногда читал о истории земли; песок, глина, камень — все привлекает мое внимание. Не поверите, может быть, что я с восхищением, переехав Оку, вскарабкался на крутую гору и увидел в расселинах оной следы морских раковин!»

Но не только геологическими изысканиями интересовался Радищев. Чем больше он удалялся от Москвы, тем полнее развертывалась перед ним подлинная жизнь отчизны. Он ехал по тем местам, по которым всего несколько лет назад прошла крестьянская армия Пугачева. Здесь все было полно рассказами о нем и надеждами на волю. Александр Николаевич прислушивался также к народному говору.

Тянулись навстречу полосатые столбы у разбитой, унылой дороги, которой, казалось, конца-краю не будет. Кругом простирались убранные поля, перелески, теряющие осенний пестрый наряд. Низкие клочковатые облака жались к порыжелым лугам с раскинутыми то здесь, то там стогами сена. Деревушки притаились тихие, убогие. Услышав звон колокольчика, иногда на дорогу выходил мужик в рваном полушубке. Завидя усатого унтера, быстро смахивал с головы треух и низко кланялся. Радищев печально, встревоженно думал:

«Неужели я был и остаюсь одинок со своими думами? Среди сих богатых просторов русской земли столько горя и нищеты, страшное

рабство, и никто не мечтает сбросить оковы! — Но тут же успокаивал себя: — Не может быть! Не этот ли смиренный и покорный мужичок, который только что низко поклонился унтеру, недавно шел с Пугачевым, весь наполненный злобой и мстью к лиходеям-помещикам? Кто же тогда сжег барскую усадьбу, которая виднеется в стороне большака? Остались одни каменные ворота с гербом. Безусловно, он, крепостной раб, тут показал себя, надеясь навечно избавиться от барского гнета! Народ, великий русский народ, когда пробудишься ты?»

Из-за пригорка показалось сельцо; подъезжая к нему, унтер крикнул:

— Вот тут и заночуем! Смеркается!

Остановились на постоялом дворе. Большая изба полна простого люда: были тут ямщики, мастеровые, калики перехожие. Бородатый хозяин двора отвел Радищеву и конвоирам горенку, отгороженную дощатой перегородкой. Сюда доносился глухой рокот из общей избы. Конвоиры наскоро поели и упросились на широкую теплую печь, Александр Николаевич долго сидел в раздумье, прислушивался к говору за стеной. Жаловался ямщик:

— Жизнь наша проклятая, всю ее проводишь в пути-дороге. А прибитки — известные. Дома семья голодная. Иной раз так закипит на сердце, что поднял бы руку на барина. Все в оброк идет ему, ненасытному! Эх, сюда бы нам Емельяна Ивановича!

— Тишь-ко, — прошептал осторожный голос. — Тутко барин остановился со стражей, услышат!

— Жаль, эх, и жаль, что спокончили царицыны собаки с батюшкой! — тяжело вздохнув, вымолвил ямщик.

— Погоди сокрушаться, — перебил его уверенный басок. — Еще рано убиваться-то: ходит промеж народа слух — жив он!

— Это слухок, а где правда? Ему, слышь-ко, отрубили голову.

— Отрубили голову, да не ему. Казнили, да не его — даже никого из приближенных его не казнили. Подыскали, сказывают, человека из острожников, который пожелал умереть вместо него.

— Откуда тебе все это известно? — спросил взволнованно ямщик.

— Шерстобит я, всюду по весям хожу и мотаю на ус... И нашему брату мастеровому жизнь анафемская.

— Что и говорить! Одно счастье у крепостного, что у пахотника, что у мастерового! — согласился ямщик. — Так неужто жив наш сокол? — повеселевшим голосом спросил он.

— Жив! — убежденно ответил мастеровой. — Ноне Емельян Иванович в оренбургских степях скрывается. Ждет, слышь-ко, часа!..

— Ох, и доброе слово ты сказал, милый. Спасибо тебе! — облегченно вздохнул ямщик. — Умный человек он был, воин настоящий, за редкость такие: и храбрый, и проворный, и сильный — просто богатырь. Сказывали, один управлял целой батареей в двенадцать орудий: успевал он и заправлять, и наводить, и палить, и в тот самый момент приказы отдавал своим генералам и полковникам. Вот молодчина какой! Жаль, неграмотен только был!..

— Пустое, — решительно перебил мастеровой, — не только что русскую грамоту, но и немецкую знал. Вот как! Господа оклеветали его. Он, видишь ли, поперек горла им встал, солон показался; так из ненависти одной и навели на него эти наводы, чтобы унижить его. А он, правду сказать, куда был лют для них, не спускал им...

— Скажи-ка, дорогой, коли жив наш батюшка, когда же его час придет?

— Это мне не сказано, не говорено. Самим надо искать правду!

— И, милый, где найдешь ее — правду-то! — безнадежно отозвался новый крепкий голос. — Правда-то у господ и царицы-матушки за семью коваными дверями да замками упрятана! Раздобудешь ли ее?

— Эх вы, горюны! — вырвался веселый возглас. — Раздобыть надо самому, а не плакаться! — И, не ожидая ответа, вдруг запел разудалую:

Эх, поломаю я решеточки
И сбегу-ко на завод, ко родителям,
А потом пойду к Емельянушке,
Ко большому атаманушке...

— Тишь-ко! Совсем сдурел, барин — рядом, а он петъ такое! — прикрикнул на него решительно мастеровой.

Радищеву стало горько на душе. Он не утерпел, поднялся и распахнул дверь в общую избу. Лохматые головы разом повернулись в его сторону. Молоденький обветренный парень-запевала смело взглянул на Александра Николаевича.

— Что надо, барин? — дерзко спросил он. — Тут не твои дворовые.

Ямщики сидели за столом плотно друг к другу, хмуро разглядывая Радищева. Трещала лучина в светце. Радищеву хотелось сказать им: «Что вы закручинились? Нет Пугачева — другие достойные его явятся. Их родит само народное восстание!»

Однако он промолчал об этом и сказал только:

— Что же ты не поешь? Хорошая песня...

Чернявый парень тряхнул кудрями и ответил озорно:

— Песня-то хорошая, да не для господ!

— погоди дерзить! — сказал вдруг плечистый ямщик и пристально взглянул на Александра Николаевича. — Кто такой, как прозываешься, барин?

— Радищев, — сдержанно отозвался тот.

Бородач раскрыл от изумления рот, протер глаза, словно не верил себе.

— Да не тот ли ты Радищев, что созывал в ополчение против шведов беглых да обездоленных? Обличье больно знакомое... Эх, Сенька, эх, парень, не ведаешь, что он за человек! Братцы, — не скрывая радости, оповестил ямщик. — Да я сам в его батальон записался, но потом все прахом пошло. Царица-матушка велела беглых да крепостных вернуть помещикам. Садись с нами, Ляксандра Николаич! — радушно пригласил он и потеснился, чтобы дать место.

По избе прошло оживление, — на Радищева смотрели теперь доверчивые, радушные лица. Переменился и смуглый Сенька: он повел веселыми глазами и позвал:

— Айда, барин, садись рядом, потолкуем ладком!

Александр Николаевич уселся за стол. Словоохотливый ямщик продолжал:

— Гляди-ко, что деется: гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда. Эх, Ляксандра Николаич, вон она какая линия крепостным вышла, не дали, значит, нам самопалы в руки, — дворяне-то трусили...

Радищев сидел молча, а на душе стало светлее. «Значит, не угасло все! Нашлись уже люди, которые думают о том, о чем мечтал и я!» — взволнованно подумал он.

— Ты что ж, господин хороший, молчишь? — ласково спросил ямщик. — Конечно, всех нас где упомянуть! А уж мы, кто в ополчении бывал, сразу тебя узнаем... Вот сидим и о горе толкуем, а как избыть его, и не знаем.

Александр Николаевич взглянул в сторону печи, на которой храпели конвоиры, и сказал спокойно:

— Избудете горе. Силу найдете свою!

— А что могучей всего, барин? — не утерпел и спросил Сенька.

— Сильнее всего, друзья, сила народная, — тихо ответил Радищев и снова смолк.

В этот миг от лучины оторвался раскаленный уголек и упал в бадейку с водой, зашипел. На мгновение в избе потемнело. Жарко дыша в лицо Александра Николаевича, ямщик прошептал:

— Вижу, милый, и тебе не в радость дорога!.. Эй, ты! — крикнул он парню. — Спой песню, да веселей!

— Погоди, не все песни петь, на байку меня потянуло! — поблескивая жаркими глазами, отозвался Сенька.

— Байку так байку! Слово — оно как жемчуг, любо-дорого его низать, — одобрил бородач и ласково поглядел на Радищева. — Только сказка сказке рознь. Бывает она про попа да про попадью. А то вот еще старухи балакают ребятишкам: «жил да был», да «курочка яичко снесла», иль «несет меня лиса за темные леса»... Ты, брат, нам скажи по-сурьезному да со смыслом. Вот это будет сказка наша!

— Ну, коли так, слушай, братцы, я вам расскажу, как человек счастье искал. Жил у нас на селе кержак один, Кирюха Бабаха, годов шестидесяти, а крепкий старик. Борода косматая, как у лешего, а силищи — прорва! Весь век на заводчика робил, а нажил мозоли да избенку.

— Известное дело, сколько ни работай, а доля у мужика одна. Нашего горя и топоры не секут! — вставил ямщик.

— Верно! — согласился чернявый и продолжал: — Надумал старик счастье искать. И положил так, что найдет клад и заживет. И где только не копал этот неугомонный кержак! И чего только не находил он в своих кротовинах! Попадались ему и кости, и перстни, и

глиняные кубышки с медяками, и со стрел наконечники, а потайного богатимого клада так и не приходило. Все поля да буераки изрыл незадачливый кладоискатель, и все ни к чему. Так, пустяк один! И долго он раздумывал над тем, как отыскать среди людей такое наговорное слово, чтобы богатство открылось, да никто не открывал заветного. Думал, прикидывал неудачник и по каким-то своим знакам уверовал в клад, который будто бы схоронен под его собственной избой. Раз надумал, тут уже и покоя не стало. Взял аступ и давай под избу ход вести, отыскивать клад. И день и два копал, кругом избушки поизрыл все, чуть самого не придавило срубом. И ничегошеньки. Сел он и заплакал. «И что теперь делать?» — думает. Откуда ни возьмись странник. Шел он своей дорогой, да и завернул к старику. Крепкий, статный, глаза умные.

«Ты чего плачешь, земляк?» — спрашивает.

«Да, вишь, горе-то у меня, — пожаловался старик. — Рыл-рыл землю, большую яму вырыл, клад искал, да пришлось засыпать все. Эх, милый, да не просто яму засыпал, а закопал в ней свою мечту о счастье, о свободной жизни!»

Странник пристально посмотрел на кержака и с укоризной покачал головой:

«Не туда силы свои расходовал! Не может один человек для себя счастье найти! Себялюбцы не обрящут его. Счастье надо всем народом искать! Только трудовым людям и дается оно!..»

Склонив голову, Радищев внимательно слушал мастерового. Подвижной и живой, он покори́л Александра Николаевича своею сметливостью.

— Это верно, доброе слово поведал странник! — одобрил он. — Народ — великая и несокрушимая сила, он свое добудет... Ну, да ты человек умный и без меня знаешь, как дорогу к счастью найти! — многозначительно сказал Радищев и поднялся из-за стола.

На печке зашевелился унтер, ямщики поняли осторожность Александра Николаевича и смолкли. Потрескивала лучина, за печкой шуршали тараканы. Мастеровой подмигнул соседям и сказал устало:

— А что, мужики, не пора ли спать?

И все один за другим стали примачиваться на ночлег. Ушел к себе за перегородку и Радищев, но долго не мог уснуть. Услышанное

встревожило и обрадовало его: значит, он не один: народ думает о том же, чем полна его душа!

Под Казанью Радищева встретила зима. Поля покрылись глубокими сияющими снегами, даже придорожные убогие деревеньки по-иному выглядели. Древний казанский кремль с его высокими башнями показался издали. На солнце сверкали главы многочисленных церквей. От всего веяло тишиной и покоем. Просто не верилось, что недавно здесь, под стенами города, кипели жаркие схватки. Пугачевцы сражались храбро, и правительственные войска были разбиты наголову. Казань лежала побежденной: велика народная сила! И если бы крестьянская армия повернула на Москву, тогда самодержавию пришлось бы плохо! Падение Казани ошеломило Екатерину, она понимала всю опасность, грозившую ей. В эти дни Радищев служил обер-аудитором у генерала Брюса, и ему довелось видеть, какой переполох вызвала победа Пугачева под Казанью. То и дело в Санкт-Петербург прибывали взволнованные курьеры, которые, не скрываясь, рассказывали о панике, охватившей дворян. Громы страшной грозы уже слышны были в Москве. Перепуганная царица поторопилась заключить с Турцией мир, чтобы перебросить освобожденные войска на внутреннего врага...

К счастью для помещицкой России, Пугачев не рискнул пойти прямо на Москву и тем в значительной степени проиграл дело.

Теперь Казань притихла. Даже на постоялом дворе люди держались молчаливо, опасаясь доносов вездесущих соглядатаев кнутобойца Шешковского. Комендант торопил Радищева покинуть город, и вскоре кони, запряженные в глубокие сани, вынесли на большую сибирскую дорогу. Путь лежал на Пермь, и проезжать пришлось через марийские, чувашские, татарские и русские деревушки, которые только-только успокоились. На перепутьях, у бродов ветшали рубленые городки-крепостцы с бревенчатыми стенами и башенками.

Здесь все дышало стариной и было новым для Александра Николаевича. Обо всем он вел записи, присматриваясь к народу.

По селам и деревням ходили тайные слухи о Пугачеве. Придавленные горем крепостные помнили о нем, ждали. И хотя за

одно только упоминание имени Пугачева грозили самые суровые кары, в народе пелись о нем песни. На ночлеге в заброшенной прикамской деревушке Радищев слышал песню, полную большой грусти и сердечности. Укачивая ребенка, за пологом пела молодая крестьянка:

Емельян ты наш, родный батюшка!
На кого ты нас покинул?
Красное солнышко закатилось...
Как остались мы, сироты горемычны,
Некому за нас заступиться,
Крепку думушку за нас раздумать...

Унтер вдруг вспыхнул, распахнул полог и заорал:

— О чем поешь, дура? В Сибирь захотела, на каторгу!

Бесстрашными огромными глазами крестьянка с испитым желтым лицом посмотрела на унтера и сказала:

— Ну, хошь бы и в Сибирь! Гляди, жизнь-то какая, дите нечем накормить! — Она взглядом показала ему на тощую серую грудь и пожаловалась: — Молока-то и нет. И откуда ему быть, когда вторую неделю хлебушка не видели. Такая жизнь пострашней каторги!

Унтер крякнул, расправил усы. Он опустил полог и, выкрикнув больше для порядка: «Прекратить безобразие!» — вышел из избы.

«Даже ему совестно стало!» — подумал Александр Николаевич и прислушался к говору крестьянки за пологом.

— Ты не бойся его, не бойся, мой соколик! — уговаривала она тихо свое дитя. — Все страхи пройдем, а свое возьмем!

«С таким сильным, талантливым и мужественным народом Россия далеко пойдет!» — ободряясь, думал он.

Радищев с брезгливостью смотрел на мелкие плутни и взяточничество провинциального чиновничества «И такие насекомые кормятся на здоровом народном теле!» с ненавистью думал он.

Вот вдали показался и Урал! Суровый, хмурый край Проезжая через горы и вековые леса Каменного Пояса, Радищев почувствовал необыкновенный прилив бодрости и сил. Ему не терпелось побывать на знаменитых демидовских заводах, о владельцах которых слухами были полны Петербург и Москва. На горном перевале перед его

взором открылись наконец демидовские владения. Показывая кнутовищем на густые дымки заводов, ямщик сдержанно сказал:

— Вот оно, царство-государство господина Демидова. Ох, и тяжела его длань!

Но до заводов было еще далеко, и пришлось остановиться в густом лесу, в котором гулко раздавались стуки топоров. На вопрошающий взгляд Радищева ямщик пояснил:

— Демидовские курени, жигали тут уголь для заводов жгут! А сейчас лес рубят.

Вскоре показались и костры. Густой смолистый дым, клубясь, поднимался к небу. Потянуло к теплу. У костра, у которого остановились, топтались дровосеки, одетые в рвань. Возок остановился у огнища. Радищев сошел с саней. Усатый унтер держался поодаль, устроившись у другого костра.

— Здравствуйте, — обращаясь к мужикам, заговорил Радищев.

— Здорово, барин, если не шутишь! — хмуро ответил бородатый дровосек в рваном полушубке и стал ворошить сучья в костре. Смолистые сосновые ветки затрещали веселее.

Ямщик снял меховые рукавицы, захлопал ими и шумно засуетился:

— Эй вы, удальцы, потеснитесь, дайте проезжим погреться! Замерзли, экий мороз, до костей пронял!

— Мороз известный, уральский: он и крепит, и бодрит, и слезу выжимает! — Мужик повел плечами и уступил Радищеву место у огня. — Садись, господин, отогрей душу, небось к костям примерзла! — В его словах прозвучала нескрываемая ирония.

— А ты откуда знаешь, что у меня душа примерзла? — думая о своем душевном состоянии, спросил Александр Николаевич.

— По себе сужу, господин! — скупой улыбаясь, ответил углежог. — От хорошей жизни да от енотовой шубы совсем застыл, — показал он глазами на свою рвань.

— Аль худо живется? — участливо спросил его Александр Николаевич.

— Куда уж хуже! Мы — приписные, доля наша известная, Работы — прорва, а брюхо тощее, зато батогов да плетей вдоволь!

Ямщик покосился на жигалю и сказал:

— Однако ты смел! Гляди, вон там унтер сидит да поглядывает сюда.

— Смелости нас батюшка Емельян Иванович научил, а унтеров мы перевидали, когда каратели приходили на село! — Мужик поежился и сказал сердито: — Все едино плохой конец: дома женка с малыми детьми от бесхлебицы мрет, а сам я готов на осину!

Радищев понаслышке знал о приписных крестьянах, но никогда с ними не встречался и поэтому заинтересовался.

— Скажи, любезный, — обратился он к дровосеку, — велик ваш заработок от работы?

— Ух, как велик! — хрипло засмеялся мужик. — Животы подвело. Положено приписному за работу пятак в день, но кто его видел? Штрафы да плети, пожалуйста, вволю! Эх, барин, горька наша жизнь! Ничего нет горше! — с тяжелым вздохом вырвалось у него. — Нам, дровосекам и жигалям, горько, а тем, кто на шахты попал, и того хуже. А куда пойдешь, кому пожалуешься? Мужик — тварь бессловесная. Кто ему поверит?

У соседнего костра поднялся унтер и, похлопывая руками, приблизился к Радищеву:

— Ну и морозец!

Дровосек замолчал, с беспокойством поглядывая на Александра Николаевича; его сверлила беспокойная мысль: «Пожалуется барин аль нет?»

Однако проезжающий ни словом не обмолвился о дерзком рассуждении мужика. Унтер повертелся и снова удалился к другому костру. Радищев спросил лесоруба:

— А на деревне как живут?

— Какая там жизнь! — безнадежно махнул рукой мужик. — Земля отошала, скот вывелся, и навозу нет, оттого и грунт плох. Хлеба чахлые, до покрова еле-еле хватает, а потом кору гложем. Заела барщина, дыхнуть некогда!

Приписной помолчал, поскреб затылок и, понизив голос, спросил:

— Скажи, добрый человек, скоро воля будет?

Радищев покосился на унтера и ответил, глядя на раскаленные угли костра:

— Об этом не говорят вслух. Откуда ты слышал?

— Народ на Камень идет и всякое сказывает! — Он оглянулся и таинственно прошептал: — И опять-таки передают, что Емельян Иванович жив и собирается в наши края. Так ли?

Радищев промолчал. Он думал, как тяжела жизнь приписного. Однако, несмотря на все тяготы, неугасим дух народного протеста. Крепостное крестьянство ждет воли! Он поднялся от костра и пошел к возку. Дровосек поплелся за ним. И когда Радищев сел в сани, он поклонился ему и сказал:

— В добрый путь, господин. Вижу, совестливый человек, и скажу тебе, как на духу: ждем мы своего часа. Ох, и ждем! А коли придет он, ух, и размахнемся! Дадим простор своему сердцу! Будь здрав! — И удалился в лес, где стучали топоры.

Под крепким шагом унтера заскрипел снег, он тоже торопился забраться в сани, чтобы продолжать путь.

Проехали демидовский завод. Управляющий Любимов не пригласил опального в господские покои. Радищев ночевал вместе с ямщиком и унтером в полицейском доме. Одинок и грустный, сидел он у окна и смотрел, как только что выпавший на его глазах чистый снежок становился черным от заводской копоти. На минуту мысленно Александр Николаевич представил себе глубокие сырые шахты рудников, в забоях которых, извиваясь червями, долбили кайлом породу забойщики. В этом кромешном аду страшно было работать. Да не легче работалось и у домен. Демидовы умели выжимать силы из человека. Вон мимо окна прошли согбенные непосильным трудом мастеровые, только что покинувшие завод.

«Да, тяжела тут жизнь! — с грустью подумал Радищев. — И не удивительно, что мечта о воле среди рабочих жива и не угасает! Пройдут годы, и она разгорится в пламя!»

Утром Александр Николаевич снова забрался в сани, и опять по сторонам дороги пошли дремучие леса и заблестели высокие оснеженные горные хребты. А мысль погоняла сильнее:

«Прочь отсюда! Скорее подальше от демидовских заводов! Будь они прокляты!»

В Кунгуре Радищева ждала радость. На постоялом дворе, где довелось ему пережить бурю, к нему подошел худощавый, щупленький человек в старом камзоле и заговорил:

— Далеко ли едете, сударь?

— А не все ли равно! — безнадежно махнул рукою Александр Николаевич.

— Для меня не все равно, — спокойно глядя ему в глаза, сказал незнакомый человек. — Ежели в Сибирь, то у меня к вам покорнейшая просьба: передайте эстафету!

— Какую эстафету? Кому передать? — удивленно переспросил Радищев.

Человек в старом камзоле оглянулся и заговорил тихо:

— Не удивляйтесь и виду не подавайте! Зарок себе дал, для душевности. Без этого и жизнь не мила! Видите ли, каждого человека свое к земному существованию привязывает. Из Санкт-Петербурга через верные руки дошел ко мне один список. Запал он мне в сердце, и выучил я его, как господню молитву. Вот решил переписать и переслать его дальше! Об одном прошу, сударь: пока не отъедете две станции, не читайте сего списка! — Он протянул свернутую бумажку, и Радищев, не отдавая себе отчета, покорно скрыл ее и положил в карман.

— Кто же вы? — спросил его Александр Николаевич.

— Беспокойный русский человек, — просто ответил незнакомец. — А вы кто, сударь, осмелюсь спросить?

— Об этом надо подумать! — улыбаясь, ответил Радищев. — Однако не бойтесь, вашу записку доставлю в надежные руки.

Они расстались.

Вскоре Урал остался позади. В заброшенной деревушке на отдыхе Александр Николаевич задумался. «В самом деле, кто же я?»

Надвигались сумерки; засветили лучину, и под ее легкое потрескивание изгнанник написал сокровенные, волнующие строки:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страх
В острог Илимский еду!

И вдруг он вспомнил о списке, переданном ему в Кунгуре незнакомцем.

«Что же это я? Как не стыдно! В русском народе есть обычай: для облегчения души своей переписать молитву и переслать соседу. Ну-ка, посмотрим, что пересылает кунгурец?» — Он развернул тщательно свернутую бумажку и стал читать. Первые же строки сильно взволновали его. Он протер глаза, приблизился к светцу и дрожащими руками поднял листок.

Перед ним были строки его «Вольности».

Радищев читал, перечитывал, весь горел от несказанной радости.

Значит, написанное им не умерло! Оно живет в народе, передается от одного к другому в рукописи! Его читают, берегут и зажигаются святым пламенем мести к тиранам! Ах, какое неизреченное счастье!

На глазах Радищева выступили слезы. Он ехал на муки, на терзания, но снова стал по-прежнему смел, мужествен и внутренне дал себе клятву: никогда, ни при каких условиях не склонять головы пред тиранией. Стоит жить и бороться ради благородного и мужественного народа!

В ставке командующего Дунайской армией Потемкина продолжалась веселая, безмятежная жизнь. С наступлением сумерек к ярко освещенному подъезду поминутно подкатывали блестящие кареты и открытые экипажи с восседавшими в них нарядными дамами. В приемной и залах слышались шорохи женского платья и струились запахи тонких духов. Всюду сверкали раззолоченные мундиры, ордена, ленты военных и темнели строгие фраки дипломатов. Демидову просто не верилось, что неподалеку от главной квартиры идут военные действия.

По приказу светлейшего русские войска осаждали турецкую крепость Килию и несколько месяцев стояли перед Измаилом 18 октября 1790 года Килия сдалась генералу Гудовичу. Потемкин полагал, что вслед за этим будет взят Измаил. Но последний высился над Дунаем грозными бастионами и не думал сдаваться. Кончался четвертый год войны с турками, а решающей победы все не предвиделось. Союзники австрийцы изменили и заключили с Турцией сепаратный мир. Россия осталась одна лицом к лицу с врагом. Правда, к этому времени, 14 августа 1790 года, в Ревеле был заключен мир со Швецией, который оставлял неприкосновенными наши границы, но все же положение было шатким, так как Англия по-прежнему продолжала подстрекать соседей к нападению на русские рубежи. Понимая все это, Потемкин старался избежать недовольства императрицы затяжкой со взятием Измаила. Однако дело принимало неблагоприятный оборот. Всему миру было известно, что эта крепость являлась чудом инженерного искусства. Всего полтора десятка лет назад ее заново перестроил и укрепил французский инженер де Лафит-Клове. Мощные, толстые стены турецкой твердыни составляли обширный треугольник, примыкавший к Дунаю. Высокие земляные валы, глубокие рвы, около трехсот орудий и сорокатысячный гарнизон, добрую половину которого составляли головорезы спаги и янычары, делали Измаил недосягаемым. Ко всему этому отборным турецким войском командовал лучший полководец, сераскир Аудузлу-Мегмет-паша, умный и храбрый воин, поседевший битвах.

Между тем приближалась промозглая осень с ее густыми туманами, делавшими Измаил невидимым и тем самым мешавшими военным действиям против крепости.

В один из пасмурных дней в ставку Потемкина прискакал гонец, который ошеломил его неприятной вестью. Генералы, стоявшие на Дунае, решили снять осаду Измаила и отступить на зимние квартиры. Командующий рвал и метал. В этот день он не выходил из своих внутренних покоев. Мрачный, неумытый, взъерошенный, в распахнутом халате, Потемкин валялся на диване и грыз ногти. Гости в парадных залах притихли, все передвигались на носках. Капельмейстер Сарти сделал попытку начать концерт и уже постукивал палочкой по пюпитру, но тучный, неуклюжий Попов попросил его оставить неуместные затеи.

В полночь Демидова вызвали к светлейшему, и он продиктовал приказ Суворову на взятие Измаила. Ордер поспешно вручили гонцу, и тот поспешил Бырлад, где в эти дни находился Александр Васильевич. Он давно томился бездействием и сильно взволновался, когда, вскрыв привезенный гонцом пакет, вместе с ордером нашел в нем собственноручное письмо Потемкина.

«Измаил остается гнездом неприятеля, — писал командующий Дунайской армией, — и хотя сообщение прервано чрез флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних, моя надежда на бога и на Вашу храбрость, поспеши, мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там разночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет Вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым; огляди все и распорядись и, помоляся богу, предпринимайте; есть слабые места, лишь бы дружно шли.

Вернейший друг и покорнейший слуга князь Потемкин-Таврический».

На приказ командующего Суворов коротко и энергично ответил:

«Получа повеление Вашей светлости, отправился я к стороне Измаила».

Однако к этому времени, не дождавшись распоряжения Потемкина, русские войска, изнуренные пронзительной осенней непогодой, болезнями, недостатком питания и снарядов, уже

отступали к северу. Положение создалось тяжелое. Не веря более в успех и желая снять с себя ответственность в случае неудачи, светлейший снова написал Суворову:

«Получив известие об отступлении русских войск от Измаила, представляю Вам решить: продолжать или оставить предприятие на Измаил? Вы на месте. Руки у Вас развязаны, и Вы, конечно, не упустите ничего, что способствует пользе службы и славе оружия».

Суворов не испугался ответственности, хотя понимал, что всю свою долголетнюю службу он ставит под удар. Блистательные победы его при Козлудже, Фокшанах и Рымнике могли быть вычеркнуты после одной только неудачи. Но во взятии Измаила заключалась честь русской армии, прочность русских границ на берегах Черного моря, поэтому Суворов, не колеблясь, ответил Потемкину:

«Без особого повеления Вашего безвременно отступить было бы постыдно. Ничего не обещаю. Гнев и милость божия в его провидении, — войско пылает усердием к службе...»

...В сопровождении вестового казака Суворов пустился в путь к Измаилу.

На заболоченную равнину опускались сырые сумерки, когда на проселке показался на казацкой лошаденке сутулый, укрытый походным плащом старик офицер с маленьким морщинистым лицом. Длинные седые волосы выбивались из-под его намокшей треуголки. Брызги жидкой грязи облепили высокие сапоги и полы плаща. В руках старик держал нагайку. Сгорбленный, малорослый, слегка склонив обветренное лицо, он ехал в задумчивости. У проселка подле костров отогревались солдаты; легкий говорок разносился по лагерному полю. Никто не обратил внимания на проезжего офицера. Он свернул к ближайшему огоньку и проворно соскочил с лошади. Легким шагом подходя к костру, он довольно потирал руки.

— Помилуй бог, как славно! И греет, и светит, и душу радует!

— И вовсе не радует, ваше благородие! — хмуро отозвался седоусый капрал. Он встал, за ним поднялись и его товарищи. — На душе будто наплевано. Морока одна! Позвольте узнать, с кем имеем честь? — Капрал почтительно вытянулся перед стариком.

— Гонцы, голубчик, с повелением из главной квартиры. Смотри, какие важные персоны! — с легкой насмешкой отозвался прибывший

и присел на пенек. — Садитесь, братцы, небось устали? — участливо спросил он.

Капрал присел на корточки у костра, затянулся из глиняной трубочки и, прищурившись на огонек, отозвался:

— От безделья извелись совсем! Издавна говорится: глупый киснет, а умный все промыслит! — Капрал многозначительно посмотрел на старого офицера.

В ночной мгле перекликались часовые, неподалеку у коновязей фыркали кони. У костров маячили тени, солдаты под открытым небом укладывались на ночлег.

— Молодец, умно сказал! — согласился старик. — Откуда, служивый?

— Дальний! — словоохотливо ответил капрал. — С уральских краев. Дик наш край, а милее нет сердцу!

— Стало быть, голубчик, любишь свой край? — ласково спросил офицер в плаще.

— Помилуй, ваше благородие, человек без родины — что соловей без песни! — вдохновенно вымолвил служивый.

— Вот и я горжусь, что россиянин! — И, прищуриив хитровато голубой глаз, офицер спросил: — Чему же ты не рад, герой? Ведь вы, сударики, на попятный двинулись, отступить надумали?

— Разве мы хотели этого? — сердито ответил капрал. — Нам ведено не рассуждать! А радоваться нечему: дважды подступали к Измаилу и дважды отходим. Где это видано — топтаться без толку? Где про то сказано, что русскому да перед турком отступить? Эх-х! — недовольно махнул рукой седоусый капрал.

— Правда твоя, козырь! — одобрил старик. — А можно турка в Измаиле взять?

— Смелый там найдет, где робкий потеряет! — уверенно — ответил воин и вдруг оживился. — Нам бы сюда командира, батюшку нашего Александра Васильевича Суворова, враз порешили б с супостатом! Он один на белом свете вывел бы нас на врага!

— Неужто так просто: враз — и бит враг. Выходит, счастлив Суворов, — с недоверием усмехнулся офицер.

Капрал обиделся и суровым голосом ответил:

— Счастье без ума — дырявая сума, ваше благородие! Худа тамышь, которая одну только лазейку знает. Суворовское око видит

далеко, а ум — еще подальше! Да и сердцу нашему близок, родной он!

В полосу света вступил молодой казак-вестовой. Он загадочно посмотрел на старого офицера, ухмыльнулся и сказал задиристо:

— Эх, милый, про него только одни рассказы идут! Больно прост: щи да кашу ест, да разве это генералу к лицу?

— Ты, гляди, помалкивай, пока нашу душу не распалил! — гневно перебил казака другой солдат. — Суворов — он наш, от нашей, русской кости!

— Верно сказано! — поддержал капрал. — Дорожка его с нашим путем слилась. Он за русскую землю стоит, а на той земле — наш народ-труженик! Разумей про то, молодой да зеленый казак! — Он насмешливо посмотрел на румяное лицо вестового.

У старика горячим светом зажглись глаза. Он, не скрываясь, влюбленно всматривался в седоусого воина. Тот продолжал:

— С далекого Урала мы. Может, и слышал про заводчиков Демидовых? Приписные мы его.

— Стало быть, пороли в свое время! — вставил, не унимаясь, казак.

— Не без этого, — согласился капрал. — Но то разумей: был Демидов и уйдет, а земле русской стоять отныне и до века! Не о себе пекусь — о потомстве, о славе русской. Прадеды и деды наши великими трудами своими выпестовали наше царство-государство. Наша земля и наши тут радости и горе. Ты не насмехайся над моей душой! — сердито сказал он, поднялся, пыхнул трубочкой и, оборотясь к офицеру, предложил: — И вы маетесь, ваше благородие! Не побалуется ли табачком? Крепок!

Старик проворно встал.

— Гляжу на тебя, голубь, а сам думаю: «Ну и молодец, ой, молодец!» Дай я тебя поцелую! — Офицер вплотную подошел к капралу и обнял его...

Внезапно в сосредоточенной тишине раздался говор, и в освещенный круг костра вошел усатый жилистый солдат. Он взглянул на целующихся, глаза его изумленно расширились, и весь он словно зажегся пламенем восторга.

— Батюшка Александр Васильевич, да какими судьбами к нам попали! Что вы, братцы, да это сам генерал-аншеф Суворов! — не сдерживаясь, выкрикнул он.

Старый офицер быстро обернулся и тоже засиял весь.

— Егоров, чудо-богатырь, ты ли? — радостно спросил он.

— Александр Васильевич, отец родной, да как же нам без тебя! — весело отозвался служивый. — Где ты, там и мы! Сколько с врагами бились, а живы остались! Так уж положено, русский солдат бессмертен: его ни штыком, ни пулей, ни ядром не возьмешь.

Ночная пелена заколебалась от шума, из нее стали выступать оживленные солдатские лица. Капрал стоял, взволнованный неожиданной встречей.

Кругом сгрудилась оживленная толпа солдат и офицеров. Где-то затрещал барабан.

— Славно, ей-ей, хорошо! Веселая музыка! — смеясь, сказал Суворов и стал пробираться к лошади. Вспыхнуло громкоголосое «ура»...

Полководец легко взобрался в седло и, вскинув над головой старенькую треуголку, крикнул:

— Спасибо, чудо-богатыри! Рад, что встретился с такими орлами!

Он медленно тронулся среди ожившего лагеря. Навстречу ему из тьмы доносился глухой шум.

— Ребята, это суздальцы бегут! — сказал капрал, а у самого на глазах навернулись слезы. — Эх, и счастливые они, при нем долго были!

В могучем людском потоке Суворов медленно продвигался впереди — у него самого сверкали слезы радости. Над равниной беспрерывно катилось «ура». На черном небе зажглись звезды. У костров началось сильное движение. Лагерь облетела быстрая весть: «Суворов прибыл! Суворов с нами!..»

Пришли фанагорийцы, апшеронцы и другие суворовские полки. Они шли стройными рядами, наигрывая на флейточках. В лагере среди солдат былого уныния не осталось и следа, теперь ни ветер, ни стужа не страшили их: Суворов озаботился, чтобы воин стал сыт, чист и бодр духом.

Установилась ясная, морозная погода. По дорогам беспрерывно тянулись тяжелые фуры, груженные провиантом для солдатской кухни. Офицеры не давали спуску интендантам, строго следя за доставкой

фуража. Солдаты сменили заношенное белье, выглядели весело, бодро и шумно радовались подходу фанаторийцев, слегка ревнуя их к Суворову.

А он, все на той же лошади, чисто выбритый, в подпоясанной ремнем шинельке, в сопровождении небольшой свиты объехал стоявшие на бивуаке войска. Видя просветлевшие солдатские лица, полководец обращался то к одному, то к другому воину:

— Спасибо, чудо-богатыри, обогрели сердце! Тащи к котлу!

Он несколько раз сходил с лошади и подходил к ротному котлу, брал деревянную ложку и, подув на горячие щи, с аппетитом хлебал их.

— Помилуй бог, хороши. Наваристы! Давай, братцы, нажми! Щи да каша — пища наша. Понял? А, старый приятель, и ты тут! — узнал он капрала.

— Так точно, ваше сиятельство, капрал Иванов пятый! — с гордостью вытянулся служивый перед генерал-аншефом.

— Пятый? Гляди, что творится! — с деланно насмешливым лицом сказал Суворов. — А сколько вас?

— Да хватит, Александр Васильевич, чтобы Измаил взять! — твердо ответил капрал.

— Да ты со счета сбился! — перебил капрала солдат с обветренным лицом и черными усами. — Я вот Сидоров!

— Иванов, Сидоров, Петров, Федоров — все одно. Только название разное, а душевный сорт один — русские! — не сдавался капрал.

— Что ж, выходит, на турецкую крепость пойдём?

— Иначе нельзя, Александр Васильевич. Так повелось с Суворовым: только вперед, назад не выходит. На попятную — позор, стыд, маята!

— Так, так! — улыбаясь, приговаривал полководец. — Молодец, орел! С такими богатырями — назад! Никогда. Ну, капрал Иванов, за послугу не забуду, вспомню!

Не успел капрал опомниться, как Суворов был снова на коне и продвигался среди войск все дальше и дальше. Следом за ним по полю катилось громкое «ура».

— Эх, Сидоров, Сидоров-брат! — укоризненно покачал головой Иванов. — Чуть не подвел меня.

— Подведешь такого смышленного! — отозвался солдат. — Гляди, что с войском сотворил наш батюшка! Были на поле солдатишки, а войска не было. Явился родной наш — и войско стало!

— Эх ты, пермяк — соленые уши! — насмешливо вздохнул капрал. — Разумей всегда так: сноп без перевясла — солома! Всему свету известно, что войско состоит из солдат, а то не всякому дано понять, что из солдат войско не каждый сможет сделать. Вот кто он, наш Суворов! — Светлая улыбка появилась на лице капрала...

На ранней заре 3 декабря сераскир Аудузлу-Мегмет-паша всполошился. Ему доложили, что под стенами Измаила снова появились русские. С тяжелой одышкой сераскир поднялся на крепостную башню и долго наблюдал за необычным зрелищем. Бодрые и неутомимые русские полки большим полукругом размещались в трех верстах от Измаила. На огромном пространстве синели дымки костров.

— Аллах, аллах, что стало с русскими? — возопил сераскир. — Ты ослепил их, защитник правоверных! У нас все есть, чтобы выстоять. Они не знают, что вскоре от густых туманов Измаил станет для них невидим!..

Аудузлу-Мегмет-паша с нетерпением ждал наступления густых осенних туманов, но Суворов решил опередить их.

В тщедушном, хилом теле полководца таилась неиссякаемая энергия. Днем и ночью он не покидал боевого поля. Всего на несколько часов он забирался в свою землянку, простую яму, разгороженную надвое палаткой. Вместо двери служила камышовая циновка. Земляной пол был укрыт кукурузными снопами. За занавеской, на охапке сена, укрытой чистой простыней, Александр Васильевич засыпал на два-три часа. Задолго до рассвета он поднимался со своего убогого ложа. Денщик Прошка затапливал печурку и приносил таз с прохладной водой. Суворов под воркотню здорового Прошки умывался: денщик поливал ему грудь, плечи, голову холодной водой, и несколько минут за занавеской слышалось легкое взвизгивание, сопение и возгласы:

— Ах, Прошенька, еще капельку! Угодил, помилуй бог, как славно!..

— С тобой завсегда так, ровно малое дите! — хриловатым голосом укорял Прошка. Он тщательно обтирал плечи Александра

Васильевича и ворчал:

— Ступай, ступай к огню, обогрейся, ведь старенький совсем стал...

Суворов покорно садился на опрокинутое ведро, протягивал к печке худые, жилистые, чисто вымытые ноги и минуту-другую сладко жмурился на огонек.

— Помилуй бог, хорошо! — шепотом заканчивал он последнее слово. От тепла его сильно морило, и Александр Васильевич слегка задремывал. Опустив голову на плоскую грудь, он сидел затихший, худой и казался совсем беспомощным стариком.

— Ну-ну, не дремать! — тормошил Прошка, но Суворов уже открывал насмешливые глаза.

— А разве я дремал?

Денщик не отзывался. Важно надувшись, он подавал ему чистую рубаху и шерстяные онучи.

— Будем одеваться...

Спустя пять минут Суворов был уже в мундире, на шее — чистый платок, жидкие седые волосы аккуратно зачесаны, а впереди подвернуты хохолком.

— Давай плащ! — приказывал он денщику.

— В шинельку ноне одевайтесь. По годам и одежинка! — протестовал Прошка.

Надев шинельку, пристегнув шпагу, Суворов выходил под темный прохладный купол неба. Подмораживало, ярко сверкали звезды, но в лагере чувствовалось скрытое движение.

Суворов прислушивался к шорохам: сонливость и слабость словно рукой снимало. Он крестился на восток и говорил Прошке:

— Ну вот, встал и готов! Коня!

Недосыпавший шестидесятилетний старик бодро садился на коня и отправлялся на боевое поле.

Он с инженерами не раз объехал окрестности Измаила и неподалеку от осажденной крепости возвел ряд батарей, не дававших туркам покоя. Днем и ночью в оврагах вязались фашины и сооружались лестницы. В поле были насыпаны высокие валы и вырыты рвы, похожие на крепостные, и офицеры беспрестанно учили солдат искусству штурма.

...Только начало светать, а роты уж пошли на штурм учебного вала. Саперы спешили впереди и забрасывали ров фашинами. Капрал Иванов устремился вперед по фашиннику, увлекая за собой пехотинцев, бежавших со штыками наперевес.

— Вперед, братцы, вперед! — закричал он во всю глотку и первым стал взбираться по приставленной лестнице. За ним поспешили и другие. Подъем был крут, спорко осыпалась сырая земля, лестница трещала под сильными ногами. Оставалось совсем немного, вот-вот ухватиться бы за гребень, но сухие лесины разом хрястнули и переломились, а капрал, потеряв равновесие, покатился вниз.

В этот злополучный миг он мельком увидел Суворова. Александр Васильевич недвижимо высился на своем коньке, зорко разглядывая солдат. Рядом с ним на гнедой кобыле сидел коренастый румяный генерал.

«И Кутузов с ним!» — сообразил Иванов, и на сердце стало больно от обиды.

Скатившись с вала, он быстро вскочил и, прихрамывая, снова полез вверх.

— Стой, стой! Ступай вниз! — закричал ротный офицер. — Ты убит!

— Врешь, ваше благородие! — заорал запальчиво капрал. — Упал, а не убит. Айда, голуби!

Впереди на верху переломанной лестницы мялся молоденький солдат, не зная, как добраться до верха вала.

— Ты полегче, становись на меня! Живо! Айда, Калуга! — подбодрил капрал и подставил свою могучую спину. Солдат проворно вскочил капралу на плечи и через секунду-другую, цепко ухватясь за дерн, был уже на валу. Он взмахнул прикладом, разя незримого врага, и закричал во всю мочь: «Ура!»

— Эка провора, давай другой! — распалился капрал и в четверть часа перекидал на вал своих товарищей. По лицу его градом катился пот, но он был доволен, когда и его подняли на гребень. От восторга он поднял каску и закричал на все поле:

— Вал за нами!

— Так, так! — одобрительно покачал головой Суворов. — Сообразителен. Не растерялся! Уменье везде найдет примененье. Быстрота! Добрый воин один тысячи водит!

Кутузов улыбнулся, ласково взглянул на Суворова.

— Миша, — обратился вдруг к нему Александр Васильевич. — Ты этого капрала пришли ко мне. Понадобится!

К этому времени взвод скрылся за валом, а через минуту набежали новые ряды. Суворов легонько тронул повод и тихим шагом поехал, минуя заваленный фашиной ров. Внезапно он вздрогнул, подтянулся и прищпорил коня.

— Гляди, Миша! — показал он рукой на выстроенную за валом роту. — Никак распекает?

Перед поручиком, вытянувшись в струнку, стоял весь красный капрал и смущенно выслушивал выговор.

— Убили, а на рожон лезешь! Где повинование? — кричал офицер.

Завидев приближающихся генералов, поручик смолк и закончил тихо:

— Марш в строй!

Суворов неторопливо подъехал к роте. Ликующее «ура» встретило его появление. Он поднял руку. Водворилась тишина.

— Как надо бить врага? — спросил он у флангового.

Тот вышел из строя и ответил, как отрубил:

— Известно как, ваше сиятельство. Бей сатану, чтобы вовек не очнулся. Бить так добивать! На командира надейся, а сам не плошай!

— Так, так! Помилуй бог, хорошо сказано! — одобрил Суворов. — А ты, Иванов, жив или убит? — внезапно обратился он к капралу.

Служивый вышел из шеренги.

— Никак нет, ваше сиятельство, жив-здоров. Верно, упал! А упал, так целуй мать сыру землю да становись на ноги! Падением попадешь в корень, доберешься и до вершины.

— В хвасты нет сласти! — построжал Суворов. — А за проворство и честность хвалю. Продолжать учение! — приказал он поручику и поехал дальше, а за ним двинулся и генерал Кутузов.

Вечером капрала Иванова затребовали на главную полевую квартиру. Подле крохотной мазанки, куда только что перебрался командующий, тихо переговаривались ординарцы. Рядом у окон избушки застыли часовые. Капрал, отдав честь дежурному офицеру,

доложил о себе. Отойдя в сторонку, он стал терпеливо ждать. Вскоре открылась дверь, и адъютант пригласил служивого войти.

Всегда невозмутимый и находчивый, на этот раз капрал заволновался. У него часто заколотилось сердце, душу наполнила торжественная мысль: «Шутка, снова перед Суворовым придется речь держать. Ну, Иванов, не осрамись».

Тяжелым шагом он переступил порог горенки и замер у двери. В комнатке был низкий потолок, и капрал под ним показался себе махиной. «Ух, и вырос чертушка: ни в пень, ни в колоду!» — недовольно подумал он про себя и взглянул вперед. В углу, склонившись над столом, Суворов разглядывал карту. Рядом с ним сидел стройный, с приятным смуглым лицом молодой офицер. У служивого отлегло от сердца, — до того родным и простым показался ему полководец. И не страх, а радостное волнение охватило его.

Суворов оторвал от карты глаза и приветливо взглянул на капрала.

— А вот и он, смысленый! — радушно сказал он, кивком указывая офицеру на Иванова.

Александр Васильевич вышел из-за стола и приблизился к бравому капралу. Чисто выбритый, подтянутый, служивый и глазом не моргнул. Суворов с довольным видом оглядел его.

— Помилуй бог, силен, хват! Боязлив, трусоват?

— Стань овцой — живо волки найдутся! И еще, ваше сиятельство, так говорится в народе: смелому горох хлебать, а несмелому и редьки не видать.

— Взгляни, капитан, каков молодец! Краснословка, умная головка!

Офицер подошел к Иванову. Показывая на него, Суворов любовно сказал:

— Это господин капитан Карасев. Собрался он по делам в Измаил. Пойдешь с ним?

— Пойду! — не раздумывая, ответил капрал.

— Да ведь ты и говорить по-турецки не умеешь! — с улыбкой сказал Суворов. — Как поступишь?

— Так я ж в Измаиле буду глухонемой, а у глухонемых один язык везде — руки!

— Молодец! — похвалил Александр Васильевич капрала. — Видишь его? — показал он на офицера. — Береги его, слушай! Слово

его — закон... Ну-ка, склони голову! Дай по-отцовски благословлю, на большое дело идешь. Вернешься ли, один бог знает! — Суворов построжал и перекрестил чело служивого. — Ну, в добрый час!

Капитан слегка поклонился генерал-аншефу и сказал капралу:

— Ну, братец, идем, поговорим о деле. Ночь хоть и осенняя, а для нас коротка!

Они вышли под звезды. Кругом стояла тишина. Где-то поблизости ржали кони. Капитан с капралом пошли к землянке, в которой им предстояло обдумать опасный поход в осажденную крепость.

Седьмого декабря 1790 года Суворов выслал к Бендерским воротам крепости трубача с письмом. Генерал-аншеф писал Аудузлу-Мегмет-паше:

«Сераскиру, старшинам и всему обществу. Я с войском сюда прибыл. 24 часа на размышление для сдачи — воля, первые мои выстрелы — уже неволя, штурм — смерть».

Паша ответил только на другой день, предлагая заключить на десять дней перемирие. Если русские не согласятся на предложение, то турки будут драться до последнего дыхания. Вручая ответ, турецкий парламентар при этом заносчиво передал слова гордого сераскира: «Скорее Дунай остановится в своем течении, а небо упадет на землю, чем Измаил сдастся!»

Суворов разгадал замысел турок, который заключался в стремлении выгадать время до наступления зимних туманов, и отдал распоряжение готовиться к штурму.

В решающий момент, когда оставался только один выбор, Потемкин снова заколебался. Боясь неудачи, он послал Энгельгардта с письмом, в котором предупреждал Суворова «не отваживаться на приступ, если он не совершенно уверен в успехе».

Адъютанту давно мечталось увидеть Суворова. Он трогательно распрощался с Демидовым и поскакал по зимней дороге. Николай Никитич уныло посмотрел ему вслед и позавидовал. «И Суворова увидит и, чего доброго, орденку получит!» — подумал он.

После долгого и утомительного пути Энгельгардт прибыл в лагерь под Измаилом. В ночи на водах притихшего Дуная на обширном пространстве отражались многочисленные костры. Стояла тишина.

Штабного офицера поразили бодрые, оживленные лица солдат. Несмотря на прохладу, многие сидели у костров в одних чистых рубашках. При виде блестящего офицера они быстро поднимались и, смущенно опустив глаза, поясняли:

— Так что, ваше благородие, обиход свой к ночлегу справляем...

Энгельгардт впервые попал в действующие войска, и его удивил вид их; они отличались от столичных полков. Солдаты были острижены, чисты и мундиры их просты. Они чувствовали себя превосходно. Адьютанту вспомнилось, что еще совсем недавно солдаты носили косы, завивались и пудрились. Этим более всего возмущался Суворов. «Завиваться, пудриться, плесть косы — солдатское ли это дело? — горячо протестовал он. — У них камердинеров нет. На что солдату букли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал — и готов!»

Русские солдаты быстро оценили преимущества нового наряда: с уничтожением париков их навсегда избавили от головных болезней, от лишних и напрасных издержек для мазания пудреной головы. Они сочинили и распевали песню о солдатской прическе. Энгельгардт услышал ее неподалеку, у соседнего бивуачного костра.

Дай бог тому здоровье, кто выдумал сие,
Виват, виват, кто выдумал сие!..

Потемкинский адъютант поторопился на главную полевую квартиру. Он был полон радужных ожиданий в надежде увидеть самого Суворова и быть обласканным им. Ведь непременно обрадуется отмене штурма! В его годы и положении опасно ставить на карту свою славную репутацию!

Однако первый пыл Энгельгардта быстро прошел, когда он представился дежурному офицеру штаба. Тот без проволочки взял у гонца пакет и очень внимательно оглядел его пышный мундир с орденами. Прибывшему показалось, что по губам армейца скользнула презрительная улыбка.

Дежурный скрылся за дверью; Энгельгардт с удивлением разглядывал убогую и тесную хибару, в которой разместился суворовский штаб. Ему было непонятно, как можно ютиться в этом более чем скромном обиталище.

Он осторожно присел на скамью, боясь испачкать и помять мундир. Поминутно оправляя орден, он с нетерпением ждал, когда командующий примет его. За стеной глухо прозвучали часы. В углу приемной дремал забрызганный грязью ординарец. Дежурный все еще не возвращался.

Между тем офицер доложил генерал-аншефу о гонце и вручил письмо Потемкина. Суворов резким движением поднял голову и насмешливо спросил:

— Кто прибыл? Фазан?^[9] Фу-фу!.. Не нужен танцор, шаркун... Погоди...

Он долго вертел в руках пакет, потом с хмурым видом вскрыл его и углубился в чтение. Чело Суворова еще более омрачилось.

Что думает светлейший? Игрушка, бал, фейерверк? Нет, не быть сему! — резко вымолвил он и присел к столу. Он долго сидел над листом бумаги и думал.

Дежурный офицер молча наблюдал за ним, стараясь держаться в тени. Суворов долго безмолвствовал. Склонив на ладонь голову, он закрыл глаза и, казалось, уснул. Но Александр Васильевич не спал, в нем боролись противоречивые чувства. Сделать так, как надумал он, значит рассориться с Потемкиным. А иначе нельзя: долг перед родиной превыше всего! Он встрепенулся, взял перо и быстро написал:

«Мое намерение непременно. Два раза было российское войско у ворот Измаила, — стыдно будет, если в третий раз оно отступит, не войдя в него».

— Вручите! — сказал он дежурному, протянув ему пакет. Сего фазана не могу видеть. Ныне — военный совет!..

Энгельгардту объяснили:

Его сиятельство граф Суворов весьма заняты и сожалеют, что не могут принять лично. Впрочем, вот его ответ. Просьба доставить его светлости князю Потемкину...

Обескураженный учтивым ответом дежурного офицера, Энгельгардт понял, что все его надежды на внимание погибли, и он, не

медля более, выбыл из полевой ставки Суворова.

Солдат Сидоров лежал в секрете в камышах на берегу Дуная. С темного звездного неба лилась прохлада, с речного простора подувал ветерок, и черные воды величаво разлились в тишине. Глядя на них, служивый вспомнил иную реку — Каму, суровую, в зеленых берегах, и синюю в летние полдни.

«У нас на Каме зима, стужа. Небось все укрылось под лебяжьим одеялом!» — со щемящей тоской подумал он, и перед ним ярко встал милый край: уральские увалы, хмурые хвойные леса и гремящие горные ручьи. Ничего нет краше родного края! Глядя на синие звезды, часовой размышлялся. Вот ковш Большой Медведицы низко склонился над Дунаем и готов зачерпнуть с зеркальных вод пригоршню золотого проса, рассыпанного с неба Млечным Путем. Рядом, словно старец, припал к воде столетний вяз с седыми гибкими ветвями. В омуте блеснула большая рыба. Нет, это не рыба!

— Стой, кто плывет? — вскинув кремневку, окрикнул часовой.

Нырять, тихо плескаясь, по реке плыли две головы рядом, пробираясь к берегу. Следом за ними торопилась юркая утлая лодка. Как тени, скользили пловцы. Ветерок донес приглушенный турецкий говорок. Сидоров снова закричал:

— Стой, басурмане, стрелять буду!

В ответ на окрик с лодки раздались выстрелы. Пули чмокнули по тугой дунайской волне подле плывущих голов. Солдат не выжидал, ударил по преследующим из кремневки. Турки всполошились, закричали, взбурлили веслом воду, и челн стало сносить в сторону, в кромешную тьму.

У русского берега, шатаясь, в камышах поднялся лишь один. Сгибаясь, он волочил по воде расслабленное тело товарища. Беглецы выбрались на сухую кромку. На выстрел прибежали с заставы, и снова вспыхнула перестрелка.

Сидоров поспешил к беглецам. Широкоплечий, коренастый перебежчик, одетый в широкие турецкие шаровары и синий жилет, склонившись над товарищем, тормозил его. Солдат услышал стон и родные русские слова:

— Оставьте, ваше благородие, поспешите! Там ждут. Дорога минутка!

«Свои! Откуда бог принес?» — быстро сообразил часовой и для порядка окрикнул:

— Кто такие? Пропуск?

— Россия! — энергично ответил коренастый. — Ну-ка, иди сюда, братец! Кликни своих, помочь надо. У самого берега пуля настигла. Мне спешить надо...

С поста прибежали с факелами и осветили бледное лицо лежащего на земле. Он потянулся, открыл глаза:

— Свои... Братцы... Умираю...

— Иванов, да это ты! — вдруг отчаянно выкрикнул часовой и опустился возле раненого на колени. — Ишь ты, где довелось встретиться!

Капрал понатужился, пытаясь приподняться.

— Пермяк, Сидоров... ты... Приподними, братец, дай взглянуть на вас! Ох-х! — Он глубоко вздохнул и жалобно улыбнулся: — Вишь, где смерть настигла...

Капрал перевел дух и глазами указал на грудь.

— Тут ладанка. Достань ее... Там уральская земляца. Оттуда на сердце положи!

— Да ты что, никак и впрямь умирать собрался! — попробовал ободрить товарища солдат.

— Не собирался, да, чую, не отпустит! — тихо ответил капрал. — Слышу, вот она тут, за плечами, стоит, моя смертушка... А там в ладанке еще и рубль, даренный самим Александром Васильевичем, так вы его... храните... Святая память...

Капрал ослабел, закрыл глаза.

— Эх, Иванов, Иванов, как же ты! — огорченно вздохнул солдат.

Умирающий не отозвался. Он потянулся, вздохнул, и глубокая тишина сковала солдат.

— Упокой, господи, душу воина! — истово перекрестились солдаты. — Надо почтить тело...

Сидоров вырыл могилу. Старого капрала уложили в последнее прибежище, а на сердце ему присыпали из ладанки уральской земляцы. Пригоршню ее солдат поднес к лицу и жадно вдохнул ее терпкий запах.

— Эх, хороша! Сочна, мягка, плодовита! Видать, до отказа мужицким потом полита. Прильни, родная, к верному сердцу, прими его последнее тепло и силушку! Веселее ему будет лежать укрытому этой маленькой, да горячей горсточкой. Русскому сердцу мало надо тепла — оно само горячее и доброе! — тихо сказал солдат и низко склонил голову, а по изрезанной морщинами и обветренной чужими ветрами щеке катилась непрошенная слеза...

В этот час Александр Васильевич Суворов принял капитана Карасева. Он молча выслушал донесение.

— Так, так... Молодец солдат... Дознался, где слабее всего... Иванов пятый! Помилуй бог, подать сюда храбреца!

— Его нет больше, ваше сиятельство! — тихо сказал капитан, и руки его задрожали.

Суворов замолчал. Строгий и безмолвный, он стоял с минуту с потемневшими глазами.

— Вот истинный сын отечества... Спасибо...

Полководец устало опустился на скамью и задумался. Капитан тихо вышел из горницы...

Суворов тщательно изучил расположение крепости и данные разведки. В последние дни он под огнем врага совершал длительные поездки на рекогносцировку, проверяя все на месте. Заметив назойливого старика, разъезжавшего на казачьей лошаденке перед крепостью, турки пытались его обстреливать. Суворов со смешком поглядывал на сопровождавшего ординарца, который поминутно «кланялся».

— Уедемте подальше, ваше сиятельство, не ровен час! — просил ординарец.

— Что ты, помилуй бог! — спокойно отвечал генерал-аншеф. Ведай, не всякая пуля по кости, глядишь — иная в кусты. Пуля — дура, штык — молодец!

Понемногу выстрелы прекратились. Александр Васильевич улыбнулся.

— Ишь, кончили! Решили басурмане, не стоит палить по старичку. Галанты, помилуй бог!

До позднего вечера он пробыл на берегу Дуная. Стало ясно, что ожидаемые трудности далеко превосходят все предположения, имевшиеся на этот счет. С приходом суворовских полков русская армия состояла из тридцати тысяч воинов. Значительную часть составляли казаки, непривычные к пешему бою. Не хватало пушек и снарядов. И все-таки вопрос был решен. Предстояло установить, откуда направить главный удар.

«Капитан прав! — одобрил Суворов. — На Дунае турки не ждут удара, и укрепления посему менее значительны. Сюда и бить!»

В голове его созрел простой и ясный план. Предстояло вынудить турок рассеять свои силы по всему крепостному валу. Для этого надлежало направить колонны для равномерной атаки по всему фронту. Турки именно этого и ждали.

«Ждите! Это нам и надо!» — улыбнулся тайной мысли Суворов.

9 декабря в тесной хибаре командующего состоялся военный совет. В густой тьме, освещая дорогу факелами, к домику подъезжали генералы. Они неторопливо проходили в тесную горницу и молчаливо устраивались за столом. Подошли генерал-поручики Самойлов и Потемкин — дальний родственник светлейшего, появились бригадиры Орлов, Вестфален и Платов. С усталым видом к столу проковылял Рибас. И вот наконец появился генерал-майор Кутузов. При виде его Суворов просиял.

Генерал-аншеф в полной парадной форме и при орденах стоял у стола. Держался он прямо, бодро, каждого встречал пытливым взглядом и на поклоны входивших отвечал учтиво.

Дверь плотно закрыли. В комнатке стало тесно, душно. На круглом лице Платова выступил пот. Он молча сидел в углу, влюбленно поглядывая на Суворова. Лихой наездник и рубака, он был скор на руку, но терялся в обществе и вовсе становился беспомощным, когда приходилось вести речь.

Суворов обежал взором генералов и прямо приступил к делу.

— Господа, два раза русские подходили к Измаилу, — ровным, твердым голосом сказал он, — и два раза отступали; теперь, в третий раз, остается нам либо взять город, либо умереть. Правда, что затруднения велики: крепость сильна, гарнизон — целая армия, но ничто не устоит против русского оружия. Мы сильны и уверены в себе... Я решился овладеть этой крепостью или погибнуть под ее

стенами! — Он поднял голову и в упор спросил: — Господа, ваше мнение?

Платов был младше всех, и ему первому приходилось высказать свое мнение. Атаман прокашлялся и сказал резко и внушительно:

— Штурм!

Генералы переглянулись и один за другим повторили:

— Штурм!

— Благодарю, господа! — спокойно сказал Суворов и предложил: — Прошу ознакомиться с диспозицией и быть готовыми.

Намечалось разбить атакующих на три отряда, по три колонны в каждом. Начальники колонн и отрядов получили свое направление. Впереди шли стрелки, обстреливая турок, за ними — саперы с шанцевым инструментом, потом батальоны с фашинами и лестницами. Позади — резерв из двух батальонов. Каждый хорошо понял, что предстояло делать, но самое решающее знал только Суворов. Никому он не сказал о береговых крепостных стенах Измаила. Расставаясь, он перецеловал всех и взволнованно напутствовал:

— Один день — богу молиться, другой — учиться, в третий — боже господи! — в знатные попадем: славная смерть или победа!..

Весь день 10 декабря неумолчно грохотала канонада. Шестьсот орудий из русских батарей били по крепости. Прислушиваясь к их грому, солдат Сидоров ликовал:

— Слушай, соколы, ай, любо! Слышишь, как наша уральская бабушка Терентьевна ревет? Гляди, в какую ярость пришла! — озаряясь радостью, показывал он на гаубицу, извергавшую огонь. — Ах ты, моя любушка-голубушка!..

День стоял серенький, скучный, от орудийных залпов дрожала земля, поднимались столбы пыли. Над Измаилом курчавились дымки: турецкая артиллерия ожесточенно отвечала. В русском бивуаке то тут, то там вздымались к хмурому небу вихри черной земли, разбитые бревна, хворост, обломки повозок. Сидоров недовольно покрутил головой.

— Это их турецкая султанша рыкает: что ни гостинец, то пятнадцать пудов! Крепко плюется, паршивая. Прижимайся к земле, братцы!

Солдаты стойко переносили обстрел. На душе Сидорова было озорное, бодрящее чувство, с каждым залпом росла уверенность в своих силах. Во всем своем крепко сбитом теле он ощущал желание размяться, лихо схватиться с врагом. Солдаты с лицами, запорошенными землей, подшучивали друг над другом, делились вестями.

— А про то слышали, земляки, в крепости засел брательник крымского хана Каплан-Гирей, а при нем шесть сыновей, один другого ловчее? — сказал конопатый солдат.

— Вот то-то и любо! Не с сопляками драться, а с богатырями! — откликнулся Сидоров. — Ну и будет им конец!

— Слышали, земляки, что батюшка Суворов сераскиру молвил: в двадцать четыре часа ставь белый флаг? Не поставишь — пеняй, басурман, на себя: крепости — разрушение, а вам всем — уничтожение!

— Откуда ты только все знаешь? — добродушно проворчал Сидоров.

— Мы-то все ведаем, — ответил конопатый солдат. — Известно, мы из Шуи, а шуяне беса в солдаты продали. Наш плут хоть кого впряжет в хомут, вот и заставил вертячего беса служить да вести носить.

— Балагур-солдат! — отозвался Сидоров и вздохнул, взглянув на широкую реку. — Эх, Дунай Иванович, голубой да золотой. По Волге долго плыть, а ты широк, да перемахнуть надо!.. Не закурить ли нам, служивые? — Пермьяк добыл кiset, набил трубочку крепким табаком, прикурил. Крутые витки дыма потянулись над ложементом. Трубка заходила по рукам.

— А что я вам, братцы, расскажу! — размеренно-спокойным тоном начал Сидоров, но тут раздался волевой голос капрала:

— Брось дымить! Гляди, сам батюшка Суворов к нам жалует!

И впрямь, издалека донеслась команда, впереди быстро строились, выпрямлялись в линию полки. Вдоль фрунта медленно шел Суворов с немногочисленной свитой. Генерал-аншеф был в темно-синем мундире со звездой и при шпаге. Он часто останавливался и пытливо всматривался в лица солдат. Сидоров молодецки выпятил грудь, застыл, пожирая глазами полководца. Рядом расположился Фанагорийский полк, и фанагорийцы с великим подъемом подхватили

налетевшее «ура». Помолодевший, посвежевший Суворов задорно шутил. Пермяк слышал, как он запросто здоровался с ветеранами, слегка подтрунивал и ободрял молодых солдат.

— Егоров, ты опять тут! — весело вскричал Александр Васильевич, встречаясь взором со старым воином. — Помилуй бог, был при Козлудже, при Кинбурне сражался, под Очаковым дрался, при Фокшанах опять вместе врага били и при Рымнике супостату морду искровянили, а ныне под Измаилом снова здорово!

— Что ж поделать, Александр Васильевич, когда мы с тобой два сапога пара. Куда ты, туда и я. Без нас и войско не войско! — с дружелюбным смешком отозвался седоусый ветеран. Суворов и все солдаты засмеялись.

Генерал-аншеф прошел несколько шагов и увидел пермяка, любовно глядевшего ему в лицо.

— Помилуй бог, сколь много ныне знакомых на каждом шагу! — вскричал он. — Здорово, Сидоров! Слушай, пермяк, ты не лживка и не ленивка, а скажи-ка ты по чести: доберешься до Измаила?

— С нами правда и Суворов! Всю землю пройдем, а свое найдем! — уверенно и задорно ответил солдат.

— Ох, врешь, пермяк — соленые уши! — пошутил Суворов. — Насквозь вижу тебя. Ты и без меня доберешься и от врагов отобьешься!

— Уж коли на то пошло, от солдатской души скажу, Александр Васильевич: били и бить будем!

— Помилуй бог, молодец, не зевай! В добрый час! — Суворов дружески подмигнул Сидорову и пошел дальше.

Солдат вдруг заморгал глазами, на ресницах блеснули слезы. Он с досадой незаметно смахнул их и счастливо поглядел на товарищей:

— Гляди, милые, все упомнил: и как звать и что пермский! Эх, Александра Васильевич, Александра Васильевич, одной веревочкой нас судьба связала; не томись, за честь нашу постоим...

Медленно шла ночь, темная, долгая и холодная, но никто не спал. Солдаты тихо переговаривались. И каждый вспоминал родину, близких, и у всех нашлось доброе, ласковое слово для товарища. Ждали ракеты, и каждый шорох настораживал.

Один за другим погасли костры. Настала тишина.

«Теперь недолго до рассвета, — с грустью подумал Сидоров. — Огни притушены, и турки думают, что мы спим, а русские солдаты не заснули, ждут. Эх, други, свидимся ли после похода? Чую, отпразднуем...»

Утих ветер, Дунай не шелохнется.

Суворов вернулся в свою палатку и прилег на охапке сена. Он ушел в себя, сосредоточился. Глубокие морщины пробороzdили чело. Неподалеку на походном столике лежало нераспечатанным письмо австрийского императора. За порогом покашливал и ворчал на кого-то денщик Прошка. В обозе пронзительно прокричал петух. Суворов открыл глаза, отбросил старую шинель, которой покрывался, взглянул на старинный брегет: было без пяти минут три.

«Скоро подниматься!» — подумал он и, привстав на постели, прислушался. После целого дня канонады тишина казалась особенно глубокой. Тягостно тянулось время. Он пролежал еще с полчаса и быстро вскочил.

— Прошка! — позвал он денщика.

Умывшись холодной водой, освежив под струей голову, Суворов быстро надел свежее белье, натянул шерстяную фуфайку и обрядился в мундир. Он вышел из палатки при всех орденах и регалиях, легко сел на дончака и рысцой тронулся по дороге. За ним поспешили штабные.

В густой тьме весь лагерь бесшумно двигался. Батальоны строились в ряды, по дорогам неслышно катились пушки и обозные фуры. Во всем чувствовался слаженный ритм. Суворов подъехал к войску, шедшему на марше к исходному положению. Изредка среди полной тишины вырывалась крылатая фраза, раздавался искренний смех: Суворов, по обыкновению, подбадривал солдат острым словом...

Войско построилось в ста сажнях от крепости. Полководец въехал на холм, расположенный против Бендерских ворот. Его темный силуэт виднелся среди равнины. Взвилась третья ракета, и одновременно с этим крепость опоясалась огнем. Турки знали от перебежчиков о штурме и встретили штурмующих залпами артиллерии. Заговорили и русские батареи. В секунды, когда стихал гром батарей, слышался треск барабанов и доносились звуки горна. Небо заволкло бегущими облаками, и над Дунаем потянулся легкий седой туман. Сидоров, вместе с товарищами, стремительным махом

бежал к широкому рву. Там уже слышался треск фашичника и шум передвижаемых лестниц. Впереди стреляли русские стрелки, облегчая наступающим колоннам путь. Над головами солдат с визгом проносились ядра.

— У-р-ра! — во всю мочь закричал Сидоров и, на мгновение оглянувшись, увидел на холме полководца, размахивавшего треуголкой. Солдату показалось, что Суворов ободряет его. Увлеченный общим подъемом, он с криком перебежал по хрупкому фашичнику ров и устремился к валу. Помогая штыком, он полез вверх. Над ним молниями сверкали линии вспыхивающих залпов. По скату падали сверженные. Раскаты «ура» смешались с пронзительными криками «алла». Земля и вал вздрагивали от оружейной канонады, пороховой дым клубился над равниной.

Впереди Сидорова, размахивая шпагой, по откосу взбирался капитан Карасев. Он первым оказался на гребне и закричал с бастиона со страстной силой:

— Сюда, соколики, сюда! Грудью, братцы! В штыки, в бой! Прикладом бей! Ур-ра!

Откуда-то из укрытия выбежала турчанка с котлом кипящей смолы. Она выла от злости, в ярости подняла чугунок, чтобы опрокинуть вниз, но Сидоров не ждал, размахнулся и саданул прикладом по чертову вареву. Раскаленная смола, шипя, опрокинулась женщине на ноги. Турчанка с истошным криком завертелась на месте. В следующее мгновение солдат уже забыл о ней: охваченный страшным гневом, он ворвался в месиво сплетенных в свалке человеческих тел. Никто здесь не ждал пощады. Турки рубились ятаганами, резали кинжалами, но русские штыки неумолимо сверкали тут и там.

«Ну и черти, ловки и храбры! Отчаянные! — одобрил противника в пылу схватки Сидоров и взглянул вправо. — Казакам, казакам лихо!» — подумал он, весь загорелся и с ружьем наперевес устремился на выручку.

Турки отчаянно набрасывались на казаков; с остервенением они рубили тонкие пики, направленные на них. Обильно поливая кровью сырой вал, сотнями падали под ятаганами лихие сыны тихого Дона...

Гонимый ветром, с Дуная на крепость тянулся туман. Космы его поминутно закрывали штурмующих и не давали возможности хорошо видеть то, что происходило на бастионах. Занимался скудный рассвет.

Серые стены и валы Измаила сливались с пепельным цветом неба. Только по вспышкам огня можно было догадываться о ходе схватки. Бледный, ссутулившийся, Суворов пристально смотрел в подзорную трубу:

— Помилуй бог, началось... Так, так...

Куржавый дончак переступал копытами, косился на штабных.

— Вот и первый гонец, ваше сиятельство! — оживленно сказал адъютант, указывая на скачущего ординарца.

— Что? Сюда! — взмахнул треуголкой Суворов.

Запыхавшийся ординарец легким галопом поспешил к полководцу.

— Ну что, как? — впился в него глазами Суворов.

— Ваше сиятельство, вторая колонна вошла на вал.

— Поторопить первую и третью. Что генерал Кутузов?

— Не слышно.

— Так, так! — Полководец вновь взялся за подзорную трубу, но колеблющиеся серые космы снова наплыли на стены. — Проклятый туман! — огорченно обронил он.

Время проходило в большом душевном напряжении. От Кутузова все еще не было донесений. Между тем именно в этот час тот находился в затруднительном положении. Русские батальоны прорвались через все препятствия, прошли под огнем сквозь сверкающие ятаганы янычар и устремились на главный редут. Но тут спаги, предводительствуемые Каплан-Гиреем, братом крымского хана, и полк телохранителей сераскира зашли им в тыл и стали рубиться.

Солдат Сидоров понимал, что настала решительная минута. На его глазах ранили начальника колонны Безбородко. Пулей навывлет в грудь был убит командир полка. Молодой священник с крестом в руке взбежал на разбитый бруствер и крикнул:

— За мной, братцы! За нами русская земля!

Синий дым клубился кругом, разносились стоны, но роты воинов шли напролом. Не помня себя, Сидоров с ожесточением бил прикладом, колот штыком. Не будь оружия, в азарте он мог бы схватиться с врагом зубами. Его обозлили спаги, которые обреченно лезли на рожон. Где-то рядом в пороховом дыму слышался голос священника:

— Порадейте, братцы!..

Тем временем к Суворову подскакал адъютант Кутузова. Пыльный, потный и взволнованный, он отрывисто доложил:

— Ваше сиятельство, дальше нет сил наступать... Подкрепления...

Суворов вскинул голову и сурово сказал офицеру:

— Передайте генералу нет отступления. Жалую его комендантом Измаила...

Из-за окоема поднималось солнце, первые лучи его багрово озарили дымы пожаров, которые начались в крепости. В эти минуты шла резня на улицах города. Каплан-Гирей с сыновьями, окруженный русскими воинами, бился до последнего. Пали сыновья, под штыковым ударом, обливаясь кровью, повалился и сам Каплан-Гирей в грязную канаву. Турки засели в горевших «ханах»^[10] и отстреливались, но солдаты сметали все на пути. По узким улицам металась тысячи коней, выпущенных из конюшен, и вносили еще большее смятение. Над городом все ярче разгоралось зарево...

На площадях и улицах валялись трупы, кровь мешалась с пылью. Пылающие «ханы» осыпали бойцов искрами. Только в сумерки смолкли крики и воцарилась тишина. Всего один человек ушел из поверженной крепости: он упал в реку, ухватился за бревно и поплыл от Измаила. От него и узнали в Стамбуле о позоре турецкой армии.

В то время как Суворов со всем усердием опытного полководца готовил войска к штурму, забавы и пиры в ставке не прекращались, хотя теперь Демидов часто ловил тревогу в глазах Потемкина. Нередко в шумный час командующий удалялся в кабинет, где валился на излюбленный широкий диван и в задумчивости грыз ногти. Демидов молча наблюдал за князем. Иногда за окном раздавался конский топот, Потемкин тогда настораживался, быстро поднимался, подходил к окну и долго всматривался в тьму.

Десятого декабря Потемкиным овладела гнетущая меланхолия. В халате и в туфлях на босу ногу он валялся на диване и не показывался в штабе. Вызвав к себе адъютанта, он долго испытующе смотрел на него.

— Демидов, какие вести из-под Измаила? — глухо спросил он. — Возьмут ли? Все говорят, крепость неприступна!

— Но ведь там Суворов! — вырвалось с искренним восхищением у адъютанта. — А там, где Суворов, непременно победа!

Потемкин вскочил, его глаз готов был пронзить Демидова.

— Ты излишне уверен! — гневно выкрикнул он. — Все обольщены его счастьем: «Суворов непобедим! Суворов велик! Он возьмет Измаил!» Откуда сии толки? Скажи мне, Демидов, по совести: ты веришь в его непобедимость?

— Ваша светлость, каждый солдат считает его таким, — уверенно ответил адъютант.

— И ты вместе с ними, — сумрачно сказал Потемкин. — Ступай, оставь меня одного! Я должен за всех вас один решать. «Суворов, Суворов»! Ступай, ступай! — закончил он раздраженно, подошел к дивану и улегся.

Демидов вышел из кабинета. В покоях, где еще недавно шло веселье, стало темно; слуги гасили последние свечи. В воздухе все еще носился еле уловимый запах тонких духов. Николай Никитич неслышно выбрался во двор. Весь мир казался ему погруженным в густой, непроницаемый мрак и тишину. Дул слабый ветер, декабрьская ночь была прохладна. У коновязей ржали кони дежурных ординарцев. В темноте чей-то сочный голос задушевно сказал:

— Наш батюшка Суворов непременно укротит турка! Он такой, добр к солдату. Отец!

Второй голос с грустью отозвался:

— Гляди-ка, ночь-то какая! Тихо, и звезды благостны, а там, на Дунае, сейчас, поди, вот-вот польется кровь.

Заслышав шаги офицера, говорившие замолчали. Демидов безмолвно прошел мимо них и направился к себе на квартиру.

Утром 11 декабря, когда в низинах еще клубился туман, в ставку главнокомандующего на взмыленной лошади прискакал курьер и вручил Потемкину пакет. Светлейший вскрыл его и протянул бумагу Демидову:

— Читай неторопливо!

Адъютант стал читать донесение Суворова, и огромная радость мгновенно жаром наполнила его душу.

«Не бывало крепости крепче, — писал Суворов, — не бывало обороны отчаяннее обороны Измаила, но Измаил взят, — поздравляю, ваша светлость!»

Потемкин выхватил из рук адъютанта донесение и взволнованно зашагал по комнате.

— Гонца, немедленно гонца с радостной вестью в Санкт-Петербург! Попова ко мне!..

Между тем в штабе офицеры окружили прибывшего курьера и жадно слушали вести об измаильском штурме. И чем больше он рассказывал о подвиге, тем сильнее разгорались глаза у слушателей. Демидов поразились: никто не ревновал Суворова к его славе. Все проникнуто были обожанием к нему. Стало известно, что в Измаиле русские войска овладели огромной добычей. Между прочим, им достались десять тысяч отборных коней. Офицеры тщательно выбрали из этого табуна редчайшего арабского скакуна, обрядили его в драгоценную сбрую и подвели в дар полководцу.

Однако Суворов, как всегда, отказался от подарка. Он поблагодарил офицеров за внимание и простодушно сказал им:

— Донской конь привез меня сюда, на нем же я отсюда и уеду! — потом подумал и, улыбаясь, добавил: — Я и без того буду награжден государыней превыше заслуг!

— Суворов заслужил это, — восторженно сказал курьеру Демидов.

Прибывший офицер, забрызганный дорожной грязью, усталый, неприязненно посмотрел на блестящего адъютанта и с усмешкой сказал:

— Вы так думаете? Боюсь, что есть люди, желающие посягнуть на его славу!

— Не может этого быть! — протестующе выкрикнул Демидов и, угадывая намек курьера, наивно подумал: «Светлейший хоть и ревнив к чужой славе, но прекрасно видит, что Суворов — главный герой измаильского штурма и обойти его сейчас никак нельзя!»

— Все может быть! — раздумчиво ответил курьер и отвернулся от Демидова.

Николай Никитич вскоре убедился, что измаильский офицер был прав. В ближайшие дни Суворов известил Потемкина о том, что прибудет с рапортом в ставку. Всеми ожидалась торжественная встреча, но светлейший и намека не давал на это. Адъютанты князя приуныли, чувствуя всю неловкость положения. Много раз Демидов в разговоре об Измаиле просительно смотрел в глаза Потемкину.

— Ты что-то хочешь сказать, Демидов, да про себя таишь? — раздраженно спросил наконец светлейший.

— Мечтаю хоть глазком посмотреть на Суворова. Ваша светлость, пошлите ему навстречу! — смущенно попросил адъютант.

— Ты что же, хочешь приятное сделать своему кумиру? — участливо спросил Потемкин.

— Он достоин того, ваша светлость! — отважно сказал Демидов.

Злой огонек вдруг сверкнул с необыкновенной силой в глазу Потемкина.

— Не будет сего, чтобы я унился! — сердито крикнул светлейший. — И здесь встретим! — Он оглядел Демидова гневным взглядом и замкнулся в себе...

Между тем Бендеры были полны оживления. Пронесся слух о том, что Суворов прибывает в ставку, и на улицах в ожидании измаильского героя собралось много народу. Среди толпы были и потемкинские свитские офицеры, которые, несмотря на недовольство светлейшего, не могли устоять перед соблазном. Один Демидов пребывал в штабе на дежурстве, томясь нетерпением.

«Неужели мне доведется увидеть Суворова?» — взволнованно подумал адъютант, и сердце его наполнилось хорошим, теплым

чувством. Хоть он и был всегда признателен Потемкину за его покровительство и доброе отношение, но сейчас Демидова охватило общее патриотическое чувство.

«Такими людьми сильна наша Россия!» — с гордостью думал он, следя тревожным взглядом за князем, который большими шагами расхаживал по комнате.

Во всей могучей фигуре Потемкина, в повороте его головы с волнистыми темно-русыми волосами было много привлекательного. «Сколько нежных женских рук ласкало эту умную голову!» — с завистью подумал молодой адъютант.

Однако князь был мрачен. Долго и безмолвно он расхаживал по комнате. Полное лицо его постепенно раздумянилось...

В это время на улице раздались крики. Они возникли где-то далеко и с каждым мгновением нарастали. Как шум прибора, человеческие голоса катились к ставке.

Демидов подбежал к окну, сердце у него дрогнуло. По улице, среди толп народа, катилась тележка, запряженная одноконь. Седоусый высокий солдат на облучке правил иноходцем, а позади, на охапке соломы, покрытой простым рядном, сидел маленький, тщедушный военный, укрывшись стареньким офицерским плащом. Николай Никитич напряг все свое зрение, с любопытством разглядывая, что творится на улице. Ожидаемого блистательного кортежа за тележкой не виднелось.

«Кому же тогда так восторженно кричит народ?» — удивился адъютант и еще более поразился, когда Потемкин вдруг забеспокоился и, старательно сохраняя свою величественность, медленно выплыл на крылечко. Демидов поторопился за ним.

Тележка остановилась перед штабом, из нее легки и проворно выскочил сухонький подвижной военный с маленьким личиком. Длинные седые волосы выбивались из-под порыжевшей треуголки. Комки жидкой грязи забрызгали высокие сапоги и края плаща. Старик устремился к Потемкину.

Светлейший восторженно облобызался с прибывшим и, нежно взяв его под руку, повел в особняк.

«Суворов! — догадался Демидов, и все внутри у него затрепетало. — Так вот каков он, прославленный полководец!»

Дабы не лезть на глаза гостю, адъютант держался поодаль.

Потемкин и Суворов вошли в покои. Добродушно сияющий князь, наклонясь к Суворову, покровительственно осведомился у него:

— Чем я могу наградить ваши заслуги, граф Александр Васильевич?

Демидов увидел, как Суворов внезапно вспыхнул и горделиво поднял голову. Покровительственный тон вельможи, видимо, резнул по сердцу храброго воина. Он не стерпел обиды и раздраженно ответил Потемкину:

— Ничем, князь! Я не купец и не торговаться сюда приехал: кроме бога и государыни, меня никто наградить не может!

Ответ пришелся не по нутру светлейшему, он побледнел и отвернулся от Суворова. Медленно, тяжелой поступью главнокомандующий пошел в зал. Гость последовал за ним. Здесь, в светлом зале, Суворов вытянулся по-строевому и подал Потемкину рапорт. Князь с мрачным видом принял его. Не обмолвясь больше ни единым словом, они на виду всей свиты походили по залу, затем холодно раскланялись и разошлись.

Суворов сел в свою тележку и, запахнувшись в плащ, крикнул солдату:

— Гони!

Демидову стало не по себе. Того ли он ожидал от светлейшего? Боясь сдвинуться с места, чтобы не навлечь на себя гнев Потемкина, он стоял, опустив глаза в землю. А когда Потемкин удалился во внутренние покои, Николай Никитич выбежал на крылечко, но на дороге уже было пустынно. Вдали, в конце улицы, медленно затихал рокот толпы...

Спустя несколько дней Суворов пустился в дальнюю дорогу, в Санкт-Петербург. Демидов знал, что потемкинские курьеры давно опередили его, всюду разнося хвалебную весть о величии и талантах князя Таврического и недостойно умалчивая о подлинном герое.

Курьер из ставки вслед полководцу увозил представление о награде его за подвиг под Измаилом. Потемкин просил государыню выбить медаль в честь Суворова и отличить его чином гвардии подполковника, или генерал-адъютанта.

Извещая государыню об измаильской победе, Потемкин просил у нее разрешения прибыть в столицу. Втайне князя сильно беспокоило быстрое и неожиданное возвышение нового фаворита императрицы — Платона Зубова. Уже давно шпионы светлейшего слали одну за другой тревожные вести. В то время как он находился на юге, государыня Екатерина Алексеевна обратила свое внимание на двадцатидвухлетнего прапорщика гвардии Платона Зубова, служившего в Царском Селе.

Этот смуглый, хрупкий, небольшого роста офицерик неожиданно обнаружил большое умение и способности в овладении сердцем шестидесятилетней государыни. Он очень тонко сыграл роль влюбленного и сумел найти сообщников среди придворных императрицы. Постоянные наперсницы Екатерины — Перекусихина и Нарышкина — сумели направить ее внимание на новый предмет обожания.

Вскоре Потемкина расстроили откровенные признания его покровительницы, которая в письмах не могла скрыть своей радости от того, что для нее опять пришла весна.

«Я снова вернулась к жизни, как муха, которая уснула от холода... Я снова весела и чувствую себя хорошо!» — писала она светлейшему.

Все чаще и чаще в письмах к Потемкину она намекала на очаровательную воспитанность и лучшие качества своего «ребенка» и «маленького смугляка».

Между тем, по сообщению шпионов, этот «маленький смугляк» и «милый ребенок» быстро занял высокое положение флигель-адъютанта императрицы, не менее быстро вошел во вкус придворной жизни и стал прибираться к рукам стареющую государыню. Чтобы обезопасить себя от Потемкина, он сумел устроить своего брата, Николая Зубова, в армию, фактически сделать его соглядатаем, зорко отслеживающим все недостатки и промахи главнокомандующего Потемкина.

По всему ходу событий светлейший догадывался, что влияние его соперника отражалось на многих решениях государыни. Шпионы доносили Потемкину и о том, что прибывший в Санкт-Петербург Суворов видится с Зубовым и, весьма возможно, строит козни. Однако те же доносчики сообщали князю, что, несмотря на старания нового фаворита, государыня, предупрежденная светлейшим, приняла

Суворова весьма холодно: она избегала приглашать его на дворцовые встречи, а на приемах и вовсе не замечала полководца. Все вышло, как хотелось Потемкину. Вместо ожидаемого фельдмаршальского жезла Александру Васильевичу Суворову пожаловали всего-навсего чин подполковника гвардии Преображенского полка...

Награда не щедрая за неслыханный подвиг. Подполковников гвардии имелось уже одиннадцать, и Суворов, таким образом, был самый младший из них. Горько было это сознавать прославленному полководцу!

Двадцать второго января 1791 года на свое письмо Потемкин получил от государыни весьма благосклонный ответ.

«Когда приедешь, тогда переговорим изустно обо всем, — писала Екатерина Алексеевна, — ожидаю тебя на масленицу, но в какое время бы ни приехал, увижу тебя с равным удовольствием...»

С большой пышностью Потемкин отправился в столицу. Князь ехал в раззолоченной карете, сопровождаемый огромной свитой. Демидов, привыкший к многим причудам светлейшего, на сей раз был просто подавлен величием Потемкина. Никогда так надменно не выглядел он, как в эти дни. По приказу государыни навстречу светлейшему выехал граф Безбородко, который зорко следил за тем, чтобы Потемкину всюду оказывалась достойная встреча.

Стоял теплый февраль. Пышный кортеж медленно двигался на север. Во встречных городах и селениях весь день без умолку звонили колокола. Градоправители в расшитых золотом мундирах и пышных париках встречали князя, стоя навытяжку, льстиво пожирая его глазами. Потемкин молча проезжал мимо них.

С наступлением сумерек на дорогах жгли костры и освещали путь факелами.

Светлейший был равнодушен ко всему. Взглядом он приказал адъютанту держаться поблизости, и стоило только Николаю Никитичу на минутку отлучиться, Потемкин уже спрашивал:

— Где Демидов?

Правитель канцелярии Попов, сопровождавший князя, упрашивал:

— Ваша светлость, надо дела выслушать!

Потемкин отмахивался:

— Отстань! Дела потом!..

За Харьковым теплые солнечные дни сменились метелями и морозами. Князь закутался в теплую соболью шубу и дремал. Ему изрядно наскучили торжественные встречи, приемы и колокольный звон.

Задолго до Москвы Потемкина стали встречать выехавшие навстречу вельможи первопрестольной. Под Серпуховом князь вдруг обрядился в полный парадный мундир, украшенный бриллиантовыми звездами. В Москве князя ожидала торжественная встреча. Московская знать, во главе с генерал-губернатором, в малиновых кафтанах в пышных париках, чинно ожидала светлейшего. Неподалеку были выстроены фрунтом отборные лошади, приготовленные для продолжения пути...

Потемкин, не выходя из кареты, раскланялся с блестящим обществом, и экипажи вереницей потянулись к Белокаменной...

Когда поезд князя показался у триумфальных ворот, Демидов увидел среди толпы своих московских дворовых и взволновался: выглядели они жалко и приниженно.

«Прохвост, истинный прохвост! — мысленно ругал Николай Никитич своего управителя московской конторы. — К такому дню не постарался приличия ради нарядить челядь!»

Все в нем кипело от досады, но теперь было не до этого. Пышная свита окружила карету Потемкина, и он, как сатрап, вступил в древнюю русскую столицу.

Только что князь успел занять отведенные ему покои, как приемная немедленно заполнилась чающими увидеть его. Среди них адъютант Демидов отличил седого красавца — бывшего гетмана Кирилла Разумовского. Николай Никитич поспешил уведомить о том князя. Вопреки его ожиданиям, Потемкин сбросил мундир, напялил шлафрок и мягкие ночные туфли.

— Зови! — повелел князь, выслушав Демидова.

— Ваша светлость, это невозможно, вы так сомнительно одеты! — заикнулся было адъютант.

Потемкин вскочил, запахнул полы шлафрока и пригрозил Демидову:

— Не учи! Бит будешь!

Адъютант покраснел и поспешил в приемную.

Разумовский в пышном напудренном парике, в шелковом камзоле, сияющий звездами, степенно вступил в покои Потемкина. Высокий, широкоплечий, он стоял перед князем, и благожелательная улыбка озаряла его круглое лицо. Гость сделал вид, что не замечает неряшливости Потемкина. Воздав хвалу его талантам, гетман поднялся и, учтиво раскланявшись с хозяином, хотел покинуть покои. Однако князь панибратски положил ему на плечи руки и с душевностью спросил:

— Чаю, что Кирилл Григорьевич даст бал по случаю моего приезда в первопрестольную?

Разумовский почтительно склонил голову, и в этот миг от пламени свечей в звездах гетмана серебристым дождем сверкнули алмазы.

— Будет по-вашему. Завтра прошу на бал!

Легкой походкой он вышел из зала. Потемкин презрительно посмотрел ему вслед:

— Видал, Демидов? Проглотил без горчинки!

Рано похвалился Потемкин своим успехом: на другой день ему пришлось раскаяться в этом. В своем старинном особняке, осиянном огнями хрустальных люстр, Разумовский дал званый обед. Потемкин поспешил в гости. На западе пылали отсветы вечерней зари, когда карета светлейшего подкатила к особняку гетмана. Адъютант распахнул дверь экипажа, и пышный, величественный князь Тавриды, подавляющий все и всех, вступил в чертоги Разумовского. В сопровождении адъютантов и многочисленной свиты он медленно, с великим достоинством поднимался вверх по широкой лестнице, устланной мягким ковром. Самодовольная улыбка блуждала на румяном лице Потемкина, но в это мгновение светлейший поднял глаза и кровь отхлынула от его лица.

— Демидов, что это? — указал он глазами вверх.

Адъютант устремил свой взор на площадку, утопавшую в зелени. Там в отражении зеркал высился гетман Разумовский с распростертыми объятиями в ожидании гостя.

Потемкин прикусил губы в досаде: Разумовский в отместку принимал князя в шлафроке и ночном колпаке. На мгновение светлейший задержался и сквозь зубы свирепо процедил:

— Свинопас!

Все же, сохраняя чрезвычайно приветливую улыбку, он поднялся вверх и облобызался с хозяином пира.

Демидов весь вечер не отходил от Потемкина, опасаясь вспышки его гнева. Однако князь присмирел, задумался и, пробыв за столом приличное время, отбыл домой.

Москва погрузилась в ночной мрак. Быстро несли кони мягко покачивающуюся карету. Сквозь дремоту Потемкин вымолвил:

— Отменный свинопас!

Демидов осторожно взглянул на князя и удовлетворенно подумал: «А что, нашла коса на камень!»

Ему было приятно сознавать, что нашелся человек, у которого хватило духу отплатить князю за бестактность. Адъютант молчал, полагая, что Потемкин укачался и спит, но тот внезапно открыл глаз и с укором посмотрел на Демидова:

— Что же ты молчишь?

— Ваша светлость, не в обиду будь вам сказано: долг платежом красен! — смело сказал Демидов.

— Это справедливо! — согласился Потемкин и вдруг весело рассмеялся. — Сей хохол хитер и умен, а таких я люблю...

Князю за долгую дорогу надоели лесть и низкопоклонство. Сейчас ему и на самом деле были приятны бесстрашно высказанные подлинные чувства. Он оживился и, повеселев, крикнул:

— Живее, живее из Москвы! Скорее в Санкт-Петербург! Там предстоит сражение поважнее Измаила! — многозначительно закончил он и снова закрыл глаз, не противясь больше дремоте, овладевшей его рыхлым телом. Так и промолчал он до самого дома...

Там Потемкина давно уже поджидал фельдъегерь из Санкт-Петербурга с письмом от государыни. Он поспешно вскрыл пакет, глаз его вспыхнул от радостной вести. Екатерина Алексеевна писала:

«Когда изволишь писать: дай боже, чтоб вы меня не забыли, — то сие называется у нас писать пустошь: не токмо помню часто, но и жалею, и часто тужу, что ты не здесь, ибо без тебя я как без рук...»

Государыня не лгала, когда писала это письмо Потемкину. Она и в самом деле ждала его в столицу. Государственные дела крайне осложнились: Турция, несмотря на поражения, все еще не просила мира, Пруссия была настроена враждебно против России, из Франции шли страшные вести. Екатерине Алексеевне не с кем было

посоветоваться. Платон Зубов был отменный любовник, но плохо смыслил в политических делах. Окружающие строили козни, были ленивы и не имели размаха.

В ожидании приезда Потемкина государыня нетерпеливо жаловалась придворным:

— Боже мой, как мне сейчас нужен князь!

Она жадно ловила каждый слух о Потемкине и однажды, разоткровенничавшись, спросила Захара Зотова:

— Скажи, что слышно о князе в городе? Любят ли его?

Смотря в глаза государыне, слуга откровенно признался ей:

— Князя любят один бог да вы, ваше величество!

Ответ Захара расстроил государыню, но она, сдержав себя, стала хвалить Потемкина...

Обо всем этом светлейший узнал от своих людей в тот же вечер. Вслед за фельдъегерем в Москву примчались вызванные Потемкиным его агенты из Санкт-Петербурга. Закрывшись с ними в кабинете, он узнал от них все подробности. Из доклада прибывших Потемкин понял, что он не забыт и нужен государыне. Веселый и полный энергии, он утром выбыл из Москвы.

В Санкт-Петербурге Потемкина ждала еще более пышная встреча. На много верст от столицы по Московскому шоссе с треском горели смоляные бочки, ярким пламенем освещая путь светлейшему. Фельдъегери на полном аллюре носились взад и вперед по дороге, следя за приближением Потемкина.

У заставы поезд князя Таврического ждало феерическое зрелище. Санкт-Петербург был ярко иллюминирован, толпы народу наполнили улицы. Сидя в раззолоченной карете, светлейший махнул платком адъютанту. Демидов только и ждал сигнала: мгновение — и многочисленная блестящая свита окружила карету. Казалось, огромное сияющее облако, сверкающее всеми переливами радуги, спустилось на княжеский поезд. Кругом рысили всадники в разноцветных роскошных мундирах — гусары, латники, казаки, черкесы и гайдуки. Впереди экипажа побежали скороходы в красных кафтанах и понеслись попарно вслед за огромным арапом, несшим длинную золотую булаву. Раздались крики:

— Пади! Пади!

На верхах Петропавловской крепости вдруг раскатился громовой пушечный выстрел. Толпы народу заколыхались, как море в бурю. Между живыми человеческими стенами показался пышный кортеж: Потемкин вступил в столицу.

Царица с нетерпением ждала старого фаворита. Зимний сверкал бесчисленными огнями, лучшие покои в Эрмитаже были подготовлены по указу самой государыни и ждали князя.

Карета остановилась у главного дворцового подъезда. Поддерживаемый адъютантом, Потемкин показался в подъезде. Медленно переступая, блистательный князь Тавриды величественно прошел между рядами придворной знати, живой стеной протянувшимися от подъезда до отведенных Потемкину покоев.

За князем двигалась свита, наряженная в парадную форму. Но всех и все затмевал Потемкин...

В этот же вечер государыня первой пожаловала к нему. Милости одна за другой посыпались на князя. Императрица наградила его за взятие Измаила фельдмаршалским мундиром, обшитым бриллиантами. Мундир этот стоил двести тысяч рублей. Сенату императрица приказала написать особую грамоту с описанием заслуг светлейшего. В Царском Селе приступили к сооружению обелиска в честь победы Потемкина.

О Суворове в эти дни никто не вспомнил. Расстроенный незаслуженным оскорблением, он проводил время в одиночестве, нигде не показываясь.

Николай Никитич с нетерпением ожидал, когда окончится торжественная встреча. Как только ему удалось вырваться, он поспешил на Мойку, в дедовский особняк. Все бушевало в нем. Озлобленный, с опустошенным кошельком, он ворвался в неурочный час в свою санкт-петербургскую контору. Управитель Данилов со своей дородной супругой сидели за столом, насыщаясь обильной трапезой. При неожиданном появлении в горнице Николая Никитича он поперхнулся.

— Хозя-и-и-н! — откашливаясь, изумленно произнес он.

Демидов не дал опомниться управителю. Он подбежал к нему, без предисловий выволок из-за стола и, схватив за бороду, стал озлобленно дергать и выговаривать:

— Так вот как ты, холопья душа, вздумал над хозяином измываться! На копейки посадил и думаешь, гвардии офицеру сие пристало!

— Батюшка, выслушай! — взмолился Данилов и попытался улизнуть от расправы, но возмужавший Николай Никитич с большой силой сгреб его за шиворот и поставил перед собой.

— Говори, варвар, почему задерживал деньги и слал такие крохи, чем в большой срам меня поставил?

— Батюшка, Николай Никитич, да нешто я хозяин ваших капиталов? Опекуны всему кладут предел! Да и доходишки все ушли на ваши забавы! — пытался оправдаться Данилов.

— Врешь, каналья! — заорал Демидов. — Заводы на полном ходу: день и ночь плавят железо, и вдруг нет денег! — Он ожесточенно потряс управителя.

Данилов уловил минутку и вырвался, юркнув под руку хозяина.

— Дарья! — обиженно закричал он жене. — Тащи книги! Пусть господин сам узрит, куда ушли-укатились рублики!

Пыхтя и охая, перепуганная жена выбралась из-за стола и, подплыв к конторке, вытащила толстые шнуровые книги. Не успела она и шагу сделать со своей ношей, как Демидов орлом налетел на бабу, выбил из рук гроссбухи и стал топтать их.

— Караул, убивают! — заголосила баба.

— Молчи! Давай, сатана, деньги, а то худо будет! — пригрозил Демидов. Вся кровь ходуном ходила в нем. Распаленный гневом, он с кулаками пошел на Данилова. Выпучив от страха глаза, управитель торопливо полез в боковой карман камзола.

— Все тут, что приберег на черный день! Мое кровное... Берите, господин! Ох, господи! — взмолился он и трусливо протянул Демидову пачку ассигнаций.

Адъютант схватил их и, все еще ругаясь, выбежал из конторы:

— Хапуга! Вор! Его кровные — кто поверит сему? Мои же холопы на заводах старались для меня, хозяина!

Он выбежал в людскую и озорно закричал:

— Фамильную карету мне!

Словно ветром вымело слуг во двор. Демидов подбежал к венецианскому окну. С крыши, сверкая, падала звонкая капель.

Пригревало солнце. На озаренную площадку вынеслись рысистые кони, запряженные в карету.

Николай Никитич поторопился во двор. Однако на крыльце он неожиданно что-то вспомнил и вернулся.

— Дядьку Филатку ко мне! Где запропастился, сукин кот? — закричал он подобревшим голосом.

Перепуганный насмерть Данилов, вытирая холодный пот, печально ответил:

— Нету Филатки, господин. С того времени нету Упокой, господи его грешную душу в царствии небесном...

— Отчего поторопился нерадивый дьячок на тот свет?

— И, батюшка, не с добра в петлю полез. Как узнал, что каторгой пахнет, то и порешил себя с досады!

— Дурак! — отрезал Демидов. — Разве жить надоело? Гляди, как хорошо и радостно дышится!

А на самом деле Демидову вдруг стало непонятно тоскливо: ушел из жизни Филатка, верный раб, и с его смертью отлетела юность.

И на сей раз, однако, не раскаялся Николай Никитич в своей подлости. Он спустился с крыльца, неторопливо уселся в карету и крикнул кучеру:

— В Семеновский полк!

Мысли перебежали к Свистунову.

«Как он теперь живет? Поди, по-прежнему повесничает!» — с волнением вспомнил он друга-однополчанина.

Демидов покосился на зеркало, которое блестело в карете. В нем отразился румяный, статный гвардеец. Широкоплеч, крепок, и на пухлой губе пробиваются черные усики.

«Хорош! — похвалил он себя. — Вот удивится Свистунов! Ах, друг мой...»

Мимо кареты мелькали знакомые улицы. Легко покачиваясь, Николай Никитич понемногу успокоился, а нащупав пухлую пачку ассигнации, и совсем повеселел.

«Ну, держись, братец! Непременно загуляем и в „Красный кабачок“ завернем!..»

Однако Демидову не довелось увидеться со Свистуновым: квартира поручика была занята незнакомым офицером.

— А где же гвардии поручик Свистунов? — разочарованно справился Николай Никитич.

— Свистунов? Хватились, батенька! — удивленно поднял плечи семеновец. — Да его из Санкт-Петербурга по высочайшему повелению выслали в собственное имение. В Орловщину!

— Жаль! Что за прегрешения?

Офицер покрутил ус, озорно улыбнулся.

— Известно, за что, за гвардейский грех! Садитесь, расскажу! — предложил он и придвинул кресло.

Демидов уютно устроился и приготовился слушать.

— Свистунов допустил неловкое волокитство, со всяким из нас бывало это, — начал офицер. — Однако здесь особая статья: он увлекся женою аристократа и соблазнил ее. На сей раз рогоносец-муж подвернулся решительный. Сам не отличаясь постоянством, он как-то на рассвете вернулся с попойки и в спальне своей жены застал блистательного гвардейского офицера без мундира и лосин. На ковре валялись раскиданные второпях сапоги со шпорами. Что после этого, сударь, оставалось делать? — улыбнулся в усы офицер. — Да-с!

— Замять историю! — подсказал Демидов.

— Э, батенька, так можно рассуждать только на чужой счет. Коснись сия история вас, не такой бы молебен затеяли! — весело посмотрел на Демидова семеновец. — В данном случае вышло иначе. Оскорбленный муж разбудил грешников и с укоризной обратился к поручику: «Нехорошо-с, милостивый государь, забираться в чужой дом и в чужую постель! Извольте подойти сюда! — гневно поднял он с постели господина Свистунова. — Взгляните, сударь! — указал он вниз на тротуар. — Сию минуту вы находитесь на третьем этаже. Это не высоко, но и не низко. Перед вами, господин поручик, окно, в которое вы должны немедленно уйти в том самом виде, в каком я вас застал. В противном случае, милостивый государь, вы будете жестоко высечены!..»

— Как он смел?! — вспыхнул Демидов. — Свистунов — столбовой дворянин!

Офицер рассмеялся.

— В таких случаях, сударь, в званиях и сословиях не разбираются! «Что миру, то и бабину сыну», — сказывается в русской пословице. Так вот-с, вельможа схватил колокольчик и предложил:

«Итак, сударь, вам дается минута на размышление. Опоздаете — бесчестие совершится без пощады!» Что оставалось делать? Поручик подошел к окну и, недолго думая, совершил прыжок. В одном белье, со сломанной ногой, его подобрала на улице полиция, а в полдень весь Санкт-Петербург, сударь, уже знал о скандальном происшествии. Вслед за этим последовало высочайшее повеление Свистунову выбыть в Орловскую губернию и настрого наказано без разрешения не покидать ее пределов... Вот-с вам, сударь, история Свистунова. А жаль, превосходный был офицер!..

Семеновец вздохнул и сказал разочарованно:

— Судите, государь мой, возможно ли гвардии офицеру жить без любви? Никак не допустимо! Любовь и вино — утеха в жизни!

Демидов промолчал, учтиво попрощался и уехал с досадой на сердце.

«Ах, Свистунов, Свистунов, куда тебя занесло! Удастся ли нам когда свидеться?» — огорченно подумал он и безнадежно махнул рукой.

Хотя в апартаментах флигель-адъютанта императрицы в Зимнем дворце прочно обосновался новый фаворит Платон Зубов, государыня не забывала Потемкина. В первые дни его пребывания в столице она часто оставалась с ним с глазу на глаз, советуясь о политических делах. Потемкин при этом проявлял острый ум и огромную осведомленность. Он был в курсе всех политических событий, которые имели место в Европе. Его агенты регулярно и своевременно доставляли подробные сведения о ходе революционных событий во Франции. Сразу же по прибытии в столицу он получил книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и, несмотря на свою лень, внимательно прочел ее.

«Велика гроза, — мрачно подумал он. — Но Россию пока она минует. Однако сие обстоятельство пригодно мне в борьбе с розовощекиим юнцом Зубовым!» Он твердо решил припугнуть Екатерину тревожными фактами, чтобы сделаться для нее необходимым.

В интимной беседе Потемкин сказал и без того встревоженной государыне:

— Матушка-царица, кажись, по всем королевствам разбушевалось людское море. Когда только оно в берега войдет, господь один ведает! Боюсь, ох, и сильно боюсь, наша благодетельница, как бы сия стихия не перехлестнула к нам... Вот сия книжица, — указал он взором на: сочинение Радищева, — есть ядро, которое, попав в пороховой погреб, взорвет все кругом!

На лице императрицы изобразился ужас.

— Того не может случиться! — воскликнула она. — Сей возмутитель спокойствия нашего отослан в Илимский острог и, надо полагать, уже на пути к оному!

— Эх, дорогая голубушка наша, он-то сослан, а семена, засеянные им, могут вдруг обильно взойти! — с озабоченностью вымолвил Потемкин.

— Сие невозможно! — на своем настаивала царица.

Вперив голубой пронзительный глаз в государыню, князь укоризненно покачал головой.

— Мудрость говорит вашими устами, ваше величество. Ну, а если, матушка, невозможное да станет сбыточным? Не мыслили мы о Пугачеве, да встал он со своими мужиками да с заводскими. Ныне Радищев этот опаснее. Просвещенный разум простого человека может...

Он не договорил и многозначительно посмотрел на царицу. Екатерина умоляюще спросила:

— Что же нам делать, Гришенька?

Потемкин молчал. Он склонил голову, чело его омрачилось.

— Ваше величество, — после раздумья обратился он к императрице. — В сем деле нужна твердость. А где ее искать? Только мы, старые твои холопы, готовы на все. Подумаю, матушка, как отвести беды от государства Российского...

Царица верила в государственные способности князя, дорожила им, и сейчас, при всех своих женских слабостях и увлечении Зубовым, она отдавала должное своему старому фавориту.

— Я надеюсь на тебя, Гришенька, — сказала она ласково. — Не забуду твоего радения обо мне, бедной...

С этого дня между Потемкиным и государыней вновь установилось полное согласие. Все дни они, закрывшись на половине князя, совещались. Демидов заметил, как помолодел и подтянулся

Потемкин. В эти дни на лице его лежали безмятежность, ясность и благодущие. И как было не радоваться князю, когда на него все время сыпались щедроты и милости престарелой царицы! Она пожелала иметь мраморный бюст князя. Только что скульптором Федотом Шубиным был закончен портрет императрицы, поражавший знатоков искусств тонкостью и изяществом творения художника. Федот Шубин обладал внимательным и верным глазом гения, и его умелая рука с нежною заботливостью моделировала поверхность мрамора, придавая ему желательные формы и линии. Холодный камень под его рукой превращался в живое лицо, в плавный жест и в потоки ниспадающих складок.

По просьбе Потемкина адъютант Демидов поспешил за прославленным скульптором. Шубин в эту пору почитался в моде: об его портретах говорили во всем Петербурге, поражаясь их сходству с оригиналом и тонкой красоте. Камень под его резцом становился невесомым и раскрывался дивным творением.

Демидов поехал на Пятую линию Васильевского острова, отыскал деревянный домишко, на котором значилось: «Сей дом № 176 принадлежит господину надворному советнику и академику Федоту Ивановичу Шубину». Увы, он не застал скульптора в мастерской, где среди мраморных бюстов на низкой скамеечке сидела тоненькая, с милым лицом, жена скульптора Вера Филипповна и с благоговением рассматривала работу мужа.

При появлении адъютанта она словно очнулась от сна.

— Он в Мраморном дворце, — ответила она на вопрос Демидова.

Ему не хотелось уходить из мастерской, но она поторопила его:

— Поезжайте, иначе можете не застать его!

Николай Никитич повернулся и поспешил к выезду.

В обширном дворце, только что отделанном Ринальди, Шубин устанавливал свои бюсты. Он внимательно выслушал просьбу Демидова и согласился немедленно ехать. Адъютант почтительно пропустил его вперед и усадил в саночки. Шубин прикрылся от мороза воротником. Его простое русское лицо понравилось Николаю Никитичу.

«Так вот он, прославленный ваятель!» — с любопытством рассматривая художника, подумал Демидов.

Столько интересных рассказов он слышал от матери и отца об их знакомстве за рубежом с молодым скульптором. От воспоминаний о матери на душе потеплело.

Они мчались по петербургским улицам в легких санках, в лица бил свежий ветер. Низкое северное солнце повисло в морозной сизой дымке над улицей и прохожими, сыпалась нежная морозная пыль. Над домами курчавились синие витки дыма. Кони неслись птицей среди сугробов. Миновали одетые инеем бульвары. Петербург в этот вечерний час предстал перед ними чудесным видением, весь украшенный и затканый серебром инея.

— Диво! Волшебство! — повернувшись к потемкинскому адъютанту, восторженно вымолвил Шубин и откинул воротник.

Мимо мелькали собольи и хорьковые шубы, папахи, обгоняли всадники. На лету запечатлелся взгляд русской красавицы, жгучей искрой мелькнувший из-под опущенных инеем ресниц. Как хороши и свежи здоровые лица, разруганные морозом! Слово скупца, Шубин жадно все схватывал и прятал в памяти.

Демидов не утерпел и прервал наблюдения художника:

— Вы меня не видели и не знаете, а в нашей семье вас обожали!

— Кто же вы? — спросил Шубин.

— Демидов, сын Никиты Акинфиевича и Александры Евтихиевны, портреты которых вы изволили высечь из мрамора.

Глаза Шубина озарились внутренним светом.

— Счастлиное было время! — со вздохом сказал он. — Хоть и трудно жилось, но младость краше всего!.. А где Андрейка Воробышкин? Знали такого?

Николай Никитич отрицательно покачал головой:

— Не знавал.

— Жаль, сударь! Очень жаль! — Глаза скульптора потухли. Он с легкой неприязнью посмотрел на гвардейца. — Великий талант был и, чаю, угас безвременно! Куда же подевался он?

— Не знаю! — повторил Демидов.

По приезде во дворец адъютант провел его в обширный зал с навощенным паркетом. Огни хрустальных люстр ярко освещали глубокое кресло, поставленное посредине.

— Вот здесь и работать! — учтиво поклонился Демидов, указывая на кресло.

В эту минуту массивная дверь распахнулась, и вошел Потемкин.

Шубин приветливо повернулся к нему, с восхищением разглядывая величественную фигуру светлейшего и его лицо. Он забыл даже раскланяться с князем.

— Ты можешь нас оставить, Демидов! — с улыбкой сказал своему адъютанту Потемкин.

Что происходило за дверью, какое чародейство, — так и не удалось увидеть Николаю Никитичу. Один лишь раз ему довелось заглянуть в полуоткрытую дверь, и он увидел, с какой нервной быстротой работал Шубин. Седой, с тонкими морщинками на лице, он улыбался глине, которую лепил. Его длинные костлявые пальцы упруго мяли податливый влажный комок. Бог знает, что мелькало у него в эту минуту в мыслях! Из-под его резца выступали контуры знакомого лица.

Потемкин поймал удивленный взгляд адъютанта и поманил его перстом, на котором синими искрами сверкнул драгоценный камень:

— Поди сюда, Демидов!

С бьющимся сердцем Николай Никитич вошел в комнату.

— Видишь? — показал князь на бюст.

Демидов не отозвался, застыв в немом восхищении.

Сияющее, со слегка презрительной усмешкой, на него смотрело властное лицо Потемкина. В быстром повороте гордо вскинутой головы, в надменном лице, в тонком изгибе губ и в свободных складках смело наброшенного плаща чувствовались уверенность и широта жеста большого екатерининского вельможи.

— Чудо! — не сдержавшись, вскрикнул Демидов.

— Чудо! — повторил Потемкин, с улыбкой глядя на свой портрет. — А не пора ли, Федот Иванович, сегодня кончать?

— Пора, — согласился Шубин. — Я устал, и вы притомились.

Он легко, без заискивания, поклонился князю и, прикрыв холстом свое творение, ушел мыть руки...

Когда художник медленно, в раздумье, спускался с дворцовой лестницы, его нагнал адъютант. Он горячо пожал скульптору руку:

— Вы кудесник!

Шубин на миг задержался.

— Ласкаю себя надеждой, что передал потомству правду о сем человеке! — скупое сказал он и замолчал.

Бюст, сотворенный резцом Федота Ивановича Шубина, весьма понравился государыне. При виде скульптуры глаза императрицы вспыхнули молодым блеском.

— Очаровательно! Дай боже, чтобы его светлость всегда был в таком состоянии!

Апрель выпал солнечный, прозрачный. На пасхальной неделе прошумели талые воды, впитались в землю, поднялись туманами и рассеялись в голубых вешних просторах. В парках, садах и на Царицыном лугу под жарким солнцем из влажной земли продирались на свет зеленые иголки травы, разворачивались и пускались в рост. Только по каналам да под вековыми липами Летнего сада укрылись от солнца бугорки ноздреватого, грязного снега. Над городом проносились на север стаи перелетных птиц. Весенняя пора будила в Демидове приятные ожидания. Он с нетерпением следил за успехами светлейшего: с ним были связаны все чаяния честолюбивого адъютанта. Николай Никитич не ошибся в своих предположениях. Государыня не забыла демидовского потомка; по представлению Потемкина Демидову пожаловали звание генерал-аудитора-лейтенанта.

Он еще спал глубоким сном, а в прихожей давно уже ждал его пробуждения курьер с радостным извещением от князя. Солнце только-только послало первые лучи, озарившие верхушку старой дуплистей березы, стоявшей под окном, когда у постели хозяина появился сиявший Орелка. Одним махом он распахнул шторы и весело оповестил:

— Ну, слава богу, радостный денек начался!

Однако Демидов не шевельнулся, сладко посапывая. Орелка принялся чихать, кашлять, а Николай Никитич все еще не открывал глаз. Тогда холоп, скрипя сапогами, подошел к кровати и стал тихонько тормошить барина за плечо.

— Просыпайтесь, господин! День пришел, принес радости.хлопот у нас сегодня ужась как много!

Орелка хитрил перед барином. Он знал, что по утрам у хозяина единственная забота объехать ростовщиков и получить под вексель денег. Большие суммы раздобывал Николай Никитич, но червонцы в

его руках таяли, как вешний снег. Орелка удивлялся: «Много ли человеку нужно: набить пузо хлебом, вволю выспаться, ну, там, с бабой позабавиться, вот и все! А у нашего господина золотые лобанчики уносит из кисы, как листья в осеннюю непогодь! Поди ж ты, какая ненасытная утроба у столичных прелестниц! И не наполнишь и не нарадуешь их!»

Демидов в самом деле тратил огромные суммы. Он уже давно потерял счет векселям. Выдавая их, он лишь предупреждал кредиторов:

— К предъявлению в день моего совершеннолетия!

Дата выдачи ссуды ростовщиком предусмотрительно не проставлялась, чтобы избежать скандала. Однако иногда кредиторы, перепродав вексель другому хапуге, жестоко подводили расточительного потемкинского адъютанта. Новые владельцы векселей бесцеремонно являлись в Санкт-Петербургскую контору и предъявляли их Данилову.

Управитель от ужаса хватался за голову, бегал по конторе, топал, кричал:

— Караул, грабят! Рады младеню, подчистую разорят!

Каждое утро Орелка прислушивался к голосам в конторе. Заслышав крики Данилова, он будил господина:

— Теперь непременно подниматься надо! Наш казначей разорался, стало быть сюда скоро пожалует. Вставайте, господин, да уезжайте от пустых словес! Ишь ты, кричит, как боров недорезанный. Орет, подумаешь, будто его самого разоряют.

После такого предупреждения Демидов быстро вскакивал, проворно одевался и торопливо уезжал из дому. Сегодня наступил особый день, а Николай Никитич долго не поднимался.

«Чего тут канителиться!» — решил Орелка и заорал на весь покой:

— Батюшка, никак аспид сюда спешит!

Демидов отбросил одеяло. Сон как рукой сняло.

— Давай одеваться! — приказал он дядьке.

— Батюшка, дозвоьте «вас с генеральским чином поздравить!» — бросился к Демидову Орелка.

— Да ты что, сдурел? Откуда сие взял? — отмахнулся Николай Никитич, но дядька не уступил и распахнул дверь спальни.

— Эй, гвардия, жалуй сюда! Вот он, наш генерал! — закричал слуга.

В комнату вошел курьер и вручил пакет. Демидов дрожащими от радости руками вскрыл его.

— Орелка! Эй, кто там, чарку водки сему вестнику! — весело закричал он. — Да рубль награды!

— И, батюшка, хватился! — разочарованно развел руками холоп. — Были вчера рублики, да сплыли. Ломаного гроша ноне нет у нас за душой!

— Как! Нет денег? — рассердился Демидов. — В генералы произвели, а я без денег?! Данилова сюда!

— Гляди, как ноне распетушился, и Данилов ему нипочем! — подмигнул курьеру Орелка. — Ну-ка, служивый, пройдем со мной, чарка непременно найдется!

Он увел курьера в людскую, а через полчаса вместе с Орелкой в спальню ворвался посиневший Данилов. В расстегнутом камзоле, со съехавшим на сторону париком, он задыхался от удушья. Глаза управителя были злы, слезливы.

— Николай Никитич, нельзя больше! Никак не могу!

Демидов невинно-удивленным взором уставился на Данилова:

— Что с тобой, любезный Павел Данилович?

— Аль вы не знаете? — пуще вспылil управитель. — Еще немного, и ваши заводы, имения, домишки и все, что наживали деда и отец, все сие в трубу вылетит!

— Не понимаю, к чему сей недостойный крик и возмущение? — пожал плечами Николай Никитич. — Слышал ли ты, что ноне я пожалован государыней генерал-аудитор-лейтенантом? Резон то или не резон? Так-то ты радуешься за хозяина? Был я адъютантом, то сорт один, а ныне генерал! Подумай, дурья башка, — генерал! А генералу и жить по-иному положено. Тут расходы и всякий кошт иной!

— Поздравляю вас, господин, со столь высоким званием! — поклонился управитель и ехидно съязвил: — Так вы, батюшка, отныне и живите на генеральское жалованьишко! А то живете не по-дедовски!

— Дед и прадед мужики были, тульские оружейники. Не в пример мне, слыли они за темных людей! — вспылil Демидов. — Они в генералах не ходили!

— Верно, батюшка, они в генералах не ходили, но с царем Петром Алексеевичем за одним столом сидели. И заводилки возвели, хвала господе, на всю Россию! И вспомните, батюшка: ни отец ваш, ни дед, ни прадед никому векселей не выдавали! — не воздержась от желчи, выпалил Данилов.

— Да как ты смеешь мне указывать! — закричал Демидов. — Орелка, обряжай!

Николай Никитич оделся в мундир. Охорашиваясь перед зеркалом, он вдруг поморщился. Холоп тревожно взглянул на хозяина.

— Гляди-ка, опять сердце зашалило! Уйди ты, Данилыч, уйди подальше от греха! — вступился за хозяина Орелка.

Данилов не унимался:

— Вот и здоровьишко, глядишь, растеряли в такие годы. И заводилки наши хиреть стали! Нельзя-с так, батюшка! Хоть вы и хозяин своему добру, а управу на вас найду! — выкрикнул управитель и выбежал из комнаты.

Орелка посмотрел ему вслед и укоризненно покачал головой:

— Эх, кипяток! Ну о чем кричит? Добра ему чужого жалко, прости господи! Ну и скупердяй!

Хотя Демидов все еще хорохорился, но лицо его стало сумрачным. Чутьем он догадывался, что Данилов на этом не угомонится и, поди, пожалуется опекунам.

«А не перехватил ли я в расходах через край?» — расстроено подумал Николай Никитич. Однако новоиспеченный генерал-аудитор сейчас же отогнал эту тревожную мысль.

«Иначе и поступать нельзя! — рассудил он. — Светлейший каждый день дает куртаги да балы. Нельзя же быть худородным офицеришкой при столь блистательной особе!»

Махнув на все рукой, Николай Никитич поспешил к Потемкину. Адъютант барон Энгельгардт с завистью подумал о Демидове:

«Молод, богат и уже генерал!»

Скрывая свое недовольство и зависть, он заискивающе улыбнулся.

Везет вам, Демидов! Вас только что просили пожаловать к статс-секретарю ее императорского величества!

— Слава богу! — перекрестился Демидов и, не ожидая дальнейших похвал сослуживца, ринулся по коридорам и проходам дворца на зов Александра Васильевича Храповицкого. Доложив о себе,

он поспешно вошел в кабинет статс-секретаря государыни в надежде услышать приятное.

«Уж не пожалован ли орденом за баталию под Измаилом?» — самовлюбленно подумал он, но в ту же минуту приятная улыбка сошла с его румяного лица. Статс-секретарь не улыбнулся, по обычаю, Николаю Никитичу, не встал из-за стола, как бывало раньше. Он угрюмо кивнул на кресло и сухо вато предложил:

— Садитесь!

Несколько минут в кабинете длилось безмолвие. Не глядя на генерал-аудитора, склонившись над бумагой, Храповицкий что-то торопливо писал. Он делал вид, что слишком занят. Впервые за все встречи Николай Никитич внимательно разглядел этого высокого, худощавого придворного, весьма неприятно, но опрятно одетого. Выглядел на сей раз он строго, сугубо официально. Выдерживая Демидова, тем самым показывал ему: «Хоть ты, братец, и генерал-аудитор-лейтенант, но для меня ты мелкая сошка!»

В холодном, сдержанном приеме Николай Никитич почувствовал приближение грозы. И она пришла, без грома и молнии, самая страшная, сухая гроза, которая душит, томит и не прольется живительной каплей освежающего дождя.

Статс-секретарь положил перо, поднял холодные серые глаза на Демидова и заговорил ровным, скучным голосом:

— Господин генерал-аудитор, мы вынуждены были пригласить вас по весьма важному обстоятельству. Вам пожалованы нашей премудрой покровительницей высокое положение и звание. Это, однако, не значит, что вам предоставлено право на неблагорассудства! Весьма сомнительно стали вести себя, господин генерал-аудитор! — Глаза Храповицкого опустились, и Николай Никитич заметил на столе, среди бумаг, знакомые векселя, выданные им разным ростовщикам. Перехватив взгляд Демидова, опекун строго, внушительно сказал:

— Вы стали не по средствам щедры и расточительны!

— Ваше превосходительство, находясь при особе светлейшего, я вынужден содержать себя достойным образом, — заикнулся Демидов.

Храповицкий выждал, закрыл широкой костлявой ладонью векселя и бесстрастно вымолвил:

— Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин весьма знатен и богат, но выше всех богатств и почестей он ставит

благоволение к нему нашей венценосной покровительницы. Тянуться за сим солнцем опасно и недопустимо, господин генерал-аудитор. По праву опекуна я вынужден предупредить вас о необходимости прекращения дальнейших выдач подобных обязательств! — Он открыл векселя и, сверкнув холодными глазами, продолжал: — Подобным поведением вы разоряете заводы, а ее императорское величество заинтересовано не в упадке производств, а в дальнейшем их расширении и процветании! Пока я опекун над достоянием вашего отца, совет мой примите как непреложный закон! Нарушение сих указаний может повлечь для вас неприятные последствия! Вот и все! — Храповицкий встал, прошелся по кабинету.

Он не протянул руки Демидову и лишь учтиво поклонился, тем самым давая понять, что разговор окончен.

Унылый Николай Никитич устало вышел из кабинета статс-секретаря. Самые разноречивые чувства и мысли раздирали Демидова. Ему хотелось сейчас же отправиться на Мойку, в свою санкт-петербургскую контору, и побить управителя, но голос разума удержал его от этого. Николай Никитич вздохнул и с мрачным видом возвратился в приемную Потемкина.

Энгельгардт бросился ему навстречу.

— С чем поздравить, Демидов?

— Ни с чем! — огорченно отозвался Николай Никитич. — Был зван к опекуну по делам наследства. Вспомнив о покойном батюшке, загрустил...

Адъютант горестно опустил глаза.

— О, ваш батюшка был сказочно богат! Понимаю ваше горе, Демидов! — Слова Энгельгардта прозвучали неискренне.

Подобную фальшь Николай Никитич не впервые видел и слышал в княжеских покоях, однако он поторопился отмахнуться от неприятных мыслей, и снова им овладели честолюбие и жажда радостей.

Каждый день в княжеских покоях шли пиры. Никогда не был Потемкин так безумно расточителен, как в эту весну. Казалось, что приближается гроза и светлейший жадно пользуется последним лучом солнца. Счастливый и беспечный с виду, он являлся в покои

государыни и до колик смешил царицу умением подражать ее голосу и манерам. Обласканный ею, осыпанный бриллиантами, он на бешеных конях скакал по Невской перспективе в бархатной бекеше, подбитой тысячными соболями. В свободные часы он пиршествовал в кругу знатнейших и строил козни против счастливого соперника. Однако интрига светлейшего против Зубова не имела успеха. Флигель-адъютант императрицы оказался сильным и лукавым врагом. С Потемкиным он обращался любезно и предупредительно, но всегда с большим умением досаждал ему. Пристойными и вместе с тем ядовитыми шутками он выводил князя из себя, и тот, будучи несдержанным, ронял свое достоинство в глазах государыни.

Неудачи злили Потемкина, и он все больше проявлял свою неуравновешенность: то впадал в черную меланхолию и тогда запирался у себя в покоях, небритый, в одном белье или в халате, надетом на голое тело, целыми днями валялся на диване, грыз ногти от скуки и громко вздыхал. То вдруг глубокая тоска сменялась шумным весельем, и тогда князь дивил столицу своей расточительностью. Блестящий и пышно разодетый, он являлся на пиры и балы и затевал сказочные потехи, сорил деньгами, щеголял роскошью и предавался волокитству. И этого ему казалось мало: князь решил ошеломить всех, затмить роскошью доселе невиданною, тем самым унижить своего соперника и одним ударом покончить с ним. Светлейший затеял необыкновенный бал, который своей баснословной пышностью должен был поразить всех. В только что отстроенном Таврическом дворце, подаренном ему государыней, начались спешные приготовления. Демидов сбился с ног, выполняя поручения князя. Из одного края столицы в другой мчался Николай Никитич, отыскивая подрядчиков, художников, архитекторов, декораторов, ювелиров, портных, лучших поваров, пиротехников, певчих, музыкантов, наездников, лицедеев и альфрейщиков. Толпы мастеров заполнили Таврический дворец, и началась кипучая муравьиная работа. Сам Потемкин лично занимался внутренним убранством дворца и разрабатывал церемониал небывалого праздника. Со всех уголков столицы во дворец свозили груды дорогих материй, картины великих художников, кружева, зеркала, драгоценные камни, золотую и серебряную посуду. За все князь рассчитывался наличными: золотым потоком лились червонцы. Казалось, богатства светлейшего

неисчерпаемы. Для иллюминации дворца скупили в Санкт-Петербурге весь воск, и его не хватило. Тогда послали нарочного в Москву, и тот прикупил еще на семьдесят тысяч рублей воска.

Явились строители — каменщики, плотники, землекопы — и в несколько дней создали перед дворцом обширную площадь, которая простиралась до Невы. Сломали строения, снесли заборы, засыпали рвы и расставили столы и скамьи для народного гулянья. В саду проложили аллеи, построили изящные павильоны, беседки. Из речки пропустили каскады, которые с журчанием низвергались в мраморный водоем. В организации праздника Потемкин проявил тонкий художественный вкус и ошеломляющую фантазию. По его замыслу дворцовые залы и приемные превратились в феерические палаты из сказок Шехерезады. Никто и никогда не видел подобной роскоши!

Пока шли работы по украшению дворца, знатные дамы и кавалеры разыгрывали перед князем свои роли, и каждая из репетиций походила на великолепное торжество...

Понимая, сколь неуместно в такие дни пребывание в Санкт-Петербурге измайловского героя Суворова, государыня пригласила его на аудиенцию и среди отменно любезных комплиментов как бы вскользь обронила:

— Я пошлю вас, Александр Васильевич, в Финляндию!

Слова государыни поразили полководца в самое сердце. Он понял, что его удаляют, дабы не испортить потемкинского торжества.

Огорченный герой молча откланялся и удалился.

В тот же день Александр Васильевич уселся в двуколку и умчался в Выборг. Отсюда он выслал в Санкт-Петербург нарочного с запиской к императрице:

«Жду повелений твоих, матушка».

Ожидаемое повеление пришло незамедлительно. Государыня писала Суворову:

«Думается мне, лучше вас никто не сыщет мест для возведения там крепостей. Поручаю вам сие первостепенное дело».

Полководец смирился, затаил в сердце свое горе и, не мешкая, пустился в объезд вдоль границы...

Между тем дворец был готов к приему гостей. 28 апреля вечером начался великий съезд. Сотни карет, сопровождаемые скороходами, гайдуками, форейторами, сверкая позолотой, зеркалами, изумляя

шелковой отделкой, двинулись к Таврическому дворцу. Однако величественнее всех был императорский выезд. Двенадцать пар белоснежных коней с пышными султанами на головах, в сверкающей упряжи везли золотую карету, в которой среди пунцово-пылающего шелка восседала государыня. Блестящая свита сопровождала поезд царицы.

Демидов, волнуясь и замирая от страха, вышел вслед за светлейшим, осторожно, на почтительном расстоянии от себя неся за князем его шляпу, отягощенную самоцветами. Бриллианты чистой воды излучали все цвета радуги, играли, рассыпая синеватые искринки. Вечер был тих, светел, на площадь падали отсветы зари. На фоне золотого заката, впереди Демидова, на широких ступенях подъезда, устланного дорогими восточными коврами, в сиянии алмазов, величественно высился Потемкин в алом кафтане и в епанче из тончайших черных кружев.

Едва императорский кортеж приблизился к триумфальной арке, возведенной на площади, сразу ударили пушки и громовое «ура» потрясло окрестности. Потемкин медленно спустился со ступенек и подошел к карете. Государыня милостиво приняла протянутую князем руку и вышла из экипажа. Неторопливо он повел ее в сияющие многочисленными огнями чертоги.

Генерал-аудитор Демидов был ошеломлен: еще тлели последние отблески зари, но уже вспыхнули тысячи огней, спускаясь сверкающими гирляндами с лепных карнизов дворца, с ветвей деревьев, убегающих вдоль площади к темным водам Невы. На высоких шестах вертелись огненные колеса, с треском поднимались ввысь ракеты, взрываясь в темном небе желтыми, зелеными, лиловыми, малиновыми огнями и разбрасывая фонтаны золотых искр. Разноцветные фонарики, пламя бесчисленных плашек, ярко горящие смоляные бочки и огненные каскады пиротехнических огней придавали особый блеск и величие шествию государыни в чертоги.

Позади следовали вереницы приглашенных в самых разнообразных маскарадных костюмах, шумя шелками, лаская взоры бархатом и сверкающими драгоценностями.

Два прекрасных пажа несли за государыней длинный шелестящий шлейф. Потемкин, не касаясь шлейфа, осторожно шел рядом. И только они вступили в громадный зал, украшенный строгой колоннадой,

обвитой зеленью и цветами, на хорах заиграла музыка и певчие запели державинскую песнь:

Гром победы, раздавайся,
Веселися, храбрый росс!..

Переливались сиянием большие хрустальные люстры, бесчисленные огни, чудесные вазы, печи из лазурного камня, диковинки Востока. Сверкающее драгоценностями и изысканными туалетами общество бесконечное число раз повторялось в колоссальных зеркалах, и это создавало впечатление беспредельности зала и сплошного моря радостных огней и красок.

Потемкин подвел государыню к трону и остановился у его подножия. Демидов, со шляпой светлейшего, стоял неподалеку, затаив дыхание. Сверху, из великолепного купола, на трон низвергались каскады света, которые нежными переливами играли в драгоценностях государыни. Цветные лампы, развешанные среди колонн, усиливали очарование праздника.

Государыня заняла приготовленный трон, и в танцевальном зале началась кадрили в двадцать четыре пары из самых знатных дам и кавалеров, среди которых Демидов увидел наследника престола. Павел Петрович, в зеленом мундире, в белых лосинах, казался маленьким и щуплым. Среди блестящего общества он потерялся, и никто не оказывал ему должного внимания. Все взоры были обращены на государыню.

В разгар танца Демидов заметил, что за креслом царицы появился сияющий фаворит Зубов. Два противника сошлись на виду всей знати. Потемкин, все еще красивый, приятно улыбающийся, при ярком свете выглядел увядающим и усталым. Платон Зубов был юн, строен и свеж. Он не сводил глаз с государыни.

В душе Демидова возникла неприязнь к этому хрупкому смуглому юнцу, который с горделивой осанкой стоял подле государыни. Мимо проходили танцующие пары, одетые в белые атласные костюмы, сверкавшие бриллиантами, а впереди всех плавно скользили в танце внуки императрицы — великие князья Александр и Константин. Платон Зубов по возрасту подходил к ним, и на сердце потемкинского

адъютанта стало тягостно при виде престарелой императрицы и ее фаворита. Мог ли этот тщеславный и самовлюбленный юнец на самом деле любить свою покровительницу, годившуюся ему в бабушки? Сияние драгоценностей, пышный наряд, величественная осанка, румяна — ничто не могло скрыть мелких старческих морщин на лице государыни и дряблых изрядных мешков под усталыми, потухшими глазами. Она улыбалась, но улыбка ее была старческой, потерявшей блеск...

Генерал-аудитор смутился от подобных мыслей и поторопился отогнать их. Ему стало жалко Потемкина: несмотря на окружающую роскошь, он тоже выглядел усталым и угасающим. Нельзя было обмануться в предположении, что все уходит от него и не вернется вновь. Сегодня светлейший пребывал на вершине славы и могущества, но взоры гостей тянулись уже не к нему, а к юному счастливому смугляку, и только сожаление, а порой еле уловимое злорадство сквозили в мимолетных взглядах, бросаемых на Потемкина.

Государыня улыбнулась князю, и он взмахнул кружевным платочком. В этот миг пары разошлись и уступили место столичному балетмейстеру Ле Пику, который очаровал всех своим пластичным танцем.

За большими окнами стало темно, и Потемкин пригласил государыню и высоких гостей в театр. Снова Демидов медленно пошел за светлейшим, неся его драгоценную шляпу. Он шел в большом напряжении, и ему казалось, что от драгоценных камней шляпы сыплются миниатюрные молнии, ласкающие глаз.

В театре генерал-аудитор не мог сосредоточиться, все привлекало его внимание. За балетом Ле Пика последовала комедия «Смирнский купец», в которой показывался невольничий рынок и рабы всех стран, кроме России. Лицедеи изо всех сил отображали благоденствие народа под скипетром Екатерины...

Утомленный и потрясенный виденным, Николай Никитич еще более изумился, когда все вернулись в большой зал, сейчас сверкавший еще ярче, казавшийся еще пышнее. Свет дробился в хрустале и драгоценных украшениях; казалось, кто-то мощной щедрой рукой рассыпал кругом сияющие изумруды, рубины, хризолиты, аметисты, сапфиры, — так сверкали и переливались малиновые, розовые, синие, зеленые, желтые огни в цветных лампадах, которых зажглись тысячи.

Среди этого мощного потока радуг и сияния государыня невольно остановилась и восхищенно спросила Потемкина:

— Неужели мы там, где и прежде были?

Генерал-аудитор не слышал ответа светлейшего, но по лицу своего покровителя догадался, что тот счастлив и весел. Руки Демидова отяжелели и затекли, столь весома оказалась шляпа князя. Он медленно двигался за Потемкиным и государыней, и с каждым шагом им открывались все большие и большие красоты. Волшебство совершилось с ними, когда вступили в зимний сад, где все было наполнено благоуханием, где склонялись цветущие мирты, а в кустах щебетали и распевали птицы...

В двенадцатом часу начался ужин. Демидов пребывал до сего времени на ногах, с той же бриллиантовой сокровищницей на руках. Государыня с наследником престола и его супругой сидела за особым столом, и светлейший прислуживал императрице. Только после настойчивых просьб повелительницы Потемкин сел за стол. Почти одновременно с ним подле государыни появился ее любимец Зубов. Нежное, женственное лицо и тонкий профиль фаворита, сверкающий бриллиантовый аксельбант обращали на себя восхищенное внимание гостей, особенно дам. Светлейший поморщился.

— Полно, князь, да здоров ли ты? — сочувственно вымолвила государыня.

— Ах, матушка, прескверная болезнь у меня. Ноет зуб!..

Императрица помрачнела на мгновение, но это мимолетное недовольство быстро прошло, унеслось, как облачко, и растаяло. Пир продолжался, поражая гостей сказочным убранством стола.

Между тем генерал-аудитору очень хотелось есть, все тело его ныло от усталости, а голова слегка кружилась. Ему не терпелось самому повеселиться и поблестать среди избранной знати, но, увы, он двигался как тень за светлейшим и был лишь холодным и блеклым отражением этого величавого, но угасающего светила...

Еле дождался Николай Никитич отбытия государыни. Она покинула дворец на исходе второго часа ночи под нежное пение итальянской кантаты, восхвалявшей высокую гостью.

Прощаясь, государыня протянула Потемкину руку и благодарно улыбнулась. Князь упал перед императрицей на колени и благоговейно

прижал ее руку к губам. По его толстым щекам катились слезы. В глазах Екатерины Алексеевны тоже засверкала ответная слезинка.

Генерал-аудитор стал несказанно счастлив, когда наконец сдал драгоценную ношу Энгельгардту, а сам очутился среди прелестниц, которые все еще наполняли Таврический дворец.

Вновь вспыхнула и разгорелась заря над пышным садом, померкли в ее озарении огни празднества. Погасли люстры, и залы постепенно опустели. Тяжело ступая по зеркальным паркетам, Потемкин, в сопровождении генерал-аудитора, удалился в покой.

— Не уходи, Демидов! — остановил он Николая Никитича, собиравшегося откланяться ему.

Светлейший устало опустился в кресло. Два камердинера ждали его повелений, но Потемкин молчал и медлил разоблачаться. Боясь нарушить раздумье князя, безмолвствовал и генерал-аудитор.

Тяжелый, долгий вздох вырвался из груди Потемкина.

— Что с вами, ваша светлость? — испугался Демидов. — Не больны ли? Может, медика вызвать?

Светлейший с досадой отмахнулся.

— Не в медицине дело, мой друг! — печально промолвил Потемкин. — Никто мне теперь не поможет. Чует мое сердце, Демидов, ноне сыграл я последнюю пиесу в своей жизни. Кончено, все кончено...

Он устало закрыл глаза и тяжело опустил голову на грудь.

— Ваша светлость!.. — со страстью заговорил генерал-аудитор.

— Оставь! — тихо обронил князь. — Гляди, уже погасли огни и начинается новый день...

Демидов тихо удалился, оставив своего покровителя в скорбной позе.

Генерал-аудитор шел по опустевшим залам, в широкие окна вливались первые потоки солнца. И то, что вчера поражало великолепием, в лучах животворного дня теряло свою волшебную прелесть.

В обширный Таврический дворец с отъездом гостей вошли тишина и безмолвие. Лишь на золотой солнечной дорожке играл откуда-то взявшийся котенок; подпрыгивая, он старался ухватиться за бахрому драгоценной скатерти.

Только к полудню вернулся Демидов на отдых. Раздевая его, Орелка сердито сопел.

— Ну, чего хмур? Радоваться должен: хозяин в раю побывал. Экий праздник состоялся у светлейшего! Одних драгоценных камней на господах было на миллионы!

— Все так, господин! — согласился слуга. — А только, по совести молвить, не к добру такой пир! У дворца-то пятнадцать мужиков совсем распростились с белым светом, а полета покалечились! За квасом да калачами погнались...

— Не жадничай! — поучительно сказал Демидов.

— Да разве это жадность погнала? От нищеты да голода это, господин мой.

— Цыц! О чем мелешь, супостат! — рассердился генерал-аудитор. — Да разве ж возможно сие в нашем царстве да в прославленный век Екатерины. А ведомо ли тебе, что светлейший на один бал истратился на полмиллиона рублей?

«Поди ж ты, как оборачивается! А того не понимает, что полмиллиона со всей России по копейке собраны с мужиков. Потом да горбом добыты эти копейки. Эх, господин, господин, гляди-поглядывай, как бы вновь не собралась туча над барскими головами! Худо будет!» — хмуро подумал Орелка, но смолчал. Однако Демидов по глазам холопа догадался, о чем тот думает, и на душе его стало тревожно...

Суворов в двадцать дней объехал Финляндию и установил места, где надлежит построить крепости. После напряженных трудов Александр Васильевич направился в город Петрозаводск. Весть об этом взволновала местных начальников. Генерал-губернатор Олонецкого края Тутолмин созвал экстренное совещание, и на нем долго решали, как встретить дорогого гостя. Слава Суворова гремела повсюду, и областные правители дрожали, ожидая величавого Зевса Громовержца. Поэтому решили разубрать город, а на заставе возвести триумфальную арку. Разысканы были и свезены в Петрозаводск музыкантские команды; им вменили в обязанность немедленно разучить и отрепетировать любимые суворовские марши. Ветхие полосатые будки срочно обновили. Старые инвалидные команды

вывели на плац и учили воинским артикулам. Мещанам и заводским бабам настрого наказали коз и поросят держать под надежными запорами, чтобы животные не слонялись по городу и не позволяли себе непристойностей. Древний профос — полицейский служка Андрейка — заправлял давно не горевшие фонари. По тюрьмам усердно чистили ретирады. Попы готовились к торжественной встрече. Соборный протодьякон каждый день промывал глотку спиртом, чтобы достойно провозгласить долголетие именитому гостю. Звонарь зачастил на звонницу. Во всем городе не нашлось ни одной щели, ни одного уголка, где бы не чувствовалось веяние деятельного административного таланта генерал-губернатора Тутолмина.

Но одного не учли ретивые петрозаводские администраторы: граф Александр Васильевич, весьма поспешный в исполнении своих предприятий, являлся, когда его менее всего ожидали. «Быстрота и натиск» — было девизом славного героя. Верный этому девизу, Суворов внезапно приехал в Петрозаводск на простой тележке, запряженной одноконь. Одет полководец был в изрядно поношенную солдатскую куртку.

Никем не признанный, он промчался по городу прямо к пушечно-литейному заводу, у ворот которого и остановил свою тележку. Здесь он проворно соскочил, быстро на ходу одернул куртку и бравым шагом направился на завод.

Караульный солдат, увидя бойкого заезжего гостя, не утерпел и спросил:

— Эй, служивый, скажи-ка, скоро ли будет Суворов?

Полководец подтянулся, лукаво подмигнул часовому и сказал:

— Граф Суворов следует за мной!

Не теряя ни минуты, Александр Васильевич быстро прошел в заводскую контору и строго приказал:

— Я — Суворов. Показывайте без утайки весь завод.

Чиновники замерли от изумления. Однако дельный и расторопный дежурный не растерялся. Он быстро встал и пригласил полководца последовать за ним. Тем временем на ходу он глазами дал понять сослуживцам: «Мчитесь птицей и дайте знать о прибытии нежданного гостя заместнику Тутолмину и начальнику завода Гаскоину!»

Александр Васильевич в сопровождении чиновника быстро обошел завод, заглядывая всюду, перекидываясь с рабочими прибаутками. Горновые спросили его:

— А что, служивый, прибует сюда Суворов?

Герой метнул на них веселый взгляд:

— Никак его знаете?

— Еще бы! Суворова знает вся Россия!

Александр Васильевич заметил, как суровые бородатые лица горновых приветливо засветились. Это тронуло его сердце. Он подошел к домне, пышущей жаром. В ней весело гудело пламя.

Суворов озяб в дороге и порядком проголодался. Сейчас, в благодатном тепле, он вспомнил об этом. Растерев ооченевшие руки, гость достал из кармана солдатской куртки черный сухарь и с большим усердием стал его грызть.

Коренастый доменщик, заросший до глаз бородой, посмотрел на гостя и лукаво ухмыльнулся.

— Ишь ты, голод не тетка! Солдату и работному одна пища: сухари да вода!

— Верно, ой как верно! — откликнулся Суворов.

Но тут доменщик помрачнел и бросился к укладу. Александр Васильевич поразился: «Что за быстрая перемена?»

Он оглянулся: в литейную входил увешанный регалиями, в пышном мундире генерал Тутолмин, а рядом с ним спешил сухой и проворный Гаскоин.

Александр Васильевич засунул недоеденный сухарь в карман, сдвинул брови...

Он весьма сухо выслушал генерал-губернатора и очень оживился, когда стал рапортовать начальник завода. Глаза полководца снова засияли, и он с удовлетворением сказал:

— Хороши ребята!

Однако, заслушав рапорты, Александр Васильевич снова замкнулся в себе, посуловел и сказал начальникам:

— Спасибо. Отвлекать от дел не мыслю. Прошу вас, господин генерал-губернатор, возвратиться к службе!

Гаскоина же Суворов придержал за рукав.

— Покажи все, да с толком!

Гаскоин хорошо понимал намерения гостя. Он без дальнейших слов повел Александра Васильевича по заводу, показывая литые болванки и огромные станы. Суворов с глубоким вниманием слушал объяснения.

При выходе гостя из литейной лохматый доменщик моргнул товарищам:

— Говорили — солдат, а то сам Александр Васильевич Суворов. Поглядеть бы толком, да боязно!

Чуткое ухо гостя уловило эти слова, он быстро оглянулся и окрикнул весело:

— Чего боязно? Солдат, помилуй бог, солдат я. Мало что Суворов!

Не ожидая ответа, Александр Васильевич быстро и решительно подошел к работному и крепко обнял его:

— Молодец, братец, знатно работаешь. Спасибо. За отечество спасибо!

— Александр Васильевич! — заревели десятки здоровых глоток в литейной. Гость и глазом не успел моргнуть, как его подхватили могучие руки горновых и понесли.

Они несли полководца, а крепкие бородачи-работные просили:

— Александра Васильевич, родной наш! Герой наш! Ты лучше взгляни на работенку нашу!

Работные бережно вынесли его на заводский двор и поставили на землю.

— Гляди, батюшка!

Суворов зорко оглядел двор и скорым шагом побежал по дорожке. Влево, вдоль нее, на деревянных помостах были разложены ножи, вилки, ножницы, посуда, мелкие чугунные изделия. Александр Васильевич морщился и охал:

— Упаси бог, чашки, ложки, плошки, уполовники. Неужель ухватом, помилуй бог, драться?

Он повернулся вправо и пошел обратно вдоль той же дорожки. По краю возвышались пирамиды ядер, бомб, картечи. Александр Васильевич остановился у артиллерийских снарядов и стал их внимательно рассматривать. Он то и дело приговаривал:

— Помилуй бог, как хорошо. Любо, какой славный гостинец шведам?

Суворов ласково поглядывал на Гаскоина.

Осмотр окончился. Александр Васильевич вышел за ворота; там его поджидали петрозаводские купцы. Дородный темноглазый купчина на подносе, покрытом расшитым полотенцем, держал хлеб-соль.

Суворов обрадовался, как малое дитя.

— Вот спасибо, хлеб-то какой. И народ здоровый!

Он выслушал нескладную речь купца и с благодарностью принял хлеб-соль.

Крепко пожав Гаскоину руку, полководец вскочил в тележку.

Начальник завода огорченно закричал:

— Ваше сиятельство, куда вы? Обед ждет!

— Помилуй бог, — откликнулся Суворов. — Петербург ждет. Поспешать надо. Пошли!

И тележка загремела по дороге.

Александр Васильевич, не отдохнув, ускакал в столицу.

Вспоминая Петрозаводск, Суворов понемногу отошел, успокоился и стал мечтать о походах.

Прискакав в Санкт-Петербург, Суворов, не откладывая дела, послал донесение государыне Екатерине Алексеевне. Оно было кратко и просто. Александр Васильевич писал:

«Слава наместнику! Работные — молодцы. Гаскоин велик. Составные его лафеты отнюдь не подозрительны. Петрозаводск знаменит. Ближайшая на него операция из Лапландии. В последнюю войну предохранение той страны было достаточно мудро».

Вместе с докладной запиской Суворов предоставил государыне планы постройки пограничных крепостей.

Вскоре вслед за этим последовала высочайшая аудиенция.

Отправляясь во дворец, Суворов снова зажегся надеждой вернуться к армии. Однако императрица совершенно безразлично встретила измайльского героя. На его вопрос: «А теперь как, государыня-матушка?» — императрица величественно и холодно ответила:

— Теперь, Александр Васильевич, вы отправитесь обратно и будете возводить по сим планам крепости.

Полководец печально опустил голову.

Уходя из дворца, он огорченно думал:

«Помилуй бог, как рассудила! Лопата, известь и пирамида кирпича неужто мне лучше баталий?»

Так же как и в первый раз, он сел в тележку и немедленно уехал в Выборг. На душе у него стало тяжело и грустно от незаслуженной обиды.

После знаменательного праздника Потемкин прожил в Петербурге еще три месяца. Между тем военные дела призывали его в армию. Светлейший, казалось, не понимал этого и вел безнадежную борьбу с Зубовым. Потемкин нервничал. К этому находились важные причины. Несмотря на то, что он не находился в армии, русские войска под начальством князя Репнина одержали ряд побед. В эти дни взяли штурмом Анапу, при Канаврии разгромили турецкий флот. Но решающее сражение произошло 28 июня, когда при Мачине талантливый полководец Репнин одержал блестящую победу над визирем.

Закрывшись у себя в отдаленном покое, Потемкин в раздражении ходил из угла в угол, набросив на плечи лишь халат и хлопая на ходу старыми шлепанцами. Несколько раз он вызывал генерал-аудитора и приказывал ему писать послания Репнину, но вдруг спохватывался, рвал их и отсылал Демидова от себя. Несомненно, что светлейший в душе завидовал Репнину, злился и свое недовольство вымещал на приближенных. Лишь услужливый Попов сумел написать весьма льстивое и осторожное письмо Репнину, давая понять ему, что в дальнейшем надлежит не предпринимать никаких решительных действий без повеления светлейшего. Но это, однако, не помогло. Демидов видел, как исчезало обаяние Потемкина. В Санкт-Петербурге потихоньку заговорили о том, что и без князя одерживаются победы над турками.

Понимая всю ложность своего положения, светлейший стал задерживать спешные запросы Репнина. С юга ежедневно прибывали курьеры с письмами, но Потемкин не принимал посланцев, и те подолгу томились в ожидании ответов. Много раз они обращались к генерал-аудитору, чтобы тот доложил о них светлейшему, но Демидов боялся исполнить просимое, зная, что Потемкин не терпит напоминаний. Да и кто посмел бы обратиться к нему с подобными вопросами, когда князем снова овладела черная ипохондрия!

Назидание Потемкину пришло внезапно от самой императрицы. Однажды, в ожидании государыни, за завтраком сидели граф Алексей Орлов и вельможа Нарышкин. Беседа шла о войне.

— Почему так долго из армии нет известий? Что случилось, коли князь Репнин бездействует? — воскликнул Нарышкин.

Орлов промолчал. Он неторопливо собрал со стола все ножи и, выразительно взглянув на собеседника, любезно попросил:

— А нельзя ли отрезать кусочек сего поджаристого поросеночка?

Нарышкин деликатно поторопился выполнить просьбу графа. Туда-сюда, а ножей нет.

— Вот видишь, — сказал Орлов, — так и Репнину ничего не дают делать, как же после сего действовать?

На другой день государыня спешно вызвала к себе правителя потемкинской канцелярии. Ранним утром Попов явился на прием во дворец. Государыня вышла не в духе. Глядя в упор на генерал-майора, она спросила:

— Правда ли, что целый эскадрон курьеров от князя Репнина живет в Санкт-Петербурге?

Попов в замешательстве признался:

— До десяти наберется, ваше величество!

— А зачем вы их держите? — полюбопытствовала императрица.

— Нет приказаний светлейшего.

— Ах, так! Скажите князю, чтобы непременно сегодня ответил Репнину, что понужнее. А мне пришлите записку, в котором часу ваш курьер уедет!

Потемкин в ночь отправил курьеров, а отославши их, вызвал генерал-аудитора и раскричался:

— Почему не допустили ко мне гонцов? Расказняю тебя, Демидов!

Николай Никитич молча проглотил обиду; все знали, что ругань была лишь для отвода глаз...

Раздраженный Потемкин снова целые дни валялся на диване. Сколько времени длилась бы неопределенность — неизвестно, но государыня вынуждена была покончить с этим. От побед на юге зависела судьба страны. Императрица решила через Зубова или Безбородко передать Потемкину приказ немедленно выбыть в армию, но ни тот, ни другой не осмелились пойти к нему с подобным поручением. Тогда Екатерина Алексеевна сама пошла в покои светлейшего и твердо объявила ему свою волю.

И странно: всегда своенравный, упрямый и строптивый, Потемкин на сей раз сделался кротким и послушным.

Двадцать четвертого июля он выехал из Царского Села с тяжелой тоской на сердце. Пожелтевший, мрачный, он со скорбью оглянулся на Санкт-Петербург и горестно вздохнул: «Придется ли сюда вернуться?» Отвалившись в угол кареты, Потемкин сидел безмолвно, с закрытыми глазами.

На первом привале, подойдя к экипажу, Демидов увидел, что из-под ресниц князя блеснули слезы.

— Что с вами, ваше сиятельство? — обеспокоенно спросил генерал-аудитор.

— Оставь, Демидов! И без тебя тяжело на душе!

Сказал и замолчал. Так и не вышел он из кареты, приказав везти дальше.

Восемь дней мчался на юг Потемкин, стремясь скорее попасть в Яссы. Адъютант Николай Демидов охрип от брани, разнося в пух и прах стационарных зрителей и торопя фельдъегерей скакать вперед по тракту с известием о проезде князя. На почтовых стоянках никого не допускали к светлейшему: он не хотел выслушивать доклады губернаторов, принимать генералов и представителей дворянства. Едва успевали сменить запаренных коней, как Потемкин уже нетерпеливо кричал:

— Гони!

Однако ни бешеная езда, ни широкие степные просторы, которые всегда его успокаивали, не приносили забвения. Угрюмый, молчаливый, он сидел в углу дормеза, устало опустив голову. Всегда любивший сытно и вкусно поесть, он долгое время не притрагивался к пище.

Чтобы развеселить светлейшего и заставить его есть, Николай Никитич пошел на некоторые ухищрения.

— Ваша светлость, вам надо перекусить да подкрепиться вином! — предложил он на одной остановке.

Потемкин молчал.

— Здесь приготовили для вас хороший ужин! — не отставал адъютант!

— Поди прочь! — заревел в гневе светлейший.

Но Демидов знал нрав Потемкина и не убежал от брани. Он смолчал, а через полчаса снова подскакал к дормезу и, наклонясь к окну, вкрадчиво проговорил:

— Тульские гольцы имеются, только что из воды, а калачи еще горячие. Право, все это стоит внимания вашей светлости!

Стекло в дормезе опустилось. Николай Никитич заговорщицки посмотрел на Потемкина и умильным голосом продолжал:

— Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают вашей снисходительности!

— Гм!.. — поперхнулся светлейший и сделал рукой протестующий жест.

— Есть и ерши крупные, животрепещущие, так и просятся в уху!..

— Сатана! — выкрикнул Потемкин и высунулся в окно. — Что там еще?

— Сверх того, ваша светлость, здесь, на станции, мигом приготовят и яичницу-глазунью!

— Стой! Вели открыть карету! — сдался наконец Потемкин, соблазненный заманчивыми блюдами.

Он вышел из дормеза, вытянулся во весь богатырский рост, сладко зевнул:

— Ну, веди, Демидов!

Они пошли к почтовому дому, где на столе ждали сытные яства: уха из ершей, горячие калачи, яичница-глазунья и превосходное вино.

С Потемкина сняли дорожный плащ, он сел в глубокое кресло в тяжелом изнеможении. Адъютант и слуга придвинули к нему блюда. Светлейший стал есть. В горнице все молчали, пока он насыщался. Утолив голод, Потемкин кивнул Николаю Никитичу:

— Флягу с водкой!

Он налил бокал водки, выпил, и взор его оживился. Взяв с тарелки редьку, князь отрезал от нее толстый ломоть и жадно закусил.

— Знаешь, Демидов, тут каждое блюдо так и просится в рот. Право, я начинаю бояться за свой желудок!

Он поднялся из-за стола и приказал отнести в дормез редьку.

— Едем дальше! — коротко сказал он и пошел к выходу...

Снова вихрем понесли кони, но и после сытной еды Потемкин не повеселел. Он вздремнул, а когда проснулся, пожаловался Демидову:

— Не пойму, что со мной. Все нутро жжет. Вели остановить коней!

— Вот, кстати, и Чернигов, ваше сиятельство. Можно отдохнуть!

И впрямь, навстречу путешественникам со взгорья поплыл торжественный звон колокола.

— Где это? — спросил Потемкин.

— Встречают, ваше сиятельство. Звонят в церкви Иоанна Богослова!

— Приятный звон...

Под гуденье колоколов Потемкин въехал в Чернигов. Чувствуя себя больным, он пролежал много часов в постели и все время велел звонить в колокол, а на утренней заре вновь пустился в дорогу.

— Демидов! — наказал Потемкин, уезжая. — Поручаю тебе столь приятный звоном колокол стащить со звонницы и отправить в Екатеринослав!

Николай Никитич поскакал выполнять приказ князя. К полудню шестисотпудовый колокол спустили с колокольни, погрузили на особые дроги и повезли. Старушки со слезами провожали колокол.

Не обращая внимания на их жалобы, Демидов стегнул по коню и понесся нагонять светлейшего...

Несмотря на бешеную скачку, Потемкин опоздал в Яссы. За три дня до его приезда князь Репнин подписал в Галацах предварительные условия мирного договора с Турцией.

Узнав об этом, Потемкин рассвирепел. Он вызвал к себе Репнина и при генералитете набросился на него с упреками.

— Кто дал вам право на подобные действия? Что вы сделали? — в гневе закричал Потемкин.

— Светлейший князь, я исполнил свой долг! — спокойно ответил старик Репнин.

— Как вы смели начать без меня кампанию? — не уступал князь.

— Ваше сиятельство, я вынужден был отразить нападение тридцатитысячного турецкого корпуса визиря Боталь-бея!

Потемкин помрачнел, подошел вплотную к Репнину и в запальчивости крикнул:

— Как вы дерзнули заключить мир? Кто дал вам на это согласие? Вы поплатитесь головой за эту дерзость! Я буду судить вас, как изменника!

На лице Репнина выступили багровые пятна. Еле сдерживая гнев, он возразил:

— Ваша светлость, если бы вы не были ослеплены в эту минуту гневом, то я заставил бы вас раскаяться в последнем слове!

— Угрозы! Дерзкий, знаешь ли ты, что я через час могу приказать расстрелять тебя!

Репнин пристально взглянул на Потемкина и, чеканя каждое слово, холодно прервал Потемкина:

— Знаете ли вы, князь, что я могу арестовать вас, как человека, восстающего против повелений государыни?

Потемкин опустил голову, шумно задышал.

— Что сие значит? — упавшим голосом спросил он, догадываясь о правде.

— Это значит, ваше сиятельство, что я повинуюсь и обещаю отдавать отчет в своих действиях одной государыне.

Князь Репнин учтиво поклонился и вышел из горницы. Потемкин тяжело опустился на стул. С минуту он раздумывал, потом с горечью заговорил:

— К чему была сия торопливость? Надо было знать, в каком положении наш черноморский флот и об экспедиции генерала Гудовича. Дождавшись донесения их и узнав от оных, что вице-адмирал Ушаков разбил неприятельский флот и уже его выстрелы были слышны в самом Константинополе, а генерал Гудович взял Анапу, — мы могли бы заключить мир на более выгодных условиях!..

В голосе его прозвучала скорбь.

Для всех было очевидно, что Потемкин прав: договор с турками можно было заключить на более выгодных условиях. Понимал это и сам Репнин, но честолюбие ослепило его, и он решил под носом у светлейшего перехватить лавры победы.

Адъютант Демидов сопровождал Потемкина в Галацы. Настроение светлейшего резко ухудшилось: он стал крайне раздражителен, ипохондрия окончательно овладела им. К этому прибавились резкие боли в животе. Неумытый, в халате, он уныло бродил по мягким коврам, хлопая шлепанцами. Адъютанты не допускали к нему посетителей, сами же ходили тихо и переговаривались шепотом. Демидов с тревогой заглядывал в лицо

князя: оно осунулось, стало серым. Страшная усталость улавливалась в его взгляде.

— Вы больны, ваше сиятельство. Нужны лекари! — осторожно намекнул как-то Демидов.

Потемкин с завистью взглянул на свежее, розовое лицо юного офицера.

Ах, Демидов, старого не воротишь! — с горечью сказал он. — И я был совсем недавно таким, как ты! Быстро пролетела младость!..

— Вы несчастливы, ваше сиятельство! — с горьким сочувствием вымолвил Николай Никитич. Ему стало невыносимо жаль еще недавно могучего и красивого гиганта, теперь сраженного духовной и телесной немощью.

— Ты, Демидов, не жалея меня! — с вялой раздражительностью продолжал светлейший. — Может ли быть человек счастливее меня? Все прихоти мои всегда исполнялись, как будто каким волшебством: хотел чинов — имею, орденов — имею, любил играть — проигрывал суммы несчетные, любил строить дома — построил дворцы, любил дорогие вещи — имею столько, что ни один честный человек не имеет так много и таких редких! Все страсти мои, Демидов, всегда удовлетворялись. Разве я не счастлив?.. Эх-х!.. — Он схватился за бок и протяжно застонал: — Что же это? Неужели так скоро смерть?

— Ваша светлость, вам нужен хороший лекарь, и все пройдет!

— Отстань, зови Попова!

Пришел правитель канцелярии, но Потемкин отвернулся к стене и выдавил угрюмо:

— Нет, не могу... Дела потом...

Попов и адъютант неслышно удалились.

На третий день по приезде Потемкина в Галацы скончался любимый им генерал, принц Карл Вюртембергский. Мрачный, осунувшийся, князь отправился отдать последний долг усопшему. В переполненной церкви было жарко, душно от густого запаха росного ладана. Потемкину тяжело дышалось. Он не сводил взора с воскового лица покойника. В провалившихся глазницах копошилась зеленая муха. Светлейшему почудился запах тлена. До крайности расстроенный, утомленный духотою, Потемкин медленно вышел из церкви. Гайдуки бросились звать карету. Не обращая ни на кого внимания, опустив голову, светлейший тяжелой поступью спустился с

каменных ступенек, по роковой рассеянности вместо своей кареты сел на дроги, приготовленные для покойника.

Когда Демидов подлежал к Потемкину, тот был бледен и дрожал как в лихорадке. По толпе прошел гул удивления.

— Не к добру это! — только и мог вымолвить Потемкин.

Суеверный и впечатлительный, он почувствовал себя крайне плохо. Поддерживаемый Демидовым и Поповым, он с потемневшим лицом добрался до кареты и окончательно упал духом...

Вечером он почувствовал озноб и жар, болезнь с неотвратимой последовательностью овладела им. Полная апатия охватила князя. Долгими часами он лежал в безмолвии. Обеспокоенный Попов ежедневно слал донесения государыне о ходе болезни светлейшего.

«Опять показался жар, — писал он Екатерине Алексеевне. — Его светлость проводил ночь в беспрестанной тоске, которая и в следующий день продолжалась. Доктора приписывают продолжение болезни накопившейся желчи. Для изгнания ее нужно принимать лекарства, до коих князь весьма неохотлив».

Потемкин и впрямь отказывался принимать лекарства и вовсе не соблюдал диеты. Ел все — кислое и соленое, а потом корчился от боли и изнывал в смертной тоске.

С большими трудностями уговорили князя переехать в Яссы, где была медицинская помощь. Туда же по вызову Потемкина прибыла и его племянница, графиня Браницкая. По-прежнему она щебетала и порхала по покоям князя. Увы, это не так давно очаровательное и милое для князя существо не производило на него былого впечатления! Жизнь постепенно, как иссякавший родник, уходила из больного тела. Не помогли и медицинские светила; страдания усиливались с каждым днем. Мужество и выдержка покинули Потемкина: он непрерывно стонал и жаловался на безнадежность жизни.

Иногда он впадал в беспамятство. В ночь со второго на третье октября в болезни наступило резкое ухудшение. В течение девяти часов врачи не находили у больного пульса: руки и ноги его стали холодны как лед, и лицо было неузнаваемо. С большими усилиями врачи привели его в сознание. Он глазами подозвал графиню Браницкую и попросил:

— Везите скорее в Николаев! По крайней мере умру в моем городе!

Перед отъездом он попросил Демидова вызвать Попова и продиктовал ему последнее письмо царице.

«Матушка, всемилостивейшая государыня! Нет сил более переносить мои мучения: одно спасение остается оставить сей город, и я велел везти себя в Николаев. Не знаю, что будет со мною. Я для спасения уезжаю. Вечный и благодарный подданный...»

Попов внимательно посмотрел на ослабевшего Потемкина. Тот взял у него перо и дрожащей рукой приписал: «одно спасение уехать...»

Затем он отвалился на подушки и заметался. Выезд был назначен на утро, но светлейший всю ночь не спал и беспрестанно спрашивал, подан ли экипаж.

Едва забрезжил рассвет, он, несмотря на густой туман, приказал везти себя из Ясс. Его осторожно поместили в большой шестиместной карете, и в сопровождении свиты, многочисленной прислуги и казачьего конвоя Потемкин покинул свою ставку.

Степные просторы, свежий ветерок оживили князя. Он понемногу успокоился и затих. Поезд из многих экипажей двигался очень медленно и только в седьмом часу достиг станции Пунчешты, в тридцати верстах от Ясс. Здесь князя ждала торжественная встреча. Но подготовленное торжество не состоялось. Утомленный дорогой и страданиями, Потемкин попросил вынести его из кареты. Его внесли в дом и уложили на диван. Светлейший стал метаться и стонать.

— Жарко... Душно...

Открыли окна, принесли холодной родниковой воды, но князь не мог успокоиться, продолжая терзаться. Только к десяти часам он забылся в тяжелом сне. Едва успела разместиться и уснуть его свита, в три часа ночи Потемкин открыл глаза и приказал ехать дальше. Он торопился. Но куда было спешить? Карета катилась по степи, однако на этот раз утренняя свежесть не ободрила его чело стало восковым, скрюченными пальцами он шарил по лицу, стараясь снять что-то невидимое, словно паутину. Отъехав десять верст, Потемкин приказал остановить карету. Взглянув на заалевший восток, он страдальчески сказал:

— Будет теперь... Некуда ехать... Я умираю... Выньте меня из коляски... Хочу умереть в поле...

Ковыль был влажен от утренней росы. Наспех развернули ковер, принесли кожаную подушку и уложили больного. Лекарь смочил ему голову спиртом. Потянулись томительные минуты. Светлейший молча смотрел на небо, осиянное восходившим солнцем. И в эти минуты утреннего покоя, когда все пробуждалось от ночного сна, Потемкин вдруг зевнул и, глубоко вздохнув, потянулся...

Конвойный казак, сопровождавший князя, снял шапку и перекрестился:

— Отходит князь...

Графиня Браницкая с плачем упала на колени, схватила холодеющую голову Потемкина и дула в его посиневшие уста.

Врачи скромно отошли в сторону.

— Глаза бы ему закрыть! — скорбно сказал казак и оглянулся на свиту. Демидов обшарил карманы в поисках имперялов, но карманы были пусты. Он просяще взглянул на Попова; тот или не понял, или не хотел расстаться с золотыми, так как промолчал. Тогда загорелый казак подал два медных пятака, и ими покрыли глаза умершего...

Под ясным голубым небом, среди ковыльного простора люди в молчании пробыли несколько минут, а после разошлись от тела покойного, оставив графиню Браницкую изливать свое неутешное горе.

В той же самой карете, окруженной казаками с зажженными факелами, ночью тело Потемкина привезли обратно в Яссы...

По просьбе Попова Демидов быстро собрался и поскакал из Ясс с печальным известием в Санкт-Петербург. На душе Николая Никитича росла смутная тревога. Как все переменчиво! Покидая ранним утром ставку командующего, он проехал по пустынным, безмолвным улицам городка. Давно ли здесь все шумело и жизнь была ключом? Куда внезапно исчезли блестящие кареты, столичные петиметры и нарядные великосветские дамы, искавшие встречи с князем? Со смертью светлейшего сразу прекратились шумные балы, пьянящее веселье, и городок принял серый, скучный вид. Демидов тяжело вздохнул, опустил голову в глубокой задумчивости. Позади оставалось

прожитое, золотая пора. Он понимал, что больше не вернется сюда, в ставку. Со смертью Потемкина все покончено с тем, что составляло круг его интересов, и от сознания этого на сердце Демидова стало еще тяжелее.

Адъютант скакал в одиночестве по осенней степи. В ней было тихо и неподвижно, как и во встречных дубравах, пылавших багрянцем. Навстречу ему высоко-высоко в ясной прохладе голубого неба, перегибаясь и извиваясь, как серебристый парус, тянула на юг курлыкающая журавлиная стая. Отрывистый и резкий крик журчанием ниспадал на землю с небесных высей и навевал грусть.

Снова замелькали знакомые почтовые станции с их вечной суетней и бранью расходившихся фельдъегерей. Ничто здесь больше не привлекало внимания Демидова. Он торопился в столицу, быстро продвигаясь на север. Скоро степи остались позади. Чудесная южная золотая осень отошла назад, ее сменили серое небо и непрерывные надоедливые дожди. Чем дальше на север, тем тоскливее становилась природа. Пошли оголенные мокрые перелески, по которым беспринутно шарил пронзительный, холодный ветер. Дороги покрылись ухабами, наполненными грязью. Мимо мелькали серые полосатые версты. Как все это не походило на веселое, шумное путешествие с Потемкиным!

Под Санкт-Петербургом вдруг заголубело небо, и снова пошла сухая путь-дорога. В лесах, шурша, падал багряный лист. В чае сияющего заката перед взором Демидова встала Гатчина: темнели купы высоких лип, и среди них высился массивный мрачноватый замок. Николай Никитич судорожно поежился: встреча с пребывающим здесь цесаревичем Павлом Петровичем не сулила ничего хорошего. Хоть и не хотелось ехать через Гатчину, но Демидов все же решил не сворачивать с пути.

У полосатого шлагбаума из караульного помещения выскочил офицер, наряженный в старый прусский мундир, и предложил Демидову сойти с коня.

— Курьер к ее императорскому величеству с важным известием! — закричал Николай Никитич.

Однако эти слова не возымели магического действия на гатчинского офицера.

— Прошу сойти, сударь! — с нескрываемой ненавистью разглядывая мундир потемкинского адъютанта, строгим голосом повторил он.

Демидов вспыхнул, дернул поводья, вздыбил коня, намереваясь проскочить шлагбаум, но выбежавшие мушкетеры грубо стащили его с седла и повели в замок, в котором находился Павел. Дворец этот подавлял своим казарменным видом. Строенный по указу царицы итальянским зодчим Ринальди для фаворита Орлова, после смерти владельца он был подарен государыней наследнику престола.

Проходя по широким аллеям, Демидов всем своим существом почувствовал, что попал в иной мир. В Гатчине все было сделано на прусский лад. На дорогах виднелись пестрые шлагбаумы с часовыми, одетыми в старинную прусскую форму времен Фридриха II.

После пребывания в южной армии, где Суворов и Потемкин стремились обмундировать солдата, сообразуясь с климатом и обычаями страны, где самые приемы и методы боя отражали своеобразный дух русского народа, все увиденное в Гатчине казалось Демидову издевкой над русским.

— Да что у вас за порядки! — обозленный задержкой, вскричал Демидов.

— Вы, сударь, помолчите! — строго отозвался караульный офицер. — Здесь не место для вольнодумства!

— Помилуй, какое же тут вольнодумство, если я не чувствую здесь русского духа! — не унимался Николай Никитич.

— Помолчите! — снова обрезал его офицер. — Вот и дворец его высочества.

Серая громада походила на грузную казарму, перед которой высились бастионы. На часах у дворца стояли часовые, затянутые в старомодные прусские мундиры, напудренные и с гамашами на ногах. Они отсалютовали караульному офицеру и пропустили его с Демидовым в обширный полутемный вестибюль дворца.

Потемкинского адъютанта поспешил принять другой офицер, мрачного вида, длинный и сухой. Зло оглядев демидовский мундир, он приказал:

— Следуйте за мною!

Тяжелым, грузным шагом он пошел по длинному коридору, увлекая за собою Демидова. В скучном обширном зале он остановился

и сказал Николаю Никитичу:

— Обождите здесь! О вашем своевольстве будет сейчас доложено его высочеству!

Гремя шпорами, гусиным шагом он удалился из приемной. Демидов остался в одиночестве среди мрачных стен. Стыла тишина. Кто-то вдали неприятным голосом распевал романс. На нижних нотах голос спадал до хрипоты, на высоких — становился пронзительным и резал слух.

«Неужели это цесаревич Павел?» — со страхом подумал Демидов, вспоминая рассказы петербургских гвардейцев о том, что наследник престола любил петь романсы в подражание немецкому государю Фридриху II, который играл на флейте.

Демидов подошел к окну. В глубине парка среди деревьев догорал закат. Его нежные золотые блики угасали на поверхности зеркального пруда. Гатчинский парк застыл в неподвижности. Старые ивы свесили густые ветви в прозрачные воды. На глазах Николая Никитича творилось диво: прощальный солнечный луч пробился сквозь сетку ветвей и зажег внутри ивы сотни золотых и зеленых огоньков, вспыхнувших теплом. В эту тихую вечернюю минутку раздались громкие шаги и, с шумом распахнув дверь, адъютант Павла прокричал в приемную:

— Его высочество, великий князь пожелал вас видеть, господин офицер!

Демидов наслышался о вспыльчивом характере наследника и поэтому с большой робостью прошел в кабинет. Павел стоял посреди комнаты и холодными, пустыми глазами смотрел на потемкинского адъютанта. Николай Никитич вздрогнул. Серо-землистое лицо Павла, его рано облысевшая голова поразили Демидова своей мертвенностью. Наследник был удивительно некрасив: курносый, с большим ртом, с сильно выдающимися вперед челюстями. Павел холодно улыбнулся, блеснули длинные желтые зубы, и улыбка его походила на оскал мертвой головы.

— Как смел ты в потемкинской форме прибыть в Гатчину? — резким голосом спросил Павел Демидова, и лицо его мгновенно исказилось от вспышки гнева. Он побледнел, выпрямился, заносчиво закинул большую голову. Холодные глаза пронзили Николая Никитича.

— Ваше высочество, я одет по форме российских войск и следую с весьма важным сообщением к государыне! — сдержанно, с достоинством ответил Демидов.

Павел шумно задышал.

— Из потемкинской ставки скачешь? Кто? — отрывисто спросил он.

— Состоял адъютантом у светлейшего, — дрогнувшим голосом отозвался Николай Никитич.

— Что сие значит — «состоял»? Разжалован? Опальным стал у князя? — выкрикивал Павел, не сводя мертвых глаз с офицера.

— Никак нет, ваше высочество!

— Что же тогда?

— Светлейший князь Потемкин отошел в вечность!

— Умер! — Лицо Павла залилось румянцем.

— Умер! — скорбно ответил Демидов. — О том и тороплюсь уведомить государыню!

— Умер! Догадался! — весело захлопал в ладоши цесаревич. — Что же ты сразу не сказал! Ах, какая приятная новость!

И, не скрывая своей радости, Павел пустился в пляс. Ошеломленный Демидов изумленно смотрел на дикий восторг наследника. Пробежав по кабинету, цесаревич успокоился и подозвал к себе Демидова.

— Почему не радуешься вместе со мною?

— Смерть не веселит, ваше высочество!

Павел провел ладонью по своему плоскому лицу, улыбнулся.

— Ты очень смел! — отрезал он и взял Николая Никитича под руку. — Вижу, что ты достойный офицер, не сделался негодяем, как все бывшие при нем! Видно, братец, много в тебе доброго, что ты уцелел и стал хорошим слугой престолу!

— Ваше высочество, о покойниках плохого не говорят!

— Мне все можно! — гневно прервал цесаревич. — А ты мне понравился. Желаешь у меня в Гатчине служить? Я сделаю из тебя отменного офицера!

Демидов испугался, но быстро нашелся:

— Ваше высочество, мне другое на душу пало. Надо торопиться на Урал поднимать запущенные заводы.

— Так ты заводчик! А жаль! Сейчас уходи, а завтра на смотр явись, — может, передумаешь! Ну-ну, иди...

Он толкнул Демидова в плечо и засмеялся:

— Твое счастье! Добрая весть выручила тебя из беды!

Ошеломленный Николай Никитич вышел из кабинета. Ночью в отведенном ему покое он много раз просыпался, вставал с постели и подходил к окну, прислушиваясь к шуму деревьев в парке. Темно-синее небо было усеяно звездами, луна поднялась над парком, и призрачный зеленоватый свет ее наполнил пустынные аллеи. Среди безмолвия замка особенно неприятными казались прусские выкрики часовых. Демидов прижал пылающее лицо к холодному стеклу и с горечью подумал: «Курносик, цыплячья грудь, вспылчив, оглядывается на Пруссию — и это будущий император России!»

Он вернулся к постели, вздыхая, лег под одеяло и уснул тревожным сном.

На ранней заре пробил барабан. Демидов вскочил и быстро оделся. Он торопливо выбежал на плац-парад, где в полутьме осеннего рассвета выстроились три батальона гатчинцев. Роты торопливо, бесшумно выстраивались во фронт, — каждую минуту мог появиться великий князь. Что это были за солдаты! Затянутые в прусские старомодные мундиры, они походили на угловатые манекены. Дезертировавший из армии Фридриха и теперь служивший у Павла полковник Штейнвер грузным, размеренным шагом обходил фронт с длинной тростью в руке. С мрачным видом он проверял обмундирование солдат. То и дело свистела трость.

— Как ты пудрил голова, осел! Парик! — багровея, кричал он.

На правом фланге застыл эскадрон кирасир. Завидя их молчаливые ряды, полковник Штейнвер вдруг схватился за голову:

— Бог мой, где же майор Фрейганг? Как смел он опоздать, ежели его высочество сей момент пожалует!

Немец бесился, рассекая тростью густой утренний воздух, насыщенный сыростью. Толстый нос его раздулся, побагровел, маленькие заплывшие глазки налились злостью. Однако подбежать поближе к лошадям он побоялся. В отчаянии полковник выкрикивал:

— Бог мой, что сделает со мной его высочество за такой порядок!

— Беспорядок! — подсказал Демидов.

— Я прошу вас, господин офицер, не вмешиваться в мои рассуждения! — смерив холодным взглядом адъютанта, крикнул немец. — Ежели его высочество допустил вас на развод, то учись, как надо служить своему государю и что есть воинская дисциплина. Там твое место! — указал он Николаю Никитичу в сторонку.

Демидов сдержанно поклонился и отошел к левому флангу. С любопытством он рассматривал гатчинские войска, о которых ходило много толков в столице и в армии. Павел Петрович стремился во всем походить на своего прадеда, царя Петра Алексеевича. Он мнил, что его гатчинские батальоны, подобно «потешным» царя Петра, послужат основой для будущей военной мощи России.

Обучением своих гатчинских солдат Павел, очевидно, преследовал две цели: первая заключалась в подготовке к военной реформе, которую замышлял он, и вторая, косвенная, — в критике армии государыни Екатерины. Все, что было внесено нового в русскую армию Суворовым и Румянцевым, Павлом резко осуждалось и порицалось.

Увы, далеко было гатчинским батальонам до «потешных» царя Петра Алексеевича. Все русские люди негодовали, видя в поступках и действиях Павла стремление возвратиться к временам «голштинцев» печальной памяти Петра III. Напрасно великий князь пытался возродить безвозвратно ушедшее, теперь казавшееся жалким и смешным...

Демидов еле сдерживал негодование, боясь навлечь на себя яростный гнев Павла.

В глубоком безмолвии прозвучала прусская команда полковника Штейнвера. Ее резко повторили по батальонам, ротам и эскадрону офицеры с длинными тростями в руках. С гранитных ступеней дворца на плац-парад спускался Павел. Он старательно выкидывал вперед носки. В больших ботфортах он выглядел очень неуклюже. Его короткое туловище, которому он изо всех сил старался придать изящество и благородное достоинство, еще больше делало его смешным и жалким.

«Курносый чухонец с движениями автомата!» — насмешливо подумал о нем Демидов и сейчас же ужаснулся этой мысли.

Между тем Павел пересек площадку и приближался к эскадрону кирасир. Полковник Штейнвер всеми силами старался отвлечь внимание великого князя от конницы, но тот стремительно подлетел к фронту. Закинув голову, Павел быстро и строго оглядел эскадрон. Глаза его вдруг расширились, ноздри раздулись, и он, разражаясь бранью, закричал на всю площадь:

— Где майор Фрейганг? Где он?

Словно на окрик, из-за эскадрона выехал опоздавший майор и застыл перед взбешенным великим князем.

Злыми глазами Павел разглядывал нарушителя дисциплины. Тот не дышал. Неподвижный, холодея от ужаса, он просидел в седле несколько минут перед Павлом с опущенным палахом и вдруг свалился, как сноп, наземь.

Павел брезгливо поморщился и кратко бросил:

— Убрать! К врачу!

Возбужденный от гнева, он огляделся и заметил Демидова.

— Видишь красавца? — указал он на оседланного жеребца майора Фрейганга. — Учили тебя командовать эскадром? — ехидно спросил он офицера.

— Учили! — решительно ответил Демидов.

— А коли так, покажи себя, какой ты конник! — И, оборотясь к полковнику Штейнверу, великий князь приказал: — К маршу!

Роты двинулись; высоко вскидывая ноги, выбрасывая носки и не сгибая колен, пошли мимо Павла. За ними Демидов молодецки провел эскадрон.

«Что за каприз? Непременно взгреет теперь!» — подумал Николай Никитич, и в глазах его потемнело. Когда он проносился на чужой лошади мимо великого князя, он не видел ни удивленного лица его, ни восхищения. Мелькнули перед взором только белые лосины и высоко поднятая трость Павла, которой он отсчитывал движение колонн.

После учения Павел не замедлил позвать к себе потемкинского адъютанта. Он схватил его за руку и сильно ущипнул острыми ногтями. Демидов хотел отойти, но великий князь еще сильнее впился в него ногтями. Побледневший офицер застыл на месте, прикованный страшными глазами Павла.

— Скажи, братец, там, в армии Румянцева и Суворова, что я из вас потемкинский дух вышибу! Я вас туда зашлю, когда буду императором, куда ворон ваших костей не занесет!

— Ваше высочество, я тороплюсь. Долг превыше всего! — пролепетал Демидов.

Павел быстро отошел от потемкинского адъютанта. В раздумье он внезапно повернулся и, к большому удивлению всех офицеров, выкрикнул Демидову:

— Молодец! Бравый офицер! В добрый путь!..

Через десять минут Николаю Никитичу подвели его скакуна. Он быстро вскочил в седло, перед ним подняли шлагбаум, и все сразу отошло назад, как скверный сон.

С тяжелым сердцем Демидов поскакал в Санкт-Петербург. С запада ветер пригнал тучи, скупое осеннее солнце скрылось, и заморосил дождь. С невеселыми думами Николай Никитич торопился в столицу. Прошло два часа, и она стала подниматься перед ним в серой мути осеннего дождя...

Явившись к статс-секретарю Храповицкому, Демидов со слезами на глазах вручил ему известие о смерти Потемкина. Храповицкий передал его Екатерине Алексеевне и вернулся к Демидову.

— Посиди у меня! — печально предложил статс-секретарь. — Большое горе посетило нас и государыню... Плачет! — чуть слышно ответил он на немой вопрос Демидова.

Храповицкий был бледен и расстроен.

— Что же теперь мыслишь делать? — обратился он к Демидову. — Будешь ли служить в войсках или вернешься в Санкт-Петербург, в гвардию?

— Ни то, ни другое! — решительно ответил Николай Никитич. — Буду просить вас и всемилостивейшую государыню отпустить на заводы!

Храповицкий поднял глаза и одобрительно посмотрел на опекаемого:

— Ты решил правильно! Пиши просьбу и поезжай. Я всегда твой ходатай перед монархиней.

Они грустно переглянулись и больше не проронили ни слова.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В 1793 году Николай Никитич Демидов достиг совершеннолетия, которое отпраздновали в Нижнем Тагиле пальбой из пушек, колокольным звоном, торжественным молебном и шумным пиром. Управляющий Тагильскими заводами Александр Акинфиевич Любимов не пожалел денег, чтобы отметить знаменательный день своего хозяина. Теперь Николай Никитич становился полным властелином десятка уральских заводов и вотчин, раскинутых по многим губерниям Российской империи. Увы, он становился также обладателем многих векселей, выданных им ростовщикам в бурные годы гвардейства. После торжественного молебна молодой Демидов был введен во владение своим уральским горным царством.

На площадь перед демидовским дворцом выкатили бочки с сивухой и пивом для работных. Управляющий наказал, чтобы мужики явились благопристойно одетыми, а бабы — в пестрых сарафанах, чтобы хороводы водили и по чести величали господина. Но только дорвались люди до хмельного, как пошло шумное, гамное и куражное веселье. Куражились все: и поп по прозвищу «Не балуй, батя», и приказчики, и мужики, и бабы. Скудельного козла, что с давних лет жил при пожарке, и того, озорства ради, напоили пьяным. Седобородый козлик блеял, шатался и все старался боднуть. Попику это пришлось не по нутру, и он, засучив рукава, полез в драку. Подслеповатый дьячок удерживал священнослужителя от соблазна. Весьма охочий до ядерных и румяных баб и любитель подраться на кулачки, батюшка взывал:

— О господи, искушения ноне сколь! И потешиться не дают грешному!

Оставив козла, духовный отец забрался в самую гущу людей, где больше всего толпилось хмельных баб, и старался как бы ненароком ущипнуть какую-либо молодку за крутой бок.

Только управитель заводов Любимов держался благопристойно и на все вопросы своего хозяина отвечал вдумчиво и основательно. Как он не походил своею наружностью и повадками на старых тагильских приказчиков! Дородный, с окладистой выхоленной бородой, с умными глазами, он выглядел внушительно. Носил Александр Акинфиевич

кафтан из добротного темного сукна, не признавал барских выдумок: тонких сорочек с кружевами, париков и дорогих шляп. С работными управляющий вел себя ровно, но сугубо строго. При разговоре не выходил из себя, говорил спокойно, с весом и тем вызывал почтение. Окончив горнозаводскую школу, он понимал толк в письме и счете. К Демидову Любимов относился почтительно, но не лебезил перед господином. Если бы не уральский крепкий говорок, можно было бы счесть Александра Акинфиевича за помещика средней руки. И жил он скромно, хотя, без сомнения, откладывал на черный день. В его небольшой квартирке всегда соблюдалась чистота и опрятность, не было ни суеты, ни шума, а тем более — ругательств. Молчаливая и приятная жена Варвара Тихоновна покорно во всем подчинялась мужу, но он, однако, не пользовался своею властью во вред семье.

Николай Никитич ценил своего управителя: Любимов не кричал, не топал ногами, не терзал работных батогами, рогатками и побоями, как это в свое время делал приказчик Селезень. Александр Акинфиевич умел тихо, без крика и угроз, выжать из работного все силы. Были подозрения, что он равнодушен к хозяйскому добру. Но не пойман — не вор! Вел он заводское хозяйство рачительно и если притаивал от Демидова, то делал это умело и незаметно. Про него в народе ходила поговорка: «Живет так, что волк цел и овцы пока с голоду не перевелись!»

Вот и сейчас, пребывая с Николаем Никитичем на балконе дворца, разглядывая пьяную толпу, он спокойно рассуждал:

— На гулянку много потратили, господин; однако все в свое время вернется с лихвой. Взгляните, сударь, на работного: народ ноне пошел решительный и отчаянный. Смотрит волком, только и ждет часа, чтобы вцепиться в горло хозяевам. Такой народ надо держать и строго и ласково!

— С кнутом и пряником, так, что ли? — спросил, улыбаясь, Демидов.

Любимов блеснул серыми умными глазами.

— Именно так, господин! Кнутом и пряником да обещаниями можно долго еще держать народ в повиновении. На наш с вами век хватит. Главное — запомните, сударь: от работного можно и должно все выжать, но только не след его раздражать излишними грубостями! — Голос Любимова звучал ровно, вкрадчиво.

Неторопливыми шагами он отошел от балкона и поманил за собой Демидова.

Николай Никитич послушно пошел за управителем в дальние покои, в которых когда-то проживал грозный Никита Акинфиевич. Лицо управителя выглядело многозначительно. Он повернулся к хозяину и пообещал:

— Я сейчас, сударь, кое-что покажу вам, от чего душа ваша возрадуется! Кстати, и о делах потолкуем, как дальше нам жить!

Он привел Николая Никитича в длинную, хорошо освещенную комнату. Демидов поразился: в ней на белой стене в тяжелых почерневших багетах висели портреты.

— Любуйтесь, сударь! Предки ваши-с! — кивнул на полотна Любимов.

Предки выглядели солидно, внушительно. Откуда только такая важность у них взялась? Прямо перед Николаем Никитичем темнел известный портрет Никиты Антуфьевича — основателя уральских заводов. Прадед черными пронзительными глазами строго смотрел на своего выхоленного потомка. Голый высокий череп Никиты отсвечивал, и казалось, вот-вот по нему от дум соберутся морщинки. Молодой хозяин очарованный стоял перед портретом.

— Как же ты добыл эту реликвию из Невьянска? — радостно удивляясь, спросил он управляющего.

— К нашему огорчению, это копия! — со вздохом отозвался Любимов. — Однако превосходная копия. Исполнена она кистью нашего крепостного живописца Худоярова. Всмотритесь в дивное искусство: ничуть не отличить от подлинника!

— Жаль, что не подлинник! — обронил Демидов.

— Конечно, жаль, но то ведайте, что и копию сию с большими трудностями удалось снять, — хмуро вымолвил управляющий. — А удалось это потому, что новый владелец, известный вам Савка Собакин, ныне Яковлев, помер в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году, а сынок его, столичный корнет конной гвардии, в уважение к вашему гвардейскому званию только и разрешил переписать портрет... Смотрите, сударь, живет, ей-ей, живет Никита Антуфьевич! — Любимов двинулся вправо-влево, а за ним, словно живой, следовал властным взглядом Никита Демидов.

— Большой и умный хозяин был! — почтительно вымолвил Любимов. — А вот и дед ваш Акинфий Никитич, — указал на соседний портрет управитель. Из рамы, в обрамлении пышного парика и тонких кружев, смотрело строгое волевое лицо с нахмуренными бровями. — Оба эти великие зачинатели рода Демидовых отстроили двадцать три завода! — торжественно продолжал Любимов. — А вот смотрите, сударь, и батюшка ваш — Никита Акинфиевич! — перевел он взгляд на барственно обряженного и горделивого заводчика. — Не он разве положил начало прославленным Кыштымскому и Каслинскому заводам? Им же отстроен и Верхнесалдинский! Вот это люди и хозяева были! Кремень, умницы и сильная рука!

Николай Никитич с суеверным страхом разглядывал потемневшие полотна. С них смотрели кряжистые, сильные натуры: резко очерченные, волевые лица с упрямым, умным взглядом пронизательных глаз. Никуда не уйдешь и не скроешься от этих хозяев!

Демидов долго и задумчиво вглядывался в лица своих предков. В то же время как бы внутренним оком он со стороны рассматривал себя. Его так и подмывало услышать лестное слово о себе. Он лукаво посмотрел на Любимова и вежливо, мягко сказал:

— Весьма похвально, что позаботился о семейной галерее. Как видишь, демидовскому роду есть чем гордиться. А рассуди, Александр Акинфиевич, похож ли я на предков своих?

Управляющий улыбнулся:

— Я ожидал этого вопроса, сударь. И мечтаю, господин, чтобы и вы по силе и могуществу в один ряд стали со своим дедом и отцом! О том и речь поведу.

Он стал серьезным и задумчивым. Николай Никитич поморщился.

— Нельзя ли скучные разговоры о делах отложить на другой день? — попросил он.

— Нельзя, сударь! — строго вымолвил Любимов. — День ныне знаменательный: становитесь вы на широкую дорогу. Садитесь, господин, за сей стол, и я вам открою тайное, что надлежит вам знать, как владельцу многих заводов!

Демидов уселся за массивный дубовый стол. На нем лежала толстая шнуровая книга в кожаном переплете с медными застежками.

— Евангелие? — спросил он.

— Да, сие есть особое евангелие. Это книга живота и смерти рода Демидовых, — сказал Любимов и построжал. — В сей книге, сударь, как в зеркале, отображены движения дел и замыслов на ваших заводах!

— Ох, цифири! Скучно же, Александр Акинфиевич, разбираться с ними! Отложим! — запротестовал Демидов.

Управитель остался неумолим и, не отодвигая книги, начал:

— Вот вы изволили спросить меня, похожи ли вы на своих предков? Взглянув на ваш облик, каждый подтвердит это. И вы не только похожи на дедов своих, но и превзошли их внешним обликом. — Управляющий хитрым взглядом оценил сидящего перед ним хозяина и льстиво похвалил: — Посмотришь на вас — истинный вы князь! Дай бог, в добрый час будь сказано это слово! Хоть ваш батюшка и был дворянин, как есть дворянин с головы до пят: дороден, величав, умен. Ох, умен! Но вы, Николай Никитич, пошли дальше их! Тут и сомнений не может быть!..

Помедлив, Любимов протянул руку к толстой книге, расстегнул медные застёжки.

— А теперь заглянем в сию библию и посмотрим, кто же вы такой, господин мой, и что делается у нас? Власть и могущество господ Демидовых зиждутся на работе заводов. Вотчины и оброчные статьи в счет не могут идти. Судите сами: в доходе за девяносто первый год оброчная сумма составила всего тринадцать тысяч рублей! Велики ли сии деньги в сравнении с заводскими доходами? Мелочь, сущая мелочь, господин! Обратимся к работным людям. Ваш блаженной памяти батюшка Никита Акинфиевич имел от заводов в год доходишко в двести шестьдесят пять тысяч рубликов, а если прикинуть сие по цифирной науке, то выходит, ваш батюшка имел восемьдесят восемь процентов чистой прибыли! Где это видано, и отколь сие взялось? Надо уметь, государь мой, вести заводы и работную силу использовать до доньшка... Всплачутся? Ничего! Без слез, пота и даже крови... — тут Любимов снизил голос до шепота и повторил: — Да, без крови не создашь великих богатств!

Николай Никитич поморщился и снова перебил:

— Скучный разговор ты затеял!

Управитель встрепенулся:

— Это верно, не радостный. Но если уразуметь цифры, то они, как песня, всколыхнут душу. Вы, господин, потерпите. Обратимся

сейчас к нашим делам. Если возьмем опять семьсот девяносто первый годик, когда вы пребывали на службе у светлейшего князя Потемкина, то по московской конторе доход был от продажи железа триста десять тысяч рублей, а расход — триста семь тысяч! Кажись, и остаток был! Но не радуйтесь прежде времени, сударь: остаток объясняется тем, что в ход пошли в тот годик деньги, которые хранились со смерти вашего батюшки в железных сундуках. Выходит, и здесь нет утешения. Но горше получается, если взглянуть на расходы ваши. Куда шли-катились денежки? На расширение заводов, на стройку новых? Не бывало этого, господин! По одной московской конторе вами израсходовано двести тысяч рубликов! Каково? А всего — не приведи бог! — безнадежно махнул рукою управитель. — Вот и захирение началось, вот и долги пошли! И еще подумайте: двум сестрицам по наследству полагается выдать немалые суммы, а где их взять?

Управитель пытливо уставился на Демидова. Николай Никитич недовольно пожал плечами:

— К чему вся эта речь, Александр Акинфиевич?

— Должен по правде сказать вам, господин, что расточительность к добру не ведет!

— Я не расточительствую! — гневно перебил Демидов и вскочил из-за стола.

Большими нервными шагами он заходил по портретной. Любимов не растерялся; он встал и почтительно-угодливо следил за господином.

— Откуда ты это взял? — остановившись против него, недовольно спросил Николай Никитич.

— Может быть, мною не то сказано, что хотелось, мой господин, — смущенно ответил управитель. — Но сравните сами: ваш батюшка за два года путешествия истратил за границей семьдесят пять тысяч. Велики деньги, но и умного немало извлек из сих странствований Никита Акинфиевич. Теперь же иное пошло. Управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилович Данилов установил вам, господин мой, на личные расходы восемьдесят тысяч в год. Сумма превеликая! И что же? Далекое, весьма далеко вами превзойдены оные суммы! При таких расходах упадок заводов идет! Вы не сердитесь, Николай Никитич, что в такой день да такие речи повел...

Демидов тяжело опустился в кресло.

— Вот обрадовал, ох, обрадовал меня! — вымолвил он с горечью. — Что же теперь будем делать? Неужели выхода нет?

Уверенность сошла с лица молодого хозяина. Он поник и с надеждой взирал на управляющего:

— Что делать?

— Выход имеется, господин мой! — твердо ответил тот. — Вы сами кузнец своего счастья! Надо умерить расходы и пустить деньги на процветание заводов. А дабы долги и недостатки покрыть, срочно надо раздобыть деньги.

— Легко сказать! Да где их взять в долг? — огорченно выкрикнул Николай Никитич.

— Долгов избегайте, мой господин. Потребно приращение богатств устроить иным путем.

— Грабежом заняться прикажешь на большой дороге? — с насмешкой сказал Демидов.

— Зачем грабить? А не лучше ли жениться? — отрезал управитель и замолчал. Безмолвствовал и хозяин. Долго длилось тягостное безмолвие. Снова тихо и вкрадчиво заговорил Любимов:

— Иного выхода не вижу... Невесту бы из старинного рода, да побогаче. И все хорошо!

— Да где такую найдешь?

— Поезжайте, господин, в Санкт-Петербург, там и увидите! Много хороших людей проживает там. Есть и Строгановы, и Всеволожские, и Гагарины, да мало ли знатнейших дворянских фамилий на Руси! Поезжайте, господин мой!

Демидов призадумался и снова заходил по комнате.

Впервые на петергофское гуляние Николай Никитич отправился в духов день. Вместе со старым потемкинским сослуживцем Энгельгардтом он солнечным утром выехал в своей фамильной карете в Петергоф. Несмотря на ранний час, шоссе поразило их своим веселым оживлением. По направлению к взморью катились тысячи карет, экипажей, дрожек, гитар^[11], в которых ехало самое разнообразное общество. Их обгоняли кавалькады блестящих гвардейских офицеров. Всю дорогу раздавались смех, шутки; веселье захватило всех в это чудесное летнее утро. Карета Демидова лишь к

полудню пробилаь к Петергофу, ласкавшему глаз свежей зеленью парков.

Неподалеку от фонтанов Николай Никитич приказал кучеру остановиться и вместе с другом пошел по тенистой аллее. Здесь гуляло много военных и столичных модниц. Что за красавицы встречались тут! Под взглядом озорного повесы они томно опускали глаза, но все же Демидов успел перехватить не одну мимолетную женскую улыбку. Гуляющие медленно двигались к фонтанам и прудам. Впереди, где распахнулось голубое небо, на фоне его, рассыпая миллиарды сверкающих брызг, на жарком солнце искрометно били журчащие фонтаны. Вот и пруд? В прозрачной воде пламенем горели сотни играющих золотых рыбок. На берегу стояли кавалеры и дамы, любясь прекрасным зрелищем. В глубокой зеркальной воде пруда со всеми оттенками отражались блестящие мундиры военных, наряды дам, улыбки, блеск жемчужных зубов и медленно плывущие белые облака.

Демидов долго не мог оторвать глаз от чудесных видений, которые влекли к себе. На душе было отраднo, необыкновенно легко; приятное ощущение своего здорового, сильного тела наполняло его. Случайно он поднял взор и увидел девушку. Кровь ударила ему в голову.

Среди дам и блестящих кавалеров стояла высокая, тонкая красавица с прелестным свежим лицом. Золотистые волосы небрежными витками выбивались из-под шляпки и оттеняли нежный румянец. Продолговатые, с длинными ресницами, большие глаза были полны блеска.

«Ах, боже мой, что за прелесть!» — восхищенно подумал Николай Никитич и придвинулся поближе. Она взглянула на юношу, незаметно улыбнулась и скромно опустила глаза. Личико ее слегка вспыхнуло, отчего девушка стала еще привлекательнее.

Демидов склонился над прудом и стал искать ее отражение. Среди улыбающихся лиц, киверов, зонтиков он увидел соломенную шляпку кибиточкой, на которой распустила свой бутон бледная чайная роза. И там, в подводном зеленом царстве, взгляды их еще раз встретились.

«Что за создание!» Снова восторг наполнил его сердце.

Он сильно пожал руку Энгельгардту и, незаметно кивнув в сторону красавицы, прошептал:

— Скорее скажи, кто она?

Приятель удивленно посмотрел на Демидова.

— Елизавета Александровна Строганова — предмет вожделений многих! — сухо сказал он. — Не пытайся! Огромные вотчины в приданое, но еще большее число стремящихся стать женихами!.. Впрочем, твое дело...

Он отвернулся и опять залюбовался резвой игрой золотых рыбок.

Не замечая больше ни общества, ни пруда, Демидов осторожно и очень ловко приблизился к девушке. Он видел только ее одну и думал лишь о том, как бы представиться ей, не нарушив светского этикета. Но тут случилось неожиданное и весьма удачное происшествие. Девушка в растерянности обронила платок и жеманно вскрикнула.

Молодой повеса понял это в свою пользу. Он быстро наклонился, схватил на лету легкий, как пена, кружевной платок и подал Строгановой. Она покраснела, как пион, и сделала ему низкий реверанс.

Демидов открыл рот, чтобы представиться, но кавалеры и дамы, смотревшие рыбок, вдруг снялись шумной стайкой и увлекли красавицу за собой...

Один, всего лишь один раз, на повороте аллеи, ему удалось поймать на мгновение взгляд милых, пленительных глаз.

— Что, брат, не повезло! — насмешливо вымолвил Энгельгардт. — И неудивительно! Ее окружает столько тетушек, родных, знакомых... Пора, Демидов, к дому!..

Наступал вечер; на широкое шоссе, окаймленное рядами густых тополей, лилось золотое сияние ясного теплого заката. Снова тысячи карет, экипажей, гитар шумно катились к Санкт-Петербургу. Опять блестящие кавалькады обгоняли их. Сидя в коляске, Николай Никитич все время беспокойно озирался. Напрасно! Среди пестрого оживленного потока он не отыскал семью Строгановых.

В поздний час, когда в небе засеребрилась призрачная белая ночь над Санкт-Петербургом, Демидов все еще не мог успокоиться и решил проехаться верхом. Освеженный, одетый в черный бархатный камзол, он вскочил в седло и медленно поехал вдоль Мойки. И только не доезжая Невского, он угадал свою сердечную тоску: над рекой, на углу проспекта, против Демутова трактира, высился дворец, построенный Растрелли для старого Строганова. Демидов много раз любовался превосходным творением зодчего и понимал, почему вельможа

предпочитал его другим дворцам, построенным им во множестве в своих вотчинах и в столице. Он жила только в этом и еще в двух-трех, другие же пустовали и постепенно разрушались.

В задумчивости Николай Никитич ехал вдоль набережной, и взор его невольно поднялся к окнам, выходящим на Мойку. Там, во втором этаже, в распахнутом окне он увидел знакомое личико. Девушка сидела в мечтательной задумчивости, положив головку на ладонь. Светлые локоны буйно ниспадали на лицо, большие зовущие глаза чудесно сияли.

Юноша поймал девичий взгляд.

Она растерянно вскочила, схватилась рукой за сердце и мгновенно растаяла в темном окне. Лошадь неторопливо пронесла Демидова мимо дворца. В сердце его боролись радость и тоска. Спустя полчаса он снова вернулся сюда, но все было тихо, окно закрыто, зеленый свет месяца струился над крышами Петербурга, и чуть-чуть шелестели тополя у решеток набережной. Николай Никитич понял, что он влюблен, и влюблен по-настоящему...

Через Александра Васильевича Храповицкого уральский заводчик получил приглашение на бал в строгановский дворец. С большим волнением Демидов вошел в гостиную, где ожидал встретить обожаемое существо.

В отделке обширного, великолепного дворца чувствовался тонкий вкус замечательного зодчего Андрея Никифоровича Воронихина. Хотя дворец возводил Бартоломео Растрелли, но, по желанию Строганова, его перестраивал и переделывал русский художник, выписанный бароном с Урала. Особенному переустройству подверглось внутреннее убранство дворца, где каждая деталь подкупала своей изумительной чуткостью и пленяла взор тонкостью рисунка. Как непохожи были демидовские покои на эти творения замечательного зодчего! И там и здесь работали те же крепостные люди. С далекого Каменного Пояса, из Усоля, Соликамска, Ильинского и Чердыни Строганов выписал крепостных умельцев-мастеров: каменщиков, лепщиков, художников, и они в несколько лет по замыслам Воронихина сотворили это чудо, которое пленяло многих знатоков искусства.

На верхней площадке лестницы Демидов неожиданно увидел опекуна Елизаветы Александровны, гофмаршала Александра Сергеевича. Это был пожилой человек среднего роста, слегка сутулый.

В пышном парике и в коричневом, шитом золотом камзоле, он барственно-величаво чуть приметно поклонился гостю. Его усталые темные глаза при этом оживились. Барон, видимо, поджидал более высокого гостя, но сейчас не погнушался и Демидовым. Взяв Николая Никитича запросто под руку, он провел его в зал, где только что начинались танцы. С хоров, как половодье, лилась возбуждающая музыка, и на обширном блестящем паркете устанавливались пары. В ярком сиянии хрустальных люстр Демидов торопливо отыскивал глазами Елизавету Александровну. Он заметил ее в обществе тетушек и красивого черноватенького гвардейца. На сердце слегка заняло от ревности, но Николай Никитич быстро справился с этим и, невзирая ни на что, устремился к ней и пригласил на экосез^[12]. Она величественно кивнула головкой, подала ему руку в белых митенках^[13], и они понеслись в плавном танце. Демидов замирал от восторга: она была рядом с ним, он не мог ни отвести глаз от покрасневшегося личика, ни начать разговор. Она же робко опустила взор, и ее небольшая грудь чуть-чуть вздымалась от скрытого волнения.

Он хотел рассказать ей о своих думах, навеянных прошлой встречей, но в эту минуту с внушительным видом вошел в зал дворецкий, поднял жезл, и музыка оборвалась на полутакте.

— Его высочество великий князь Павел Петрович! — торжественно оповестил слуга.

По залу прошло нескрываемое волнение. Все потеснились, кавалеры и дамы выстроились вдоль прохода, направив возбужденные взоры на распахнутые двери.

В сопровождении хозяина, позванивая огромными звездчатыми шпорами, в ботфортах и с тростью в руке, быстро вошел небольшой худенький человек. Демидов сразу узнал цесаревича. Он был в излюбленных им белых лосинах, которые плотно обтягивали его тощие ляжки. Из-за отворота зеленоватого мундира блистали бриллиантовые звезды, а на шее на золотой витой цепи висел большой белый крест. Маленькое сухое лицо великого князя и на сей раз показалось Демидову блеклым и плоским; в пышном белом парике, заплетенном позади небольшой косичкой, оно выглядело незначительным. В левой руке цесаревич держал огромную треуголку с плюмажем из страусовых перьев...

Павел на мгновение остановился, вскинул голову и стукнул тростью. Сразу все снова пришло в движение: дамы присели в глубоком реверансе, а кавалеры низко поклонились.

Цесаревич скупно улыбнулся и, высоко поднимая ноги, ставя их на полную ступню, пошел среди примолкнувшего общества. Его широкий рот все время пытался улыбнуться, но это походило на неприятный оскал.

Демидов стоял рядом с Елизаветой Александровной, когда цесаревич, минуя всех, остановился подле нее, бесцеремонно протянул сухую руку и, взяв девушку за подбородок, сказал:

— Как прекрасна!

Великий князь поклонился Строгановой, приглашая на танец; в ту же минуту подбежал адъютант принять из его рук треуголку и трость. Елизавета Александровна оказалась в паре с цесаревичем.

С хоров снова полилась музыка, и пары закружились в менуэте.

Всего несколько минут длилось это удовольствие. Глаза девушки блестели, округлялись, она вся пылала от счастья. Великий князь в такт танцу склонял голову, и его пышный парик колебался. По сравнению с цветущей, сияющей молодостью партнершей он казался хилым и жалким, хотя старался придать своим движениям величественность. Он провел ее через весь зал и затем откланялся. И вновь танцоры отступили в стороны, а Павел в сопровождении Строганова удалился в дальние покои.

В этот вечер Николай Никитич больше не видел великого князя. Через час лишь он мелькнул в конце зала, на выходе, окруженный адъютантами, и исчез так же внезапно, как и появился.

Елизавета Александровна взяла Демидова под руку и отошла с ним в сторону. Они прошли анфилады комнат, полных гостей, и наконец в маленькой угловой гостиной присели на диван.

— Понравились вам петергофские фонтаны? — непринужденно спросил он.

Она склонила головку на длинной шейке и прошептала:

— Весьма...

— Помните пруд и золотых рыбок?

— Не спрашивайте! — тихо ответила она и сильно сжала его руку.

— А вечер, час белой ночи?

— Мне стыдно! — еще ниже она поникла головкой.

— Какое вы еще дитя, моя милая! — восхищенно промолвил он и впился взором в худенькие плечи.

В эту минуту она была очень хороша, с полуоткрытым ртом и милой улыбкой на устах.

— Как вы сказали? — дрожащим голосом переспросила она.

Гостиная опустела. Демидов ничего не ответил, он нежно притянул ее к себе и прошептал на ухо:

— Я люблю вас...

Она мигом вскочила и побежала к двери:

— Скорее, скорее... Последний танец...

Над городом погасло серебристое сияние белой ночи, прозрачные дали померкли, и тихо шелестели тополя над Мойкой. Демидов вернулся домой, а на душе все еще продолжался праздник. Он велел Орелке разбудить Данилова и немедленно притащить к себе.

Слуга привел встревоженного управителя. Павел Данилович был в одном халате, в ночном колпаке и шлепанцах.

— Не дал и одеться толком, оглашенный! — пожаловался он на Орелку. — Что стряслось, Николай Никитич? Неужели опять беда настигла вас, господин?

— Жениться надумал! — выпалил Демидов.

— Что ж, дело хорошее, одобряю! — облегченно вздохнув, отозвался Данилов, но тут же снова помрачнел. — А невеста кто же, позвольте спросить? Ежели голь-шмоль, то и мы нонче не богаты. Что тогда, господин, запоем?

— Понравилась мне весьма Елизавета Александровна Строганова! Вот кто!

— Слава тебе господи! — перекрестился управитель. — Только что ж, она согласна, невеста-то? Разговор имели с их родственничками: она ведь сиротка? — пытливо уставился на хозяина Павел Данилович.

— Ни с кем не беседовал. Вот и не знаю, как к сему делу приступить? Через кого?

— Тут просто сваху засылать не гоже! — в раздумье присоветовал управитель. — Это тебе не купецкая дочь. И так я думаю, мой господин: отправляйтесь к опекуну своему Александру Васильевичу и попросите его пособить в таком щекотливом деле...

— Борода! Ух, и умная борода! — схватил Данилова в обнимку Николай Никитич и закружился с ним по комнате.

— Да побойтесь вы бога, господин, у меня от ваших радостей голова кругом пошла!..

На другой день Демидов поехал во дворец и был принят статс-секретарем императрицы. Он, не таясь, рассказал о своих намерениях Храповицкому.

— Я тебе друг и покровитель, — ласково ответил Александр Васильевич. — Вижу, ты перебесился и за ум взялся. Похвально! Пора зажить порядочной жизнью. Если родные ее ополчатся, то станем просить заступы у матушки нашей государыни...

Однако защиты не пришлось просить. Через три дня Храповицкий сам приехал на Мойку в демидовский особняк. Он и увез своего опекаемого к Строганову.

На сей раз гофмаршал принял гостей в продолговатом полутемном кабинете, заполненном книгами. В комнате все выглядело просто: письменный стол красного дерева, диван и кресла. Ничего лишнего.

Строганов поднялся навстречу прибывшим и усадил против себя. Он был в темном бархатном камзоле, в башмаках с серебряными пряжками и в парике. Перед ним лежали раскрытые фолианты, гравюры, а поверх них лупа и очки в черной оправе.

У Строганова было немного желтоватое продолговатое лицо с широко расставленными усталыми глазами и мясистым, толстым носом. Оттопырив нижнюю губу, он с улыбкой смотрел на гостей.

Храповицкий без обиняков весьма учтиво и коротко изложил причину приезда.

Глаза Строганова стали серьезными, он промолчал.

Наконец он встал, протянув руки, подошел к Демидову и обнял его:

— Я буду рад породниться с вами, если Лизочка даст свое согласие.

— Ну вот и хорошо! — радостно вздохнул Храповицкий. — Для всех, разумею, будет хорошо... Чаю я, что Елизавета Александровна не будет против.

Спросили девушку; она стыдливо подняла глаза на опекуна и ничего не промолвила, но Строганов понял все и без слов.

Укоризненно покачивая головой, он сказал:

— Да я вижу, вы тут и без меня столкнувались... Ну, дай бог, в добрый час! — Он приблизился к племяннице и поцеловал ее в лоб. — Будьте счастливы...

Вскоре за этим последовала свадьба, а спустя неделю Демидовы отправились в дальнейшее путешествие. Николай Никитич с супругой посетил Англию, Германию, Францию и побывал на острове Эльба, где осматривал рудники. Сопровождал его управитель нижнетагильских заводов Александр Акинфиевич Любимов, которому вменялось в обязанность досконально изучить горное и литейное дело и, что гоже, перенять для своих уральских заводов.

Через два года Демидовы возвратились в Россию и на короткий срок поселились в строгановском дворце.

Весной Николай Никитич выехал на Урал один, чтобы подготовить тагильский дворец к приему молодой жены. В короткий срок он добрался до старинного дедовского завода. Весна была в полном разгаре, прекрасный вид открывался с балкона на пестрые луга, зеркальный пруд и горы, покрытые хвойными лесами. Теплый ветер ласкал лицо, а солнце слало золотые потоки света, и в этом чудесном сиянии особенно хорошо выглядел запущенный сад, охваченный буйным цветением. Ночи стали прозрачными и короткими, рано светало, и на утренней заре с речки Тагилки плыл легкий туман над мокрой травой. Горласто кричали петухи в заводском поселке у Ключей.

Весна всегда приносит обманчивые и неопределенные, но сладкие надежды. Щемящее душу приятное ожидание чего-то хорошего наполняло сердце Демидова. Стоя на балконе, он жадно вдыхал пряный живительный воздух. Оттуда, где на берегу Тагилки в белой пене раскачивались кусты черемухи, наплывали волны такого сильного и сладкого запаха, что начинала кружиться голова. И снова, как весеннее наваждение, на Демидова нахлынули беспокойные думы о женщине. Они охватили его, как неодолимый сон, и горячили кровь.

Чтобы успокоиться, Николай Никитич ушел в купальню, разделся и поплыл по пруду. Холодные струйки подводных родников обожгли тело. Над гладью вод звучали громкие голоса, на мостках бабы гулко

били вальками мокрое белье и весело перекликались, показывая на плывущего Демидова. На берегу лежала опрокинутая лодка. Подле нее трудились старик и загорелая девка, одетая в пестрое домотканое платье. Над ведром с кипящей смолой поднимался тонкий виток дыма: седобородый рыбак смолил челн.

Рыжеволосая молодка тихо отошла от суденышка, уперлась руками в бока и задумчиво стала разглядывать тихий плес, на котором медленно раскачивались белые водяные лилии.

Демидов саженками подплыл поближе и залюбовался девушкой. Легкий ветер прижимал платье к ее сильному телу, обтекая молодые упругие формы. Завидя подплывающего мужчину, она нахмурилась. И таким милым, прекрасным было ее круглое загорелое лицо. В сердце Николая Никитича вспыхнуло знакомое ощущение любовной тоски. Он подплыл ближе и, нащупав ногами дно, встал среди сочной заросли.

— Эй, сынок, далеко забрался! — отечески пожурил старик.

— Нельзя голомя! — сдвинув брови, мягким грудным голосом крикнула девушка.

Она стояла все в той же горделивой позе, чуть-чуть закинув голову. Рыжие густые волосы спадали на плечи, во всем ее сильном теле, в загорелом смуглом лице было много нетронутой чистоты, прелести и радости жизни.

— Послушай, кто же ты? — ласково окликнул ее Николай Никитич.

— А я вас сразу узнала, барин! — отозвалась она. — Разве не помните Дуняшку? Рыжанкой вы прозвали и по тальнику гонялись за мной, еще мисс Джесси ругали вас за озорство... Скорее плывите до купальни! — Она блеснула зеленоватыми глазами и отошла к лодке.

«Неужели это Рыжанка? — подумал он. — Какая прелесть!»

Демидов нырнул, быстрые движения разгорячили его. Легко он доплыл до купальни, там выбрался из воды и проворно оделся. Из головы не выходила Рыжанка. В сравнении с ней жена неожиданно показалась слишком хрупкой, неземной, без огня и страсти.

Он почувствовал себя неловко, стремился отмахнуться от мыслей о Дуняшке, но в глазах все еще сверкала ее простая, милая улыбка, и никуда нельзя было укрыться от влекущих зеленых глаз.

«К чему томиться? И что в том худого, если я приближу ее к себе?» — раздумывал Демидов, стараясь оправдать свое влечение.

Он вызвал управителя и, нисколько не смущаясь, сказал ему:

— Тут девка одна есть, Дуняшка-Рыжанка!

— Красавица! — вставил Любимов.

— Так ты пришли ее в услужение ко мне. Понял? — вразумительно посмотрел на него хозяин.

«А как же супруга? Вот-вот наедет!» — хотел было возразить управитель, но покорно склонил голову:

— Что ж, можно прислать в услужение! Только должен по совести сказать вам: девка эта с коготками!

— Не страшно! — беззаботно отозвался Николай Никитич. — Ты не тяни долго. Сегодня присылай!

По заводу и во дворце шли спешные приготовления. Торопливо чистились заглохшие дорожки в саду, на острове стучали топоры, плотники восстанавливали храм Калипсо. Заново окрашивались стены барского дома. Покои хозяев обтягивали штофом, китайским шелком, обновлялись паркеты, промывались старинные хрустальные люстры. С утра до ночи в барском доме сутились слуги, раздавались песни, крики. Заводские женки с подоткнутыми подолами, с загорелыми плотными икрами шлепали по лужам, разлившимся по комнатам. Они скребли, терли, наводили чистоту. Среди ядреных, здоровенных поломоек Демидов увидел и босоногую Дуняшу с высоко засученными рукавами. Наклонившись тонким станом, она проворно водила мокрой тряпкой по полу. Демидов взглянул на мелькавшие белые икры, залитые грязной водой, на ее тугие загорелые руки, увидел сильные и ловкие движения, и кровь в нем забурлила.

— Так ведь я для услуг велел тебя прислать! — приглушенно сказал он, подойдя к ней.

— Вот я и пришла! — спокойно сказала она и насмешливо взглянула на хозяина.

Выпрямившись, она держала в левой руке тряпку, с которой стекала на пол грязная вода, а правой утирала пот, выступивший на покато чистом лбу. Несмотря на неприглядную обстановку, Дуняшка показалась Николаю Никитичу еще привлекательнее.

— Ты ко мне иди сейчас! — взволнованно предложил он.

— Мне и тут дела хватит, барин! — ровно и беззаботно отозвалась она.

— Тут дела для других, а для тебя у меня особое дело! — подчеркнул он и глазами указал на покои.

Выжав тряпку, Дуняша покорно пошла за ним. Босые девичьи ноги оставляли на полу мокрый след. Заводские женки позади зашушукались. Демидова разбирала досада.

«К чему сегодня нагнал столько баб! Один день можно было обождать!» — недовольно подумал он о Любимове.

Он слышал, как за его спиной тихо и мягко ступала Дуняшка. Теперь она не смеялась своим серебристым волнующим смехом. Девушка тяжело дышала. Оба они сейчас хорошо понимали друг друга.

Идя за хозяином, Рыжанка горела от стыда и горя. Она отлично знала, зачем позвал ее барин, и со страхом переступила порог личных покоев хозяина. Высокие своды, тяжелая мебель, бархатные портьеры, бронза — все подавляло Дуняшу. На память невольно пришли рассказы стариков о прежнем владельце завода Никите Акинфиевиче, о Юльке и несчастной судьбе Катеринки — Медвежий огрызок. Вон в углу распахнутая дверь и лесенка. Не в светелку ли она ведет, в которой томилась горемычная Катеринка?

Демидов закрыл за собою дверь и, указывая на мебель, сказал Рыжанке:

— Оботри все, что тут есть!

Осторожно, озираясь, она стала переходить от вещи к вещи, бережно стирая пыль. Руки не слушались, дрожали. Следом за ней ходил Николай Никитич и, указывая перстом на кресла, глухо приказывал:

— И вот здесь нужно...

Голос его звучал нервно, жарко, а глаза так и шарили по ее рукам. Рыжанке стало страшно. Капельки пота выступили на золотистой коже лба. Она подняла руку, чтобы отереть их, и в это мгновение глаза девушки встретились с его отуманенным взглядом. Демидов вырвал из ее рук и отбросил мокрую тряпку. Не успела Дуняша опомниться, как хозяин схватил ее в объятия и стал покрывать потное лицо поцелуями...

Как-то разом отлетел страх: вся сила, которая до сих пор дремала в теле, всколыхнула Рыжанку. Она взмахнула локтем и отбросила Демидова прочь. Он не удержался и повалился на кресла.

— Что ты делаешь, дура! — закричал он. — Зачем толкаешься?

— Не лап! Не твоя! — гордо закинув голову, выкрикнула она.

— Моя! Ты крепостная моя! Что хочу, то и сделаю! — взбесился Николай Никитич. Он двигался, словно пьяный, шумно дыша, не владея ни своим разумом, ни чувствами.

— Не подходи! — закричала она, и глаза ее дико блеснули. — Не подходи! Убью, а не дамся!

— Врешь! — весь красный, раздраженный, закричал он и протянул руки, чтобы обнять девушку.

Изо всей силы Дуняшка снова отбросила его локтем, и он покатился по паркету. Шлепая пятками, растрепанная поломойка выбежала из барских покоев. Ее звонкий голос прокатился по горницам:

— Бабоньки, не дайте в обиду! Барин озорничать вздумал!

— Ой, что ты! Что ты! — испугались бабы и всполошенным, шумным табунком окружили Рыжанку...

Однако Демидов больше не появился. За массивной дубовой дверью покоя было тихо. За окном погасал день. Луч солнца скользнул в окно и заиграл радужными огнями на хрустальных подвесках люстры.

Когда в доме успокоились, Николай Никитич вызвал к себе Любимова и сказал строго:

— Прошу тебя, Александр Акинфиевич, в другой раз не присылай сюда бесноватых!

— Слушаю! — угодливо поклонился управитель, а сам удовлетворенно подумал: «Не состоялась, стало быть, барская потеха!»

На другой день в Тагильский завод прискакал гонец и сообщил, что госпожа Демидова уже недалеко от плотины. И в самом деле, над дорогой поднялось и поплыло серое облако пыли, — приближался поезд супруги.

Тотчас ударили пушки. На доме взвились флаги. Одетый в парадный мундир лейб-гвардейского полка Демидов вышел на крыльцо в тот самый момент, когда в широко распахнутые ворота

вомчалась тройка серых коней, запряженных в зеркально сверкавшую карету.

Супруга Демидова вступила в свои новые владения.

Работных, их женок и ребят согнали на встречу молодой хозяйки. Впереди всех стоял дородный управитель завода с хлебом-солью на вышитом полотенце. Любимов зорко следил за церемониалом встречи. Он увидел, как Николай Никитич с большой важностью сошел с крыльца и направился к экипажу. Демидов сам распахнул дверцу кареты и протянул руку жене.

Из экипажа выпорхнула молодая женщина с высокой напудренной прической и в мягком сером бурнуса на плечах. Любимов замер от восхищения. Он не мог оторвать глаз от красавицы, от ее чистого и радостного лица. В васильковых глазах под длинными темными ресницами струилось много света и доброты. В ее задорной улыбке скользило милое, кокетливое лукавство.

Николай Никитич почтительно поцеловал руку жене. Покачивая маленькой головкой на точеной шейке, она прошла вперед и медленно обвела всех взглядом. Солнечное сияние осенило парик, обнаженную до локтя руку, освобожденную из мягких складок окутывавшего ее бурнуса, и голубизну продолговатых глаз. Любимову показалось, что она, после душной и пыльной кареты, как бы вся отдалась утренней свежести и солнечному теплу.

Очарованный красотой молодой хозяйки, управитель, неся перед собою каравай, предстал перед нею.

Демидова подняла на Любимова ласковые глаза и улыбнулась.

— Скажите, какие большие караваи растут здесь! Они даже пахнут. Ах, как хорошо!.. Николенька, что же мне с ним делать? — обратилась она к мужу.

— Прими, дорогая, — ласково подсказал Демидов. — На Руси таков обычай: высоких и чтимых гостей встречать хлебом-солью!

Она улыбнулась, взяла свежий пахучий каравай из рук управителя и с растерянностью посмотрела на мужа.

— Во-первых, поблагодарить нужно, милая! Во-вторых, осторожней, не опрокинь соль; по народной примете, тогда неизбежна ссора.

— Ах, я не хочу ссор! — воскликнула она капризно и осторожно передала каравай супругу.

Демидов, в свою очередь, вручил хлеб Орелке. Дядька благоговейно принял дар и степенной походкой двинулся за господами в хоромы.

Перед крыльцом остались управитель да работные с женками. С минуту на площади длилась тишина.

— Расходись, работнички! — взмахнул рукой управитель. — Нагляделись, пора и за дело!

Сквозь толпу протискался высокий тощий работный с русой бороденкой. Он хитренько посмотрел на Любимова.

— А скажи-ка ты нам по совести, Александр Акинфиевич, в каком это месте у нас на горах растут пахучие караваи? Мы-то, по простоте своей душевной, думали, что мужик-пахарь своим горьким потом и великими трудами выращивает хлебushко!

— Ну-ну, ты! Смотри, Козопасов, дран будешь! — пригрозил управитель. — Прочь отсюда!

— Вот видишь, всегда так: по совести спросил тебя, а ты уж и гнать! — не сдавался работный. — Идемте, братцы; видать, только господский хлеб на воле растет, а наш горбом добывается! — насмешливо сказал он и вместе с заводскими побрел к домам.

Вместе с Демидовой в Тагил прибыли ее слуги: камеристки, золотошвейки, повара, медик и оркестр роговой музыки, составленный из крепостных. Казалось, в демидовских хоромы воскресло былое. Снова в обширных покоях сталолюдно, шумно, зазвучал смех, а из распахнутых окон дворца доносилась музыка. Теперь нередко барский дом, прилегавший к нему парк и восстановленные павильоны на островах были по ночам иллюминированы. Тысячи площадок, шкаликов, цветных фонариков и просто горящие смоляные бочки озаряли дорожки, зеркальные воды пруда и тенистый парк.

Все дни супруги пребывали в легком и светлом настроении. Они подолгу бродили по парку, катались на затейливой галере, разубранной бухарскими коврами, и часами просиживали в храме Калипсо.

Молодой госпоже казалось, что и все кругом выглядит так же приятно, как ее жизнь во дворце. Слуги часто выносили на балкон глубокое кресло, и жена Демидова опускалась в него, созерцая горы и синие дали. Чтобы усладить госпожу, управитель сгонял ко дворцу

девок, и они с песнями водили хоровод. Бойкие заводские девки лихо плясали. Елизавета Александровна с удивлением рассматривала хоровод. Больше всего ее поражало, что плясуньи были подвижны, вертлявы, ноги так и ходили в буйном плясе, а лица девок выглядели скучно, безразлично. Одна среди них — Дуняша — горела огоньком. Ее крепкое, стройное тело было точно создано для танца, так привлекательны и плавны были ее движения. Большие зеленоватые глаза девушки при пляске то смеялись, то горели озорством. В упоении она забывала все на свете, то плыла по кругу белой лебедью, то, остановив бег, трепетала всем телом, как листок осинки.

— Хочу, чтобы для меня поплясала! — сказала управителю госпожа, и Любимов бросился выполнять желание.

Дуняшку обрядили в новенький сарафан, в косы вплели алые ленты и привели в барские покои. На широком диване сидели Демидовы. Николай Никитич впился взором в заводскую девку.

— Прелестна, не правда ли? — учтиво склонился он к супруге.

Она поманила золотоголовую красавицу:

— Подойди, милая!

Рыжанка плавной поступью приблизилась к госпоже и остановилась ни жива ни мертва. Ее золотые волосы, как солнечное сияние, радовали глаз, а из полуопущенных ресниц сыпались зеленоватые искры. Как белоствольная березка в цвету, хороша была Дуняша! Госпожа согласилась с мужем:

— Проста, но прелестна. Спляши, голубушка!

Рыжанка, будто не слыша слов своей госпожи, не двигалась с места. Застыла. С минуту длилось глубокое молчание. И вот наконец вздох вырвался из ее груди. Она вспыхнула, встрепенулась и, медленно-медленно поплыв по кругу, как белыми голубиными крылышками, затрепетала поднятыми ладошками и пошла в пляс. Дуняша закружилась, и Демидовым показалось, что все плывет вместе с ней по воздуху. Покачивая головкой, Дуняша прошла мимо Николая Никитича и метнула в него взглядом. Никто не знал, что горько, очень горько на душе девушки. На жаркие щеки красавицы выкатилась слеза, а Демидову почудилось, что из-под густых темных ресниц ее блеснул и покотился камень-самоцвет. Он крепко сжал руку жены и прошептал в упоении:

— Полюбуйся, она чародейка!

Лицо его супруги потемнело, она метнула завистливый взор на Рыжанку, а та, топнув ножкой, стала отплясывать русскую. Молодое и гибкое тело колебалось в пляске, как жгучее пламя. Демидов беспокойно завертелся. Расширенными глазами он смотрел на Дуняшу и не пропускал ни одного движения. Плясунья снова замедлила темп и перешла на тихое, медленное движение. Идя по кругу, девушка счастливо улыбалась, может быть тому, что пляска прошла, как песня спелась. И снова Демидов уловил ее жаркий взгляд.

— Хороша! — шумно выдохнул он. — Посмотри, Лизушка, на ресницы. Густые, темные, оттого и глаза горят, как звезды!

Елизавета Александровна вскочила, румянец отхлынул от ее лица.

— Вы забываетесь! — гневно прервала она мужа. — Разве можно при холопке вести подобные речи!

Дуняша встряхнула золотой головкой и стихла. Опустив глаза, чего-то ждала.

— Александр Акинфиевич, — нарочито громко сказала Демидова. — Увести ее! Больше сюда не присылай. На черную работу! Не плясать ей надо и не очами сманивать, а камень-руду отбирать!

Управитель почтительно выслушал приказ госпожи. Николай Никитич спохватился, хотел что-то сказать, но под сердитым взглядом жены потух и отвернулся.

Демидовы возвращались с прогулки, кони бежали ровно, тихо пофыркивая. Пруд застыл зеркалом, дышал прохладой. Солнце склонилось за высокие дуплистые ветлы, и по прозрачной воде разлились золотистые потоки. Из экипажа открывался чудесный вид на окрестные горы, окрашенные закатом в розоватый цвет, на синие ельники, на заводской городок. Демидова близоруко шурилась на пруд, на сияющую под солнцем листву. Лицо молодой женщины покраснелось.

— Николенька, что за вечер!

Коляска слегка покачивалась на рытвинах, но Демидов с важностью держался прямо. Он равнодушно рассматривал темные избы работных, молча проезжал мимо женщин, выбегавших на дорогу, чтобы посмотреть на барский выезд. Они поясно кланялись господам, развалившимся в экипаже, и долго провожали их угрюмыми

взглядами. Хозяин не отвечал на поклоны: к своим крепостным он относился так же равнодушно, как и к деревенскому стаду, которое бродило на покотине. Самодовольство и самовлюбленность переполняли его сытое, здоровое тело. Втайне он почитал себя властелином небольшого герцогства или даже королевства, где ему дано право упиваться властью над своими подданными. Поклоны и лесть он принимал как должное. И сейчас, сидя рядом с раздумавшейся от свежего воздуха супругой, он внимательно, хозяйски разглядывал свои владения и встречных. Оборони того бог, кто вовремя не смахнет шапки перед господином и не поклонится низко...

Вот и широкий мост. Кони свернули вправо и застучали копытами по звонкому настилу.

— Э-гей, пади! — раскатисто закричал кучер, но чем-то напуганные лошади стали пятиться и коситься злобными глазами. Правая пристяжная запуталась в постромах, и все разом перемешалось. Коренник сердито зафыркал, стал рваться вперед, но крепкие руки кучера осадили его.

— В реку опрокинут! Ой, в реку, Николенька! — в страхе закричала Демидова, хватаясь за мужа.

Заводчик подался вперед и сильным кулаком саданул кучера в спину.

— Эй, что случилось?

— Да ведь кони испугались, барин! Слепой нищеврод тут сидит, попрошайка, вот тройке не знай что и померещилось! — взволнованно заговорил слуга.

— Что за нищеврод? Откуда он взялся? — гневаясь, закричал Демидов. — Да как он смел!

— Да то наш заводской старик; был отменный литейщик, да у домны глаза ему выжгло, вот и негоден стал! — стараясь утихомирить гнев хозяина, сказал кучер.

— Нет несчастных в моем имении! Поклеп молвил! Слава господе, все при месте и хлебом сыты!

— Что верно, то верно, — угодливо отозвался кучер и, соскочив с облучка, бросился к упряжи. — Ну, ну, стой, окаянная! — набросился он на пристяжную.

Совсем близко у края моста сидел старик в серой посконной рубашке, без шапки, и держал на коленях деревянную чашку. Его не беспокоили ни топот коней, ни крики кучера.

— Подайте на пропитание, добрые люди! — протяжно запросил он.

— Эй, кто ты и откуда? Подойди сюда, старый филин! — подозвал Демидов старика.

Заслышав голос заводчика, нищий вдруг встрепенулся, поднялся и засеменял на зов. Он подошел к экипажу, склонил голову:

— Подайте Христа ради...

— Из какого завода прибрел? — строго спросил хозяин.

Старик быстро поднял голову, добрая улыбка внезапно преобразила его лицо.

— Ох, господи! Никак Николай Никитич! Батюшка, вот где довелось тебя услышать! — обрадовался старик, и на глазах его блеснули слезы умиления.

— Не знаю тебя, холоп! — строго прервал его Демидов. — Всех бродяг на больших дорогах не упомнишь!

— Аль не узнал, хозяин? — взволнованно вскрикнул нищий. — Да я же Уралко. Учитель твой! Помнишь, батюшка? — Несчастный слепыми глазами уставился в заводчика. Вместо глаз — зарубцевавшиеся раны.

— Николенька, мне страшно! Вели скорей ехать! — закричала Демидова.

— Живей, ты! — набросился хозяин на кучера и, повернувшись к слепому, холодно ответил: — Что-то не упомню такого! Мой учитель не может быть нищим! Неправда, что ты наш, заводской! Убрать с моста бродягу! — рассвирепел Николай Никитич.

На счастье ямщика, постромки распутались, кони стали на место, успокоились.

— Эй вы, серые, понесли! — зычно прокричал ямщик.

В вечерней тишине свистнул бич, и коляска покатилась. Из дрожащих рук нищего выпала чашка и угодила под колеса. Кони прогремели по мосту и свернули к барскому дому.

А позади все еще стоял осыпанный пылью старик, грустно склонив голову.

На разубранном струге Демидовы доплыли по Чусовой и Каме до Усолья, до старинных строгановских городков. Много дней стояли тишина и покой на вольном камском просторе. Елизавета Александровна впервые отправилась в свои прославленные вотчины. Захлебываясь от восторга, она поминутно восклицала:

— Смотри, смотри, Николенька, что за дивный край! И синие дремучие леса и зверь непуганый! Вот где батюшкино царство!

Она с гордостью хвалилась своими поместьями. И впрямь, вокруг простирался прекрасный край! Николай Никитич сидел с супругой в креслах, установленных на струге, подобно тронам, и любовался живописными берегами. Каждый поворот реки открывал их взорам места, одно другого чудеснее. Весна в эту пору была полной хозяйкой и на реке, и в лесу, и в сияющем голубом небе, по которому лебязьими стаями тянулись вдаль облака. Воздух был чист, напоен запахом смолы, звуками и шумом реки и леса. Кругом все пело, в кустах без умолку щебетали и спешно вили гнезда птицы.

Когда плыли по Чусовой, она бурлила и пенилась в стремительном беге, яростно бросалась на скалы, злилась, шумела и разбивалась на мириады сверкающих брызг. Чусовая бушевала, гремела у частых камней — «бойцов» и на перекатах. Но вот струг вырвался на синюю Каму, и воды стали тихими и покорными. Осеня их ровным шумом, над рекой, на высоких отвесных скалах, громоздились вековые лиственницы и кедры. Они раскидисто тянули к небу свои могучие косматые вершины. Как хороши и величественны были они в сиянии северного весеннего дня! Вот и глухая тропка вдоль берега, на ней еще не просохла земля, и совсем низко у береговой кромки едва-едва колышутся вереницы низеньких ветвистых березок.

Дивно! Эх, мать-природа, сколь благословенна ты! — не выдержал, чтобы не порадоваться, Демидов.

Но вовсе не благословенными были камские берега. От устья Чусовой плыть приходилось против течения, и приказчик пригнал к стругу ватагу оборванных, мрачных бурлаков. Они приладили к судну канаты, а к ним ляжки и поставили его до утра на прикол, а сами разлеглись на прибрежном песке, подложив под голову кто котомку, а кто просто камень. Демидов сошел со струга и с любопытством

разглядывал бурлаков. Были среди них молодые, крепкие, мускулистые и согбенные, иссушенные старики. Роднило их всех одно — тяжелая маята. От нее выглядели они злыми, изнуренными.

— Ты что, барин, так разглядываешь? — строго спросил старик, подняв взлохмаченную голову.

— Любопытно! — прищурился на него Николай Никитич.

— Завидуешь нашей доле? — дерзко спросил бурлак. — Айда, впрягайся в лямку и гуляй с нами! — Он насмешливо подмигнул товарищам, а в глазах под густыми нависшими бровями блеснули озорные огоньки.

— А куда пойдём? — не унимаясь, спросил Демидов.

— Известно куда: дорога наша пряменькая — от бечевы до сумы. От нас неподалеку, на твоём струге, полные закрома добра, а бурлацкий живот подвело с голодухи.

— Замолчи, галах! — высунулся из-за спины барина приказчик и прикрикнул на старика.

— Видишь, кричит, галахом обзывает, — спокойно отозвался бурлак. — А попробуй с нами на бечеве пройти, увидишь, как нужда скачет, нужда плачет, нужда песенки поет!

Демидов с брезгливостью посмотрел на босые, потрескавшиеся ноги бурлаков, отвернулся и пошел к стругу.

Всю ночь за бортом плескалась вода. На берегу горел яркий костер, подле него ласковый баритон душевно пел:

Зоренька занялась,
А я, млада, поднялась...

Николай Никитич прошелся по палубе, прислушался к песне и подозвал приказчика.

— Вели замолчать. Барыня Елизавета Александровна почивает!

Токая толстыми подметками, хозяин спустился в каюту и стал укладываться в постель. Супруга тихо посапывала во сне.

Утром, когда Демидовы проснулись, струг, словно лебедь, рассекая камские воды, плыл вверх. Впереди по песчаному берегу гуськом шли, впрягшись в лямки, бурлаки. Согбенные тяжелой работой,

они дружно пели тягучее, но сильное. Над речным простором неслись голоса:

Ой, ой, ое-ей.
Дует ветер верховой.
Мы идем босы, голодны,
Каменьем ноги порваны.
Ты подай, Микола, помочи,
Доведи, Микола, до ночи.
Эй, ухнем, да ой, ухнем!
Шагай крепче, друже,
Ложись в лямку туже.
Ой, ой, ое-ей!..

На сонной зеркальной глади реки пылала заря. Медленно таял розоватый туман, дали становились яснее и прозрачнее.

Елизавета Александровна взглянула вдаль и захлопала в ладоши.

— Ах, какая прелесть! Посмотри, Николенька!

Над водами плавно кружилась чайка. Она бросалась вниз, выхватывала что-то из воды и снова взмывала вверх. Ветерок был упруг, свеж, и щеки Демидовой порозовели. Николай Никитич радостно вздохнул.

— Как вольно дышится тут! А не поесть ли нам чего, милая?

Струг бесшумно двигался вперед, а на берегу раздавалась бесконечная песня:

Ох, Камушка-река,
Широка и долга!
Укачала, уваяля,
У нас силушки не стало,
О-ох!..

Загорелые до черноты, всклокоченные, мужики надрывались от каторжной работы. Изредка кто-нибудь из них оглядывался на струг и мрачным взглядом долго присматривался к барам.

Демидова брезгливо отвернулась от бурлаков.

— Кто эти люди? — спросила она старика лоцмана.

— Известно кто — бурлаки! — словоохотливо заговорил тот. — Египетская работа! Это не люди, а ломовые кони, тянут лямку от рассвета до сумерек. И нет им отдыха ни в холод, ни в ненастье. Идут-бредут тысячи верст по корягам, по сыпучему песку, по острым камням, по воде выше пояса и стонут унылой песней, чтобы облегчить душу от страданий!

С Камы в это время донесся бурлацкий окрик: «Под табак!»

Госпожа пытливо взглянула на старика:

— А это что за крик?

— Оповещают друг друга: гляди-осматривайся, глубока тут, ой, глубока река и опасны омуты! — Лоцман огладил сивую с прозеленью бороду и закончил грустно: — Красота кругом и благодать, а сколько среди сих пустынных берегов потонуло и погибло народу, не приведи бог!

— Ты вот что, леший! — бесцеремонно прервал его вдруг Демидов. — Уйди отсюда! Не расстраивай госпожу. Не видишь, что ли?

Старик взглянул на округлый стан заводчицы и, замолчав, отошел в сторону.

Давно уже погас закат, а хвойный лес и камские берега как бы затканы серебристой дымкой. Близится полночь, а призрачный свет не хочет уступить место темноте.

Спустилась белая июньская ночь, с тихого безоблачного неба льется бледно-серебристый свет, который постепенно кладет свой таинственный отпечаток на береговые скалы и леса.

А струг все плывет. Уснули люди. Только Елизавета Александровна не спит, всматривается в берега: «Скоро ли отцовские городки?»

Ночь идет, а кругом царит лишь светлый сумрак. Час прошел, и на востоке снова загорается заря. Не шелохнутся леса, не пробежит шаловливый ветер, не тряхнет веткой. На быстрой реке — мелкая поблескивающая рябь да редкие, чуть слышные всплески: на переборах играет молодой хариус. И где-то далеко на береговом камне мельтешит-манит грустный огонек: утомленные за день бурлаки обогреваются у костра...

А струг все плывет и плывет. На корме, на бунте пеньковых веревок, дремлет лоцман. Морщинистое лицо его словно мхом поросло. В бровях и ушах топорщатся седые волосы. Спит и бормочет во сне вещун...

Демидов разбудил его:

— Скоро ли Усолье?

Старик вскочил, огляделся, прислушался. Все так же у крутых берегов плещется река, еле слышно журчат родники, а кругом простерлось сонное безмолвие. Из края в край распахнулись молчаливые леса.

— Парма это, барин! Зеленое океан-море, батюшка! Гляди, гляди, ох, господи, что за красота! — указал на другой берег старик. В глубокой долине поднимался легкий туман и белой пеленой колебался над травами. В безмолвной тишине к реке выбежало стадо лосей. Вперед вынесся старый бородатый зверь; он осторожно вошел в реку и жадно припал к воде. Время от времени он поднимал прекрасную голову, настораживался, а с мягких отвислых губ его падали тяжелые капли.

Боясьдохнуть, Демидов восхищенно смотрел на красавца.

— Ну вот, — сказал лоцман — места пошли близкие, знакомые! За тем юром проглянется и Усолье!

Струг пронесло излучиной, и за изгибом открылись зеленые главки церквей, темные дымки соляных варниц, а ниже — каменные дома и огромные амбары...

— А вон и барские палаты! Тут и пути нашему конец! — сказал старик.

Лес постепенно отступил в сиреневые дали; поля кругом плоски и унылы. По скату холма, под серыми тучами, раскинулся мрачноватый городок.

Из-за горизонта брызнули первые лучи солнца, и кресты на церковных маковках заиграли позолотой. На травах заблестела роса. Все так же величаво текла Кама, но сейчас она выглядела мрачноватой и пустынной.

Демидов осторожно разбудил жену и вывел ее на палубу. Елизавета Александровна долго спросонья вглядывалась, лицо ее выражало разочарование. Прижавшись к мужу, она прошептала:

— Боюсь, Николенька, стоскуемся мы здесь!

Он промолчал. За версту от Усолья их встретила косная^[14] со строгановскими приказчиками. Бородатые мужики, здоровые и ядреные словно дубки, цепко ухватились за струг и перебрались на палубу. Низко и почтительно они поклонились Демидовым, разглядывая хозяйку.

— Ну вот и прибыли! — вздохнул Демидов. — Везите в хоромы, а потом на соляные варницы!

— Жалуй, наш дорогой хозяин! Жалуй, наш господин! — льстивым тоном заговорил строгановский приказчик, низко кланяясь заводчику. Бодрый, с улыбающимся медным лицом и темными глазами, статный старик, одетый в темно-синий кафтан, лисой вертелся подле Демидовых.

Приказчик отвез владельцев в старинные строгановские хоромы. Каменные, грузные, они походили на крепость. Под сводами их стояли прохлада и затхлость.

Во всем виднелось запустение. В огромных полутемных залах разрушались от сырости и древесного червя старинная мебель красного дерева и палисандровые паркеты. Прекрасные венецианские люстры потемнели от засохших мух, унижавших тусклую бронзу. Большие зеркала, водруженные в простенках, отсырели, казались мертвыми, отражая в себе безмолвные и неподвижные покои, из которых давно ушли хозяева.

Вся эта оставленная в парадных залах старинная дорогая обстановка, забытые и покрытые теперь толстым слоем пыли книги и бумаги на столе в кабинете, коллекции тростей и фарфоровых трубок с разнообразными чубуками, разохшиеся клавишины переносили Демидова в былую жизнь, в давние годы. Временами Николаю Никитичу чудилось, что все это он видит во сне или слышит старую сказку о спящей красавице, внезапно уснувшей вместе со своими слугами на сто лет. Все здесь застыло, оборвалось и охвачено тленом. Нельзя было без волнения рассматривать это покинутое владельцами гнездо. Елизавета Александровна растерянно смотрела на мужа. Она родилась, воспитывалась и жила в Санкт-Петербурге, имея очень смутное понятие о своих вотчинах. На соляных приисках все дела вершили приказчики. Они сбывали соль, отсылали в столицу доходы, описи имущества и продовольствие. Строгановская наследница не в состоянии была разобраться во всем этом сложном хозяйстве. Однако

ей казалось, что на далеком уральском севере, откуда идут огромные доходы, все должно выглядеть иначе. На деле же все выглядело убого и печально.

С потускневшими, разочарованными лицами Демидовы проходили вдоль залов, где когда-то кипела жизнь. Под ногами скрипели половицы. В одной комнате, загроможденной окованными сундуками, возились с писком крысы.

— Боже мой, что здесь творится! — с горечью воскликнула Елизавета Александровна.

Управитель, понимая разочарование владелицы, поторопился оповестить господ:

— Здесь, почитай, четверть века никто не жил. Известно, жилой дух покинул покои, но на половине вашей тетушки не в пример лучше!

Они миновали холодные и неуютные залы и прошли в жилую половину. На пороге их встретила сухонькая седенькая тетушка Анна Ивановна. Она протянула руки племяннице, припала к ее плечу и всхлипнула от радости.

Покои тетушки в самом деле оказались не только жилыми, но и уютными и привлекали взор своим старинным добротным убранством. Все здесь напоминало отошедший в прошлое век покойной императрицы Елизаветы.

Мебель, расставленная вдоль стен, отличалась хрупкостью, изяществом. На стенах сохранился штоф, а хрустальные бра отливали синеватыми огоньками. В столовой стоял большой буфетный шкаф орехового дерева с украшениями из слоновой кости и бронзы. В гостиной огромный диван красного дерева с высокой спинкой, отделанный бархатом вишневого цвета, такие же удобные и глубокие кресла. По углам стояли тумбы с хрустальными канделябрами.

Большие чистые окна пропускали много света и озаряли портреты в золоченых багетных рамах, развешанные в простенках. Мужчины с надменными лицами, в мундирах былых царствований, и дамы в робронах и в пышных париках — все они были представителями древнего строгановского рода.

Тетушка Анна Ивановна, сложив на груди сухие ручки, с умилением смотрела на гостей. Вся высохшая, как прошлогодний цветок, она жила прошлым и о прошлом только и рассказывала Демидовым.

Однако, несмотря на кажущуюся беспомощность, эта старая дева была весьма деятельна и деспотична. Николай Никитич заметил, что стоило тетушке взглянуть на бородатого плечистого приказчика, как он сразу тушевался и покорно склонял голову.

Тетушка вмешивалась во все дела управления заводами и вотчинами и при непорядках не давала спуска приказчикам.

Сейчас она предупредительно напоила гостей кофе с отменными сливками. Затем показала молодым владельцам покои, чисто и аккуратно прибранные. Николай Никитич обрадовался: в небольшой горнице стояли в ряд шкафы, заполненные книгами в сафьяновых переплетах. Он с любопытством стал читать потемневшую позолоту корешков. Среди книг нашел «Новости г.Флориана. В граде святого Петра 1779 года». Он не удержался, чтобы не взять в руки эту книгу и не перелистать ее. В посвящении прекрасному полу весьма деликатно писалось:

«Государыни мои, вот новые повести г.Флориана о российском платье. Повергаю их к стопам вашим, зная, что вы всегда любили писателя, коего слог, подобно тихому приятно по камушкам журчащему ручью, привлекает к себе все чувствительные сердца. Благоклонное принятие ваше, сверша желания мои, побудит меня и впредь упражняться в переводе книг, вам приятных. Но коль неспелый плод сей вам не понравится, то я, право, тужить не буду. Впрочем, имею честь быть ваш всегдашний обожатель. Переводчик...»

Демидов захлопнул книжку, и, вопреки его ожиданиям, ни одной пылинки не поднялось с покрышек и листов. Тетушка Строганова, выходит, читала прелестные фолиантики в сафьяновых переплетах. Он осторожно поставил книгу на место. А вот рядом с ней «Генриетта де Вольмар, или Мать, ревнующая к своей дочери, истинная повесть, служащая последованию к „Новой Элоизе“ господина Ж.-Ж.Руссо. Переведено с французского в Бежецком уезде. Москва. 1780 год»

Чего только не было в шкафах! Заметив внимание Николая Никитича к книгам, тетушка улыбнулась и тихо призналась:

Каждогодне выкраивается из доходов, и московский приказчик отыскивает наилучшие из книг и присылает в нашу вотчину.

Прожив в имении несколько дней, Демидов продолжал присматриваться к жизни в строгановских хоромах. В этом усольском мирке все напоминало забытую барскую усадьбу. Демидов ненароком

узнал, что, перед тем как отойти ко сну, тетушка, лежа в постели, читала французские сентиментальные романы, а горничные девки в этот час чесали ей пятки, и старая дева похрюкивала от удовольствия. Ложе госпожи окружали шесть разномастных кошек, от которых хозяйка была без ума. Был и кот Василий, но судьба привела его к прискорбному концу.

Дерзкий сытый кот, надоевший всей дворне, однажды полез в буфет и разбил дорогую чашечку Строгановой Фарфоровая безделушка оставалась единственной памятью о погребенной любви тетушки: из нее пил кофе гвардии поручик, неведомым ветром занесенный на несколько дней в Усолье. За такое великое преступление кот Васька был порот и отослан на вечное поселение в дальнюю вотчину. Отписывая владелице о доходах, управитель этого поместья каждый раз оповещал и о поведении опального кота. Эти оповещения с самым серьезным видом выслушивала старая дева и при докладе приказчика спрашивала: «А что с плутом Васькой? Как его здоровье?»

Напроказивший мурлыка и на новом месте повел себя крайне беспокойно. В один прекрасный день он полез в рыбный садок за карасиками и утонул. И хотя уже шел третий год после печального происшествия, но, зная любовь барыни к пролазе, не желая ее огорчать и боясь гнева, управитель вотчины среди прочих деловых сведений продолжал каждый раз сообщать: «А еще смею доложить вам, что кот Василий пребывает в полном здравии. От плутовства пока не отрекся и пребывает в грехах...»

Тетушка с удовольствием выслушивала эти строки и, засыпая, умиленно шептала: «Ах, проказник!.. Ах, повеса!..»

Несмотря на унылое впечатление, которое произвели на Демидова северные строгановские городки, жизнь здесь была ключом. В этом далеком и угрюмом крае десятки тысяч добытчиков трудились над оживлением лесных дебрей. Кого только здесь не было — густой крепкий говор печорцев мешался с мягкой цветистой речью волжан. Тут встречались коми-пермяки, лесной приветливый народ, и чувашаи, и татары. Во всех углах обширнейших строгановских владений шла непрестанная работа: тут в густой парме стучал топор, там жужжала

пила, а на камских речных отмелях кричали плотогоны, спасая плоты. Рыбаки с далеких рыбацких станов везли рыбу в городки, в лесных куренях жигали жгли уголь и в коробьях доставляли его к обозам. В горах гремела кайла горщика, скрипели бадейки, груженные отменной рудой. Добывали горщики руды железные, медные да закамское серебро с голубым отливом. Мужики пахари жгли бросовые ольховники, чапыжники, корчевали пни, осушали болотины и на горях высевали хлеб. На пастбищах жировали тучные стада. В городках занимались промыслами и ремеслами: в кузницах от зари до зари звенели железом ковали, гончары выделывали и обжигали горшки и прочую посуду.

Солнце только еще поднималось из-за скалистого Камня, озаряя Полюд-гору, а уж тысячи работных трудились. Погасал закат на западе, за пармой, — а хлопотуны все еще не покладали рук. Трудились вековечно, отдавая последние силы, работали за посконные портки, за кусок хлеба, приправой к которому были батоги и плети. Строгий строгановский суд не щадил работного!

По окрестной парме да по североуральским увалам и чувалам бродили кочевые народцы: манси и зыряне. Всех их Строгановы приманивали хлебушком, старой одежкой, отпускали в долг шило, иглу, топор, сети. А после удачной охоты к ним в паули^[15] являлись строгановские приказчики и обирали их, взимая за долги серебристого соболя, черно-бурую лисицу и песка.

Но наибольшие доходы Строгановым шли от соляных варниц. Пол-Руси снабжали солью Строгановы! Соль и создала им славу.

Всего не углядишь, не усмотришь, и решили Демидов с супругой в первую очередь отправиться на соляные варницы. Утро выпало ясное, теплое. По чистому небу тянулись курчавые дымки от промыслов. Они поднимались прямо столбиком над черными, грязными избами-варницами. Неподалеку темнели вышки; там насосные трубы выкачивали из недр земных соляной раствор. Его сливали в огромные лари и доставляли в варницы, где и добывалась из рассола соль.

Еще издалека от варниц вся дорога казалась покрытой серебристым инеем. От соляных амбаров до пристани, где стояли баржи, от промыслов и до варниц все было покрыто соляным налетом.

Николай Никитич направился к ближней варнице. Повар-солевар давно поджидал хозяина. Он с глубоким поклоном встретил владельцев и распахнул перед ними дверь избы. Демидова заглянула внутрь, и неприятный холодок сжал ее сердце: внутри бревенчатой избы темно, дымно. В лицо пахнуло горьким дымом, и госпожа отшатнулась. Она умоляюще взглянула на мужа:

— Может быть, не пойдём туда, Николенька?

— Нет, нет! — запротестовал Демидов. — Рачительный хозяин досконально должен знать, что у него творится на добыче!

Он первый смело шагнул в сруб, и у него сразу запершило в горле.

— Входи, входи, барин! — льстиво позвал Николая Никитича повар. — Глаза вскорости обвыкнут, все и увидишь!

Он бережно взял Демидова за рукав и потащил за собой Елизавета Александровна перешагнула порог и, испугавшись увиденного, остановилась у двери. В земляном полу была выкопана огромная яма, обложенная камнем. Из нее валил густой дым, в лицо струился непереносимый жар. Над ямой на кованых дугах висел железный ящик-цырен. В нем кипел и пузырился соляной раствор. Подповарки бегали вокруг цырена и деревянными мешалками тревожили раствор. Кругом стояли чаны и корыта. Густая влажная соль губой настыла на их закрайках. Соль светилась, капала, хрустела везде: она сочилась под ногами, блеклые сосульки ее свисали с черных матиц, она сверкала на рубашках солеваров, блестела в их бородах.

У Демидовой от разъедающих паров на глазах навернулись слезы.

— Николенька! — взмолилась она. — Может, уйдём отсюда?

Демидов не отозвался. Хотя ему стало есть глаза и слезы покатались по щекам, он внимательно выслушивал повара, рассказывавшего ему о работе солеварни. В избу натолкалось много работных с ведрами, с черпаками всем хотелось посмотреть на хозяев. Бородатые, оборванные, с язвенными лицами, они производили тяжелое впечатление. От одного вида их Демидова стало тошнить.

Из клубов белесого пара вдруг выкатился кривоногий мужичонка. Николай Никитич поморщился: у солеvara были рваные ноздри.

— Каторжный, беглый? — строго спросил он работного.

— Строгановский! Ерошка Рваный. Видишь, господин, по роже и прозвище! — насмешливо ответил мужик.

В самом деле, варнак казался взъерошенным. Без шапки, волосы бурьяном, борода спутана, пузо голо, расчесано.

— Хорош! Ай, хорош! — с ядовитой насмешкой рассматривал его Демидов.

— Какой есть, барин! От такой работенки красавцем не станешь! — сердито сказал солевар и утер выступивший пот.

— Николенька, ты только погляди, как оседает соль! — восхищенно воскликнула Демидова, заметив сверкающие кристаллы.

— Это не соль! То слезы наши окаменели! — строго сказал мужик Ерошка.

— Разве так трудно варить? — наивно спросила заводчица.

— Не приведи бог угодить сюда ни старому, ни малому! — дерзко и смело ответил Ерошка.

— Так, может быть, тебя из-за негодности в другое место перевести? — сердито предложил Демидов.

— Нет, не надо, барин, — угрюмо отозвался солевар. — От веку мы тут робыли, всю Россию своей солью кормим!

— Это ты-то кормишь? — оглядывая оборванного, изъеденного язвами работного, с издевкой спросил заводчик.

— А то кто же? — прищурился хитрый глаз, отозвался Ерошка. — Издавна известно: мужик всю русскую землю кормит: он, ратаюшка, за сохой все поле обходит, хлеб добывает, а мы на варницах — соль! Вот оно как!

— Дерзишь своему господину? — запальчиво сказал Демидов.

— Что ты, барин! Мы господ своих чтим, только и думаем о них да бога молим о здравии! — с простоватой хитрецей сказал солевар.

Говорил Ерошка спокойно, с невозмутимо серьезным видом, но в глазах его угадывалась скрытая насмешка над барином. Николай Никитич хотел обругать работного, но в эту минуту в белесом пару кто-то сильно махнул черпаком по рассолу в цырене. Блеснули брызги. Теплые соленые капли упали на губы Демидовой, она вздрогнула и схватила супруга под руку:

— Уйдем, Николенька, отсюда! Здесь душно!

Заводчик медлил. В густом тумане невидимый солевар злым басом прогудел на всю избу:

— Эх, сюда бы человека в засол, вот и мощи навек!

Покорные и тихие по виду мужики, издали ломавшие перед господами шапки, тут, в белесом тумане, вели себя иначе. Разглядывая их, Демидов сердцем почувствовал, какое глухое и мощное брожение идет среди них. Оно могуче, но скрытно и, как червь, подтачивает барство.

«Ой, опять бы не пришла сюда пугачевщина!» — с сердцем подумал он и сам испугался своей мысли.

— Что ж, идем, милая! — деланно равнодушным голосом сказал он супруге и повел ее на свежий воздух.

Ярко и радостно выглядели окрестные просторы под солнцем. Демидова не могла надышаться чистым воздухом. Как ребенок, она радовалась сейчас синеве неба и каждой травинке.

«Благодарю тебя, господи, что ты не создал меня рабой», — думала она, искренне веря в то, что порядок, который позволяет ей так легко жить, наслаждаться благами и радоваться, извечен и никогда и никто его не опрокинет.

Иного мнения был Демидов. Возвратившись в дом, он не мог освободиться от тягостных мыслей о солеварах и после долгого раздумья сказал супруге:

— Напрасно, моя дорогая, мы спорили когда-то о том, где труженику легче живется. В Тагиле работные злы и ждут своего часа, но не менее злы и солевары! Того и гляди разразится гроза. Думается мне, надлежит нам в сих дедовских владениях усилить стражу, да и шпыней завести, дабы злоязычных заводил вывести в наших городках!..

В ту пору, как Николай Никитич Демидов хозяйничал на уральских заводах, в Санкт-Петербурге совершились большие государственные перемены, принесшие для многих неприятные неожиданности. В начале ноября 1796 года внезапно скончалась государыня Екатерина Алексеевна. Хотя среди столичной знати уже давно носились упорные слухи о том, что излишества, которым предается императрица, окончательно подточили ее здоровье, все же никто не ждал такой скорой развязки. 5 ноября, после обычной утренней чашки крепкого кофе, государыня вышла в гардеробную и долго оттуда не возвращалась. Встревоженный долгим отсутствием своей повелительницы, камердинер Захар Зотов осторожно заглянул в гардеробную и нашел государыню на полу в бессознательном состоянии. Коварный паралич вдруг сразил императрицу. Во дворце поднялась тревога...

В этот памятный день Павел Петрович, в окружении своей свиты, обедал на гатчинской мельнице, расположенной в пяти верстах от дворца. Великий князь пил кофе, шутил, пребывал в самом приятном настроении, когда торопливо появившийся слуга взволнованно доложил о приезде из Петербурга шталмейстера Николая Зубова — брата фаворита. Павел побледнел и растерянно смотрел на приближенных. Внезапный приезд мрачного гвардейца, обладавшего к тому же невероятной силой, навел цесаревича на страшное подозрение. В его воспаленном мозгу мгновенно пронеслись жуткие видения прошлого. Не так ли в Ропшу наехал с компанией пьяных гвардейцев Григорий Орлов к низложенному императору Петру III? Посеревший Павел наклонился к жене и в страхе прошептал:

— Мы погибли, дорогая!

Между тем придворный слуга не уходил, выжидательно поглядывая на цесаревича.

— Сколько их? — хриплым голосом спросил Павел.

— Они одни, ваше величество! — спокойно ответил лакей.

Павел вдруг осмелел, перекрестился и решительно приказал:

— Зови!

Высокий бравый гвардеец переступил порог и упал перед цесаревичем на колени.

— Ваше высочество, вас ждут в Санкт-Петербурге. Государыня при смерти.

Павлом овладело волнение. Он засуетился, забежал по комнате. То ударяя себя по лбу, то разглаживая ладонью свое плоское лицо, цесаревич ошеломленно повторял:

— Ах, какое несчастье! Ах, какое несчастье!

Беспокойство наследника возросло с каждой минутой, он требовал карету, гневался, что медленно закладывают лошадей, и горестно беспокоился:

— Застану ли я матушку еще в живых?

Однако, когда подали экипаж, Павел не торопился садиться в него. Он почему-то медлил, колебался. Без сомнения, ему стало страшно за будущее.

«Может быть, меня обманывают? Может быть, это ловушка?» — думал он, и мысли, одна страшнее другой, лезли ему в голову. Он целовал жену, Николая Зубова, своих приближенных, все еще оттягивая минуту отъезда.

Тем временем в Гатчину прибывали все новые и новые гонцы, спешившие попасть «в случай». Вереницы саней тянулись в резиденцию великого князя, торопились курьеры от самых неожиданных приверженцев. Даже мундткох^[16] Зимнего дворца и рыбный подрядчик прислали своих гонцов.

После долгих колебаний Павел решился выехать в Санкт-Петербург. Его усадили в карету и торжественно повезли. Гигант Николай Зубов проявлял в дороге большую расторопность. Когда на почтовой станции София смотритель замешкался со сменой лошадей. Зубов с кулаками набросился на старика:

— Коней, или я запрягу тебя самого! Коней для государя!

У станционного смотрителя подкосились ноги.

— Батюшка, для какого государя? — недоумевая, пролепетал он.

Красноречивым жестом Николай Зубов пригрозил смотрителю, и тот поспешил исполнить приказ гвардейца.

По дороге в Санкт-Петербург встречались все новые и новые гонцы. Завидя карету Павла, они присоединялись к свите, и вскоре несколько десятков вершников уже сопровождало его в столицу.

А он по-прежнему колебался, медлил, задерживался по малейшему поводу, и только к восьми часам экипаж подкатил к петербургской заставе. У Чесменского дворца наследник приказал остановиться и вышел из экипажа. Стояла ясная лунная ночь. Золотая ладья месяца ныряла среди нежно-курчавых облаков. Павел очарованно смотрел на луну, вздыхал, и на глазах его от умиления засверкали слезы. Желая ободрить цесаревича, один из свитских горячо схватил его за руки:

— Ах, какая минута для вас, ваше высочество!..

Павел благодарно обнял льстеца:

— Подождите, мой дорогой, подождите! Я не оставлю вас. Я прожил сорок два года, долго ждал, и бог поможет мне!..

А государыня все еще была жива и упорно боролась со смертью. В любую минуту она могла прийти в себя и заговорить. Это вызывало смущение и замешательство среди собравшихся во дворце. Вчерашний фаворит Платон Зубов не походил нынче на заносчивого баловня. Бледный, с трясущимися губами, он бродил среди придворных, умоляя принести ему стакан воды, но все старались не замечать его.

Наступила легкая морозная ночь. Перед Зимним дворцом в необычной тишине стояли толпы горожан в глубоком безмолвии, а в царских покоях, тускло освещенных, томились сенаторы, генералы, синодальное духовенство, чиновники, фрейлины, гвардейские офицеры, с нетерпением и страхом ожидая развязки.

«Кто же вступит на престол?» — встревоженно думал каждый про себя.

В столице упорно ходили слухи, что государыня Екатерина Алексеевна в своем завещании лишила Павла престола, назначив своим преемником внука Александра. Однако последний до сих пор не проявлял активности, выражая самые почтительные чувства к отцу.

В эти минуты всеобщего колебания Павел обрел решительность, отослал сына из дворца, а сам бесцеремонно и бестактно устроился в смежной со спальней царицы комнате. Рядом, в спальней, агонизировала мать. Все, кого требовал к себе Павел, должны были проходить мимо умирающей.

Императрица лежала на полу, на матраце, в бессознательном состоянии. Камердинер Зотов, найдя государыню в тяжком положении, не в состоянии был поднять ее на кровать. Вместе с истопником он еле

дотащил бесчувственное грузное тело государыни и уложил посреди комнаты.

6 ноября утром лейб-медик Роджерсон осторожно сообщил Павлу, что положение императрицы безнадежно.

Павел смелел с каждой минутой. Он чувствовал себя уже властелином огромной империи, отдавал всем приказания и поминутно посылал гонцов в Гатчину.

В 9 часов 45 минут из спальни вышел помрачневший лейб-медик и прерывающимся шепотом оповестил собрание:

— Все кончено.

Присутствовавший при этом Павел резко и четко повернулся по военному на каблуках у порога комнаты своей усопшей матери, энергичным движением надел на голову огромную шляпу и, взяв в руку длинную трость — атрибут обмундирования любимых им гатчинских войск, — прокричал на весь зал хриплым голосом:

— Я вам государь ныне! Ведите священника для присяги!

Все придворные в безмолвном страхе склонились перед ним...

А в этот час начальник канцелярии Трощинский спешно дописывал манифест о восшествии на престол российский нового императора — Павла. На столичных улицах торопливо расставлялись караульные будки, выкрашенные в прусские цвета, и подле них появлялись часовые.

7 ноября утром в Зимнем дворце и в столице происходили разительные перемены: в сказочно короткий срок менялись костюмы, вводились новые порядки, и все принимало вид немецкого города, что вызывало у народа удивление и недовольство. Полицейские рыскали по улицам и площадям, срывали с прохожих круглые шляпы, рвали их, срезали полы сюртуков, фраков и шинелей...

В этот день император Павел устроил перед Зимним дворцом смотр Измайловскому гвардейскому полку. Маленький, тщедушный, выпячивая грудь и выбрасывая вперед ноги, он двигался вдоль фрунта. На нем был обычный костюм: высокие ботфорты и белые лосины на ногах, узкий мундир, застегнутый на все пуговицы, с широкими рукавами, и перчатки с огромными крагами. На вскинутой горделиво голове — высокая треуголка с плюмажем, в руке — длинная трость с набалдашником. Всем своим видом государь выражал недовольство воинскими экзерцициями гвардейцев.

Прямо с парада он пришпорил своего коня и по опустевшим улицам столицы поскакал курцгалопом навстречу гатчинским войскам, вступившим по его вызову в Санкт-Петербург.

Город был взволнован, народ с удивлением рассматривал новые мундиры и новую форму маршировавших гатчинцев, которая с этого дня становилась обязательной для всей русской армии. Огромные треуголки и ботфорты, перчатки с большими крагами и трости — все вызывало изумление у русских людей. Но наиболее нелепыми после красивых екатерининских мундиров показались прусское обмундирование и длинные косы с большими черными бантами, болтавшиеся на спине...

Началось царствование императора Павла. Словно темная туча нависла над страной. Подозрительный и мстительный, государь отличался крайней непоследовательностью в своих отношениях к приближенным. Всегда ненавидевший свою мать, покойную императрицу, готовый на любой поступок, чтобы подчеркнуть неуважение к ее установленным порядкам, Павел старался всеми силами подчеркнуть свою милость к опальным прошлого царствования. Кроме того, в первые дни по восшествии на престол ему очень хотелось показать себя великодушным и справедливым. Кто-то из придворных назвал ему несколько имен ссыльных, в числе которых было имя и автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Двадцать третьего ноября 1796 года новый император подписал указ:

«Всемиловитейше повелеваем находящегося в Илимске на житье Александра Радищева оттуда освободить, а жить ему в своих деревнях, предписав начальнику губернии, где он пребывание иметь будет, чтобы наблюдение было за его поведением и перепискою».

Получив указ, Александр Николаевич во второй половине января 1797 года выехал в Иркутск.

Приобретя все необходимое в дорогу, договорившись с губернатором о предстоящей отправке на родину, Радищев вернулся в Илимск, распродал за бесценок и раздарил все вещи и с семьей, вместе с верным другом Елизаветой Васильевной отправился на запад в сопровождении сержанта. Стоял февраль, все еще свирепствовали жестокие морозы, отгуливали последние бураны, когда возок

продвигался по необъятным просторам Сибири. В пути расхворалась Елизавета Васильевна, пришлось остановиться в небольшом городишке Таре. Болезнь принимала тяжелый характер, и Радищев, несмотря ни на что, решил поскорее добраться до Тобольска, где можно было отыскать врача. Началась распутица, кони еле-еле дотащили до старой столицы Сибири, но было уже поздно: Елизавета Васильевна умерла, оставив на руках Радищева малых ребят.

Александр Николаевич тяжело переживал свою утрату; хотелось побыть несколько недель подле дорогой могилы, но приставленный к нему сержант торопил с выездом. Путь лежал через Тюмень, Екатеринбург и Пермь. Разбитый горем и переживаниями, Радищев загрустил пуще. Его оживило и обрадовало неожиданное событие: в Перми ему по секрету показали переписанное от руки «Путешествие из Петербурга в Москву». На глазах у него появились слезы умиления, и он обнял скромного сероглазого человека, так доверчиво отнесшегося к нему.

— Кто же вы? — спросил он потеплевшим голосом.

— Иван Власьевич, крепостной барина Строганова. Одарен любовью к механизмам и потому прислан в Пермь принимать заказы. Живу тут и думаю о народных чаяниях... Только прошу вас, сударь, никому не сказывать о том, что показывал запретное писание.

— Что вы, Иван Власьевич! Дорогой мой, вы и сами не сознаете, какую великую радость принесли мне! — со слезами на глазах промолвил Радищев. Он собрался с духом и спросил: — А какие ныне народные чаяния? Опять Пугачева ждут?

Строгановский механик поднял глаза на Радищева, в них светился глубокий ум. Он взял Александра Николаевича за руку и сказал мягким голосом:

— Есть и это! Много в народе веры в него! Вот-вот появится он снова и поведет на бар! — На минуту Иван Власьевич замолчал, а потом заговорил страстно: — Только не верю в это. Не от сего свобода придет! От бунтовства проку мало. Надо, чтобы весь народ осознал тяжесть рабства, позор его и почувствовал свою великую силу. Мыслю я, что искра тлеет в работном слое, но раздуть ее смогут только такие книги, список с которой передан вам! Ах, если бы умный человек пришел и растолковал нам!

Радищеву хотелось признаться, кто он, рассказать механику о многом, но рядом вдруг появился сержант и объявил:

— Господин Радищев, пора в дорогу!

Иван Власьевич схватился рукой за сердце, весь потянулся к Александру Николаевичу, но голос перехватило:

— Вы... вы...

Он не успел ничего сказать. Радищева усадили в тележку, и вскоре за окном станции заколебалась пыль.

Только сейчас крепостной механик обрел дар речи.

— Помните, дорогой наш, — сказал он, глядя в оконце, — мы всегда с вами! Не забыли и не забудем!

А Радищев, покачиваясь в тележке, облегченно думал: «Какая неожиданность! Я думал, что все кончено. Книга изъята, уничтожена, последние экземпляры сожжены мною самим перед обыском, и вдруг... она живет, переписывается и передается среди народа из рук в руки. Кто же помог этому? Кто безвестный помощник делу? Не друзья ли, которые набирали и печатали книгу?»

Он вспомнил досмотрщика Петербургской таможни Ефима Богомолова, который шесть месяцев трудился над набором рукописи. Пришел ему на память и печатник Путный. Оба были надежные люди, и не они ли сохранили книгу для потомства? И тут Александр Николаевич вспомнил про прапорщика Козьму Дарагана, которому он подарил один экземпляр своей книги. На ее след так и не смогли напасть сыщики Шешковского: книга пошла по рукам читателей и затерялась. Да и десятки других экземпляров остались в народе.

На сердце стало легко и радостно.

«Не напрасно жил и работал! Посеянное возшло на российских нивах!» — светло подумал он и улыбнулся своему счастью.

Вместе с ним повеселели и дети. В Перми ему удалось устроиться на демидовскую баржу, на которой сплавалось в Нижний Новгород железо с Тагильских заводов. Радищев долгими часами, не отрываясь, любовался камскими берегами. Его все манило, увлекало. Но от устья Камы баржи поднимались по Волге бечевой. И тут настроение Александра Николаевича омрачилось вновь. Впереди по берегу бурлаки с великой натугой тащили против течения грузную баржу. Чем больше вглядывался Радищев в людей, тем тяжелее становилось на сердце. На пути вставали высокие обрывистые берега, каменные

кручи, простирались мели с мелкой галькой. Все, что раньше казалось приятным для глаза, теперь приняло иной смысл. Бурлаки, выбиваясь из сил, с трудом преодолевали эти препятствия: шли по пояс в воде, выходили на берег и мокрые нажимали на лямки, — ни минуты роздыха. Ноги их были изранены, плечи изрезаны ляжкой. Налетал встречный ветер, и судно гнало назад по течению. Ох, и тяжело было тянуть баржу против ветра! Все тело ныло, натруженные кости гудели, никак не налаживалась ободряющая песня. Чтобы подстегнуть бурлаков, бородатый кряжистый лоцман покрикивал:

— Шевели! Иди дружной, пой веселей! — И сам заводил:

Ой, дубинушка, ухнем!

Ой, зеленая...

Наглядевшись за долгую дорогу на бурлаков, Радищев записал в свою тетрадь:

«Видел много больных, отставших работников, не дают им пашпартов, много им притеснения. В Услоне видел, как работника били нещадно за то, что отлучился...»

Вот и Нижний Новгород. В нем Радищев прожил двенадцать дней. И опять радость: в городе нашлись люди, которые читали и понимали его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву»...

Но это была последняя радость. Уже по дороге в Москву он увидел, что с воцарением Павла ничего не изменилось в России. Все тот же страшный гнет для крепостных и полное бесправие. В Москве Александр Николаевич прочел только что вышедший номер «Московских ведомостей». Все, о чем глухо говорилось в народе о новом царе, со страниц газеты встало страшной правдой.

На первой странице «Ведомостей» публиковались «приказы, кои его императорское величество отдал соизволил».

Эти приказы потрясли Радищева. В одном из них оповещалось:

«Ряжского мушкетерского полка полковнику графу Остерману за усмирение крестьян и того полку капитану, отряженному с гренадерскою ротою, объявляется похвала и благодарение».

Немного ниже:

«Его императорское величество объявил свое большое неудовольствие генерал-от-инфантерии князю Голицыну и сделал выговор за то, что капитаны не умеют рапортовать...»

А на последней странице шли знакомые публикации о продаже крепостных. За семь лет, проведенных в ссылке, ничто не изменилось. Произвол, насилие и притеснение крепостных продолжались с воцарением Павла с еще большей силой.

Александр Николаевич понял, что дольше оставаться в Москве нельзя, и, сопровождаемый сержантом, отправился в родное Немцове, где его ждали нужда и горе.

Он по-прежнему оставался ссыльным и спустя несколько дней после приезда с горечью писал ослепшему старику отцу:

«Немцове я нашел в великой расстройке и, можно сказать, в разорении. Каменного дома развалились даже стены, хотя не все. Я живу в лачуге, в которую сквозь соломенную крышу течет, а вчерась чуть бог спас от пожара, над печью загорелось. Сад как вызяб, подсадки не было, забора нет. Немцове заложено в банке, и оброк весь идет туда. Посуда вся вывезена, новопостроенная связь продана, лес в значительной степени вырублен...»

Трудно было, но Радищев всеми силами сопротивлялся, его не покидала мысль, что правда в конце концов восторжествует.

Между тем в Петербурге свирепствовал Павел. В первую очередь он решил расправиться с теми, кто находился в числе приближенных Екатерины. Любимый слуга государыни Захарушка Зотов угодил в крепость, где сошел с ума, второго камердинера — Секретарева, рекомендованного государыне в свое время Потемкиным, сослали в оренбургские безлюдные степи.

Секретарь светлейшего Попов был немедленно вызван к императору.

Павел с неприязнью разглядывал сподвижника Потемкина и, постепенно повышая голос, трижды спросил:

— Как поправить все зло, которое Потемкин причинил России?

Хитрый и пронырливый Попов не струсил. Он смело поднял голову и, глядя в глаза царю, нагло ответил:

— Отдать туркам южный берег, ваше величество!

Смелая выходка правителя потемкинской канцелярии взбесила Павла, он бросился за шпагой, но Попов, не ожидая решительной

развязки, поспешил к выходу.

Однако, довольный быстрой ретирадой, Павел отошел сердцем, расхохотался и уже весело крикнул свитскому генералу:

— Ага, испугался! Я тебе не Потемкин! Переименовать его, сукина сына, в тайные советники...

Так началось новое, правда недолгое, возвышение Попова.

Необычайную жестокость проявил император к памяти Потемкина. Все воинские и гражданские преобразования князя Таврического были отменены и преданы забвению. Отстроенные им города в Крыму и Новороссии, названные греческими именами, переименованы были в русские и татарские. Даже прах Потемкина не оставили в покое. По приказу Павла, воздвигнутый на могиле князя мавзоль разрушили, а склеп, в котором покоился гроб, засыпали землей и загладили так, как будто его никогда и не было...

Обо всем этом стало известно Демидову, и он впал в уныние. В душе росла серьезная тревога: подозрительность нового государя могла коснуться и его. Предчувствие не обмануло Демидова. Недоброжелатели и завистники написали извет в Санкт-Петербург, называя заводчика «уральским царьком», который мечтает якобы о короне. Бывший потемкинский адъютант был немедленно вызван в столицу.

С тяжелым чувством Николай Никитич покинул Нижний Тагил и отправился в путь-дорогу. Ничто не радовало Демидова: он понимал, что над его головой собирается гроза, и всю дорогу только и думал о том, как бы ее отвести.

В Санкт-Петербург Николай Никитич прибыл в августе, когда парки и сады еще стояли в густой изумрудной зелени, а над притихшим городом сияло нежно-голубое небо. В лицо ударило свежим невским ветерком. В природе все ликовало, а в столице царило гнетущее уныние. Демидова поразили плотно закрытые дома, полупустынные улицы, пестрые будки, чопорность и замкнутость прохожих. Былого веселья как не бывало!

Управляющий санкт-петербургской конторой Павел Данилов обрадовался приезду хозяина. Был он по-прежнему толст, румян, и Демидову показалось, что Данилов нисколько не изменился со дня их

первой встречи. Только прежней важности в нем не стало. Управляющий теперь лебезил перед Николаем Никитичем, по-песьи заглядывал хозяину в глаза, стараясь угадать его желания. В поступках и в разговоре Данилов стал очень осторожен. Былое спокойствие сменилось тревогой.

— Ты почему притих? — спросил Демидов.

— Господин мой хороший, сами небось догадываетесь! — многозначительно прошептал Данилов и, оглянувшись, добавил: — Теперь вся Россия притихла...

Управитель глубоко вздохнул, перекрестился и сокрушенно признался:

— Боюсь, ой, шибко боюсь, господин мой, чтобы светлейшего князя Потемкина нам не вспомнили! Умен был и весьма любезен покойный государыне. Все преклонялись перед ним, а ныне и прах его потоптали, и вспомнить страшно ныне о Потемкине!.. Знали бы, господин мой, где упадете, соломку постлали! Эх-хе-хе!..

Склонясь к уху Демидова, управитель предостерегающе прошептал:

— Вы, мой золотой, держитесь в столице потише! Не задирайтесь! Времена нынче иные. Могут, чего доброго, вспомнить ваше адъютантство у Потемкина!

— Ну, Данилов, чему быть, того не миновать, — опечаленно вздохнул Николай Никитич. — Признаться должен, вызван государем, а чем порадует — один бог знает!

Управляющий с удивлением рассматривал своего господина. Как изменился и притих Демидов!

Не теряя времени, Николай Никитич объехал знакомых вельмож. Принимали они Демидова сухо, отмалчивались. При появлении его в гостиной опускали шторы. Горько стало на душе от того, что все знакомые изменились. И еще больнее было, когда некоторые приятели сказались больными и от визита уральского заводчика уклонились.

И все же Николай Никитич не сдавался. Он хорошо помнил первую встречу с Павлом в Гатчине и, ободряя себя; решил безотлагательно явиться на прием к государю.

В солнечный полдень он отправился в Михайловский замок, который за последние годы вознесся над Фонтанкой, среди густого парка. Окруженный рвами, через которые вели подъемные мосты, дворец поднимался среди высоких лип, увенчанный золотым шпилем. Озаренный полдненным солнцем, в голубой выси сверкал золотой крест. И как не сочеталось с тонким, вознесенным в небо золоченым шпилем грузное, мрачное здание дворца! Демидов вышел из экипажа у решетчатых ворот и пешком медленно направился по аллее. В глубине виднелся портал, а над ним встали восемь дорических колонн. Минуя их, Николай Никитич вышел во внутренний двор замка. Четыре большие лестницы вели во дворец. Дежурный офицер, сухой и строгий, повел заводчика по одной из них. Они поднялись по каменным гулким ступеням, миновали большую комнату, в которой на карауле стояли лейб-гвардейцы. словно каменные изваяния, они в упор смотрели на Демидова. Это еще больше усилило волнение и без того оробевшего Николая Никитича. Руки его похолодели, во рту пересохло, когда дежурный офицер подвел его к великолепной двери красного дерева, растворы которой были богато украшены щитами, оружием и головами медуз из бронзы. У входа в кабинет государя на часах стояли два унтер-офицера лейб-гвардии с эспонтонами^[17] в руках. Сердце у Демидова дрогнуло. Не успел он и глазом моргнуть, как дверь перед ним бесшумно распахнулась, и, не помня себя, Николай Никитич очутился в большой затемненной комнате.

По блестящему паркету медленно, величаво вышагивал император. В больших ботфортах, в узких белых лосинах он походил на заведенный манекен. Перетрусивший Демидов молча остановился у двери и во все глаза взволнованно смотрел на Павла. Государь выглядел сильно постаревшим: желтый цвет лица, ранние глубокие морщины и старческое дрожание рук сильно изменили его с той поры, когда Демидову довелось скакать через Гатчину.

Император внезапно остановился перед заводчиком, провел ладонью по своему плоскому лицу и, как бы прерывая глубокое раздумье, хриплым голосом полуудивленно сказал:

— А, ты здесь!

— Явился по указу вашего императорского величества! — низко и почтительно склонился перед государем Демидов.

— Потемкинский адъютант! — вскипел Павел и оскалил крупные желтые зубы. Николаю Никитичу стало страшно: в скупом свете комнаты голова императора выглядела мертвой и зловещей. Глаза государя глубоко запали в черные глазницы, и от этого его сходство с мертвецом усилилось.

— Был им, а сейчас заводчик вашего величества! — сдержанно сказал Демидов.

— Сибирский заводчик! Свое царство завел! — сердито выкрикнул Павел, подбежал к столу и схватил трость.

«Ну, буду бит!» — поежился Николай Никитич и еще ниже склонил голову.

— Ваше величество, побойтесь бога! — взмолился он. — У нас одно царство — Российское, и один у нас государь — всемилостивейший император Павел. Мой прадед Никита Демидов ревностно и преданно служил вашему великому прадеду государю Петру Алексеевичу, и все мои стремления и мечты — послужить царственному правнуку его, идущему по стопам великого государя! — Демидов покорно опустил на колени.

Павел внимательно разглядывал Демидова. То ли искренний голос заводчика убедил его, то ли по иной причине, но государь «отошел сердцем», откинул трость, шумно дыша подошел к бывшему потемкинскому адъютанту и положил на его плечи костлявые руки. Пронзительным взглядом Павел заглянул в глаза Демидова.

— Вижу, не врешь! — скрипучим голосом вымолвил он. — Мне, как и прадеду, заводы нужны для возвеличения державы нашей!

Было что-то фальшиво-театральное в поведении императора. Не чувствуя этого, желая быть милостивым и показать свою памятьливость, он спросил у Николая Никитича:

— Демидов, а ведь ты на Строгановой женат?

— Точно так, ваше величество!

— Я танцевал с баронессой Елизаветой Александровной на придворном балу... Молодец, Демидов, знатно породнился! А Потемкину все же служил? — с коварством спросил он в упор.

— Ваше величество, я покойной государыне служил.

— А ведомо тебе, кто ей был Потемкин? — раздраженно воскликнул Павел.

— Слуга, раб недостойный.

— Врешь, Демидов! — прервал Павел. — Он был...

Последовало не совсем приличное слово. Демидов вспыхнул, подался вперед к императору.

— Ваше величество, никто не смеет так рассуждать о своих государях! — запальчивым тоном сказал он.

— Я все смею! — вскинул голову Павел.

— Даже перед своим ничтожным слугой ваше величество не должны так говорить о российских государях! — В голосе Николая Никитича прозвучала обида.

— Как ты смеешь так рассуждать с императором! Вот! — Павел размахнулся и ударил Демидова по лицу. — Пошел вон! — в страшном гневе закричал он.

Бледный, трясущийся Николай Никитич удалился из покоев государя. Ничего больше он не видел, только за своей спиной слышал гулкие шаги сопровождавшего его дежурного офицера.

«Заточат в крепость! Все кончено!» — в ужасе подумал Демидов и сразу осунулся и потемнел. В мыслях его проносились самые мрачные предположения. Думалось, что вот вернется он в дедовский особняк, а за ним следом прискачут фельдъегери и увезут... Крепость, каторга!..

В эти мгновения Демидову почудилось, что лейб-гвардейцы, стоявшие с эспонтонами, с сожалением посмотрели на него. Ноги Николая Никитича налились свинцом, подкашивались.

«У подъезда, может, уже ждет кибитка!» — в паническом страхе думал он, и на сердце похолодело. Как бы в подтверждение его догадки, на лестнице раздались торопливые шаги.

— Остановитесь! — раздался позади Демидова громкий голос, и Николаю Никитичу почудилось, что перед ним разверзлась бездна.

Двое часовых со склоненными штыками преградили ему дорогу. Демидова нагнал запыхавшийся офицер.

— Его императорское величество требуют вас тотчас к себе! — выпалил он, задыхаясь. — Извольте следовать за мной!

Путь к полутемному кабинету на этот раз показался еще более долгим и страшным. Войдя в него, Демидов опустился на колени.

— Встань! — раздался над ним потеплевший голос Павла, и царь обнял его. — За верную службу своим государям жалую тебя, Демидов, камергером!

Николай Никитич схватил руку императора и облобызал ее.

— Так и впредь думай о своих государях! — продолжал Павел. — Ну, Демидов, поверил я в тебя и большую надежду возлагаю. Прадед и дед твои достойно служили императорам, послужи и ты. Не распускай рабочих, прижми потуже, дабы не допускали лихих возмутительств!

Заводчик облобызал руку императора:

— Будет по твоему слову, государь!

Обессиленный тревогами, но просветлевший от неожиданного счастливого исхода, Демидов вышел из замка, и в эти минуты таким милым и радостным показалось ему заголубевшее небо, что от восторга на глазах навернулись слезы...

Однако, несмотря на то, что его простили и обласкали, он взволнованно решил: «Скорее подальше от Санкт-Петербурга!»

Когда он, веселый и оживленный, вышел у своего дома из кареты, с крыльца сбежал управитель Павел Данилович встретить хозяина, внимательно разглядывал его, хлопал себя по ляжкам и ахал:

— Пронесло! Ну слава богу, пронесло! Признаться, мой господин, изрядно у меня щемило сердце!

— Теперь поздравь меня! — весело прервал его Николай Никитич. — Пожалован я государем званием камергера!

— Батюшка! — восторженно прослезился Данилов и прижался к плечу хозяина. — Видно, уж так на роду написано: все Демидовы удачливы да счастливы! Ну, красуйся, батюшка, на радость!

— Красуйся-то красуйся, — озабоченно отозвался Николай Никитич, — все это весьма мило, но только ты, Данилов, к утру готовь коней. Поскорей мне надо отбыть из Санкт-Петербурга.

На удивленный взгляд управляющего Демидов рассудительно пояснил:

— Сегодня, глядишь, пронесло, а завтра не токмо не пронесет, а самого занесет туда, куда ворон костей не затаскивал!

Данилов притих, вздохнул сокрушенно:

— Твоя правда, батюшка. Времена-то пошли нынче шибко изменчивые! Езжай, езжай, голубь, в добрый час!..

Осчастливленный Демидов возвращался к себе на Каменный Пояс. Молодой, полный неизрасходованной энергии, красивый, он

вначале не прочь был остаться в Санкт-Петербурге и погрузиться в пылкие увлечения, однако все увиденное им в эти дни в столице сильно охладило его пыл. Санкт-Петербург императора Павла Петровича походил на унылую, безмолвную казарму, где веселый смех вызывал у людей опасения. Шумный и блистательный Петербург государыни Екатерины Алексеевны примолк, стал уныл. Все боялись за свою судьбу, дрожали — все зависело от изменчивых капризов императора и его соглядатаев. Хоть и обласкан был Николай Никитич и весьма молод, но на этот раз решил про себя: «Подальше от сих мест! К себе, в отцовские вотчины!»

Молодой заводчик еще упивался своей свободой от опекуна, властью над обширным краем.

Он ехал по Московскому тракту. Приближалась осень. По утрам с придорожных озер, ручьев и обширных плоских болот поднимался густой туман, затягивавший низины густой молочной мутью, пронизывала утренняя сырость. От бурых стогов, раскинутых по лугам, ветер приносил запахи прели. Только к полудню пробивалось солнце, туман поднимался, редел, влажные равнины открывались теплым солнечным лучам, и постепенно возвращалось тепло. Голубело небо. Дали — холмы и леса — покрывала легкая синяя дымка. Хорошо в эти часы дышалось в полях. Казалось, притихли все: люди и птицы. Редкие фельдъегери мчались по тракту, и от неожиданных встреч с ними Демидову становилось не по себе. «Что везут они: счастье или гибель?» — сумрачно думал он.

Станционные смотрители на тракте были подтянуты, мрачны и несловоохотливы. Все кругом дышало подозрительностью, и каждый избегал разговоров со встречными. Николай Никитич угрюмо отмалчивался всю дорогу. Мимо одной из станций, не останавливаясь, промчалась кибитка. Между двух солдат-конвойных в ней сидел, понутив голову, молодой человек в полувоенном платье.

— Разжалованного в Сибирь везут! Должно быть, порушил фронт. Так ему и надо! — прислонившись к станционному оконцу, хриплым баском сказал человек с бульдожьим лицом.

Демидов поднял хмурые глаза на говорившего и не отозвался.

«Подальше, подальше от Санкт-Петербурга!» — торопил он себя.

Однако и в Москве Николай Никитич не нашел улады. С первых шагов он горько разочаровался в Белокаменной. Старый дедовский

дом, который перешел к нему по наследству, сильно обветшал. Отделка и обстановка комнат поражали сборностью и запустением. Чего только не было тут, в старом доме, когда-то поставленном на широкую барскую ногу! Камин, облицованный цветным уральским мрамором, грузные и пыльные, теперь весьма схожие с кладбищенскими мавзолеями; потускневшая, засиженная мухами бронза; хрустальные люстры, картины великих мастеров и превосходные гобелены. А рядом с ними — потертая мебель, обшарпанные столики, скрипучие кровати, населенные полчищами отвратительных насекомых. На окнах отсутствовали занавесы; стекла были разбиты, подклеены бумагой, паркет рассохся, грязен, изразцы на печах растрескались. Беспризорность и уныние лезли из всех щелей. «До чего людишки довели палаты!» — озлобленно подумал молодой Демидов и торопливо прошел в людскую. В обширной грязной горнице толпа оборванных слуг с утра дулась в карты.

— Почему такая грязь и запущенность? — закричал Николай Никитич глухому беззубому дворецкому.

— Да так, батюшка, сейчас, почитай, пол-Москвы живет! — беспомощно разведя руками, прошамкал старик.

Брезгливо сжав губы, Демидов молча повернулся и вышел из родительского дома, не пожелав остановиться в нем на ночлег.

Устроился он в хоромах покойного дядюшки — Прокофия Акинфиевича; дворецким там все еще подвизался старый слуга Охломон.

В первые же дни своего пребывания в Москве Николай Никитич почувствовал резкий контраст между Белокаменной и Санкт-Петербургом. Прошло полвека с той поры, как дядюшка Прокофий Акинфиевич отстроил свой дворец, а Москва по-прежнему оставалась большим селом, с беспорядочно разбросанными барскими усадьбами. Все та же пестрота: чудесные дворцы и рядом ветхие лачуги, кровли которых поросли мхом; среди наилучших кварталов — густые заглохшие сады и обширные огороды, на бойких местах — большие крытые базары со множеством разнообразных лавок и французских магазинов, а поблизости на площадях — устройства для конских ристалищ. По праздникам — кулачные бои, садки волка, медведя — зрелища, привлекавшие много простого люда. И на каждом «тычке» — кабаки, а поблизости пестреют главки церквушек. До чего здесь

сочетались роскошь и нищета, изобилие в барских усадьбах и крайняя нищета посадского простолюдина, истовая набожность и атеизм, домостроевское постоянство и невероятная ветреность!

Первопрестольная по-прежнему утопала в грязи. Старые бревенчатые мостовые были завалены мусором, хламом. Еще больше запутались тупички-улочки, застроенные по прихоти хозяев. Среди улиц высились огромные скрипучие журавли у колодцев, к ним с утра собирались посудачить хозяйки. Все было как встарь!

Ранним утром Николай Никитич проснулся от звуков пастушьего рожка. Он выглянул в окно и вспомнил уральские Палестины: по улице шествовал в посконной рубашке и портках белоголовый пастух и наигрывал на рожке звонкие призывные рулады. Изредка он громко хлопал бичом и поторапливал бредущих буренок. В соседних дворах со скрипом открывались ворота, и хозяйки выгоняли к стаду своих коровенок. Все это напоминало сельскую идиллию и было так необычно для города, что Демидов недоуменно пожал плечами.

В полдень Николай Никитич вызвал дворецкого и приказал ему подготовить выезд: собирался гость на Тверской бульвар. В неугомонном сердце все еще горел задор: хотелось уральскому заводчику показать себя и удивить москвичей.

— Ты, холоп, устрой так, чтобы дознавались люди, кто проехал! — сказал он Охломону.

Высокий седовласый дворецкий пожевал большим ртом, отчего медленно и скупно задвигались каменные скулы, и посулил Демидову:

— Будет по-вашему! В старые годы мы наторели в потехах, которые по душе приходились вашему дядюшке Прокофию Акинфиевичу. Знал он толк в забавах!

После обильного завтрака к подъезду подали карету, сиявшую позолотой и зеркалами. Красная сафьяновая сбруя с позолоченным набором горела как жар. Но что это за упряжь? Коренник возвышался подобно верблюду, а пристяжные в сравнении с ним казались мышками. Занятнее всего были подобраны слуги: на запятках кареты стояли трехаршинный гайдук и крохотная карлица. За кучера на высоких козлах сидел мальчонка лет десяти, а фореитором высился старик с седой бородищей.

Не успел Демидов сесть в карету, как впереди его побежали скороходы с криком: «Пади! Пади!»

Вдоль Москвы-реки он добрался до Кремля и тут, подле Боровицких ворот, свернул к Тверской, привлекая всеобщее внимание.

На бульваре было шумно, пестро — московская знать показывала свои наряды. Но тут все взоры разом отвернулись от Демидова. Все общество сейчас восхищенно смотрело на бегущего рысака. Он мчался, легко выбрасывая ноги, широко раздувая горячие ноздри. Позади резвого жеребца в легкой двуколке сидел седовласый широкоплечий молодец, горяча и без того обезумевшего коня, который несся стрелой.

— Кто это? — крикнул кучеру Демидов.

— И, батенька, с ним на всей Руси никто не потягается ни в кулачном бою, ни в конском ристалище. Орлов это, сударь! Одно слово, вельможа на всю Москву!..

И верно, никто больше не обращал внимания на Демидова. Он померк и велел кучеру гнать домой.

Вечером Николай Никитич вызвал дворецкого и сказал строго:

Готовь в дорогу. Завтра еду в Тулу!

С большим душевным волнением Николай Никитич приближался к своему родовому гнезду — к Туле. И было отчего волноваться: перед отбытием его из Санкт-Петербурга вспомнился наказ Павла о тульских рабочих. Сейчас он невольно перебирал в памяти подробности последней встречи с царем и думал о заводах, на которых только что улеглось волнение среди рабочих. Началось оно на Петровском государственном оружейном заводе, командиром которого состоял князь Долгоруков, задумавший по-своему организовать работу. По неумению его, а может быть, по сговору с поставщиками, на завод стало прибывать плохое железо. От этого заработок оружейников сильно упал, работать стало трудно. Тут и вспыхнули беспорядки. Князь Долгоруков жестокими мерами прекратил их, а трех наиболее беспокойных оружейников отправил на оружейную фабрику в Сестрорецк. До государя дошли слухи, что оружейники надумали отбить своих товарищей, когда их повезут из Тулы. Это намерение показалось царю Павлу Петровичу предерзостным, и он написал князю грозное письмо:

«Господин генерал-майор князь Долгоруков. Сведав о неповиновении оружейных мастеров в Туле, для усмирения оных я приказал генерал-лейтенанту Шевину, по сношению с вами, ввести столько войск из его полка, сколько на сей случай потребно. Равномерно предписано от меня кому следует о понуждении заводов железных к скорейшему доставлению в Тулу на оружейные заводы годичного железа, каждому той части, кому какая по нарядам следует.

Пребываю к вам благосклонный Павел...»

На берегу Тулицы по-прежнему работал старый демидовский завод, но былая слава его минула. Ко времени воцарения Павла Петровича в Туле рядом с демидовскими уже возникли новые заводы. Ставили их купцы Лугинины, Баташевы, Ливенцовы, Красильниковы и многие другие, которым удача старого тульского кузнеца Никиты Демидова стала поперек горла. По слухам, которые дошли до Николая Никитича, новые заводчики перещеголяли скупого и жадного петровского любимца — Никиту Антуфьева. Они первые завели в Туле роскошные каменные палаты, выстроили настоящие дворцы во вкусе екатерининского времени. Сказывали, что Ливенцовы возвели дворец в стиле рококо с роскошными каменными воротами. Лугинины отстроили на Тулице четырехэтажные каменные хоромы...

«Эх, отгремела на Тулице дедовская слава!» — горько подумал молодой Демидов, а самого так и подмывало скорее увидеть Тулу, в которой доселе ему не привелось побывать.

На ранней заре Николай Никитич въехал в город прославленных оружейников. Ничто здесь не напоминало о только что окончившемся рабочем волнении. После Санкт-Петербурга и Москвы Тула показалась сонной и унылой. Около заставы высилось скучное кирпичное здание герберга — гостиницы для проезжающих. Подле нее на литых чугунных столбах от легкого ветерка раскачивались закоптелые масляные фонари. Под ними в грязи лежали две тощие свиньи. Тут же у въезда пестрела полосатая полицейская будка, а подле нее, опираясь на алебарду, дремал градской страж. Его настолько обуревал сон, что он даже не поднял отяжелевших век при проезде Демидова.

Экипаж покати к Упе-реке, к Перекопному мосту. Навстречу ему показались извозчики с большими номерами на плечах. Впереди встали белые стены тульского кремля, выше их — купола с золотыми крестами. Еще левее — стройные, изящные главы на архиерейской

церкви, чуть дальше — вознесенные ввысь колокольни, а над ними — стаи голубей, парящих в голубом небе...

Демидов снял шляпу, перекрестился:

— Здравствуй, Тула! Здравствуй, родная земля!

Как ни пытался он из рассказов туляков узнать что-нибудь новое о былом своих предков — прадеда и деда, — ничего не выходило. О первых поколениях Демидовых тут осталась лишь легендарная слава об удаче простого кузнеца Антуфьева.

В первый же день молодой хозяин воочию убедился: старый демидовский завод хирел, да и все заводишки превосходил своим размахом производства государственный оружейный завод, налаженный по указу царя Петра Алексеевича сметливым русским солдатом Яковом Батищевым, гораздым до оружейного производства. Все выходило тлен и прах! Дед и прадед покоились неподалеку, в церкви, под чугунными плитами. Все отошло, отгремело и не возвратится вспять! Недавно, во времена царицы Екатерины Алексеевны, по Туле прошумел опустошительный пожар, превративший в пепел богатейшую часть Оружейной слободы города. И ныне, по старому екатерининскому указу, шла новая распланировка Тулы. На горелых местах землемеры ставили свои астролябии и намечали разбивку новых улиц и городских площадей. Они безжалостно осуждали на снос обывательские домишки, которые, к несчастью хозяев их, лежали на запроектированной улице. Купцы, владельцы каменных хором, отводили беду приношениями. И хотя старые демидовские строения лежали далеко в стороне от пожарища, но, прознав о приезде хозяина, на другой день к Николаю Никитичу пожаловал с визитом тощий, с унылым угреватым носом землемер, затянутый в поношенный мундир, при шпаге. Он учтиво поклонился Демидову, который так и не протянул ему руки. Землемер начал издалека:

— Узнав о прибытии вашего превосходительства, осмелился явиться, дабы склонить чело перед известностью сего края...

Николай Никитич болезненно поморщился от грубой лести и, быстро выдвинув ящик письменного стола, достал оттуда пакет и протянул его землемеру:

— Возьмите и планируйте как вам угодно! До свиданья, сударь!

Чиновник жадно схватил пакет и, угодливо раскланиваясь, быстро ретировался. Захлопнув за ним дверь, старик лакей укоряюще покачал головой:

— Гнали бы, батюшка, прочь вымогателей. Развелось их... Тьфу!.. Демидов улыбнулся.

— Так уж испокон веков говорится: или чума, или мор, или землемер во двор!

Он круто повернулся на каблуках и зашагал по низким горницам.

Все здесь дотлевало, хотя не прошел тут пожар. Тлен и забытье казались страшнее пожара. Больно было смотреть на опустошение, произведенное временем. Градские купцы и жители оказывали почет прибывшему в отцовское гнездо демидовскому потомку, но ничто не радовало Николая Никитича: он знал, что тульское уходит, отмирает, а настоящее — там, на Урале, где Демидовы — хозяева и судьи...

Помня повеление государя Павла Петровича, он посетил старый завод. В нем работало много стариков, помнивших еще самого Акинфия Никитича. Все так же, как и в былые времена, работа шла размеренно: мастера ладили отменные ружья, умельцы-узорщики украшали их причудливой резьбой, чеканкой — знаменитой тульской чернью, и молодой Демидов часами любовался их мастерством. Глядя на рабочих, просто не верилось, что еще недавно они подымали смуту против властей: выглядели они совсем покорно, и нравы, которые царили среди них, были старые, мирные. Как и встарь, оружейники были большими любителями животных и птиц. Ранней весной, в свободные от работы часы, они отправлялись в окрестные засеки ловить певчих птиц, главным образом чижей и соловьев, которых много водилось в тульских рощах и садах. В народе туляков поддразнивали: «Бачка, милоч, присядь, притихни, чижи летят!»

На Кузнецкой слободе и по сию пору мастера разводили певчую птицу, обучали ее, устраивали состязания и споры.

И кто бы мог подумать, что эти мирные труженики, разводившие на посадье голубей, канареек и кур, вдруг возмутились своим бесправием?

Облюбовав седобородого, строгого лицом деда-оружейника, Николай Никитич решил укорить его.

— Слыхано ли от века, чтобы не чтить своих опекателей и прекословить им! — сурово пожаловался он старику. — От отцов

наших завещано и пророками нашей святой церкви указано: всякая власть от бога! Его милостями держится и богатеет держава наша!

На торжественный голос хозяина оружейник поднял голову. Лицо его было угрюмо, глаза мрачны.

— Да будет тебе ведомо, хозяин, что живет и богатеет наша держава от великих трудов простого русского человека! Только честный и любовный труд возвышает нашу державу и крепит ее против супостатов наших! — твердо и складно, как кирпич к кирпичу в кладку, выложил заветное слово к слову старый мастер. Он не отвел своих пронзительных глаз от пытливого взора Демидова: дерзость и бесстрашие светились в них.

«Не от такого ли корня пошли пугачевские побег?» — со страхом и смущением подумал Николай Никитич и, все еще не сдаваясь, сказал оружейнику:

— Это верно, что труд есть созидательное начало. Прадед и дед наши трудом своим великим создали множество заводов и помогли царю Петру Алексеевичу оборонить державу нашу от шведов!

— Ни прадед, ни дед твой того не сделали бы, если бы народ не положил душу и силы на укрепление державы. Дед и прадед твои умные были люди и понимали, в чем их сила. Хошь, по совести говоря, и звери они были, но простые люди не из страха перед кнутом или кандалами терпели их. В поте лица своего, до кровавых мозолей старался народ только из-за великой любви к земле своей!..

— Ты что тут городишь? — угрожающе поглядел на него Демидов. Однако оружейник смело выдержал хозяйский взгляд.

— Ты меня пытал, а я тебе ответ держал, вот и весь сказ! — веско отозвался он, склонив голову, и занялся мастерством.

«Так вот какие они! — вернувшись в хоромы, обеспокоенно думал Николай Никитич. Он ходил из угла в угол, а перед глазами все стояла широкоплечая фигура старика оружейника с впалыми грозными глазами на сухом темном лице. — Вот какие они! Таких ни дыба, ни кнут не сломят! С виду тихи и почтительны, а под спудом, в душе, своего часа ждут на господ тронуться!»

Чтобы успокоиться, Демидов прошелся пешком по городу. На городских улицах и площадях царило затишье, изредка прерываемое криками калачников и мещанок, торговавших медом и мятной водой. В гостинном дворе, завидя одинокого прохожего, наперебой зазывали

купцы и приказчики. Потеряв надежду за манить под каменные своды лавки покупателя, купцы скучно зевали и садились за прерванную партию в шашки. В канцеляриях чиновники усердно скрипели гусиными перьями. По окраинам и посадам в своих хибарках от темна до темна трудились ремесленники Оружейная слобода, откуда пошел в гору прадед Никита Антуфьев, и Чулково, как сто лет назад, продолжали жить своею «казюцкой» жизнью. Время от времени «казюки» выходили «на поле», чтобы померяться силой на кулачных боях с городской стороной — купцами и мещанами.

Внешне все находилось в своей вековечной дремоте. Купцы медленно, исподволь, но верно наживали свои капиталы, ездили торговать на ярмарки, брали подряды у казны и время от времени жертвовали богу на церковь и на богадельни. Но под этой тишиной таилось уже что-то новое, нет-нет да и прорывавшееся недовольством среди мастеровых.

И еще большее беспокойство принес старый лакей Оставшись наедине с барином, он таинственно про шептал ему:

— Уезжайте, господин, подальше от греха!

— Ты что вдруг так забеспокоился? — удивленно посмотрел на него Демидов.

— Слухом земля полнится. Сказывали на рабочей слободке, что крепостных скоро на волю отпустят...

— Что за бредни? — возмутился заводчик.

— Это не бредни, батюшка, — тихо отозвался старик. — По книжке господина Радищева читали.

— Кто читал? Когда читал? — вспыхнул Николай Никитич и схватил лакея за руку. — Сказывай, песья душа!

— Батюшка, да нешто я знаю, что и как! Что слышал, то и сказал.

Демидов так и не добился ничего, но это сообщение его сильно встревожило.

«Значит, „Путешествие из Петербурга в Москву“ и тут в списке ходит!» — подумал он с огорчением и решил поскорее уехать из Тулы.

Вечерами тоска усиливалась. С заходом солнца Тула замирала, обыватели отходили ко сну Круглая луна катилась над старым садом и заводским прудом Зеленый призрачный свет струился над городом, и казалось, что все строения, и косматые деревья, и сам Николай

Никитич очутились вдруг на дне зеленого океана. Свежий воздух лился в окно и приносил первые запахи осеннего увядания.

«Дальше, дальше отсюда! — с тоской думал молодой Демидов. — Полк генерала Шевина и без меня наведет тут порядок!»

Николай Никитич выехал в орловские степи, и перед ним распахнулись широкие синие просторы. С полудня подул мягкий, теплый ветер, напоенный запахом последних отцветающих трав. Дорога бежала к темно-синему окоему, пересекала сухие балки и светлые сосновые леса, разбросанные среди равнин по берегам рек. Демидов молча ехал в экипаже и наслаждался покоем. В полдень кони останавливались в тенистой рощице у ручья, и пока слуги готовили завтрак, Николай Никитич долго, растянувшись, лежал на теплой траве и следил, как высоко в небе тянули на юг журавли. Безмятежно проходило время, не было ни тревог, ни суеты. После приятной езды по степи он ночевал на стационарных дворах, где меняли лошадей. И как хорошо спалось после долгого укачивания в экипаже! От возбуждающего ветра горело лицо, и сон приходил сразу, словно в теплый омут погружался Николай Никитич, и каждое пробуждение после такого сна приносило Демидову бодрящую радость. Хорошо утро на Орловщине, когда на востоке сквозь тьму начинает робко пробиваться бледно-розовая заря. Приходят минутки сладостного пробуждения природы, и вот вспыхивают первые трепетные лучи солнца и золотят верхушки деревьев. В утренней тишине раздается легкий свист крыльев: с дальнего озера проносится утиная стайка. Неожиданно из широкой балки прилетит ветерок и прошелестит в золотых листьях берез. Прекрасно осеннее утро в степи!

В один из тихих вечеров Демидов остановился для смены лошадей на заброшенной почтовой станции. Безмолвие опустилось на просторы, темнело синее небо, и на западе, за леском, куда погружалось солнце, нежным багрянцем пылала заря. Николай Никитич сидел у оконца и разглядывал опрятные деревянные строения. И вдруг, словно золотая змейка, в оконце скользнул и погас отраженный солнечный луч. Демидов выглянул в оконце и увидел на коньке крыши, на шесте, вертлявого золотого петушка. Легкий ветерок слегка поворачивал его. Петушок высоко держал голову, раскрыв клюв, и казалось, вот-вот он взмахнет золотыми крылышками и запоет... И тут Демидов вздрогнул, раскрыл от изумления рот: из ближней балочки вырвалась струйка упругого ветерка, ударила

петушку в грудь, он и на самом деле оживился, взмахнул крылышками, качнул головкой, и что-то похожее на пение — нежный звук — пронеслось в вечерней тишине.

— Что за диво? — очарованно оглянулся на станционного зрителя Демидов.

— И верно, батюшка, подлинное диво! — с ласковостью в голосе отозвался старик. Из-под седых нависших бровей глядели добрые глаза. Светлый душевный огонек теплился в них.

— Неужто петушок и в самом деле золотой? — полюбопытствовал Николай Никитич.

— Медный... Из меди резан, а дороже всякого злата! — с жаром пояснил станционный зритель. Великий талант в сие мастерство вложен, сударь! Прост, а душу веселит. А радость душевная дороже всего, батюшка!

— Подлинно великий талант надо иметь, чтобы смастерить такое диво, — согласился Демидов. — Неужто проезжий иноземец забыл у тебя на станции эту забаву?

— И-и, батюшка! — развел руками старик. Где иноземцам сделать такое! Слава богу, на Руси немало светлых голов имеется, не оскудела наша земля талантами. И не забава это, милый человек. Петушок этот погоду сторожит, зимой про метели предупреждает. Не потеха это, батюшка, а стоящее дело!

Николай Никитич взглянул в оконце и загляделся на золотого петушка, который застыл в неподвижности в сиянии вечерней зари.

— Продай петушка! — предложил Демидов.

Станционный зритель покачал головой.

— Мастерство это не продажное, дареное! — ровным голосом отозвался он.

Николай Никитич молча подошел к укладке, добыл кожаную кису и высыпал на стол перед оторопевшим стариком червонцы.

— Бери, все бери, а петушок мой! — настаивал Демидов.

Станционный зритель нахмурился.

— Дареное от души и на золото не купишь, батюшка! — Он сердито отвернулся от приезжего.

— Тогда скажи, кто смастерил это диво? — упрасивал Николай Никитич.

— Мастерил диво крепостной человек барина Свистунова, русский умелец Ефимка. Мудрый мужик! А живет он отсюда верстов за тридцать...

— Закладывай коней! Живо! — заторопил Демидов. — Не хотел ты продать золотого петушка, так куплю я мастера!

Старик хотел что-то сказать, жалобно заморгал глазами, но приезжий грозно выкрикнул:

— Проворней поворачивайся, сивый хрыч! Коней!

Демидовский слуга быстро собрал дорожные уклады и поволок во двор к экипажу. За ним выбежал хозяин. Раздосадованный стационарный смотритель вышел на крылечко, слезы блестели на глазах.

— Эх, горе какое! На доброго человека навлек беду! — покачал он головой и запросил Демидова: — Батюшка, возьми петушка задарма, только не трожь Ефимку!

— Э, нет! — отказал Николай Никитич. — Не хотел по-моему, теперь не вернешь! Коней! — крикнул он и уселся в коляску...

Ночь простиралась ласковая, звездная. Над полями струилось нежное сияние восходившего месяца. Ямщик разудало щелкал бичом, погоняя коней.

— Держись, барин! Кони из орловских заводов — порода! — Голос ямщика прозвенел громко.

Хорошо ночью в степи! Полной грудью дышится, и колокольчики — дар Валдая — нежно поют и трогают душу. Звездная пыль сыплется по синему простору неба, а в поблекших травах шорохи: звери тихо пробираются на водопой. В широкой пади, среди мелкой поросли провыл волк, и совсем неподалеку от дороги жалобно закричал зайчишка, врасплох захваченный лисой. В перелеске заухал филин. И надо всем колдует месяц.

Вглядываясь в зеленоватую ночную мглу, Николай Никитич вспоминал:

«Свистунов, Свистунов! Не тот ли Санкт-Петербургский гвардеец, которого поспешно выслали из столицы за скандальное проишествие?»

— Эй, любезный! — обратился к ямщику Демидов. — Не знаешь ли ты помещика Свистунова? Каков барин? Не служил ли он в гвардии?

— Кто его не знает! — бесшабашно отозвался ямщик. — Барин размашистый, орловский, под руку не попадай; и в гвардии он подлинно служил, да не повезло веселому, за проказы в родовое поместье отослали!

— Он! — обрадовался Демидов, и сразу на него нахлынули воспоминания юности.

...До столицы доходили смутные слухи, что отставной поручик лейб-гвардейского Семеновского полка не угомонился, с тем же пылом колобродил в своих орловских поместьях и постепенно разорялся. Чтобы унять его, в имение выехал губернатор. Свистунов дознался об этом и решил по-своему встретить высокую персону. Он приказал на пути сановника выкопать глубокий ров, а через него построить опасный висячий мост. Достигнув переправы, губернатор с великим страхом проехал через нее.

«Ну, хвала господу, пронесло!» — облегченно вздохнул он, когда кони вынесли коляску на спокойную дорогу. Через пять минут впереди блеснула речонка «Никак опять мост», — обеспокоенно завертелся губернатор, и когда кони вынесли коляску к берегу, он увидел, что мост разобран, а в воде торчат одни сваи. За рекой с топорами и пилами бродили плотники. Чиновники, сопровождавшие губернатора, бросились вперед.

— Эй, ребята, куда мост девался? — заорали они. — Что случилось?

— Мост разобран, господа хорошие! — почтительно отозвался из-за реки старший плотник.

— Как разобран? Кто смел? — не удержался и крикнул губернатор.

— Барин Свистунов приказал!

Генерал нетерпеливо вышел из коляски:

— Эй, вы, живо навести мост! Знаете, кто я?

— Известно, ваше превосходительство. Слухом земля полнится. Только извините, ослушаться своего барина не смеем!

— Розгами засеку! — побагровев, задыхался от гнева начальник губернии.

— Воля ваша, перебирайтесь к нам и-секите! — с озорством отозвались мужики.

— Погодите, я до вашего барина доберусь! — пригрозил губернатор и закричал ямщику: — Гони назад, в объезд!

Вернулись к первому мосту, а его как и не бывало. На другой стороне глубокого рва в походном креслице сидел сам отставной лейб-гвардии поручик и спокойно покуривал трубку.

— Господин Свистунов, что за озорство? — сдерживая гнев, заискивая, выкрикнул губернатор.

Опальный поручик остался глух и нем к истошным крикам. Губернатор и грозил ему и умолял, а Свистунов пускал синие кольца табачного дыма и умиленно рассматривал легкие пушистые облачка, безмятежно пlyingшие по ярко-синему небу.

— Господин гвардии поручик, — не вытерпел и взмолился генерал, — выпустите меня из несносного плена.

— А мне каково, ваше превосходительство? — наконец отозвался Свистунов. — За что и про что меня мытарите? Извольте, сударь, на себе испытать, сколь неприятно находиться в щекотливом положении. Позвольте, ваше превосходительство, пожелать вам спокойной ночи! — Поручик учтиво поклонился губернатору, уселся в поданный экипаж и укатил. А генерал так и остался мытариться на голом островке...

Вспоминя об этом, Демидов улыбнулся: «Он, он, старый знакомый!» — и весело закричал ямщику:

— Гони, холоп, быстрее!

Кони и без того бешено рвались вперед. Мимо мелькали осиянные луной перелески, блестели озера, гремели под копытами мосты. Вот впереди, плаваясь серебром, заискрился пруд, под мшистым мельничным колесом зашумела вода, и над плотиной выросли и сдвинулись кронами могучие молчаливые дубы.

— Вот и поместье, барин! — выкрикнул ямщик и щелкнул бичом. — Понесли, залетные!

По крутому извилистому берегу Красивой Мечи лепились домишки. Встревоженные дворняжки выбирались из подворотен и с хриплым лаем бросались под ноги коней. А коляска с шумом катилась прямо на яркие огни. Несмотря на полуночный час, впереди золотыми квадратами сияли освещенные окна огромного барского дома. Белые

колонны его поднимались среди вековых лип. Ямщик молодецки развернул тройку и лихо подкатил к высокому крыльцу, украшенному массивной колоннадой.

Заслышав стук экипажа, из прихожей на ступеньки выбежал высоченный гайдук. Он заносчиво осмотрел Демидова и не поклонился гостю.

— Барин дома? — сурово спросил его Николай Никитич.

Гайдук не смутился под надменным демидовским взглядом.

— Барин, гвардии поручик, ноне путешествуют по губерниям! — насмешливо сказал слуга.

— Как?

— А так! Они у себя в кабинете, а только с утра странствуют и никак не могут остановиться. Не ведено пущать!

— Не мели пустого! — накинулся на него Демидов. — Поторопись, холоп, и доложи, что старый друг по гвардии прибыл.

Не задерживаясь, Николай Никитич ринулся вслед за гайдуком, покорно распахнувшим перед ним дверь кабинета.

Гость очутился в обширной комнате с потемневшими обоями. Под потолком мерцал слабый свет от люстры, которую держал в клюве орел с распластанными крыльями. Синие волны табачного дыма, как промозглый туман над болотом, колебались в покое, пол которого покрывал мягкий ковер. На стенах висели охотничьи ружья, рожки, сабли, нагайки, головы лошадей, оленей, кабанов, собак. По всему пространству в живописном беспорядке были расставлены столики, глубокие кресла и диваны. В углу кабинета высился дубовый стол со спинкой, доходившей до потолка. На нем в несколько ярусов помещались курительные трубки с длинными чубуками и крупными мундштуками из янтаря. Вдоль широкой софы стоял ряд погребцов, а в них зеленели штофы.

На софе валялся обрюзглый, с взъерошенной шевелюрой барин в засаленном шлафроке.

— Как смел, ухорез? — хриплым голосом закричал он при виде Демидова.

— Свистунов, голубчик, или не узнал своего друга? — кинулся к нему Николай Никитич.

Пьяный помещик вытаращил глаза.

— Никак Демидов? — изумленно выкрикнул он и отбросил трубку. — Голубь, хват, садись-ка сюда! — Хозяин потянул гостя к себе, облобызал его и усадил рядом.

Николай Никитич незаметно брезгливо поморщился от прокислого табачного дыма, и глаза его перебежали на погребцы.

— Что это? Не гвардейская ли штофная баталия?

— Веселое было времечко, каруселью вертелась жизнь, а теперь — все тут! Гляди! — Свистунов указал на погребцы: — Что ни погребец, то губерния! Вот Псковская, а вот Новгородская, а это Калужская, там Владимирская, а подле — Орловская губерния. И в каждом погребце столько штофов, сколько городков в сих губерниях. Его превосходительство губернатор запретил мне покидать пределы губернии, вот я и странствую здесь. В день, братец, объезжаю две-три губернии. И сколько знакомых и родных я встречаю в каждом городе! Эх, милый, вспомни наше гвардейское! — выкрикнул Свистунов и вдруг запел хрипло:

Много ежжу по Руси,
От Керчи до Валдая,
И пью при этом я
Немало сиволдая!..

Он поперхнулся и закричал:

— Иван!

Перед софой вырос дядька-пестун:

— Слушаю, барин!

— Где мы сейчас находимся? — совершенно серьезным тоном спросил хозяин.

— За день отскакали верстов двести. Как изволите сами видеть, только что свернули на Тамбовщину!

— Хорошо, очень хорошо! — потер от удовольствия руки Свистунов и взглянул на Демидова: — Ну что, братец, приложимся ради встречи. Вспомним нашу младость!

Счастлив тот, кто в вихре боя
Иль в пирушке громовой

Славной смертью пал героя
Хоть под стол за край родной... —

пропел он и, дыша в лицо гостю, толкнул его в бок:

— Помнишь, как распевали?

От степного помещика изрядно разило хмельным. Николай Никитич поморщился: в лицо ударило неприятным запахом немытого тела. Он отодвинулся.

— Водку! — заорал Свистунов.

Высокий гайдук оказался на редкость проворным малым. Он быстро выдвинул на середину кабинета круглый стол, расставил на подносе большой графин, закуски, рюмки...

— Садись, Демидов, — пригласил гостя хозяин. — Выпьем для встречи! — Он цепкими волосатыми пальцами схватил рюмку, — гайдук осторожно наполнил ее. Свистунов поглядел рюмку на свет и сипло продекламировал:

Эхма! Служба тяжела!
Часом просто не находка!
А была чтоб весела,
Что гвардейцу нужно? Водка!

Поручик в засаленном шлафроке поднял рюмку над головой:

— Смотри, вот она! А ну-ка, за храброго моего фейерверкера Павлушку, за сукина сына денщика Савку, спасшего мне не раз жизнь, выпьем, Демидов!

Размашистым движением он «вонзил рюмку» в рот, не делая передышки, налил вторую и снова поднял над головой.

— За моих товарищей по оружию — Николая Демидова и Дормидонта, за столяра Василия, выручавшего меня в юности из критической нужды, и за воинов, живот свой за отечество на поле брани положивших! — провозгласил он и снова быстро опрокинул рюмку. — Э-э, Демидов, не отставать! Помнишь, как по аршину пили? Было времечко! А за монашенку Аленку? Эй, наливай, Иван!

Изогнувшись над хозяином, гайдук в третий раз налил рюмку.

— Уйди! — отмахнулся от него Свистунов и снова провозгласил: — Выпьем за упокой души моих незабвенных родителей, рабов божьих Спиридона и Клавдии! Выпьем за блудницу цыганку Аграфену, и за нашего пономаря Сысойку, и за все православное воинство!

Демидов положил руку на плечо хозяина:

— А не хватит ли, господин гвардии поручик?

— Скоро ретируешься с боевой линии, Демидов! — запротестовал Свистунов.

— Не в том дело! — стараясь смягчить пьяницу, вкрадчивым голосом заговорил Николай Никитич. — Много лет мы с тобой не виделись, Феденька, а ты о себе не рассказываешь. Как живешь?

— Плохо живу, Демидов! — взволнованно сказал поручик, и хмельные глаза его возбужденно заблестели. — Ничего в жизни не осталось, кроме сих погребцов со штофами да коней. Последнее имение прогуливаю, братец! Все тут!..

Он опустил лохматую голову, в которой густо засеребрилась ранняя седина. Задумался.

Тьма за окном стала заметно редеть и сменилась розовыми бликами зари. В комнате плавали густые синие клубы табачного дыма, стоял крепкий запах винного перегара. Все это было знакомо Демидову по гвардии, но теперь казалось далеким, отошло в прошлое. Во многом он изменился с тех пор, как оставил военную службу. А вот Свистунов как бы застыл на месте — навек остался гвардии поручиком. Демидов вздохнул: было грустно и тяжело на душе. Глазами он указал гайдуку на окно. Сметливый слуга приоткрыл раму. В окно ворвалась струя свежего, бодрящего воздуха. В озаренных восходом кустах щебетали птицы.

— Утро, братец! — вдруг поднял голову Свистунов и заорал: — Станция! Прибыли! Павлушку сюда! — Он пронзительно свистнул.

На свист в комнате мгновенно появился человек со жгучими глазами и черными усищами, косая сажень в плечах, красная рубаха — пламенем. Он рабски ловил взгляд своего владыки.

— Голову выше, Соловей-разбойник! — закричал на него Свистунов. — Ешь меня глазами, каналья! Готовы ли кони?

— У подъезда! — доложил слуга.

Гайдук быстро, словно играя, облачил барина в шелковую голубую рубашку. Веселые глаза Свистунова горели лихорадочным огнем. Опираясь на палку, прихрамывая на правую ногу, он выступил вперед.

— Демидов, шествуй за мной!

Они вышли на широкое крыльцо. Над парком, убранном в осенние цвета увядания, всходило солнце. На травах блестела крупная роса.

Четыре лакея в плисовых поддевках и в желтых рубашках стояли на ступенях лестницы. При появлении Свистунова они почтительно склонили головы.

У крыльца, позванивая бубенцами, нетерпеливо била копытами тройка гривачей, убранных в серебряную упряжь с крупными бляхами. Молодец со жгучими глазами чертом взлетел на облучок. Не зевал и гайдук — вскочил на скакуна и с нагайкой в руке вынесся вперед экипажа.

— Да куда ж мы поедем? — любопытствовал Демидов.

— На выводку! — выкрикнул помещик и взмахнул рукой. — Пошли!

Черноглазый ухарь гикнул, взвизгнул, и кони понеслись. Под расписной дугой залились колокольцы, загремели бубенчики малиновым звоном. Резвая тройка, с породистым рысистым коренником и в крендель изогнутыми пристяжными, понеслась птицей, всклубила пыль...

Кони быстро домчали их до обширной конюшни. Свистунов проворно выбрался из коляски и увлек за собой гостя. Тридцать отменных коней стояли у яслей. Властный и решительный Свистунов самоуверенно входил в каждое стойло. Если лошадь беспокоилась, кося налитыми кровью глазами, он ласково гладил ее по хребту, и животное стояло как вкопанное.

Конюхи — крепкие молодцы — засуетились при виде хозяина. Началась выводка. У Демидова разбежались глаза: до чего хороши были лошади! Он не знал, на какой остановить свое внимание. Каждую из них держали под уздцы два конюха, но иной резвый жеребец, играя, взрывая копытами землю, поднимал их на воздух. Перед гостем проходили чистокровки вороные, карачовые, гнедые, серые в яблоках, с золотым отливом, с длинными шелковистыми

гривами. Когда они вздрагивали, казалось, будто волна пробежала по нежной атласной коже животных от хвоста до головы.

У Демидова дух захватило:

— Ух, и кони!

В эту минуту, гарцуя и заносясь в сторону, из конюшни выбежал гигант золотистой масти с круглыми пятнами на спине. Злобно косясь, он фыркал по сторонам. Приблизившись к хозяину, конь поднялся на дыбы. Один из конюхов вдруг заробел, выпустил повод, и тот запутался между ногами лошади. Второй конюх не струсил, быстро пригнулся к земле и сдержал страшного злобного гиганта.

Свистунов бестрепетно смотрел на любимца.

— Отпусти повод! — приказал он конюху.

Молодец отпустил повод, но конь, гарцуя, продолжал бить ногами. Тогда бесстрашный конюх ухватил из-под ног лошади повод и ударил ее по шее кулаком.

— Стой, леший! — закричал он. — Не видишь, барин нами любит.

Резвый скакун вдруг успокоился. Свистунов подошел к лошади и погладил ее по шее.

— Балуй, шалун!

Демидов не мог наглядеться на прекрасное животное. Да и не только он один любовался им, — все конюхи не могли оторвать глаз...

Только один крепыш с рыжеватой бородкой безразлично сидел у конюшни и ладил хомуты.

«Шорник!» — подумал Демидов, и глаза его снова перебежали на лошадей.

Он искренне позавидовал Свистунову: «Пьяница, пустохват, а в конях разбирается! Орлову под стать!»

Между тем, поласкав любимца, Свистунов отошел от выводки. Заметив безразличного шорника, он вдруг вспылал:

— Все еще об игрушках думаешь? — заорал он на крепостного.

— Кто это? — тихо спросил Николай Никитич.

— Ефимка Черепанов! — сердито отмахнулся помещик. — Помешался на механизмах. Куклы ладить мастер, машинки, а в живой твари не разбирается. Ну куда он мне! Купи его, Демидов! У тебя на заводах, пожалуй, сгодится!

— У меня больше горбом люди работают, а машины мне не с руки. Дорого! — сдержанно отозвался Демидов. — Но все же, господин поручик, ловлю тебя на слове, куплю сего крепостного.

— Бери, дешево отдам! — остывая, сказал Свистунов.

Николай Никитич внимательно разглядывал Черепанова. Крепостной выглядел степенно, был жильный, бородка обрамляла энергичное лицо со смелыми умными глазами. Он тревожно смотрел на Демидова.

— Ну, что пнем на болоте сидишь? — закричал на него хозяин. — Встать надо! Видишь, барин о тебе разговаривает.

Черепанов встал, угрюмо потупил голову.

— Бери его, не гожд мне в хозяйстве. Мечтатель! За две тысячи ассигнациями бери! — деловито сказал Свистунов.

— Семейный? — строго спросил Демидов.

— Холост, — коротко отозвался Ефимка. Он поднял на Демидова потемневшие глаза: — Неужто и впрямь купите?.. Ох, горе! Жаль степи покидать!

— Бери! — бесшабашно махнул рукой Свистунов. — Бери, Демидов, а то передумаю: на борзую поменяю у соседа!

— Покупаю! — решительно сказал Николай Никитич. — Сегодня же отбуду и его заберу. Приготовься на вывод! — строго сказал он Черепанову...

Хозяин и гость повернулись и пешком пошли к дому. За ними в отдалении тихо следовала коляска. Слева в крутых берегах мелькнула река, над ней сельцо, которое Демидов миновал ночью. До чего ж убого выглядело оно при свете дня! Низкие, подслеповатые мазанки, покрытые сгнившей соломой, поросшей теперь зеленым мхом. Горькая бедность била в глаза. На улице в песке копались золотушные дети. Все шло к упадку, к истощению. Словно угадав мысли Демидова, Свистунов пожаловался:

— Приказчик — великий плут и хапуга, обкрадывает меня, но поймать не могу. Эх, Демидов, Демидов, — сокрушенно вздохнул помещик, — одна радость и осталась — кони! А там — кончено!

Припадая на правую ногу, он заторопился к господскому дому, зловеще высившемуся над окружавшей бедностью.

С ясного неба прямыми потоками лился золотой свет, и под этим чудесным светом особенно красивым казался дальний лес, могучие

дубы на плотине, которые своими осенними пламенеющими листьями будто хотели прикрыть крестьянскую бедность. На солнышке земля лежала черной, жирной — плодоносная земля!

«Отчего же хозяин этой земли проживает последнее? — удивленно думал Демидов. — Видно, не умеет дела вести! Вот откупить эту плодоносную жирную землю, согнать мужиков да пустить по степи конские табуны. Любо! От заводов далеко, а то бы...» Но тут же он отбросил эту алчную мысль.

Поздним вечером Демидов отправился дальше. Позади экипажа катилась тележка, а в ней сидел механик Черепанов.

Новый хозяин не сдержался и спросил на привале Ефима:

— Небось хорошо жилось тебе в орловских краях?

— А чего хорошего в нашей крестьянской доле? В одной цене с борзыми ходим. Одинаково светит солнце, да не всех справедливо греет!

В голосе Черепанова прозвучала обида. Лицо стало печальным. Он хотел отмолчаться, но Демидов не давал покоя своими расспросами, и они жгли душу крепостного, как раскаленное железо. Он сидел, опустив голову. О, как тяжело было покидать родные края!

— Ты не вешай головы! — подобрев, успокаивал Демидов. — Известно мне от добрых людей, что руки твои умелые. Видал твоего золотого петушка!

Лицо Ефима просветлело, но голос его прозвучал глубокой горечью:

— Золотой петушок! Эх, господин, руки мои золотые, а доля чугунная!..

Он с тоской оглядел степь. Далеко на востоке вспыхивали зарницы. Бледными молниями они пробегали над синим горизонтом, на мгновенье озаряли вечернее небо и погасали.

Надвигалась ночь, а кругом шли раздольные степи, простор...

— Сколько земли кругом, а человеку тесно! — сказал Ефим, а про себя подумал: «Придет время, вспыхнет и пойдет по земле горячий пал! Сожжет он тогда все лишнее!»

Заря погасла. Из оврагов и низин стала наползать и подступать со всех сторон ночная тьма. Вспыхнули звезды, а на степных озерах

загомонили лебединые и гусиные стаи. Где-то у далекого перелеска блеснул и поманил к себе огонек костра. Демидов долго смотрел на него. Костер то сыпал искры, то бледнел.

— Сколько тут непуганых птиц! — прислушиваясь к лебединым кликам, жадно вздохнул он.

— Раньше еще больше было. В рощах тетерева, словно куры в огороде, ходили. Ступишь ногой — петух срывается с березки, ступишь другой — кура бежит. Хочешь — руками лови! — Голос Черепанова прозвучал печально. Эта печаль сливалась с синей ночью, которая опустила на степь. Манящий огонек стал ярче, золотые искры сыпались в тьму.

— Вот и костер! — обрадовался Демидов. — Гляди, никак цыганский табор!

И в самом деле, впереди забелел шатер, а у огня обозначились озаренные смуглые лица. Тройка неслась быстро, костер все приближался. Вот поднялась высокая лохматая тень: на дорогу вышел цыган с непокрытой курчавой головой.

— Стой! — приказал ямщику Николай Никитич, и бубенцы, рассыпав в степи последнюю звонкую трель, сразу смолкли.

Цыган подошел к тройке, и глаза его вспыхнули.

— Хороши кони, барин! Ай, хороши! — похвалил он. — Милости просим к огоньку!

Что-то знакомое прозвучало в голосе цыгана. Демидов силился вспомнить, где он видел этого коренастого носатого бродягу.

С хриплым лаем собаки бросились к тройке. Цыган, щелкая бичом, отогнал их прочь.

У костра сидели две цыганки и доедали неприхотливый ужин. Одна из них — седая, морщинистая старуха — ела жадно, вторая — молодая, с усталым, но привлекательным лицом, — слепо смотрела на огонь.

И в этой цыганке что-то знакомое почудилось Николаю Никитичу.

— Садись, барин! Прости, дорожного гостя нечем побаловать! — сказал цыган.

Старуха сверкнула недобрыми глазами:

— У него, поди, своего добра хватает, и тебе еще даст!

Молодая подняла голову, и Демидов увидел, что она слепа. Он отвернулся и хотел уйти, но подошли Орелка и Черепанов. Точно

сговорившись, оба обрадовались:

— И впрямь, у огня неплохо отвести душу!..

— Садись, садись, желанные! — сказал цыган и подбросил в огонь хворосту. Пламя костра вспыхнуло ярче, красные отблески пробежали по лицам. Вдруг цыган вздрогнул, дрожащим голосом прошептал:

— Мати божия, вот где знакомого человека встретили!

— Данила! — узнал бродягу Демидов, и все сразу вспомнилось ему. — Каким ветром занесло тебя сюда?

Молодая цыганка страдальчески прижала руки к груди, насторожила слух:

— Да кто же это? Скажи еще словечко, добрый человек!

«Неужели это она, Грушенька?» — со страхом подумал Николай Никитич и посмотрел на слепую. Лицо ее, озаренное пламенем, порозовело, и распутившиеся косы легкими прядями развевались на ветерке.

— Что же не скажешь словечко? — огорченно повторила слепая. — Чует мое сердце, что в давние годы знавала я тебя!

— Знавала! — решительно сказал Демидов и подошел к ней. — Грушенька, помнишь поручика Феденьку и его друга?..

— Батюшки! — обрадованно закричал цыган. — Ей-богу, это Демидов! Барин! Милый ты мой, золотой, вот где довелось встретиться! — засуетился он.

— Николенька! — протянула руку цыганка и стала шарить вокруг себя.

Демидов догадался и покорно приблизился к ней. Тонкими, легкими пальцами она, словно дуновение ветерка, прикоснулась к его лицу и руке.

— Все такой же красавец! — улыбаясь, сказала она. В уголках глаз блеснули слезинки. — Пролетело времечко, ушло золотое! Видишь, какая я... стала! Из ревности одна столичная краля очи цыганке выжгла. Ох, и что я теперь! — Из груди ее вырвался болезненный стон.

— Да ты все такая же! — с жаром вымолвил Демидов и, оборотясь к Орелке, крикнул: — Тащи погребец да ковер сюда! Привел бог встретить в чистом поле свою молодость!

На душе Николая Никитича было и тоскливо за минувшую юность и радостно за поминку о ней. Светлые воспоминания молодости крылом жар-птицы коснулись сердца, и он мечтательно присел у костра. Старуха с ястребиным носом подобрела, отодвинулась подальше.

— Мати святая, и во чистом поле добрые люди встречаются! — Она алчно посмотрела на погребец, который выволок из телеги Орелка. — Вот и сыты будем. Эх, барин, барин, сколько горя, печали и страданий мы перенесли!

— Ну, ты помолчи, старая! — прикрикнул на нее Данила и подбросил в огонь новую охапку хвороста. Над костром взмыло пламя, золотым роем посыпались искры.

— Так ты помнишь меня, Грушенька? — сердечно спросил Николай Никитич.

— Помню и тебя и Феденьку. Нет его! С той поры, как выслали его из Санкт-Петербурга, и слух пропал. Умер, наверное, мой желанный!

Данила хмуро посмотрел на слепую.

— Будет тебе старое вспоминать! Все быльем-травой поросло и не воротится! — сердито сказал он. — Спой лучше барину, он тебе руку позолотит!

— Не надо мне золота! — недовольно отозвалась слепая. — Мне и без него сейчас хорошо... Спою и так!.. А Феденька, знать, умер! — обронила она, опустила голову и задумалась: — Что спеть-то, не знаю?

«Сказать или не сказать о Свистунове? — взволнованный воспоминаниями, подумал Демидов. — Впрочем, к чему травить зажившие раны?»

Грушенька улыбнулась про себя. Данила подал ей гитару, она пробежала пальцами по струнам.

— Сейчас спою для тебя. Извини, что грустное!

Она встряхнула головой, густые пряди волос рассыпались по плечам, и чистый, чудесный голос огласил уснувшую степь:

Плачут все со мной деревья,
Горько слезы льют,
А по небу быстро тучи

Черные плывут...

Синие звезды низко склонились над табором. Старуха махнула рукой и отошла к ковру, который расстилал Орелка. Черепанов не сводил опечаленных глаз с цыганки. Она продолжала жаловаться:

Эх, тоска моя, кручина!
Горькая судьба!
Сердце ноет от печали,
Жизнь мне не любя...

Демидов опустил голову, молчал. Неподалеку в овраге что-то лепетал ручей. Голос цыганки вплетался в тихое журчание струи:

Мне не долго жить осталось,
Смерть моя близка...
Не глядите же, цветики,
В очи вы мои...

Орелка стоял в тени с открытым ртом, боясь пропустить словечко из песни. Когда цыганка кончила петь, он громко вздохнул.

— До чего хороша песня!.. Николай Никитич, пожалуйста, кушать подано-с! — неожиданно закончил он. — Эй, эй, ты куда, ведьма, раньше господина нос суешь! — погнал он старую цыганку от ковра.

Стояла пора звездопада, то и дело золотинки срывались и катились к темному степному окоему. Ласковая теплая ночь, печальная песня цыганки растрогали Демидова.

— Садись все к моему хлебу-соли! Орелка, вскрой вино!

Легкий гомон поднялся над табором. В шатре закричал ребенок. Груша поднялась и принесла завернутое в пестрое тряпье дитя.

— Вот сынок мой! — с необычайной теплотой сказала она и, легко покачиваясь, стала его убаюкивать. На лице слепой блуждала светлая улыбка. Она руками скользила по лицу ребенка, который тарачил веселые глаза на раскаленные угольки костра...

Хмель слегка туманил голову Николаю Никитичу. Он положил руку на плечо Данилы.

— А ну, цыган, скажи по совести, какими судьбами тебя забросило на Орловщину?

— Долю свою ищу, барин!

Молчавший Черепанов вдруг обронил:

— Пустым занимаешься, человек! Судьба сама найдет смерда. Что за доля у бедняка? Куда от нее уйдешь?

Демидов хотел прикрикнуть на холопа, но цыган усмехнулся и поддержал крепостного:

— Не обижайся, барин, на правду. Верно говорят люди: правда глаза режет. Но твой человек истину молвил. Слушай, барин, расскажу я тебе одну присказку, куда девалась цыганская доля...

— Рассказывай! — милостиво согласился Николай Никитич.

Цыган выпил чару, крякнул от удовольствия, утер бороду.

— Хорошее вино! Давно не пил такого... Слушайте, добрые люди! — обратился он ко всем и спокойным голосом повел сказ:

— Однажды бедный цыган ловил в озере рыбу, а вместо рыбки вытащил сеткой каменючку. А она так золотом и горит.

Вернулся цыган с добычей в свой табор и говорит женке:

«Рыбы черт ма, одну каменючку вытянул!»

Баба и отвечает ему, не злобясь:

«Хвала богу, и каменючка к счастью. Пусть нам будет свитлом в шатре!»

Так и сотворили. Днем ее рядом закрывали, а ночью она светила вместо огня. Горит каменючка, как светел месяц.

Случись такое, мимо цыганского шатра проезжал царь, и диву он дался:

«Откуда в бедном цыганском шатре да такой ясный свет?»

Вошел он в шатер, увидел золотую каменючку, и затрясло его от зависти:

«Гей, цыган, продай мне этот камень! Озолочу тебя!»

Женка в слезы:

«Ой, что ты! Ни за что не отдам! От этого нам на целый век светло!»

Царь вынул кошелек с золотыми и бросил цыгану:

«Бери!»

«Не возьму я грошей! — отказался цыган. — Каменючка — это мое счастье. Отдам я ее тебе, царь, только тогда, когда бумагу напишешь, а в ней, в той бумаге, укажешь всему царству-государству, чтобы цыган за людей признавали, чтобы их счастье, как эта каменючка, сияло...»

Обозлился царь:

«Ишь ты, чего захотел!»

И приказал сжечь шатер. Царевы прихвостни и рады стараться, сожгли добро бедняка. Насилу цыган успел захватить своих детей да бежать куда очи глядят. Так золотая каменючка и досталась царю! — со вздохом закончил Данила и повел глазом на Демидова. — А это, скажу тебе, барин, самый драгоценный камень был во всем свете... С той поры, батюшка, все цыгане на царя в большой обиде за то, что украл царь у них цыганскую долю...

— Вот тебе и доля! — шумно вздохнул Ефим. — Не только у цыган ее украли, но и русского холопа обошли!..

— Ну, ты, уходи отсюда! — злобно прикрикнул Орелка на механика. — Тебя, как доброго, барин за один кусок посадил, а ты что понес! Иди, иди к своему месту.

Данила сердито покосился на Орелку, поднял голову и вдруг как ни в чем не бывало задумчиво вымолвил:

— Гляди, вон еще звездочка сорвалась и покатилась к оврагу. Знать, чья-то душенька уснула на земле...

Костер угасал. Из-за кургана поднимался запоздалый багряный месяц. Демидов потянулся, зевнул:

— Спать пора!.. А неправда твоя, Данила. Никто долю у человека не отбирал. Всяк кузнец своего счастья.

— Не знаю, батюшка, — тихо отозвался цыган. — Каждый по-своему судит... Пошли бы в шатер, прилегти!..

Николай Никитич поморщился:

— Благодарствую! Я тут, под звездами, полежу, а в шатре у тебя, поди, блох много!..

Груша промолчала, тихо встала и с ребенком на руках пошла к пологу.

В небе катился месяц. Облака плыли под звездами, то и дело закрывали его. Набежал ветерок, вздул последние искорки костра, и

над степью потянуло сизым дымком. Все постепенно разошлись и затихли на своих местах.

На холодной росистой заре проснулся Николай Никитич и приказал закладывать коней. Цыганки еще спали. Из шатра вышел Данила, поклонился Демидову:

— Счастливо, батюшка, в путь-дорогу!

Перекликнулись погремки-бубенчики, и тройка рванулась с места. За ней покатила и тележка Черепанова. Все минувшее сразу отошло назад.

Разгорался погожий денек отходившей осени. Легко дышалось, но грустно было в степи и во встречных перелесках. Земля, покидаемая солнцем, казалось, тихо сгорала в золотисто-багряном пламени вечерних и утренних зорь.

Кони резво вынесли путников в придорожный лес. Торжественный и безмолвный, как сияющий храм, стоял он, залитый красными и золотыми огнями осени. В воздухе обильно разливался тонкий запах увядающей жизни. Копыта глухо били по мягким пуховикам опавших листьев, пестрых и роскошных, как драгоценный персидский ковер. Гулко и четко раздавались звуки в опустевшем лесу. Впереди заунывно зазвенел почтовый колокольчик. Навстречу медленно выкатилась повозка. Через минуту она поравнялась с тройкой Демидова. Николай Никитич успел заглянуть в повозку, запряженную тощими лошадьми. В глубине ее сидел, понурился голову, измученный человек, скованный кандалами. Справа и слева его оберегали солдаты. Скупое осеннее солнце блеснуло на синеватых лезвиях штыков.

Демидов приказал придержать лошадей.

— Кого везете? — окликнул он конвойных.

— По указу его императорского величества государя Павла Петровича везем в Сибирь разжалованного полковника. Фрунт порушил...

Арестант поднял глаза, хотел что-то сказать, но Демидов закричал ямщику:

— Гони, холоп!

Навстречу из-за черных дубов выбежала толпа беленьких стройных березок, а за ними показалась крошечная избушка лесника. Сквозь золотые узоры листвы поднималась голубенькая струйка дыма...

«Прощай, Орловщина! Прощай, родимый край!» — горько подумал Черепанов и в последний раз поглядел туда, где в широкой просеке леса все еще желтела степь да высоко в синем небе поднимался древний курган.

Бесконечные, тяжелые дороги шли на Урал. Много рек пересекли путники, много бродов проехали, дремучих лесов миновали, городов позади себя оставили, а еще больше деревень и сел, — и все Русь, одни порядки в ней, и одна дума щемит сердце Черепанова.

Далека-далека путь-дорога на Каменный Пояс, а горе-беда рядом с Ефимом шагает: стоном стонет вся крепостная Россия от насилий и ярма барского.

В Казани Демидов задержался: проверял амбары с железной кладью. Черепанов однажды зашел в царский кабаk и встретил там горемыку: за грязным тесовым столом сидел русоголовый парень и пил горькую. Перед детиной лежала старая скрипка. Ефим подсел к столу, перекусил и спросил парня:

— Откуда у тебя скрипица, милый человек?

В обращении Черепанова горемыка уловил, что тот любит инструменты, интересуется ими. Он доверчиво посмотрел на Ефима и, в свою очередь, спросил его:

— Дворовый?

— Крепостной мастеровой! — отозвался Черепанов и, бережно взяв скрипку, осмотрел и осторожно тронул струны. Чистые певучие звуки защемили сердце. Инструмент выглядел стареньким, затертым, а подал глубокий, волнующий голос. Орловец удивленно уставился на парня.

— Отколь у тебя такая звучная скрипка?

— Не продажная, а дареная, — любовным взглядом обласкал парень инструмент. — По тайности отдала одна крепостная женка. Скрипица эта наиграна одним умельцем. Нет его ноне на земле, истребили лиходеи наши! Талант великий бог ему дал, да барам сей талант не по нутру пришелся. Говорила-пела под его рукой сия скрипица о злосчастном народном горе. Слышишь, мастеровой?

— Слышу! Но только скажи, кто сей талант был?

— Андрейка Воробышкин, демидовский крепостной! Вот кто! Слышал?

— Не довелось слышать о нем! — признался Ефим.

— Жаль! Замучили человека в остроге за нашу правду! — упавшим голосом сказал парень. — Его-то загубили, а песня вольная в сей скрипиче осталась. Ее не посадишь за железные решетки, не скуешь кандалем, и топор палача бессилен перед ней! Великий талант, братец, был!

Черепанов грустно опустил голову.

— Да, не одного Демидовы сгубили, не один талант себе на потребу приспособили! — в раздумье сказал он. — Но верное слово сказал ты, парень: бессмертно человеческое слово о воле и доброй жизни! Гляди, что творится: нет Андрейки Воробышкина, а песня его поется, ее слушает народ! Выходит, жив сей талант в сердце простолюдина и будит его к лучшей доле!

— Истинно так! — согласился горемыка.

— Сыграй, мил друг, от сердца добрую песню! — попросил орловец.

Парень охотно послушался Черепанова. Он поднялся, стал посреди кабака, бережно приложил к подбородку скрипку, повел грустными глазами и заиграл. И так печально заиграл скрипач, что даже у толстого бородатого целовальника обмякло лицо, а у Ефима из хмурых глаз выкатилась непрошенная слеза.

Он вздохнул, утер украдкой соленую слезу и попросил парня:

— Погоди, не играй про горе! Сыграй-ка про радость, горя у нас и так разлитое море!

Скрипач уныло покачал головой, осторожно положил скрипку на стол и потянулся к штофу. Его серые глаза потемнели. Одним духом он осушил кружку хмельного и тяжело опустил голову. В кабаке стихло. Среди томящей тишины Черепанов заметил: у парня от беззвучных слез подергивались плечи.

— Хмель плачет! — подмигнул Ефиму хитроглазый целовальник.

— Врешь! — мгновенно вскочил музыкант, и глаза его вспыхнули гневом. — Врешь, супостат! Барин мою невесту на кобеля обменял! Так радоваться теперь прикажешь?

Орловец сердито посмотрел на кабатчика:

— Вот оно что робится: человека на собаку сменял! Ох, злыдень!

— А ты не горячись, мужик! — перебил орловца целовальник. — Кобель ведь не простой был, барский, благородных кровей! И запомни,

милой: вскормила сего кобелька своей грудью былая барская любовница. Ох, и раскрасавица, скажу!..

— Молчи, нетопырь, не разжигай кровь! — возмущенно выкрикнул скрипач. — Молвишь еще слово, задушу!

— Ну-ну, ты! Мало, видать, барских плетей испробовал! — зло огрызнулся целовальник. — Пей да уходи отсель!

— Стой, леший! Пошто ты насмехаешься над человеческим горем? — поднялся из-за стола Ефим. Сердце его горело ненавистью к сытому самодовольному кабатчику. Он насупился и пригрозил ему:

— Не трожь парня! Не то вступлюсь — худо будет!

Целовальник злобно взглянул на коренастого, сильного Черепанова и присмирел.

— Эх-х, горе-то какое у человека, а помочь и нечем! — тяжело вздохнул орловец. — Уходи отсюда, парень! Не хмельное зелье избыток твоего злосчастья. Слушай, присоветую: бери скрипку, иди по селам да деревенькам, по путям-дорогам и расскажи песней, как горько живет русскому человеку на своей земле!

Он взял шапку и поскорее выбрался из кабака. Подальше от подлых и лютых глаз целовальника.

Сидя в тележке, которая катилась за барским экипажем, Черепанов старался уйти от лихой беды. Казань давно осталась позади, а горе-несчастье следом за Ефимом тащилось. В Заволжье подули холодные сибирские ветры, они поднимали палый золотой лист и гнали его над холмами, над зелеными еловыми понижами, над прозрачными стылыми озерами и забытыми деревеньками, которые притаились в укромных уголках. Не пролетали больше в небесной выси крикливые журавлиные стаи, тянулись с севера серые лохматые тучи, и оттого осенние дни стояли сумрачные и безмолвные.

— Ушло летечко, улетела золотая пора! — вздохнул Черепанов.

Из хмурой тучи просыпался снежок, замелькали белые перышки, и сквозь редкое нежное кружево показались дроги, а на них сосновый гроб. Позади понуро шли мужики и бабы. Черепанов придержал коня, снял шапку и перекрестился.

— От недуга или от старости работяга преставился? — спросил он у шедшего сторонкой старика.

Дедка уныло поглядел в лицо орловца, опасливо оглянулся на демидовский экипаж и пожаловался:

— Куда тут! И не от недуга и не от старости помер работничек, а свой барин засек!

Среди снежной мути проплыли мимо дроги с гробом, а за ним проплелись сутулые мужики.

Сердце Черепанова затосковало.

«Эх, горе большое повисло над родной землей!» — с тоской подумал он.

И снова пошли малым обозом на Урал-Камень. Потянулась сейчас старая сибирская гулевая дорога. И выглядит-то она просто: прямая, кучки серых камней по обочинам и голые с поникшими ветвями березки. А по сторонам — то дремучие боры, то чахлые осинники, то мочажины, болотины, то речушка, то лесистая горка и серые полуразрушенные нищие деревушки.

«Эх ты, дороженька, страшная, сибирская, сиротская, кандалная дороженька! — подумал Ефим. — Сколько на тебе слез пролито, сколько звона ты кандалного слышала! Не оттого ли нахмурился и молчит кругом лес?»

И словно на думку, впереди послышался кандалный звон. Обозик нагнал каторжных. Измученные, оборванные люди с голодными глазами, со впавшими щеками, обросшие, шли устало в ногу, в трудный шаг бряцали кандалами. С боков шли конвойные, а впереди на сытом коне ехал унтер с саблей наголо.

«В Сибирь гонят, в рудники упрячут!» — горько подумал Черепанов.

Молодой кандалник, завидя печального бородатого орловца, крикнул ему:

— Эй, милый, айда, шагай с нами! Не вешай носа! Россия — страна казенная, и мыслить в ней запрещено!

Ефим не отозвался, сжал вожжи, хлестнул ими по коню и обогнал ватажку каторжных. Навстречу из-за снежной завесы выбегали полосатые версты, за ними показывались деревеньки да изредка одинокие кресты на перепутьях. Черепанов снимал шапку и крестился: «Чья душенька упокоилась тут навек? Каторжного, крепостного или просто неугомонного человека? Ишь ты! „Шагай с нами!“ А того не ведает, несчастный, что и я шагаю на демидовскую каторгу! Недалеко убежала моя доля от твоей, горький пересмешник!»

Так в тележке следом за барином и проехал Черепанов через всю Россию, пересек реки и леса, и в одно зимнее утро перед ним встали высокие темные Уральские горы.

Чем дальше и дальше на восток, тем ближе становились увалы, покрытые хмурым хвойным лесом. В глубоких снегах утопали встречные деревеньки. Злее становился порывистый ветер.

Ефим с удивлением разглядывал скалистые горы, вставшие на пути. До самого неба поднял главу хмурый шихан. Вершина его дымилась пургой. Медленно извиваясь, обоз втягивался в дремучие ущелья. Морозами и ветрами встречал пришельца суровый край!

Глядя на величественную панораму оснеженных гор, мастерко снял шапку и повеселевшим голосом вымолвил:

— Ну, здравствуй, Урал-батюшка! Принимай работничка!

Из-за серых взлохмаченных туч неожиданно брызнуло зимнее солнце и засияло на поголубевших снегах. Старый Каменный Пояс одарил орловца скупой, но милостивой улыбкой.

Со щемящей тоской и любопытством оглядывался орловский мастерко на новом месте. На другой день его вызвали в заводскую контору, к управителю Александру Акинфиевичу Любимову. Тот внимательно оглядел купленного на Орловщине крепостного. Коренаст, крепок, зубы целы, курчавая борода — не израсходован, в силе работяга.

— Пьешь хмельное? — деловито спросил управитель.

Ефим отрицательно покачал головой.

— И без хмельного от дум голова кружится, а горе и сивухой не зальешь! — ответил он степенно.

Голос у мастерка оказался сочный, грудной. Говорил он медленно, солидно, и эта степенность понравилась Любимову.

— Сказывал Николай Никитич, что золотые руки у тебя, да к делу не применишь свое умельство. Петушков да забавы, говорит, ладил! Тут, заметь это, блажь сию из головы выкинь и займись делом! Хозяина и ближних слуг его уважай, чти, работай на полный размах! Понял?

— Как не понять, — отозвался Черепанов.

— Грамотен?

— Разумею, — тихо сказал Ефим.

Управитель удивился:

— Прост мужичонка, а грамоте учен. Диво! Кто обучал?

— Сам добился да дьячок помог.

— Разумно! — похвалил Любимов. — Садись вот сюда да расписочку подмахни, — показал он на бумагу.

Черепанов присел к столу, взял грамотку и зачитал. По ней значилось, что дает он клятву и, в обеспечение от потерь, сию роспись — от хозяина не бегать, работать рачительно, а буде кто выкупить пожелает, стоит ныне его холопья душа пять тысяч рублей!

— Да барин всего две тысячи ассигнациями уплатил за меня! — сказал мастерко.

Любимов положил на грамотку широкую ладонь, разгладил. На руке управителя блеснул перстень-хризолит. Он поморщился и сказал Черепанову:

— Не груби! Стоил ты две тыщи, а ноне пять! Разумей: господин Свистунов не знает кошта крепостных; а попал к Демидову — возвысился в цене. Помни, у нас так: демидовское превыше всего! Вот как!

Ефим расписался в грамотке.

— Ну вот, умно поступил, — облегченно вздохнул управитель. — Теперь не побежишь. Утеклецов у нас на цепь сажают. Это помни! Но, вижу, человек ты разумный, почтительный и сам разумеешь, что к чему. А теперь приказчик укажет тебе, где обретаться. Каждая душа должна знать свое место. Эй, Шептунов! — закричал он.

На зов мигом появился толсторожий, черный, как жук, приказчик.

— Поди укажи, где мастерку жить! — кивнул он на Черепанова.

Шептунов отвел Ефима в избушку слепца-нищеврода Уралки и сказал:

— Тут и жить будешь. А умрет старик — владей хоромами!

Уралко нисколько не обиделся на приказчика за такие речи. Жильца он принял приветливо; при Шептунове старик держался замкнуто, молчаливо, а когда тот ушел, забалагурил по старой привычке:

— Шептун-клеветун! Тихо да мягко стелет, а жестко спать! Не верь сему пролазе: в душу влезет, а за грош предаст. Мое дело — что? Отробился, пора и на погост Людям становлюсь в тягость. Эх-ха-ха!..

Он улыбнулся орловцу, посетовал:

— Укатали сивку крутые горки! Молод бывал — на крыльях летал, с неба звезды хватал, а ноне горшка с полки не достану! При старости две радости: горб да кила!

Несмотря на жалобы, старик был сух, прям и подвижен. Слабый телом, слепой, он не сдавался, хорохорился. Прислушиваясь к словам Ефима, Уралко утешал:

— Поглядишь кругом, страхов много, а смерть одна! Ты, мил друг, помни: счастью не верь, слепо оно, беды не пугайся, на ласку барскую не сдавайся! Не робей, воробей, дерись с вороной!

В одних холщовых штанах и рубашке да в стареньком полушубке, старик, однако, держался опрятно. Он не тяготился своей нищетой.

— Я что! Разве беден? Один житель, одна забота! А вот рядом — вдова Кондратьевна: сама хвора, ребят трое, а кормильцу только что минуло двенадцать. Вот она бедна, ох, и бедна!

Черепанов бросил на лавку кафтан, укладку поставил у стены. Тусклый свет проникал в мутное слюдяное окно.

— Тяжело мне, дедушка, — сдержанно признался он. — Места здесь гиблые, леса дремучие, горы неисхоженные. Небо да скалы!

— Ну, это ты напрасно, душа-человек. Я тут-ка родился, тут-ка изробился, горы эти да камень потом своим соленым промочил. Родимый край! Слов нет, суров, хмур, а взглядишь в леса, в скалы, в небушко — непременно полюбишь! Гора Высокая, а люди кругом малые, и гляди, что творят!

Слепец надел шапку и поманил за собою мастерка. Распахнул дверь, вышли на двор.

— Гляди, что робится, зрячий человек! Все тут увидишь!

Перед Черепановым открылась невеликая горка. Никак нельзя было понять, почему люди назвали ее Высокой. У подошвы ее раскинулся обширный пруд, а кругом, как стадо, разбрелись избы, хатенки, амбарушки. Это рабочая стройка. И на каждом конце свои люди, свои обычаи. Тут и бобыли, и пришлые люди, и ссыльные с Гулящих гор, и опальные, и волжская вольница, и беглые староверы-поморы, и тульские оружейники, и пленные обрусевшие шведы, и «переведенцы» из российских губерний — кого только нет! Вот Ключи — самый старый конец, строен при закладке завода. Строили кержаки — сильные, выносливые, трезвые люди. Они первые ломали руду на

горе, сжигали уголь в курнях, возили руду на двуколках, — глубоко эти людишки пустили корни. Срослись с краем!

Они срубили когда-то избы из смолистого крепкого леса, теперь толстые, в обхват, бревна почернели от непогод и хмури.

На север от Ключей по речке Вые укоренились туляки — наипервейшие обитатели демидовских владений. Это заводские люди: под домной, у горна и молота они! Из них и мастера, и надзиратели, а некоторые и писчики.

А на полудень от Высокой — Гальянка, самая молодая и самая пестрая часть Тагила. В ней проживают переведенцы: и украинцы, и вятичи, и рязанцы. Демидовы скупали крепостных у российских помещиков и переводили на Урал. Эти на хозяйских промыслах маялись: золото мыли, от них и поговорка пошла: «Золото моем — голосом воем!»

Вот он, край-сторонушка! Надо всем хозяином — белоснежный господский дом с колоннами. Рядом — заводская контора, а под ней тюрьма. Решетки из толстого железа, кругом камень, попал в это жило — не скоро выберешься!

Ефим загляделся на Высокую. Вот она, рукой подать! На южном скате все разворошено, вспорота земная грудь, — тут и идет рудная добыча. Под открытым сизым небом в разрезах, как муравейник, копошился народ. Рудокопщики-горщики кайлами, ломами, железными клиньями выламывали руду из недр. Потные, грязные, под скупым сибирским солнышком, они на полный мах ударяли в породу, из-под кайлы сыпались искры. Добрую руду — магнитный железняк — рудокопщики вынимали, а бедную, с пустой породой, валили в отвал...

По разрезам горы петляют узкие дорожки, а по ним вверх-вниз снуют тележки-двуколки: гонщики грузят добытое и отвозят к штабелям. А гонщики — бабы, девки, подростки.

Вся гора гудит, полна гомона, от темна до темна тут кипит работа. Поблизости возвышается окутанная дымом домна. От завода гул плывет, железо грохочет, лязг, а под плотиной вода ревет. Все кругом полно кипучей неизбывной жизнью.

Черепанов вздохнул.

«Тяжело здесь человеку жить; но это край, где можно помериться силой!» — подумал он и сказал деду:

— Горы, да камень, да лес кругом! А человек все переборет!

— Свое возьмет! — охотно согласился Уралко. — Скажу тебе по совести, сынок, что я? Слепец, отробился, пустая порода, в отвал бросай. Но, по душевности признаться, не зря век прожил!

Старик помолчал с минуту, улыбнулся своим тайным думам:

— Вот глядишь на меня и думаешь: век бился, из-за хлебушка работал. Но, по совести сказать, не из-за куска хлеба, не из-за этой порточной рвани я старался. Была такая думка, и она поднимала меня над землей: ведь не только на барина я робил! Это верно, он, как вошь, пристал к нашему телу и кровь сосет! Ох-х! — Уралко тяжело вздохнул и продолжал: — Да нет, чую, душа твоя чистая; такой человек не заушник, не шпынь, барским собакам на растерзание не даст старого человека! — вымолвил он с большой теплотой. — Так вот скажу: еще робим мы на всю нашу землю. Вот лил я пушки, знал, что из тех пушек били супостатов. Выходит, на родную землю робил! Край тут суровый, глухой, необжитый, чащи да зверье кругом, — это верно! Но помни, сынок, край этот наш, русский. Кто же его обогреет, взрастит, как не мы, работнички! Барина-то, захребетника, когда-нибудь сгонят. Были грозы и опять придут! Емельянушка жив в народе, жив!..

Они вернулись в избу. Черепанов уселся на скамью и внимательно слушал слепца. Слаб, хвор, а духом силен, могуч! Ноги в гробу, а верит в будущее. Словно угадывая мысли мастера, Уралко сказал:

— Вот ты по Орловщине затосковал. Родина! А то разумеи, добрый и умный мой: родина наша велика, от края до края она размахнулась, как светлый солнечный день! И много лесов, озер, рек и гор землепроходцы добыли нашей державе, но то помни: везде земля становится родной и дорогой, где русский человек обильно пролил свой пот и великим, упорным трудом возвеличил ее, матушку!

Черепанов схватил руку старика и благодарно пожал ее:

— Доброе слово молвил, дед! Где такое добыл?

— В душе! Долго думал, немало мыслей перебродило, много горя изведаль, но как пустую породу откинул, а все ж таки добыл камушек-самоцвет. Нетленный самоцвет!

Они долго вели беседу. Давно Уралко не говорил всласть, а теперь все душевное выложил. Ефим сидел, не шелохнувшись, и слушал. Это полюбили слепцу.

— Не обижайся, сынок, дай огляжу тебя! — сказал Уралко.

Не успел Черепанов опомниться, как дед подошел к нему, и сухие тонкие пальцы быстро, неуловимо забежали по лицу Ефима.

— Вижу, приятен ты. Дай тебе господь удачи в большом деле! Не гнись, но и не ломись впустую! Один у нас враг — бары. Они-то и сделали труд великим проклятьем, а думка народная — сробить его вольным и радостным. Надо так, чтобы работалось, как песня пелась!

Он поник головой и задумался.

Ефима Черепанова за его смышленость в механике назначили плотинным мастером. Многие переведенцы позавидовали ему, но сам орловец глубоко задумался. Плотинное дело — не простое, умное, и при нем всегда держись настороже. Вода — самая главная сила завода. Она вращает колеса, которые действуют через передачу на воздуходувные мехи и таким образом подают в домну воздух. А для плавки руды нужно много, ох, как много воздуха! Немало воды требовалось и на молотовых фабриках.

Ефим много раз обошел плотину на заводе, приглядывался. Ему и на Орловщине доводилось самому строить на речушках плотины да меленки. Стало быть, дело знакомое. Но в Нижнем Тагиле не тот размах.

«А вдруг не справлюсь? Засекут, окаянцы!» — с опасением подумал новый плотинный.

Подле горы Высокой реку Тагилку в давние годы перегородили плотиной. Быстрая вода, забранная в земляные насыпи, разлилась на десятки верст и образовала огромный пруд, воды которого поблескивали-переливались на солнце.

В плотине сделаны два прохода для воды: вешняк — через него пропускают в паводки излишнюю воду, и ларь из сосновых тесин — по нему бежит-торопится вода, падая на колеса воздуходувок.

На плотине все сделано прочно, навек! Плотина — в сотню сажен, ширина наверху восемнадцать сажен, а внизу с отсыпью вдвое больше. Дубовые плотинные затворы поднимаются ухватом, скованным из железа. Только двадцать рабочих могут поднять этот ухват! Мощна и крепка плотина, но за ней все время нужен глаз: вода коварна и сильнее сооружения.

Черепанов должен был не только наблюдать за сохранностью плотины, но и следить за работой водяных колес, крепких, но уже позеленевших от ила и мха. Мастерко выходил на плотину, становился над ларем и долго прислушивался чутким ухом к реву воды. Сильная, неуправляемая стихия, зажатая в дубовый ларь, билась, неистовствовала, ревела и, клубясь, в остервенении пенилась и дробилась на мириады сверкающих брызг, сотрясая деревянное устройство. Нужно было регулировать напор водяной струи. Еще тяжелее было обуздывать стихию в паводки. Во время осенних ливней и прохода талых вод пруд разливался до безбрежности, и нужно было тогда выпустить столько воды, чтобы не размыло плотину, не залило завод, построенный ниже плотины, и оставить столько, чтобы ее хватило на год!

Изо дня в день Черепанов развивал в себе особое чутье и глазомер. Он расхаживал по окрестным местам, высматривал долинки, ложки и расспрашивал старожилков, как велик бывает снежный завал, как высока в ручьях и логах талая вода и насколько снижается она в засушливый год.

Всюду плотинному находилось дело. Все сложно, смутно, а инструментов всего — плотничный ватерпас да правило^[18]. Вот и орудуй! Однако и этим инструментом Ефим многое делал, потому что все его мысли вертелись вокруг того, как бы улучшить работу. Он заставил плотничную артель переставить колеса так, чтобы они вертелись плавно, легко и мерно. Это сразу повлияло на работу домен, ускорило плавку.

Все больше и больше приглядывался Черепанов к механизмам. Вододействующее колесо помещалось в срубе, оно и было движущей силой завода. Отсюда шли коромысла, штанги, они и передавали движение колеса двадцати четырем воздуходушным мехам.

У каждой печи два меха, и оттого дутье всегда получалось непрерывным. Вот и вся механика!

«Какие ныне приспособления на заводе?» — задавал себе вопрос Черепанов. Перечень их был весьма скуден: ломы, кайлы, молоты, лопаты, носилки, ручные тачки и двухколесные — вот и все орудия при добыче руд!

«Но сие ненадежно и мало облегчает труд человека, — раздумывал плотинный. — А что, если о том рассказать управителю да

посоветоваться с ним?»

Спустя несколько дней Черепанов пришел в контору, и управитель терпеливо выслушал его. Плотинный высказывал свои мысли медленно, обстоятельно и удивил Любимова.

«Все уже усмотрел! Ну и штукарь!» — мысленно похвалил он мастера.

— Весьма похвально, что ты до всего доходчив! По всему видать, господин наш Николай Никитич не ошибся в своей покупке. Все надо разуметь при плотинном деле! И то хорошо, что ты пытлив и мысли твои — о механике. Но вот что разумей, мастер... — Голос управителя возвысился до суровых нот. — Всякая выдумка в заводском деле пользительна хозяину только тогда, когда она недорога и, главное, дешевле холопского труда! А что дешевле и проще людского труда? Пока господь бог оберег матушку Россию от выдумок. Но поскольку наш прославленный металл «Старый соболь» идет в Англию и в другие иноземные страны, непременно предстоит состязание. Надо и нам, выходит, подумать над сими выдумками, но в меру! Хвалю за помыслы! А чтобы знать лучше горное дело, намыслил я тебе дать одну редкостную книжицу. Зачти ее, но береги пуще глаза. Больших денег стоит, и не всякий холоп разумеет в ней, что к чему, а тебе доверяю. Вижу, голова у тебя умная!

К удивлению плотинного, Любимов неожиданно передал ему пухлую книгу в старом кожаном переплете. Черепанов прочел титульный лист: «Обстоятельное наставление рудному делу», сочинение Шлаттера.

— Сия книжица издана в тысяча семьсот шестидесятом году, а перешла ко мне в назидание из Екатеринбургской горной школы. Любопытна!

Черепанов с книжкой за пазухой заторопился домой. Всю ночь у огонька он читал ее вслух. Уралко, свесив голову с печи, внимательно слушал, изредка бросая реплики:

— Все давненько известно! И то мы применяли! Однако любопытно, что в книге о том пишут. Хитер немец, русское перехватил да за свое выдает. Ловок!

Книга Шлаттера представляла обстоятельное описание рудного дела. И, что особенно привлекло внимание плотинного, имелось в ней изображение водоотливной, огнем действующей машины. Черепанов

весьма внимательно разглядел чертежи неуклюжей машины и попробовал сам начертить их углем на столовой доске.

— Диковинка! — восхищенно сказал он деду.

— Что за диковинка? Сию паровую диковинку предавно изладил наш русский мастерко, солдатский сын Иван Ползунов! — с нескрываемой гордостью оповестил старик.

— Да где тот умный человек? — с горячностью спросил плотинный.

— Робил этот розмысл^[19] на Колывано-Воскресенском заводе шихтмейстером, да помер в тысяча семьсот шестьдесят шестом году от чахотки. Иноземцы перехватили его выдумку, да и хозяева наши решили: «Ни к чему сия машина, раз труд даровой! А диковинка, вишь, хлопот и возни требует!» Так со смертью Ивана и покинули ту машину, отробилась и развалилась она! Долго потом, сказывают, на пустыре валялась. Заводские ребяташки, играючи в прятки, в цилиндры укрывались. И место это, где валялись остатки сей машины, в народе и по сию пору называют ползуновским пепелищем.

— Ты, дед, слезай с печи да расскажи мне подробней, как тот русский досужий человек сладил свою машину.

Уралко, кряхтя, слез с печи и подсел к столу.

— Что ж, можно рассказать о сем умельце! — Старик приладился поудобнее и тихим голосом начал свою бывальщину: — В старинушку, Ефим Алексеич, об огне среди горщиков так сказывали: «На гору бежит, а под гору не идет!» То верно было, а вот, поди ж, нашелся человек и сумел огонь заставить под гору бежать! Умелец тот был Иван Иваныч Ползунов, солдатский сын. А рожден он был в городе Катеринбурхе в большой нуждишке, ох, в какой бедности, не приведи бог! В ту пору Василий Никитич Татищев открыл на заводе горную школу, вот и попал в нее наш Иванушка. Выдали ему кафтанишко сукна сермяжного с красными обшлагами, да шубу овчинную, покрытую полотном, да добрую суконную шапку с красным околышем. Носи три года, солдатский сын! Носи и учись! А учился он знатно: и буквари, и часословы, и псалтыри превзошел и грамотен стал. А что на пользу нашему делу, то сей отрок вскорости уразумел: арифметику, действия циркуля и линейки и начертание фигур разных, кои в механике применимы.

Любознателен был Иванко, ой, как любознателен! Рядом со школой сараюшко строен был, а в нем вододействующее колесо, кое орудовало на кузнечную фабрику! Вишь, паренек и повадился бегать в сараюшку да разглядывать, что к чему? Механика — дело умное, учитель и пояснил школьнику: «Что есть механика? Механикой речется наука движения и наука, показывающая способы к подниманию тяжестей».

Иванко призадумался, а потом — к учителю и спрашивает:

«А скажи-ка, батюшка, одна вода двигает махины или есть еще сила?»

Учитель на то ответил солдатскому сыну:

«Огонь — сила еще большая, чем вода, падающая на колесо! Но то разумей, сын мой, что огненные машины потребуют дров много, хлопотны и дороги несказанно».

Задумался Иван, посиживал часто у печки и глядел на котел. Видит, вода клокочет, накроет его крышкой, и такая сила у пара, что и крышку сдвинет!..

Уралко смолк, прислушался. Трещала лучина в светце, нарушая глубокую тишину.

— Ты чуешь аль спишь? — спросил он Черепанова.

— Под сердцем огнем зажгло от словес твоих, а ты говоришь «спишь», — обидчиво отозвался плотинный.

— А коли так, дале слухай и что к чему — на ус мотай!

Дед снова мерным, теплым голосом повел свой рассказ:

— Вскорости Иванке Ползунову пришлось покинуть школу и стать на завод «механическим учеником». А начальство ему выпало толковое, умное — заводской механик Никита Бахарев. Многое знал он и обратил заботу Иванки на двигательную машину. «Гляди! — сказал он мальчонке. — Испокон веков на всех заводах, на всем белом свете все творят руки человека! Есть, правда, и механизмы, но только они там применяются, где требуется великая сила. А главное, механика всегда там ход имеет, где предмет труда испокон веков не обрабатывался рукою человека. Вот оно что! Ну, а уж известно, что есть самая большая сила на заводе, — водяное колесо! Хотя вода — сила большая, но завод-то сам крепко из-за нее к плотине привязан. Тут и поглядывай, братец, на небушко, как дождик, как снежок, — известное дело, все от воды зависит!..» Может быть, Бахарев да

Иванко надумали бы машину новую, потому пять лет Ползунов при нем «механическим учеником» состоял, но в ту пору в Катеринбурхе наехал главный командир Колывано-Воскресенских заводов и отобрал для работенки на Алтае немало горных офицеришек, мастеровых, плавильщиков. А с ними уехал ассессор Андрей Порошин, преумный человек и знаток рудного дела. Он и Ванятку Ползунова с собой прихватил...

Затаив дыхание, Черепанов слушал старика, но Уралко вдруг снова смолк. Провел ладонью по высокой лысине, вспоминая прошлое, вздохнул:

— Память-то короткая стала. Всего толком не расскажешь. Только Иванко и на Алтае не оставил своей мысли. Все думал о паре. Видишь, надумал он водяной двигатель сменить паровой машиной. Шутка ли! Но что из этого выходит, пораскинь головой, Ефим Алексеич. Главная суть выпала ему: огонь слугою к машинам склонить, а к этому, решил он, все немудрые машины, срубленные топором из дерева, — в слом, а машина паровая должна быть срублена из металла! Скоро сказка сказывается, да не легко дело робится. Много болотин да буераков Иванке пришлось одолеть. Все иноземцы высмеивали: не русского ума это дело! Ну, известно, мешали, как могли. Довелось Ползунову и в Санкт-Петербурге побывать. И на счастье, хвала господу, раздобыл он сочинения самого Михаила Ломоносова. Тут уж начитался всласть и большое уразумел.

Вернулся он в Барнаул и взялся за свой подвиг Одно дело машину задумать, вычертить, другое — выстроить ее, да в ход пустить, да чтобы люди поверили! Человек только тогда поверит, когда своими глазами увидит да руками пощупает! Вот и он — недоедал, недосыпал и в дождь и в морозы спешил-торопился сладить свою машину. А сладить нелегко: то этого нет, то другого. Только медные цилиндры отлили, а котел пришлось робить в Катеринбурхе! Эвона что! А тут и начальство не в духе: больно много беспокойства и забот причиняет затея шихтмейстера. Ну, скажем прямо, мешает спокойно им жить. Да и сам наш штукарь горел на работенке, стал его донимать сухой кашель, — выходит, здоровьишко пошатнулось!

И вот подошла зима лютая, а в декабре, пожалуйста, машина готова! Тут приступили к пробе, и машина заработала. Пошла, братик ты мой! — веселым голосом заговорил Уралко. — Пошла! Пошла!

Взял свое Иванко Ползунов! Хоть потом начались доделки, переделки, не без этого новое дело ладится, но только свое сделал наш механикус! Ну, а дальше!.. Дальше...

Старик развел руками. Замолчал. Безмолвствовал и Ефим. За окном засинело: занимался поздний зимний рассвет. Ефим посплюнул пальцы, погасил желтый огонек. В горнице потемнело, но за окном, на фоне синей утренней зари, резче выступили контуры заиндевелых березок.

По начавшемуся за окном движению Уралко догадался, что наступает утро.

— Вот и еще день бредет, а я живу и живу себе! Ох, господи! — тяжело вздохнул он и улыбнулся. — Ты, Ефим Алексеич, не гляди на мои немощи, добивайся своего. Не для себя человек трудится, а для всего народа!

— Верное слово твое, дед! Трудна моя путь-дорожка, а пойду по ней. В том — верное слово! — отозвался плотинный. — Ну-ка, отец, поспи немного, а я схожу на плотину.

Он надел полушубок, рукавицы и вышел на улицу. Упругий ветер гнал с гор колючую поземку. Спорким шагом мастерко вышел на дорогу и зашагал к заводу. На взлобке он нагнал бабу. Чудеса: женка везла на саночках парня.

— Ты куда? Парень велик, а ты ребячьей забавой его занимаешь! — улыбнулся Черепанов заводской женке.

— Известно куда! К Высокой! — угрюмо отозвалась баба. — Не забава выпала, а горе-злосчастье! Парень велик, а ум у него мал. Изоська, глянь на дяденьку!

К плотинному повернулось ухмыляющееся лицо идиота.

— Да он юродивый! Зачем его тащишь на горку, матка?

— Кому юродивый, а Демидовым работничек! Все люди на работу, вот и его — на разбор руды!

Ефиму стало не по себе.

«Ну и хозяйева, и блажного не пощадили! Скареды!» — с неприязнью подумал он о Николае Никитиче и обратился к женке:

— Ты пусти мальчика, он и сам до Высокой добежит.

— Милый ты мой, не знаешь моего Изоську! Под плети угодит. Запорют! По осени беда с ним вышла. Везла я его в саночках, да не довезла и говорю: «Ну, сынок, слезай, теперь добежишь и сам. У меня

квашня доходит». Уехала, а он замешкался. Ну, известно, дурак — дурак и есть!.. А замешкался — шибко били розгами. Били и приговаривали: «Не опаздывай! Не опаздывай!» А мне-то, матери, каково! Ох, и горько!..

Баба всхлипнула и заторопилась.

«Вот он, крест тяжелый!» — с тоской посмотрел вслед ей Ефим и, сам не замечая того, пошел по дороге к Высокой.

Навстречу ему неслись двуколки, груженные рудой. Краснощекие девки озорно покрикивали:

— Эй, берегись, пестун, раздавлю!

И в самом деле, они вихрем неслись под гору, взвизгивая, крича, ободряя себя и коней. Возчицы стремились на двуколке обогнать друг друга, и колеса, как по острию ножа, быстро пробежали по кромке разреза. Миг, и все — конь, и всадница, и руда — полетит под откос! Не собрать костей!

«Лихо, но неразумно!» — подумал плотинный и хотел окрикнуть гонщиц, но в эту пору раздался пронзительный крик. Ефим кинулся вперед, и кровь его заледенела при виде страшной беды. Под колеса бешено несущейся двуколки угодил мальчонка, разбиравший руду. Его изломало, искровянило, и он, онемев от боли, сгоряча пополз по дороге.

Из отвалов набежали люди, подняли парнишку:

— Да это сынок Кондратьевны! Эка неудача!

Только и сказали. Молча отнесли несчастного в сторонку и положили, а сами за работу.

— Что же это вы, братцы? — обидчиво окликнул горщиков Ефим.

— Э, все равно пропал парнишка! Кому теперь нужен такой калеченый! По скорости отойдет, не мешай ему в смертный час!

И снова по дорожкам вперегонки ехали гонщицы, будто ничего не случилось. Черепанов поразился:

«Эх, и край: горы каменные, а люди железные!»

Он подошел к мальчугану и заглянул в его бледное, обескровленное лицо. Ребенок открыл страдальческие глаза. Ефим присел рядом.

— Больно? — спросил он, ощупывая ноги и грудь мальчика.

— Ой, как больно, дяденька! Все больно! — тихо прошептал тот. — Только ты уж мамке хоть до вечера не говори о беде. Разрвется

да убиваться станет. Жалко мне ее! Безбатьковщина. Нынче я и был хозяин...

Он снова закрыл глаза и протяжно застонал.

— Погоди-ка, я тебя до избы донесу! — сказал плотинный, взял маленькое худенькое тельце и легко понес под гору.

Мальчуган был недвижим, только синие губы его еле двигались. Он пытался что-то сказать, но не мог. С белесого неба неслышно падали снежные хлопья. Пухлый мягкий снег ложился на дорогу, на дома, на опущенные густые темные ресницы мальчугана. По дороге Ефиму встретились горщики. Они сбросили гречушники и в скорбном молчании заглянули в лицо ребенка:

— Отходит парнишка!

Плотинный донес еще теплое тело до избенки Кондратьевны, распахнул дверь и, пройдя вперед, уложил мальчугана на скамью.

Испитая, с ввалившимися глазами, заводская женка взглянула на сына, судорожно схватилась за грудь и истошно закричала:

— Горюшко мое!.. Митенька, кормилец!..

Она упала перед скамьей на колени и обняла остывающее тело сына...

Черепанов загрустил: похоронили мальчугана, и никто, кроме матери, ни разу его не вспомнил. Ребята по-прежнему работали на руднике — отбирали руду, а горщики торопили малолетнюю «золотую роту». Кто и когда придумал такое название ребячьей артели, так и не дознался Ефим.

Уралко пояснил плотинному:

— Ребята сызмальства на выработку бегают — все кусок хлеба! Так и трутся на руднике, приглядываются, как взрослые горщики работают. Из этой золотой роты и бурносы берутся. А работенка бурноса известно какая: туда-сюда, от рудокопа до кузницы, и обратно. В кузницу торопятся снести затупленные буры, а оттуда бегут и несут отточенные. Руда-то крепкая, а железо в бурах нестойкое, забот не оберись, и мальчугану, выходит, хлопот на целый день! Худо ребятишкам, ничего не скажешь!

— Разве можно дите посылать на такую тяжкую работу? Ему учиться в самую пору!

— Что ты, что ты! — замахал руками старик. — Да разве допустит барин мужика до грамоты? Издавна наши малолетки на

заводской работе. Мало барину нашей крови, он и свеженькую высосет всю!..

Не знал Черепанов, что еще в давние годы, когда Василий Никитич Татищев набирал ребят в горную школу, Демидов писал в Санкт-Петербург, чтобы «из обывательских детей от 6 до 12 лет в школах обучать только охотников, а в неволю не принуждать, понеже такого возраста многие заводские работы исправляют и при добыче железных и медных руд носят руду на пожоги и в прочих легких работах и у мастеров в науке бывают...»

Кабинет министров просьбу Демидова уважил, и с той поры на заводах учить детей стали только желающих. А кто пожелает, если с нежного детского возраста при заводе — все добытки куска хлеба...

И что удивительнее всего, ученые, побывавшие на демидовских заводах, одобряли применение детского труда. Нижнетагильский завод посетил немецкий географ Гмелин, и он в своей книжке с восторгом написал:

«В проволочной мастерской малолетки от 10 до 15 лет выполняют большую часть работы, и притом не хуже, чем взрослые. Это одно из похвальных учреждений господина Демидова, что все, кто только сможет работать, приучаются к работе. В Невьянском заводе я видел, как мальчики от семи до восьми лет выделывали чашки из желтой меди и различные сосуды из того же металла. Вознаграждаются они соответственно своей работе...»

Совсем недавно уральские заводы посетил Паллас, и Уралко сам его видел. Литейщику довелось услышать, как ученый говорил Любимову: «Весьма приятно смотреть, что маленькие ребята работают кузнечную работу!» — «А ты, барин, сам попробовал бы, сколько по силе ребятенку эта маята!» — сердито вымолвил литейщик, но управитель прогнал его с глаз ученого, а после работы Уралку отходили плетями «за милую душу», дабы впредь не дерзил при начальстве!

Старик огорченно покачал головой.

— Гляжу, мужик ты совестный, а всю душу мне разбередил. Живем мы тут, глаз наш привык ко всем бедам, будто и надо так! И ты приучайся!.. А то лучше послушай, что я тебе спою по тайности! Мы в лесах да в горах эту песню пели...

Дед откашлялся, лицо его стало торжественным, он важно огладил бороду, и его чистый, все еще сильный голос наполнил избушку. Уралко пел:

Сгинет, сгинет бравый парень
Во железной во горе.
На работу гонит барин,
И приказчик на дворе.
Гонит, гонит, подгоняет
От темна и до темна.
Люд работный погибает,
Пухнет барская казна.
Ломит руки, ломит ноги,
Как до дому доберусь?
Ой, вы, царские остроги...
Ох ты, каторжная Русь!..

Горестный звук замер в темном углу хатенки. Старик смолк, а на душе у мастера все еще ныло и не давало покоя тоскливое чувство.

«Вот отчего тут люди железные! — вдруг ясно представил себе Ефим. — Каторга демидовская всю душу вытравит и жалость изгонит! Оттого тут народ молчаливый, замкнутый, не скоро к нему в сердце вступишь! Эх, Урал, Урал, каменные горы!»

Демидов пригласил на службу в Нижнетагильский завод профессора Ферри из Парижа. Небольшого роста, упитанный, горбоносый, с толстыми чувственными губами, вертлявый француз оказался большим пронырой. Обряжался он пышно: в зеленый бархатный камзол с тончайшими кружевными манжетами и роскошным жабо; на тонких ножках — шелковые чулки с бантами и сафьяновые башмаки с золотыми пряжками. Внешне французик выглядел незавидно: сутулый, семеня куриными ножками в белых панталонах, с носа то и дело сползали огромные очки, — но держался он самоуверенно и даже нахально, считая себя неотразимым красавцем и первым светским жуиром. О себе он был необыкновенно высокого мнения и прибыл на Урал как великий знаток горного дела. Он обещал ввести на Тагильском заводе много новшеств, за что получал неслыханный оклад — 15000 рублей в год. За целый год по указке профессора соорудили только копер для разбивания чугунного лома. Мало занимаясь производством, все дни он проводил в барском доме, развлекая скучающую Елизавету Александровну. После перенесенных ею страданий при рождении первенца Демидова боялась смерти; молодой женщине казалось, что жизнь ее все время находится в опасности. Каждый день она открывала в своем организме несуществующие болезни, любила говорить о них, сильно страдая от своей мнительности, и радовалась приходу Ферри, считая его человеком образованным и всезнающим.

Как-то, приветливо улыбаясь французу, молодая женщина сказала: — Вы все время добываете разные руды, изучаете их. Это ведь так скучно и неинтересно! Что хорошего в ржавой тяжелой руде? Профессор, отыщите для меня камень мудрецов! Неужели для каждого человека обязательна смерть? Ужасно! — с содроганием повела она хрупкими плечами.

— О нет, моя очаровательная госпожа! Смерть не есть обязательный путешествий! — стараясь казаться пленительным, улыбнулся ей Ферри. Как изворотливый человек, он быстро сообразил: «О, эта мадам боится умереть! Хорошо, из этого я могу извлечь себе большую выгоду».

У него быстро созрел коварный замысел. Ферри прикинулся простачком. Демидова выжидательно смотрела на него. Француз казался ей добродушным, приятным. На его толстых щеках играл густой румянец, пухлые губы полуоткрылись, обнажая крепкие белые зубы. Он лукаво взглянул на Елизавету Александровну, понимая, что ей хочется утешений, чтобы отвлечься от мрачных мыслей. Перед тем как прийти сюда, Ферри выпил большую кружку старого бургундского вина, оно все еще горело в его жилах, бодрило и подмывало на игривые разговоры. Сладко прищурясь на огонек в камине, где весело потрескивали березовые дрова, он заговорил тихо, со страстью, заставлявшей Демидову верить этому болтливому французу:

— Это секрет! Весьма большой секрет, моя добрая госпожа!

Он наклонился ближе к молодой матери и прошептал таинственно:

— Ради всего святого, не говорите Николаю Никитичу, что я... я приватно занимаюсь поиском философского камня. Я ищу, моя госпожа, бессмертие и найду его для вас!

— Ах, это так интересно! Вы — Калиостро! — восторженно вскрикнула Демидова.

— Тес! — приложил перст к губам Ферри. — Это есть тайна, но я сейчас открою ее вам!

Елизавета Александровна притихла: она искренне верила в существование камня мудрецов. В нежном возрасте, когда хочется верить всему таинственному, в светских кругах много рассказывали о «графе» Калиостро, который будто бы обладал загадочным талисманом бессмертия. Правда, заезжий маг вскоре был уличен в грубом обмане, и государыня предложила ему немедленно покинуть пределы России. Однако Демидова до сих пор сохраняла в своей душе веру в чудеса, особенно когда их хотелось. В столице совсем недавно так много говорили о философском камне; в Европе его старались добыть ученые, монахи, рыцари и короли. Многие алхимики средних веков отдавали свои лучшие годы, тратили силы, громадные состояния — все, все приносили в жертву своим бесплодным поискам. Неудачи и разочарования не убивали в искателях надежды найти чудесный камень бессмертия. Человек самообольщал себя и продолжал верить до могилы. Так и Елизавета Александровна верила в существование

таинственного талисмана. Ферри очень ловко разжигал любопытство молодой женщины.

— Я добыл и привез сюда очень много самых древних манускриптов и сейчас разгадываю их смысл, — приглушенным голосом рассказывал француз. — Многие не находили камня мудрецов потому, что стояли на ложном пути. Они даже не знали, как он выглядит! — Глаза француза лукаво блеснули, и он продолжал с той же страстностью: — Калид — древний алхимик — говорит нам, что этот камень соединяет в себе все цвета: и белый, и красный, и желтый, и голубой, как небо, и зеленый. И заметить нужно, моя госпожа, это не радуга! Одни алхимики говорят, это — опал, а Парацельс говорит нам, что это плотное тело, похожее на темный рубин, прозрачный, гибкий и ломкий, как стекло!

Женщина не сводила восторженного взгляда с собеседника.

— Этот камень, сказывают, диво-дивное! — ласково и нежно сказала она.

— О да, сударыня! Сей философский камень в могуществе превращает неблагородные металлы в серебро и золото! Простые камни-голыши — в жемчуг, в алмазы, в смарагды, в драгоценные камни; чудная игра их света может вскружить голову любой красавице! Сей талисман врачует все болезни. Он награждает своего владельца даром мудрости и всеми благородными добродетелями. Он очищает ум и вырывает из сердца человеческого пороки! Но самое важное, моя госпожа, — сей камень мудрецов продлевает человеческую жизнь до бесконечности! Тот, кто обладает сим сокровищем, никогда не подвергается ни болезням, ни телесным недостаткам. Ученый Артефий поведал мне по секрету, что, обладая философским камнем, прожил на свете тысячу сто лет! А граф Калиостро, известный вам, — пять тысяч! — Черные большие, навывкате глаза рассказчика искрились весельем. Трудно было догадаться: верит или не верит он сам всему поведенному доверчивой скучающей женщине? Его толстый с горбинкой нос стал красно-сизым. Он снова придвинулся к мраморному камину и протянул зябкие ноги. Приятное тепло ласкало тело.

— Какие чудеса вы рассказываете, сударь! — вспыхнув, оживилась Демидова. — Господи, да сделаете ли вы что-нибудь подобное здесь! Ах, скорее поведайте, что нужно для этого?

— Моя прекрасная госпожа, увы, чудес не бывает на свете! — разводя руками, вкрадчиво сказал Ферри. — Человеку дано многое познать. И вот я познаю... Это весьма затруднительно, сударыня. Как разнообразен вид таинственного камня, так разноречивы и средства поисков, кои указывали мудрецы древности. Так, Гортуланий учит, что надлежит двенадцать дней бродить соку пролески, багрянки и листовичной травы. И когда разведут этот сок, получится красная жидкость, кою нужно опять зарыть в удобрения. Пройдет, госпожа, несколько дней, и тогда из нее родятся черви. Сии черви пожрут друг друга, кроме одного. Избранного живца надо взять и кормить сказанными растениями до той поры, пока он изрядно растолстеет. Тогда его должно сжечь, и полученный от сожжения порошок смешать с купоросным маслом, и далее... Ах, нет, нет! Не скажу больше! Это пока секрет! — Француз улыбнулся, но не сдержал переполнявшего его восторга и вдруг некстати захохотал. Он смеялся с таким усердием, что его слышали в отдаленных углах покоев.

— Вы смеетесь надо мною, господин Ферри! — разочарованно воскликнула Демидова и обиженно поднялась.

— Нисколько! Я веселюсь потому, что скоро обрадую мою госпожу! — с невозмутимым видом ответил француз.

Демидова, стиснув тонкие пальцы, отошла к окну. Яркий солнечный луч ворвался в окно, озарил стекла и заиграл на белокурых локонах женщины, обливая их золотым сплавом. Высокая тонкая фигурка ее, стоявшая спиной к амбразуре окна, резко и отчетливо обрисовалась на светлом фоне солнечного сияния. Длинное голубое платье было высоко подхвачено шелковым атласным поясом, отчего фигурка казалась еще выше и прелестнее. Из-под темных густых ресниц на Ферри смотрели большие синие глаза. На ее слегка бледноватом лице выражались и любопытство и негодование. Он воровски оглянулся на дверь и упал перед ней на колени:

— О моя госпожа, я никогда не лгу перед вами, я раздобуду вам камень мудрецов!

Весьма некстати скрипнула дверь и вошел Демидов. Завидя коленопреклоненного француза, он ухмыльнулся:

— Что это значит?

— Ах, Николенька, это... Ах, господин Ферри обещал! Да, да, обещал! — смущенно потупясь, заговорила Елизавета

Александровна. — Он скоро, весьма скоро отыщет камень... мудрости...

— Вот оно что! Понимаю! — насмешливо сказал Николай Никитич. — Оттого ученый и ползает на полу, отыскивает его, что ли?

Француз быстро поднялся и, делая вид, что не замечает недовольства заводчика, нагло посмотрел ему в глаза.

— Да, это очень возможно. Весьма вероятно! — с важностью поднял он указательный палец.

Демидов сердито пожал плечами. Сдвинув черные брови, он отрезал:

— Господин профессор, я жду от вас решительных переустройств по заводу. Что же касается камня мудрости, то сомневаюсь в сем предприятии...

Он энергичными шагами прошелся по комнате, о чем-то раздумывая. Ферри настороженно следил за всеми его движениями, еще полными молодости и силы. Французик хотя и не показывал виду, но изрядно трусил перед заводчиком, боясь, как бы вспыльчивый и невоздержный уральский магнат не схватил его за шиворот и не вытряхнул за порог.

Но Демидов подошел к жене, ласково взял ее маленькую белую руку и нежно поцеловал в ладонь.

— А не пора ли нам, милая, обедать? И вас прошу, господин профессор!

Голос хозяина прозвучал ровно, сдержанно, и у Ферри сразу отлегло от сердца.

Сытый, самодовольный, профессор Ферри возвратился на квартиру, когда приставленная к нему для услуг крепостная девка сообщила:

— Тут-ка вас, барин, давно поджидает наш плотинный Ефимка Черепанов!

Француз недовольно поморщился.

— Что ж, раз здесь, пусть войдет. Только ты ему предлагай дальше порога не ходить! — сказал он служанке.

— Уж как полагается! — откликнулась девка, блеснула босыми пятками и скрылась за дверью.

— Иди, иди, явился наш иноземец! Ноги-то оботри, да дальше притолоки не ходи! — послышался в прихожей женский голос, и в

комнату, тяжело ступая, вошел мастерко. Учтиво, с достоинством, он поклонился иностранцу.

Француз напыжился, как индюк. С большой важностью он сидел в глубоком кресле, в руке его дымилась драгоценная фарфоровая трубка. Запах ароматного табака пронесся по комнате. Ферри и глазом не повел при виде плотинного. Ефим неторопливо вытащил из-за пазухи кафтана книгу, извлек из нее вычерченные карандашом эскизы и, осторожно ступая на носках, прошел к столу. Бережно развернул он перед французом свои труды. Глаза плотинного налились теплом, надеждой. Он выжидательно, с улыбкой поглядывал на хозяина:

— Полюбуйтесь, господин! Я, кажется, кое-что сробил!

Ферри пососал черешневый чубук, пустил клубы синего дыма и, не поворачивая головы к чертежам, усмехнулся:

— Что это?

— Посмотрите сами, господин! Чертеж пародействующей машины. Додумался-таки! — с заметным волнением промолвил мастерко, и ясная, приятная улыбка осветила его лицо. Большими ладонями, на которых желтели плотные мозоли, плотинный любовно разгладил бумагу.

— Ха-ха-ха! — вдруг дико и язвительно захохотал француз. — Постой, постой! Что значит «додумался»? Мне кажется, что ты весьма передумался! — Глаза Ферри насмешливо блеснули. — Эта машина давно известна в нашей Франции, а также в Англии. Твоя выходка очень уморительна!

— Никак нет! Чужого не присваивал, то не в характере нашем! — нахмурился Ефим и с большой твердостью поведал: — Эта машина еще до того сроблена русским механикусом Иваном Ползуновым!

— Ползунов! Ползунов! — в раздумье повторил Ферри и надменно оповестил: — Такого человека наука не знает. Ты просто выдумал его! Да и к чему при горе Высокой машина! — Он пососал трубочку и, захлебываясь дымом, угрюмо проворчал: — Прошу оставить меня в покое. Уходи отсюда!

Ефим замер; не трогаясь с места, он с возмущением смотрел на француза, а тот удобнее устроился в кресле и не хотел даже взглянуть на чертежи.

— Полнобопытствовали бы! — не сдаваясь, предложил плотинный.

Ферри насмешливо взглянул на мастера:

— Послушай, любезный, ты очень странный человек! Кто ты такой есть? Ты есть раб господина Демидова. И ты совсем не учен, а хочешь знать, что положено только благородному человеку! Ты пришел к профессору и хочешь узнать кое-что! О, это весьма интересно! Очень смешно! Русский крепостной мужик, и вдруг — машина! Вот его машина! — указал он глазами на широкую спину Ефима и залился дребезжащим язвительным смехом.

Черепанов угрюмо промолчал. Внутри его все кипело и бушевало. Он крепко сжал челюсти, на загорелых скулах выступили бурые пятна. Мастерко молча сложил эскизы и вместе с книгой снова спрятал за пазуху. Тихими шагами он отошел к двери, поклонился:

— Прошу прощения за беспокойство, господин. На прощанье одно вам скажу: плохо же вы думаете о русском человеке! На это поведаю вам: попомните, господин, мы еще покажем аглицкой и вашей французской земле, чего стоит наш русский человек!

С поднятой головой, широкоплечий и молодцеватый, он покинул француза.

— Шельмец! — бросил вслед Ферри, но плотинный не слышал его злобного выкрика.

В прихожей на мастерка накинута служанка:

— Я же тебе сказывала, мужичья твоя рожа, куда прешь? Барин наш такой ученый, такой, страсть господня! Всю свою ученость не в силах вымолвить простым языком, вот все больше и молчит! А кроме всего прочего, ему не до тебя, черная кость, его с утра наша госпожа Демидова кличет к себе... А чего кличет? Известно, какие у них деликатные разговоры! — Черные лукавые глаза служанки сверкнули жаром. Оглядев сильную, ладную фигуру Ефима, она припала к нему и прошептала: — Вишь вырос, развалился, как дубовая коряга в лесу, так и сгинешь без догляду один.

— Ну-ну, ты! — ласково огрызнулся на нее плотинный. — Коли так, выхожу на сватовство, краса-девка, будем связывать вместе кочергу да помело! — пошутил он. Служанка потупилась, затеребила фартук, а щеки ее вспыхнули заревом.

— Ну и хват! Знать по лицу, сколь годков молодцу! Их, ты! — Она слегка толкнула его круглым локтем и прыснула в горстку.

— Прогнал твой барин! Обидел! — сказал Ефим с тоской.

— Так он же не проста птаха! Иноземец! У него что ни слово, то к месту, что ни шаг — выдумка! — вступаясь за француза, горячо выпалила она.

— Эх, ты! А еще русская! — с досадой сказал мастерко. — Пусть с чугунными мозгами, а только французских кровей! Так, что ли?

— Ты, аспид, не говори так! — с укоризной перебила плотинного девка. — Русская я, но только скажу тебе по тайности: не до дел сейчас нашему носатику. Он для барыни мудрейший камень проворит... Ты тишь-ко! — Обдавая его горячим дыханием, она припала к нему мягким плечом и прошептала: — Камень тот не простой, от смерти людей избавляет! Кто его носит, тот и в могилу не уйдет!

— Господи, какая чушь! Ох, и дура! Схорони скорей глупую думку в пазушке, не носи в люди! Засмеют!

— Так то барин надумал. Голова он!

Плотинный от души рассмеялся, блеснули его красивые ровные зубы. Он насмешливо шепнул девке:

— Эх, душевная моя: голова без ума — что фонарь без свечки!

Не успела служанка оглянуться, как проворный мастерко исчез. Она выбежала на приступочки крылечка, да опоздала. Впереди по глубокому снегу крупными шагами удалялся широкоплечий человек, деловито размахивая руками. Он ни разу не оглянулся на стряпуху, и девка с досадой махнула рукой:

— Да ну его! Гордый какой!..

Разобиженный и расстроенный, плотинный вернулся в избушку и убрал эскизы в укладку. По шагам да по шороху Уралко догадался, что Ефим не в духе.

— Выходит, хвалиться нечем! — сказал старик. — Милый ты мой человек, пока силен да крепок ты, еще не поздно. Не лезь на рожон! Не осилить тебе застав вражьих, что на пути залегли русскому трудовому человеку! В чахотку вгонят!

— Не отступлю, дедка! Осилю! — напористо вырвалось у мастерка. — Кости сложу, а осилю! Пустился в драку — бегать не буду!

— Похвально! — одобрил дед. — Только одно разумеи: напролом не иди. С умом да с хитринкой ломись. Помене о своем замысле

говори. Плох-дурен иноземец, но другой и русский под стать лешему, — завистлив. А в зависти человек — дрянцо поганое.

Они замолчали, ворочаясь каждый в своем углу. Внезапно Ефим вспомнил слова смуглой служанки о камне бессмертия и тихо рассмеялся. Дед встрепенулся, испуганно насторожил уши:

— Над кем же ты это смеешься?

— Да с самим собой... Дедушка, хочешь ли быть навечно бессмертным?

— Христос с тобой! Да где это слыхано, сынок! Здоров ли ты?..

— Здоров! От девки слышал, что француз Ферри отыскивает камень особый. Кто его заимеет, вечно жить будет!

— Осина — дико дерево, вечно без ветра шумит, так и французишка тот, охаверник, народ надувает! Жизни предел положен, его же не преjdeши! — сурово сказал старик.

Мастерко засмеялся и озорно кинул:

— А что, если, скажем, и в самом деле такое случится? Что будет тогда, дедка?

— Эх, милый ты мой чудород, да кому нужна эта вечная жизнь? Она нужна только барину, тому, кто богат, знатен да счастлив в сей жизни! А нам, беднякам-горемыкам, для чего она? И с короткой-то жизнью согрeшишь иной раз, а тут вдруг — вечная. Это, милый мой, выходит: вечно мучиться и страдать. Для нашего брата это не подходит. Нет!..

— А если, скажем, Демидова не станет на свете? — с хитринкой спросил плотинный. — Что тогда?

— Как же это без Демидова? — со страхом поглядывая на дверь, спросил Уралко и, понизив голос, промолвил: — Без Демидова да без бар — другое дело! Думается, будет и это! Только скажу тебе, сынок: рабочая косточка о другом камне мечту имеет. Есть такой камень — ключ жизни. Нам уж, наверно, его не видать, а правнуки непременно найдут его, и тогда все им откроется! — с жаром поведал старик. — Ох, что я скажу тебе, Ефимушка! Послушай-ка ты золотишку одну. Закрой только поплотнее дверь.

Дед прислушался, как мастерко брякнул засовом, и, подавшись вперед, тихо начал:

— Вот что я тебе поведаю, добрый мастер. Ходит среди работных потайной сказ: ни барину, ни собаке его — услужнику, ни дворовому

не дано его знать. Слышать его может только тот, кто привержен работе, кто есть честная рабочая кость. Слушай-ка... У старых горщиков промеж себя тайный уговор хранится, живет среди уральского люда предание одно. Сказывают старики рудокопщики, далеко и глубоко скрыт в горах особый могутный камень — ключ земли. До нашей поры никто его не добыл. А почему? Потому что на тот камень особый завет положен. Он тогда откроется человеку и сам в руки дастся, когда народ по правильному пути за своей долей пойдет, и тогда тот, кто впереди пойдет и народу путь счастья укажет, получит ключ-камень в свои руки. И жди тогда перемены всему: тогда все каменные кладовые в горах откроются и все клады будут на благо народа. Сказано старыми людьми, значит, на то надейтесь!..

Говорил Уралко торжественно, слово к слову низал, словно жемчужинку к жемчужинке. Открыл с большой теплотой свое заветное, старое, что давно в душе выносил, а теперь словно камень-самоцвет дарил.

— Подходит, близко это времечко! — продолжал медленно старик. — Придет тот богатырь наш, не сегодня-завтра придет, весь народ на правильную дорожку поставит и поведет его к хорошей жизни. Он, как солнышко, засветит для нас!

— Дай-то господи, чтобы твое заветное слово сбылось, чтобы сказано оно было в добрый час! — с благоговением проговорил Ефим.

— Не для одного себя ходит да суетится человек на земле! Придут и после нас люди, умнее и добрее, и все сбудете я-завоюете я! — закончил и глубоко вздохнул старик.

В избушке долго царило безмолвие. Каждый боялся заговорить, чтобы не расплескать самое дорогое, самое заветное, что родилось в эту сокровенную минутку.

Под наблюдением Ферри на реке Тагилке, повыше устья Выи, достраивали железодельный завод. Плотинному мастеру Черепанову приходилось разрываться: он ладил для нового завода плотину и в то же время обновлял лари на Тагильской. Зима в этот год выпала снежная, суровая — от крепкого мороза лесины лопались и птица замерзала на лету. В отвалах горы Высокой подбирали немало обмороженных ребят, из тех, что занимались разборкой руды.

Несмотря на жестокие морозы и беспрестанные вьюги, работа на плотинах продолжалась. Трудились мастера без измерительных приборов и точных инструментов. Француз изумлялся: простые русские мужики в рваных полушубках делали все точно, чисто и строго соблюдали расчеты. Стоило им пытливо взглянуть на предложенный план или модель, даже эскиз — и они верно, математически точно рубили, делали и украшали резьбой стройку. Глазомер уральских умельцев отличался чрезвычайной точностью. Обладая необыкновенной, просто чудесной сметкой и золотыми руками, они не щадили себя в работе. Ночи стояли зимние, холодные, темные, ревели бураны, а Демидов, боясь остановки завода, настойчиво подгонял с отстройкой ларей, — по ним в водополье устремится буйная вешняя вода — страшная сила, которая будет искать выхода. Черепанову с плотниками приходилось работать в жестокие глухие ночи. Снег валил хлопьями, ревел ветер, из ближнего перелеска доносился тоскливый волчий вой. Крепко зажав в зубах ручку фонаря, Ефим с плотниками в страшный леденящий ветер забирался на верх лесов и старательно выполнял свое дело. Ничего подобного Ферри не видел во Франции. Способность простых русских рабочих к технике поражала его. Своими грубыми, заскорюзлыми руками и обыкновенными топорами они творили чудеса. Мастеровые строили крепкие сооружения навек, и в то же время возведенные ими стройки казались изящными, гармоничными в пропорциях и в отделке. Эти уральские крепостные мужики отличались даровитостью и понимали толк в настоящем искусстве.

«Что за страна? Что за удивительный народ?» — раздумывал француз, не понимая русской души.

Больше всего его поражал плотинный мастер Ефим. Он словно забыл о первой встрече с Ферри, держался с ним почтительно и, проявляя большую сообразительность, из деликатности обращался к профессору за советами.

Лари в Тагильской плотине простояли полвека, и перестройка их шла заново. И тут мастерко показал себя завидным умельцем. Он подбирал дерево, готовил его и применял в стройке так, что лучше и не придумаешь.

В ту пору, как плотники ладили плотину, лесорубы в долине реки Тагилки валили строевой лес. Привел их в глухое горное ущелье старый полесовщик Гордей. С окрестных демидовских заводов отобрал он их. Были среди них седобородые лесорубы и плотники — правнуки знаменитых мастеров из Устюжны, принесших свое умение на Каменный Пояс в давние-предавние времена. Плотники стали на плотины, а лесорубы забрались в самые дебри, где росла звонкая сосна. Кругом здесь шумел непроходимый горный лес, по ночам долго выли волки, а в широких соседних понижах, на просторе, насвистывал пронизывающий ветер. Над горными хребтами, словно на пожарище, клубились и стлались снеговые тучи. Шальной ветер рвался в лесосеку, взбивал сугробы, как пуховую постель, разметывал белые гривы и яростно бросался на человека. Но выносливый уральский лесоруб не согнулся, не сбежал: ни жгучий мороз, ни бесноватая пурга не смогли выгнать его из леса! Выносливые и сильные кержаки-лесорубы наскоро возвели шалаши из хвои и с торопливостью взялись за работу. Застучал топор, зажала пила в вековых борах и ельниках. По горам пошел раскатистый гул и грохот: с треском валились толстые высоченные лесины, рассыпая алмазную пыль. В страхе поднялись из логовищ потревоженные звери и бежали в глухомань, в далекие ущелья. Выбрались медведи из наложенных берлог и на всю долгую уральскую зиму стали злыми и озорными шатунами. Ушли быстроногие лоси, испугалась лиса и забилась в лесные трещины, разбежались зайчишки, напуганные шумом. Только одни серые волки не хотели уходить из облюбованных мест и ночами, приюхиваясь к человеческим запахам, протяжно и тоскливо выли.

Днем и ночью при кострах лесорубы неумолимо валили первобытный лес. Днем над поверженным бором клубился сильный туман, а ночами стояло багряное зарево. У становища всегда пылали

костры, сизый дым от них тянулся к хмурому небу. Над черными огромными котлами у костров с голосистой песней хлопотали стряпухи — коренастые проворные уралки.

Ефим часто наезжал на лесосеку, отбирал добрые смолистые сосны и, сидя у костра, любил послушать старинную песню. Его крепкое тело наливалось на морозе бодростью, так и хотелось размяться, — играла кровь. Молодые стряпухи украдкой заглядывались на ладного, кряжистого плотинного с румяным лицом, с курчавой рыжей бородкой. Но среди них мастер отличил одну лишь Дуняшу, хоть она и не глядела на него, и песни не пела при нем, и старалась не замечать плотинного. Он осторожно следил за ней. Девушка поминутно бегала то к ручью за водой, то в кладовую, то на лесосеку за свежей щепой. Ее алая душегрейка мелькала среди снегов и лесной хвои, как веселый язычок пламени. Хороша была эта сильная, с высокой грудью, хозяйюшка лесного стана!

На робкой заре она выбегала без полушубка из шалаша, пробивала крепкую льдинку в рукомойнике, быстро умывалась на морозе и спешила к кострам. От разгоряченного лица поднимался парок, движения ее были быстры, энергичны, от них горело молодое, нетронутое тело, стянутое тесной старенькой одеждой, и не один Ефим заглядывался на Дуняшу.

— Эх, золотишка-краса! — ласково хвалили красавицу лесорубы.

Между тем в горы продвигалась лютая уральская зима. С каждым днем все больше свирепела и гудела пурга, мела перекатами по борам и ельникам, и тогда чудилось, будто над шиханами не метель метет, а мчится несметный табун белогривых коней. От страшных морозов лопались скалы, гром и гул катились над вырубками, а в понизи горели костры и стряпухи обогревали горячим варевом лесорубов.

Ефим эти дни проводил на стройке. Он брал топор и вместе с устюженскими кержаками-плотниками работал до соленого пота. Нароботавшись всласть, он вместе с ними садился к огнищу и с жадностью хлебал горячее варево, от которого по телу растекалось приятное тепло, а после насыщения на короткий час люди становились расслабленными и дремали у костра. В эти дни напряженного труда Ефим чувствовал себя счастливым, веселым и лихим в работе. Но среди горячих и суетливых дел он нет-нет да и вспоминал лесную стряпуху.

«Живет на свете такая ладная девка! — с душевной лаской думал о ней плотинный. — Где лучше отыщешь? С такой, как два конька, можно дружно бежать по дорожке к счастью».

Он не знал, что Дуняша манила взор многих. Однако держалась Рыжанка недоступно, строго: молча обходила лесорубов, на шутки приветливо отвечала шутками, но никого не дарила обещающим взором. Среди лесорубов работал охотник с Нейвы-реки, верткий, чернявый молодец Ларион. Встретив однажды у костра красивую девушку, он не мог больше ее забыть и зачастил к огню: то топор у него затупился, то портянки промочил, перебираясь через родник. Подходя к костру, он запевал песню, а когда попадалась навстречу Дуняша, пялил на нее бесстыжие глаза. Хотя это и льстило девичьему самолюбию, но в то же время в душе Рыжанки поднималось чистое, здоровое чувство возмущения. По душе ей больше всего пришелся тагильский плотинный — сдержанный и умный человек. Правда, он и шагу не сделал к ней, но все же душой, сердцем угадывала Дуняша, что равнодушен он. И сейчас, ловя на себе распаленный взгляд Лариона, девушка обиженно хмурилась и, недовольно поводя плечами, быстро уходила прочь, не достаивая парня своим вниманием. Это задевало лесоруба за живое. На все окрестные горные селения он славился силой и ловкостью. Опытный охотник, он дробинкой убивал белку в глазок. Подолгу Ларион неумоимо носился по горам, преследуя зверя. Не боялся он ни жестоких морозов, ни свирепой пурги, ни лесного мрака; зимой и летом, ночью и в непогоду он уходил в горы, в тайгу и там был как у себя дома. И вот этот крепкий, неумоимый парень вдруг затосковал. Топор валился у него из рук: лесная красавица захватила его сердце и все помыслы. Каждый день при встречах с ней он все пуще распался страстью. Лесорубы заметили неладное.

— Гляди, милый, не трожь! — дружески предупредили они Лариона. — Рыжанка не такая девка, чтобы пошатнуться. Не попадай ей на тропке! За себя умеет постоять...

Однако Ларион пропустил советы лесорубов мимо ушей. Он твердо уверился, что ни одна кержачка не устоит перед ним, если только умело взяться за дело. Как тень, скользил он следом за Дуняшей, подстерегая ее всюду: на тропке к огню, на речке, куда она бежала стирать белье, в лесу.

Однажды ему повезло: удалось встретить девушку на лесной дорожке, нырявшей среди густой еловой поросли. Еще издали он заметил быстро идущую стряпуху. Она шла навстречу снежному сиянию. Пуховый платок сполз на затылок и открыл белый чистый лоб; от этого еще ярче светились ее большие ласковые глаза. Девушка не замечала подстерегавшего ее озорника. Она шла, улыбаясь про себя чему-то приятному, и загорелое лицо светилось нежной улыбкой, от которой Ларион захмелел. Дерзкий и смелый парень неожиданно вышел на середину дорожки и протянул руки, чтобы обнять красавицу.

— Дуняша! — радостно прошептал он.

На мгновение в глазах девушки мелькнул испуг, однако она быстро осмелела и решительным движением отвела его руки.

— Не трогай, не твоя! — с гордостью сказала она.

На короткий миг они скрестили свои горящие взгляды. Он не поверил в искренность ее негодования, наступал на нее, горячо и возбужденно дыша ей в побледневшее лицо. Тогда она внезапно развернулась и со всей силой так толкнула его локтем в грудь, что, отлетев от нее, Ларион не удержался и упал на молоденькие елочки, осыпавшие его колкой морозной пылью.

Когда лесоруб пришел в себя от изумления, Дуняши и след простыл. Сердце парня всколыхнуло стыд и возмущение.

— погоди! — пообещал он. — Ты мне еще попадешься, недотрога!

С этого дня он стал еще упорнее поджидать гордую стряпуху на тропинках. Украдкой в сумерках и на ранней заре он подолгу выстаивал, ожидая ее появления. В эту пору бураны улеглись, прояснело небо и над чащобами засияло скупое зимнее солнце, а вместе с ним на лесосеки прибыл и плотинный. Он ничего не сказал Дуняше, даже не взглянул на девку, но на этот раз сильно затрепетало ее сердце. Когда собрались лесорубы к полднику, она, сама того не сознавая, подкладывала Ефиму лучшие куски и подолгу задерживала свой взгляд на его широком загорелом лице, осененном золотой бородкой. Плотинный ел и похваливал, а от этого еще пуще краснела девушка. Никто не замечал тайной игры взглядов, лесорубы балагурили, только один Ларион сидел, невесело опустив голову, и ел очень вяло. Он понял все: Дуняша мечтала о плотинном.

«Погоди, орловец, мы еще поспорим! — угрожал он Ефиму мысленно. — Не пойдет так, силком обротаю! Опозоренная девка визжать будет, а уприсит покрыть стыд!»

Плотинный ничего не подозревал; большое радостное чувство наполняло его, и он беспрестанно шутил. Вместе с лесорубами он отполудневал, пошел с ними в бор и валил вековые сосны. Рабочие залюбовались его работой. И в самом деле, Ефим отличался силой и проворством.

— Эх, и кремешок! — хвалили порубщики. — Орловец, а с нашим мастерством знаком! У нас так сказывается, добрый человек: получил от отца-батюшки руки да плечи, от матушки — зубы да речи, а от деда Ипата — кайлу да лопату!

Ларион не мог стерпеть похвал своему сопернику. Он с размаху вогнал острый топор в свежий морозный пенек и сказал насмешливо:

— Дерево всякий валить сумеет, и девку повалить не мудрая штука! А вот за зверем угнаться по нашим лесам не всякому под силу!

Ефим не обиделся на явную насмешку. Он выпрямился, спокойно посмотрел на озорника:

— А я в самый раз поохотиться вздумал и ружьишко захватил. Только ружьишко неказистое, старинное. Поразмяться охота!

Ларион ликовал: то-то перед всем народом осрамится орловец!

Утром, когда еще лесорубы досыпали последний крепкий сон, Ефим выбрался из шалаша. Кругом простиралась успокаивающая тишина: улеглась пурга, перестал шуметь бор, и только одинокая каркающая ворона перелетала с сосны на сосну, поднимая нежную серебристую пыль. Легкий пухлый снег огромными сверкающими шапками покрывал широкие лапы елей. Над потухшим костром вилась чуть заметная струйка дыма.

— Эка благодать! — полной грудью вздохнул плотинный. — Благослови, господи!

Он взял прислоненные к шалашу лыжи, пристроил их, забросил за плечи ружьишко и хотел бежать.

Но тут из-за толстой сосны вышла девушка-стряпуха. Она ласково поглядела на Черепанова и тихо обронила:

— Не езжай лучше, добрый человек... Боюсь за тебя...

Словно огонь побежал по жилам мастера. Она впервые говорила с ним, впервые, застенчиво краснея, заглянула своими зелеными глазами

в его глаза, и он понял, сколь дорога и мила стала ему девушка.

— Как звать тебя? — тихо спросил он.

— Дуня. Только не ходи ты на зверя!

— Пойду! Как не пойти, обязательно пойду! — с легким молодецеством, рисуясь перед ней, сказал Ефим. Кстати, на ум пришел и Ларион. Не он ли вчера смеялся над ним? Нет, он сейчас не отступит, пойдет в горы!

— Жди меня, красавица, непременно с добычей вернусь, — вымолвил он и легко заскользил на лыжах. Чистый, бодрящий ветер ударил ему в лицо.

«Эх, хорошо!» — вздохнул полной грудью Ефим и весь отдался стремительному бегу. Он быстро уходил в глухой лес, петляя среди ельника, любуясь нетронутой красотой чащи. В орловских краях ему не довелось полесовать с барином в таких чащах. Все здесь выглядело торжественно, ветки елей в лебяжьем пуху клонились долу, иссиня-зеленая хвоя сияла голубоватым светом. Лыжи скользили легко. И казалось Ефиму, будто идет он по сказочному миру. Могучие разлапистые ели, сверкавшие парчой, и густая буйная поросль кустов, заваленная снегом, покорно расступались перед ним, а потом за спиной снова сходились в безмолвии. Луч солнца прорвался в чащобу, мастер задел ветку, и сверкающий каскад снежинок взметнулся над тропой. Все кругом казалось прекрасным и необыкновенно таинственным: и хмурые ели, и ровный рокот боровых сосен, и дальние оснеженные шиханы, четким контуром выступавшие на синем небе. И вдруг Ефим замер от восхищения.

На дальней горке, словно призрачное видение, стоял настороженный лось. Над высоко поднятой головой зверя вился легкий парок. Из-за облака брызнуло солнце, обливая золотым сиянием лося. Он стоял, как изваяние.

— Красавец зверюга! — изумленно прошептал плотинный. В нем неожиданно с бурной силой заговорила охотничья страсть. Ефим не утерпел, оттолкнулся и понесся к дальнему холму. Охваченный могучим порывом, он видел перед собой только чудесного зверя. Завидя человека, лось скрылся в долине. Охотник заторопился по его следу. Молодой сильный лось, почуяв преследование, понесся, как стрела, выпущенная из лука. Движения его были легки, грациозны, и весь он казался совершенно невесомым. Красота и резвость зверя еще

более разожгли Ефима. Давно позади осталась знакомая лесосека, падь уходила в синеву, а он все бежал и бежал за легким зверем. На бегу мастер сбросил полушубок, остался в одном кафтане. В безумном гоне все тело горело от горячей разбуженной крови. Ефим забыл обо всем на свете и видел только чудесного зверя.

Лось неумоимо бежал впереди, заманивая охотника в дикие горы. Так Ефим и не настиг бы его, но случилась беда: в узком ущелье зверь неожиданно взмыл кверху и, обагрив алой кровью снег, упал у поверженных елей. Все еще не веря случившемуся, мастер подошел к лосю. Он лежал перед ним, распоротый от груди до паха, и выпавшие внутренности дымились на морозе. Большие лиловые глаза лоса страдальчески смотрели на охотника. Ефим отвернулся: ему стало жаль истерзанное прекрасное животное. «Разве ж это охота? Коварство и подлость!» — с искренним возмущением подумал он.

Лось напоролся на скрытую западню, самую жестокую, варварскую, какую только можно было придумать. Острый нож, прикрепленный к притянтому к земле пружинистому дереву, теперь внезапно освобожденному, страшным ударом раскромсал тело красивого, резвого и сильного зверя. Ефим добил лося и, отвернувшись, молчаливо пошел по старому следу к лесорубам...

Хмурый, усталый, вернулся плотинный в стойбище и подсел к огоньку. Он молчаливо осматривался по сторонам. Из шалаша выглянула Дуняша.

— Ты что ж, охотничек, приугрюмел! Без добычи! — с легким укором вымолвила она.

Ефим недовольно повел плечами.

— Не то сказываешь, девка! Обижен за зверя! Разве это охота? — сердито отозвался он и не спеша рассказал стряпухе о западне.

— А ну-ка, покажи нож! — свела густые брови стряпуха.

Он подал ей большой и острый, с присохшей кровью, нож. Девушка взяла его в руки и внимательно оглядела. В зеленых глазах ее сверкнули молнии.

— Ларион это сробил! — вся дрожа от гнева, выкрикнула она. — Тож охотник! На весь Камень расхвалили, раззвонили! Разве ж это стрелок? Так и бабы умеют добывать зверя! Эх, горе ты мое!

В глазах ее стояли слезы досады и возмущения. Она сбегала к артельному, упростила послать за тушей убитого зверя. Притащили на

лыжах лося — и весь день кипели котлы, приятный запах разваренного мяса разносился по лесу, и вечером наголодавшиеся братаны наелись досыта. Мясо припахивало чащобой, было сладковато, но в лесу, на морозе, оно казалось самым вкусным и приятным. Все поглядывали на Ефима, а он сидел, опустив голову, и к мясу не притрагивался.

— Ты что ж, мужик, такого зверя залобовал, а сам и не притронешься к говядине? — спросил его артельщик Гордей.

— Зверь сей не залобован, а в коварную ловушку попал! Да и они не по чести ставлены! С таким зверем начистоту надо выходить!

Дуняша одобрительно посмотрела на Ефима и вставила свое быстрое слово:

— У стоящего охотника своя честь имеется! Эка штука — на этот нож напороть зверя! А ты, милый, сумей его на лыжах настичь да стрелить. А ну-ка, покажи свою удаль!

Слова как будто и не относились ни к одному из лесорубов, но все догадались, что виновник западни — Ларион. Это бы ничего, что парень добыл зверя, но то непростительно, что он всегда выхвалялся, сколь долго за зверем гонялся и как метко бил пулей!

«Эх, парень, парень, пустая балуй-головушка, а не истый охотник!» — укоризненно подумал каждый из братанов, но и словом не обмолвился.

Ларион почувствовал общее осуждение и затаил обиду. «Эх, Ефим Алексеич, держись! Бойся на узкой тропке встретиться; посмотрим, у кого кулаки покрепче!» — подумал про себя лесоруб.

Плотинный не торопился пока из леса: он отбирал самые лучшие, твердые бревна, отстукивал их, прислушивался к звону древесины, приглядывался и ставил свои метки. О стряпухе он старался не думать, да и лесорубы держались настороже. Непокойнее всех чувствовал себя Ларион. Держа топор, он подолгу застывал на месте, издали разыскивая глазами становище: нет ли там Ефима? От ревности у него темнели глаза, и он так сильно сжимал топорище, что на руках вздувались жилы от страшного напряжения. Попадись только ему этот орловец, он уж знает, что сделать!

Скоро снова пришла вьюга, и в этот сумрачный денек довелось Ефиму и Лариону встретиться на узкой тропке. Настороженные, с

потемневшими от ревности глазами, они стояли друг против друга. Ефим держал в руках ружье, а Ларион — острый тяжелый топор. Их разделяла поверженная бурей лесина.

— Что стал на дороге? — тревожно спросил мастер.

Ларион поднял на соперника колючие глаза.

— Перед девкой меня опозорил. Навек опозорил! Сказывал, беспомощен я. Вот и померимся сейчас силой! — хрипло предложил лесоруб.

— Что ж, я не прочь, — скрывая волнение, спокойно отозвался Ефим. — Только положи топор, а я положу ружьишко. Начистоту, на кулачках, сразимся! Без подвоха! Идет, что ли?

— Идет! — угрюмо согласился Ларион и ткнул топор в смолистый ствол сосны. Ефим отложил ружье. Оба сбросили полушубки и засучили рукава, сквозь зубы перебраниваясь, тяжело дыша, исподлобья глядя друг на друга. Кругом высились пушистые сугробы. Алмазами искрились снега, каждая веточка была в лебяжьем пуху, и иссиня-зеленая хвоя осыпала голубоватыми хлопьями тропку. На ели взметнула крыльями сорока, застрекотала и улетела прочь, оставив за собой струйку серебристой пыли.

— Ну! — хрипло выкрикнул Ларион и размахнулся. Ефим ловко уклонился от удара. Лесоруб осмелел, броском накинулся на плотинного, схватил его в охапку и поднял. Небольшого роста, коренастый, кержак оказался ловким и сильным.

— Провора! — похвалил его Ефим и тоже не зевал, облапил парня медвежьей хваткой. У Лариона дух захватило. Теперь оба они, плотно обхватив друг друга, сопели, напрягали все силы, чтобы уложить противника. Ефим был кряжистым и тяжелым, как сырая дубовая колода. Подброшенный, он, растопырив ноги, снова становился на место. Его большие жилистые руки казались скованными из железа, и, словно клещами, русобородый мастерко все сильнее и сильнее сжимал ими соперника. Противники истоптали, избороздили мягкий глубокий снег, покрушили молоденькие елочки, ветки хвои хлестали их по лицам, осыпая инеем. Пар валил от разгоряченных, напряженных тел. Глаза обоих налились кровью...

— Дай роздых! — взмолился Ларион.

— Нет, роздыха тебе не будет! — хрипя, сказал Ефим. — Будем биться до конца: кто кого положит!

— Эх-х! — изо всех сил рванул мастерка за поясницу парень, но тот удержался и, как коряга, растопырив ноги, стоял на тропе.

— Леший! — озлился лесоруб и подставил Ефиму ногу.

— Ты что же делаешь, пес? — внезапно за спиной Лариона раздался сердитый девичий голос, цепкая рука ухватила его за плечо. — Ты не по-честному!

Бойцы разом опустили руки и, выдыхая клубы горячего воздуха, предстали перед Рыжанкой с поникшими головами.

— Бесстыдники! — укоризненно смотрела она на обоих. — Как зверье, схватились.

Ефим с потупленным взором топтался на месте. Он наклонился, подхватил сбитый в бою гречушник, отряхнул его и надел на кудри.

— Чего тебе тут надобно? — с легкой ухмылкой спросил он.

— А то понадобилось, чтобы примирить вас, смутьянов! — решительно сказала девушка и по-хозяйски подбоченилась. Луч солнца прорвался сквозь хвою и упал на Дуняшу. Нежная пухлая мочка уха зарозовела, как рубиновая капелька.

— Из-за чего пошли на кулаки?

— Посчитаться хотелось! — вымолвил лесоруб и неуклюже отставил ногу в большом стоптанном валенке. — Все из-за тебя...

— Вот и дурень! — улыбнулась девушка. — Господи, какой дурень! Да кто я тебе, женка или полюбовница? Эх, вы! — Губы ее скривились в презрительной усмешке. — Не повоевали, а уж разодрались, как шелудивые кобели. Я девка, ни отца, ни матери у меня, сама себе хозяйка. Кого хочу, того и выберу! Идем в становище, мужики! — Она качнула бедрами и пошла вперед по тропке. Ларион подумал, помедлил, но с виноватым видом пошел следом...

Ефим взял ружье, отряхнулся, и когда они скрылись за поворотом тропки, быстро зашагал в лес.

Долго он бродил на лыжах по глухим местам. Стало смеркаться, багряный месяц поднялся над елями. Рядом в гущере заухал филин. По-иному сейчас выглядел лес: густые ели под луной сыпали синими искорками, мрачными черными стволами уходили ввысь толстые сосны. Потрескивало от мороза. Обледенелые ветки берез тихо покачивались и звенели. Только широкие кедры угрюмо притихли, боясь уронить свои белые шапки. Через тропку вильнула лиса, на минутку остановилась, повела носом и, почуяв что-то, стала

разгребать передними лапами снег. Стрельнуть бы зверюшку! Но Ефим махнул рукой и побрел к просекам. До зверя ли тут, до лесной ли красоты, когда перед тобой все время мерещатся глаза Рыжанки! И кажется, в эту минуту они покрылись ласковой поволокой, точно преобразились... «Кого хочу, того и выберу! Ишь ты, как бы не так! А барин что скажет?» — тряхнул головой Ефим, и ему стало приятно от сознания, что она смелая и не боится самого барина. «Эта пойдет на все! В горы сбежит, а за нелюбимого не заставишь!» — подумал он.

В глухую полночь мастерко пришел на становище лесорубов. Все спали, потухал и костер. Он подбросил сушняка, и через минуту вспыхнуло пламя, озаряя густым светом вершины.

«Как же теперь поступить?» — спросил себя Ефим и не нашел ответа.

Пригретый теплом костра, он продремал всю ночь.

В синие минутки рассвета его разбудила Дуняша. Она первая завозилась в шалаше, забряцала железным ведром, тихо напевая что-то. Вскоре она вышла и направилась к роднику. Походка у девушки была проворная, живая, и все играло в ней — и глаза, и лицо, и даже смеющиеся губы. Горячие быстрые глаза ее остановились на мастерке. Словно ничего не случилось, она спросила его:

— С добычей?

И хотя она старалась казаться спокойной, сияющие, светящиеся глаза выдавали ее душевное волнение. Ефим ничего не ответил.

Дуняша сразу притихла, сдвинула брови и не спеша пошла за водой. А он, грузный, широкоплечий, как сыч сидел на пне и, обуреваемый ревностью, смотрел ей вслед.

... То, что Дуняша пошла с ним, а плотинный нежданно-негаданно покинул лесное становище, окрылило Лариона. Он решил, что девка непременно достанется ему. Ларион твердо верил в свою победу. Девушка вертелась у костра в одном кубовом сарафане, сбросив полушубок. Щеки ее пылали. На белой пухлой шее красавицы краснели бусы, и это делало ее еще более привлекательной и желанной. И вся Дуняша сейчас казалась особенной — проворной, ладной, — и в глазах ее светилась неугасимая радость. Ларион не мог дожждаться минутки, когда лесорубы окончат полудневать. Они неторопливо насытились, побрали топоры и ленивой развалкой гуськом пошли по утоптанной тропке на лесосеку. Дуняша тем

временем убрала миски и, поеживаясь, забежала в шалаш, чтобы накинуть на плечи шубейку. Этого только и ждал парень. Он медленно вошел за стряпухой и стал наступать.

Рыжанка оглянулась и по мутным глазам лесоруба угадала нехорошее.

— Ты что? — испуганно спросила она парня и перешла к тесовому столу, на котором стояла корчага с капустой.

— Больно ты хороша сегодня, Дуняша! — прошептал он и протянул к ней руки.

— Ой, не трогай, Ларионушка! Нельзя! — взмолилась она. — Нехорошо этак!

Широко раскрытыми изумленными глазами она смотрела на парня и не узнавала его. Он весь дрожал от возбуждения.

— Ладная ты моя, хорошая! — придвигаясь к девке, шептал он. — Меня выбрала!

— Да ты сдурел, анчутка! С чего взял такое? — внезапно обиделась она и осмелела: — Уходи! Помилуй бог, уходи!

— Так ты шутковать вздумала! — закричал он и бросился к стряпухе, но она ускользнула за корчагу.

Разозленный, он с размаху ухватился за стол и опрокинул его.

— Принарядилась, приманивала его! — зловеще заговорил он, надвигаясь на Дуняшу.

Пятясь к двери, она упрашивала его:

— Уймись, Ларионушка! Ну что ты надумал, постыдись!

Ничего не помня в буйной ревности, он настиг Рыжанку у порога и схватил за руку.

— Сдурел! Истин бог, сдурел! — уговаривала она.

— Я тебе покажу, как сдурел! Сердечная ты моя! — хрипел он, наседая на девушку, переходя от грубости к ласке.

— Не дамся! — закричала девка. — Не смей! — В ее окрике прозвучало столько достоинства и решительности, что Ларион на миг опешил, но затем, совсем потеряв голову, обхватил Дуняшу, и они, поскользнувшись, повалились на подостланную хвою.

— Ратуйте, братики! — испуганно закричала она.

Он очумело взглянул на стряпуху и выпустил ее. В разорванном сарафане, раскрасневшаяся, заплаканная, она выбежала из шалаша в ту минуту, когда к ним подходил артельный Гордей.

Застав в шалаше Лариона, он понял все.

— Так! Николи не ждал от тебя, парень, напасти! — сурово сказал он. — Всю артель надумал опоганить! Ну, милый человек, коли так, забирай котомку да марш в Тагил! Там и расскажи господину Любимову, за что я тебя отослал.

Ларион стоял, потупив голову, не проронив ни слова.

К вечеру он собрал котомку и ушел из лесного табора.

Черепанов вышел на плотину. Широкая, массивная, она могуче перегородила Тагилку, скованную льдом. В ларях пахло свежим смолистым тесом, еще белела стружка, но все было готово к приему вешних вод. Однако на душе плотинного таилась и росла тревога. Никогда, по рассказам стариков, не выпадало на Камне столько снега, как в минувшую зиму. В каждом горном ущелье, в любой овражине, в глухих лесных падах и на обширных болотинах скопилась и дремала огромная сила, которая могла разом пробудиться и устремиться вниз, к плотине, и тогда — берегись!

В свежем воздухе все сильнее и сильнее чувствовалось приближение весны. Хотя под ногами по утрам еще поскрипывал морозный снег, но уже по-иному дышалось, по-иному бродила в теле человека кровь, отчетливее слышались над прудом стуки топора, звон пилы и дыхание завода.

Тревожное ожидание оправдалось: в конце апреля сразу пришла дружная, теплая и многоводная весна. На глазах заноздревател, пожухлел снег и рождались из-под него быстрые говорливые ручьи. Задымился под ярким солнцем лес, тысячи золотых бликов легли на елани, и вспенились горные потоки. Чернолесье наполнилось криком дроздов, встречающих весну. Над озерами закричали лебеди, гуси, закрякали утки, перекликались чибисы. Ослепительно заблестели стволы берез. Над горами ярко светило солнце, подолгу не сходило с неба, а на смену ему рано выплывала полная луна, и тогда голоса и шорохи в лесу становились звонче. На ранней заре глухари на токах заводили свою весеннюю песню, на которую слетались темно-рыжие подруги, и под сенью сосен, в синеватой мгле рассвета, шло великое любовное ликование.

Далекие контуры гор стали синими на фоне белесого неба. У крайков пруда появились огромные полыньи, засинел лед. И в одно утро, когда еще серые сумерки наполняли избу, а на востоке робким отсветом забрезжила заря, Ефим услышал странный треск; потом раздался гул, и, сразу подхваченный тревогой, плотинный вскочил и бросился к пруду. Там со скрежетом и гулом лопались и налезали одна на другую огромные льдины. Под ними кипнем-кипела и пенилась

водоворотом стихия. Льдины яростно лезли на плотину и бессильно отступали перед ней. Вода быстро прибывала с гор, и уже огромные низины и заливные луга превратились в безбрежное озеро. По освобожденной воде неслись опрокинутые потоком деревья, бревна, старый лесной хлам.

Несмотря на раннюю пору, на плотине, словно муравейник, копошились толпы работных, женок и ребят. Берега покрылись народом, который все прибывал и прибывал, торопясь не пропустить ледоход. Старые и малые с возбужденными лицами следили за бурным водопольем. Откуда только бралась такая страшная и всесокрушающая сила! Только вчера на пруду синели спокойные льды да у закрайков поблескивала талая вода, а сегодня все кругом клокотало, кипело. Потемневшая злая вода ломала толстые зеленоватые льдины, теснила их, сшибала одну об одну, крушила и поднимала стоймя. Вчера еще скованная, сегодня она внезапно обрела необыкновенную буйную силу и сейчас то кипела и кружилась водоворотами на просторе, то бросалась на плотину, стараясь ее опрокинуть, размыть и снести. Еще более злобные струи кружились в срубе вешняка: вода ударяла с бега в тесовые запоры и отступала, чтобы через минуту с новой силой кинуться на приступ. Деревянные сооружения плотины дрожали от напора разъяренной стихии.

Среди брызг, обдуваемые ветром, коренастые мужики, навалясь всем телом на тяжелый кованый ухват, старались поднять тесовые затворы вешняка. Со вздувшимися жилами они напряжились в страшном напряжении, но затвор не поддавался. С гор налетела снежная туча, и мокрые липкие хлопья закружились над плотиной. В этой белесой мути еще мрачнее и страшнее казались взбешенные водные валы, которые с шумом кидались на земляную насыпь, еще более беспомощными и жалкими казались бородатые крепыши, стремившиеся сдвинуть ухват.

— Эй, братцы, еще разик, еще раз-з! — в такт своим яростным усилиям подбадривали они друг друга криком.

Завидя Черепанова, работные бросились к мастеру:

— Что нарбил, леший! Гляди-ка, затвор вешняка отказал!

Они злобились, враждебно сжигая взглядами плотинного. Неприятный холодок побежал по спине Ефима.

«Что случилось? Только чае тому назад все было тихо, и вдруг!..» Расталкивая толпу, мастер устремился к вешняку. Там, в темном омуте, бесновалась и бросалась на затвор запертая вода. Черепанова сразу охватило ветром, обдало брызгами, но он бесстрашно спустился по лесенке вниз. Напрягая зрение, плотинный смотрел в мутную воду, стараясь проникнуть вглубь...

Народ стих, все напряженно следили за мастером и ждали. А вода все прибывала.

Она шла с гор шумными потоками. Тагилка вздулась, из покорной и тихой стала большой и бурной рекой. Она вливала свои быстрые воды в пруд, который на глазах разливался и волновался необозримым морем. Изломанные льды сильными струями выкидывало на гребень плотины. Вода размывала насыпь, проникая в каждую трещинку. Не находя выхода, она бушевала у земляного вала, подбираясь к его вершине, захлестывая людей.

— Ух, страхи какие! — испуганно отступила заводская женка и заголосила вдруг: — Братики мои, да что же теперь будет? Прорвет плотину, и поселки затопнут, милые вы мои! — кричала она, закрывая лицо фартуком.

— Замолчи ты! — прикрикнули на вопленицу в толпе. Женка стихла и спряталась за спины подружек.

— Ну что там, Ефим? — закричали плотинному мужики-ухватчики.

Мастер по пояс погрузился в холодную воду, волны били ему прямо в лицо. Он поднял потемневшие от гнева глаза и прохрипел:

— Заклинило затвор! Спасайте плотину! Наращивай!

— Женки! — закричал звонкий девичий голос. — Айда за мной! Вон они, рогожные кули! Айда!

Раскрасневшаяся Дуняша кинулась к плотинному.

— Вылазь! — закричала она. — Вылазь, сгибнешь!

— Уйди! — угрюмо отозвался Ефим и попросил: — Мужики, давай канат!

Ухватчики обвязали его веревкой, дали в руки топор.

— С удачей! — подбодрили мужики, но мастер не отозвался. Мокрый и злой, он стал опускаться в вешняк, где клокотала и билась вспененная струя.

А вода подбиралась ближе, просачивалась сквозь землю, тонкими змейками проникала сквозь толщу вала. Она размывала рытвины, и по ним коварно устремлялись бурные потоки, которые смывали огромные глыбы и, пенясь, неслись по долине к заводу. Люди хватали рогожные мешки, набитые песком, и, взвалив их на плечи, торопливо несли к промоинам. Мокрые, обрызганные грязью заводские женки, обливаясь потом, волочили кули. Брань и крики повисли над плотиной. Высокая, сильная Рыжанка покрикивала на женщин:

— Живее, живее, женки!

И сама первой кинулась к прорыву...

Грязь хлюпала под ногами, ветер бросал в лицо хлопья липкого снега, руки посинели от стужи, но женщины упорно отстаивали высокую насыпь. Они даже не оглянулись на крикливого управителя, который внезапно появился на плотине. Надутый, обряженный в темно-синий суконный кафтан, он налетел на Дуняшку:

— Где плотинный?

Она подняла глаза, и в них блеснули слезы:

— Нет мастера! Спустился в вешняк. Человек погибнуть может!

Вместе с управителем она поспешила к вешняку, где топтались унылые ухватчики.

— Куда подевали Ефимку? Что наробили, хваты? — угрожающе закричал Любимов. Его большое студенистое тело заколыхалось. Он размахивал толстой палкой и грозил: — Упустили, упустили, ироды! Жди беды! Вот как почну колошматить!

Он и в самом деле готов был налететь на ватагу ухватников, но в эту минуту по толпе прошел гул.

— Гляди, вон он! Слава тебе господи! — голосисто закричал кто-то среди мужиков.

Толпа облегченно вздохнула:

— Выбрался из беды! Гляди, какой молодец!

Из вешняка, где все содрогалось от напора разъяренной стихии, с топором в руке показался плотинный. Вода ручьями стекала с него. Посиневший, осунувшийся, он медленно поднялся по лесенке из ларя. Десятки рук подхватили его. Еле держась на ногах, плотинный выкрикнул:

— Братцы, двигай ухват!

Три десятка мужиков навалились на железный брус и с уханьем стали жать. У бородатого дядьки от натуги лопнула бечевка на портянке, и мокрая холстина свалилась в грязь. Ее мигом затоптали. Казалось, от напряжения трещат спины: секунду не поддавался брус, потом медленно-медленно пополз вниз, поднимая за собою затвор. Сразу забурило, зарокотало, — вода с шумом рванулась в вешняк.

— Тронулась! Тронулась! — разноголосо закричали в толпе, но все мгновенно покрылось гудящим ревом прорвавшейся стихии.

— Эх, пошла, забушевала! Заревела!

Как сотни белогривых взбешенных коней, пенясь и бросаясь ввысь, мчались седые волнистые струи.

Ефим не помнил, как подбежала к нему Дуняша, вся истерзанная, мокрая, с потемневшим лицом, — но в эту минуту она показалась ему еще милее и краше. Они схватили друг друга за руки, глядели в глаза и понимали, что у них обоих на сердце. Кругом шумели мужики. В ларе с ревом бились и вздымались каскады.

Тяжко дыша, мастерко показал девушке на беснующийся водоворот и сказал:

— Слышишь? Какая силища! Все потрясает!

— Но человек сильнее всего, Ефимушка! — жарко прошептала она, крепко сжимая его руку. В глазах девушки все еще стояли слезинки. — Ефимушка, соколик, поборол! Ох, и страшно было! — радостно сказала она и теснее прижалась к нему.

К ним медленной походкой приблизился управитель. Он сердито посмотрел на плотинного и не сдержался:

— Ну, твое счастье, что так обернулось! Демидов спустил бы с тебя шкуру, хоть ты и в дорогой цене ходишь!

Мастер ни словом не обмолвился. Он крепче сжал руку Дуняши и увел ее с плотины.

Хорошо зажили Ефим с Дуняшей! Мастерко вместе с женкой срубили из крепкого смолистого леса избу. Имелась при ней пристроечка, в которой Черепанов разместил свои инструменты и верстак. Все свободные часы он по-прежнему занимался механикой. Рыжанка оказалась тихой, покладистой подругой. Старательная,

работящая, она была под стать степенному и умному Ефиму. Трудились они дружно, счастливо. Уралко о них говорил:

— Хорошо работают хлопотунки! Как два резвых конька, бегут в счастливую жизнь!

В 1803 году у Черепанова родился сын Миронка, и еще полнее зажила дружная семья.

К этому времени Ефима назначили плотинным Выйского завода, который расположился тут же, рядом с горой Высокой. Все механические работы перешли к мастеру. Француз Ферри покинул демидовский завод. Так и не сделал он обещанных преобразований!

Рассказывая об этом, Уралко укоризненно покачал головой:

— Эх, жизнь-маята! Со своего русского рабочего последний медный крест снимают, из рук краюшку отбирают, а французу за длинный нос да хвастливые речи тысячи отвалили! Вот она, русская стезя-дорожка!

Но Ферри не только накопленные тысячи увез из Нижнего Тагила, но и семейные строгановские драгоценности прихватил.

Однажды Николай Никитич неожиданно вспомнил:

— Что-то давно не вижу твоих дивных самоцветов. Потешила бы взор мой!

— Ах, Николенька! — вспыхнув вся, воскликнула жена. — Если бы ты знал, что за несчастье выпало...

Она смешалась, опустила глаза, но Демидов взял ее за подбородок, поднял смущенное лицо.

— Выходит, сей выдумщик французишка похитил наши богатства? — догадываясь о беде, строго спросил он.

— Нет, нет, не похитил! — запротестовала она. — Он камень жизни отыскивал, опыты делал, и вот я решилась доверить...

— Хитер гусь! — сердито вымолвил Николай Никитич. — Камень жизни, камень мудрецов — уловка для дураков и простофилей. Не ведал я, что ты настолько доверчива! — с досадой сказал Демидов и покинул комнаты супруги. Он срочно вызвал управителя Любимова и наказал ему:

— Отрядить десять самых надежных и проворных молодцов, нагнать французишку и отобрать строгановские драгоценности!

Демидовская удалая ватажка три дня гналась по следу Ферри на резвых конях. На четвертое утро она нагнала возок француза на

большой Казанской дороге. Невзирая на вопли и стенания Ферри, демидовцы тщательно обшарили все сундучки, укладки, вспороли дорожную шубу, но самоцветов не нашли.

— Где ты упрятал камушки-самоцветы? — пристали они к французу.

— Сплавил! Неудачный сплав! — неразборчиво пробормотал перепуганный Ферри, запахнулся скорее в шубу и завалился в возок. — Езжай, кони! — тонким голосом закричал он вознице, и тройка помчалась дальше.

Удальцы постояли-постояли на дороге, подумали, посмотрели вслед тройке и решили:

— Чисто сробил, шельма! Раз сплавил, выходит, ищи карася в море! Ловок, сукин сын! — обругали они француза и ни с чем вернулись в Нижний Тагил.

Черепанов в эту пору думал о паровых машинах. Он добыл в конторе старые, обветшалые чертежи, но они не помогли делу. Тогда он решил пойти к Любимову и упросить его разрешить постройку паровичка; управитель, внимательно выслушав его, заметил:

— Не ко времени задумано. Едет в Катеринбурх великий аглицкий механикус Меджер. Намерен он строить завод паровых двигателей. Вот и будем ждать, что из того выйдет!

Опечаленный Ефим вернулся домой.

«Опять не верят русским мастеровым, а ждут милости от иноземца!» — обиженно думал он.

Евдокия понимала муку мужа и старалась его успокоить:

— Не кручинься, Ефимушка, потерпи, пока созреет яблоко, тогда и сорвешь его! Будет это! Придет и для русских ясен-светел день, обогреет и обласкает душу солнышко!

Она ласково смотрела на мужа, ластилась, и спокойная речь ее гасила горечь на душе Черепанова. Как последние вспышки его душевного негодования, были с горячностью сказанные им слова:

— Любо твое слово, Дуняша! Но в народе так сказывается: пока заря займется, роса очи выест! — Он горько улыбнулся ей...

Завод паровых двигателей иноземец Меджер так и не построил. Он поднял много шуму в горном управлении, неимоверно хвастался своими обширными планами, а за дело пока не принимался. Скоро на

большаке его коляску остановила ватага известного в округе разбойника Мартьяныча и убила надменного Меджера кистенем...

Узнав об этом, управитель сказал Ефиму:

— Зря человек погиб, хотя и пустомеля был. Разбойник Мартьяныч думает купцов да бар перевести, а того не ведает, что ему самому придется болтаться на веревочке. Разбойнику один конец: петля да топор палача.

Плотинный молча выслушал Любимова, а сам подумал:

«Не разбойникам купцов да бар перевести! Разбой да грабежи — не народное дело. Верно Дуняша молвила: займется грозовая туча, да ударит гром, и омоет ливень всю землю, снесет всю нечисть и пакость, коростой покрывшие наше тело! Встанет народ!»

Он не одобрил поступка Мартьяныча и поэтому после раздумья ответил управителю:

— Разбойник — разбойник и есть! Поделом вору и мука будет!..

После полудня в домик Черепанова прибрел дед Уралко. Белый как лунь, он шел, опираясь на палку, часто останавливаясь. Войдя в горницу, он с тихим торжественным видом сел на широкую скамью под окном.

Подле печи гремела ухватами Дуняша. Ефим за верстаком ладил свое. Миронка-непоседа то вбегал в избу, то исчезал.

Дед прислушался к знакомым шорохам, улыбнулся.

— Все стараетесь, хлопотунки!

— Стараемся, милый, — добродушно отозвался Ефим. — Да толку мало!

— А уж так положено: сколько ни роби на бар, а честь одна! Они-то умеют нашу силушку выматывать. От деда еще своего слышал, что не только Демиды, но и Походяшин медный завод свой на костях выстроил. На костях и домну задули. Золото кровью мыли, и сказ про это среди народа ходит. Эх-хе-хе...

Уралко опустил голову, задумался. Евдокия озабоченно взглянула на его пожелтевшее лицо и спросила сердечно:

— Ты что-то сегодня осунулся. Не заболел ли часом, дедушка?

— Здоровьишком хвастать не могу. Чую, последние дни доживаю. Одолело меня прошлое, все вспоминаю свою жизнь, и сколь длинна была она, а радости и дня не отыскал! Одно времечко и манило счастьем, когда в наших местах проходил Емельян Иванович...

— Так ты, милый, и Пугачева помнишь? — оживленно спросил Черепанов.

— Еще бы не помнить! — светло улыбаясь, отозвался старик. — Истинный правдолюбец был, да только рабочая наша правда не по сердцу барам. Ну, и покрушил он мирских захребетников немало! Самого графа Панина припугнул до холодного пота. А ты, слышь-ко, послушай, я пропою про это!

Уралко прокашлялся и слабым дребезжащим голосом пропел:

Судил тут граф Панин нашего Пугачева:
«Скажи, скажи, Пугаченька, Емельян Иванович,
Много ли перевешал князей и бояр?» —
«Перевешал вашей братии семьсот семи тысяч.
Спасибо тебе, Панин, что ты не попался:
Я бы чину-то прибавил, спину-то поправил,
На твою бы на шею веровинны вожжи,
За твою-то бы услугу повыше подвесил...»

Старик смолк, провел ладошкой по сивой бороде и сказал:

— Вот оно каково было! Думаю я, Ефимушка, по совести, не сгиб наш батюшка Емельян Иванович. Придет еще времечко, возвернется он в наши края и отплатит за наши муки! Народ ноне пошел посмелей да поумней нашего. Только бы искорку бросить на соломку — глядишь, пожар разгорится на всю Расею!

— Да вы потише. Помолчите! — предостерегающе сказала Евдокия. — Демидовские лиходеи услышат — невесть что подумают!

— Это верно, — согласился Ефим и сказал жене: — Дуняша, спроворь нам поесть!

— Садись, давно все готово! — позвала она и покрыла стол чистой скатертью.

— Ну, садись, садись, дедка, поешь с нами! — Мастерко усадил Уралку в красный угол, и хозяйка поставила перед ним горячие щи.

— Хлебайте, работнички! — приветливо предложила она.

— Я-то уж не работничек. Отробился! — печально отозвался дед и взял ложку.

Ели молча, неторопливо. После насыщения мастерко утер бороду, помолился в угол и сказал учтиво старику:

— Ну, мне, добрый человек, на плотину пора. Не обессудь!..

Он без шапки, в синей полинялой рубашке вышел из горницы, оставив дверь распахнутой.

Уралко снова потихоньку перебрался к окну, от сытости вздремнул. Неслышно ступая, молодка ушла под навес, где принялась доить прибрешшую с поля коровенку.

Вечер стал тих и ясен. Солнышко укрылось за лесистые горы, но небеса были озолочены, прозрачны. Дедка внезапно пробудился и, облокотившись, смотрел в оконце. Лицо обдувала прохлада. Старик не видел, но слышал, что творится вокруг. Вот под окном пропела, отходя ко сну, птичка, под навесом частый звонкий дождик бьет в ведро. Пахнет парным молоком. Прошелестел ветер в листьях и умолк. Глубокая тишина водворилась в избушке. Только Миронка чего-то сопит, над чем-то старается, возясь у отцовского верстака.

— Солнышко-то закатилось? — неожиданно спросил мальчишку старик. Голос его прозвучал слабо, умиротворенно.

— Закатилось, дедушка! — отозвался Миронка.

В небесах угасал закат, через улицу поползла густая тень от застывших берез.

— Иди-ка сюда, милоч! — позвал Миронку дед.

Мальчуган подошел к старику. Уралко обнял его и сжимал все крепче и крепче. Миронка испуганно взглянул на старика: что с ним? В эту минуту на горячую щеку ребенка упала стариковская слеза.

— Дедушка, никак ты плачешь? — встревоженно спросил он. — Что с тобой?

— Ничего, милоч. Ничего... Мне хорошо, совсем хорошо! — прошептал старик.

Мимо оконца прошла Евдокия, поставила на скамейку ведро с молоком и поманила буренку в хлев. Ее мягкий, приятный голос уговаривал:

— Иди, иди, буренушка! Иди, иди, наша кормилица. Гляди, травка-то какая мягкая да сочная!

Она ласково звала животное, и голос ее слышался в избушке.

Птичка угомонила на ветке. Закат погас, в небе заблестела первая звездочка. В углах избы стали сгущаться тени.

Рука старика, которая так крепко обнимала Миронку, вдруг обмякла, разжалась и бессильно упала.

— Живите! — еле слышно прошептал старик и поник головой.

— Дедушка! — закричал Миронка. — Очнись, дедушка! — затормошил он его.

Но Уралко упал головой на подоконник и стал недвижим. Мальчуган заглянул в лицо старика. Оно было тихое, ласковое, на губах играла улыбка.

— Мамка! — выбежав из горницы, закричал Миронка. — Мамка, никак дед помер!

Все сделали так, как завещал Уралко: плотинный мастер сам сладил добротную, из пахучего соснового леса домовину; женка его обрядила старика в последний путь. Никто не видел и не знал: в правую горсть Уралки Ефим вложил кусочек руды...

Старые горщики — бородатые кряжистые уральцы — подняли на плечи гроб и понесли на старое тагильское кладбище. Со всех концов завода — с Гальянки, из Ключей и Новоселков — сотни работных людей шли за гробом, и каждый нашел доброе слово, чтобы помянуть старика.

Седенький попик на кладбище пропел литию. Горщики поклонились праху Уралки:

— Прощай, добрый человек! Прощай, наш труженик!

И каждый из них бросил в темную яму по три горсти родной земли...

«Что же ждет меня впереди?» — часто думал Черепанов, и сама жизнь на демидовском заводе давала ответ. Среди крепостных и работных имелось немало талантливых самородков, мысль которых была устремлена на то, чтобы облегчить своими изобретениями подневольный каторжный труд. Увы, Демидовы о другом думали! Человеческий труд для них не имел цены. Вон на Гальянке в покосившейся избушке жил старый слесарь Егор Жепинский. Казалось, его судьба лучше сложилась, чем у Черепанова: слесарь не состоял в крепостных, а работал на заводе по вольному найму; в давние годы изобрел он катальную машину. Она оказалась лучше и выгодней иностранной, Шталмеровой. Старому хозяину Никите

Акинфиевичу выдумка заводского мастера понравилась, и он даже написал в контору Нижнетагильского завода поощрительное письмо, в котором, между прочим, милостиво обещал:

«Ежели он постарается для сортового железа машину привести в хорошее действие, то моею милостью оставлен не будет».

Но вскоре свое обещание Демидов забыл: зачем ему была машина, когда прокатку быстро оставили и железо шло на продажу прямо из-под молотов? Так заводчику было выгоднее.

Егор не успокоился на этом. Его пытливый ум беспрестанно работал все в том же направлении. Вскоре он изобрел новую машину — для резания железа. Приказчик Селезень отписал об этом со всеми подробностями владельцу в Санкт-Петербург. Никита Акинфиевич велел подсчитать расходы и нашел, что труд рабочих дешевле. По его велению санкт-петербургская контора отписала в Тагил: «Постройка оной будет коштвата^[20], для чего оную не делать!»

В долгие зимние вечера, сидя у камелька, седой и немощный Жепинский обо всем рассказал плотинному, а у самого по щекам катились бессильные слезы. Ефима тянуло в заброшенную хибарку, к одинокому мастеру. Оба они мечтали и раздумывали о том, как им облегчить человеческий труд.

— Как дальше жить, когда душа угомониться не может, а руки тянутся к замысловатостям? — глядя слепнувшими глазами на раскаленные угольки, жаловался слесарь. — Поглядишь кругом, люди надрываются в тяжком труде. Не щадят тут ни больных, ни стариков, ни слабых ребяток, ни женок — до последнего часа иные носят тяжести, а сами вот-вот родить должны... А что делать, когда думка бродит, ищет своего пути-дорожки, просится в жизнь. И вот пришлось на забавы пуститься. Им, хозяевам, это потешно! — Егор тяжело опустил голову с густыми седыми волосами, подстриженными по-кержацки, и замолчал.

— И я вот своему барину Свистунову ладил заводных лошадок! — угрюмо признался Ефим. — Игрушки! Потеха на час!

— Вот-вот! — оживился слесарь. — Именно, на час потеха! Покойничек наш Никита Акинфиевич страсть любил диковинки! Сделал я ему часы с особым звоном и чтобы месяц и день показывали; отписали об этом в столицу. Демидов живо отозвался, запросил о цене. Ну, думаю, была не была, давай двести рублей и бери выдумку! А сам

себе прикидываю: жаден барин, не раскошелится на такие деньжищи! Ан нет! Отвалил все двести и повелел часы срочно со всей бережливостью по санному пути доставить в Санкт-Петербург. Вот и суди, братец: за машины для завода и гроша ломаного не дали, а за потеху для барской души — сполна двести! Ну и ну!..

Жепинский тяжело вздохнул и показал свои большие жилистые руки с твердыми желтыми ногтями.

«И как только он такими руками робил дивные тонкости!» — с удивлением подумал Черепанов и невольно взглянул на свои ладони. И они были покрыты толстыми застарелыми мозолями. Егор понял его мысли и усмехнулся.

— Известно, — сказал он мягко, — рабочие руки корявы и не гнутся! Но вот диво, этими перстами они чудеса вытворяют! Так вот, после того как я угодил Никите Акинфиевичу, вижу, нет мне счастья по настоящей дороге идти, и взялся я за курьезы. Шестнадцать лет робил я музыкальные дрожки. Вышли на диво! Бегут они, — механизмы версты, сажени отсчитывают, а органчик пиесы играет. Диво-дивное! А только кому это нужно? По оврагам, да проселкам, да по рытвинам, да по корневищам в лесу не наездишь! Барин купил мои дрожки и увез в Петербург. Катается ли Демидов по столице, не знаю. Может, день-два потешил диковинкой столичных господ, вот и все. Видишь, куда идет наше умельство, наша выдумка!

— Выходит, не на радость человеку талант дан? — пытливо посмотрел Черепанов на слесаря.

— Не на радость! — согласился Жепинский. Прищурился глазами на угольки, он задумался. Лицо его постепенно потеплело, сошла с него угрюмость. В глазах старика появился блеск.

— Знаешь, Ефим, что я думаю? — неожиданно сказал он. — Будет время, когда каждый талант человека возвысит его и людей порадует; только мы с тобой не доживем до этого!

Старый, сутулый, он просиял от своей мечты. В избе было убого: тесовый стол да скамья, полати да верстак с железным хламом. В трубе и за окном завывал ветер, мела метелица. Только и радости, что огонек в камельке.

«Силен дух у человека, а счастья ему нет!» — подумал Ефим и распростился с хозяином...

Плотинный шел по завьюженной улице, ветер бросал в лицо горсти колючего снега, бесновался, забирался в полушубок. Во всем поселке — мрак. Намаявшись за день, люди рано отходили ко сну.

«Так и живем во тьме да в нужде! — с тоской думал Ефим. — Хочется верить в счастье, да когда оно дастся в руки? Вот всю свою жизнь проработал Егор, весь век свой думал о пользе человечеству, а что сотворил: часы да дрожки с органчиком. Вот и все!..»

И тут на память пришли другие мятущиеся души: вот механик Козопасов, вот Артамонов — крепостной мастер, Ушков. Каждый в своем роде!

Хилый, тощекородый Козопасов никак не мог применить своего умения и с тоски запил. От запоя он занедужил. Начнет говорить, частит, захлебывается, боится, что не выслушают его заветную думку, не поймут его. И Артамонов «зашибает», а золотые руки у него!

— Лютая жизнь! — вслух вымолвил Черепанов, и ветер мгновенно погасил его голос...

...Любил Артамонов красивую девку Анку, с черными глазами, веселую, смешливую. Запляшет — все кругом радуются. На такую девку многие заглядывались... На беду Анка понравилась демидовскому приказчику. Он не тянул дело, позвал отца Анки, кузнеца Акима, и говорит ему: «Ну, братец, пришел твой черед, гони дочку мои горницы убирать!» Известно, что за уборка предстоит. Залилась девка слезами и в ноги отцу: «Не дамся! Руки на себя наложу, а к корявому ироду не пойду!»

Об этом узнал слесарь Артамонов, человек известный. Добрался он до Любимова и поклонился: «Выслушай меня, Александр Акинфиевич; мое счастье в твоих руках! Анка и я — оба крепостные. Отдай девку за меня, а в ответ придумаю тебе диковинку!» Управляющий заинтересовался и согласился.

Долго мастерил в тайне от всех Артамонов и придумал двухколесный самокат; покатил на нем с Урала прямо в Москву. В той поре скончался царь Павел Петрович и на престол вступил Александр Павлович. В Белокаменной предстоял день коронации, и тагильский слесарь прикатил в первопрестольную прямо к торжественному дню. С разрешения властей, чтобы порадовать царя, он проехал мимо возвышения, на котором стоял Александр Павлович. Царь удивился выдумке простого мастерового, выслушал его и повелел дать вольную.

Вернулся Артамонов обратно на завод. Верно, Любимов сдержал свое слово, сберег девку. Но что получилось: Анка крепостная, а муж ее вольный. И жизнь стала еще тяжелей. К тому же самокатом все и кончилось, так как негде было приложить рук умному слесарю. Загрустил он.

Вот и Ушков — крепостной, а богач, — вся рудная конница его. Все коноганы в его руке. Жилист, скуповат, недолюбливает Ефима, а умен по водяной части. Глянет — и сразу скажет, куда подастся вода и сколько будет ее в весну и в осень... Черепанов не раз выслушивал его советы по плотинному делу...

«Вот и ходим во тьме! — раздумывал Ефим. — Сколько людей носит в себе свет, но гасят его заводчики! Как же выбраться из этого проклятого мрака?» — напряженно отыскивал выход мастер.

А ветер выл, рвался, поднимая тучи снега; глухо роптал лес на горах. И ночь лежала над Тагилом темная-претемная...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Нижнем Тагиле отстроился кабак, лавки, магазины. Демидовская контора в долг отпускала рабочим мясо, хлеб, крупу, деготь, рукавицы, грубую ткань. При выдаче заработка управитель удерживал долги.

В субботу к заводской конторе сошлись рабочие, жены их, и Любимов вел с ними расчет. Спесивый, тяжелой походкой вошел он в расчетную, взобрался на табурет и зажег лампаду перед потемневшей и облупившейся от времени иконой Спаса Нерукотворного. Поддерживаемый под руки понытчиками, он слез, опустился на колени перед образом и с умилением стал молиться:

— Господи, пошли меж нами мир и согласие! Иисусе Христе, подай нам!

Позади толпились чающие расплаты; истомленные бородатые рабочие и жены с испитыми лицами. Управитель обернулся и строго прикрикнул на них:

— Становитесь, христиане, господу богу помолимся и приступим к святой получке!

Все покорно стали в ряд и молились вместе с управителем. Вперив большие, навывкате глаза в тусклый лик Спаса, Любимов со слезой молил:

— И прости прегрешения наши вольные и невольные...

Помолившись, он утер вспотевший лоб и неторопливо сел за конторку:

— Ну, подходи, народ крещеный, получай за труды праведные пятаки, алтыны да копеечки! Эй, Сидор, бери свое! Рукавицы брал? Хлеб получал? Постное масло выдавали? Два рубля должен! Так, так! Ишь ты, ни полушки не приходится. Не обессудь, брат, можешь идти! Степан, где ты? — обратился он к рудокопу. — Подходи сюда! Э, ты, братец, рукавицы брал, гляди и полушубок сдогадался прихватить. Так, так... Ха-ха, тебе братец, приходится целковый! Ишь ты, целковый! — усмехнулся в бороду управитель.

— Помилуй, Александр Акинфиевич, да я полушубка вовсе не брал! — взмолился Степан.

— Как не брал? — багровея, вскрикнул Любимов. — А это что? Книга живота и смерти! — Он сердито застучал костяшками пальцев по толстой шнуровой книге. — В ней записано: брал Степан Андронов полушубок, а раз записано, выходит так, а не иначе. Уходи, уходи, братец! Не брал? Ишь ты! Знаю я вас. Получил рубль целковый, ну и ступай с богом! Захарка, ты тут? Подходи!

К заводской конторке подошел весь перемазанный рудой, с тяжелыми корявыми руками коногон. Управитель внимательно посмотрел на его обветренное лицо.

— Это ты, Захарка? В кабаке три штофа зелена вина брал? Брал! Скащиваю с тебя...

— Александр Акинфиевич, да побойся ты бога. В кабаке я и не был, не до того: семье еле-еле на хлеб хватает...

— Не перебивай, суетная душа. Я-то бога боюсь и чту! Что у меня, креста на шее нет? Зря в грех вводишь! — гневно закричал Любимов. — Повытчик, погляди, что тут записано?

Конторщик сломя голову бросился на зов управителя и изумленно заглянул в книгу.

— Верно! Так и записано: за коногоном Захаркой три штофа! — угодливо подтвердил он.

— Ну вот видишь! — удовлетворенно вздохнул Любимов и насупился. — Проваливай, червивая душа! Андрейка, сюда!

Подошел коренастый мужичонка-рудокопщик со взъерошенной бородой. Глаза управителя смеялись.

— Ты гляди, сколько заработал. Три рубля приходится, а ну-ка, вихрь тебя заberi, получай рубль. Все равно пропьешь. Давай не давай тебе, одинаков будешь! На что тебе три целковых? Непременно сопьешься. Нет, я не такой человек, чтобы не порадеть о твоей душе, два рубля отложим на черный день... Получил? Ну, иди, иди с богом, нечего болтаться перед глазами.

— Родной мой, да за что обидел? — не отступал от конторки рудокопщик. — Отдай мне мое, женке с ребятами надо!

— Ну вот еще чего вздумал! — ухмыльнулся управитель. — Авось твоя женка и ребятенки с голоду не подохнут. Господь бог не оставит их своей милостью. Иди! Эй ты, Иван! — крикнул он повытчику. — Налей-ка Андрейке «петушок» водки, пусть помнит

доброго хозяина. Ну, иди, иди, алчные глаза, там и опрокинешь стакашек зелена вина...

В час-два разобрался Александр Акинфиевич со всеми работными и, закрыв железный сундук, снова стал перед образом и помолился:

— Благодарю тебя, господи, что не оставил без милости твоей. Хлеб наш насущный даждь нам днесь...

Сотворив молитву, он надел шляпу и ушел из конторы вполне удовлетворенный собой.

Управитель старался не замечать недовольства рабочих.

«Что ж, — рассуждал он, — человек вечно недоволен. Дай много — захочет большего! Жаден! Вот и смирись на малом!»

Он упорно соблюдал строгости на заводе. Правда, держался он всегда ласково, льстиво, не грубил, но и приветливое слово в его устах звучало предостерегающе.

— Распусти вожжи — тогда, как обезумевшие кони, разнесут! — говорил он повытчикам. — Народ любит, чтобы его в узде держали.

Но как ни старался Любимов уйти от неприятностей, они следом за ним ходили. После того как триста жалобщиков из Нижнего Тагила добились относительной свободы — стали государственными крестьянами, на заводе участились попытки «отыскания вольности».

Среди тагильских крепостных значился Климентий Константинович Ушков, весьма зажиточный человек; на заводе он сам не работал, а платил Демидову оброк. Вся конница, которая возила руду от горы Высокой, принадлежала Ушкову, и волей-неволей с ним приходилось считаться. Второй из той же породы — Ведерников. Договорились они вдвоем подать прошение на высочайшее имя о восстановлении их в свободном состоянии. Оба считали, что Демидовы незаконно зачислили их в крепостные.

По санному пути в феврале 1812 года верные ушковские люди повезли эту челобитную в Санкт-Петербург.

Вспылил Демидов. Ушкову и Ведерникову грозила барская расправа. Но в эту пору в стране произошли грозные события: в июне 1812 года французская армия перешла пограничную реку Неман и вторглась в пределы России...

В августе 1812 года Николай Никитич вызвал Черепанова в Москву. Ефим впервые попал в Белокаменную. Подъезжая к ней, он долго любовался сверканием на утреннем солнышке золотых глав церковей и колоколен. Москва пробуждалась от сна, умытая холодной росой, свежая, просторная. У плотинного учащенно забилось сердце. Он снял шапку, слез с тележки и пошел рядом с возком, разглядывая Кремль, соборы и дворцы. Сверкала зеленая черепица, глазурь, позолота — все играло, переливалось на фоне голубого ясного неба. Тихо падали первые желтые листья на бульварах. В распахнутых дверях встречных часовенок трепетно мелькали огоньки свечей, и ранние богомольцы — старушки и нищие — толпились на паперти. Вправо мелькнула Москва-река, над гладью вод высились зубчатые высокие стены с башнями, высоко вознесшими свои зеленые конусные шапки. Сиреневая дымка таяла под солнцем, которое поднялось над Красной площадью. Каждый камень, каждый шаг по древней русской земле волновал душу Черепанова.

«Москва, Москва — сердце России, надежда наша!» — с благоговением думал он.

На улицах и площадях отмечалось большое движение. По рассказам, Белокаменная славилась широкой, раздольной жизнью, — ничто здесь не возмущало покоя людей, но сейчас Ефим подметил другое: тревогу и беспокойство на лицах встречных. На перекрестках толпились купцы, мещане, бабы и слушали чтеца, который оглашал им что-то с бумажного лоскутка. Такие же толпы он увидел и у калачной избы и у блинной, — и там читались листки.

— Эй, ваше степенство, что это объявляют? — окликнул он купца.

Дородный, бородатый гильдеец махнул рукой:

— Иди-ка, братец, сам послушай! То ростопчинские афиши оглашают!

Ефим пробрался поближе к толпе. Стоя на поленнице, чей-то дворовый, бойкий грамотей, отчетливо читал листок. Слова у него выговаривались крепкие, ядреные, словно каменные катыши.

«Братцы, вооружайтесь чем попало! — оповещала афиша. — Особливо вилами, которые против французов тем более способны, что они не тяжелее снопа!»

Черепанов не шелохнулся. Каждое слово оповещения жгло ему грудь.

«Неужто в Москву заявятся неприятели? Ядер и пушек у нас, что ли, нехватка, что за вилы берутся!» — в раздумье разглядывал он чтеца. Грамотей был в сером кафтане, стрижен под кружок, глаза жгучие.

— Как тараканов, поморим! — бойко выкрикнул лохматый мужичонка и весело оглянулся на Ефима. — Видал, что деется?

Одет он был скудно: зипунишко латаный, сапожонки стоптаны. Несмотря на эту нищету, держался бойко, с задором. Вскинув рыженькую бороденку, он крикнул:

— А ну, читай дальше!

Ефим выбрался из толпы, сел в тележку и неторопливо покати́л дальше, к Басманным, где разместилось демидовское поместье. Навстречу ему потянулся поезд из многих подвод, груженных тяжелыми коваными сундуками. Кладь оберегали усатые солдаты при двух сержантах.

«Казну, знать, вывозят!» — подумал Черепанов, и внимание его привлекли шедшие в рядах, в серых суконных кафтанах и с крестами на шапках, бородатые ополченцы. Они, не унывая, горланили песню:

Мы за Расею-мать пойдем,
Бонапартам побьем,
Бонапартам побьем
И привольно заживем!

Уралец снял перед ними шапку и безмолвно проехал мимо. «Помоги вам бог!» — мысленно пожелал он удачи ратникам. К полудню он въехал во двор хозяина. Среди дворни шла суэта: укладывали в ящики демидовское добро, заколачивали их пахучим тесом. За экипажным сараем кучера рыли глубокую яму, в которую собирались спрятать от врага ценности.

Старик дворецкий опечаленно сказал Ефиму:

— Эх, милый, дожили мы до ненастных дней. Идет гроза с громом и молоньей. Как и устоим?

— Надо устоять! — твердо ответил тагильский мастерко. — Мы, русские, дедушка, не такие напасти видели и перенесли! Как дубы, выстоим!

— Вот спасибочко за утеху! — Дворецкий снизил голос и сокрушенно поделился: — Золото и камни-самоцветы из матушки Москвы повезли. Вот и мы со скарбом наутро из дома тронемся. Кто знает, доведется ли когда-нибудь увидеть родные стены Белокаменной?

Старик невольно смахнул слезу.

— Николай Никитич давно поджидает тебя. Иди! — заторопил он вдруг уральца.

Ефим сдал коня и тележку конюхам, умылся, выбил от пыли кафтан и направился в господские покои. Демидов был неузнаваем: одетый в щегольской военный мундир, он словно помолодел, вырос, движения его стали энергичнее. Встретив недоуменный взгляд Ефима, хозяин горделиво сказал:

— Выставляю свой ополченский полк! Коштовато обойдется, но надо отечество оборонять! Видно, придется нам, Ефим Алексеич, хлебнуть горя! — Он встал и, звякая шпорами, прошелся по комнате. Ровным, спокойным голосом он продолжал: — Выпала нам и печаль и радость. Враг идет сюда, может и на Тулу повернет — то великая скорбь: надо спасать наши заводы. И вот господу угодно стало, чтобы в эти дни пребывающая во Флоренции супруга наша Елизавета Александровна родила нам второго сына, которого мы нарекли Анатолием. Это безмерная радость нам!

Тагилец неловко поклонился:

— Поздравляю вас с наследником, господин!

— Спасибо! — весело отозвался Демидов. — А вызвал я тебя, Ефим Алексеич, для Тулы. Великий знаток ты машин и заводов, наказываю тебе ехать туда и вывезти наше оружейное дело. Пока же день-два тут пособи: враг близок, а мне надо ратников вести из Москвы. Я тут отлучусь на чуток, а ты обожди меня. Понял?

— Ясно, господин. Постараюсь.

— Ну, ступай и делай свое, коли ясно! — Он слегка наклонил голову и погрузился в свои думы.

Вечером за окном послышался глухой стук конских подков о настил двора — Демидов на вороном иноходце отбыл по своему делу.

Никто из дворни не знал, куда со своими ополченцами направится барин.

В сумерки со двора следом потянулся обоз с домашней кладью. В старом обширном доме с гулкими залами остались дворецкий и несколько престарелых слуг.

Спустилась мягкая, тихая ночь. Дворовые не расходились и, сидя на крылечке, обсуждали вести с Бородинского поля. Никто из них все еще не верил, что французы осмелятся войти в Москву. Черепанов забрался в горенку и распахнул окно. Город притих во тьме, отошел ко сну. На западе, над Поклонной горой, краснело зарево — горели бивуачные огни, и это наполняло душу тревогой. Долго не мог уснуть Ефим, ворочался, прислушивался к осторожному говорку дворовых.

— Минутка для отчизны тяжелая, а только не для всякого, — жаловался молодой голос дворового. — Кому горе, а купцам — прибыли море!

— Ты, парень, не ропщи! — строго перебил старый дворецкий. — Так самим богом положено, чтобы купец обирал. На то он и аршинник!

— Вестимо, обирали, а ноне просто разбойники! Где это видано — на беде народной жиреть? Ранее в лавках купеческих сабля и шпага продавались по шести рублей, а то и дешевле, а сейчас за них по тридцать и сорок целковых ломают. Тульские пистолеты с хозяйских заводов коштывали семь-восемь рублей пара, а теперь не получить и за тридцать. Бессовестные, грабят народ в этакое-то время!

— Глаза у иродов бесстыжие, салом заплыли! — сердито вымолвил дворецкий. — Великое испытание идет на русскую землю, а что творят!

— Да и господа помещики не лучше аршинников, в нашем брате мужике только одну подлость видят! — с возмущением продолжал молодой дворовый. — Намедни крепостной человек барина Бельского явился в присутствие для ратников и просил записать его в ополчение. Что думаешь, как рассудил начальник? «Ты, говорит, подлого состояния раб и не можешь иметь благородное патриотическое чувство!» После того он был отослан за «побег» к городничему для расправы.

— Скажи как! — с горечью выкрикнул старик и замолчал.

Тишина длилась долго. Черепанова стал обуревать сон. И вдруг снова заговорил молодой.

— А как думаешь, батюшка, после войны крестьяне волю получают?

— Типун тебе на язык. Молчи! — глухо перебил дворецкий. — За бунтовские речи не сносить тебе башки, Сашка! Видел я своими очами, как на Болоте Пугачу голову рубили. Страшенной. Молод да зелен ты! — упрекнул старик. — Эх, господи, какая темная туча ползет на Русь, а народу надо выстоять...

Послышались чьи-то шаги, и дворовые замолчали. Наступил глухой невозмутимый покой, и Ефим устало смежил глаза.

Проснулся мастерко от резких петушиных криков, будивших Москву. Он с наслаждением прислушался к мощным звукам, от которых, казалось, дрожала каждая частица воздуха. Когда в демидовском птичнике на секунду замолкали горластые запевалы, волна петушиного ликования катилась все дальше и дальше, до самых отдаленных застав, постепенно замирая, а затем, снова вспыхивая, возвращалась назад, нарастая и звеня серебристыми всплесками, залетающими в горницу. Это обычное петушиное пение вносило покой, напоминая о хорошей, устоявшейся мирной жизни. Большая тягота слетела с души. Ефим встрепенулся, приободрился.

Он проворно оделся и, чтобы понапрасну не будить дворню, тихохонько ушел со двора. Перед отъездом в Тулу он хотел осмотреть город.

Только что взошло солнце, на травах блестела крупная холодная роса, под ногами шуршал первый палый лист, а в городе стыла тревожная, жуткая тишина. Ефим вышел из дому на ранней заре и долго стоял у Драгомиловской заставы. Мимо двигались обозы, артиллерия, потянулась пехота. Солдаты шагали молчаливо, угрюмо. На улицах и площадях толпился народ. Жители безмолвно смотрели на полки. Лишь изредка раздавался женский плач или с обидой брошенный выкрик:

— Это что же, братцы, не отразили врага!

Мучительная боль звучала в этих словах. Солдаты проходили, опустив головы: им самим нелегко было покидать Москву.

Черепанов скинул шапку, взволнованно глядел на обветренные солдатские лица, а по щекам катились слезы. Мастеровой мужичонка в

серой сермяжке, обиженно моргая глазами, взглянул на Ефима:

— Горе-то какое! Гляди, и тебя слеза прошибла...

Войска проходили, город пустел, и на сердце становилось невыносимо тяжело. Уходило все лучшее, радостное, и гнетущая тишина томила, как перед страшной грозой.

Часу в восьмом у заставы показалась группа всадников. Впереди на карем коне ехал спокойный, величавый старик в линиялом мундире и в бескозырке с красным околышем.

— Глядите, батюшка Михаил Илларионович Кутузов! — пронеслось по толпе.

Мастеровой мужичонка скинул шапку, слезы набежали ему на глаза.

— Оставляем Москву! — с дрожью в голосе выкрикнул он. — Так неужто француз всю Расею прошагает! Эх-х! — укоряюще взмахнул он рукой.

Фельдмаршал встрепенулся, поднял глаза на мастерового. Лицо Кутузова было строго. Окинув взглядом толпившийся народ, он сказал крепким, молодым голосом:

— Не будет этого! Головой ручаюсь, что неприятель погибнет в Москве!

Позванивая удилами, конь медленно прошел мимо. Люди волной всколыхнулись следом. Михаил Илларионович оглянулся, народ затих, понял, что любопытство не к месту.

— Кто из вас хорошо знает Москву? — спросил Кутузов.

Мастеровой оказался рядом.

— Куда, батюшка, прикажешь провести? — с готовностью осведомился он, и глаза его с мольбой уставились на главнокомандующего.

Ефим протиснулся поближе и взволнованно разглядывал фельдмаршала. На круглом загорелом лице его играл старческий румянец. Один глаз был полузакрыт, другой приветливо рассматривал мужичонку. Движения Кутузова и выражение его лица выдавали страшную усталость. И она была не столько физическая, сколько душевная. Уралец понял, чутьем догадался, как трудно сейчас полководцу. Может быть, ему всех больше покидать Москву? Ефиму глубокой русской жалостью стало жаль Кутузова. Скажи Ефиму сейчас: бросайся в огонь, — и Черепанов, не раздумывая, бросился бы.

Огромное, чистое чувство любви к отчизне сроднило полководца с народом. Каждой кровинкой Ефим ощущал эту близость. Он не мог устоять перед соблазном и, рядом с мужичонкой, пустился впереди Кутузова.

Они провели его по бульварам и пустынным улицам до Яузского моста. Кругом все было на запоре, глухо, нигде ни души. Ефим поглядывал на фельдмаршала, который, задумчиво опустив голову, ехал впереди свиты.

У Яузского моста — крикливая, многоголосая людская запряда: полки перемешались с обозами, с экипажами, с толпами уходящих из Москвы жителей. Теснота, окрики, брань не остановили мужичонку. Он прикрикнул:

— Разойдись! Не видишь, кто!

Народ потеснился, в сторону сдвинули обозы, и среди людского потока Кутузов проехал дальше. Давно не нужен был проводник, но он и Черепанов все еще шли за фельдмаршалом до Коломенской заставы. На всем пути с каждым шагом возрастало оживление; жители покидали родные дома: шли пешком, вывозили скарб, плакали женщины и дети. Москва на глазах пустела. Неподалеку от заставы к главнокомандующему подъехал граф Ростопчин, — все знали его. Он что-то говорил Кутузову, но тот молча продолжал движение вперед. У заставы, близ старообрядческого кладбища, Михаил Илларионович сошел с лошади и уселся в дрожки, повернутые к Москве.

Мужичонка схватил Ефима за руку, крепко пожал:

— Гляди, братец, вот он какой!

Между тем Кутузов не торопился уезжать. Притихший, задумчивый, он долго пристально смотрел на покидаемую Москву. На ярком солнце блестели маковки соборов, от заставы доходил глухой шум, похожий на рокот моря. В клубах пыли двигались толпы народа, обозы и стройно, молчаливо проходили последние полки. Никто не знал, как тяжело было в эти минуты на душе полководца. Он вспоминал военный совет, который вчера вечером состоялся в Филях. Сколь разнообразные мнения высказывали старшие командиры! Особенно высокопарно говорил Беннигсен, который настаивал во что бы то ни стало дать решающее сражение под Москвой. Опустив седую голову, полузакрыв глаза, Михаил Илларионович молча слушал бесстрастную речь барона и горячие споры, которые вспыхнули после

нее. В них звучали и горечь, и боль, и дерзость. Перед этим Кутузов тщательно изучал кроки, на которых было нанесено предполагаемое поле битвы под Москвой. Позиции выбирали барон Беннигсен и полковник Толь. Михаил Илларионович ясно представил себе, какие события могут разыгаться в этих местах и как губительно они отразятся на ходе всей военной кампании.

«Нет, это не Бородинское поле! — с горечью думал он сейчас. — Здесь нет места и глубины, для маневрирования резервами. Всякий маневр из глубины позиции резко ограничен и стеснен на правом фланге, а с тыла крутым обрывом и рекой Москвой».

Выступая с речью, барон Беннигсен изредка поглядывал на главнокомандующего, и тот казался ему немощным стариком.

Однако барон жестоко ошибался: Кутузов думал о будущем стратегическом маневре, но твердо решил молчать о нем. Когда все выговорились, Михаил Илларионович встал во весь рост, подошел к столу, за которым разместились генералы, и сказал решительно:

— С потерей Москвы не потеряна еще Россия. Первой обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения отечества. Приказываю отступить!

...Сейчас, сидя в дрожках, он с грустью сердечной смотрел на сияющий великий русский город и шептал:

«Москва! Москва! Любовь к тебе не угаснет никогда. Армия и народ вызволят тебя! Прости нам недолгую разлуку!» Он вскинул голову, снял бескозырку с красным околышем, истово перекрестился.

— Выстоим, матушка, и тебя выручим! — сказал он громко и приказал везти себя дальше.

Ефим переглянулся с мастеровым:

— Ну, брат, мне надо обратно!

— И мне! Видать, другого пути нет! — отозвался мужичонка. — Наказано господами беречь их дома. Вертаться надо, а поверишь ли, кипит все тут! Не стерплю злодеев на родной земле! Эвон, гляди, сколько горя разлилось! Идут, все идут, кажись и конца не будет. В своих слезах захлебнутся бабы! Вон ребятенки! Эх, горькие вы мои, горькие!..

По дороге все двигались, торопились согбенные старики, женщины с узлами на плечах; ухватившись за их подола, семенили ребятишки...

Черепанов вернулся в город. Расставаясь с мужичонкой, он спросил:

— Как звать, друг?

— Никита Ворчунок! — простодушно отозвался тот. — Доброго здравия, — поклонился он и зашагал прочь.

В городе все лавки и магазины были заперты на тяжелые железные запоры, многие наглухо заколочены, дома опустели, безмолвны. Гулко отдавался каждый шаг. В эту пору обычно в Москве благовестили к обедне, но сегодня ни один звук не пронесся в ясном небе. Тяжелое, гнетущее безмолвие повисло над древним русским городом. Отяжелевшей походкой Ефим приближался к дому, а беспокойная мысль сверлила мозг: «Что же делать? Уходить из Москвы? Но сказано: ждать хозяина... Да теперь разве появится Николай Никитич, раз так обернулось дело?» Он порывался уйти, но чувство долга удерживало его. С волнением он вошел в демидовский двор. Половина дворни ушла, остались ветхие старики. Все умолкли, с беспокойством прислушиваясь к затихшей Москве.

В это самое утро 14 сентября Наполеон подъехал к Москве. В сопровождении блестящей свиты он остановился на Поклонной горе. Отсюда открывался сказочный вид на русскую столицу. Наполеон долго восхищенными глазами разглядывал сияющие золотые маковки церквей, кремлевские башни, раскинувшийся перед ним огромный красочный город, озаренный солнечным сиянием. Молодые офицеры наполеоновской свиты не смогли сдержать своего восторга. Они захлопали в ладоши и, задыхаясь от радости, закричали: «Москва! Москва!»

Наполеон самодовольно улыбнулся. Наконец-то у его ног лежала поверженная древняя русская столица! Взор его перебежал на большую дорогу, подле которой расположились войска. Старые ветераны его походов оживленно жестикулировали, лица их преобразились. Многие обнимались, и отовсюду доносились возбужденные голоса:

— Вот и Москва! Наконец-то Москва!

«Однако почему русские не торопятся встретить меня?» — обеспокоенно подумал Наполеон, и скрытая тревога закралась в его душу. Только сейчас он обратил внимание на тишину и безмолвие, которые не предвещали ничего хорошего. Не слышалось обычного городского шума, ни одной струйки дыма не поднималось из многочисленных труб. Казалось, какой-то волшебник в одно мгновение усыпил этот великий город, поразили его немотой и неподвижностью. Перед Наполеоном лежал безмолвный призрак пустыни.

Резким движением Наполеон забросил за спину руки и нервно заходил по возвышенности. Он привык к установленному ритуалу. Еще в средние века, когда победитель занимал город или крепость, навстречу ему выходили самые уважаемые жители и почтительно вручали ключи от городских ворот. Наполеон покорил половину Европы, и везде строго соблюдали эту традицию. Ему нравилась эта пышная церемония, когда обычно выходили седобородые старики в дорогих одеждах, неся на серебряном блюде огромные ржавые ключи, которые по сути дела давно хранились только как реликвия. Почтенные делегаты города становились на колени и униженно подносили ключи — символ безоговорочной сдачи на милость победителя.

Волнение с каждой минутой все более и более овладевало Наполеоном. «Почему не идут с поклоном и ключами от ворот Москвы русские бояре?» Он сердито крутил в руке перчатки и думал: «Я вырву им седые бороды за эту бестактность!»

Увы, бояре перевелись на Руси! Да и никто не собирался к нему с поклоном. Прождав более часа, Наполеон понял, что никакой депутации из Москвы не будет. Чувствуя, что дальнейшее промедление его на Поклонной горе вызовет недоумение в свите, он махнул рукой:

— Вперед, в Москву!..

Вражеские полки вступили в опустевшую столицу.

В эту минуту тяжелого ожидания беды в калитку демидовского поместья вбежал старый дворецкий; лицо его побледнело, на глазах туманились слезы. Задышавшись от быстрого бега, он сообщил:

— Идут, идут, батюшка Ефим Алексеевич! Саранчой ползут. Тьма-тьмущая, все улицы и проулки забиты французами. Как бы, на грех, сюда к нам вскорости не пожаловали!

Нежданно-негаданно беда настигла тагильца. Черепанов потемнел, бросился в конюшню. Дворецкий выбежал за ним следом.

— Теперь уж не уедешь, родимый! — сказал он с печалью и посоветовал: — Кидай коня и тележку, пробирайся пехом! В суматохе да в толчее, может, и проскочишь к заставе, а там, даст бог, добрые люди выведут из беды!

Не раздумывая, Ефим поспешил со двора, переулками и глухими задворками заторопился к заставе.

На Калужской дороге было пустынно. Город онемел, из ворот на звук шагов выглядывали немощные старики караульщики. Все лавки, герберги, фряжские погреба, харчевни и кабаки закрыты. У покинутого дома, надрывая людям душу, скулила собака. В одном месте слышался разноголосый шум и бранные выкрики, Черепанов еле успел спрятаться за палисадом. Французские солдаты грабили винный погреб: выбивали днища из бочек и черпали хмельное ведрами, тасили штофами и тут же пили. Многие, обнявшись, горланили, пели визгливые песни, а другие бросились в соседние дома и стали ломать мебель, бить окна и грабить все, что попадало под руку.

Вдруг раздался пронзительный крик, от которого по спине Ефима пробежал мороз. Французские мародеры вытолкали из соседнего дома молодую женщину и девочку лет двенадцати. Они изорвали на женщине платье и с насмешками толкали ее на лужайку. Синеглазая девочка упиралась, ее пинками заставляли идти. Тут же под общий солдатский гогот они, как звери, накинулись на беззащитных.

Черепанов дрожал от возмущения: вся кровь в нем ходила ходуном.

«Эх, господи, чему быть, того не миновать, а семи смертям не бывать!» В страшном озлоблении он вырвал из забора добрый смолистый кол и, выскочив внезапно из своей засады, нанес сокрушительный удар по первой подвернувшейся вражьей башке. Откуда только и сила взялась! Разъяренный и сильный, он бесстрашно шел на врагов, круша их направо и налево.

— Держись, супостат! — выкрикнул он и в неистовстве мести хрястнул красномордого насильника по голове так, что тот, не охнув, распластался на земле.

Пьяные грабители что-то заорали в ужасе и бросились врассыпную. Только двое, размахивая палашами, что-то кричали,

видимо призывая на помощь. Пользуясь замешательством, женщина схватила девочку и незаметно укрылась среди строений. Не дремал и Ефим; он легко и проворно перекинул свое сильное тело через глухой забор и очутился среди зарослей малинника. Под ногами шуршал палый лист, над головой синело ясное небо, и все так не походило на свершившееся, что Черепанову казалось: он видит дурной сон. Но явь напоминала о себе на каждом шагу: то здесь, то там раздавались дикие крики, загрохотали пушки. «Неужто по мирным людям палят злодеи?» — с возмущением подумал уралец и осторожно стал пробираться к реке Москве. Он думал перейти ее вброд и скрыться в лабиринте кривых улочек Замоскворечья. «Эх ты, горе-то какое! Не чаял, не гадал — попал в самую кипень!» — подумал он и замер: на ясной лазури неба появились черные витки густого дыма, — захватчики подожгли Москву. «Не успели войти, а уже губят нашу матушку!» — с ненавистью вымолвил он и еще крепче сжал смолистый кол.

Вот рядом, рукой подать, большое белокаменное здание Воспитательного дома, который строил Прокофий Акинфиевич Демидов. Черепанов хорошо знал это величественное здание. «Что же с сиротами теперь?» — в тревоге подумал он. И, словно в ответ на его думку, вдруг раздался громкий и смелый окрик:

— Куда бежишь, добрый человек? Помоги нам!

Перед Черепановым стоял солидный пожилой человек в форменном платье. Заметив удивленный взгляд Ефима, он сказал:

— Я Тутолмин, главный надзиратель Воспитательного дома. Каждый русский человек нам дорог. Французские поджигатели рвутся предать пламени сие сиротское убежище!

Он заторопился по садовой дорожке к главному фасаду, откуда раздавались крики. Толпы разбушевавшихся мародеров поджигали величественное строение. Служители Воспитательного дома с пожарными трубами старались погасить поднимавшееся пламя, готовое охватить стены. Черепанов не ждал больше слов. Оттого, что он не один, что рядом свои, русские, он ободрился и почувствовал в себе силы.

Между тем солнце поднялось высоко, оно сверкало на крестах кремлевских соборов, главах церквей, играло переливами на черепичных крышах башен Китай-города. Но постепенно все стало заволакивать дымом.

— Жгут проклятые! Жгут храмы божий! — закричал седовласый служитель. — Гляди-ка, эвон пламя какое вздымается на Сретенке! — показал он правее Китай-города. — Эй, дьявол, куда лезешь? — крикнул он и бросился на толстого солдата, который с факелом подбирался к сениям.

Потный, перемазанный сажей Черепанов старался изо всех сил. Кругом уже пылали дома, и огонь каждую минуту мог перекинуться на Воспитательный дом. Стоило больших усилий, чтобы погасить очаги пламени, вспыхивавшие все чаще и чаще. Среди суеты Ефим несколько раз встречался с Тутолминым, который с толпой подчиненных появлялся в самых опасных местах и старался то угрозами, то мольбами отогнать поджигателей. Он успевал всюду: и проверить посты, и позаботиться о воде, и заметить вовремя перелетевшую с соседнего пожарища искру. Но больше всего Черепанова поразила беззаветность служителей Воспитательного дома, которые готовы были положить свою жизнь: они бросались в огонь; вооруженные одними дубинками, они готовы были вступить в неравный бой с наглым врагом.

— Ты не удивляйся, милый, — разглядывая Ефима добрыми глазами, сказал сухопарый, с нависшими седыми бровями служитель. — Разве можно допустить, чтобы разорили наше гнездо? Тут-ка, почитай, тысячи сирот, а они, разбойники!..

Старик погрозил кулаком:

— У-у! Был бы молодой, я бы показал им!..

Вдруг на набережной стало тихо, пьяные солдаты, беспорядочно шлявшиеся в расстегнутых мундирах, присмирели. Некоторые из них с мешками под мышками и узлами с награбленным добром на плечах затрусили в переулок. Черепанов глянул вперед и увидел медленно приближающуюся группу конников, на головах которых развевались пышные султаны.

— Гляди-ка, братец! — вскричал в изумлении старый служитель. — Никак сам Наполеон сюда жалуется!

Старик не ошибся в своих догадках. Из ворот вышел Тутолмин и, склонив голову, стал ждать. Был он при шпаге и в мундире.

Блестящая свита поравнялась с воротами Воспитательного дома. В окружении маршалов на тонконогом белом коне ехал Наполеон. Черепанов с любопытством взирал на невиданное зрелище. Наполеон

был коренаст, одет в серый мундир, в треуголке, из-под которой выбилась прядь каштановых волос. Рука у него была заложена за борт мундира, лицо бледно, неподвижно, словно маска. Он ехал, зорко поглядывая по сторонам. Заметив Тутолмина, он спросил приближенных:

— Кто это?

От толпы свитских отделился штаб-офицер, но узнавать не пришлось, так как главный надзиратель Воспитательного дома сам поспешно подошел к свите, учтиво поклонился Наполеону и заговорил на отменно чистом французском языке. Наполеон молча выслушал сообщение Тутолмина, пожал плечами.

— Не может этого быть! — воскликнул он. — Мои солдаты не способны на грабежи и поджоги! — тронул поводьями, и белый конь, осторожно ступая, понес его дальше вдоль набережной.

— Эх, живодер, аль прикидывается, что не видит? — укоризненно покачал головой старый служитель. — Погоди, придет ужотка час, ударит времечко, рассчитаешься за все наши муки! — пригрозил он вслед и, оборотясь к Ефиму, с горькой печалью сказал: — Гляди-ка, пылает наша матушка, а у меня кровью сердце обливается. Москва всем городам город... Это понимать душой надо! От нее началась вся русская земля... Без Москвы как без головы. Попомни мое слово, «отблагодарит» его Русь за нее... Не с таким народом связался...

За кремлевскими соборами погасал закат, когда Черепанов оставил ограду Воспитательного дома и пустился в блуждания: ему хотелось поскорее выбраться из пылающего города, где каждое движение врага терзало его сердце. Выйдя на пустырь, Ефим свернул в сторону, в большой и глухой сад. И только он пробежал сотню шагов, навстречу ему вдруг вышел знакомый мастерко Никита Ворчунок.

— Куда, братец? Стой, стой! — приглушенно окликнул он Черепанова. — Не ходи туда. Сам лезешь в пасть врагам! Идем!

Он строго посмотрел на уральца, с досадой сказал:

— Попали, друг, в беду, как кур во щи! За мной держись! Господи, пронеси!

Мужичонка с опаской оглядывался по сторонам, прислушивался. На этот раз его глаза не искрились задором. Он озабоченно сказал:

— У меня тут есть потайное местечко, переждем до ночи, а там, даст бог, темью и прошмыгнем.

Бесшумно ступая, Ворчунок провел Черепанова в темный подвал барского дома. Мужичонка оказался здесь своим человеком. В тусклом свете фонаря возилось несколько человек. Ворчунок прошептал Ефиму:

— Не бойся, то свои, русские люди!

Он усадил тагильца на пустую бочку, а сам присел к огоньку. Томительно медленно потянулось время. Пламя фитиля потрескивало. Люди молча смотрели на огонек, полудремали. Никто не обратил внимания на Черепанова. Безмолвствовал и Ворчунок.

В глубокой тишине в подzemелье раз за разом докатились три выстрела. Ефим встревоженно взглянул на мужичонку.

— Пустое! — отмахнулся тот. — Случись настоящее, по земле гром загудит. Видать, наши далеко отошли от Москвы-матушки.

Мастерко не знал, что в эту минуту пролилась первая русская кровь на московской земле. В тот час, когда передовые французские войска вступили в Кремль, они встретили неожиданное сопротивление. Полтысячи патриотов, вооруженные оставленным оружием, заняли Никольские ворота и дороги, ведущие к дворцам и кремлевским соборам, решив не допустить врага до русских святынь. Едва король неаполитанский Мюрат в окружении свиты въехал в Кремль, как один из смельчаков пальнул в него из ружья. Второй немедленно набросился на польского офицера, на месте зарубил его и с криком: «Братцы, бей супостатов!» — врезался в толпу врагов, но пал под ударами. В отместку за товарища прогремел залп. Французы смешались, но Мюрат восстановил среди них порядок, приказал выставить пушку и ударить ядрами. Прогремели орудийные выстрелы, и защитники стали отступать, жестоко отбиваясь. И тут один из храбрецов, невзирая на опасность, с топором в руках кинулся к орудию и одним взмахом раздробил череп французскому офицеру. На смельчака набросились артиллеристы, но он изо всех сил отбивался. Французы все же растерзали его, и только тогда Мюрат с осторожностью выехал на Кремлевскую площадь...

Целый день не прекращался поток французских войск, которые по вступлении в Москву, как ручьи, растекались по многочисленным улицам и переулкам, разбегались по квартирам и приступали к грабежу. Вскоре все было пьяно, начальники и солдаты растеряли свои полки и дебоширили.

В сумерках Ефим с Ворчунок выбрались из подземелья на огороды. Над городом вздымалось багровое зарево.

— А пожар все больше! Французишки зажгли со всех сторон! Что теперь будет? — с болью выкрикнул Черепанов.

— Лиходеи! Жгут, грабят, насильничают! Доберется наш Кутузов до них! За все ответят! — сердито отозвался Ворчунок. — Днем сам видел, как грязные, вшивые французишки грабили Гостиный двор. Чего, братец, не тащили! Ящики с чаем, бочонки с сахаром катили, с медом, с вином, мешки с изюмом и орехами волокли, сукна, холсты. Да, видать, жадность обуяла их, не поделили, и пошла драка... Эх, злодеи! Эх, разбойники!..

— Да этак весь город спалят!

Ворчунок призадумался, вздохнул:

— Верно, братец. Выпало нам большое народное горе. Но, может, господь не допустит до того, чтобы всю захватило огнем. Идем, поторопимся, братец! — потащил он за собой тагильца.

Не успели они отойти от укромных мест, как с десятков французов перехватили их. Ефим и не опомнился, — ему связали руки и, подталкивая штыками, погнали вперед.

Ночь опустилась на покинутую Москву, а по земле разлились красные разводья пожаров. В багровом озарении озлобленные конвоиры гнали двух русских на допрос. Ворчунок с ненавистью поглядывал на врагов.

— Испугались, варвары! — злился он. Сбив шапку набекрень, русский озорно смеялся в лицо французам: — Что, самим жарко приходится от своего злодейства? Погоди, еще жарче станет!

Ефим шел молча; ныли скрученные руки, но еще больше ныло сердце. «Неужели конец? Так больше и не увижу ни Евдокиюшки, ни сына, ни уральских заводов? Тяжело! А что я сделал худого? Шел по родному русскому городу, а враги поймали, повязали, как ночного татя^[21], и гонят неизвестно куда!»

Конвоиры привели пленников и загнали в каменный подвал. Высокий тощий француз толкнул Ефима прикладом в спину, и когда тот, спотыкаясь, полетел в полуосвещенный подвал, за ним захлопнулась дубовая окованная дверь, загремел железный запор.

— Ну, вот и прибыли! — с горькой иронией вымолвил Ворчунок. — Хоть бы веревки отпустили, а то руки начисто затекли!

Где ты? — обратился он к Черепанову, который, морщась от боли, поднимался с каменного пола.

От мутного огонька навстречу поднялись бородатые люди.

— Эх, горемыки, и как вас угораздило! — с жалостью сказал широкоплечий мужик.

Черепанов растерянно посмотрел на него и, опустив голову, рассказал про свою неудачу.

— Поди разберись теперь! — опечаленно отозвался кто-то у огонька. — Нас за поджоги будут судить, и вас заодно с нами!

— Господи, да какой же я злодей! — с обидой выкрикнул Черепанов.

— А мы злодеи, что ли? Разве мы поджигали Москву? — громко отозвался кто-то у огонька. Только теперь рассмотрел Ефим, что перед ним сидит поручик с повязанным лбом. Он улыбнулся уральцу и сказал:

— Тут, братец, собрались все честные русские люди. Нет среди нас ни одного прохвоста. А собрала нас вместе горячая любовь к отчизне. Так, что ли, ребята?

— Так. Садись да поговорим напоследок. Гляди, на зорьке подымут и поведут! — сказал бородач.

— Мне не страшна смерть за родную землю! — решительно сказал поручик и, ласково посмотрев на прибывших, предложил: — Что ж, добрые люди, садись к огоньку!

Седой старик потеснился, дал место. Черепанов огляделся; все были свои, русские. Слабый огонек озарял их лица, и ни отчаяния, ни сожаления не прочел на них уралец. Хотя они знали о страшной угрозе, нависшей над ними, никто не падал духом. Старик степенно огладил бороду и, продолжая прерванную беседу, заметил:

— А что, ребятушки, может, это наша последняя ночь; не пришел ли час подумать о содеянных грехах?

— Погоди! — перебил его Ворчунок. — Обожди, дед! Не к спеху, да и какие грехи могут быть у бедного человека! Вот бы руки развязать, а то сердце зашлось!

— Погоди, дядя, дай помогу! — К мастерку придвинулся худенький голубоглазый мальчик. — Дозволь, я зубами узел!

— Постой, погоди! — удивленно разглядывал его Ворчунок. — Да откуда ты взялся? Видно, Напальен малых ребят боится, коли сюда в

темницу бросил.

— Так наши ребята не простые. Знай, сердяга, — это наш, русский отрок! — горделиво сказал старик.

Мальчонка припал зубами к узлу и скоро развязал его.

— Слава тебе господи, перекреститься можно! — вздохнул Ворчунок. — Ну, милоч, давай и тебя ослобоним!

Черепанов облегченно потянулся. Он молчаливо смотрел на огонек и думал свою думу. По всему видно, не выбраться ему из беды. Плотинный присмирел, стиснул зубы.

«Обидно, но старого не вернешь! Вот только бы спокойно встретить страшную мину!» — подумал он.

Как бы в ответ на его мрачную мысль Ворчунок с удалью сказал:

— Послушай, народ: от смерти никуда не уйдешь, рано или поздно она каждого настигнет! А все же попытка не пытка. Сбежать надо! — решительно предложил он.

— Бежать! — Надежда горячей волной обдала Ефима. Он вместе с другими склонился к огоньку и стал обсуждать возможности побега...

Ночь проходила быстро. Каждой минутке хотелось крикнуть: «Стой, не торопись! Так хорошо жить!» В оконце, захваченное железной решеткой, заглянул рассвет. Где-то далеко, на пустырях, среди покинутых домов, неожиданно раздалось предрасветное петушиное пение.

— Вот и утро! — со вздохом вымолвил Ворчунок. — А петька-то, видать, от французов хоть на день да уберется! Слышите, как заливается, певун!

Гасли звезды, петушиный крик смолк, и на смену ему загремел тяжелый запор. Медленно распахнулась дверь, и гнусавый голос французского часового выкрикнул:

— Выход! Выход!

Все не спеша поднялись, размялись и попарно в ногу вышли во двор. Робкие солнечные блики заиграли на золотой маковке звонницы Ивана Великого. Старик взглянул на темные контуры строений, на розовеющее небо и проговорил уверенно:

— Здравствуй, матушка Москва! Здравствуй, родимая! Дай нам силы, чтобы честь не уронить! — Он жадно вдохнул свежий воздух.

Конвойные плотным кольцом окружили пленников и погнали по сонной улице.

Над тихим городом, озаренным восходящим солнцем, тянулись густые синие дымы пожаров, где-то совсем близко потрескивало сухое дерево.

Ворчунок подбодрил Черепанова:

— Ну, друг, не вешай головы, еще не вся песня спета! Видно, на допрос или на суд поведут: Есть еще у нас выигрыш...

Ворчунок угадал. Схваченных русских привели в большой светлый зал; в нем за длинным столом, покрытым зеленым сукном, разместились члены военного суда французской армии.

Пленники вошли молча, с достоинством. Они встали в ряд перед судилищем, охраняемые конвоем.

Председатель суда, генерал Лауэр, низенький толстый француз, с ненавистью посмотрел на русских и что-то прокартавил. К столу немедленно подошел офицер-поляк.

— Шляхта! — выкрикнул Ворчунок. — Аль тебе мало своих холопов, так русской крови захотел!

Офицер схватился за саблю, но под грозным взглядом главного судьи опустил руки и угодливо посмотрел в глаза начальству.

— Это переводчик. Держись, ребята! — прошептал поручик.

Лауэр снова что-то прокартавил. Поляк немедленно перевел:

— Вас обвиняют в поджоге! Понимаете?

— Понятно! — глухо за всех отозвался старик.

— А вот доказательства! — показал глазами на стол переводчик.

Там лежали фитили, ракеты, сера, куски фосфора, пакли. Ворчунок поднял пытливые глаза.

— Этими припасами ваши разбойники Москву подожгли. Эх вы, вояки! — сказал он презрительно.

— Мольшадь! — багровея, закричал на него Лауэр. — Вот ти!..

Свинцовыми глазами он уставился в поручика и что-то залопотал часто-часто. Русский офицер горделиво поднял голову и в ответ с улыбкой громко заговорил по-французски. Ефим не знал, что отвечает он генералу, но по тому, как все гуще багровело лицо главного судьи и как отвратительно затряслась от гнева его опущенная длинная

челюсть, тагилец догадался, что поручик за живое задел генерала. Глаза Ворчунка заблестели восторгом, он переглянулся с Черепановым, и тот понял его настроение.

Между тем поляк заявил:

— Вы есть главный поджигатель. Это вы делали зажигательный прибор?

Русский офицер спокойно посмотрел на судей и сурово ответил:

— Ни я, ни мои товарищи не поджигали российской столицы. Мы защитники отчизны, и прошу обращаться с нами как с воинами.

— Замольшать! Смотри сюда! — Он глазами показал на куски серы, фосфора и фитили. — Что скажешь в свое оправдание?

Поручик отважно ответил:

— Я стою на своей земле и оправдываться перед вами не намерен. И ложь тоже на себя не приму. Ваши солдаты-мародеры подожгли Москву! Вы потеряли самое главное — солдатскую честь!

Глаза переводчика-шляхтича позеленели, но он с брезгливым видом слушал. Офицер продолжал смело, со страстью:

— Я сам видел, как ваши солдаты зажгли Кудринский вдовый дом, где находились наши раненые русские воины. Их было три тысячи человек, и до семисот их сгорело! Это ли воинская доблесть? Ваш Наполеон не укроется от ответа за эти подлости! — с гневом выкрикнул поручик.

— Мольшать! — стукнул вдруг кулаком по столу француз, обнажая гнилые зубы. Он что-то выкрикнул переводчику. Шляхтич отвернулся от пленника, но тот резко и твердо выговорил:

— За свои преступления вы казните честных русских людей!

Делая вид, что не слышит его, переводчик обратился к седовласому деду:

— Но ведь ты поджигал?

— Татем николи не был, а вот сейчас кабы силы хватило, то всех вас, ворогов родной земли, передушил бы и за грех не почел бы, а за доблесть! — строго ответил старик.

Председатель суда свирепо обежал взором пленников. Они стояли, подняв головы, открыто глядя на своих врагов. Ни один из русских не побледнел. Они казались сплавленными из одного куска металла. Каждый из опрошенных отвечал дерзко, смело.

Взгляд Лауэра остановился на мальчугане. Генерал задал вопрос, и шляхтич угодливо перевел:

— Ведь ты вместе с ними был? Ты можешь остаться живым, если скажешь, кто из них главный поджигатель. Если будешь молчать, то тебя ждет смерть!

Подросток встрепенулся, глаза его сверкнули. В эту минуту он был особенно прекрасен. С горящим ненавистью взглядом гневно выкрикнул французу:

— Смерти не страшусь! Тут все честные русские люди! Каины, захотели сделать меня подлецом!

Французский генерал густо покраснел, выслушав переводчика.

— От тебя одно требуют: скажи, коханный мой, они тебя учили так дерзко говорить? — с деланной лаской спросил шляхтич.

— Одному меня учили — любить свою землю! Так этому и матушка наставляла!

Ефим залюбовался юнцом. Он выдвинулся вперед и сказал генералу:

— Ну что к мальцу пристали! Ребенок. Лучше меня казните, а его не трожьте, Ему жить надо!

Поляк немедленно перевел слова уральца. Главный судья спросил через шляхтича:

— Кто ты такой, откуда?

— Я демидовский механик. Позавчера только прибыл сюда и не знаю, за что меня схватили.

Судьи переглянулись. Лауэр поднял перст.

— Демидофф! О, слышаль Демидофф!..

Генерал встал, крикнул конвойным, и те, подталкивая пленников в спины, увели их из зала.

— Приговор сочинят. Заранее, братцы, уже решили! — сказал поручик. — Душа моя радуется за всех, а за Гришеньку особо. Ловко отбрил французишку.

— Инако и быть не могло! — непререкаемо сказал дед. Оборотясь к Черепанову, ободрил его: — Ну что голову повесил? Не мы первые, не мы последние за Русь умирать будем. Таков наш народ: не предаст, не загубит своей души подлой изменой!

Они расселись прямо на полу в пустом, холодном зале, в котором были выбиты стекла. С упругой силой дул ветер и шевелил

оборванными обоями. Ефим пожаловался Ворчунку:

— Родные так и не узнают, что со мной!

— Слов нет, тяжело! Но ты, голубь, крепись! Виду не показывай, что тяжело. И мне, ух, как больно, сердце разрывается, и жить-то хочется, но что ж — так положено! Верю я, милоч, не повергнут нашу Россию. Изгонит она супостата, зацветет земля, и будут знать русские люди, что в этом цветении и наша доля есть! — Он говорил ласково, задушевно, и Черепанову сильно полюбился этот маленький, щуплый, но сильный духом крепостной. С ним и страдать легче.

Вскоре вышел сержант, прокричал конвойным команду, и пленных снова ввели в зал.

Судьи сидели мрачно, как черные нахохлившиеся вороны перед ненастьем. Лауэр брезгливо поджал губы и немерцающим взглядом смотрел на пленников. Переводчик выдвинулся вперед и зачитал приговор.

Десять человек, в том числе Ворчунок, мальчонка и поручик, приговаривались к расстрелу. Ефим Черепанов и старик за недостаточностью улик приговаривались к тюремному заключению. Мастерко приуныл. Грустно взглянул он на товарищей. Ни один из них не склонил головы, не побледнел.

— Попрощаться с друзьями можно? — выкрикнул Ворчунок и, не ожидая разрешения, бросился к Ефиму: — Ну, прости, братец, не поминай лихом. Ну-ну, оставь это! — сердито посмотрел он на тагильца, заметив в его глазах блеснувшую слезу.

Председатель суда махнул рукой, это означало: «Вывести осужденных».

Пленных снова отвели в подвал. Пахнуло затхлой сыростью. Ворчунок оглядел глухие стены, вздохнул:

— Ну, теперь, братцы, скоро. Прости-прощай все! Поисповедоваться надо во грехах!

— Французы священника не пришлют! — хмуро отозвался поручик.

— А мы и без попа такое дело исполним! Бог поймет и примет наше раскаяние во грехах, потому за народ свой легли! —

рассудительно сказал Ворчунок. — Вон дед Герасим пусть поисповедует да отпустит грехи! Дедко, слышишь?

— Слышу, милый! — отозвался старик. — Что верно, то верно, зачем грехи на тот свет тащить.

— Давай исповедуй, вон в уголку, а вы, братцы, подвиньтесь! — предложил мужичонка.

Дед отысповедовал осужденных. Все молчаливо жалось в углу. Видя их тяжелое душевное состояние, Ворчунок, преодолевая свою муку, предложил:

— А ну-ка, братцы, развеем тоску — споем песню! Давай назло врагу покажем, что за русский народ!

В глухом подвале раздалась русская песня. У Ворчунока оказался звонкий ласковый голос. Склонив голову на ладонь, чуть прижмурив глаза, он заводил запев широко и раздольно:

Ах ты, ноченька, ночка темная,
Ты темная, ночка осенняя!..

Быстрокрылой птицей взвился тонкий, серебристый голосок мальчугана. Глаза его расширились, заблестели. Он склонился к деду и понес песню вдохновенно:

Нет ни батюшки, ни матушки,
Нет ни батюшки, ни матушки,
Ты детинушка-сиротинушка,
Бесприютная твоя головушка...

Жалоба и скорбь слышались в этой песне. Ефим привалился спиной к стене и подхватил песню. Казалось, что сюда, в мрачное подземелье, вошло зеленое поле, шумливый лес, засветило солнце, — пахнуло родной сторонешкой.

— Эх ты, мать Расея, русская земля! — выкрикнул Ворчунок, скинув шапку. — Братцы, давай плясовую! — Он вскочил, затопал ногами, замахал руками и медленно-медленно поплыл по кругу. — Веселей, родные! Эй, жги-говори! — закричал он, встрепенулся и, весь сияя, учащенно затопал ногами...

Вступили в пляску и поручик и мальчонка, даже старый дед не утерпел, — и его захватила удаль. Сидя на соломе, он задвигал плечами и в такт плясу захлопал в ладоши.

В самый разгар разудалого русского размаха дубовая дверь распахнулась, и на пороге встали конвоиры.

— Прощайте, братцы, — со вздохом сказал Ворчунок. — Отплясали свое! — Он стал со всеми прощаться.

Ефим трижды поцеловался с каждым. Ему хотелось навзрыд заплакать, но, собрав все силы, он крепко обнимал уходящих и напутствовал:

— Жив буду, донесу память о вас, други!

Мальчонка прижался к его груди, хмыкнул носом и горько пожаловался:

— Батюшка, батюшка, не могу...

— Крепись, братцы! — сурово сказал уралец. — Не дайте радости врагам!

Юнец встрепенулся, утер слезу и стал рядом с поручиком в первой паре.

— Пошли, братцы! — позвал Ворчунок. — Пройдемся еще разик по родной земле! — Он независимо вскинул голову и со жгучей ненавистью сказал французам: — Веди, ироды!

Спустилась ночь. Лунный свет пробивался в пыльное окно, на светлой серебристой дорожке темнела измятая шапка Ворчунка. Чудилось, вот он рядом здесь сидит и прислушивается, как вливается в подземелье зеленый поток.

Склонив голову на согнутые колени, пленники дремали. Черепанов же не мог уснуть: из головы не выходили Ворчунок, мальчуган, поручик, все други-товарищи.

«Русь, могуча и велика ты! Необозримы просторы твои! — с душевной теплотой думал Ефим. — Но величавее всего, красивее и сильнее всего духом самоотверженный русский человек! Через все беды проходит он, не склоняя головы перед врагом и лихим злосчастьем! Верен и предан он своей земле до гробовой доски!»

Прошли ночь и день, и снова в решетке окна засинел вечер. Заключенным не принесли ни пищи, ни воды: французам было не до

пленников. Не знали осужденные, что страшный огненный вихрь бушевал над Белокаменной, пожирая строения, храмы, богатства, — прекрасный и величественный русский город. В эти часы Москва стала местом позорных злодейств французской армии. Среди пламени и стонов иноземцы совершали разбои, душегубство и поругание всего святого, что было в русской жизни. Враги не щадили ни пола, ни возраста, ни девичьей чистоты, ни народных святынь. Французские генералы состязались в грабеже с простыми солдатами-мародерами. До осужденных ли было в эти часы наполеоновским насильникам?

В эту темную ночь крепкий рыжий бородач сказал Ефиму:

— Чего нам ждать? Намыслился, — самое время бежать!

— Надумал хорошо, но как уйти из подземелья, когда камень кругом? — возразил мастерко.

— Камень крепок, а руки и воля наши крепче! — уверенно ответил дядька. — Ковач я, и силы во мне много. Рой подкоп! — Он первый руками стал рыть у стены рыхлую землю.

Ефим не верил своим глазам: мягкая, сырая земля рылась спорко. Он опустился рядом на колени и попробовал кирпич. Слежавшаяся, прозеленевшая кладка с трудом, но разбиралась.

— Братцы, вот где спасение! — обрадовался уралец, и все вчетвером стали трудиться у подкопа...

Глухой ночью выбрались в тенистый темный сад. Сверкали звезды, шуршал палый лист, и так глубоко и хорошо дышалось!

— Господи, неужто воля? — полной грудью вздохнул старик. — Осторожней, братцы, по одному уходи!..

Не видно было златоглавого прекрасного города, он скрылся в сизом горьком дыму, который клубился над развалинами. Среди дыма потрескивало старое сухое дерево строений, раздавались одиночные выстрелы. Ефим прислушался к звукам и тихо побрел в синюю едкую мглу.

Он шел задыхаясь, а кругом бушевал огонь, раздавались стоны, ржали кони, — неистовствовал враг. Мастерко осторожно ступал на обгоревшие бревна, обходил черные скрюченные трупы. Местами они лежали горами — истерзанные тела русских людей в мученических позах.

«Оскорблены и замучены! Ух-х!» — сжав кулаки, опаленный душевной мукой, весь дрожал от гнева Черепанов. Вот лежит с

проломленным черепом мать, прижимая к сердцу загубленное дитя. Неподалеку, раскинув руки и уткнувшись в золу лицом, распластался седовласый дед. Сколько замученных, опозоренных, ограбленных русских людей! Глаза Ефима все время застилались слезами, не от едкого дыма, не от горечи пожарищ, а от большой невыносимой тоски, от ненависти к врагу за содеянное. И эта ненависть гнала его вперед, обостряла его слух, зрение, делала его хитрым, лукавым.

«К своим! К своим!» — подбадривал он себя, удесятерив силы. Под утро он переплыл дымившуюся осенним туманом Москву-реку и вышел на зеленое поле. Мокрый, голодный, он упал в старую борозду, тяжело дыша от усталости, и не мог надыхаться запахом своей земли. Он взял ее в горсть, мял; так он полнее, сильнее ощущал радость своего освобождения. Вот она, земля, великая русская земля отцов и дедов! Какая великая, несокрушимая сила в ней; напоили ее потом своим русские люди, взлелеяли-вспахали золотые руки родного пахаря. Нет, ни за что на свете не отдаст своей святой земли русский человек, во веки веков!

Однако не так-то легко было Черепанову теперь добраться до Тулы. По всем дорогам и проселкам действовали ратники ополчения, а по укромным местам все леса и деревушки полны были партизан. По главным дорогам на Москву со всех сторон: от Твери, Ярославля, Касимова, Рязани и от Тулы и Калуги — отовсюду стягивались части ополчения, охватывая Москву, занятую противником, крепкими клещами. Хотя император Александр I строжайше запретил вооружать простых людей — ремесленников, мещан, мастеровых — огнестрельным оружием, а тем более артиллерией, Кутузов не посчитался с этим. Мало того, он организовал партизанскую борьбу с оккупантами. Михаил Илларионович прекрасно понимал все значение партизанских отрядов, действия которых входили в его стратегический план. Народные мстители воевали в тылу врага: они нарушали связь противника с его базами, лишали его пополнения людьми, боевыми припасами и продовольствием. Ни один неприятельский солдат или отряд не мог отлучиться от главных сил, чтобы не быть истребленным. В народе кипела лютая ненависть к насильникам. Тем временем ратники ополчения все ближе и ближе стягивались к Москве, не

пропуская подозрительных лиц по дорогам. Они проверяли каждого, кто ехал в ставку Кутузова или возвращался оттуда. Так, 24 сентября они арестовали как шпиона самого Клаузевица, хотя у него и оказались все документы в порядке.

В эти дни Кутузов тщательно проверял ряды офицерского состава, среди которого было много иностранцев. В первую очередь он старался избавиться от иноземцев в своем штабе. Полководец давно убедился в бесполезном пребывании Клаузевица в штабе и, воспользовавшись его просьбой отпустить по болезни в Петербург, охотно удовлетворил его желание. Клаузевиц уехал, но не прошло и дня, как ополченцы доставили его арестованным в штаб. Узнав, в чем дело, Кутузов улыбнулся и подумал:

«Чуют сердцем, что не наш человек...»

Через несколько дней Клаузевиц снова выехал в Петербург, на этот раз под охраной русского фельдъегеря.

Ополченцы задержали и Черепанова, который брел по дороге. Они окружили его и допытывались:

— Куда идешь, кто такой?

— Братцы! — обрадовался своим Ефим. — Наконец-то среди русских оказался. Сбег из Москвы. Попалили матушку!

— О том давно известно! Даст бог, батюшка Михайло Ларионович к ответу вскорости хранцузских курошупов стребует! — заметил бородатый ополченец в сермяжном кафтане. — Ты скажи-ка нам, кто таков есть?

— Ефимка Черепанов, крепостной механик господ Демидовых.

— Э, милый, да ты свой брат. Идем-ка с нами полдневать! — пригласили они уральца.

Ефим охотно отправился с ними к поскотине, где над ямой висел большой черный котел, в котором пыхтела горячая каша. Черепанов сразу почувствовал голод. Ему сунули в руки деревянную чашку, и кашевар положил жирной каши.

— Ешь, земляк! — ласково предложил он.

Ефим уселся на траву и стал жадно есть. Кругом него толпились бородатые ополченцы. Все они были одеты в свое крестьянское платье, на ногах — широкие черные сапоги, — в таких удобнее носить суконные теплые онучи. На суконных же фуражках — латунные кресты. У каждого ранец, а в нем рубаха, порты, рукавицы, портянки и

всякая хозяйственная мелочь. Вооружены чем попало: и топорами, и пиками, и саблями, — не все имели кремневки.

Над полем стоял разноголосый гул, крепкие, белозубые богатыри шутили, подзадоривали друг друга, подбадривали Черепанова.

— Ты, механик, иди к нам служить! — предлагали они.

— А кто оружие будет робить? — улыбнулся Ефим. — Как без него бить лиходеев? То-то...

— Верно! — согласился рябой ратник. — Вилы да топоры хороши, слов нет, а меч ратный аль ружьишко куда способнее! Работай, друг, доброе оружие!

— А ты в Москве был? — спросил его Черепанов.

— Не довелось бывать, мы дальние — симбирские...

— А как же ты ее крепко любишь? — с лукавинкой полюбопытствовал уралец.

— Эх, дорогой! — вздохнул ратник и отозвался душевно: — Да без Москвы — как без головы... За нее и на черта полезешь! Слышь-ка, как в песне поется:

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия! —

запел он разудалым голосом, и все ратники разом подхватили любимую песню. Веселые, бодрые голоса поплыли над полями и перелесками, и Ефиму стало легко и хорошо на душе.

«Эх, русский человек, милый, хороший человек, какая добрая земля взрастила-взлелеяла тебя! — с умилением подумал он. — Нет мужественнее и честнее тебя! Нет у тебя ничего крепче любви к отчизне!»

На лагерь надвигались сумерки, зажглись первые робкие звезды. Бородатый ратник предложил Черепанову:

— Ты, милый, не ходи ночью. Поди-ка в овин и отоспись до утра!

Ефим с охотой воспользовался его приглашением. С облегчением он растянулся на хрустящей свежей соломе, еще пахнувшей ржаниной. В прорезь сруба глядела вечерняя звезда, и все здесь напоминало домашний уют и родную деревеньку. Он быстро уснул...

Ранним утром Черепанов продолжал путь. Шел он густыми лесами, наслаждаясь бодрящей прохладой, приглядываясь к осенней красоте леса. В пурпур оделись трепещущие осины, золотились густые кроны берез и тополей. Сердце радовалось яркому солнцу и веселым краскам русской осени. Навстречу часто летели утиные стайки. Вот и река, над ней стелется туман. Ефим подошел к берегу, разулся и вымыл ноги, сразу стало легче. Он загляделся в воду, она была прозрачной, чистой, на дне можно разглядеть мелкую гальку. По течению плыли упавшие листья березы и клена.

Глядя на всю эту лесную красоту, просто не верилось, что сейчас идет жестокая война и Москва сожжена врагом.

«Эх ты, горе какое!» — со вздохом подумал Ефим и склонился над водой, чтобы освежить лицо. Там, в прозрачной глубине, как в зеркале, Черепанов увидел свое отражение. На него смотрело худое обросшее лицо, в волосах серебрилась седина.

Высоко в небе, над лесом, извиваясь, с трубным криком летела лебединая стая.

В ближних кустах затрещало, и сразу, как медведи, на берег вывалились здоровенные мужики в желтых полушубках, с вилами в руках.

— Стой, варнак! — закричал черный, как жук, детина.

— А я и не думаю бежать, — спокойно отозвался Черепанов. — Кто такие, братцы?

— Аль неведомо тебе, какое ноне время и на кого с рогатиной мужики вышли? — сердито ответил мужик. — Айда с нами, пока цел!

— Что ж, можно и с вами, — согласился Ефим. — Уж не партизаны ли вы?

— Угадал! — повеселев, отозвался мужик. — Ну, идем!

Они привели уральца в лесной стан. Перед избушкой лесника на скамье сидел степенный солдат в поношенном мундире и курил трубочку. Завидя захваченного, он прищурил глаза и засмеялся:

— Это вы, ребята, зря! Своего заместо курятника-хранцуза поймали. Кто такой?

Черепанов назвался, и улыбка прошла по лицу солдата.

— Ружья можешь счинить? — спросил он.

— Попытаюсь.

Три дня пробыл Ефим в партизанском стане, починил кремневки, отковал наконечники для пик. Солдат понимал толк в оружии. Все внимательно оглядел и похвалил Черепанова:

— Золотые руки у тебя, мужик! Иди к нам, теперь вся Русь поднялась на врага!

— Рад бы, да спешу на заводы! — пояснил уралец. — Сказывают, сам Михаиле Илларионович написал письмо оружейникам — крепче дело вершить.

— Коли так, пусть будет по-твоему! — согласился солдат. — Только, если надумаешь, — приходи, всегда рады будем! Спроси Четвертакова, каждый укажет!

Ефим радостно смотрел в открытое, мужественное лицо солдата. Он еще дорогой прослышал о его подвигах. Раненный под Смоленском, воин свалился с лошади и был взят в плен, но, едва отдышался, сбежал и укрылся в деревушке. Там он старался поднять крестьян, но те побоялись идти с ним. Тогда Четвертаков подговорил одного охотника и вместе с ним в поле подстрелил двух французских гусар. Храбрецы вооружились их пиками, саблями и, оседлав добрых коней, поехали в большое село. Тут к ним присоединилось еще сорок мужиков. Вооруженные вилами и топорами, они напали на французский отряд и перебили его. С той поры отряд Четвертакова превратился в грозную силу. Он рос с каждым днем и вооружался, не давая спуска врагу.

— Так неужто ты и есть сам Четвертаков? — не веря своим глазам, спросил Ефим.

— Он самый. Почему не веришь, милый? — добродушно спросил солдат.

— Да как же ты управляешься со своим воинством?

— А таким же манером, как и ты ладишь свои машины и пускаешь их в ход! — весело ответил Четвертаков. — Эх, милый, так говорится: мужик сер, да ум его волк не съел! Погляди-ка на свои руки, все фузеи в порядок привел, а почему мне не справиться с ратниками? Каждому свое дано! — Он пыхнул трубкой, посмотрел на тихое небо и сказал: — Есть и получше меня мстители. Вон Степан Еременко, Ермолай Васильев, а еще самый славный — Герасим Курин. Этот прямо скажем, партизанский генерал! Слышал такого? Нет? Жаль! А про Василису Кожину тоже не слышал? Опять жаль... Ну, брат, иди в

Тулу да получше пищали роби! Эй, ребята, накорми работничка да проводи на верную дорожку! — выкрикнул он и протянул Черепанову руку. — Ну, друг, в добрый час!

Они расстались друзьями. Ефим пробирался по лесной дороге и думал о встрече, и мысли были радостные я светлые.

В то самое время, когда Черепанов пробирался в Тулу, Николай Демидов трусливо сбежал из Москвы. Обещанного полка он не выставил. Отсиживался в Калуге и ожидал дальнейших событий. И вдруг словно среди ясного неба грянул гром — его срочно вызвали в ставку к Михаилу Илларионовичу Кутузову.

С тяжелым чувством Демидов ехал в маленькую деревушку Леташевку близ Тарутина, где сейчас находился штаб главнокомандующего русской армией. По проселку, торопя коней, проносились всадники, катились двуколки и шли просто пешие озабоченные люди. Все тянулись к незаметной деревушке, в которой только что устроился Кутузов.

Не знал Демидов, что за этот короткий срок в армии произошли большие изменения. Да и вряд ли кто знал стратегический план войны, кроме самого Кутузова. Он тщательно сохранял в тайне свои замыслы, и это обеспечило ему успех. Русский полководец перехитрил Наполеона. Оставив Москву, русская армия стала отступать по Рязанской дороге. Кутузов убедился, что французы следуют по пятам, и распространил слухи о том, что русские уходят к Рязани, а сам, дойдя до Боровского перевоза, неожиданно повернул к Подольску, а затем всю армию вывел на Калужскую дорогу в районе Красной Пахры.

Этот гениальный маневр был совершен так скрытно, что французы потеряли след русской армии, и Наполеон только через двенадцать дней дознался, где она находится.

Марш Кутузова в корне изменил стратегическую обстановку. Русские войска сейчас прикрывали Тулу с ее оружейными заводами, Брянск и Калугу с большими продовольственными запасами и весь богатый юг России. Наполеон был потрясен, но все еще надеялся на свою счастливую звезду. Он послал к Кутузову парламентаря Лористона. Генерал поехал в ставку главнокомандующего русскими

войсками под видом якобы размена пленными, а на самом деле поговорить о мире. Француз взволнованно пожаловался на партизанскую войну. Он учтиво сказал Кутузову:

— Такой образ войны противен всем военным постановлениям просвещенных наций.

Михаил Илларионович прищурился и подумал про себя: «Ишь, варвары, вдруг о цивилизации вспомнили. Значит, допекло!» Опустив устало голову, он вздохнул и расслабленно промолвил:

— Ваша правда, генерал, но крестьянами, простите, я не командую.

— А казаки, ваши казаки ведь люди военные и тоже никаких правил признавать не хотят! — вскричал Лористон.

Кутузов лукаво взглянул на парламентаря и грустно покачал головой.

— Ох, уж эти казаки, казаки! Я и сам не рад, да что с ними поделаешь? Иррегулярное войско! Ведь они, пожалуй, по-своему расправляются с вашими фуражирами?

— Весьма грубо! — обрадованно отозвался Лористон. — К тому же ни для кого не секрет, что русские сожгли Москву.

Казавшийся старцем, Кутузов вдруг выпрямился, лицо его стало багровым. Еле сдерживая гнев, он сурово ответил Лористону:

— Что касается московского пожара, я стар, опытен, пользуюсь доверенностью русского народа и потому знаю, что каждый день и каждый час происходит в Москве. Известно мне, что вы разрушили столицу по своей методе: определяли для пожара дни и назначали части города, которые надлежало зажигать в известные часы. Я имею подробное известие обо всем. Доказательством, что не жители разрушали Москву, служит то, что вы разбивали пушками дома и другие здания. Мы постараемся вам отплатить!

Французский парламентар побледнел, заикаясь, заговорил о перемирии, но Кутузов повернулся к нему спиной и отрезал:

— Мы только что начинаем воевать, а вы говорите о перемирии!

Так и убрался Лористон восвояси. Его мысленному взору представилась грозная картина: блокированная армия Наполеона в Москве. Он вспомнил восклицание Сегюра, который наблюдал московский пожар.

— Ах, боже мой! — признался граф. — Что скажет о нас Европа? Мы становимся армией преступников, которых осудит провидение и весь цивилизованный мир.

16 сентября Кутузов писал императору Александру I об оставлении Москвы и о своих стратегических замыслах. В письме сообщалось, что «вступление в Москву не есть еще покорение России. Напротив того, с армией делаю я движение на Тульской дороге. Сие приведет меня в состояние прикрывать пособия, в обильнейших наших губерниях заготовленные. Всякое другое направление пресекло бы мне оные, равно связь с армиями Торماسова и Чичагова. Хотя не отвергаю того, чтобы занятие столицы не было раною чувствительнейшею, но, не колеблясь между сим происшествием и теми событиями, могущими последовать в пользу нашу с сохранением армии, я принимаю теперь в операцию со всеми силами линию, посредством которой, начиная с дорог Тульской и Калужской, партиями моими буду пересекать всю линию неприятельскую, растянутую от Смоленска до Москвы, и, тем самым отвращая всякое пособие, которое бы неприятельская армия с тылу своего иметь могла, и обратив на себя внимание неприятеля, надеюсь принудить его оставить Москву и переменить всю свою операционную линию. Генералу Винценгероде предписано от меня держаться самому на Тверской дороге, имея между тем по Ярославской казачий полк для охранения жителей от набегов неприятельских партий. Теперь в недалеком расстоянии от Москвы, собрав мои войска, твердою ногою могу ожидать неприятеля, и пока армия вашего императорского величества цела и подвижна известною храбростью и нашим усердием, дотоле еще возвратная потеря Москвы не есть потеря отечества. Впрочем, ваше императорское величество всемилостивейше согласится изволите, что последствия сии нераздельно связаны с потерей Смоленска».

Рапорт главнокомандующего вызвал у царя негодование: он не сумел понять всю глубину воинского замысла Кутузова. К этому времени в Петербург подоспел донос барона Беннигсена, враждебно настроенного против Михаила Илларионовича. Барон докладывал Александру I о том, что он был против сдачи Москвы неприятелю без боя, и старался представить Кутузова безвольным человеком.

Царь, и без того настроенный против Кутузова, решил, что наступил момент разделаться с ним, и приказал комитету министров

расследовать причины сдачи столицы. Император хотел этим самым опозорить Кутузова в глазах общественности и удалить с должности главнокомандующего. Но положение в стране было настолько серьезное, что даже угодливый царю комитет министров, обсудив рапорт Кутузова, не поставил вопроса о смене главнокомандующего. Министры побоялись чем-либо обидеть полководца, но царь все еще не мог успокоиться. Он осыпал Кутузова упреками, а в особом императорском рескрипте позволил себе угрозы по адресу главнокомандующего:

«Вспомните, что вы еще обязаны ответить оскорбленному отечеству в потере Москвы...»

Демидов зорко следил за придворными интригами и думал, что они свалят Кутузова. Он представлял его дряхлым озлобленным стариком, и, по совести говоря, Николай Никитич сильно побаивался его. Прибыв в Леташевку ранним утром, он хотел спозаранку попасть на прием к главнокомандующему. Заводчик обрядился в пышный военный мундир и поторопился в штаб. В приемной уже поджидал Кутузова разный люд, среди которого было много сермяжников. Барин поморщил нос и тихо спросил адъютанта:

— Столько холопов! Для чего они понадобились его сиятельству?

— Это не холопы! — спокойно ответил молоденький офицер. — Правда, среди них есть и крепостные, но сейчас они выполняют великую роль. Здесь, господин Демидов, уважают партизан! Кроме того, взгляните: вон тот в углу, кучерявый с усищами, в сермяге, — дворянин и герой Денис Давыдов!

Не успел Николай Никитич толком разглядеть знаменитого партизана, как того вызвали в кабинет Кутузова. В избе — тонкие дощатые перегородки. Демидов представил себе, каким увальнем в крестьянском армяке ввалился Давыдов в горницу главнокомандующего. Он напряг слух: «Интересно, что на эту вольность скажет князь?»

Раздался громкий голос Кутузова:

— Полноте извиняться! В народной войне это необходимо. Действуй, как ты действуешь, головой и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром!

Услышанное потрясло Демидова. «Что за крамольные речи! — с возмущением подумал он. — То ли было при покойном Потемкине!» Он старался еще уловить кое-что, но за перегородкой стало тихо.

Время тянулось томительно. В избе было дымно от махорки, которую, не стесняясь присутствием адъютанта, курили сермяжники и какие-то солдаты. Никто не обращал внимания на пышный мундир Николая Никитича, никому до него не было дела. Все вели себя сдержанно, говорили о пустяках и делах, которые ничего общего не имели с войной. В оконце вонзился золотой луч осеннего солнышка, где-то на дворе горласто прокукарекал петух, на его призыв откликнулся другой. Во всей обстановке штаба не было ничего показного, пышного, величественного, к чему в свое время привык Демидов в потемкинской ставке в Бендерах. «Да, не те времена пошли!» — с грустью подумал он, и в этот миг дверь распахнулась и адъютант пригласил Николая Никитича:

— Господин полковник ополчения, главнокомандующий вас просит.

Демидов с волнением переступил порог горницы. За простым тесовым столом в стареньком мундире сидел Кутузов. Его седые пышные волосы на массивной голове были причесаны слегка к вискам, сам Михаил Илларионович — дороден, величав.

«Совсем не старик!» — успел только подумать Демидов, когда командующий крепко пожал ему руку. Однако он не предложил ему стула.

Мягкое ласковое лицо Кутузова вдруг стало строгим. Он взглянул на Демидова и спросил:

— Где расквартировали ваш полк? Я что-то не нашел его в планах...

Николай Никитич на мгновение замялся, потупился.

— Я еще не сформировал полка, — волнуясь, признался он.

Лицо полководца помрачнело, он облокотился на стол и из-под ладони хмуро смотрел на заводчика.

— Выходит, пока есть один отменно обряженный полковник. Кстати, откуда сию форму взяли? Перья, ленты, кантики. Вы, батенька, как индейский петух вырядились! — Слова Кутузова прозвучали насмешкой. Демидов покраснел и ждал горшего. Однако Михаил Илларионович перестал шутить. Он встал из-за стола, вытянулся во

весь рост; плечи его оказались широкими, крепкими, и сам он выглядел осанистым крепышом, хотя был и сед и морщинист. Главнокомандующий выговорил громко и твердо:

— Сударь, вам надлежит выполнить свои обязательства. Оставьте фанфаронство, оно у нас ни к чему! И еще запомните: Тулу мы не отдадим, завод оружейный вывозить не разрешаю. Все, сударь! — Он круто повернулся к Демидову спиной, давая понять, что прием окончен.

Взволнованный, пристыженный заводчик вышел из штаба. Вернувшись на квартиру, он торопливо снял свой пышный мундир, обрядился в дорожное платье и велел закладывать лошадей...

А Кутузов в этот час уселся за стол и стал писать письмо уральским рабочим, прося их ускорить отливку пушек и ядер.

Кружным путем, трудными дорогами и тропами, под пронизывающим осенним ветром и косым непрерывным дождем, лесами, оврагами, полями и запутками, усталый, измученный, прибрел в октябре Черепанов в Тулу. Николай Никитич так и не появился на заводе: он отправился в Ярославль, где проводил время за ломберным столом. В городе оружейников царила тревога, чувствовалась близкая гроза. Наполеон прекрасно понимал значение Тулы и после захвата Москвы собирался идти на юг и разорить заводы. Грозная опасность нависла над оружейными заводами. Черепанову стало известно от мастеровых, что царь наказал заводскому начальству «иметь верные сведения о движении неприятеля по направлению к Туле. При достоверном и необходимом уже случае остановить работу, взять мастеровых, инструмент и следовать по тракту к Ижевскому заводу».

Туляки не хотели покидать родных мест, намереваясь встретить врага с оружием в поле. Они день и ночь ковали железо, заваривали стволы, делали ружья, а иные уходили за город и помогали саперам рыть рвы и строить редуты.

Ефим даже заикнуться не решился о вывозе демидовского завода на Урал. Работные люди волновались и знали только одно: отбить врага! К счастью, в эту пору в Тулу прискакал курьер от Кутузова. Михаил Илларионович наказывал не вывозить оружейников и заводы, так как Тула может не опасаться неприятельского вторжения.

В октябре наполеоновская армия покинула Москву и устремилась на юг. Перед уходом французы решили выместить свою злобу на русской столице. Генерал Мортье со своими саперами начал взрывать Кремль и самые лучшие здания, уцелевшие от пожара. 21 октября от громовых взрывов в Кремле задрожала земля. На воздух взлетели арсенал, часть кремлевской стены, Водовзводная, Петровская и частично Никольская и Боровицкая башни, расположенные вдоль Москвы-реки. В соборах и Грановитой палате начались пожары. К счастью, пошел сильный осенний дождь, фитили отсырели и оттого многие заложенные мины не взорвались. К этому времени подоспели русские патриоты и стали гасить пожары, обезвреживать мины и истреблять последних насильников.

...Стотысячная французская армия двинулась на Калугу, стремясь уйти от генерального сражения, которое готовил ей Кутузов. Однако трудно было перехитрить опытного русского полководца. Он заставил Наполеона принять бой под Малоярославцем. Это была решительная битва, в результате которой Наполеон вынужден был повернуть на старую Смоленскую дорогу и испытать на себе возмездие русского народа.

В ноябре по санному пути Ефим покинул Тулу. Не утерпел он, чтобы не побывать на Орловщине. По степи гуляли метели, когда он добрался до имения Свистунова. Тихо и безлюдно было в поместье. Барский дом и глухой сад потонули под снежными сугробами. Здоровые и крепкие мужики ушли в армию, среди дворни остались старые да малые. В людской Черепанов встретил обросшего сединой дряхлого гайдука в старом, изодранном кафтане, от которого узнал, что его бывший барин Свистунов умер, а имение отошло под дворянскую опеку.

— Грабят, кому не лень! — жаловался старик. — Хваткий был барин, доброй души. Погиб зазря. Коней диких, степных калмыки пригнали. Сам выезжать взялся. Разнесли, копытами истоптали, и лика человеческого на нем не осталось.

Ефим с грустью смотрел на запущенные хоромы, на угрюмого слугу. Из оконца виднелись развалившиеся конюшни. Высокие тополя, что росли перед крыльцом, исчезли.

— Мужики посрубили после смерти барина, — пояснил старик и, пригорюнясь, утер слезы. — В то времечко вышло такое еще дело. На третий день после погребения барина на усадьбу цыган с цыганкой наехали, про усопшего расспрашивали. «Опоздали, милые, говорю, гвардии поручик Свистунов отошел, а вам приказал долго жить!» Что в диво было: слепая молодая цыганка навзрыд заплакала и все вторила: «Ах, Феденька, милый Феденька, так и не довелось встретиться нам!» Отвел я ее на могилу барина. Пора осенняя, ветер воеет, а она села на бугорок, так и не сошла с него до вечера. Ни ветер, ни стужа, ни мокрядь ее не прогнали. Сидела и держала в руке горсточку земли. Растирала комки и горько плакала...

А цыган на могилу не пошел, все барскими конями интересовался. Да что кони! — Рассказчик смахнул слезы и уставился на Ефима: — А помнишь, было времечко, — эх, и жили мы!

Черепанов промолчал: он хорошо знал, что за жизнь была у Свистунова. Гайдук до дна осушил штоф, потряс его и огорченно покрутил головой:

— Скоро-то как! Эх, не та мера ноне стала, и крепость у вина иная!

Помолчав, он снова заговорил, почему-то вспомнив о цыгане:

— Уехал шароглазый со своей слепой бабой, а через трое ден пару золотистых коней свели. Известно, кто свел! Цыган хоть и жалел покойного, а все же не вытерпел — угнал коней!..

Гнетущее чувство охватило Ефима. Он не остался ночевать в покинутой усадьбе и, дав отдых коням, снова пустился в дорогу. Выл ветер, мела пурга, а он бесстрашно держал путь на восток, на далекий Каменный Пояс.

Трудные годы выпали уральским работным. Русской армии понадобились тысячи пушек, десятки тысяч добрых клинков, сабель, шпаг, казачьих шашек, штыков и больше всего ядер. Неустанно работали заводы на Каменном Поясе. Работные выбивались из сил, но заказы для войска выполняли в срок. В эту пору в Нижнем Тагиле появились пленные немецкие мастера и французы. Иноземцы изумлялись: как это так, работные живут в кабале, ходят тощие, оборванные, управитель Любимов жмет чрезмерно, а они добросовестно стараются. Один любопытный немецкий мастер не утерпел и спросил Черепанова:

— Ви, руськи, страни народ. Француз боитесь, оттого так работайте?

Ефим хмуро поглядел на чванливого немца:

— Почто боимся французов? Напальена нам не надо! У нас своих хапуг да господ сидит на шее до беса. А отечество свое защищать до последнего будем!

Немец пожал плечами.

— Но ви живешь плехо?

— Хоть и плохо, а отчизна. На родной земле мы сами порядок наведем! Не спросим у чужеземцев!

Под густыми бровями глаза русского механика вспыхнули раскаленными углями. Немец смутился; он вспомнил рассказы о Пугачеве. Здесь, на Урале, еще совсем недавно работные безжалостно расправлялись со своими господами и приказчиками. «Кто его знает, этот народ?» — со страхом подумал иноземец и прекратил разговор.

С далекого Урала по рекам плыли караваны, груженные железным литьем: пушками, ядрами, клинками. Зимой по санной дороге скрипели обозы. Русские работные люди вооружали свою армию. Никогда Ефим не работал так яростно, как в эту военную годину.

«Это вам за разоренную Москву, за поруганный русский народ!» — с ненавистью думал он о врагах и еще вдохновеннее трудился.

Оборванные, голодные, разбитые вражеские полчища бежали по разоренной ими же Смоленской дороге. К началу декабря 1812 года русские войска освободили Вильно, Ковно, Россиены и гнали оккупантов дальше.

Михаил Илларионович прибыл в Вильно и на площади осматривал захваченные знамена. Войска, выстроенные на парад, замерли, любуясь бодрым видом своего любимого полководца.

Кутузов приказал склонить наполеоновские знамена перед русскими солдатами.

Это до глубины души потрясло воинов. Ликуя, они всей грудью кричали:

— Ура спасителю России!

Кутузов низко опустил голову, лицо его зарделось, и он сконфуженно, со слезами на глазах, громко выговорил:

— Полноте, друзья, полноте! Не мне эта честь, а славному русскому солдату! — Подбросив папаху, он встрепенулся и закричал

зычным, молодым голосом:

— Ура, ура, ура русскому солдату!

Приняв парад, главнокомандующий написал из Вильно донесение императору:

«Война окончилась за полным истреблением неприятеля».

Это признали и сами насильники. Французский маршал Бертье в декабре доносил Наполеону:

«Я должен доложить вашему величеству, что армия совершенно рассеяна и распалась даже ваша гвардия; в ней под ружьем от 400 до 500 человек. Генералы и офицеры потеряли все свое имущество... Дороги покрылись трупами».

Страшные орды иноземных насильников нашли себе могилу на русской земле. Наши славные полки перешли границу, чтобы освободить народы Европы от наполеоновского ига.

Медная руда на реке Тагилке была открыта давным-давно, еще при Акинфии Демидове. Помогли ему сыскать медь охотники-вогулы. Они занимались тормованием: на лодке плыли по тихой реке и били притаившегося на берегу зверя. Кочевники хорошо знали места, где и какой камень лежит. Акинфии наказал приказчикам допытываться у вогулов о рудах. Наемники Демидова не поскупились на посулы. И вот в один из осенних дней с тормования, с реки Выи, явился вогул Яков Савин и рассказал по тайности заводчику, что он знает целую гору из магнитного камня. На другой же день вместе с охотником Акинфии Демидов направился по Тагилке к устью Выи и там увидел широкую гору, поросшую лесом. Опытный взгляд заводчика заметил выходы магнитной руды на поверхность. Ее было столько, что за целые столетия не выбрать, и добыча не представляла трудностей. Залегание руды начиналось сразу, снимай покрывку и бери сколько хочешь! Это и была гора Высокая. Подле нее расположился вогульский пауль^[22]. Кочевники не трогали магнитных руд. Демидов удивился и спросил:

— Из чего вы куете наконечники стрел? Где добываете металл?

— Идем со мною, хозяин, и ты увидишь, из чего наши добывают металл! — позвал его Савин и повел в пауль.

Там, у горы, Акинфии и увидел вогульские кузницы с сыродутными горнами^[23], а плавилась в них не магнитная руда. Это были другие руды, более мягкие, местами красноватые, нередко с прозеленью малахита.

«Медная руда!» — догадался Демидов, забрал образцы и вернулся домой.

Испробовав руду в литье, заводчик окончательно убедился в том, что у реки Выи обнаружены медные залежи. Да и магнитная руда с горы Высокой не обманула ожиданий. Хоть сейчас строй завод! Однако у Демидовых не хватало ни средств, ни рабочих рук, и решили они до поры до времени молчать о своем открытии, а вогулам-охотникам пригрозили:

— Изничтожим, если проболтаетесь и наведете сюда крапивное семя!

Кочевники и сами сильно боялись царских чиновников и поэтому охотно поклялись молчать обо всем.

Шли годы, и Демидовы исподволь, потихоньку готовились к постройке нового огромного завода у подножия горы Высокой. Однако в 1720 году царь Петр издал указ, в котором поощрялась добыча и плавка руд и в то же время тем, кто утаит открытые рудные места, грозила жестокая кара.

Никита Демидов всполошился и поспешил подать заявку на гору Высокую. Зная крутой нрав царя и боясь его гнева, Демидовы решили раз навсегда спровадить подальше опасного свидетеля Якова Савина.

Вогул охотился в притагильских лесах, когда в пауле появился приказчик Щука со своими головорезами. Он в один миг разорил чум Савина, избил его жену и прогнал ее с детьми за реку.

— Живей убирайтесь, пока целы! — пригрозил он.

Умные охотничьи псы вступились за хозяйку, напали на демидовского приказчика, и тогда разъяренный Щука перестрелял собак.

Когда вогул Яков вернулся в пауль, то не нашел ни жены, ни чума, ни собак. Он бросился с обидой к Демидову:

— Где такой закон, губить бедного охотника?

Никита глазами показал на жильную плеть:

— Вот тебе закон и правда! Убирайся, а то шкуру спущу!

Разоренный, обиженный, вогул еле унес ноги из Невьянска...

Тем временем Демидов в 1721 году отстроил Выйский медеплавильный завод, а четыре года спустя, незадолго до смерти Никиты, неподалеку возвели на четыре домны чугуноплавильный Нижне-Тагильский. С той поры у горы Высокой пошла иная жизнь. Гору вскрывали и прямо в отвале брали руду. Кругом под топором лесоруба затрещали вековые леса, закурились дымки в синем небе — демидовские жигали добывали уголь для прожорливых домен.

Гора Высокая оправдала надежды. Совсем иное получилось с медным рудником: руда в нем вскоре оскудела, и завод стал работать на привозной меди. Думный дьяк Генин доносил царю Петру Алексеевичу:

«Ныне я был на демидовском медном промысле и усмотрел, что та руда его оболгала: сперва набрали на доброе место, где было руды

гнездо богато, а как оную сметану сняли, то явилась сыворотка: руда медная и вместе железо, а железа очень больше, нежели меди».

С тех пор Выйский завод влачил жалкое существование. Но вот в 1814 году, почти столетие спустя, горщик Кузьма Кустов, расчищая на своем огороде колодец, внезапно попал на богатое месторождение медной руды. И залегала она всего в трех верстах от завода. Снова ожил медеплавильный завод. Николай Никитич Демидов старался все выжать из рудника...

На этот рудник и угодил Ефим Черепанов. Двадцать пять лет он проработал плотинным Выйского завода. Помогал ему в хлопотах возмужавший сынок Миронка. Ему только-только миновало двадцать два года, и его поторопились женить, чтобы покрепче привязать к семье, да и Евдокия уставать стала — ушли силы. Сын перенял от отца влечение к механике и теперь с охоткой постигал отцовское искусство.

На Выйском заводе все держалось по старинке. Круглые сутки по кругу ходили кони, с помощью привода вращая огромное колесо, которое, в свою очередь, заставляло работать шатуны. По деревянной трубе двигался поршень, он засасывал и выталкивая воду.

Ефима Алексеевича всегда удивляла первобытность и хлопотливость этого способа откачки грунтовых вод. Для обслуживания несложной водоподъемной машины содержался большой табун в двести лошадей, а при них состояло не менее ста сорока погонщиков и конюхов. Кони при напряженной работе быстро выбывали из строя, изнашивались и люди, кляня свою долю.

Несмотря на огромные затраты на содержание машины, она не могла справиться с откачкой подземных вод, которые день и ночь сочились изо всех земных пор и постепенно затапливали шахты. Каждый день только и слышалось, что под землей снова стряслась беда: то рухнула подмытая порода, то крепи не выдержали, то вода прорвалась в штрек.

Рудокопы с большой опаской спускались в шахту.

— Ну, прости-прощай, батюшка плотинный, — кланялись они Черепанову. — Незнамо, увидим ли снова белый свет?

В словах горщиков слышалась тревога. Шахта в самом деле превратилась в мышеловку. Лежа в забое, рудокоп прислушивался к

таинственным шорохам, к плеску и бульканью воды, коварно, капля за каплей, точившей породу, к легкому потрескиванию крепей, на которые нажимала страшная тяжесть породы, оседавшей под действием вод. Внезапная беда подкарауливала рудокопа на каждом шагу. В этом подземном аду люди до того издергались, что каждый звук порождал у них страхи, и под влиянием их среди горщиков велись суеверные разговоры о нечистой силе, которая якобы ютится в таких гибельных шахтах. Больше всего запугивал горщиков старый хитроглазый старик Козелок. Он всю жизнь провел под землей, всего навиделся и много натерпелся, сам, пожалуй, не верил в свои вымыслы, только посмеивался:

— За что купил, за то и продаю! Сказка не сказка, а быль с небылицей. Сами разбирайтесь, где и что! — отшучивался он, когда к нему приставали работные...

Над горами в эту пору синело небушко, зеленый шум леса веселил душу, — весна украшала землю, горы и воды. Только в подземелье все оставалось по-старому и даже стало страшнее: прибавились талые воды. В эти светлые погожие денечки так не хотелось забираться в шахту!

Все с большей тревогой спускались горщики в штреки. Тускло светил огонек в шахтерской лампешке, журчала вода, и мрак ложился и давил грузной глыбой на сознание. Нет-нет да и собирались в минутки передышки горщики к стволу подышать свежим воздухом, который струился сверху, с нагретой земли. И казалось, нет ничего слаще и приятнее этих весенних запахов, которые шли сверху, — дышишь и не надышишься.

Щурясь на далекий-предалекий клочок неба, видневшийся над стволом, Козелок однажды начал свою бывальщину:

— Иду я, братцы, в прошлую ночку с работы. Темень непроглядная! И на каланче об эту пору раз за разом отбили двенадцать ударов. Полночь, стало быть, настигла. «Ох, господи, думаю, время-то какое, самое что ни на есть глухое, только и разгуливать всякой нечисти». Лишь подумал я об этом, братцы, свернул за угловую избушку, а меня вдруг кто-то цоп за полу. Я вперед — не пускает. Оглянулся назад и обмер. Стоит она позади меня, вся в белом, волосы распущены, а глаза по-кошачьи горят... Как закричу я...

Рассказчик осекся, все повскакали с мест: в эту минуту где-то совсем близко в потемках что-то зашуршало и сильно-сильно захлопало.

— Братцы! — схватил соседа за руку Козелок, а сам побледнел, затрясся, не в силах вымолвить слова. Горщики тоже присмирели и со страхом стали озираться на штольню.

— Ведьма! — крикнул вдруг в страхе старик и кинулся бежать по штреку. Все — кто куда. Один в уступ бросился, другой к подъемнику, третий сидел ни жив ни мертв.

Рудокопы побросали инструменты и поспешили к выходу:

— Спасайся, братцы, в шахте нечистая сила!

В эту пору снова кто-то захлопал крыльями, закричал-загоготал так, что многих мороз подрал по коже. Горщики — поскорее к стволу, а за ними кто-то зашлепал по воде.

Насилу выбрались на-гора, а позади все еще доносился такой гогот, такая возня, что сам Козелок закричал:

— Спасайте!

Выбравшись наверх, он упал перед товарищами на колени:

— Простите меня, окаянного, не ко времени помянул нечистую силу. Вот ей-ей, лопни мои глаза, сам видел, как она и сейчас белым махала. Забей меня на месте, не спущусь больше в шахту. Это она и водой балует!

— И я не пойду больше, дорогие. Раз нечистая сила завелась, не к добру! — отозвался молоденький рудокоп, который до этого похвалялся своей храбростью.

— И я не спущусь! — закричал третий.

— Кому надоело жить, пусть сам попробует! — поддержал четвертый.

Всем было страшно заглянуть в черный зев шахты. А над горами так блестяло-играло солнышко, так дивно распевали птицы и так радостно пестрели цветы в лугах и звенели мошки, так проворно летали над Тагилкой синие стрекозы, что рудник перед всеми этими весенними щедротами и впрямь показался могилой.

Молоденький горщик не утерпел и запел так жалобно, что тронул всех. Он пел о горькой доле демидовских рудокопов:

На-гора весна меня встречает,
Закипает пламенная кровь...
Жить хочу... Но шахта убивает,
Отнимает трезвость и любовь...
На-гора — пахучая прохлада,
Яркий луч природу осветил,
Только мне спускаться в шахту надо, —
От живого к мертвому идти...

Глубокий, приятный голос певца ласкал слух горщиков. Дед Козелок вздохнул.

— Хорошо, парень, про судьбину нашу поешь! — задумчиво похвалил он. — Только не надо больше! И без того сердце от горя заходится...

— Это что ж вы, злыдни, разлеглись на травушке да пятки греете! — раздался за спинами рудокопов злой окрик.

Козелок поднял голову и увидел перед собой приказчика Шептаева. Багровый от гнева, он бросился на старика с правилом:

— Это ты, трухлявый бес, затейщик всему!

— Помилуй бог! — вскочил горщик. — Да разве ж мы самовольщики... Не можем мы там! — кивнул он в сторону шахты.

За Козелком поднялись и другие горщики. Приказчик встревоженно стал всматриваться в хмурые лица рабочих:

— Да что тут случилось?

Козелок блеснул глазами и поманил приказчика подальше от ствола.

— Ты не кричи громко, — сказал он таинственно. — Не по своей воле мы поднялись на-гора. Нечистая сила выгнала!

— Да ты сдурел! — закричал Шептаев и напустился на старого рудокопа: — Где это видано, чтобы на христианском руднике да нечистая сила? От хмельного померещилось тебе, сивому мерину. Марш-марш в забой!

Но сколько ни кричал, ни бесился приказчик, ни один горщик не тронулся к стволу.

— Сам полезай, а мы пропадать не думаем! — запротестовали рудокопы.

— Ах, так! Погоди, сейчас до господина Любимова доведу! Он покажет вам нечистую силу! — пригрозил Шептаев. — Сами на чертей похожи, а туда же — нечистой силы испугались!

Размахивая полами жалованного кафтана, приказчик устремился в главную контору. Он уже скрылся за Высокой, а горщики все не расходились. Они расселись на траве и снова завели тайные разговоры. Козелок, самый старый и матерый горщик, посмеиваясь в бороду, повел свой сказ:

— Уж это, братцы, испокон веков так заведено: на каждой шахте свой «хозяин» имеется, и по-разному его горщики кличут. То давненько случилось, был я еще совсем молоденьким пареньком, — силенки слабенькие, а робил я в ту пору под Тулой, на угле. Вот в нашем руднике и объявился свой «хозяин»^[24] — Шубин. Своенравный старик. То помилует работяг, тогда все в руку идет, дым коромыслом. Наломись в лаве столько — знай успевай отвозить. То вдруг осердится «хозяин», ну, тогда такие колена пойдет выкидывать, просто убежишь от страха из забоя! И вишь ты, заладил он каждое утро старичком управителем казаться. Придет седенький, сутулый, покашливает, и как только выйдет последняя клеть с народом, он садится в нее и опускается в шахту. На другой день после этого беды жди, — затоплена штольня! А то бывало и так: спустится он в виде невидимки и ну работать: рубит, крихтит, таскает салазки с углем и натаскает всем на радость. Бери, за горщиков сработал! Выходит, в этот день в добром настроении пребывал наш «хозяин».

— Глянь-ка, и у них совесть-то, поди, просыпается! — вставил один из рудокопов.

— А то как же! — охотно согласился Козелок. — Он хоть и нечистая сила, а посовестливее будет нашего Демидова! Так вот слушайте, мои други. Как-то раз Шубин пошутил над одним горемыкой. По совести сказать, парень он был молодой, душа нараспашку, но под рождество так кутнул в кабаке, что все до грошика отдал целовальнику. Что тут делать? Пить-есть надо человеку, да и праздники только что начались. Приходит он к штейгеру и просит:

— Беда стряслась, дорогой. Промотался в кабаке, а опохмелиться не на что! Дай в долг!

Штейгер в насмешку предлагает ему:

— Деньги нужны, так полезай сейчас же в шахту да подай на-гора весь зарубленный уголь. Вот и прибыль! Наличными получишь!

Шахтер считался не из робких, согласился.

И только клеть опустила его в шахту, как на рудничном дворе увидел он седого старичка. Впрягся тот в салазки и молча таскает уголь. Взглянул он на парня и весело окрикнул его:

«Добро пожаловать, молодец! Скучновато было мне, не с кем побаловать...»

Горщик ласково посмотрел на старика и подумал:

«Да это, наверное, наш новый штопорной^[25]. Приветливый работяга!»

И попросил его:

«Дедушка, я буду тут самосильно робить, а ты не посчитай за труд, наведайся. День ноне какой, — со мной в наказание, может, что и случится!»

И давай таскать уголь.

Прошел, может, час-два. Парень натаскал изрядно угля к стволу. Сам вот и грузится, будто кто его плетью гонит! Только нагрузил он первую подачу — слышит, кто-то идет. Не торопится, покашливает старчески на ходу:

«Кхе! Кхе!..»

Из потемок выходит старик и по-приятельски спрашивает:

«Ну что, парень, как идет дело? Есть уголек?»

И тут только заметил наш горщик, что-то ярко горят глаза у старика. Однако он не испугался и ласково ответил:

«Есть немного!»

«Вижу, — ответил тот. — Ну, вот что: ты грузи, а я потихоньку таскать буду на подачу».

«Ладно, дедушка! Спасибо за подмогу!» — согласился парень, и пошла, братцы вы мои, работа. Ой и работа! Не успевает шахтер и грузить, а уголек все прибывает. Да крепкий, да ядреный, блестит на изломе, как серебришко!

«Давай, давай живей!» — покрикивает старик, а парня и пот и страх пробирают. Ноги и руки дрожат.

Старик это заметил и говорит работяге:

«Ты это зря! Сходи теперь да посмотри, сколько угля в лаве осталось».

Парень полез туда, видит: весь уголь отбит, вся мелочь собрана, будто метлой подмели...

Сколько часов горщик в шахте пробыл — один бог знает, только когда он поднялся наверх, то увидел: весь откаточный углем завален.

Тут-то он и спогодадлся, кто к нему угодил в помощники. Дух захватило у горщика, побежал он к рудничному двору. Там — никого. Еле от страха на-гора выбрался. Сам не свой прибежал в казарму, отовсюду к нему сбежались дружки. Ахнули они:

«Да где ты был, милый человек! Зачем побелил голову?»

И впрямь, парень стал в одночасье седым-седехоньким. Дошел он до нар и упал вниз лицом. Так и проспал целый день, а наутро хватились его. Сбежал! С той поры никто так удалого горщика и не видел на шахте!..

— Ты только послушай, чего старый леший набрехал! — раздался внезапно позади горщиков насмешливый голос управителя Любимова.

Никто и не заметил, как он подобрался к работным. Все сразу повскакали, но он с льстивой улыбочкой неторопливо присел рядышком.

— Что за беда случилась в шахте? — сдержанно спросил Любимов. — Это все Козелок надумал. Откуда могла нечистая сила там взяться? Погляжу на вас: народ вы храбрый, а пустяка какого испугались!

— То не пустяк, Александр Акинфиевич. Сам слышал и краем глаза приметил, — сурово отозвался Козелок.

— А ты не перебивай меня! — строго остановил его Любимов. — От мысли человеку всякое может померещиться. Да и то надо знать, братцы, что на всякую нечистую силу есть поп с крестом! — убежденно сказал управляющий. — Ныне же приведу священника, и он святой водой окропит шахту, вот вся нечисть и покончится! — Любимов говорил ладно, приветливо, но все время пытливо разглядывал лица работных, а сам думал: «Не может того быть, чтобы нечистая сила их испугала. Тут что-то другое! Вода. Она, коварная!»

Управляющий и сам изрядно переволновался и перетрусил, но не за работных, а за шахту. «Помилуй бог, если медный рудник затопит, что тогда скажет Демидов? Никому несдобровать!»

Он, кряхтя, поднялся, внимательно осмотрел насосную машину. Она работала с большим хрипом. Деревянные дощатые трубы

пропускали воду, и половина ее со звоном падала обратно в шахту. Однако хотя и с опасностью для жизни, но работать все же было можно.

Управитель не тянул долго, забрался в тележку и крикнул рудокопам:

— Не расходишь! Сейчас священник сюда с молитвой пожалует!

В полдень наехал батюшка с дьячком. Тут среди горщиков находился и Любимов, пришел и Ефим Черепанов. И все казалось, шло хорошо. Только Черепанов оставался угрюмым: понимал он, что руднику грозит беда — большая неминуемая беда, и не от нечистой силы, а от подземных вод. Сколько раз докладывал он об этом управляющему, но тот отмахивался: «Потерпим еще годик, а там увидим!»

А чего ждать, когда все ясно! Конная машина явно не справлялась с водой. Сюда бы поставить паровой двигатель, тогда бы все по-иному пошло.

Священник отслужил молебен, окропил шахту святой водой. Горщики, понуря головы, выслушали молитвы иерея, а когда он кончил, покорно подошли приложиться ко кресту.

— Ну, ребяташки, теперь все хорошо. Давай, давай в забой! Работа стала! — заторопил управляющий.

Однако никто из рудокопов не двинулся с места. Наступила такая тишина, что слышалось сопенье насоса да тихое журчание воды. Ефим молча смотрел на горщиков. Согбенные, усталые, они вызывали сочувствие. Одетые в холщовые портки, в зипунишки да в истертые шапчонки, они посинели от стужи. Вся одежонка их пропиталась влагой. А тут еще беда с водой! Кому охота обречь себя на погибель? Не сегодня-завтра вода возьмет свое, затопит шахту, — тогда поминай как звали!

— Что же вы приуныли? А ну, давай! — повышая голос, строго прикрикнул на горщиков Любимов.

— Боязно! — прошептал Козелок. — А вдруг опять кто почудится!

Черепанов видел: кто-кто, а старый, опытный рудокоп Козелок понимал, что работать на затопляемой шахте опасно.

— Ну, тогда ты первый и полезешь! Из-за тебя туману напустили тут! — сердито сказал Александр Акинфиевич, и его серые злые глаза

в упор уставились на старика.

Горщик опустил голову, мялся.

— Не плутуй! Полежай! — отрубил управляющий.

Своей грузной фигурой он стал наступать на рудокопа. Козелок почесал затылок: упирайся не упирайся, а выходит — надо опускаться в забой. Он первым подошел к стволу и стал спускаться. Плотинный не утерпел, его занимала работа грунтовых вод: следом за Козелком полез и Черепанов...

Один за другим рудокопы стали опускаться под землю.

Только-только добрался Козелок до рудничного двора, как ахнул от страха и от радости.

— С нами крестная сила! — весело закричал он. — Гляди, братцы, да тут гусь!.. А может, то один морок? — не доверяя своим глазам, с сомнением добавил старик.

— Га-га-га! — весело загоготал гусак.

Черепанов подбежал к нему, а гусь, уставясь на плотинного бусинками глаз, и не думал убегать.

— Ишь ты! — удивился мастер. — В беду попал, крылатый! И каким ветром его сюда занесло? Ба, да это соседская птица! — признал гусака Ефим и растопырил руки.

Гусь захлопал было по лужам, но проворный плотинный поймал его и прижал к груди.

— Гляди, как сердце с перепугу колотится! Ишь ты, сам напугался, да и людей переполошил! — засмеялся он.

Однако на сердце было невесело: вода журчала всюду. Вот-вот того гляди совершится потоп! Черепанов с грустью посмотрел на промокших, усталых рудокопов.

«Эх, горемыки вы, горемыки! — защемила тоска его сердце. — Подумать только, работать в таком месте: сыро, грязно, вода сочится, холодно. Хорошо еще летом, вылез после работы, и обсушиться на солнышке можно и обогреться, а зимой что за муки!»

Ефим Алексеевич представил себе курную убогую избенку, которая стояла в трех верстах от рудника. Проработав двенадцать — пятнадцать часов в забое, промокшие рудокопы выползают на свет божий и бегут что есть духу в эту отдаленную избушку! А на земле пурга, метели, уральский пронзительный ветер, от мороза одежонка становится мерзлым коробом. Не всякий выдерживает такую муку! Да

и что с людьми делается от работы в медном руднике? Истощение, смертельная бледность губ — все выдает в них болезни. Все жалуются на шум в ушах, тяжесть в ногах и одышку. Еще бы! В конце концов человек быстро сгорает в подземелье. Наступает водянка, и сердце отказывается служить!.. Мысли плотинного прервали окрики.

— Ну, дед — божья душа, глянь, что за архангел слетел к нам! — закричал молоденький рудокоп и озорными глазами показал на гуся. — А ты за нечистую силу принял. Ай-ай! — покачал он головой.

— А ты помалкивай! — угрюмо отозвался старик. — Ты слушай да разумей, о чем вода земле шепчет!

Его простые слова утихомирили парня. Он вздохнул.

— Ну и жизнь! Того и гляди угодишь во вселенский потоп!

Черепанов строго посмотрел на горщика, и тот прикусил язык. Под землей не шутят!

Прошла неделя, все, казалось, вошло в свою колею, но однажды ночью вдруг раздался набат. Плотинный вскочил с постели и бросился к окну. От волнения у мастера захватило дух: вдали над медным рудником алело зловещее зарево.

— Батюшки, пожар! — закричал Ефим. Он быстро оделся и поспешил к водоподъемной машине. Там пылали крыша и стропила навеса...

По набату сбежался народ, стали гасить. Одного за другим из шахты подняли рудокопов. Когда последним на-гора поднялся Козелок, кругом клубился синий дым погашенного пожара, а среди него со скрипом по-прежнему кружилось старое, почерневшее колесо: его и насосы сберегли от огня.

Полицейщик Львов повязал старому горщику Козелку руки, в таком виде провел его, позоря, по всему Нижнему Тагилу, а затем посадил за решетку в каменный подтюремек. Рудокоп не знал, за что его шельмуют. На другой день пристав начал допрос арестованного.

— Ты и есть главный поджигатель! — безоговорочно заявил он. — Рассказывай, старый плут, кто тебе помогал в злодействе?

— Помилуй бог, до такого додуматься! — с изумлением и испугом уставился горщик на Львова.

— Не отрекайся, бит будешь! — пригрозил полицейщик.

— Это что же, выходит, сам себя и своих дружков потопить я вздумал! Эх, лучшего, видать, ты не придумал! — с горьким сожалением отозвался шахтер. — Не диво старого человека побить, а вот ты правду разузнай!

Пристав сопел, багровел, рыжие тараканьи усы его топорщились:

— А кто нечистой силой в шахте пугал? Ты! Кто первым побег из забоя? Ты!

— Но я первый и опустился в забой! — строго перебил старик. — А что страх обуял, это верно. Попробуй сам спуститься туда, посмотрим, что запоешь!

— Цыц, плешивый козел! — стукнул кулаком по столу пристав. — Как ты смеешь так с начальством разговаривать!

Козелок опустил голову, замолчал. Веки его задергал нервный тик, и на морщинистую щеку покатила слеза.

— Так! — крикнул довольный Львов. — Выходит, в грехах каешься!

— Я не о том, — с обидой сказал старик. — О жизни своей плачу. Полвека под землей на господ отробил, света не видел, под солнышком всласть не погрелся, горюшка досыта хватил, а ноне новая беда настигла. За свой честный труд вон в чем заподозрили! Вот и награда демидовская! — Рудокопщик дрожал от обиды.

— Ты что ж казанской сиротой прикидываешься! — закричал полицейщик. — Коли так, пеняй на себя!

Он схватил старика за шиворот и заорал на всю избу:

— Давай сюда!

В допросную вбежали два стражника, схватили Козелка и повели в клоповник. Что там было, никто не видел. Только проходившие мимо подтюремка женки услышали тяжкий стон. Догадались они:

— Полицейщик Львов, гляди, издевается над старым человеком. Ух, и пес!

Растревоженные женки побежали на Гальянку и рассказали о слышанном горщикам. Рудокопы толпой тронулись к заводской конторе. Только миновали плотину, навстречу им — Ефим Черепанов. Плотинный догадался о беде.

— Погодите, братцы, не торопись! — остановил он работных. — Давай обсудим!

Спокойный, уверенный тон мастера подействовал на рудокопов отрезвляюще. Им нравился этот рассудительный, уравновешенный плотинный. Они видели, с каким достоинством он держался перед управителем завода: не лебезил, как другие мастера, не заискивал, не боялся говорить правду в глаза. И на этот раз они охотно послушались его, хоть и кипело на сердце. Тут же на травке, у дороги, расселись и завели разговор. Ефим уговорил их не ходить толпой, — сил мало, всего не перевернешь, а горшую беду на себя накличешь.

— Доверьте, братцы, мне пойти к управителю и толком поговорить! — попросил Черепанов. — В обиду я старика не дам. Великий труженик и честнейший человек он!

— Порадей, Ефим Алексеевич. Постарайся, милый! — раздалась голоса, и рудокопы тихо и мирно разошлись по хибарам, а плотинный явился в контору.

Любимов сидел в своей комнате под образами, одетый в черный бархатный кафтан, сытый и важный. Он с озабоченным видом посмотрел на мастера.

— Не вовремя, Ефим Алексеевич, пожаловал, — посетовал он, но все же, указывая на скамью, предложил: — Присядь да рассказывай, что за спешка!

Плотинный не сел. Подойдя к столу управляющего, он недовольно сказал:

— Нехорошее дело дозволил полицейщик Львов. Весьма обидное для работных!

— Да в чем нехорошее? Это по моему указу сделано, дабы неповадно было! — догадываясь, о чем идет речь, с горячностью заговорил Любимов. — Суди сам, кто мог поджечь шахту, если не рудокоп? Не хочется робить в забое, вот и подожгли! Верно ведь? — Управляющий пытливо уставился на мастера.

— Неверно, Александр Акинфиевич! — совершенно неожиданно для Любимова отрезал Черепанов. — Кто это захочет сам для себя мучительной смерти? А оно ведь так выходит! Сжечь насосную машину — значит потопить себя!

— Да такие вороги и себя не пожалеют! — выкрикнул управитель.

Лицо плотинного покрылось багровыми пятнами, но он сдержался. Холодным, жестким тоном он сказал:

— Не враги мы своему мастерству, а великие труженики! Каждому жить хочется. Хоть и весьма тяжело нам, а не малодушествуем.

В словах мастера прозвучала такая искренность, такая любовь к людям, что управитель рот раскрыл, — не ожидал он такой горячей заступы.

— Ты что ж, Ефим Алексеевич, заодно с работными? Ведь ты не того поля ягодка!

— Одной я черной кости с ними! Я крепостной, и они крепостные! Но не в этом сейчас дело. Зря народ мордуете. Вот что я по всей совести скажу! — Черепанов придвинулся к столу, за которым сидел управляющий, и заговорил с сердечной простотой: — Хоть и тяжка работа для каждого из нас, хоть и трудно им, но верь моему слову, Александр Акинфиевич, никто так свое дело не любит, как труженик! Судите сами, шахту затопляет, каждый день в забое подстерегает беда, а все же горщики не клянут свой труд. Им и самим горько, что их трудное дело может пойти прахом! Никогда рабочий человек не пойдет на вредительство своего дела. Разве только по страшной нужде, когда враг отчизны нагрянет!

Управляющий с изумлением смотрел на мастера. Серые глаза Черепанова выдержали строгий, упрекающий взгляд Любимова. Управитель опустил голову и глухо спросил:

— Чего же ты хочешь?

— Отпусти рудокопа Козелка! Ни в чем не повинен он. А что балясы точит, то это не причина. Шахту свою он любит и знает. А потом, как и балясы не поточить? Кругом такая темень и тягота, что надо хоть словом свою жизнь украсить!

— Не отпущу! — вдруг решительно и сердито заявил управитель.

— Воля ваша, — спокойно ответил Ефим. — Но если без опытного горщика шахту зальет, большая беда придет. Вы в ответе тогда перед хозяевами!

Любимов вскочил, забегал по комнате.

«А ведь и впрямь Демидов тогда не пощадит!» — подумал он и крикнул плотинному:

— Ну, что там еще?

— А еще думаю я, когда станете отписывать Николаю Никитичу о пожаре, то донести надо, что конная машина скоро не справится и

затопнет драгоценная шахта. Ей-ей, так и будет в скором времени!

Слова плотинного прозвучали убедительно. Любимов сморщился, словно от зубной боли.

— Пусть будет по-твоему! — махнул он рукой. — Под твою поруку отпускаю рудокопщика. Только никому ни слова. О машине подумай! А когда надумаешь, приходи.

Он снова грузно уселся в глубокое кресло, а плотинный чинно откланялся и поспешил из конторы.

В тот же день управляющий ниже-тагильских заводов написал Демидову донесение о пожаре:

«От 16 октября всепокорнейший рапорт. К крайнему сожалению, нижнетагильская заводская контора должна донести, что на медном руднике на Анатолиевской шахте, где выстроены две водоподъемные машины, или погоны, из коих одна посредством лошадей действовала, а другая запасная в омшанике, где устроены железные трехколейные змейки, сделался пожар.

Сгорел погон, колесо, вал, и в шахте стены обгорели до вассерштольни. А на втором погоне — кровля и стропилы, а колесо и прочее с помощью пожарозаливательных труб от сгорания сохранены. Причина пожара еще не выяснена. Убытков до 1800 рублей. Дня через четыре погон будет восстановлен...

И как вашему превосходительству известно, во что обходится содержание конной водоотливной машины. На содержание конского табуна в год уходит 40.000 рублей, а на пропитание и прикуп людишек в конюхи да в погонщики и того более. К огорчению, надо признаться, что водоотливной конной машине не справиться с откачкой воды, и богатейший рудник может со временем затопнуть. Осмелюсь напомнить вам, что первосортной медной руды вынута нынче миллион пудов.

По сему обстоятельству я беседовал с плотинным Ефимкой Черепановым да с надзирателем слесарного производства Козопасовым, как избежать затопления шахты. Каждый из них свое размыслил, и о том хотелось бы подробнее изложить вам лично...»

Донесение было отправлено в далекий путь во Флоренцию, где ныне проживал Николай Никитич Демидов. Тем временем плотинный и плотники исправили водоотливное колесо. Несмотря на улучшение

конструкции, насос по-прежнему не справлялся с притоком воды, захлебывался, скрипел, жаловался.

Рудокопщик Козелок вернулся из заключения с потемневшим лицом, но при виде шахты у него по-молодому засияли глаза. Он хозяйски обошел водоотливную машину, прислушался к ее тяжелой работе.

— Как и я, с продухом! Эх, старушка милая! — ласково похлопал обновленное колесо старик. — Выручай, родимая! С тобой родились, с тобой и умирать!

Молодой горщик не утерпел и укорил Козелка:

— Нашел чему радоваться — яме мокрой!

— А ты помалкивай: кому — яма мокрая, а нам — самое дорогое, потому своим трудом, мозолями да смекалкой выпестовали мы ее. Эва, гляди, на всю Расею медь добываем! — В речи старого рудокопа прозвучала неподдельная гордость. Он повернулся и уверенным шагом пошел к спуску.

Александр Акинфиевич вызвал в заводскую контору плотинного Ефима Черепанова и надзирателя слесарного производства Степана Козопасова. Каждый из них пришел к управителю со своим проектом. Сейчас они почтительно стояли перед Любимовым, словно перед иконой. Он деловито оглядел их. Мастера выглядели по-разному. Один был степенный, не суетный человек, с пронизательными серыми глазами; он спокойно стоял перед конторкой. Высокий костлявый Козопасов без толку суетился: нетерпеливо переставлял ноги, не знал, куда сунуть снятую шапку. От него слегка пахло винным перегаром. Управитель поморщился, но стерпел и начал разговор с мастерами:

— Призвал я вас потолковать о медном руднике. Как спасти столь драгоценную шахту от затопления? Начни ты, Козопасов, потому что у Ефима Алексеевича одна мысль, как построить паровую машину. Шутка ли сказать, надумал он заменить паром двести коней и всю ораву конюхов!

Черепанов сдержанно промолчал. Козопасов молча посмотрел на плотинного, улыбнулся:

— Каждому свое дано, Александр Акинфиевич. Кому талант, кому и два! Спорить трудно, кто выгоднее придумает. Ефим Алексеевич — человек рассудительный, и у него своя правда. Но и у меня есть тоже думка!

Управитель остановил строгие глаза на выйском надзирателе.

— Ты вот что, не блудословь. Ближе к делу! — бесцеремонно оборвал он Козопасова.

Степанко виновато опустил взор, руки его задрожали.

— Слушаю вас, Александр Акинфиевич, — смиренно продолжал он. — Мыслю я, надо ставить вододействующее колесо. Верно, то не новинка, однако это и к лучшему. Испокон веков на сибирских заводах робили только вододействующие колеса, они и спасали!

— Сие мне известно, — вставил Любимов. — Но разумеешь ли ты о том, где ставить колесо, если у рудника ни порядочной речки, ни плотины!

— Это верно! — охотно согласился мастер. — Руднянка маломощна, не поднять ей колеса, а вот на Тагилке можно.

— Да ты сдурел! — рассердился управитель. — За кого меня считаешь? Ведь от шахты до реки всех полторы версты наберется! Ты об этом подумал? — недоумевающе посмотрел он на Козопасова.

Мастер не смутился. Он переглянулся с молчаливым Черепановым и толково ответил:

— Вымерено мною: семьсот пятьдесят сажень, — и на всю длину эту сроблю штанговую передачу. А чтобы двигать ею, колесо поставлю в пятнадцать аршин в поперечнике, вот и сила!

Любимов задумался, мысленно соображая что-то.

— Ну, ты что на это скажешь, Ефим Алексеевич? — наконец обратился он к плотинному. Черепанов встрепенулся, глаза его оживились.

— Спорить не стану, умно придумано! — без зависти похвалил он Козопасова. — И колесо большое поставить можно. Выдержит! Только есть тут и свои затруднения.

Надзиратель слесарного производства нахмурился и ждал, что дальше скажет Ефим. Тот помедлил и со знанием дела закончил:

— Штанги на большое пространство будут подвешены на рамах, от сего по законам механики трение обозначится великое. Надо это учесть — раз. А второе, жаль речной силушки. Много воды заберет колесо, а она и заводу до зарезу надобна!

— И Ефим Алексеевич прав! Обо всем мною думано и учтено! — согласился Козопасов. — Немало трудностей будет, но не без этого такое дело родится!

— Н-да! — в раздумье произнес управитель. — Надо об этом помозговать да толком изложить хозяину. Их превосходительство в машинах разумеет, многое превзошли. А ты, Ефим Алексеевич, на своем настаиваешь?

— Настаиваю. И так думаю я, что паровая машина легче воду откачает! — уверенно отозвался Черепанов.

Любимов иронически прищурил глаза на плотинного:

— А помнишь меленки на речушке? Сколько твои паровички лесу перевели. А вода, хвала господу, вот она, бери и пускай! Как ты думаешь?

— Я на своем стою, — упрямо ответил Черепанов.

— Кремень, а не человек! — не без сожаления сорвалось с языка управителя. — Вот что, мастера, идите по домам и подсчитайте, во сколько стройка и та и другая обойдутся!..

По всему видно было, что Любимов не решался сам рассудить спора. Он встал из-за конторки и, скрипя козловыми сапогами, подошел к окну. Закинув руки за спину, он долго смотрел на отлогие скаты горы Высокой, на домики, разбросанные по Гальянке, как отары серых овец.

— Погоди, Козопасов! — остановил он мастера. — Неужто хибары срывать придется, чтобы пропустить штанги?

— Николи! Штанги на столбах над домами пройдут, выше крыш! — сказал тот, надевая шапку.

Вместе с Черепановым он вышел из конторы и пошел по заводскому поселку.

— Ну, спасибо, Ефим Алексеевич, — вдруг сердечно сказал Козопасов. — Шел я сюда и, по совести сказать, сильно боялся. Вдруг, думаю, да ополчишься ты против меня.

— Строй, Степан, свою штанговую машину! — доброжелательно отозвался Черепанов. — Каждый по своей стезе пойдет, а думка у нас одна с тобой — как бы рудник спасти!

Они шли по задымленной дороге, а вслед им в окно смотрел управитель и думал:

«Дивно, у обоих золотые руки, а стремления разные. Один назад оглядывается, а другой — Черепанов — вперед стремится! Пар или водяное колесо, чья возьмет? Вот и разберись, голова от дум ломится!»

Из Италии от Николая Демидова пришло в Нижний Тагил требование: прибыть во Флоренцию для доклада самому управляющему заводом Любимову. Видимо, владелец не на шутку забеспокоился о судьбе медного рудника. Предстояло проделать большое путешествие, но Александр Акинфиевич хорошо понимал, что Демидов не терпит оттяжек в исполнении своих желаний, поэтому быстро собрался и заторопился в далекую Италию. Через всю Россию проехал Любимов по санному пути, нигде не задерживаясь. В феврале за Дунаем путешественника встретила весна. Здесь уже отшумели вешние воды, голубой Дунай разлился широко. Ветер был теплый,

мягкий, навстречу летело много перелетных птиц. Любимов загляделся на величественную реку.

— Эх, и силен! Эх, и прекрасен свет-Иванович Дунай! — восторженно вырвалось у него. Но тут же он загрустил: — Наша Камушка-река, поди, еще под ледовым одеяльцем лежит!

Перевалив Альпы, уралец сбросил тяжелые зимние одежды. Перед ним голубел необъятный синий простор. Все цвело, пело, радовалось жизни. Южный теплый ветер легонько колыхал платаны, каштаны, лавры, мирты — зеленый океан рощ, укрывавших небольшие итальянские городки. Коляска Любимова катилась мимо этих крошечных городков, где бедность капризно сочеталась с богатством: полуразрушенные лачуги, обвешанные сушившимися лохмотьями, грязные дворики и полуголые, голодные дети, которые долго бежали за экипажем, выклянчивая подачку. И рядом белоснежные виллы, как лебединые крылья, раскинувшиеся среди прохладной густой зелени садов. На площадях встречных селений высились старинные церкви ломбардского стиля с ажурными колоколенками. Александру Акинфиевичу казалось, что во всех узких амбразурах этих колоколен вставлены синие стекла, — такое чистое лазурное небо виднелось сквозь них.

Там, где вздымались горные отроги, по ущельям бешено неслись, клубясь пеной, стремительные потоки. В Апеннинах недавно прошли дожди и напоили пересохшие ручейки.

Земля дышала изобилием. Солнце непрерывно слало свое тепло на хорошо возделанные нивы и сады, лучи золотым сиянием прорывались сквозь листву каштановых рощ.

Любимов встрепенулся, когда в голубой светящейся дали встала Флоренция. Чем ближе подъезжал он к ней, тем все оживленнее становилось на дорогах. В глубокой долине извивалась живописная Арно, над ее прохладными водами раскинулся чудесный город. Вот и улицы! На них кипит жизнь. Кажется, вечный праздник снизошел сюда. Купцы, ремесленники, горожане и вельможи одинаково непринужденно вели себя среди улиц и площадей прекрасного города. На площади — собор, уходящий ввысь ажурным орнаментом. Тяжелые, изукрашенные резьбой двери распахнуты, и из глубины храма несутся на площадь тихие тоскующие звуки органа...

Узнав в Любимове иностранца, за экипажем толпой побежали загорелые оборванные дети.

Управитель без труда отыскал местопребывание своего господина. Демидов занимал белокаменное палаццо, утопающее в зелени сада. В сияющем золотом и голубизной воздухе возносилось мраморное творение талантливого зодчего. Стройные колонны казались сквозными, а барельефы — четкими, живыми. На воротах этого старинного дворца помещался резанный на камне герб рода дворян Демидовых. Из-за ограды лился тонкий аромат цветущего сада, трав и цветов. Сюда не доносился шум торговых кварталов города, только в глубине сада раздавалась тихая и наивная песня садовника.

Любимов с волнением поднялся к двери и, взяв молоток, постучал им в толстую матовую медь. И сейчас же на стук вышел высокий широкоплечий человек в бархатном камзоле, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Вид его был величествен и строг, он надменно взглянул на пыльного путешественника, но тут лицо его мгновенно преобразилось широкой радушной улыбкой.

— Александр Акинфиевич! — обрадованно вскрикнул слуга и бросился к тагильскому управителю. — Из России! Из наших краев!

— Орелка! — в свою очередь возопил уралец.

Они поздоровались и долго смотрели друг на друга. Слуга Демидова засыпал прибывшего вопросами, в которых сквозила нескрываемая и необоримая любовь к своей земле.

— Как там, еще снега? Только недавно масленица минула? Блинами, небось, отъедались!

Каждый пустяк, сообщенный Любимовым о России, вызывал в Орелке взрыв радости. Он сиял весь, ахал и все повторял:

— Ну и ну! Дивно! Хошь бы на серого российского воробышка одним глазком взглянуть!

— Небось, соскучал здесь? — пытливо уставился тагилец.

— Соскучился, ой, как стосковался! — искренне признался Орелка.

— Красота кругом: и небо, и сады, город столь славный и...

Начав свои суждения, управитель запнулся, впившись глазами в открытую дверь. В потоке солнца улыбалась, сверкая изумительно белыми зубами, подвижная и глазастая молодая итальянка.

— Кто же это? — полуиспуганно, почтительно спросил Любимов.

— Мариэтта, служанка! — небрежно ответил Орелка.

— Ох, и девка! — глубоко вздохнул от зависти Александр Акинфиевич и не мог оторвать взора от служанки. Глаза ее, полные пламени, смеялись, и вся она казалась воздушным видением — так дивно хороша была собой.

— Пустяк! — поугрюмел демидовский крепостной. — То не по нас девка! Близир один! — отмахнулся он.

— Какого же хрена тебе надо! — удивился Любимов. — Экая благолепность, красота. Очи чего стоят! С ума сойдешь!

— Суета! — не уступал Орелка. — Не в том счастье!

— А в чем же? — спросил тагилец.

— Ах, Александр Акинфиевич! — вскричал от всего сердца Орелка. — Мне бы в Россию, на санках промчаться да с морозу горячих щей похлебать! Да ржаного хлебушка пожевать! А здесь разве настоящее! — пренебрежительно оглянулся он на Мариэтку.

А служанка, очевидно не понимая русской речи, приятным взглядом обласкала Орелку.

— Господин выбыл по делам, а вас милости просим, — пригласил слуга. Он провел тагильца в покои для приезжих. Любимов с любопытством оглядывал дворец. Залы переполнены статуями, картинами, гобеленами, бронзой, вазами, невиданной мебелью.

— Музеум! Подлинный музеум! — в восторге прошептал управляющий и, завидя под широким окном обломок мрамора, остановился, пораженный мощью и красотой торса неведомого изваяния.

— То Геркулес! — пояснил Орелка.

В фигуре недоставало головы, ног, рук и верхней части груди, но что за сила и красота чувствовалась в этом дивном обломке! Он высился подобно мощному стволу прекрасного дуба, лишённого тенистой кроны, шелест которой в былые годы привлекал в свою прохладную тень утомленного путника. Орелка тоже воспламенился.

— Посмотри, а вот еще диво! — указал он на мраморную статую купальщицы. Молодая девушка, чистая и спокойная, сбросила с себя последнюю одежду и готовилась сойти в бассейн. На одно мгновение она задумалась, и столько было очарования, прелести в повороте ее строгой головки, в движении руки, стыдливо прикрывшей маленькую грудь, что Любимов не утерпел и, радуясь, как ребенок, сказал:

— Диво! Сама обнажена, и нисколь греховного!

— В том чародейство мастера! — отозвался с пониманием Орелка и предложил тагильцу: — Отдохните с дальнего пути, тогда поглядите, сколь дивные творения хранит в сем палаццо наш господин. Здесь имеются дары великого мастерства Рафаэля, Бартоломео, Пизано, Донатти... Сия купальщица его творение.

— Откуда тебе ведомо все это? — с изумлением спросил тагилец.

— Господин только и печется о сих произведениях мастерства. Наслышан и сам пленен чародейством. Довелось мне, сопровождая господина в Рим, побывать с ним в храме делла Ротонда, у гробницы Рафаэля. А до того в том храме, в древности, был пантеон римского полководца Агриппы, и сей государственный муж был человек незнатного происхождения. Это поразительно, сударь! — с горячностью сказал демидовский слуга и поразил Александра Акинфиевича своей осведомленностью в искусстве.

«Вот ты и гляди, мужик, истый расейский мужик, а сколь разумения в художестве!» — в раздумье покачал он головой...

Во дворце было пустынно, только слуги мелькали бесплотными тенями по залам и переходам. Овдовевший Николай Никитич жил в палаццо один-одинешенек. Сыновья Павел и Анатолий пребывали в Париже. Санкт-петербургская главная контора по указу Демидова слала им большие суммы. Старший, Павел, вел рассеянную жизнь, стараясь прошуметь среди французской знати, а младшенький, тринадцатилетний Анатолий, изучал науки в лицее. Оба совсем оторвались от родной земли, не знали ее, потеряли в себе все русское.

Орелка провел уральца в прохладную комнатку. В распахнутое окно виднелся цветущий сад. Указав на широкий диван, слуга предложил:

— Вот тут и располагайтесь, Александр Акинфиевич.

Но Любимову было не до отдыха. Он сидел у окна, смотрел в сад и думал о хозяине.

«Гляди, куда ведут пути человеческие! Строитель заводов Никита Акинфиевич сам не гнушался работой, а сынки Николая Никитича не знают, где и заводы их, не пекутся о них, а живут, яко птицы небесны. Тунеядство? Но то самим господом богом заведено: одним век свой на работе маяться, а другим — в богатстве и роскоши пребывать!» — старался он оправдать паразитство своих господ.

Голова тагильца кругом ходила — слишком много необычного довелось ему видеть в этот день. То глаза Мариэтты-служанки чудились ему, то дивный торс Геркулеса, то купальщица Донатти, или вставал разодетый, важный Орелка, все еще сохранивший в себе русскую мужицкую душу.

Так незаметно и задремал гость.

Позвали Любимова к хозяину на другой день. Николай Никитич принял управителя в большой светлой гостиной. Подходил к ней тагилец с замиранием сердца, — сказала давняя рабская привычка. Демидов сидел в глубоком кресле, ссохшийся, сутулый, с впалыми щеками. Ему было немногим более полусотни лет, но старческие немощи одолели его. Тусклыми глазами он посмотрел на управителя и благосклонно протянул ему худенькую руку, сверкавшую драгоценными перстнями. Любимов почтительно поцеловал ее.

— Здравствуй, — приветливо сказал Николай Никитич. — Ну, как в нашем уральском царстве поживают подданные, холопы мои?

Любимов почтительно стоял перед ним, покорно склонив голову. Ему было жалко немощного хозяина и страшно перед ним. Маленькое, незначительное лицо Демидова, тщательно выбритое, с зачесанными вперед височками, выглядело старчески.

— Только вашими милостями и процветаем, господин наш! — льстиво заговорил управитель. — Заводы пребывают в прибылях и в изрядном устройстве по радению вашему.

— Ты мне о медном руднике скажи. Все ли благополучно?

— Грозит затопление, спасать надо, машину ставить новую, но коштовато весьма! — робко доложил Любимов.

— Ты не о расходах пекись. Ведомо тебе, что здоровье и жизнь самого ничтожного холопа моего дороже мне всего! Истомлюсь, если дознаюсь о беде. Найди искусника в гидравлике и в механике, дабы отвратить бедствие на шахте!

Хотя хозяин и делал вид, что тревожился о работных, но управитель чутьем понял, о чем на самом деле тужил он.

— Иноземцы дорожатся, господин мой, да и внедряться не хотят в нашем краю. Пример — Ферри! Да и кто их знает, сколь способны они на разумные дела. Шумят, хвалятся, а толку мало. Видимость одна!

Александр Акинфиевич говорил медленно, внимательно поглядывая на Демидова, стараясь по выражению его лица понять,

угодил ли ему своей речью.

— У нас, на Камне, есть свои два крепостных умельца: Ефимка Черепанов и Степанко Козопасов. Они взялись с водою справиться и предлагают свои прожекты: в конторе рассмотрели их, все выходит умно, но к опытам не возымели смелости допустить мастеров, господин.

— Что же такое? В чем дело? — недовольно поморщился Николай Никитич.

— Машины, которые надуманы нашими умельцами, разные. Они отменяют собою конские табуны, конюхов, — ни к чему сие окажется. То великий резон! Экономия. Но возведение каждой машины обойдется, господин мой, не менее как по семи тысяч рублей ассигнациями!

— Дорого! — вспыхнув, перебил докладчика Демидов. — Однако не семи тысяч жалко, а так разумею, наши доморощенные гидравлики все по глазомеру строят, а сие может подвести. И деньги наши трудовые впусте окажутся израсходованными. Ай-ай, семь тысяч! Подумать только! — заохал хозяин.

«Но в руднике же люди могут погибнуть!» — хотел вымолвить Любимов, но вовремя прикусил язык и, слегка заикаясь от волнения, сказал:

— Все так, господин мой, подлинно жалко такие деньжища кидать, но горше будет, если шахта обрушится и миллионы пудов меди от нас уйдут. Разор чистый!

— Разор! — согласился хозяин и беспокойно заворочался в кресле. — А скажи, сколько времени потребно на работу наших механиков?

— Просят сроку год! — ответил Любимов.

— Ох, горе, разоряют! А все жалости мои человеческие к холопам! — пожаловался Николай Никитич. — Но что же делать, если другого выхода нет. Пусть стараются, а который устроит машину ранее, объявить от меня особую награду. Ну, с сим делом покончили...

Демидов устало отвалился на спинку кресла, полузакрыв глаза. Управитель боялся пошевеливаться; так и длилось тягостное безмолвие.

— Ах, ты еще здесь! — поднял наконец голову хозяин. — Еще не все. Отправляйся на мою фабрику, где шелк прядут. Огляди! Может,

чему и научишься для наших уральских заводов. Иди! — Он протянул руку, Любимов облобызал ее, и Николай Никитич снова устало закрыл глаза...

Управитель Нижне-Тагильского завода побывал на шелкопрядильной фабрике Демидова. На окраине Флоренции, в глухих скученных кварталах над рекой Арно, в тесноте гнездились грязные приземистые здания, сложенные из серого камня. Александр Акинфиевич, вступив за порог одной из таких трущоб, с минуту ничего не видел, так мало было света в низком мрачном помещении, по которому разносился ритмичный шум веретен. Казалось, в полутьме гудел потревоженный улей. Привыкнув к скудному освещению, тагилец увидел несколько десятков бледных, изможденных итальянок, стоявших у грубых ткацких станков, на которых в пору было бы работать сто лет тому назад. Среди изнуренных работниц было много детей, мальчиков и девочек десяти — тринадцати лет.

«Гляди, что творится, — и тут без ребят не обходится фабрика!» — подумал Любимов и обратился к худощавой, с ярким нездоровым румянцем на щеках работнице:

— Скажи, милая, хорошо ли тут работается ребятам?

Сопровождавший управителя Орелка перевел итальянке его вопрос.

Женщина угрюмо посмотрела на Любимова и еще угрюмее кивнула в сторону станков. За ближайшим из них мальчик, работая, стоял на табуретке, — так мал был этот хилый, с длинной худой шеей ребенок, кормилец семьи! Таких, впрочем, немало усмотрел тагилец за станками.

— А все-таки ты спроси ее о ребятам! — снова попросил он Орелку.

Демидовский холоп с важным видом опять обратился к работнице. Она сверкнула сердитыми глазами и что-то вызывающе ответила.

— Дьяволица, как смеешь ты так говорить! — испуганно прикрикнул Орелка. — Дознается о том хозяин, худо будет!

Любимов схватил демидовского слугу за полу.

— А скажи мне, дорогой, что она ответствовала? Больно нехорошее?

Орелка в нерешительности топтался на месте.

— Кто их тут разберет! — недовольно проворчал он.

— Ну скажи, милый! — не унимался тагилец. — Мы оба холопы у одного господина, и нам все должно видеть и знать!

— То верно! — согласился Орелка и оглянулся. — Вишь, разошлась сия паскудница на хозяина. Хорошо, говорит, ребятам живется у Демидова: с утра до ночи тянет он шелковую пряжу из жил маленьких детей!

— Ух ты, сатана, что клепает на господина! — вспыхнул Любимов.

Из-за недостатка воздуха в помещении он тяжело хрипел, задыхался: давала себя знать одышка.

— Идем отсюда! — предложил Орелка. — Поглядели, и хватит!

— Голодная рвань, а тож — свое суждение имеет! — все еще не мог успокоиться управитель. — Не хочешь за кусок хлеба робить, не веди сюда дите! Вольно же тебе!

— Э, нет, Александр Акинфиевич, то не выйдет! Ребячий труд самый дешевый. А хозяева фабрик только и думают побить своих конкурентов низкой ценой на ткань! — Орелка говорил медленно, рассудительно. — Где найдешь дешевле рабочую силу, если шелкопряд получает гроши? Ни мяса, ни молока не видят эти детки, вот женки и пыхтят недовольством! Так живут по всей Ломбардии эти хлопотуны. А как обойтись тут без ребятенка? Хотели запретить, так Николай Никитич и здешние фабриканты выставили свое суждение: тонкость шелковой ткани требует нежных пальцев, а они только и бывают в отроческом возрасте!

— Согласен. Умно рассудили хозяева! — одобрил Александр Акинфиевич суждение Орелки; не знал он того, что холоп про себя хмуρο подумал: «Умно? Ишь ты! Из-за нежных пальцев убивать ребят, как рогатый скот у нас в России бьют из-за кожи и сала!»

Жилось слуге у Демидова сытно, привольно, но дух у Орелки все еще сохранялся непокорный. Не любо его сердцу было холопство! Так и жил он раздвоенно, почитая и в то же время ненавидя своего господина. Бывали минутки, когда у него вспыхивало стремление к побегу, но он сейчас же старался погасить его. Тяжело вздохнув, повел он Любимова к экипажу.

— А шелк какой, нежнейший, с ясными отливами, ткнут на фабрике нашей! Ни в жизнь никому тут не сравниться с Демидовым! — оживленно заговорил Орелка, стараясь развеять мрачное впечатление от фабрики.

Они ехали в экипаже через всю Флоренцию, где каждый камень был напоен солнцем, согрет им и где высились чудесные дворцы, но среди всего этого богатства и веселья не было места простому рабочему человеку!

Придя к Николаю Никитичу, Любимов льстиво расхваливал фабрику и тем обворожил хозяина.

Демидов много говорил о Флоренции, о зодчих, о славе флорентийских торговых людей Медичисов, когда-то знаменитых в этом старинном городе Италии. Николай Никитич любил Флоренцию и всегда как бы вскользь сравнивал свой род с Медичисами. Это давно и хорошо усвоил тагильский управитель и сейчас рабски внимательно выслушал хозяина, не сводя с него восхищенных глаз...

«Вот идол, как ловко умеет притворяться!» — глядя на Любимова, подумал Орелка.

Пробыв в Италии месяц, Александр Акинфиевич собрался в обратный путь. Перед отъездом он выслушал указания Демидова по Тагильскому заводу и земно поклонился господину.

Прощаясь с Орелкой, он поблагодарил его:

— Ну, братец, спасибо за ласку и прием. Много благодарен. Скажи, чем порадовать тебя, что прислать из России?

— Ничего мне не надо! — смиренно сказал Орелка. — Стосковался я по своему небушку да белоствольной березке. Поклонитесь им! Ну, а если уж думаете порадовать, пришлите мне горсть родной земли! Хоть глазком взглянуть на нее и подышать, чем пахнет! Эх, матушка Расея! — вздохнул он, и глаза его затуманились неподдельной грустью.

Экипаж тронулся, пересек площадь и скрылся за углом палаццо, а Орелка все стоял и думал о своей далекой и прекрасной земле.

Черепановы приступили к работе над водоотливной паровой машиной. Плотинному разрешили расширить свое механическое заведение, которое и до этого обслуживало ниже-тагильские заводы.

В обширном бревенчатом срубе стояли слесарные и токарные станки, приводившиеся в движение заводским вододействующим колесом. Много положили труда механики на оборудование мастерской, из которой за последние годы вышло немало разных инструментов и диковин. Они изобретали, составляли проекты и строили самые разнообразные установки: воздуходувные, прокатные, молотовые, мельничные и лесопильные. В своей мастерской они сами придумали и изготовили станки: токарные, строгальные, сверлильные, винторезные и штамповальные. Все это они сделали чисто, необыкновенно точно, и инструменты, созданные их руками, отличались изяществом. Всякий из горщиков, беря такой инструмент, радовался и говорил:

— Ну, это черепановская работа!

Приятно было работать безотказным и точным инструментом.

Перед тем как приступить к выполнению своего замысла, Ефим с сыном спустились еще раз осмотреть шахту, чтобы вернее произвести расчет машины. Спуск шел по крутой скользкой лестнице-стремянке. Внизу — темная бездна, а по стенам колодца сбегает вода, сыро, грязно и неприветливо. С непривычки казалось страшновато лезть в эту сырую, темную могилу. Лестницы сменялись узенькими и тесными площадочками, на которых можно было перевести дух, а затем спускаться глубже. Так, минуя лестницу за лестницей, с замиранием сердца мастера добрались до рудоразборного дворика, откуда, как черные норы, расходились низкие тесные штреки. Сразу стеснило дыхание: пахло серой, застойной гнилой водой, пороховыми газами. Рудокопы взрывали каменистые породы, прокладывая путь к медной руде. Под ногами хлюпала зеленоватая вода, она стекала по ослизлым бревнам-подпоркам. Царство вечной тьмы плотно охватило Черепановых. Подчеркивая этот мрак, по всем направлениям тускло мерцали робкие огоньки шахтерских ламп. Люди сливались с черным мраком, и поэтому казалось, будто светлые точки двигались сами собой, словно блуждающие огоньки, которые обычно вспыхивают и разгуливают над трясынами, наводя страх на суеверного человека.

Мирон с гнетущим чувством оглядывался на тусклые желтки света, прислушивался к звуку падающих капель. Так вот оно, таинственное подземелье, о котором среди горщиков ходило столько

страшных рассказов! Угрюмо нависли сырые стены, грозившие придавить, как могильной плитой.

— Эй, эй, берегись! — разнеслось по штольне, и вслед за этим раздался оглушительный грохот, похожий на громовой удар. Секунда — и тотчас сверкнула молния. Казалось, над головами разразилась гроза с потрясающими раскатами. Эхо лабиринта подхватило и умножило грохот. И, как вспышка гневной бури, раскаты покатались вдаль, глухо ворча и постепенно угасая. Подземелье наполнилось удушливым дымом. Он густо, плотным туманом висел в воздухе и при свете рудничных ламп принял багровый оттенок. Постепенно все поднялось кверху, и снова наступила гнетущая тишина.

Черепановы стояли в нише, плотно прижавшись к сырým камням. Из мрака в тусклом озарении лампы высунулось бородатое лицо и, ощерившись, смотрело на мастеров. Ефим обрадовался.

— Козелок! Эй, друг, принимай гостей! — повеселевшим голосом окликнул он.

Тяжело дыша, рудокоп отозвался:

— Жалуй, жалуй, давно поджидаем. Идем за мной, покажу наши дворцы! — В голосе горщика прозвучала горькая насмешка. Он повел механиков по штольням; тут и там мелькали огоньки. В мрачных забоях извивались, как черви, рудокопы, дробя кайлой каменную грудь своей норы. Их было много тут, неизвестных трудяг, создавших сказочное богатство Демидовых. Сколько их потонуло в разных шахтах, погибло от тяжелой работы, от скудной еды, от болезней и просто было покалечено жестокими заводчиками. Тысячи их многие годы надрывались, работали не покладая рук, создавая и умножая горные промыслы, но слава шла по свету не об этих людях, а о хищных тунеядцах Демидовых.

Завидев в шахте Черепановых, рудокопы повеселели: они знали, зачем механики спустились в забои.

— Родимые вы наши, порадейте для народа! Сил нет, одолела вода.

Мастера и сами видели, как тяжело здесь работалось людям.

Козелок время от времени приостанавливался, прислушивался к звукам падающей воды.

— Слышишь, по нас плачется! — с тихой душевностью сказал он. — Она, брат, жалеет нас. А мы ее тож бережем, согреваем ее своим

потом, теплом и ласковым словом!

В полдень Черепановы выбрались на-гора. Под скупым солнцем сияли снега, под ногами весело поскрипывало от мороза. Не откладывая дела, отец и сын отправились в свое механическое заведение и взялись за работу. Обоих увлекло задуманное; они не жалели ни сил, ни времени. Не всегда все шло гладко. Хотя Ефим хорошо изучил чертежи Ползунова, но он придумывал свое, лучшее. Часто Черепановы часами просиживали молчаливо, обескураженные неудачей. Ефим вставал ночью, бродил по избе и стонал, словно от зубной боли.

— Что же теперь делать?

Евдокия гнала его в постель:

— Будет, отец, будет! Не терзайся!

Она, уже пожилая, но все еще красивая женщина, улыбалась ему:

— Не кручинься, не горюй: не все будут донимать печали, придут и радости! Поспи, глядишь — и в голове прояснит!

Время между тем шло. Козопасов с плотниками строил у плотины огромное вододействующее колесо; по рабочему поселку разносился стук топоров, визг пилы. Над дворами, над полем, от реки до шахты побежали ряды столбов. В кузницах громыхало железо: кузнецы ковали штанги, крючья — необходимое поделье для задуманной машины. Степан ходил сейчас веселый, лицо его посвежело, и глаза молодо блестели. Он пересилил свою слабость к вину, а когда подходила «смутная минутка», то сам брал топор и становился в ряд с плотниками, в горячей работе отвлекаясь от соблазна. Нередко он забегал в механическое заведение Черепановых и рассказывал о стройке. Странное дело, теперь он не суетился, не егозил, как прежде, заикание его как рукой сняло. Говорил он неторопливо, толково, гордясь своей выдумкой.

В тихие зимние вечера в механическом заведении светились огоньки. Хорошо работалось в такие безмолвные часы! Иногда «на огонек» забегал Степан Козопасов и начинал мечтать:

— Работаю или сплю, а все перед собою вижу волю! Ах, Ефим Алексеевич, знаю, что я не только машину лажу, но и волюшку себе добываю! Эх, развернулся бы во всю силушку, да везде утеснение.

И Черепановы мечтали о том же. Не о себе думал Ефим. Он что? Век доживает. А вот сын Мирон — умная и светлая голова, как ему

жить в крепостной неволе?

За окном выла вьюга, а они втроем присаживались к раскаленному горну, мечтательно смотрели на пламя и думали о будущем.

В душе Ефима иногда просыпалась зависть к Козопасову, но, твердый характером, он быстро тушил ее. Не знал он, что злые люди пытались сравить изобретателей. И кто бы мог подумать, что это шло от самого Николая Никитича, который обретался во Флоренции. Демидов слал письма, не переставая интересоваться медным рудником и механиками. Осторожно, по-иезуитски, он советовал Любимову:

«Как Черепанов и Козопасов люди одного ремесла, то всегда между ними есть ревность, зависть, а нам надлежит извлечь из этого пользу. Надо посоветоваться с Черепановым в конторе, потом порознь призвать Козопасова, но чтобы Черепанова тут уже не было, и с ним посоветоваться. Уверяет меня Николай Дмитриевич, что Козопасов умнее, опытнее и более свое дело знает, хотя и молчит. Нередко случается, что человек на словах боек, но на деле слабощен. Впрочем, приказчикам оные люди коротко известны. Что по сему будет, тотчас мне рапортовать».

Управляющий Нижне-Тагильского завода хорошо знал своего хозяина, но на хитрость отвечал лукавством и в ответ писал:

«У Черепанова и Козопасова ссор, как они отзываются, никаких не имеется...»

Однажды Мирон, молодой и самолюбивый, заволновался и пожаловался отцу:

— Батюшка, Степанко опередит нас, и наша машина будет ни к чему!

Отец сдержанно улыбнулся в бороду:

— У тебя, сынок, глаза завистливые. Стоящий человек свое должен взять не завистью и не пакостью по отношению к другим, а творением своего ума и рук. Ты, Миرونушка, веди себя спокойнее. У каждой машины будет свое, а наша выйдет с размахом на будущее! — ответил он ровно и спокойно.

Глядя на степенного отца, сын проникся уверенностью в успехе. Ефим продолжал:

— Я поболее твоего жил и видел, да и поработал немало! Многое сделали вот эти руки! — взором показал он на мозолистые, шершавые

ладони. — Есть чем и мне похвастать, но не в хвастовстве дело! Кичливость — грязная пена! Снесет ее могучий поток, и никто не вспомнит. Вот гляжу на тебя и не знаю, что сказать. Не хочется уступать младшему, а скажу прямо: пойдешь ты, сынок, дальше моего, и то сильно радует меня! Только бери не хвастливостью и завистью, а трудом и думками.

У Мирона покраснело лицо. Похвала отца что-нибудь да значила!

В механическое заведение часто навещался Козелок. Он приходил и молча усаживался в уголку, тихо наблюдая работу механиков. Мастер стоял перед станком, в котором быстро вращался валик, и дивным дивом казалась ему работа черепановского сына. От резца вилась дымящаяся стружка. Она вилась тонкой длинной змейкой и на глазах играла всеми цветами: то была золотисто-оранжевая, то густо-синяя, и, как живая, дрожала, изгибалась и, обламываясь, падала в ящик. Металл под руками мастера казался мягким и податливым.

«Ну что за дивное мастерство!» — восхищенно думал старик и не мог оторвать глаз от станков.

Не один он ждал черепановской машины, ее с нетерпением ожидали все горщики медного рудника. Вода в штольнях в этом году прибывала сильнее, и все опаснее было спускаться в шахту.

Осенью 1827 года Степан Козопасов первый закончил свою штанговую машину. Со всех уголков Нижнего Тагила бежали люди посмотреть на пуск диковинки. Мирон волновался, нервничал, но отец твердо сказал свое: «Пойдем и мы, ведь это праздник для всех рабочих!»

Они вышли из мастерской. Стоял яркий солнечный день, однако лес на горах поугрюмел, притих. Полет ворон и галок стал тяжелее. Над прудом дымился туман, воздух был свеж и влажен. Среди густой тишины раздался металлический звук, и вслед за этим заскрипели-закачались штанги. Они качались размеренно, неторопливо, как длинные железные руки, и передавали силу водяного колеса к водоотливным помпам. Стаи ребятишек с восторгом носились вдоль столбов, разглядывая сооружения, а неподалеку, в обширном тесовом срубе, с шумом двигалось огромное колесо, ворочая толстый вал с железными шипами, подшипниками, приводя в движение штанги.

А на другом конце завода столпились коногоны, горщики, прислушиваясь к работе машины. Она добросовестно и жадно

выкачивала из рудника воду. Вокруг бегал взлохмаченный, взволнованный Козелок и восторженно кричал:

— Братцы, братцы, гляньте, что робится! Милушка-голубушка, вот коли спасение пришло!

Все смотрели на Степанку Козопасова, который и сам ходил словно хмельной. Вот когда настал счастливый час! Он ждал, что Любимов вот-вот вынет из кармана указ Демидова о даровании ему воли, но управитель очень тщательно оглядел машину, со злой улыбкой посмотрел на коногонов и сказал им:

— Что, мужики, отробились! Ну, Степан, едем в контору! — пригласил он Козопасова в тележку.

Мастер сел рядом с управителем, и кони тронулись. От рудника до конторы рукой подать, но за этот короткий путь Козопасов много раз переходил от радости к отчаянию, от разочарования к надежде.

«Не может быть, чтобы обошли! Экий рудник спас!» — стараясь убедить себя, думал он.

В конторе Александр Акинфиевич выложил перед Козопасовым тысячу рублей ассигнациями.

— Гляди, милоч, сколь щедрый наш господь! — с лукавством сказал он.

Мастер медлил, все ждал чего-то. Управитель нахмурился.

— Аль недоволен чем? Забавно!

Степан молча взял деньги, нахлобучил шапку и, сгорбясь, покинул контору...

Три дня никто не видел Козопасова. На четвертый его отыскал Черепанов у тайной кабатчицы. Степанко был пьян, мрачен.

— Не тоже так! — сурово сказал ему Ефим. — Великое дело сробил, а загулял, будто с горя!

— С горя и от обиды! — хрипло выкрикнул Козопасов, и по щекам его покатались слезы. — Ждал вольной, а вот она где, вольная! — схватился за бороду механик. — Поманила, и нет!

— Обида, жестокая обида! — согласился Черепанов. — Но и то рассуди, сколько народу спасла твоя машина от потопа, радуйся. Того и ждали, что не сегодня, так завтра хлынет поток в забои... Идем, Степанко, тебя ищут!

Растрепанный, с блуждающими глазами, пошатываясь, Козопасов поплелся за Ефимом. И у Черепанова нехорошо стало на сердце.

«Вот она, наша доля!» — с огорчением подумал он, поглядывая на товарища.

Не знал он, что в письме о машине Козопасова Демидов писал управителю завода:

«А как во всем начальник должен быть еще более награжден, то чтобы сделать удовольствие Александру Акинфиевичу Любимову, даю отпускную его зятю, а сестре его приданое из конторы 2000 рублей ассигнациями».

Вот как обернулось дело!

Только в работе и забывались Черепановы. Мирон старался изо всех сил: сколько умных приспособлений придумал он, чтобы упростить машину, облегчить ее. Каждая выполненная им деталь, взятая в руку, сверкала чистотой отделки и радовала сердце. Большой талант таился в широкоплечем высоком парне, на верхней губе которого золотился пушок. Только он да отец могли с такой тонкостью отполировать цилиндры и подогнать к ним поршни. Работа спорилась. За нею незаметно ушла осень с темными волчьими ночами, убрались осенние воды из пруда: жадно выпил их большой Тагильский завод, немало пропустило их вододействующее колесо Козопасова. Заметно для глаза понизился горизонт прудовой воды, обнажились прибрежные серые валуны. Река Тагилка хорошо замерзла. В заводях и протоках заблестел под скупым солнцем зеркальный лед, такой прозрачный и тонкий, что сквозь него видны были мшистые камни на дне, водоросли и рыбы резвые стайки. По утрам потрескивали морозы, стужа сковала горные потоки. Могучие кедры над речным яром стояли тихие, темные.

В одно октябрьское утро в избе внезапно посветлело. Ефим подошел к окну. Все сверкало кругом чистой белизной. Ночью выпал снег, и он сейчас так лучился, что невозможно становилось смотреть. А на пруду, горах и в лесах лежала такая успокаивающая тишина, что у мастера замирало сердце от чистой радости.

«Вот когда наша машина покажет себя! — подумал Черепанов. — Осенью воды много, не жалко, в горах то и дело идут дожди, и пруд все время пополняется. А вот зимой попробуй набери ее, чтобы двинуть колеса!»

В это светлое утро Черепанов в первый раз пустил свою паровую машину. Она высилась на прочном каменном фундаменте, дышала ровно, ритмично. Плавно, размеренно ходили шатуны, и насосы не задыхались, не захлебывались, как прежде. По трубам, певуче позванивая, весело, торопливо бежала из шахты вода.

Очарованные Черепановы молча стояли перед созданием своих рук. Они казались пигмеями перед огромной машиной, а она покорно выполняла их волю. Радость, самая настоящая и глубокая, наполняла сердца механиков.

На этот раз в срубе, в котором работала машина, собралось не много народу. Любимов стоял в задумчивости перед механизмами и прикидывал выгоды. Его несколько пугало, что в топку уходило много дров. Подумать только — две кубические сажени в сутки! И все-таки работа паровой машины обходилась в двенадцать раз дешевле конной. Вода, конечно, даром, но где ее взять в мелководье?

— Спасибо, Ефим Алексеевич, — без спеси заговорил с механиком управляющий. — Выручил рудник! Чую я, что твоей машине будет почет на заводах!

Этими скупыми словами и ограничилась похвала. Александр Акинфиевич ушел из клетки спокойный, горделивый: медный рудник спасен и будет процветать!

Он отдал распоряжение снять конные погоны, лошадей перевести на другие работы, а конононов поставить на завод к гвоздарному делу. Этим он сберегал хозяину большие деньги.

Демидов остался доволен донесением управляющего и написал Александру Акинфиевичу письмо о весьма полезном действии механики. Вслед за этим письмом от Николая Никитича последовало распоряжение в нижнетагильскую контору о создании должности приказчика механических заведений и о назначении на нее Ефима Черепанова. Отцовское место плотинного на Выйском заводе занял его сын Мирон.

В России стоял апрель с его синими прохладными зорями, с водопольем, с вешним звучанием резвых ручьев и гомоном перелетных стай. Только-только забродили соки в белоствольной березке и на пригретых местах из земли полезли зеленые упругие иголки травинок. Милая русская земля! Николай Никитич только сейчас, на смертном одре, почувствовал тоску по родным краям. В большом флорентийском дворце своем умирал демидовский потомок. За окном буйствовала природа чужой страны. В апельсиновых рощах оранжевым цветом пылали плоды, и казалось, что кто-то заботливый щедро развесил среди густой зелени тысячи тысяч цветных фонариков. В распахнутые настежь широкие окна спальни вливалось благоухание, и большие пестрые бабочки вились над клумбами, подобно манящим огонькам. Густо синело застывшей эмалью небо.

На широком ложе, покрытом шелковым балдахинном, утонув в пуховиках, отходил потомок уральских заводчиков. Ему только что минуло пятьдесят пять лет, но жизнь ушла из его хилого, истощенного тела. Лежал он маленький, тщедушный, с крохотным восковым лицом, и бесконечная усталость читалась в угасающих глазах. Ничего величественного, привлекательного не осталось от когда-то сильного и жизнерадостного гвардейца екатерининских времен. Радости, увлечения, зависть и страсти оставили больное, иссохшее тело.

У дверей, в кресле, сидел упитанный большеглазый итальянец-лекарь. Молчаливо и неподвижно смотрел он на облаченного в епитрахиль седенького православного священника, который читал отходную.

Вряд ли уже слышал Николай Никитич медленные грустные слова отходной молитвы: он лежал неподвижно, с остекленевшими глазами. В комнате стыла могильная торжественная тишина, и одинокие залетевшие в покой бабочки только подчеркивали ее. В луче яркого южного солнца беспомощно трепетал огонек тоненькой восковой свечки. Капельки ярого воска стекали по свечке и падали на лакированный столик, стоявший у изголовья умирающего.

Отзвучали последние слова молитвы, священник задул свечку, снял и неторопливо свернул епитрахиль. Он скорбно склонился над

Демидовым и долго прислушивался. Все кончено! Иерей истово перекрестился:

— Упокой, господи, душу новопреставленного раба твоего...

Лекарь подошел к ложу и почтительно склонил голову.

В ясный лазурный день уральский властелин покинул земную юдоль, а вместе с нею огромное богатство, созданное великими муками работных людей. Тридцать тысяч крепостных, не зная отдыха, голодные и оборванные, трудились над созданием демидовских сокровищ. Огромные пространства уральских земель и лесов, пятнадцать действующих заводов, десятки деревень, горы металла и груды драгоценных камней, картины великих мастеров, фарфор и золотая утварь — все осталось наследникам, сыновьям Павлу и Анатолию Демидовым, так сходным между собой в тунеядстве и различным по характеру.

По воле покойного, его решили похоронить на далекой родине, для которой он являлся чужим и немилым. Тело положили в гроб, заделали в цинковый ящик и в ожидании приезда наследников поставили в склеп.

Вскоре прилетели осиротевшие птенцы в опустевшее палаццо. Никто из слуг не заметил на их лицах ни скорби, ни разочарования. Старший, Павел, среднего роста, заметно пополневший, с ранней лысиной, деловито распоряжался разделом. Младший, шестнадцатилетний Анатолий, только что прибыл из Парижа, где оставил лицей. Он предоставил хлопотать по хозяйству брату, а сам занялся молодыми флорентинками.

Павел Николаевич не покривил душой перед братом и произвел раздел поровну. Два огромных корабля по его приказу были нагружены демидовскими сокровищами и отправлены в Россию. Управителю санкт-петербургской конторы наказали срочно подыскать земельный участок и отстроить на нем приличествующее здание для размещения сокровищ. Павел Данилович по получении эстафеты немедленно наложил траур в Нижнем Тагиле, а затем быстро отыскал на Васильевском острове место для постройки и приступил к возведению хором для своеобразного музея.

Покойный Николай Никитич не забыл и Флоренцию, завещав городу огромные суммы. Итальянцы не остались в долгу, и на одной из флорентийских площадей, названной в честь его Piazza Demidoff,

воздвигли ему памятник. Досужие люди дознались, что монумент этот возвели на средства Демидовых...

Тело Николая Никитича осенью 1828 года повезли из солнечной Италии в Нижне-Тагильский завод, отстоявший от Флоренции более чем на шесть тысяч верст. Гроб водрузили на особо сооруженный катафалк, накрыли черным покровом из тонкого сукна, обложенным по краям и посередине серебристым газом. Шесть черногривых сильных коней, покрытых черными попонами со сверкающей отделкой, повезли колесницу через всю Европу, вызывая удивление и любопытство встречных. Осенние дожди, грязь и ливни, зимние метели и снежные заносы, ледоставы и вскрытие рек не остановили мрачного кортежа. В России гроб с останками Демидова провозили через города с большой пышностью. Особенно торжественно встретили и провожали похоронную процессию в Киеве. Через весь город колесницу с гробом сопровождали киевский епископ Кирилл и многочисленное духовенство. Хор певчих огласил улицы. Возле каждой церкви, мимо которой везли прах, останавливались, читали евангелие. Унылый звон колоколов сопровождал печальное шествие.

Спустя недели за Киевом последовала Тула. Однако тульские оружейники только из любопытства вышли посмотреть на диковинное зрелище.

— И куда тащат мертвое тело за тысячи верст! — неприязненно встретили они своего бывшего хозяина. — У нас и своих живых живоглотов хоть пруд пруди!.. А кони-то кони!..

Кроме духовенства и одиноких мещан, никто не провожал тульского заводчика.

Пошли унылые дороги, перелески, деревеньки, занесенные сугробами. Измученным крепостным не было дела до Демидова. Сопровождаемый четырьмя драбантами^[26] в черной одежде, экипаж медленно катился среди полей, как мрачное привидение...

Похоронили Николая Никитича Демидова в Нижнем Тагиле с большой пышностью во вновь отстроенной Выйско-Николаевской церкви. По наказу наследников управляющий заводами Любимов не поскупился на расходы: храм отстроили с прекрасным резонансом, обилием света и драгоценной живописной росписью. Стены церкви

снаружи в нижних частях обложили огромными чугунными плитами, пол тоже сделали чугунный. Отныне под полом стала находиться усыпальница рода Демидовых. Отслужили панихиды, сорокоусты, одарили нищих и с покойником покончили.

Теперь Александр Акинфиевич и вся ниже-тагильская челядь стали с треволнением ждать наследников. На Каменном Поясе никто и никогда не видел демидовских потомков. Было лишь известно, что оба брата воспитывались во Франции. Старший сын Павел Николаевич, которому перемахнуло за тридцать годков, в эту пору оставил военную службу и успешно подвизался при царском дворе в звании егермейстера. Младший, Анатолий, жил безвыездно в Париже, где только-только покинул лицей. Все остальное было покрыто мраком неизвестности — это особенно озадачивало управляющего заводами.

Любимов родился и вырос в Нижне-Тагильском заводе, возвысился до управляющего. Покойный владелец отличал его, и жизнь Александра Акинфиевича протекала плавно, гладко; Николай Никитич последние годы жил безвыездно во Флоренции, и управляющий заводами чувствовал себя властителем в Тагиле. Правда, на первых порах Санкт-Петербургская контора причиняла много хлопот и неприятностей, но умный и рассудительный тагильский управитель съездил в столицу и сумел столкнуться с Даниловым. Оба они хорошо понимали друг друга.

«Так-то оно лучше: в ладу да в учтивости. Рука руку моет!» — думал Александр Акинфиевич и не скупился на поминки-подарки главному демидовскому управляющему.

Сейчас одно беспокоило Любимова: как поведут себя молодые наследники? Будут ли они по-прежнему жить на отлете или приедут и осядут в родовом горном гнезде? Ко всему этому у Любимова имелась своя тайная тревога и о другом. Управляющий жил бирюком: жена умерла от мучительных родов, оставив ему дочь Глашеньку. Девушке шел шестнадцатый годок. Она была стройная, беленькая, как весенняя березка в соку, а глаза синие. Обладала она чистым и приятным голосом; запоет — песня в душу просится. Любил отец после хлопотливого дня забраться в светелку дочки и послушать ее песни. Хороши и привольны, за душу берут русские песни, но в устах Глашеньки они звучали еще сердечнее, еще теплее.

Слушая дочь, Александр Акинфиевич умилялся:

— И в кого ты удалась, моя радость?

Склонив головку с золотыми косами, девушка улыбалась отцу и еще звонче пела. Жила Глашенька в верхней светелке, за дальними переходами барского дома, в той самой, в которой в давние-предавние годы томилась красавица полячка Юлька. Много позабылось людьми о той стародавней поре, только среди седых горщиков да дедов-литейщиков, ныне изработанных, ходили тайные сказы о Катеринке Медвежьем огрызке да красавице Юленьке, казненной Митькой Перстнем. Сказы эти знала и Глашенька: их не раз тихими словечками, нанизывая, как жемчуг, по секрету рассказывала няня — старенькая ласковая Домнушка. То, что она живет в светлице, где когда-то распевала Юленька в жгучей ревности и страдала Катеринка, — все это волновало Глашеньку. В ее сердце рано проснулось беспокойное ожидание любви. Она пела, радовалась жизни, но приходили часы — и молчаливая, грустная девушка долго сидела у оконца.

Однажды на вопрос Домнушки, о чем грустит девушка, Глашенька сладко потянулась и призналась с беспорочной простотой:

— Ах, бабушка, как хочется полюбить всласть!

Старуха не на шутку перепугалась, бросилась к иконам, зажгла лампаду и весь вечер молилась:

— Пронеси, господи, наваждение!

Домнушка скрыла от отца раннее пробуждение тоски в сердце Глашеньки. Морщинистая, сгорбленная няня не осуждала питомицу. Да и как осуждать, если даже сквозь каменные могильные плиты пробивается в щели зеленая травка, если и спустя полвека сама Домнушка не могла забыть своей счастливой поры!

Однако управитель догадывался о многом и, ожидая приезда молодых демидовских наследников, больше всего опасался, чтобы его единственная Глашенька не попалась им на глаза. Он отлично знал натуру столичных стервятников! Чтобы отвести беду, он подолгу беседовал с дочкой и, между прочим, заводил речь о любви.

— Нет ничего краше и дороже любви! — спокойно говорил он ей. — Но любовь — что облачко: дыхнешь и улетит, растает, а потому беречь ее надо и попусту нельзя звать это чувство к себе. Когда человек в поре, то оно краше и сладостней!

Однажды отец пришел в светелку, сел к столику и начал осторожный разговор с дочкой. Он вынул из одного кармана

новенький золотой лобанчик^[27] и положил его на ладошку девушки.

— Гляди, Глашенька, как горит! Красив. Вот и любовь — как этот лобанчик золотой: пока он у тебя цельной монетой в кармане, — ты богач! А вот! — Он полез в другой карман и извлек из него горсть грязных, истертых медяков. — Глянь-ка сюда! Видишь? Разменял лобанчик на тысячу копеечек, — стал нищим: и таскать медяшки трудно, и грязные они, тусклые! Так и любовь: беречь ее надо до настоящего часа.

Глашенька рдела, но внимательно слушала отцовские поучения.

...Старший наследник Павел Николаевич Демидов жил в отцовском особняке в Санкт-Петербурге. Утесненный в средствах, которые по наказу отца отпускали из главной конторы (а отпускали немало, сто тысяч рублей в год), молодой егермейстер двора потихоньку влезал в долги. Балы, которые он давал, не отличались роскошью. Не раз он вступал в перепалку с прижимистым Даниловым, но тот непреклонно гнул свою линию:

— Для вас же стараюсь! Придет время, господин, и помянете меня добрым словом!

Ждать приходилось долго, батюшке подходило только к шести десяткам; сколько он протянет, кто знает? Однако все обернулось неожиданно приятной стороной: Николай Никитич оставил земную юдоль и перекочевал в подвал тагильской церкви. Тут-то и встрепенулся егермейстер двора Павел Николаевич. Он задал такой бал на поминовение души батюшки, что о нем долгое время говорили в столице.

Данилов, проводя расходы владельца по счетным книгам, пришел в неопишное волнение:

— Батюшка, господин мой, да ведь с такими пирами и в трубу вылетим!

Демидов строго поглядел на управляющего, и тот поразился выражению лица и взгляду своего хозяина: что-то новое, грозное читалось в них. Не успел он опомниться, как егермейстер холодно и властно сказал:

— Что за господин такой? Господином величают и мелкого чиновника и дворянина-одногодворца. Отныне и до века в обращении ко мне дозволяю применять только полный титул! Разумей, раб, и повтори за мной!

Туман заволок глаза Данилова: никак он не ожидал такого внезапного высокомерия. Чувствуя под собою колебание почвы, он рабски повторил вслух:

— Ваше превосходительство... Егермейстер двора его императорского величества... Кавалер орденов...

На лбу у старика выступил холодный пот. Повторив все титулы и величания, он спросил:

— Так, господин, каждый раз и в бумагах то ж?

— Олух! — заорал Демидов. — Сказано, не просто господин, а ты вновь за старое! В бумагах особо, хоть донесение и в одну строчку, а титул полный! Потом о деньгах — не пикни! Я тут хозяин. Заикнешься — выкину или в далекую вотчину свинарем сошлю!

Хотел Павел Данилович заикнуться: «Да ваш батюшка давно мне вольную дал!» — однако промолчал: кому охота оставлять теплое, насиженное место?

На другой день Демидов издал указ по Санкт-Петербургской конторе — именовать ее главной, Данилова отныне величать главным директором, Любимова — директором ниже-тагильских заводов, а прочих — управляющими. От пышных наименований, конечно, ничего не изменилось, но старику было лестно это величание. Он немедленно отправился к молодому хозяину и в припадке рабьей преданности облобызал его ручку.

Одряхлел телесно Данилов, не так поворотлив стал, однако быстро изучил характер Демидова и не менее быстро приспособился к нему.

Молодой хозяин уже не довольствовался седым крепостным камердинером и нанял для услуг к своей особе тощего бритого и нелюдимого на вид англичанина Джемса. Иноземец на всех смотрел свысока, говорил мало, держался невозмутимо; по губам его скользила брезгливость. Барина он одевал всегда с великой важностью, словно поп обряжал архиерея.

По вступлении в наследство Павел Николаевич решил выехать на Урал и осмотреть заводы. Началась подготовка к дальней дороге: чинили экипажи, готовили возки с кладью, издавались приказы по тагильской конторе. Павел Данилович спешно написал Любимову, как подобает встречать хозяина и что ему показывать. В марте сборы

окончились, и Демидов, испросив разрешение у государя, отбыл на Каменный Пояс.

Далек и однообразен зимний путь! В опустелых полях, как вдова на похоронах, надрывно голосила метелица. Она злилась, швыряла в глаза Демидову пригоршни колкого снега и снова заходилась воем. Как челнок по вздыбленным волнам, нырял возок с пригорка в ухаб, с ухаба в сугроб. Конца-краю не предвиделось пути; минули Москву, Арзамас, пересекли Чувашию, оставили позади Волгу и после долгих неудобств добрались до Башкирии.

Молчаливый слуга-англичанин сидел рядом с ямщиком и удивленно поглядывал на необъятные просторы. Он не утерпел и сказал:

— Как велика ваша Россия!

Русский ямщик поднял голову и с гордостью отозвался:

— Расея-матушка просторна, без конца-краю. Мы ведь только краешек с тобой отхватили, а все еще впереди! Вот и попробуй, потягайся с таким царством-государством! Никто и никогда его не сломит!

Льдистыми синими глазами англичанин неприязненно смотрел вперед, о чем-то думая.

— Что ж ты молчишь? — толкнул его в бок бородатый молодец.

— Велика страна, а городов мало! — хмуро отозвался камердинер.

— Неверно! — вступился за свою землю мужик. — Городов много, но еще больше простору. И край-то наш молодой. У русских все впереди! Нам еще жить да жить! А кто молод, за тем радость и счастье!

Англичанин не отозвался, замкнулся в себе...

В одно утро перед путешественниками на горизонте встали горы. Поскрипывая полозьями, обоз медленно поднимался на увалы. Величаво кругом шумели бесконечные дремучие леса, впереди под самое небо поднимались темные вершины — шиханы — и неумолкаемо гремели не замерзающие даже в лютую зиму падуны-ручьи.

За сто верст от Нижнего Тагила демидовского наследника встретили высланные Любимовым конники: лесничие, егеря, казаки. Они сопровождали возок хозяина до самого завода.

Тем временем в Нижнем Тагиле с минуты на минуту ждали высокого гостя. Во дворец согнали десятки поденщиц. Они прибирали, чистили, выбивали дорогие бухарские ковры, промывали пыльные хрустальные люстры, натирали воском паркет. Из каменных кладовых, из заветных окованных сундуков вышколенные слуги извлекали дедовскую утварь: золотые кубки, серебряные чаши, парчовые скатерти. Спешно изготовили для дворни новые наряды с галунами. Казалось, снова ожил дремавший до сих пор барский дворец. Всюду мелькали бритые лакеи в темных фраках, гайдуки, скороходы, казачки для мелких услуг. В горницах и залах, проветренных и заботливо натопленных, сейчас все сверкало, блестело и переливалось.

На синем рассвете в Николин день на завод прискакал егерь и передал управляющему, что хозяин вступил в пределы своего владения, а к полудню его надо ждать в Тагиле.

Поспешно распахнули ворота. Управляющий вместе с приказчиками, уставщиками, кричными мастерами, кафтанниками — почтенными стариками, отслужившими Демидовым верой и правдой по многу десятков лет, — суетился на площади. В церкви рядом мелькали огоньки возженных свечей и лампад. На паперти и по дороге, ведущей к ней, разбросали пахучую хрустящую хвою. Маленький тощий священник с жидкими косичками, заправленными под вытертый воротник старой шубенки, спозаранку суетился в притворе: приготавливал хоругви, икону для благословения. Крепкий рыжий детина дьякон с красными, как у кролика, глазами поминутно раздувал кадило. Кудреватый синий дым струйкой поднимался и быстро таял в морозном воздухе. Иерей поминутно выбегал на паперть и, задрав бороденку, взывал к звонарю:

— Гляди не прозевай!

Под большим медным колоколом стоял в полушубке и в пимах бородатый звонарь и зорко всматривался в белесые дали.

Александр Акинфиевич в последний раз осмотрел медную пушчонку, выставленную подле барского дома. Отставной артиллерист надраил орудие до блеска и зарядил двойным зарядом.

— Ты уж, Иванушка, постарайся! — просил Любимов. — Тарарахни так, чтобы гул по горам великим громом раскатился!

Пушкарь поежился, признался:

— По вашему приказу зарядил, да страшновато. Пушчонка по годам ровесница прадедам, да и палили из нее давненько. Ненадежна!

— Пали, выдержит! — приказал управляющий. — Как только сойдет из саней господин, так и дуй горой!

— Уж вы не беспокойтесь. Пальну, как ведено!

Как ручейки в вешнюю талую пору, на площадь с говором стекался народ. Пришли черномазые углежоги, вылезли на-гора истомленные горщики, явились литейщики, кузнецы. Запестрели цветные платки заводских женок, и зазвенели над снегами резвые ребячьи голоса. Людское море волновалось, гудело. Тусклое солнце, как совиное око, выглядывало из-за туч. Дорога была пустынна, — всех проезжих и пешеходов полицейщики согнали в сторону, в сугробы.

Но вот вдали вихрем закрубился снежок, мелькнула черная точка, быстро, на глазах, увеличиваясь.

— Едут! — закричал на колокольне звонарь и вслед за этим ударил в колокол. Тяжелые гудящие звуки поплыли над заводом, над прудом и дальними горами. Священник в рясе, надетой поверх шубки, вышел с иконой на паперть. За ним вынесли хоругви, подхваченные ветром. Управляющий бросился вперед...

Все уловили звон бубенцов, который с каждым мгновением нарастал и становился все ближе и ближе. Минута — и на дороге выросли и взметнулись вихри снежной пыли. Впереди неслась резвая тройка серых. Позади саней, вытянувшись в струнку словно гончие, на мохнатых башкирских иноходцах скакали егеря. И дальше, оглашая просторы звоном колокольчиков, неслись еще две тройки.

— Едут! Едут! — заволновались в толпе, и все стали тесниться к паперти, на которой суетился в ожидании Демидова церковный причт со священником во главе.

Тройка серых, покрытая паром, закусив удила, бешено вынеслась на площадь. Бравый кучер в косматой папахе во всю глотку кричал:

— Эй, сторонись! Разда-й-ся!..

Народ отхлынул в стороны, и образовалась широкая улица, в которую остервенело ворвалась взмыленная тройка. Ямщик-удалец

натянул вожжи, и кони-звери как вкопанные остановились у самой церкви.

Любимов на ходу смахнул с головы ушанку и закричал зычно:

— Ребята, хозяину ура!

— Урр-р-а! — покатилося над площадью, над прудом и горами.

Три бородатых кержака, в дареных господских кафтанах из синего сукна с позументом по вороту и на полах, во главе с управляющим предстали с низкими поклонами перед мягким меховым узлом, втиснутым в сани.

— Извлекь! — раздался басовитый голос из узла.

Дядьки и егеря под восклицания толпы извлекли из саней чучело, завернутое в шубу, на которую напаян был широчайший ергак^[28], с сибирским малахаем на голове. Где-то в глубине мехового воротника белело лицо.

— Поставьте на ноги! — прохрипело из узла.

— Ваше высокопревосходительство! — восторженно возопил Любимов.

Егеря бережно поставили Демидова перед иконой, горевшей позолотой на солнце. На ветру колебались хоругви. Из кадила, которым усердно размахивал дьякон, взвились синие витки дыма. Управитель услужливо снял с головы заводчика малахай и откинул воротник шубы. Перед тагильцами предстало румяное, сытое лицо Павла Николаевича с усталыми серыми глазами. Священник выступил вперед и, осеняя иконой прибывшего барина, испуганным голосом речитативом изрек:

— Благословен ваш приезд, ваше высокопревосходительство, господин егермейстер двора его императорского величества, кавалер...

Попик запнулся, запомнявав дальнейший титул Демидова, и, чтобы отвести грозу, возопил на всю площадь.

— Ваши подданные счастливы зреть вас в здравии и в расцвете сил! — Священник переглянулся с дьяконом, и тот, а за ним и хор рявкнули:

— Многая ле-е-та-а!.. Многая ле-е-та-а!..

Под возгласы хора вдруг грозно ахнула пушка: над площадью загремело-загрохотало, над толпой с визгом пронеслись осколки: к счастью, ребят не задело, но пушкарь Ивашка завыл от боли: ему

оторвало руку. От большого заряда пушку мгновенно разнесло, дым поднялся волной.

Демидов в страхе зажал уши, тяжело упал и покатился в сугроб. Народ бросился врассыпную. Развевая бороденкой, перепуганный священник, зажав под мышку икону, проворно юркнул в церковный притвор и часто-часто закрестился:

— Свят, свят! С нами бог и всемилостивая защита!

Дьякон брякнул кадиллом, хотел снова рывкнуть многолетие, но раздумал и махнул рукой:

— Светопреставление! И что, нечестивцы, надумали?

Дым постепенно рассеялся, все понемногу пришли в себя и с опаской стали сходиться к храму. Управляющий с егерями извлек барина из сугроба, и его под руки повели в дом. Егермейстер устало передвигал онемевшими ногами. Был он очень бледен и взволнован.

— На что же это похоже? — сердито выкрикивал он, и затуманенные испугом глаза его укоряли управляющего. — Это что же, своего властелина задумали загубить?

Дрожа в ознобе, Любимов не мог вымолвить и слова.

— Ва-ва!.. — мямлил и заикался он. — Пп-у-шку не до-гля-де-ли, ше-ль-ме-цы!

— Бездельники! — взвизгнул, переступая порог прихожей, Демидов. — Я вас закатаю, всех перепорю!..

Внутри у него все кипело и клокотало. В приемной на скамьях в ожидании барина сидели лесничие, приказчики, кафтанники, пристав. При появлении хозяина их словно ветром сдуло со скамьи. Они разом вскочили и дружно низенько склонили головы.

— А, воры, расхитители! Вот ты! — заревел Демидов и схватил за седую бороду старика приказчика, который рабски верно отслужил на заводе добрых полвека. — Много нахапал? Сказывай! — Резким движением он рванул его вправо-влево, отчего голова старика мотнулась, а на глазах выступили слезы.

— Батюшка! — вырвал из рук Демидова бороду и упал ему в ноги приказчик. — Еще деду вашему я служил и кафтаном от него награжден. Да мы живот свой, батюшка, готовы за вас положить!

— Врешь, стервец! — оттолкнул его Демидов и пошел дальше. За ним поспешил Любимов.

— Ваше высокопревосходительство, успокойтесь! Ради бога, успокойтесь! — с отчаянием взмолился он, обретая наконец дар речи. — Здесь собрались только самые преданные ваши слуги, верноподданные!

— Раздеть! — закричал заводчик.

Джеме, следовавший по пятам господина, молча стал разоблачать его. К нему на помощь угодливо бросился Любимов. Он встал на колени и осторожно стащил с Демидова большие валяные сапоги. Управляющий все еще боялся хозяйского гнева и, с готовностью перенести огорчения, преданно и заискивающе смотрел ему в глаза. Однако Павел Николаевич, видимо, израсходовал последние силы. От жарко натопленных печей Демидова разморило, по телу разлилась истома. Он осоловело взглянул на Любимова и примиренно прошептал:

— Чарочку!

Барина бережно взяли под руки и повели в одних чулках в столовую. Только подошли к двери, как она разом широко распахнулась и на пороге с подносом в руках встала веселая, румяная Глашенька.

Демидов сразу востроился, лицо стало умильным. Он улыбнулся и потянулся к отпотевшему графинчику с водкой.

— Ах, боже мой, и что за красавица такая? Откуда она? — не сводя глаз с девушки, подобревшим голосом заговорил он.

Вперед выступил управляющий и смиренно склонил голову:

— Моя дочь, ваше высокопревосходительство. Увидела ваши напрасные тревожения и выбежала навстречу.

— Вот молодец! Вот умница! — любуясь Глашенькой, похвалил Демидов и осторожно взял девушку за подбородок. — Не знал я, что у тебя, борода, такая красавица дочь! — закончил он совсем мирно, залпом хватил чарку хмельного и повеселел.

Сутки отсыпался Павел Николаевич с дальней дороги. После отдыха его свели в баню, знатно выпарили, размяли вялое тело, умыли, уложили, как восточного властелина, на мягкую софу в предбаннике, поставили перед ним наливки и разложили яства. Демидов сладко

прищурил глаза и вдруг спросил Любимова, благосклонно хлопая его по плечу:

— Скажи-ка, хитрец, для кого дочку бережешь?

Управляющий затрепетал. Потупив глаза, он со скорбью в глазах ответил:

— Не доведет господь оберечь мое богатство. Больна моя доченька, ваше высокопревосходительство. Чахотка!

— Но ведь она румяна, как яблочко? — усомнился Демидов.

— В последнем градусе ходит, вот хворь на ланитах и горит-играет! Ох, и горько моему отцовскому сердцу такое выстрадать! — Управляющий сокрушенно вздохнул и перекрестился. — Да будет на все божья воля!

Павел Николаевич осторожно отодвинулся от Любимова, недовольно насупил брови.

— Что же ты раньше мне об этом не сказывал, а подослал с чаркой?

— Сама выбежала, ваше высокопревосходительство. Как завидела в оконце вас, так дух ей от радости и восторга захватило и, не спросясь, сорвалась навстречу.

Демидов ощупал свое полное, вялое тело и недовольно покосился на управляющего:

— Полагаю, на сей раз пронесло. Боюсь заразы. Не скрываюсь, боюсь! Ты убери ее подальше от моих покоев. Да и сам ко мне близко не подходи!.. Жаль, весьма жаль, красива клубничка, румяна, да опасна!

Любимов рабски пролепетал:

— И на глаза хворую не пущу!

В тот час, когда Демидов наслаждался банным теплом, в курной избушке, крытой дерном, отходил пушкарь Иванка. Горщики донесли его до хибары и уложили на скамью. Сердобольные женки обмыли рану, перевязали, да уже поздно: кровью изошел старик. И когда Демидов вспомнил о нем и вызвал пушкаря на суд, ему доложили:

— Иванушка приказал долго жить. Антонов огонь прикинулся, и умер, бедолага. Перед господом богом он теперь слуга!

— Некстати поторопился! Не расчелся за содеянное с хозяином и грех в могилу унес! — недовольно сказал Демидов.

Работные стояли молча, опустив головы. Кипело у них в груди, да что скажешь барину, когда у него сердце каменное, а душа червивая? Эх-х!..

Демидов словно не видел тяжелой жизни работных. Приходя в темные холодные цехи, он подолгу присматривался к работе. Впервые Павел Николаевич увидел и рассмотрел пышущие жаром домны, обжимные молоты, людей же он как будто не замечал: держался высокомерно, ни с кем не вступал в разговор. Старый литейщик, который знал отца и деда его, не утерпел и смело подошел к заводчику.

— Ваша милость, поглядите на защитку! Совсем погорела от огня! — обратил он внимание Демидова на кожаный фартук. По запекшемуся лицу рабочего лил пот, ворот ветхой рубахи был растегнут, большие жилистые руки устало повисли вдоль тела. Глянув на чумазое, покрытое потом и сажей лицо литейщика, заводчик брезгливо отвернулся от него и, оборотясь к Любимову, спросил:

— Чего он хочет?

Управляющий потупил глаза, заюлил:

— Он говорит, защитка погорела! Сами изволите видеть, ваше превосходительство, как им не погореть в таком пекле. Разве напасешься?

Рабочий шаркнул по чугунным плитам пряденьками^[29] и снова очутился перед лицом хозяина.

— Это верно, она долго не выдерживает, но ведь давненько ее меняли. А нам каково, тело запекается. Поглядите, кожа лопается! — настойчиво говорил литейщик, размахивая снятой войлочной шляпой.

— Любимов, о чем говорит этот холоп? — багровея, спросил Демидов.

Моргая глазами работному, чтобы он ушел, управляющий угодливо передал заводчику:

— Ваше высокопревосходительство, он просит, чтобы чаще меняли защитки.

— Хоть раз в год! — добавил литейщик.

Демидов хмыкнул носом и снова отвернулся.

— Передай ему, Любимов, что этого делать нельзя! — сердито сказал Павел Николаевич. — Стыдно разорять хозяина. Эка важность,

подумаешь, если запечется от жара лицо раба! Ведь ему не в полонезе идти! — улыбнулся своей шутке Демидов.

Любимов слово в слово повторил речь барина, стараясь всей своей грузной фигурой оттеснить рабочего.

— Так! — с укором выдохнул литейщик. — Работенка каторжная, а барин и говорить с нашим братом не хочет. Снизойти не желает! Эх-х! — Работный дерзко напялил на лохматую голову войлочную шляпу.

— Любимов, это еще что? Шапку перед барином долой! Высечь дерзкого! — распаляясь гневом, закричал Демидов.

— Что ж, и на том спасибо! — мрачно посмотрел на заводчика работный.

— Взять! Немедля взять! — взвизгнул егермейстер.

Словно из-под земли выросли два гайдука и схватили литейщика. Барин отвернулся и, посапывая, быстро, вперевалку пошел к выходу. На ходу он отчитал управляющего:

— Дерзости! Одни дерзости! Распустил! Гляди, сам бит будешь!

Побледневший Любимов тихо брел за хозяином, рабски отмалчиваясь, давая ему «выходиться».

— Сани! — крикнул Павел Николаевич.

Его бережно усадили и повезли.

— Куда прикажете, ваше превосходительство? — осведомился управитель.

— На Выйский рудник!

Кони быстро доставили их на медный рудник. Над бревенчатым срубом поднимался пар.

— Что это такое? — спросил заводчик.

— В сем амбаре работает водокачальная паровая машина Черепанова, ваше высокопревосходительство. А вот он и сам!

У распахнутых дверей стоял плечистый старик, без шапки, не боясь холода, в легком кафтане. Демидов вышел из возка и с важностью пошел к амбару. Ефим остался стоять у дверей. Он дождался, когда подошел Демидов, и степенно, без унижения, поклонился ему.

— Черепанов? Весьма рад, весьма рад! — заговорил Павел Николаевич. — Ну-ка, покажи свою машину.

Ефим Алексеевич провел прибывших в полутемное помещение. В глубине амбара высилось сложное механическое сооружение. Демидов

загляделся на работу машины: ритмично ходили шатуны, с невероятной быстротой вертелся маховик. Все части ее были начищены и блестели. Вокруг — чистота. У рычагов в кожаном запоне стоял сын Черепанова — Мирон. Он учтиво поклонился Демидову.

Павел Николаевич, вглядываясь в непонятные для него механизмы, обошел паровую машину. В крупные детали он тыкал перстом и спрашивал:

— А это что?

Ему объясняли, но он ничего не мог понять, сердился, однако обнаружить свое незнание не хотел.

— Превосходно нами придумано! — горделиво подняв голову, важно заявил он.

Черепанов спокойно выслушивал хозяина. Поведение механика, его сдержанность не понравились заводчику.

— Ты что же помалкиваешь? — хмурясь, спросил Демидов. — Разве ты недоволен своим хозяином?

— Премного довольны! — степенно поклонился Ефим, а на душе стало тоскливо. Он с грустью подумал: «Рассудил бы, сколько людей сия машина от беды спасла!»

Демидов поморщился и сказал:

— Доволен-то доволен, а вот стоило ли ставить сей самовар? Дорог весьма. Ну да ладно, в заботе о жизни человеческой и этого не жаль! — великодушно изрек он.

Мирон выступил вперед, хотел сказать что-то дерзкое, но под строгим взглядом отца смирился и снова отошел к машине.

Чтобы отвлечь Демидова, управляющий предложил ему:

— Может, в рудник изволите заглянуть?

— Что ты! Что ты! — испуганно отмахнулся хозяин. — Да в своем ли ты уме?

На сытом лице Демидова выразился ужас. Мирон не удержался.

— Поглядите, господин, как люди там мытарятся! — сорвалось у него с языка.

Может, Демидов и не слышал дерзкого замечания или не пожелал пререкаться со своим крепостным, но он промолчал и пошел из амбара. Любимов толкнул Черепанова в плечо:

— Благодарю барина. Экий ты бесчувственный! Осчастливил вас посещением!

Ефим молча поклонился.

Сидя в санях, Демидов поминутно оглядывался на Выю:

— Любимов, что же творится? Я его осчастливил, позволил построить этот самовар, а он хоть бы что. Неблагодарный пошел народ. Избаловался!

— Ваше превосходительство, — почувствованно отозвался управляющий, — дед и батюшка ваши держали людей в строгости, плетями да батогами в разум вгоняли, а ноне с опаской приходится сечь! — со вздохом закончил он.

— Это ты напрасно! — самонадеянно перебил Демидов. — Не таких скручивают! Часом, не слышал про бунтовщиков, что на Сенатской площади поднялись против царя? То-то, в Нерчинск, на рудники угодили... — Хозяин засмеялся и, показывая на дальние синие горы, спросил: — Чьи они?

— Ваши.

— А лес?

— И лес ваш, и луговины на Тагилке ваши, и рудники ваши!

— А за синими горами наши земли?

— Никак нет, ваше превосходительство, Походяшина!

— Как он смел у батюшки их купить!

— Ни батюшка, ни дед, ни прадед ваши земли не продавали, — пояснил Любимов.

— Выходит, оттягал, шельмец! Погоди, я ему покажу! — пригрозил Павел Николаевич невидимому врагу и, довольный собой, улыбнулся: — Мои будут!

Демидова раздражал скрежет штанговой машины Козопасова, и он приказал на время остановить ее, а механика вызвал к себе.

Обиженный распоряжением хозяина, Степан снова запил горькую. Когда из конторы прибежал за ним скороход, механик лежал вдрызг пьяный. Однако его растормошили, вылили на голову ведро ледяной воды и, подталкивая, повели из дому. Он уперся и наотрез отказался идти на поклон к барину.

— Не желаю! — решительно заявил Козопасов. — Нет более мастера; был, да весь вышел! Душу из меня выпотрошили и сделали пьянчугой. С горя, от обиды пью. Не пойду к тирану!

— Пойдешь! — пригрозил скороход, но механик завалился на скамью и не отозвался.

Скороход его и толкал и кулаками угощал, но механик и головы не поднял. А когда назойливость гонца перешла границы, Козопасов вскочил, глаза его гневно вспыхнули:

— Уйди, пока душа не зашла! Эх, ты...

Скороход понесся в контору и осторожно доложил о механике управляющему. Любимов вспыхнул:

— Он что, ошалел? Сам господин Демидов его кличет! Послать полицейщиков!

Но и полицейщики ничего не могли поделать с Козопасовым. Он отрезвел к этому времени, сидел за столом угрюмый и злой. Перед ним лежал каравай, стояла чашка с квасом, в руке механик держал нож, намереваясь откромсать краюху.

— Не пойду! — твердо заявил он полицейщикам.

— А мы тебя силой возьмем! — с ехидной улыбочкой сказал старшой. — Мы тебя, милок, вот этой веревочкой спеленаем и сведем на поводку!

Высокий, сухой, но сильный Степан во весь рост поднялся из-за стола с ножом в руке.

— Попробуй тронуть — по горлу полосну!

Полицейщик встретился взглядом с Козопасовым, и ему стало не по себе.

«И впрямь, зарежет! Кому охота под нож соваться?» — обеспокоенно подумал он и залебезил:

— Ты, того-этого, Степанко, зря злобишься! Мы, как добрые люди, малость подшутили. Господин серчает, ой, как серчает! Велел тебя в казематку отвести. Иди, милок, сам, без скандала. Отоспишься, и все забудется к тому часу!

Полицейщик говорил мягко, лстиво, упрашивал:

— Сам посуди, нам ведь хуже твоего. Не подведи, братец, прогонит этак хозяин нас. Женки, ребятишки ведь у нас...

Козопасов спрятал за голенище нож и совсем мирным голосом предложил:

— Ладно, в казематку согласен!

Он взял под мышку каравай и пошел из хибары. С опаской поглядывая на его могучие плечи, полицейщики пошли следом. Они

отвели его в каменный холодный амбарушко с оконцем, забранным решеткой, и заперли на замок.

Обо всем они подробно доложили Любимову.

— В казематку отвели, а так не подступись. Страшен! Не за себя боимся, за господина. Приведешь,пустишь в покои, еще, оборони бог, полоснет барина ножом; что тогда?

— Это верно, опасно выпускать смутьяна из каземата! — согласился управляющий. — Погоди-ка, доложу господину, какой приказ выйдет?

Среди других дел Любимов завел речь о Козопасове.

Демидов вспылил:

— Почему не идет этот Козо-па-сов? — с насмешкой растягивая фамилию, спросил он.

Любимов потупился и виновато сказал:

— Во всем я причина. Наказывайте меня, но выслушайте, ваше высокопревосходительство. Козопасов не в себе. Он немного рехнулся! — Управляющий повел по лбу перстом. — Можно ли пускать пред ваши светлые очи безумца? Страшен! Нет, лучше я понесу грех, чем расстраивать ваше сердце...

— Шалый, стало быть, Козопасов! Но это ничего, мы врачевать умеем. Дать ему двести розог! — с еле скрываемой злостью вымолвил Демидов. — Нет, впрочем, этого мало. Триста! Сегодня же, непременно! Я им покажу, кто такой есть хозяин!

Любимов на цыпочках отступил к двери; униженно кланяясь, он с готовностью обещал:

— Тотчас варнака отхлестаем, ваше высокопревосходительство! — Он юркнул за дверь, и слышно было, как под его тяжелыми шагами заскрипели половицы...

Однако отстегать Козопасова побоялись. Когда полицейщики во главе с приказчиком Ширяевым вошли в каталажку, механик понял их намерения. Он прислонился плечом к стене и не сводил настороженного взгляда со своих врагов.

— Ну, иуда, берегись, зарежу! — пригрозил он. — Тебя изничтожу и с собой покончу. Один конец! Измытарили, ироды!

Взгляд Козопасова прожигал приказчика. Ширяеву некуда было скрыться от этого жуткого взгляда своей затравленной жертвы.

«И впрямь, безумец!» — со страхом подумал он и отступил.

— Погодите, братцы, мы потом, того-этого. Пусть сердце его остынет! — Изрядно стухнув, он вместе с полицейщиками, оглядываясь, удалился из узилища.

В кабинет к Демидову неведомыми путями, минуя Любимова и камердинера Джемса, пробрался Ефим Черепанов. Павел Николаевич сидел в глубоком кресле за чтением только что полученного письма из Санкт-Петербурга. Скрипнула дверь, и на пороге встал механик.

Демидов испуганно вскочил.

— Что тебе надо? — встревоженно спросил он и сейчас же стал за кресло.

Но Ефим держался спокойно и опечаленно.

— Простите, господин, что незваный явился, но тяжело мне! — с видимым страданием сказал он. Демидов уловил искренность в голосе Черепанова.

— Обидели тебя? — вдруг догадался Павел Николаевич.

— Не о себе пришел просить! — Черепанов вдруг опустился перед заводчиком на колени. — Пощадите Козопасова, оберегите его от розог! Больной он и обиженный жизнью человек. Не топчите в грязь его человеческое достоинство. Золотые руки у него, умен и предан делу! Зачем же так жестоко! — со страстной горячностью говорил механик.

Демидов с изумлением разглядывал Черепанова.

— Да он тебе родня, что ли, сват или брат? — допытывался он.

— Не родня: не сват и не брат. Он человек! — с большой силой вырвалось у Ефима.

— Ты, милый, не добавил, что он не просто человек, а мой крепостной человек! — перебил Демидов. — Что хочу, то и сделаю с ним. Хочу — в шахту пошлю, хочу — свинопасом сделаю! Эка важность, подумаешь, крепостного отстегать!

Черепанов поднялся с колен. Мрачный и суровый, стоял он перед крепостником. Демидов смутился под его умным и строгим взглядом.

— И свинопасы люди, господин! И какие еще труженики! — с большой теплотой сказал механик. — На свете всякий труд благороден, господин, ибо он идет на пользу человека. Но только тогда труженик творит диво дивное, когда душа его спокойна и поет в работе! Только враг старается выбить из рук мастера его силу, помутить злобой разум! Не к лицу это русскому человеку! Простите,

господин, Козопасова, не трожьте его! Можете вконец погубить талант! Вы его оскорбите розгами, а он от огорчения в петлю полезет; не перенесет горя, ибо и так немало он пережил, измытарили приказчики человека. Кто-кто, а уж я хорошо знаю его хрупкую душу.

Демидов с любопытством разглядывал своего механика:

— Дивен ты человек, Черепанов! За другого просишь, а не знаешь, что я волен и тебя отхлестать!

— Я и мой Миронка от всего сердца робим на пользу завода. Не провинились мы, господин, перед вами. Но если можно заменить Козопасова, я готов пойти за него на позор! — с волнением сказал Ефим.

Закинув руки за спину, Демидов прошелся по кабинету. Он медлил с решением. «Отстегать или не отстегать? — думал он. — Что скажут соседи? Черепановы и в самом деле старательные люди. Они еще пригодятся! Не лучше ли показать перед людьми свое великодушие?»

Он остановился перед механиком, прямо глядя ему в лицо. Черепанов не опустил глаз перед барином.

— Вот что, — сказал Демидов, — так и быть, ради тебя прощаю Козопасову его дерзость! Смотри, ты мне за него отвечаешь. Надеюсь, что ты с сыном еще прилежнее будешь думать о благе моем.

Ефим покраснел, глаза его оживились. Переминаясь с ноги на ногу, он терзал шапку в руках.

— Спасибо, господин. Будем от всей силы работать, и хочется мне о том слово сказать, да боюсь...

— Говори! — ободрил Демидов.

Черепанов загорелся, светлые тени побежали по его лицу. Он с волнением рассказал о своей мечте:

— Сын надумал построить дивную машину, господин. И я о том же в уме денно и ночью держу. Хотим мы, господин, сробить «сухопутный пароход», чтобы из шахты на завод руду возить не на конях, а на машине!

— Что ты сказал? — вспыхнул Павел Николаевич.

— «Сухопутный пароход» затеяли мы! — опустил голову Ефим.

— Да вы просто сдурели! — вскричал Демидов. — Нет, малый, это вам не по уму-разуму дело. Нет, нет! Только англичанину по силе такая выдумка.

— Напрасно так думаете, господин, — с обидой запротестовал Черепанов. — В народе так сказывается: красна птица пером, а русский человек — умом. Дозвольте нам свою силу попытать!

Павел Николаевич помолчал, потом отрицательно покачал головой.

— Сейчас не позволю. С умными людьми в столице посоветуюсь и дам вам знать. Боюсь, весьма боюсь, что не справитесь вы с выдумкой. А кроме того, прикинуть надо, выгодное ли это дело, — нет ничего дешевле рабочей силы и стоит ли тратиться на машины?

— Подумайте, господин, — с грустью промолвил Черепанов. — Но и на том спасибо. Пожелаю вам доброго здоровья! — поклонился Ефим.

Павел Николаевич величественным жестом протянул руку. Словно не понимая желания барина, Ефим снова низко поклонился и отступил к порогу. Держался он прямо, высоко неся голову. Во всей его широкоплечей фигуре чувствовалась большая покоряющая сила. В этот миг Демидов понял, как силен и кристально чист душой простой русский человек. И хотя он не облобызал рабски его руку, но что-то удерживало заводчика от неприязни к механику. «И честен, и умен, и благороден!» — признался он себе, но сейчас же нахмурился и отогнал эту мысль...

Любимов поразился, когда вечером Демидов объявил ему:

— Приготовить в дорогу! В четверг выбываю в Санкт-Петербург.

Радость разлилась по сердцу управляющего. Еле сдерживаясь, он опечаленно воскликнул:

— Ваше высокопревосходительство, чем мы, ваши рабы, обидели вас? Только и радости было ваше пребывание здесь! Нельзя ли остаться хоть на недельку?

— Не лукавь! — перебил его Демидов. — Помни, слово мое — закон. Зван государем императором в столицу! — с важностью вымолвил он, и Любимов по-холопски склонил голову.

Царю, конечно, не было дела до своего егермейстера. Писали Демидову из Санкт-Петербурга его друзья и предупреждали, что вскоре при дворе предстоит большой бал, и если Павел Николаевич

мечтает попасть на глаза государю, то пусть поспешит. Ко всему этому Демидову на Урале надоело, и он заторопился к отъезду. В назначенный день он выехал из Нижнего Тагила. За его возком тянулся большой обоз, груженный уральскими дарами. Ехал Павел Николаевич под надежной охраной. Впереди расстилались глубокие снега, в серебристой изморози стояли как зачарованные леса, оледенелыми лежали в низинах озера. Под равномерный скрип полозьев сладко спалось Демидову, и грезился ему далекий Санкт-Петербург и его радости...

А в это самое время ликовал и восторгался нижнетагильский управляющий. Только-только демидовская тройка вырвалась из ворот и понесла возок с господином по накатанной Казанской дороге, как стан Любимова мгновенно выпрямился, голос его из льстивого и вкрадчивого стал зычным и властным. Словно камень свалился с его души.

«Пронесло, слава богу! — с великим облегчением вздохнул он. — Теперь на долгие годы владыкой тут я!..»

С важным, надутым видом он пошел по заводу. И еще мрачнее сразу стало кругом.

«Вон идет наш лиходей!» — угрюмо переглядываясь, говорили про управляющего работные. И как всегда, напрягая последние силы, надрывались они от тяжелой, изнурительной работы...

Прошло два года после посещения заводов Павлом Николаевичем, и в Нижнем Тагиле получили неожиданное сообщение о том, что прибывший из-за границы младший наследник, Анатолий Демидов, выразил желание поехать в свои владения. Снова началась большая суетня, все сбилось с ног, прибирая пустующие хоромы господ и наводя порядок в городке. Управляющий Любимов хлопотливо разъезжал по заводам и шахтам, сам осматривал рудники, обходил домны и до хрипоты ругался, кричал на приказчиков. Далеко за полночь в тагильской конторе светились огни, — служащие усердно приводили в порядок счетные книги. А кругом стояла радостная, цветущая пора. По ночам за окнами демидовских покоев маняще шумел темный, заглохший парк. Из-за косматых вершин деревьев светились звезды, а из-за лесистых гор поднимался золотой серпик месяца. Хорошо ночью пахла цветущая сирень. Днем высокие лиловые кусты ее звенели и колебались от хлопотливых пчел. Эти чудесные дни и ночи никем не замечались. У всех таилась одна беспокойная мысль: «Как выгладит и что скажет молодой барин?» Только старые горщики да работные равнодушно смотрели на спешные приготовления. Любимову не нравился их вид, и он покрикивал:

— Смотри у меня, приедет всемилостивейший барин Анатолий Николаевич, глядеть весело, да чтобы вышли навстречу в лучшей одежде!

Указывая на изношенную, прожженную рвань, работные отговаривались:

— Тут все на себе: и мундиры и шелковые сорочки!

Заводские женки сгорали от любопытства. Они по опыту знали, что хорошего не жди от господ, но извечное желание все видеть и знать томило их.

В солнечный воскресный день, после полудня, в Нижний Тагил прискакал запыленный, потный гонец. Не слезая с коня, он закричал в открытое конторское окно:

— Барин близко!

Любимова словно обожгло, он сразу оживился, забегал; из приемной вывел трех бородатых кержаков. Одетые в жалованные

кафтаны, обшитые золотым позументом, они чинно сошли с крыльца. Старики выступали важно. Стриженные под горшок по-кержацки волосы были обильно смазаны лампадным маслом, скреплены ремешками. В середине шел самый благообразный сивобородый дед, держа перед собой серебряный поднос, покрытый вышитым полотенцем, на котором лежал ржаной каравай и стояла солонка с солью.

Солнце щедро золотым сиянием затопило землю. Старцы остановились неподалеку от широкого барского крыльца. Управляющий несколько раз обошел вокруг них и остался доволен:

— Молодцы! Слово умное приберегите для встречи!

Старики стояли истуканами, понимая всю важность минуты. На площадь к ним сбегались со всех концов Тагила работные, женки и ребятишки. Притазились изробленные инвалиды и старики, много годов не слезавшие с печки. Всех сгоняли приказчики, уставщики, досмотрщики, десятники.

От пруда лилось сияние. Над толпой летали белые пушинки — семена одуванчиков, и в свете солнца они казались призрачными мерцающими огоньками. Из парка доносился сладкий запах теплой листвы. Солнце поднялось над Высокой, а у заборов еще лежали синие прохладные тени. И в этот час чудесного июньского дня на колокольне весело ударили в колокола. Через минуту на рысях на площадь вырвалась резвая тройка. Как оброненные на камень звонкие монетки, зазвенели-рассыпались валдайские бубенцы.

— Эй, голь, берегись! — зверски выпучив глаза, закричал ямщик, перебирая вожжи. Борода его парусом развевалась на широкой груди. — Эй, стерегись, хлопотуны! — оповещал он, и все испуганно разбегались в стороны. Из-под ног разгоряченных коней врассыпную разлетались воробьи, с кудахтаньем уносились прочь куры. За воротами неистовым лаем залились псы.

Позади тройки неслись четыре казака, а еще подалее, в клубах пыли, мчалась вторая тройка борзых.

Кони размашисто подбежали к подъезду, и опытный ямщик разом осадил их. Любимов подбежал к экипажу. С замиранием сердца он ждал, что работные крикнут «ура». Но позади все затихли.

«Что же они, сукины дети, не приветствуют своего господина?» — со страхом подумал управляющий, поднял голову и

предупредительно протянул руку, чтобы помочь Демидову сойти. Но тут ему самому стало неловко, стыдно за молодого барина: Анатолий сидел в экипаже с гордо поднятой головой, в зеленой альпийской шапочке с пером и в короткой, до колен, шотландской юбочке.

— Бабоньки, гляди, что за диво — мужик в юбке! — закричали в толпе озорные заводские женки.

Зрелище и в самом деле было невероятное в этих краях. Мужики ухмылялись в бороды. Кержаки, встречавшие барина хлебом-солью, остолбенели. Раскрыв в изумлении рты, они смущенно смотрели на барина.

Демидов сидел в экипаже, закинув ногу на ногу. Полные колени и икры сверкали белизной. Барин, шурясь, вытащил из грудного кармашка монокль и ловко вставил в глазницу. По толпе прошел ропот недовольства. Анатолию казалось за двадцать лет, лицо было румяное, на щеке большая бородавка. Он насмешливо посмотрел на стариков и спросил управляющего:

— Это что за бородатые чучела?

Любимов нахмурился, но учтиво пояснил:

— Верноподданное население по русскому обычаю встречает своего господина с хлебом-солью! Дозвольте ручку! — Он осторожно взял Анатолия под локоток и вывел из экипажа.

Барин отодвинул стариков с подносом.

— Отойдите, я черный хлеб не ем! А-а! — обвел он толпу своим моноклем. Женщины прыскали в ладонь, смеялись над барином, с изумлением разглядывая его коротенькую шерстяную юбочку. Самые смешливые молодки прятались за спины мужиков. Хотя те и стояли с подобающим приличием, но внутри все ходуном ходило. И смешно и стыдно стало за Демидова!

Между тем Анатолий разочарованно разглядывал народ. И это его подданные? Серые, изнуренные лица; во всем проглядывала бедность, большинство явились босые, в посконных рубахах. Глаза хозяина тщетно отыскивали миловидное личико среди женщин. Увы, желанного так и не отыскалось!..

«Прячутся!» — недовольно подумал Анатолий, но в эту минуту мысли его были прерваны. К подъезду подмахнула вторая тройка, и из нее выкатился маленький толстенький человечек в клетчатом костюме с грязным платком на шее, а следом за ним, разглаживая огромные

рыжие усы, в полувоенной форме угрюмый господин. Толстенный, засунув руки в карманы, отчего сзади под натянутой материей обрисовался жирный торс, с вихлянием прошел вдоль толпы и, подмигнув женкам, галантно смахнул белый картуз:

— Честь имею, сударыни, представиться: несчастливый актер Саврасов! Гм... Ни одного прелестного личика. Демидов, уйдем скорее отсюда! — Он потащил Анатолия в хоромы.

— Любимов! — закричал хозяин. — Веди нас к столу. Проголодались!

Господин в полувоенном прохрипел:

— И промочить глотку не плохо.

Не взглянув на работных, Анатолий с легкой припрыжкой поднялся на крыльцо и, поблескивая коленками, исчез в широких дверях.

У подъезда все еще стояли старики с подношением, изумленные неслыханным озорством. Пересмеиваясь, понемногу уходили с площади молодки. Работные в угрюмом молчании потянулись к заводу. Наконец сивый кержак-хлебодар пришел в себя. С глубоким душевным укором он бросил вслед молодому хозяину:

— Шалый! Как есть шалый!..

С Анатолием Демидовым в Нижний Тагил прибыли его столичные собутыльники и обедалы: пропившийся актер Саврасов, или Савраска, как его величал шеф, и отставной поручик, разоренный разгульной жизнью, бывший помещик Кабанов. Сразу же после приезда веселая компания загуляла. Любимов со страхом и горечью наблюдал, как непрошенные гости хозяина бесцеремонно обращались с вековым добром. Пьяные и шумные, они пачкали крытую шелком мебель, били хрусталь, дорогие вазы. Актер Савраска немедленно полез в гардероб, извлек оттуда наряды покойного Николая Никитича и облачился в них.

— Поглядите, хорошо? — вызывающе двигая торсом и плечами, демонстрировал он напыленный на себя нежно-розовый бархатный камзол времен Екатерины.

— Отменно хорош! — рявкнул поручик и, протягивая руку к бутылке с хересом, предложил: — По сему поводу промочим

горлышко! Я до чужого добра не падок! Выпить — это дело другое...

Слуги сбились с ног — барин поминутно требовал их к себе. Казалось, в старинный демидовский дворец вернулась молодая пора Никиты Акинфиевича, только бесшабашнее, циничнее стала гульба барича. Весь дом гудел от возни, плясок и бесчинств. По ночам на пруду снова плавали, как в былую пору, лодки, освещенные разноцветными фонариками. Крепостные певцы и музыканты оглашали просторы песнями. Ни хозяину, ни гостям не было дела до того, что рядом изнывают в нужде горщики и заводские работные, которые возмущались разгулом. Однажды Анатолий, плавая в сумерках по пруду, заметил искры и пламя из домен.

— Пожар! — пьяно заорал он и поспешил на зрелище.

Приставленный к нему разбитной малый объяснил:

— Никак нет, это не пожар, господин, а самое обыкновенное.

— Что же тогда это?

— Домна работает! Известно, после засыпки сразу внутри ее забушует и пламя выбрасывает наружу! — пояснил слуга.

— Кто разрешил? — возмущенно закричал Демидов. — Разве там и ночью работают?

— Непременно! — удивляясь незнанию барина, ответил слуга.

Анатолий побагровел:

— Не смей больше этого!

— Да мыслимое ли дело, господин, потушить домну не вовремя. «Козел» сядет!

— «Козел»? — изумился молодой хозяин.

— Ну да, «козел»! И тогда выбивай его ломами, выгрызай из печи! Шутка ли? Можете сами убедиться!

— Не поеду к домне! — решительно отказался Демидов. — Что я там не видел? Там не червонцы плавят, а чугун!

— Но через чугун, господин, к вам богатство пришло! — осторожно заметил слуга.

— Врешь, песья душа! — рассердился и забушевал барич. — Демидовы званием да положением богаты! Куда лезешь, холоп, поучать благородных людей!

Недовольный прогулкой, Анатолий возвратился домой. Он уже заскучал без женского общества. Под руку подвертывались только

корявые, некрасивые бабенки. «И дворню же подобрал, пес! — ругал он в душе Любимова. — Одно отвращение к жизни вызывают!»

Наутро, плохо спавший, с тяжелой головой он решил освежиться на лоне природы и вместе с Савраской отправился на реку Тагилку. По лугам в заречье стлался редкий туман, блестела крупная роса. В пахнувшей свежим тесом купальне, куда они прибрели, стояла утренняя тишина. Мимо мостков плавно катились зеркальные воды. Редкие круги время от времени расходились по воде.

— Смотри, как рыба играет! — показал глазами Савраска на реку и поежился: — Бр-р, холодно!..

Анатолий присел на скамеечку, взглянул на реку, на парок, который дымился над водой. Взгляд его перебежал на излучину, на луговины. Вдруг он вскрикнул от восторга и схватил Савраску за руку:

— Смотри, смотри, голубь, что за чудо красоты! Ах, боже мой! — завертелся он, как на жаровне карась.

Актер взглянул в сторону кустиков и замер в восхищении.

— Афродита! Божественна! — сладко прищутив глаза, зашептал он. — Что за прелесть! Ах, что за стан, что за коса! Ну, повернись личиком, миленькая. Повернись, моя прелесть! Зачем спинкой стоишь? — в сладкой истоме шептал он.

— А может быть, она рожей не вышла, корява? — усомнился Демидов.

— Нет, нет! Не может того быть, природа гармонична! — запротестовал актер.

Анатолий затормошил Савраску:

— Сбегай, помани, милый! Я весь от страсти сгораю! Влюблен!

— А вдруг и впрямь курноса? — неожиданно усомнился Савраска.

— Да что ты! Разве такая брюнеточка может быть курносой? Курносыми больше блондинки бывают. Несомненно! — упрашивал Демидов. — А потом, по совести признаюсь, задорно вздернутые носики ух как мне по душе! Хороши! Ну, иди, иди, аспид! Договорись толком, не жалея посул! — Он толкнул актера в спину и выпроводил из купальни.

Савраска пошел к излучине.

Возбужденный Анатолий в нетерпении закружился по купальне. Ему казалось, что актер ушел по крайней мере час тому назад.

«Скорее, скорее, поганец!» — мысленно подгонял он посыльного, всматриваясь в кустики. Незнакомка и не думала уходить.

Демидов схватился за голову.

— Ах, божественная моя, бесподобная! Что ж Любимов молчал о такой прелести! Ведь знал же он, знал, каналья!..

Демидов снова заходил по купальне. Прошло только двадцать минут. Но вот красный, сконфуженный Савраска переступил порог купальни.

— Ну что, договорился? Придет? — набросился на него Анатолий.

— Не соглашается! — еле сдерживаясь от смеха, отрезал Савраска.

— Как она смеет отказать Демидову? Откуда взялись дерзкие бабы в моих владениях?

Актер залился смехом. Он упал на скамеечку, и его большой студенистый живот сотрясался от беззвучного смеха. Как паук, дрыгая тощими ножками в клетчатых панталонах, он взвизгивал:

— Ой, не могу! Ой, умру!..

— Да ты обезумел, вижу! — набросился на него Демидов.

— Ох, — задыхаясь от смеха, прошептал актер. — Очаровательная спинка, коса, а стан, стан...

— Да говори же, дьявол, что за баба?

— Ах, милый мой, в том-то и дело, что эта баба вовсе не баба, а дьякон вашей церкви! — размахивая руками в новом припадке смеха, выпалил актер.

Демидов густо покраснел:

— Тьфу, что за наваждение!

Савраска присмирел и вдруг серьезным тоном сказал:

— Да будет вам известно, мой милый: такие наваждения бывают только перед белой горячкой, что приключается с перепоя...

Утром Анатолий срочно потребовал к себе управляющего. Взволнованный Любимов вошел в опочивальню хозяина. Помятое лицо Демидова с покрасневшими глазами говорило о бессонной ночи. Застоявшийся запах табака и вина наполнял комнату. Господин сидел

на кровати в одном белье, растрепанный и разбитый. Любимову стало жалко барича. Он неслышно прошел вперед, поклонился.

— Батюшка, пожалейте хоть немножко себя! — просяще глядя хозяину в глаза, мягко заговорил он. — Гоните прочь объедал да мазуриков. До хорошего не доведут сии пропойцы. И вина и добра не жаль для вас, но скорблю о вашем здоровье. Этак и жизнь отдадите ни за понюшку табаку!

— Молчи! — властно прикрикнул Демидов, но, тронутый сердечной теплотой, вдруг смягчился. — Что верно, то верно! Эти сучьи дети только на мое добро и зарятся! Но я и сам виновен. Что могу поделать, если в крови бродит беспокойство? — с горечью пожаловался Анатолий.

— Это верно, в юности в крови всегда бес бродит! — согласился Любимов. — Но только все же пожалейте себя.

— Эх! — вздохнул Анатолий. — Придет время, пожалею, а теперь потеху задумал. Хочу на охоту. Давай медвежью берлогу! На медведя, на медведя!

— Да что вы, батюшка! — отмахнулся управляющий. — Не смешите людей. Какая летом медвежья берлога? Летом зверь шастается, где ему вздумается. Зимой — другое дело!

— Хочу летом, а слово мое закон! — входя в обычное капризное настроение, настаивал на своем барич. — Иди, готовь егерей!

Управляющий уныло опустил голову, — он видел, что молодой хозяин настоит на своем.

«Что делать? С медведем — не с бабами шулки шутить!» — со страхом подумал Любимов и льстиво обратился к Анатолию:

— Ладно, господин, охота так охота! Только, скажем, уместно ли Демидову так просто охоту вести? Господская охота — большущая и благородная потеха! Ваш братец, егермейстер двора его величества, толк понимает в сем деле, и мы не можем потому ударить лицом в грязь. Нужны псы, егеря, охотники, рожки, — все чтобы во всей красе, господин! Прошу вас обождать день-другой. Все, все оборудую!

Баричу понравилась затея управляющего: и впрямь, господская охота должна быть обставлена величественно. Пусть в крае все помнят, как веселился Демидов! Анатолий успокоился, оживился и примирение сказал:

— Хорошо. Три дня даю сроку! Марш отсюда и исполняй приказанное!

Любимов не привык к такому обращению. Он всегда чувствовал себя хозяином на заводе, а тут его превратили в мальчишку и беспокоят по каждому капризу. Однако досада досадой, а надо приступать к делу! Он вышел на улицу под яркое солнышко и тихо побрел в контору.

«Шутка ли сказать, летом устроить медвежью охоту? Зверь сейчас в силе, озорник! Добро бы актеришку задрал или помещика-пропойцу Кабанова, за них никто не вступится, а случись что с барином, прощай тогда! — тревожно раздумывал он и представил себе эту страшную картину. — Да Анатолий Николаевич, поди, и стрелять толком не умеет!»

Он вызвал старого егеря и сокрушенно рассказал ему о своем беспокойстве.

Лохматый мужик почесал затылок, ухмыльнулся в бороду:

— Оно, безусловно, таким людям на медведя летом опасно ходить. А все же, так думаю, потеху для барина устроить можно. И прямо скажу, Александр Акинфиевич, повезло тебе. Раскошелиться только придется.

— Ты что ж, с господина своего содрать хочешь? — недовольно нахмурился Любимов.

— Ни вот столечко! — показывая на мизинец, выговорил егерь. — Тут расходы потребны на другое дело. По охотнику надо и медведя сыскать! — Мужик улыбнулся своей тайной думке и покрутил головой. — Ну и ну, есть подходящий! На такого медведя ступай без опаски, потому зверь самый веселый и безобидный!

— Ты что же, наговор знаешь? — пытливо уставился на него управляющий.

— А к чему здесь наговор, не пойму! — хитро сощурился глаза, светясь лукавством, сказал егерь. — Просто медведя надо купить. На счастье, в Половинке медвежатник остановился с ручным зверем. По окрестным ярмаркам бродит. Пожалее сердягу на такое дело, ну да кто не позарится на сотню целковых!

— Да у тебя креста на шее нет! Подумать только, сто рублей! — рассердился Любимов.

— Дорого? Найдите дешевле! А жизнь барина во сколько целковых ценится? — с хитрецей спросил егерь.

— Жизнь господина бесценна, и на золото ее не купить! — вразумительно ответил управляющий.

— Ну, вот видишь! — строго сказал мужик. — Если так, поторопиться пора, а то медвежатник уйдет, и пиши пропало!

В тот же день Любимов и егерь уехали в Половинку. Там в избушечке вдовы отсыпался вожак, а в тени под навесом, закрыв морду лапами, распластавшись, дремал зверь. Егерь безбоязненно обошел Мишку, всмотрелся:

— Хорош Топтыгин! Ой, хорош! Ишь развалился, как хмельной мужик!

Они прошли в избушку и разбудили вожака. Долго тот не мог понять, чего от него хотят. Когда же перед ним выложили сто целковых, медвежатник разомлел.

— Ну как, продашь Мишку? — спросил Любимов.

Вожак жадно посмотрел на серебро, но промолчал. Угрюмо подумал и сказал:

— Беден, да не могу. Тварь лесная, а сдружился. Веселей вдвоем по свету бродить! — с ласковостью в голосе сказал он о звере.

— Бродить-то бродить, а документов нет! — злясь, пригрозил управляющий. — Гляди, набродяжничаешь, и тебя в клоповник уберут и друга твоего ухлопают. Подумай хорошенько!

— Жаль Мишку! — со слезами на глазах вымолвил медвежатник.

— Погоди! — смягчаясь, сказал Любимов. — Сухая ложка рот дерет!

Он вышел из лачуги, взял в экипаже штоф хмельного и вернулся.

— Хозяйка, нет ли у тебя закусить? — окликнул он вдову и поставил штоф на стол.

Из-за печки выбралась исхудалая бледная женщина, поклонилась гостю.

— Хлебец да картошечка!

— Давай сюда, чего уж лучше! — не сводя очарованных глаз со штофа, засуетился егерь. Ему поскорей хотелось пропустить маленькую. Он бережно взял зеленый штоф, посмотрел на свет и покрутил головой. — Эх, и до чего хорошая влага! Разрешите вскрыть? — не ожидая согласия, он натянул на ладонь рукав кафтана и

с размаху ударил в доньшко бутылки. Пулей выскочила затычка, сверкнули брызги сивухи.

— Дура, да разве ж можно такие капли терять! — хмуро выругался медвежатник. Он взял из рук егеря штоф и снова поставил на стол. Залюбовался им. — Эх, горе ты наше, горюшко! Из-за чего гибнет добрый человек? Из-за зелья проклятого! Нальем, хозяин!

Зеленая влага с бульканьем полилась в глиняные кружки. Любимов от вина отказался.

— Умно! — похвалил медвежатник. — Нам больше достанется. — Он с удовольствием стал тянуть хмельное. Опростав кружку, крикнул: — Ух, как добро! Спасибо, душу отвел!

Егерь и медвежатник пили и быстро хмелели.

— Продай, друг, Топтыгина! — обнял егерь вожака и полез целоваться с ним. — Сто рублей, брат, деньги! Дом купишь, женку заведешь, в люди выйдешь. А медведь что — зверь!

— Это верно, зверь! — согласился медвежатник. — Но то разумей, что другой зверь получше человека будет. Иной барин хоть и не зверь, а похлеще зверя лютого терзает мужика! Это как?..

Хмельной вожак долго хмурился, отказывался от продажи, но в конце концов его уломали. Пошатываясь, он вышел под навес и поднял зверя.

Медведь отряхнулся и добродушными глазками миролюбиво посмотрел на людей.

— Смышленный! — ласково сказал егерь, бесстрашно подошел к медведю и взялся за цепь.

У вожака на глазах блеснули слезы.

— Какой умница! — с тоской вымолвил он. — Третий год ходим, и ни одной шалости не сробил. Мишенька, голубчик мой! — Мужик растроганно обнял Топтыгина. — Прощай, друг, не обессудь, нужда заела...

Медведь поднялся на дыбки и стал лизать лицо вожаку. Зверь был матерый, сильный, красивый.

Егерь тряхнул головой. На душе у него стало тоскливо.

Между тем медведь, ласкаясь к вожаку, неожиданно сгреб с его головы гречушник и набросил на свою башку. Вслед за этим он неуклюже затопал, переваливаясь с боку на бок.

— Камаринского пляшет! Эй, дурачок ты мой, дурачок! — с укором сказал вожак. — И не знает, что его продали. Ведите живой со двора!

Егерь вынул из-за пазухи краюху и сунул медведю.

— Пошли, друг! — потянул он за цепь.

Зверь жадно ел, не трогаясь с места. Он поглядывал то на хозяина, то на егеря.

— Проводи немного. Пусть привыкнет к новым хозяевам! — попросил егеря.

Они вывели зверя на дорогу и повели за экипажем, в котором неторопливо ехал управляющий. Встревоженный запахом зверя, шустрый конек косился, фыркал и все норовил унести в сторону.

Наступил день медвежьей охоты. Демидов обрядился в зеленый охотничий костюм. В руках он держал штуцер и, не скрываясь, любовался собою. К высокому крыльцу подали коляску. Анатолий и приятели его поспешно расселись. Сопровождаемый егерями, поезд тронулся к лесным трущобам...

Загодя на большую елань выслали возок с изрядными запасами вина, шампанского и провизии. Барский буфетчик Власий — седой благообразный старик с невозмутимыми строгими глазами — давно уже хозяйничал на густо-зеленой лужайке среди вековых сосен. Румяные дворовые девки расстелили на траве большой персидский ковер и бережно расставляли на нем яства.

Местечко облюбовали веселое. Рядом гомонил ручей, вода в нем была прозрачная, студеная, при питье заходились зубы. Кругом разливался смолистый запах. День выпал веселый, в кустах шумели малиновки, гудели шмели. В лесной чаще куковала кукушка. Вдоль ручья тянулись узкие елани, заросшие малинником. Алая сочная ягода густо покрывала кусты, просилась в рот.

Солнце косыми лучами пронизывало высокие могучие сосны, вершины которых светились позолотой.

В самую пору Власий приготовил лесной привал. Девки развели костер, разгоняя надоедливых комаров. Гремя бубенцами, наполняя лес криками, на елань выехал шумный поезд: Демидов с дружкой, пьяненьким актером Савраской и поручиком Кабановым, егеря,

лесничие, загонщики, выжлятники. Позади всех неторопливо ехал Любимов.

Кони описали на елани полукруг и остановились у костра. Демидов проворно выскочил из коляски, сбросил охотничью шляпу и развалился на разостланном ковре. Его дружки с жадностью набросились на скатерть-самобранку. Захлопали пробки, в хрустальные бокалы полилось вино.

Анатолий быстрым взглядом обвел служанок и среди них не увидел миловидного лица. Хозяин пытливо посмотрел на управляющего и укоризненно покачал головой:

— Слышал, дочь у тебя красавица. Почему не взял на полеванье? Для кого бережешь добро?

Любимов молча опустил голову, промолчал. Наглые и бесцеремонные речи молодого барича задели его за живое.

— Что вы, Анатолий Николаевич! — сдержанно отозвался он. — Разве смею я допустить такую мысль? Зная ваше благородство, мне нечего бояться за дочь... Смотрите, в малиннике девки прячутся!

Власий с бесстрастным лицом наливал бокалы, принимал из рук стряпух подогретые блюда и ставил перед гуляками. Анатолию казалось, что он никогда так вкусно не ел и не пил, как на этой лесной елани. От искристого вина закружилась голова. Под веселый хохот собутыльников он бесстыже хапал стряпух, опрокидывая бокалы с вином. Буфетчик пренебрежительно поглядывал на хозяйских дружков, которые, как голодные псы, жадно поедали все, подзадоривая барича...

Приятный дымок тянулся над еланью, весело потрескивал сушняк в костре. Все шумней и шумней становилось под вековыми соснами. Один Любимов ничего не пил и вяло ел. Он украдкой поглядывал на Власия, как бы молча поощряя буфетчика почаще подливать в бокалы...

Между тем солнце поднялось высоко. Пора и на охоту, — затрубили рожки. И на звуки их, в самый разгар шумного веселья, вдруг с треском раздвинулись кусты и с бледным лицом на елань выбежала перепуганная девка.

— Ай, родимые, медведь в малиннике! Чуть не загрыз! — заголосила она.

Демидов схватил ружье.

— Эй, веди на зверя! — с удалью закричал он.

Засуетились егеря, слуги. Но Анатолию не пришлось далеко идти. Едва он поднялся, как из густых кустов, ломая их, на поляну выбрел большой медведище. Зверь приостановился, понюхал воздух и вдруг, поднявшись на дыбки, заревел. Умные глазки медведя добродушно поглядывали на хмельных охотников, опешивших от неприятной неожиданности. Поручик, а за ним Савраска на карачках поползли в кусты. Медведь смолк и, принюхиваясь, спокойно надвигался своей тяжелой тушей. Кто знает, может быть ему вспомнилась сельская ярмарка с ее разноязычным говором подгулявшей толпы?

Зверь раззявил пасть, алчно поглядывая на скатерть-самобранку, замахал лапами, взревел, точно запросил: «А ну-ка, люди добрые, подайте-ка и мне, бродяге!»

Все разбежались. Подле Анатолия остались буфетчик Власий да Любимов. Управляющий поощрительно улыбнулся Демидову.

— Везет вам, господин, зверь сам идет под выстрел. Не зевайте! — закричал он.

Хмельной Анатолий выглядел браво. Он поднял ружье и прицелился. Бедный странствующий Мишка, видимо, вообразил, что это сигнал к танцам, и сразу пошел вприсядку...

Не успел он как следует притопнуть камаринского, как раздался выстрел и огромный зверь, взревев, тяжелым кулем опустился у ковра.

— О, *carissima bestia!*^[30] — в пьяном восторге выкрикнул Демидов. — Вот это выстрел!

Он отбросил ружье и заплясал вокруг медвежьей туши.

Власий нахмурился, укоризненно покачал головой:

— Эх, какого умного зверя ухлопали! Небось теперь вожак из кабака не выходит!

— Молчи! — строго сказал Любимов слуге, налил бокал шампанского и потянулся к хозяину.

— С полем! С удачной охотой, господин!

Из кустов выполз актеришка, подошел сконфуженный поручик. Через минуту на елани снова стало шумно.

Прошел месяц, в старом демидовском доме шла попойка за попойкой. Хмуро проходили работные мимо барского дома. Не на

шутку побаивался Александр Акинфиевич, чтобы не вышло беды. Кто может поручиться за озлобленного, истерзанного тяжелой жизнью человека? В краю еще хорошо помнили пугачевщину. Нет-нет да и срывалось у иного с языка: «Погоди, придет и на бар мор!» И хотя полицейщики нещадно расправлялись со смелыми людьми, а все же тлела в народе искра. Опасно было играть с огнем. Управитель усилил стражу. На барский двор с вечера спускались остервенелые псы-волкодавы, но на душе Любимова росла непонятная тревога.

Между тем Анатолий заскучал. Ему опротивели горы, серые дымки завода и отсутствие женского общества. Однажды Демидов вышел в прихожую. На лесенке, которая вела в светелки, вдруг послышались легкие шаги. Анатолий взглянул вверх. По ступенькам быстро спускалась голубоглазая стройная девушка. Солнечный луч ударил ей в лицо, и золотое сияние нимбом осветило ей головку.

— Ах! — от неожиданности схватилась она рукою за сердце и, вся пунцовая, смущенно остановилась перед Демидовым.

Очарованный и взволнованный, он не спускал глаз с чудесного видения, боясь спугнуть его. Так с минуту оба они, растерянные и смущенные, стояли друг перед другом. Она несмело подняла глаза и улыбнулась Анатолию. Он вспыхнул от восторга.

— Как тебя звать? — тихо спросил он.

— Глашенька! — прошептала она и прижала крохотный пальчик к пухлым губам. — Тише, а то батюшка услышит.

Демидов проворно снял с руки перстень и протянул ей.

— Что вы! Да разве ж это можно? — ужаснулась она.

Он, не слушая ее, поднялся на ступеньки к ней, взял руку и надел ей на безымянный палец колечко с бирюзой. Она с восхищением смотрела на голубой камушек.

— Нравится? — ласково спросил Анатолий.

— По сердцу! — с искренним восторгом прошептала она и, застыдившись, потупила глаза.

Он осмелел, осторожно взял ее руку и нежно поцеловал теплую ладонь. Девушка вспыхнула и, словно обожженная, отдернула кисть.

— Глашенька, я повержен в прах твоей красотой! — прошептал он.

Она шаловливо взглянула на Демидова и, нахмутив брови, вымолвила:

— Зачем вы компанию водите с нехорошими людьми? Прогоните их, они спаивают вас! Слышите?

Она капризно закусила губы. Анатолий низко склонил голову.

— Для тебя на все готов. Всю жизнь о тебе мечтал, Глашенька!

— Ой ли! — улыбнулась насмешливо девушка, но все еще не уходила.

— Клянусь, дорогая! — Он приблизился к ней поближе и, обдавая ее жарким дыханием, прошептал: — Приходи в парк. В ту дальнюю аллею. Знаешь?

Она оглянулась и согласно качнула головой.

И снова, так же неожиданно, как появилась, она исчезла за дверью светлицы.

Любимов удивился и обрадовался, когда Демидов велел срочно заложить кибитку и отвезти в Казань своих собутыльников. Господин даже не вышел проститься с ними. Он наказал через слугу:

— Живее вон их из моих владений!

Двух столичных забулдыг усадили в возок и выпроводили за ворота...

С этого дня Анатолий Демидов закрылся у себя в кабинете и старался пореже встречаться со своим управляющим.

Прошла неделя. Любимов стал тревожиться: «Спаси и помилуй, вдруг и впрямь барин образумится да еще возьмется за счетные книги, что тогда?» От такой мысли засосало под ложечкой.

Вежливенько, намеками он допытывался у Демидова:

— Ужели не наскучило вам, господин, в наших палестинах?

— Наскучило, да нельзя уезжать. Дела есть! — загадочно отвечал Анатолий.

«Какие дела могут быть у бездельника? Сколько слез девичьих пролито, сколько, поди, разладу в семье внес! Хоть бы сгинул скорее из Тагила!» — хмуро думал управляющий.

Верный раб, до последней капельки крови преданный своим господам, он вдруг возненавидел молодого Демидова и с нетерпением ждал его отъезда...

В одно ясное утро Анатолий неожиданно объявил своему управляющему:

— Готовь самых лучших коней. Которые порезвее. Люблю быструю скачку! Завтра на зорьке отбываю в Санкт-Петербург!

— По прохладе приятнее ехать, — согласился Любимов. — Только к чему заторопились так?

— Срочно понадобилось! — коротко и решительно сказал хозяин.

Управляющий с недоверием посмотрел на Демидова, и смутное подозрение закопошилось у него в душе. «Что-то задумал, ухорез!» — недоброжелательно подумал он.

С вечера приготовили коляску в дальнюю дорогу, отобрали лучших коней, начистили и задали им корм. Отрядили с десятков конных сопровождать хозяина.

Среди хлопот Любимов выкраивал время, чтобы заглянуть в светелку Глаши. В комнатке ее было тихо, уютно. Дочь выглядела покорной, ласковой.

— Слава тебе господи! — перекрестился на образа Любимов. — Радуйся, доченька, завтра на зорьке улетает из гнезда стервятник. Вот и кончается твое заточение!

Он ликовал, что подошел день отъезда и все обошлось хорошо, беда миновала.

Днем стояла жара. Туманная легкая дымка покрыла пруд, просторы, горы. Любимов зорко наблюдал за хозяином и не понимал перемены, которая произошла в нем.

Долго тянулся последний день пребывания Анатолия в Нижнем Тагиле. В парке шумел ветер. В прозрачных сумерках в меркнувшем небе проплыли кулики-кроншнепы. Чист и прозрачен был их стон. Казалось, это не стон слышится, а падает с неба непрерывно серебряный звон.

Глядя на первые робкие звезды, Александр Акинфиевич подумал: «Ну, вот и день прошел, слава тебе господи!»

Уходя спать, он еще раз зашел в светелку. В ней сгустилась тьма. На полу протянулись дымчатые зеленоватые дорожки — в низенькие оконца заглянул золотой серпик месяца. Глашенька тихо посапывала во сне. Управляющий с умилением поправил одеяло, перекрестил дочь и тихонько вышел из горницы. Чтобы окончательно изгнать смуту из сердца, он в эту ночь крепко закрыл Глашеньку на запоры. У двери уложил старую няню.

Ему самому стало смешно от своей излишней осторожности. Успокоенный, довольный, он ушел к себе в спальню и завалился спать...

Проснулся он очень рано. Под окном стояли в росе деревья, еще молчали птицы. Над прудом тянулся редкий призрачный туман, а на востоке вспыхнули первые робкие проблески зари. Любимов быстро оделся и, покашливая, неторопливо пошел к конюшне. В усадьбе все еще спало, а работники тихо суетились по хозяйству. В голове управляющего было ясно, на душе — покойно. Он посмотрел на синие вершины гор, зевнул.

— Благодать-то какая! — вздохнул он и подошел к конюшням.

Ворота были распахнуты настежь, а в дверях стоял сонный конюх. В густой взъерошенной бороде его запутались травинки.

— Кони готовы? — спросил Александр Акинфиевич.

— Хватились когда! — равнодушно отозвался конюх. — В самую полночь умчали. Вас наказывали не тревожить.

Нехорошее, злое чувство поднялось в душе Любимова.

«Словно вор среди ночи угреб!» — возмущенно подумал он и заволновался. Жуткое подозрение закралось в мысли. Он резко повернулся и быстрой походкой поспешил к дому. Откуда только взялись сила и проворство? Александр Акинфиевич быстро взбежал по лесенке в светелку. На ларе в предутренней прохладе сладко спала старуха. Он распахнул дверь и бросился к кровати дочери. Помятое одеяло откинута, наспех разбросаны вещи. А Глашенька исчезла...

Он кричал, звал. Напрасно! Разъяренный, он сгрел и избил старуху. Бедная няня со страхом смотрела на расходившегося хозяина и лила слезы.

— Господи, господи, — крестилась она. — Неужто этот пес утащил нашу раскрасавицу?

Управляющий схватился рукой за сердце, в глазах его потемнело. Шатаясь, жадно хватая раскрытым ртом воздух, он сошел по лесенке вниз и выбрел на двор.

Перед крыльцом стоял конюх с тяжело опущенными руками. Он, как медведь, топтался перед управляющим. Вдруг он упал на колени и заголосил:

— Батюшка, не виновен я! Ведь сам Демидов приказал, шутка ли? Что поделаешь? А Глашенька просила передать: «Пусть папаша не

волнуется. По доброй воле я с Анатолием Николаевичем ушла. Жажду, дескать, счастья!»

Ничего не сказал Александр Акинфиевич конюху. Молча вбежал в свою комнату, схватился за голову и рухнул на постель с криком:

— Глашенька, Глашенька, что ты наделала?

Никто не прибежал на его крик, словно вымерли все в доме. Слуги попрятались по темным чуланам в ожидании большой и страшной грозы...

Не погнался на лихих конях Любимов вдогонку за похитителем. Молча страдал и никого не наказывал. Он на что-то надеялся. Мрачный, одинокий бродил он по опустелым pokojам демидовского дворца. Как всегда, он аккуратно появлялся в заводских цехах, проверял записи конторщиков, распоряжался. Держался он прямо, строго, словно не видел скрытых насмешливых улыбок. Казалось, ничего плохого не случилось в его жизни.

Прошло всего две недели, и в темный июльский вечер во двор неожиданно въехал возок. Из него выбралась укутанная фигура и поспешила к дому. На стук вышел сам управляющий и распахнул дверь. В ноги ему бросилась бледная, исхудалая дочь.

— Папенька, простите меня, окаяницу. Хотела спасти его от пьянства, а он бросил меня! Поманил — и бросил! — горькими слезами раскаяния расплакалась дочь.

— Глашенька! — радостно прошептал отец, поднял ее с пола и потащил за собой. — Пойдем, пойдем в светелку!

Он привел ее в горенку и усадил в кресло. Ни слова упрека отец не сказал дочери. По хоромам раздался его зычный голос:

— Эй, слуги!..

Беглянку накормили, напоили и уложили в постель.

Все так же заглядывал в оконце светелки золотой серпик месяца, а по кабинету ходил снова счастливый Любимов.

«Слава богу, пронесло грозу! — умиротворенно думал он. — Экое дело, девичий грех! С кем не бывало! — Он украдкой взглянул на большой сундук и вздохнул облегченно: — Все покроется, все забудется! Все поклоняются золотому тельцу!»

И он неторопливо стал укладываться спать...

Весной 1831 года Черепановы закончили вторую, еще большую паровую машину, которая стала обслуживать Павловскую шахту. Директор нижне-тагильских заводов Любимов сообщил об успехах Черепанова Павлу Николаевичу:

«Устраиваемая при медно-руднянском руднике Ефимом Черепановым с сыном вторая паровая машина силою сорок лошадей постройкой кончена и была перепущена. Сия машина по устройству режа, штанг и по установлению в горе труб пущена в тихое действие на две трубы. Оборотов делает в минуту пятнадцать, выносит воды каждая труба по три ведра.

Сия вновь построенная машина далеко превосходит первую как чистотою отделки, а равно и механизмом, а потому контора обязанною себя почитает труды Ефима Черепанова и его сына поставить на вид вашего превосходительства и покорнейше просит о вознаграждении их за устройство сей машины, дабы не ослабить их усердия на будущее время на пользы ваши...»

К тому времени, когда писалось Демидову письмо, в горном управлении на Урале произошли большие изменения. Пять лет тому назад, 22 ноября 1826 года, император Николай I издал указ об учреждении на Каменном Поясе должности начальника хребта Уральского, «для лучшего устройства горных заводов впредь до дальнейшего преобразования сей части». С назначением новой власти, облеченной широкими полномочиями, прерывалась последняя нить зависимости управления горною частью от общего гражданского управления. Генерал-губернатор оставался в стороне от горного и заводского дела. Среди горщиков и работных казенных заводов отныне вводилась воинская организация и строгая дисциплина.

Директору нижне-тагильских заводов на этот раз захотелось похвастаться во славу своего господина, и о новой паровой машине Черепановых он сообщил начальнику хребта Уральского — генералу Богуславскому.

Ефим в эти дни томился в ожидании радости: он всеми силами добивался воли своему сыну Мирону. О себе отец не думал, его заботила только судьба его помощника, который обладал золотыми

руками, ясным умом, а между тем находился в рабстве. За малейшую оплошность или просто по капризу заводчика Мирона могли и выпороть и продать, как продают на базаре скот. Отец тщательно скрывал свои терзания от сына, но Евдокия видела, как сильно страдает и томится старик. Сама того не сознавая, она усиливала эту мучительную боль. Подкладывая за столом сыну лучшие куски, мать со слезами на глазах шептала:

— Ах ты, голубь мой, сизокрылый мой! Полететь бы тебе высоко и далеко, да крылья связаны!

Ефим молча откладывал ложку и поднимался из-за стола. У него, крепкого, мужественного человека, спазмы сжимали горло. В раздумье он уходил из дому и подолгу бродил по берегу заводского пруда. Однажды в кустах подле плотины он наткнулся на валявшегося в грязи хмельного человека. Только что прошли дожди, и несчастный распластанный на сырой земле человек дрожал, как бездомный пес. Плотинный наклонился и узнал Козопасова. Оборванный, перепачканный в глине, с большими серыми мешками под глазами, он выглядел беспомощно и жалко. Черепанов поднял с земли механика.

— Идем ко мне, Степан! Отмоешься, переоденешься! — пригласил он.

— Нет, никуда я не пойду отсель! — печально покачал головой Козопасов. — Не отмоешь от муки мою душу! Подумай, кому я нужен? Да и чего ты меня жалеешь? Пожалей лучше себя и своего сына! Моя судьба кончена!

Речь несчастного мастера словно ножом полоснула по сердцу Черепанова. С большим трудом он уговорил Степана пойти к нему. Козопасова умыли, Ефим передел его в свою чистую рубаху, и Евдокиюшка усадила дорогого гостя за стол, подкладывая ему самое лучшее. Ласка и внимание хозяйки тронули механика. Он ел, а у самого на глазах блестели слезы. Хозяева делали вид, что не замечают их.

— Добрые вы люди, Ефим! — с нежной грустью сказал мастерко. — Спасибо вам, что не побрезговали мной!

— Ой, что ты! — вскрикнула хозяйка. — Не к месту говоришь такие слова! Умный ты, Степанко, и нашей рабочей крови. Таких бы людей, как ты, да побольше в нашей земле, возликовала бы она!

В глазах женщины гость уловил невольное восхищение им, и оно приободрило его. Благодарно глядя на Евдокиюшку, он с тоской пожаловался:

— Кто мы тут на земле? Первые работнички, рачители! Все помыслы и труды наши только о том, как бы украсить русскую землю, чтобы сделать ее поуютней, а труд человеку полегче и в радость! Погляди, милая, кругом, все сделано нашими руками: и завод, и домна, и плотина ставлены русскими умельцами, и палаты господину, и железо ковано работными людьми. И выходит, честь и слава русскому человеку на своей земле? Ой, нет, дорогая! Принижен и обездолен он! Раб презираемый! — произнес он с подчеркнутой жестокостью последние слова. — Положение его хуже скота! Но тут разница великая: скотина разума не имеет, а человек мыслит и видит извечную несправедливость. Раба можно выпороть, разлучить с семьей, насмеяться над ним! Ох, и тяжело, родная, жить, когда на каждом шагу чувствуешь, что ты в своей отчизне пасынок!

Ефим молча слушал Козопасова. Слова мастера жгли его душу раскаленным железом. Но что поделаешь против страшной, жестокой силы барства, которое опутало родную землю?

— Так богом положено, Степанко! — покорно ответила хозяйка и опустила глаза. — Видно, гостюшка, так во святом писании поведано, — простому русскому человеку во веки веков маяться!

— По глазам вижу, милая, что говоришь ты одно, а думаешь другое, — спокойно возразил Козопасов. — Не бог, а люди придумали рабство. Только не вижу я исхода из крепостной кабалы! Горе, страдания и тьма беспробудная кругом! Видать, так и умрем в неволе.

— Все может быть, — согласился Ефим. — Николи не забуду, как провозили через Камень тех сердечных, что против царя поднялись... Видать, умные люди, да что вышло? В песне поется складно:

Рассадили их по темным кибиточкам,
Развозили их по темным тюрьмам...

Жена Черепанова покосилась на дверь: она поняла, о ком идет речь, испугалась: не дай бог, заушатель подслушает такие речи.

— Ты, Ефимушка, помолчи про тех, кто на Сенатской поднялись...

Опустив голову, Степанко продолжал в раздумье:

— Если бы не такие люди, Евдокиюшка, как они, так и надежды не будет. А без надежды — ложись и умирай! Спасибо и вам, родные мои! Частенько я думал об этом. Силу и радость приносит только добрый человек! Подумай, что есть русский человек? Сам горемычен, вечно в изнурительном труде, в рабстве, нищ до предела, а какой великой и доброй души! Ласковым словом он и обогреет тебя, и обласкает, и словно солнышко осветит тебе потемочки! Эх, трудно жить, родная, ох, как трудно! И где еще, в какой стране, есть такой умный, трудолюбивый и золотой человек, как наш, русский!

По мере того как мастерко успокаивался, речь его становилась плавной, и он почти перестал заикаться. Глядя на него, Евдокиюшка прослезилась. Гость не принял это в обиду, — не бессильной жалостью пригрела его простая русская женщина, а глубокой и большой любовью, на которую щедр русский народ. Обновленный, успокоенный, Козопасов ушел из домика Черепановых. Сейчас и звезды, казалось ему, засверкали ярче, и ветер из Запрудья стал мягче, ласковее, и даже неумолчный скрип созданной им штанговой машины в этот вечер зазвучал по-иному...

Не прошло и недели после встречи с мастерком, а в семью Черепановых пришло большое огорчение. То, чего больше всего опасались, свершилось: Павел Николаевич Демидов прислал вольную только одному Ефиму. В напыщенно написанной грамоте, в которой подробно перечислялись все многочисленные чины и звания хозяина, оповещалось: «Заботясь о славе наших заводов, побуждаемые отеческой заботой о верноподданном нашем, соизволили мы дать отпускную крепостному нашему Ефиму Черепанову».

В указе владельца не было ни слова о семье и сыне Мироне.

Управляющий Любимов, прослезясь, с чувством объявил механику решение Демидова и ждал, что он упадет в ноги, но мастерко стоял, низко опустив голову, и молчал.

— Что ж ты безмолвствуешь? Или не рад отпускной? — удивленно спросил Александр Акинфиевич.

— Премного благодарны нашему господину! — низко поклонился Ефим, дрожащей рукой принял грамоту и тяжелой походкой вышел на

улицу.

На Урал пришла ранняя весна, все ликовало вокруг: и бездонное ясное небо, и зазеленевшие леса, и воды, и горы. Птичьи голоса оглашали рощи и перелески. Пришел веселый шумный май с теплыми ветрами, с золотыми солнечными разливами, по небу тянулись косяки гусей, уток, лебедей. Сохатые иступленно ревели в брачной истоме, зычно и могуче оглашая горы. Радостная и кипучая жизнь напористо лезла изо всех земных щелей: зазеленели луга и елани, на березе развернулся мягкий и клейкий лист, птицы озабоченно вили гнезда, и с утра над влажной и теплой пашней распевали жаворонки. И в этот час, когда все в природе ликовало, на душе Черепанова сгустился беспросветный мрак. Механик молча спрятал отпускную и еще больше замкнулся в себе. Евдокиюшка хорошо понимала его душевное состояние; ласково посмотрев в глаза мужу, она тепло сказала:

— Не кручинься, отец. Жили до этого, проживем и дальше! Думай так, будто ничего и не было!

В самом деле, лучше было не думать о барской «благодарности». При сыне Ефим держался ровно, спокойно, словно ничего не случилось. Мирон удивился безразличию отца:

— Ты и отпускной не радуешься, батя?

— А чего радоваться? Да и на что она мне! Куда я уйду от любимого мастерства? Без него и жизнь не в жизнь! — В словах отца о работе прозвучала глубокая любовь к делу, и это успокоило сына.

Вскоре пришла новая награда Черепанову — медаль. И ее механик положил подальше. На молчаливый вопрошающий взгляд женки он ответил:

— Вдвоем с Миронкой заслужили, а медаль одна. Как ее будешь носить?

Так все шло по-старому, только в обращении Любимова к механику появились новые нотки. Разговаривая с Черепановым, директор заводов подчеркнуто величал его по отчеству:

— Счастливый ты, Ефим Алексеевич, — эвон какие награды привалили! Я много годков работаю, а медалью так и не пожалован.

Больше всех плотинному завидовал Климентий Ушков — владелец заводской конницы:

— Видать, в рубашке тебя мать родила, Ефим Алексеевич. Много откупных денег сулю я господину за волю, а он и ответом не удостоит.

Директор Александр Акинфиевич весьма благосклонно принимает подарки и кое-какое поощрение из уважения к моему богатству делает, а на просьбы, однако, одно долбит: «Куда суешься с кувшинным рылом да в калашный ряд!»

Все эти льстивые слова приносили еще больше душевных мук Ефиму. «Сын Миронка как был, так и остался в рабстве! Вот и радуйся!» — угрюмо думал он.

В апреле 1833 года из санкт-петербургской конторы пришло предписание о том, чтобы Мирон Черепанов срочно явился в столицу. Получение столь важного приглашения не особенно обрадовало молодого механика: его в эту пору занимали другие мысли. Вместе с отцом он задумал построить паровую телегу. Побывавшие на Каме приказчики рассказывали, что годов пятнадцать тому назад они видели первый русский пароход, — это сильнее разожгло и без того любознательного Мирона.

Весной 1819 года пермские жители валом валили на крутой камский яр, чтобы подивиться невиданному зрелищу. На темной воде по стремнине плыли два парохода. Построены они были на Пожевском заводе владельцем Всеволожским. Проекты этих пароходов составлял горный инженер Соболевский. Строили их в большом секрете и теперь удивляли ими уральцев. Пароходы сделали несколько рейсов перед городом, катали господ, после этого уплыли на Волгу и больше оттуда не возвратились. Однако молва о них пошла среди народа; широко и далеко разнесли ее бурлаки.

История с пароходами не давала покоя Мирону.

«А что, если применить пар и устроить на суше паровую телегу?» — напряженно думал он, и эти помыслы захватили его целиком. Только и дум у него было, что о паровой телеге! Слухом земля полнится, и до Черепановых дошли вести, что в Англии уже опробовали паровые повозки.

Известие о поездке в Санкт-Петербург тревожило и пугало Мирона. Взволнованно он собирался в дальнюю дорогу, а мать успокаивала сына. Она подолгу любовалась им и в душе гордилась: чувствовало ее сердце, что не впусте вызывают Миронку в главную демидовскую контору.

Выехал плотинный Выйского завода весной, как только установилась дорога. До Чусовой он добирался по трудным уральским проселкам: глухими борами, крутыми горами да тряскими гатями. Прибыл он в демидовскую Утку в самую пору: готовилось отплытие «на низы» каравана с железом. В маленькой деревянной Утке сейчас набилось до отказа пришлых людей. Со всего Камня, даже из далекой Чердыни, набрели сюда сотни бурлаков, которые, надрываясь, грузили в свежие тесовые коломенки грузную кладь. Поглядывая на синеющие просторы, по селу бродили матерые опытные лоцманы из Слудки, водоливы и толпы сплавщиков. Шумно, крикливо было в избах. Немало хмельных буянило у коломенок и стругов, только приказчики и могли уговорить их.

Мирон отыскал «казенку» демидовского каравана, который тихо покачивался неподалеку от берега, сдерживаемый крепкими якорями. С верховьев Чусовой на глазах прибывала шалая и неугомонная вешняя вода. Река вздулась, кипела, кидалась на берег и с шипением отступала, чтобы разъяренным зверем снова броситься вперед. В такую пору опасно пускать коломенки, и тагильский приказчик Шептаев выжидал удобной минутки. Ко времени и подоспел Черепанов. Оглядывая его ладную коренастую фигуру, караванный озабоченно спросил механика:

— Не боишься. Мирон Ефимович? Гляди, как играет и ревет река.

— А чего мне бояться? — спокойно отозвался тагилец. — Только и в ответе за свою душу. Тебе страшней: за железную кладь ответ держишь. Не доставишь — как взглянет тогда хозяин!

— Ой, и не говори! Страшно! — с нескрываемым ужасом вымолвил приказчик: — Идем, идем!

Всегда неугомонный и злой, на этот раз Шептаев обрадовался Черепанову и указал на свою каморку в «казенке»:

— Иди отдохни, пока спокойно. На плаву не до того будет. Страх не оберешься!

Однако Мирон не пожелал отдыхать, — его тянуло полюбоваться на реку, и он остался на палубе коломенки. Все ему казалось здесь в диковинку: и пушка, выставленная на «казенке», и длинные потеси, и бунты тугих пеньковых канатов. У пушечки сидел сухонький обветренный старичок лоцман. Держался он тихо и сосредоточенно. Указывая на реку, старик восторженно сказал:

— Красавица, буйнка, с такой и поспорить любо!

Черепанов улыбнулся в свою рыжеватую бородку, дед понял его сомнение, однако не обиделся.

— Ты, милоч, не гляди, что с виду я стар, — сказал он сурово, — я ведь шестьдесят годочков на воде плавал, ровно гусь. И то верно, что, может быть, это последняя весна моей жизни, но скажу тебе — будь спокоен! Мастерство наше старинное, умное, — наши лоцманы николи не срамились, сам увидишь!

Старик не хвалился, держался уверенно и говорил о реке с большой любовью. При взгляде на серебряные блики вспененных вод глаза у него загорались юношеским блеском. Он шумно, полной грудью втягивал свежий речной воздух.

— Словно свою силушку в мое тело вливает! Ой, любо! Эх, Чусова-река, буйная дорожка! — сказал он весело. — По всему видно, завтра отвалим!

Толстый и важный, в суконной поддевке и в скрипучих козловых сапогах, распустив парусом широкую бороду, приказчик медленно расхаживал по «казенке», покрикивая на водоливов и потесных. К барже непрерывно подплывали лодки от других коломенок, из них вылезали люди и шли за указаниями к Шептаеву. Ему доставляло большое удовольствие повышать голос, грозить, топтать ногами, упиваться властью над сплавщиками. Недоступный и грозный демидовский доверенный только к лоцману относился снисходительно и его не трогал.

На ранней заре, когда сладко спалось. Мирона разбудил выстрел из пушки. Он вскочил, быстро оделся и выбежал на палубу. Над водой курился легкий туман, вершины высоких кедров на яру искрились под первыми лучами солнца. На реке быстро сновали лодки, шли последние приготовления к отплытию. Утренняя тишина простиралась над Чусовой, которая по-прежнему широко и неукротимо катила свои воды. Рулевые стояли у толстых смолистых потесей. Лоцман был тут же рядом с ними и зорко вглядывался в голубоватую даль. Вот впереди, за просторной излучиной, порозовели облака, засинело небо. Все — и потесные, и водоливы, и приказчик — внимательно следили за стариком. Он взмахнул рукой, крепкие молодцы бросились поднимать якорь, обрубали путы, и коломенка тихо, незаметно пошла на стрежень. Все быстрее и быстрее она отходила от берега, еще

мгновение — и могучим порывом ее подхватила коренная струя и понесла. Одна за другой на большом расстоянии отрывались от берега другие коломенки и тянулись на стрежень. Вскоре весь караван понесся по Чусовой.

Вчерашний старичонка лоцман неузнаваемо преобразился. Теперь перед Мироном стоял озаренный солнцем властный водитель каравана, за каждым движением руки которого с замиранием сердца следили двадцать пар зорких глаз потесных. По мановению его руки они дружными усилиями направляли потесь то вправо, то влево. Даже приказчик притих, принизился: хозяином на всем караване вдруг стал маленький сивобородый дед!

Чусовая неслась быстро, взбешенно, с разбегу билась о каменистые скалы, ревела, тянула вниз, в омут, клокотала и бурлила там. Горе, если прозеваешь и не повернешь коломенку вовремя из буйного течения, — не обогнуть ей тогда камня! А повернешь раньше — тоже беда. Гляди-поглядывай! Проворой будь! Время у лоцмана рассчитывалось на мгновения.

Впереди караван поджидали «бойцы». Издалека слышался рев разбушевавшейся стихии, виднелись валы сверкающей пены, над которой радугой сияла водяная пыль. Все затихли, со страхом прислушиваясь к нарастающему реву. Речная струя подхватила коломенку, как перышко, и понесла. Все кипело кругом, навстречу в бешеном кружении понеслись леса, горы, скалы. Эх ты, Ермакова путь-дорожка, шалая река! Лоцман стиснул зубы, глаза его засверкали, — чуть-чуть, почти незаметно, он шевельнул поднятой ладошкой. Не успел Мирон и глазом моргнуть, как коломенка быстрой лебедью пронеслась под самой скалой, так что можно было рукой шаркнуть по камню. Кипенем кипел рядом страшный водоворот-омут, с ревом бились о «боец» взбешенные струи, но «казенка» проскользнула, оставив позади себя шум и ярость бездны, и вырвалась на простор. У Черепанова сразу заликовала душа, но лоцман по-прежнему оставался строг, не шевелился и напряженно смотрел вдаль.

Шептаев скинул шапку, перекрестился.

— Слава тебе, господи, «Разбойника» миновали! — со страхом посмотрел он назад. Там, одна за другой, с бешеной скоростью мимо «бойца» проносились коломенки.

Прошло десять — пятнадцать минут, и снова с прежней силой стал нарастать шум. Потесным нидохнуть, ни пошевелиться нельзя, глаз не спускают с лоцмана. А он на своем месте, как орел среди бури. Мирону и страшно, и жутко, и весело от стремительного движения по опасным местам. Мгновения тогда кажутся вечностью, а вдали опять белые шапки пены, рев, беснование, — вода скачет табуном белогривых коней, вот-вот снесет, ударит, разобьет вдребезги и потянет в черную пучину! Секунда — и опять простор, озаренный солнцем, и река притихла, блестит, а в глубине ее отражаются опрокинутые кедровые деревья, бегущие облака и тень от скользящей коломенки.

Весь день не исчезал страх в напряженном ожидании очередных «бойцов». Как глубоко и легко вздохнулось, когда на третий день выплыли на синюю Каму! На высоком яру заблестели маковки церквей, забелели белокаменные торговые ряды и присутственные места, — из легкого тумана вставала только что отстроенная Пермь — губернский город. Тут с «казенки» сошел старый лоцман. Перед уходом он подошел к Мирону, хитро подмигнул:

— Ну, брат, подвезло, через все беды стрелой пронеслись! Счастлив ты, парень! Теперь без большой опаски доплывешь!

— Что ж, сейчас на отдых, отец? — спросил его плотинный.

— Это как поглянется, милочка! — поклонился он Черепанову и удалился в каморку приказчика. Шептаев не утерпел и напоследок обсчитал старика. Лоцман взволновался, стал уламывать демидовского доверенного, но тот нахмурился — и ни в какую.

— Будет с тебя и этого! — Он бесцеремонно взял деда за плечи и выпроводил на берег...

По Каме плыли с песнями. Широко и привольно разлилась темно-синяя река. По берегам уходили назад деревянные прикамские городишки, серые деревушки, одинокие часовенки, ставленные на помин загубленной души. Вечерами на плесах по-бурлацки варили уху и под звездами у костра слушали страшные сказки старого водолива Изотки. Из лесных чащоб ветер приносил запахи смолистой хвои. К чистым камским струям из нагорных глухоманей спускались медведи плакать студеной водицы. Нередко из густых зарослей выходил сохатый и склонял свои могучие рога над Камой-рекой. Пробирались к ней в вечерней тишине и на ранних росистых зорьках и черемная лисица, и гладкошерстая норка, и всякая пушная зверюшка. А на

бережку за кустом нежданно-негаданно вдруг пробобочет притаившийся заяц.

Над головами ночью — высокий темно-синий купол неба с золотыми звездами. Под таким шатром еще краше, еще милее казались сказки Изотки. Пламя костра озаряло изборожденное крупными морщинами лицо водолива, а речь его лилась медленно, плавно, как золотая пряжа тянулась.

— Богатый, братцы, всегда завидует бедному, все норовит его обмануть. Я вам, милые, расскажу о смелом Иванушке, крестьянском сыне! — Изотка торжественно оглядел слушателей и продолжал весело: — Расскажу, дорогие, как он вместе с Коньком-горбунком чудес наделал, как он

...хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как он ездил за кольцом,
Как был на небе посллом,
Как он в солнцевом селенье
Киту выпросил прощенье,
Как к числу других затей
Спас он тридцать кораблей,
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился...

Ночь притихла, трава сверкала росой, филин неслышно пронесся над кустами, а сказочник все сидел, обняв длинными и сильными руками свои колени, лицо его светилось лаской, и, глядя на золотой уголек костра, он продолжал размеренно-певучим голосом передавать сказку. У Черепанова мечтательно-тревожно забилося сердце. Он неподвижно сидел на земле, боясь проронить хотя бы одно слово. И когда Изотка внезапно смолк. Мирон не удержался и глубоко вздохнул:

— Чудо-сказка!

— Что за диво, дурак дураком и есть! — грубо возразил Шептаев и сплюнул в костер.

— Неверно! — вспыхнул механик. — В этой сказке великий смысл скрыт, он и согревает душу. Дурачком называется Иванушка в

ней только на людском языке: не схож он с обыкновенными человеками, не так живет, как они, себялюбцы, живут! Честно служит людям Иванушка, терпит многое, и его не миновали человеческие немощи, но ради людей он решается на невозможное, и добрые всемогущие силы помогают ему, как своему собрату. А кто эти добрые силы, где они? — Черепанов внимательно посмотрел на водолива.

— Народ — великая и всемогущая сила! — сурово сказал старик.

Приказчик нахмурился, сердито оборвал сказочника. Поднеся к нему кулак, зло выкрикнул:

— Какой такой народ? Уж не ты ли, Изотка, тот русский народ? Не Миронка ли? Или вон потесные? Я их, такой народ, в эту жменью сожму, только мокрое место станет!

Красное пламя костра играло на рыжеватых жестких волосах Шептаева, оно ярко освещало все его круглое сытое лицо со множеством веснушек, походивших на пятна, какие бывают на вороньих яйцах. Изотка с плохо скрываемой ненавистью взглянул на него и со страстью ударил себя в грудь.

— Я народ! Все мы, трудяги, русский народ! Не хвались силой! Хоть ты здесь и хозяйский глаз, но сильнее тебя народ! — выкрикнул он с вызывающей горделивостью. Лицо старика внезапно преобразилось, засияло вдохновением. Потесные, водоливы и Мирон невольно залюбовались Изоткой.

Приказчик, встретившись с потемневшими глазами сказочника, промолчал. Затихли и остальные. А кругом, на необозримом пространстве между звездным небом и благоухающими травами, в воздухе разливались бодрящие запахи смолистого бора, дыхание набухшей весенними соками теплой земли, радость самой жизни. Из-за темного леса выплыл робкий серп месяца, и его трепетный свет заструился на тихой Каме и росистых травах. Весенняя радость проникала в поры всего живого на земле, будоражила его кровь, заставляя людей мечтать, птиц — петь и суетиться, а зверя — ревом звать к подруге.

— Живем мы, как черви в навозе, и всей красоты земной не видим! — снова с огоньком заговорил Изотка. — А отчего? Оттого, что вот хозяева наши отняли у нас все радости! Эх, братцы, прислушайся, какая отрада!

В кустах раздалась песня притаившегося соловушки. Лица у всех потеплели. Сплавщики жадно вслушивались в звенящую трель, в нежные переливы. Шептаев — и тот не устоял, задумчиво опустил голову и заслушался. Кто знает, может быть и в его заскорузлой душе проснулось человеческое чувство?

— Хорошо выводит колена, шельмец! — потрясая бороденкой, прошептал старый водолив. — Ну просто на сердце сладко щемит от такой песни!

Мирон очарованно разглядывал усталые бородатые лица демидовских холопов, их изодранные одежды — порточную рвань да прелые лапти, а сам думал: «Неприглядны, нуждой изъедены, а смотри, что творится! Какая ласковая и отзывчивая душа! Сами нищи, так песней и сказкой украшают свою жизнь! И нет на свете сказок да песен краше русских!»

Костер постепенно погасал, раскаленные угольки подергивались серой пленкой. Ярче на синем небе запылали звезды. За бугром в деревне прокричал полуночник-петух. Один за другим, кутаясь в латаные, ветхие зипунишки, сплавщики укладывались на отдых и быстро засыпали.

Шептаев, кряхтя, встал и пошел на покой в свою каморку на «казенке». У костра остались только двое: водолив Изотка да Мирон. Они сидели молча, боясь нарушить очарование весенней ночи. Только Кама-река все что-то шептала и сонно журчала на близких перекатах...

Миновали уральские реки, выбрались на Волгу, и коломенки поплыли против течения, влекомые бурлацкой силой. Широка и глубока Волга-матушка, но еще глубже и томительнее над ней бурлацкий стон. Впрягшись в лямку, бедолаги брели вдоль берега, шлепая истоптанными лаптями. Канат, на котором держалась коломенка, то натягивался и скрипел, то, при обходе коряг и пней на берегу, ослабевал, — бурлаков покачивало от натуги. Над ватагой столбом вилось комарье, жадно липло к бурлацкому телу, сосало кровь.

— Эй, тянем-потянем! — разносились выкрики над волжскими плесами, а за ними ухала разудалая и грустная «Дубинушка».

На коломенке, как дубовый кряж, врос демидовский приказчик и грубо подгонял бурлаков:

— Эй, живей шевели, бреди! Галахи!

Соленым потом поливали трудяги волжские пески, старые пни, болотистые топи, которые подходили к реке. Надрывались, хрипели и плевались кровью изможденные работой волгари, но брели и брели.

Мирон со страхом смотрел на тяжелый труд и думал:

«Простор и раздолье кругом, а работному человеку и податься некуда! Как вола, в лямку впрягли! Вот бы машину сюда!»

Подошел Шептаев и, указывая на ватагу, с восторгом обронил:

— Рвань, галахи, а силища какая! Всю Волгу в ярме обшагали!

Из-за мыса на горах в синей дымке встал златоглавый город. Приказчик повеселел:

— Гляди, вон он, батюшка Нижний! Эх, городок! — Он скинул шапку и истово перекрестился: — Слава богу, груз в целости доставили, то-то хозяину радость! Эхма! — Шептаев хлопнул в ладоши и сразу же после моления пустился в дикий пляс.

Водоливы с изумлением смотрели на демидовского доверенного.

— Ух ты, ирод! Брюхо не вытрясло, а совесть давно вынесло! И плясать по-людски не умеет!

Мирон удивился: и в самом деле, рыжебородый приказчик плясал, а глаза его были хищны и жестоки.

Спускался вечер, бурлаки выбивались из сил, а бурая широкая река все еще гневно бурлила пенистыми воронками, с ворчанием ударяясь о берег. Вверху, над холмами, в безоблачном ясном небе догорал закат...

Из Нижнего Новгорода до Москвы Мирон доехал на попутных лошадях. На постоялом дворе он отдохнул, походил по Белокаменной, внимательно присматриваясь ко всему. Его поразило радостное оживление, кипучесть и неутомимая стройка города. На главных площадях и улицах еще простирались огромные пепелища, но кругом высились леса, слышался бодрящий стук топоров, звенели пилы, покрикивали каменщики. Москва залечивала раны, нанесенные иностранными полчищами. Наполеон и многие его сподвижники давно уже стали прахом, а бессмертный русский народ строил и обновлял свой великий город. Вновь на бульварах зазеленели молодые тополя, в больших зеркальных прудах заиграла рыба. Вешние дожди смыли копоть и сажу с кремлевских стен; восстановленные в прежней

красе зубцы и башни снова горделиво вонзились в небо. Казалось, помолодела вся русская земля после прогремевшей бури, а с нею помолодела и стала краше Москва.

Досыта налюбовавшись Белокаменной, Мирон по совету постояльцев отправился в контору дилижансов.

Только что закончилось постройкой шоссе из Москвы в Санкт-Петербург, и теперь в столицу ходили спокойные рессорные экипажи. Мирон смущенно подошел к смотрителю и попросил записать его на проезд в дилижансе. Чиновник с унылым носом даже не взглянул на клиента. Коротко и деловито он предложил уральцу:

— Платите деньги, господин, и езжайте с богом! Трое пассажиров имеется, только и не хватало четвертого. Кстати, вон и сосед ваш по экипажу! — указал он на коренастого молодого человека с широким круглым лицом и выразительными глазами, весело блестящими из-под очков. На путешественнике было старенькое потертое пальто и широкополая шляпа, через плечо переброшен плед в клетку. Черепанову сразу приглянулся попутчик. Он был значительно моложе Мирона, но выглядел солидно и держался с достоинством.

— Очень рад! — приветливо пожал он руку механику, озаряя его светлым взглядом. — Судя по виду, издалека путь держите?

— С Камня, из демидовских заводов! — степенно ответил Черепанов, радуясь, что так просто началось знакомство.

— Вот как! — поправляя очки и внимательно вглядываясь в тагильца, радостно воскликнул юноша. — Выходит, вы уралец! А я сибиряк. Земляки, одного поля ягодка!

Мирона одно смущало: не думает ли его спутник, что Черепанов вольный человек? Что будет, если он узнает, что рядом с ним поедет в дилижансе крепостной?

— Позвольте узнать, как величать вас? Меня зовут Петр Павлович Ершов, студент Санкт-Петербургского университета! — просто представился юноша.

Тагилец опустил глаза, покраснел, но решил разом покончить с сомнениями и честно признался:

— Мирон, крепостной механик. У Демидова паровые машины с отцом построили.

Глаза студента изумленно расширились.

— Вот как, выходит, мне повезло! Радуюсь, что с вами поеду! — Он запросто взял Черепанова под руку и повел его в соседний трактир. — Подкрепим немного телеса. Путь дальний, хотя без терний.

В трактире, жадно хлебая горячие щи, он с упоением рассказывал о Сибири. Студент весь горел и был подвижен, словно ртуть.

— Нажимай веселей, друг! — подбадривал он Мирона. — Желаешь, я тебе про отчизну свою прочту одно послание?

Черепанов ласково улыbnулся ему в ответ. В трактире было пусто. Уронив голову на стойку, буфетчик сладко посапывал. Студент, вскинув глаза, вполголоса начал:

Рожденный в недрах непогоды,
В краю туманов и снегов,
Питомец северной природы
И горя тягостных оков, —
Я был приветствован метелью
И встречен дряхлою зимой,
И над младенческой постелью
Кружился вихорь снеговой...
Мой первый слух был — вой бурана.
Мой первый взор был — грустный взор
На льдистый берег океана,
На снежный горб высоких гор...

Сибиряк произносил слова четко, сурово. Крепкие и круглые, они, как литые колечки, срывались с его крупных губ и катились к сердцу слушателя. Он окончил, смолк, а Черепанов все еще очарованно смотрел на него.

— Что это? Песня, быль? — взволнованно спросил он. — Будто про мой родимый край сказано. Ах, сударь! — Он горячо схватил руку студента и хотел ее поцеловать.

— Что ты, братец! Разве ж это допустимо: не барин и не поп я! — с легкой насмешкой сказал тот.

Мирон смутился, покраснел.

— Хоть я и крепостной смерд, но барину руки не лобызал, не приучен батюшкой. Твои речи вознесли меня высоко, схватили за

душу. Вот говорил ты, и чуял я вой бурана, вихрь снеговой, сибирский!
До чего хорошо!

Студент растерянно заморгал, снял очки и стал протирать глаза, будто запорошило их.

Перекусив, они вышли из харчевни. Над Москвой догорала заря. На ее алом фоне четкими силуэтами вставали кремлевские стены, островерхие башни, и среди них Иван Великий — златоглавая колокольня. Сиреневые тени легли на Красную площадь, и с Замоскворечья подул теплый, мягкий ветер. Над Кремлем засверкали первые робкие звезды. Взглянув на них, студент вздохнул:

— Сейчас время страшное, глухое, а придет пора, иные звезды засияют над русской землей!.. До завтра, милый человек! — Ершов поклонился и вскоре исчез в наступающем сумраке.

На ранней заре затрубил почтовый рожок, кони тронулись, и дилижанс, мягко покачиваясь на рессорах, покатился по мостовой. Минули заставу, пригород, выехали на шоссе. Разыгрался ясный погожий денек, и далеко виднелось в прозрачных полях. Передние места в экипаже заняли толстый обрюзглый помещик с костлявой чопорной супругой. Они сидели спиной ко второй паре пассажиров, стараясь не замечать их. Прямая как палка, с длинным носом, чванливая дама брезгливо поджимала губы. Она не желала вступать в беседу со спутниками. Рыхлый и оплывший муж ее, опустив голову, сразу же задремал под легкое покачивание дилижанса.

Миرونу казалось, что он давным-давно знаком со студентом. Проникаясь к нему доверием, он рассказал о своей мечте — сделать такую паровую машину, которая перевозила бы груз и тем облегчила труд человека.

— Паровой дилижанс! — обрадованно выкрикнул Ершов, но сейчас же испуганно взглянул на дремавшего помещика и понизил голос. Он заговорил тихо, но горячо и страстно:

— Да знаешь ли ты, братец, что великое дело задумал! Вижу и душой чувствую: талантливый ты русский человек! Всем сердцем верю, что сбываются чаяния Михаила Васильевича Ломоносова, который уверял, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». Вот они идут! Жаль, весьма жаль, что не дожил Михаила Васильевич до наших дней!

Многое непонятно было уральцу из того, что говорил студент, но всем разумом он догадывался, что веселый и бойкий сибиряк искренно радуется его мысли и сочувствует ему.

Всю дорогу оба любовались спокойным русским пейзажем и тихим говорком делились впечатлениями. Помещик на почтовых станциях насыщал утробу и терпеливо выслушивал жалобы сварливой и надоедливой жены.

В Новгороде, над синим Волховом, студент и Черепанов долго восхищались закатом. Было тихо, хорошо на душе, и Мирон, взглянув на спутника, предложил:

— Я вам одну сказку поведаю, — на Каме от бурлаков слышал. Люблю байки да сказки: от них теплее становится на сердце!

Ершов склонил лобастую голову, теплые глаза его лучились.

— Ну те-с! — попросил он.

Мирон, глядя на быстрые воды Волхова, начал в полный голос:

За горами, за лесами,
За широкими морями,
Не на небе — на земле
Жил старик в одном селе.
У крестьянина три сына:
Старший умный был детина,
Средний был и так и сяк,
Младший вовсе был дурак...

— Стой, погоди! — схватил Мирона за руку студент. — Неужели на Каме знают эту сказку?

— Знают! А что тут удивительного, если она радует душу? — рассудительно ответил уралец. — Сказка чудесна, светла, вот как эта заря! — показал он взором на сияющий нежный закат. — После нее дышать легче. Веришь ли?..

Он взглянул на студента и смутился: на ресницах юноши блеснули слезы.

— И мне по душе, сродни эта сказка! — тихо сказал он, обнял Черепанова и нога в ногу пошел с ним вдоль крутого берега...

За Волховом путешественников встретили мокрые ветры. Серые тучи низко ползли над полями — весна в этих местах была скудная, чахлая. Под столицей пошли унылые болота, равнины, покрытые низкорослым кустарником да редколесьем. Утром в тумане перед путниками встал Санкт-Петербург. У Московской заставы дилижанс задержался: дорогу преградил полосатый шлагбаум. Из будки вышли усатые жандармы и попросили предъявить подорожную. Студент небрежно подал в опущенное окно дилижанса подорожную, и стражи вскоре возвратили ее. Грузный помещик вручил свои листы.

— Дворянин Иван Петрович Измайлов из Рязани! — почтительно огласил документы жандарм и взял под козырек. — Прошу!

Костлявая дама кокетливо взглянула на курносое лицо жандармского офицера, на его большие мутные глаза, похожие на выпуклые оловянные пуговицы, и заискивающая улыбка скользнула по тонким измятым губам женщины. Жандарм звякнул шпорами, лихо подкрутил ус и выразительно завращал глазами.

— Ах, боже мой! — вскричала костлявая жеманница. — Я где-то видела вас!

Офицер побагровел от удовольствия и протянул руку за подорожной Мирона; развернув ее, он громко, отдельно прочитал:

— Мирон Ефимов Черепанов, крепостной человек господина Демидова!

Помещица сердито передернула плечами, глаза ее потемнели от злости, и она, забыв об офицере, желчно набросилась на мужа:

— Что ты смотрел, пентюх, когда выправлял билеты? Как это можно, — мы всю дорогу ехали с мужичьем! С холопом! Что же теперь делать? Как быть? Ты опозорил меня, пентюх, на весь Санкт-Петербург! Боже мой, что скажет тетушка, генеральша Анна Михайловна! Пентюх, соня! Мешок! — Она готова была избить неповоротливого, нескладного супруга, если бы не офицер, который снисходительно посмотрел на помещицу и улыбнулся ей:

— Сударыня, теперь не возвращаться же вам после этого в Москву! Эй ты, вражья душа, получай свою подорожную! — грубо окрикнул он уральца и сунул в окно измятый лист. — Пропустить! — зычно прокричал он, и пестрый шлагбаум поднялся ввысь. Дилижанс покатился по столичной улице. Мирон сидел с низко опущенной головой. Шипевшая, как злая гусыня, помещица злилась на мужа; она

с нескрываемым презрением оглядывалась на соседей. Помещик терпеливо сносил выпады супруги. Изредка он хватался за голову, раскачиваясь, жаловался:

— Ну и век! До чего дожили: в одном экипаже с хамом едем!

Мирон еле сдержался.

— Неизвестно еще, кто среди нас хам! — гневно отозвался студент. — А вам, сударыня, семейные сцены тут не пристало разыгрывать. Да-с! — Он впился строгими глазами в желчную барыню и засмеялся ей в лицо: — Глядите, после сего случая тетушка Анна Михайловна не пустит вас во двор!..

Презрительно взглянув на студента, помещица отвернулась и с еще большим ожесточением зашипела на мужа. Счастье, что скоро подъехали к столичной конторе дилижансов и пассажирам пора было покидать станцию.

Прощаясь с Ершовым, уральский механик условился встретиться с ним. Мирон долго мял в руках шапку, смущенно глядя на студента.

— Спасибо, Петр Павлович, за науку и доброе слово! — поклонился он спутнику. — Будет ли тебе с руки встретиться с простым рабочим человеком? Не зазорно ли? Ведь я крепостной!

— Эй, милый ты человек, да на таких, запомни, Русь держится! Не смущайся, не красней! Что ж, что крепостной? Не нам с тобой стыдиться своей судьбы, — мы честные работники!

Они по-братски обнялись. Уходя, Мирон все оглядывался, а на душе было такое чувство, будто что-то дорогое потерял. Он пробирался по Мойке-реке и думал о дорожном товарище. Доброе, светлое чувство нес он в своем сердце. Уралец остался благодарен умному юноше, сумевшему успокоить самое наболевшее. Тяжело, невыразимо тяжело угнетала Мирона мысль о рабском состоянии. Чем ближе он подходил к демидовскому особняку, тем дальше уходила от него радость приятной встречи и нарастала тревога.

В демидовском особняке встретили Черепанова холодно. Ему отвели темный угол в шумной и неудобной людской, и разбитная ключница сердито предупредила:

— Отоспаться с дороги успеешь, сейчас в баню отправляйся! Пока не ополоснешь телеса и в чистое не обрядишься, до подушки не допущу!

Пошла томительная и оскорбительная жизнь. Каждый дворовый и конторский писец мнил себя величиной и чванился перед уральцем. Мирон помрачнел, замкнулся в себе. Молча переносил он все, делал, что предлагали, однако держался перед всеми с достоинством, и когда указания делались настойчивее, он строго останавливал:

— Не перед вами мне отвечать! Прибыл по зову самого Демидова, с ним и разговор буду иметь!

— Далеко хватил! Гляди, чтобы Павел Данилович без мороки принял, и то счастье! — посмеивались над ним.

Главный директор Данилов и в самом деле не сразу допустил к себе Черепанова. Через секретарей он оповестил Мирона, чтобы тот зря не терял времени и объездил санкт-петербургские заводы: надлежит ознакомиться с машинами и механизмами, насколько это допустимо со стороны владельцев, а также подумать о том, что можно позаимствовать для уральских заводов. В столице было на что посмотреть и чему поучиться!

Выполняя указание Данилова, тагилец съездил в Петергоф, побывал там на гранильной и бумажной фабриках. Посетил он и Александровский завод, на котором прожил неделю и ознакомился с литьем и отделкой пушек. Мирон жадно изучал каждый механизм. Многое он почерпнул из опыта русских мастеров; каждый из них старался ему показать свое умение.

Возвращаясь с работы, он по обыкновению сворачивал на обширную площадь, на которой возводился величественный Исаакиевский собор. Здесь, среди лесов, подле возведенных стен устанавливались монументальные гранитные колонны. Их подвозили к невской набережной на особой громадной барже и с нее на катках осторожно передвигали на берег, прямо на тележки, стоявшие на колесопроводах. Колоссальные отшлифованные граниты легко передвигались по рельсам к месту стройки. Это было удивительное зрелище, целиком захватывавшее механика. Как просто и легко!

«А что будет, если паровой дилижанс поставить на подобные колесопроводы? Тогда наверняка он легко и свободно передвинет тяжелые грузы. Если такие глыбы без натуги влекут кони, то что сделает машина?» — с восхищением думал Мирон.

Он с любознательностью присматривался к тому, что творилось на строительной площадке. Уже закончили высокий фундамент и цоколи. Из твердого гранита сложили площадки портиков. Тут же были установлены мощные кабестаны, изготовленные русским подрядчиком на петербургском заводе. При помощи двадцати таких простейших машин поднимали гигантские гранитные колонны. Рассказывали, что на установке первой колонны присутствовал царь Николай Павлович, который потребовал, чтобы механизмы и люди работали по воинской команде: «Ать-два!»

Всеми работами по возведению колоннады заправлял купец Шихин, хитроглазый и весьма проворный подрядчик. Он давно своим острым глазом приметил Черепанова и сманивал на стройку:

— Хочешь, откуплю тебя у барина? Иди-ка ко мне на гранитные работы, — вижу, к машинам тебя тянет!

— Ворот — машина простая, древняя. Вот бы паром поднять каменные столбы! — деловито предложил механик.

— У нас и без машины свой пар из голенищ со свистом валит! От работенки так прошибет, что пот ручьем! — иронически ответил подрядчик. — К чему мне машина, когда человек — самая дешевая тварь!

Купец снизошел к просьбе механика и свозил Черепанова в каменоломни, где добывали гранитные глыбы. На скалистом пустынном острове среди серого Финского залива под скучным низким небом шла работа русских богатырей. Еще не доходя до каменоломни, уралец увидел чудовищные грубо отесанные монолиты, сваленные неподалеку от пристани. Это была работа невиданных титанов, которые, казалось, сплеча, как лесорубы в лесу, рубили гигантские каменные стволы. Толщина их превосходила человеческий рост.

— Кто эти люди? — спросил у подрядчика Мирон и на самом деле представил себе богатырей.

— Да вот они, божьи работнички! — весело показал в сторону купец.

Из-за гранитной глыбы вышел хилый подслеповатый мужичонка в посконных портках и в изношенной пропотевшей рубашке. Он низко поклонился подрядчику.

— Эй, Сенька, слышь-ка, проведи мастера! — окликнул тот каменщика.

Мужичонка проводил тагильца к месту добычи. По огромной скале мурашами ползали маленькие, тщедушные фигурки людей. Навстречу доносился легкий шум: каменотесы бурили дыры в твердом граните.

— Полезем, поглядим, что робится! — предложил рабочий и быстро, легкой кошачьей походкой стал взбираться на скалу. Мирон еле поспевал за ним. Он запыхался, не мог отдышаться, так труден и крут оказался подъем. По граниту, неподалеку друг от друга, в ряд трудились десятки мастеров, долбивших углубления. Трудно было даже представить себе, что эти слабые, маленькие люди могли сдвинуть гору и превратить ее в чудесную колонну!

— Надрывается? — сказал Мирон.

— Не долбим, а потом своим прожигаем скалу! — утирая лоб, отозвался рабочий. Он разогнулся и показал рукой: — А ты вот туда, на отколку, сходи подивись!

Перед Черепановым стоял щуплый мужичонка с реденькой бородкой, ресницы его запорошило каменной пылью, а в распахнутый ворот рубахи виднелись острые ключицы. В чем только душа держится!

— Наша работенка такая, измотаешься вконец! Не успеешь оглянуться, и погост! За спиной всегда смерть! — пояснил он. — Что ж, без этого нельзя! Зато эвон какие дивные дворцы возводим! — с гордостью закончил он.

Измученный работой, безвестный человек думал об украшении своей земли, которая была ему мачехой.

Черепанов прошел на отколку. Там, на длинной скале вдоль выдолбленного желобка с кувалдами стояли каменотесы. В каменной щели в пробитых на равном расстоянии дырах торчали железные клинья. Никто из рабочих не обратил внимания на подошедшего Мирона. Только завидев вдаль вышагивающего подрядчика, они, не докурив самокруток, выстроились в шахматном порядке и, поплевав на ладони, стали ждать сигнала.

Старшой взмахнул рукой, голосисто крикнул:

— А ну, братцы!.. Эх, разом!

В один миг одновременно поднялись тяжелые кувалды, прочертили кривую и со страшной силой ударили по клинью. Раз за разом, удар за ударом, входя в трудовой азарт, но соблюдая ритм, ударяли каменотесы по железу, сотрясая воздух и подбадривая друг друга:

— Еще раз! Еще разик!.. Два!..

Из-под кувалды сыпались бледные искорки. Казалось, не кувалды бьют, а ужасное огромное чудовище лязгает тяжелыми железными челюстями.

— Видишь, что за работенка! — весело подмигнул Мирону мужичонка. — От темна до темна поиграй так кувалдой, голова кругом!

— Не скоро! Ой, не скоро треснет! Всю душу до того вытряхнет! — сказал каменотес и позвал Черепанова: — Идем отсюда, что ли!..

Мирон посмотрел и как шлифуют монолиты и как их грузят. Колонны в восемь тысяч пудов каждая перекачивали на палубу плоскодонного судна вручную. С уханьем, надрываясь, тяжело работали люди. Одно неверное движение, просчет — и глыба раздавит!

«Да, нелегко и здесь доводится работному человеку, — с грустью подумал тагилец. — Все людской силой делается, и никаких машин. Издревле применяли молот, клин, каток, вот и все!»

Разочарованный и раздосадованный, он уехал с унылого гранитного острова.

Однажды утром Черепанова снова потянуло взглянуть на стройку собора. Он долго разглядывал кабестаны и нашел, что они несовершенны. Как бы в подтверждение его мысли русобородый молодец с синими глазами сказал Мирону:

— Все тут на человеческой жиле построено. Тянись из последних сил. Изматывает вконец. К вечеру человек в мочало обращается. А уж если канат сорвется или лопнет, ну берегись, тогда ворот так рванет — на месте смерть! Вот она, наша жизнь! — Он вздохнул и пристально посмотрел на уральца.

— Крепостной, небось?

— Крепостной, — с грустью признался Мирон. — Вот все на стройку влечет, на человеческий подвиг не терпится взглянуть. Поглядишь — мал человек, а какое дивное творение возводит... А ты кто сам?..

Мастеровой сдвинул на затылок поярковую шляпу.

— Оброчный, — сказал он. — С первого дня стройки здесь стараюсь: всю черную работу прошел, а ноне четвертый год — каменщик. Это ты верно, милый, заметил, что как бы мал человек ни был, он свой подвиг творит! Вот думка об этом и поднимает душу, крылатым делает рабочего человека, а иначе жизнь наша — сплошные потемки...

Он взглянул на заголубевшее над Невой небо, о чем-то задумался и вдруг предложил механику:

— Хочешь, я тебя на леса свожу, все тогда увидишь!

— Ой, братец, сделай милость! — попросил Мирон.

— Ну, коли так, шагай за мной!

По шатким крутым лесенкам Черепанов все выше и выше поднимался вслед за каменщиком, и все шире и шире распахивался перед ним большой город. Мастер взбирался вверх уверенно; был он молод, с озорными глазами. Бородку, видать, недавно отпустил.

— Я тебя, парень, давно приметил и так смекнул: привержен ты к доброму мастерству. В жизни, видать, свое счастье ищешь?

— Верно, счастье свое давно ищу. Мастерство у меня любимое. К механике тянусь.

— Так, — шумно вздохнул широкой грудью каменщик, — дело хорошее!

Схватившись за шаткие перила, он смело поднялся на последнюю узкую площадку. С нее раскрылось необозримое нагромождение каменных улиц и переулков. Вот глубоко внизу лежит Сенатская площадь, на ней скала, с которой вознесся Медный Всадник. Широкая полоса Невы чуть-чуть отливает синевой, а правее за ней на солнце сияет шпиль Петропавловской крепости.

— Хорош столица-город! Сказочен! — весело сказал каменщик и сбросил поярковую шляпу. Ветер вверху был силен, шевелил русые кудри и бородку, и синие глаза мастера восторженно заблестели.

Мирон очарованно смотрел на Петербург, на очертания его площадей, садов и прекрасных зданий. Влево из-за гряды синих облаков поднималось ликующее солнце, а на широкой реке в блеске утреннего солнца колебались сотни, тысячи мачт.

У каменщика умный взгляд, у губ тонкие складки, лицо энергичное. Он протянул руку и, указывая на золоченый шпиль Адмиралтейства, сказал:

— Вот что делает человеческий труд и старание! Нет краше на свете города! Но и здесь ты, парень, не найдешь своего счастья!

Сердце Мирона сжалось от скорби.

— Это я и сам чую: подневолен наш труд, и нет простора русскому человеку показать всю свою силу. Видно, крепостная кабала без конца-краю так и заглушит самое лучшее и красивое, что есть в народе!

Каменщик оглянулся, схватил механика за руку.

— Видно, одной тоской охвачены мы, одним пламенем горим! — с жаром сказал он. — Только вольный человеческий труд обратится в

радость! А будет ли это? — Он пытливо взглянул на Мирона и махнул рукой. — Эх, была не была, поведаю тебе тайное, что ношу в себе!..

Они присели на ящик с остывшим раствором. С минуту мастер молчал, собирался с мыслями, потом шепотком начал:

— Уж я-то хорошо своими глазами видел, с чего начал наш царь-батюшка Николай Павлович и чего от государей приходится ждать...

Каменщик не сводил пытливого взгляда с Черепанова, говорил он ровно, спокойно:

— Подсказывает мне нутро, что ты свой человек, не избалованный, не из господской дворни. Рабочая кость!

Уралец кивнул головой и, не таясь, искренним тоном рассказал о своей семье, работе и думках. Своей откровенностью он тронул мастера.

Внимательно слушая его, каменщик поддакивал:

— Так, так, это хорошо; вижу, ты на правильную дорожку гнешь, для народа стараешься. И то верно, что каждый человек должен иметь свою мечту. Без нее человек, как птица без крыльев. Червь он тогда...

Мастеровой поднялся во весь рост, огляделся, заглянул вниз, прислушался. На стройке была тишина, только где-то в затаенном уголке со звоном падали редкие звучные капли. Каменщик наклонился к Мирону и таинственно предложил:

— Ты перекрестись, парень, поклянись господом богом, что молчать будешь, и тебе поведаю о том, что довелось мне видеть здесь, на Сенатской площади, в двадцать пятом году...

У механика перехватило дух. По Уралу давно ходили смутные слухи о людях, которые восстали против царя, но никто толком не знал, что случилось в те дни в Санкт-Петербурге. Знали, что молодые дворяне восстали против Николая, требовали волю крепостным. Однако все словно туманом было укрыто. Сейчас Мирон вспомнил о своей поездке с батей в Екатеринбург. В этот день по Сибирскому тракту через город промчались взмыленные тройки. В каждой тележке между запыленными жандармами сидело по арестанту, скованному кандалами. Тройки неслись, из-под копыт клубилась пыль, а народ на ходу бросал в тележки кто сайку, кто крутое яйцо, а иной — медный пятак. Женщины, столпившись у ворот, плакали. Отец взглянул вслед мчавшимся тройкам и с упреком сказал:

— Эх, загубили добрых людей!..

Больше ни одним словом не обмолвился Ефим Алексеевич, но уже тогда понял Мирон, что люди, которых так торопливо увозили жандармы, не плохие люди. Простой народ не будет зря жалеть, да и батя не по-пустому сказал о них доброе слово.

Черепанов сбросил шапку и поклялся перед каменщиком:

— Перед господом обещаюсь молчать!

— А коли так, слушай! — Каменщик уселся и предложил: — Садись-ка поближе, речь по тайности пойдет. Четырнадцатого декабря это случилось на сей площади, мне тогда осьмнадцать годков было, — начал он свой рассказ. — В понедельник, еще задолго до рассвета, началась хлопотливая работа: каменотесы долбили гранит, плотники стучали топорами, визжали пилы, скрипели под людьми сходни, таскали вверх кирпичи, камни, тес. Со взморья продувал резкий ветерок, изрядно морозило. И хоть с ночи выпал свежий, чистый снежок и был уже десятый час утра, а светало лениво. В эту пору, в декабре, в Петербурге самое глухое время: день короток, сумрачен, а ночь велика, темна — волчья ночь! Так все и шло как положено. Старался и я от моготы своей, клал камень за камнем. Подрядчик тут же вертелся, приглядывался к моей работе; знать, по душе она пришлась ему. По правде сказать, он и не скрывал этого. «Ты, — говорит, — Степанко, хороший работник, но дух у тебя беспокойный, непокорный». Только хотел я ему в ответ слово молвить, да тут на площадку выбежал мастерко. Маленький, измотанный работой, борода мочальная, но сейчас вдруг он какой-то иной стал, словно вырос в глазах людей.

— «Братцы! — закричал он на всю стройку. — Кидай работу! Гляди, родимые, что в столице робится! Войска поднялись против царя, за волю сюда идут, милые!»

Он и не досказал всего. Подрядчик тяжким шагом подошел к нему да как хряснет его по лицу увесистым кулаком, так бедолага весь кровью залился. Мы на подрядчика, а шум между тем все больше. Глядим и впрямь на Сенатскую площадь вступили войска и в каре построились, а кругом бушует народ. Машут шапками, кричат «ура»...

Подрядчика, конечно, оставили, он и сам потихоньку сбежал. После всего этого какая тут работа! Мы кто куда: один сбег на площадь, другой на забор залез, третий за полено взялся, четвертый камень принес. А сам я на штабеля дров забрался и гляжу, что дальше

будет? Тем временем на площади войск стало больше, почитай тысячи две, а кругом густо народа. Как видишь, сколько кругом камня наготовлено для собора. И тогда немало гранитных глыб сложили не только на берегу Невы, но и кругом стройки и на самой площади. Люди на них поднялись и бодрящим словом перекидывались с гвардейцами. Повел я глазом на Васильевский остров, и там у Исаакиевского моста тоже большущая толпа простого люда. Полиция попробовала разогнать, да сил не стало. Народ, как бурное море, хлынул на площадь и смял полицейскую цепь. Впервые на своем веку, дорогой, увидел я, что полиция испугалась и молчит.

«Братцы, братцы, — кричу своим, — идем на площадь!..»

Какой-то солдат приметил меня и махнул рукой:

«Айда, парень, со всем народом волю добывать!»

«Погоди орать! — перебил его старый каменотес. — А как же в таком разе с царем будет?»

«А мы без царя!» — напрямик отрезал солдат.

Старик опешил, головой покрутил.

«Этак-то полегче жить, но так думаю, служивый, дворяне не дозвоят! Гляди, спину лозой иссекут!»

Тут уж и я вступился:

«Ты не спорь, Акимыч, надо нам идти со всем народом! Его руку держать!»

Между тем к москвцам прибыла помощь, пришли моряки Гвардейского Экипажа, подоспели три роты гренадеров. Народ прибывал со всех сторон, лишь ждали минутки, когда начнется. А с площади только раздавалось «ура» — и никаких действий... Потом сказывали, князь Трубецкой не явился на площадь и не подобралось командира, который оказал бы твердость. А время шло, завернуло за полдень, мороз не сдавал, ветер усиливался, солдаты, хотя и гвардия, а в одних мундирах, стынуть стали...

Конечно, это на руку было Николаю Павловичу, который сам прискакал со свитой и стягивал свои войска. Вот там на углу он на коне гарцевал. Лицо сытое, бледное, надменное. Так и хотелось в него камнем запустить, но, думаю, сейчас и без того начнется настоящее и нам, рабочим, дремать не придется. Ох, горе, и в этот раз до большого дело не дошло! Принялись уговаривать восставших солдат покориться. Генерал Милорадович при голубой ленте вымчал на площадь, на коне

ворвался в каре и стал посулы делать. Но не тут-то было! По нему из пистолета стрельнули, вижу — генерал закачался, шляпа с него слетела, телом припал к луке. «Вот наверняка будет схватка», — решил я. Но и опять ничего, прискакал второй генерал уговаривать, угрожал, и тут из народа кто-то его по спине поленом огрел, еле унес ноги его превосходительство... Я на все это гляжу, а самого в лихорадке треплет, даже слезы на глазах выступили, горло пересохло.

«Братцы, братцы! — закричал я солдатам. — Начинайте, мы поможем... Эх-х...»

Каменщик перевел дух, его голубые глаза потемнели. Он ссутулился, словно великая тяжесть навалилась на плечи. Вздохнул и вымолвил:

«Тут бы и ринуться на своего вековечного врага: народ весь в напряжении пребывает, весь Петербург сбежался, только искру брось — живо займется полымя и пойдет крушить! А искры-то и нет, все тлеет, а живинки и не хватает. И вижу, царь подзывает генерала Сухозанета и что-то приказывает ему. Наши мастеровые все знали эту стерву, не раз видели на стройке. Первый подлец был! Глядим — скачет он галопом, и прямо в середину каре. Что он там говорил, не знаю. Сказывают, солдат страшал. Однако и этому не повезло, еле ускакал. Кто-то вслед ему стрельнул, с его султана только перья посыпались.

Ну, думаю, последняя пора подоспела, прозевают, — плохо будет! Холод жмет. Все больше и больше прибывает гвардейцев к Николаю. Затяжка ему, известно, на руку. На сей раз с увещеванием послали митрополита в полном облачении. Солдаты, известное дело, перекрестились, а некоторые и ко кресту приложились, но все-таки строго ему сказали:

«Уходи поскорей, ваше преосвященство, боимся, чтобы беды какой не вышло!»

И столь грозно со штыками наперевес наступили, что митрополит, отрешиваясь, еле добрался к нам, за изломанный забор.

«Что, — прикидываю, — и тебя обругали и прочь отослали!..»

Только подумал, гляжу — сам царь Николай выехал на Сенатскую площадь. Но лишь вступил он на нее, как раздался залп. Свита повлекла императора прочь. Пришло и наше время. Коли тебя, подлеца, солдатская пуля миновала, так знай, мы свое в ход пустим.

Поленьями, камнями стали в него кидать. Я изловчился — и прямо в каску. Гляжу, царь вовремя голову отклонил. Эх, неудача! Ускакал, ирод! Скачет, а народ кричит, кто чем попало вслед бросает. Комья снега, поленья, палки, каменья полетели в царя и в его свиту. Сказывали, один бросил в Николая кругляшок, тут на храбреца налетел генерал и опрокинул его конем.

«Ты что делаешь?» — закричал генерал. Мастеровой нашелся и лукаво отозвался:

«Шутим мы, барин!..»

В конную гвардию, что царь вызвал к себе на помощь, тоже полетели каменья, замерзшая грязь, а полковника их окружили, и еле он выбрался из толпы. Вот оно, братец, что заварилось...

Черепанов изумленно разглядывал добродушного на вид мастерового. Просто не верилось, что он поднимал руку на царя. Угадав его мысли, каменщик тряхнул головой.

— Ты не гляди, что я такой, — сказал он. — Когда меня за живое тронут, сам не свой: тогда не только до царя, но и до бога доберусь!

Он грустно улыбнулся и продолжал:

— После всего на восставших двинули в атаку конногвардейцев, но их встретили дружным огнем и отбили. Что сделаешь в конном строю, когда гололедица и быстро напоздали сумерки... Ох, тяжело мне думать об этом вечере! — пожаловался рабочий. — Ветер усилился, пошел густой снег, солдаты в мундирах окоченели. И чувствую, тоска, смертная тоска навалилась на мою душу. Да что — на мою душу? Вижу, весь народ приуныл, кругом наступило зловещее безмолвие. И наши мастеровые на стройке притихли. Никаким часом, ни курантами это не отметилось, что тут такое произошло, что сейчас так заохлодило душу. Упустили время, вот оно что! А главное — с народом не слились, хотя всей душой стремились простые люди помочь им...

Рассказчик замолчал, задумался. Видимо, воспоминания коснулись самого больного места его души. Мирон понял, что он горюет. Положил ему на плечо руку и душевно сказал:

— А ты не терзайся, все миновало...

— Э нет, милоч, такое не минуется. Народная кровь не смывается, не забудется. Ух! — Он крепко сжал кулак и постучал по колену, пригрозил невидимому врагу. — Ну, погоди, напомним!.. Однако как ни тяжело, а правду досказать надо... По наказу царя из орудий

открыли беглый огонь. Слышу, прогудело и ударило под карниз Сената, только щебенка посыпалась. Народ дрогнул, мастеровые кто куда: между бревнами, камнями, за гранит попрятались. Тут и пошло: второй, третий, четвертый залп, и прямо по солдатам да по народу. Крик, давка. Одни в подворотню побежали, другие в чужие дома, а большинство через перила да прямо на невский лед. Часть восставших по льду норовилась добраться до Петропавловской крепости, но по ним ядрами, ядрами...

Лед местами не выдержал, проломился и немало сердяг ушло вглубь... До самой тьмы била картечь, метались люди, падали в снег и не вставали больше. Вот, как сейчас вижу, по обмерзшим камням, хрипя, припадая, ползет старик с перебитыми картечью ногами и вопит:

«За что же, родимые?»

Эх, горемычный, так и не дополз, тут же у забора и застыл...

— Спустилась мгла, стала оседать изморозь, пала темная-претемная ночь, но и она не принесла успокоения, — грустно вымолвил каменщик и ниже склонил голову. — Как вспомню это времечко, так и сейчас сердце кровью обливается. Кругом лежала такая глубокая тишина, как на кладбище. Только на Сенатской площади и окрест пылали костры. Подле них толпились озаренные пламенем гвардейцы, грелись, несли караулы, да изредка раздавалось цоканье подков — разъезжали конные патрули.

Старшой всех мастеровых собрал на стройке и сказал:

«Выходи, братцы! Порадейте, выполнить надо царский приказ. Надлежит убрать с площади убитых и раненых!..»

Рассказчик смолк, пригорюнился. Молчал и Мирон, чувствуя великую тяжесть на душе.

— Век не забуду и внуков заставлю помнить! — продолжал каменщик; голос его окреп, и жгучая ненависть слышались в нем. — Что царь натворил! Вышли мы на площадь под командой унтеров, и куда на взгляни, куда ни пойдешь — побитые и покалеченные тела навалом лежат, а снег стал багровым от крови. Немало полегло солдат, но больше всего простого мастерового люда. А за что? За правду, за то, что надеялись на вольность! Убитых клали на дровни и свозили на реку. Товарищи снег скребли и очищенное от крови место присыпали свежим. Мне довелось тела на подводы грузить. Милый ты мой, я

крепостной человек и на своем веку много видел жестокостей, но такого злодейства до гроба не забуду! Санкт-петербургский обер-полицмейстер Шульгин, запомни, парень, это имечко, распоряжался бесчеловечно. Всю-то ноченьку на Неве от Исаакиевского моста до Академии художеств били проруби и мертвяков опускали в Неву. А были из полицейщиков и такие звери, которые заодно и раненых опускали под лед. Ни мольбы, ни жалобы, ни стоны не трогали сердца извергов. Ух, как распирало меня всего от злобы! Да что поделаешь? Молчал да скрипел зубами.

Каменщик взглянул на речной простор и с болью вспомнил:

— А к весне весь народ увидел царское «милосердие». В марте на Неве стали извозчики добывать лед и ужаснулись: вытащат льдину, а к ней примерзла или рука, или нога, или целое мертвое тело. Народ со всей столицы сбежался к прорубям. Обер-полицмейстер всех разогнал, а возчикам запретил рубку льда у Васильевского острова. В полуию воду все тела быстринной унесло в море. Пошли им, господи, вечный покой. Горемыки, страдальцы, за нас поднялись...

Годы пролетели, а эту ночь не забуду до могилы. Сколько жизней безвинно загубили, а уж что творили полицейщики, не приведи бог. Пустились на разбой, грабили и мертвых и раненых, которых опускали в проруби. Снимали одежку, отбирали деньги, а того, кто убежал с площади, ловили и в первый черед грабили... Эх...

Черепанов закрыл ладонью глаза, сердце его учащенно билось. Он живо представил себе зимний день, ранний сизый вечер, ночь, костры на Сенатской площади и проруби на Неве. Механик не удержался, застонал.

— Сказывали, что Пугачев с баррами был жесток, — взволнованно сказал он. — А как они с нашим братом, с солдатом и мастеровым, посчитались! Разве после этого будешь милостив к барину?.. А что же с теми, которые подняли недовольство на царя? Батюшка мой сказывал, что всех в Нерчинск заслали...

— Погоди, все скажу, дай только с силой собраться. Не могу разом все, больно душу мукой терзает! — Каменщик замолчал, приподнялся с грудки кирпичей, огляделся, прислушался. — Злое ухо ненароком услышит — тогда, парень, обоим нам не сносить головы!

Он смолк и долго-долго сосредоточенно думал о прошлом. Черепанов сидел потемневший, угрюмый. Прекрасный город, который открывался перед ним, сейчас померк. С высоты стройки ему казалось, что на каменной мостовой Сенатской площади проступают красные пятна. Он возбужденно посмотрел на мастера и попросил:

— Досказывай, разом уж всю горькую чашу изопью!

— Слушай, ежели так, — сумрачно отозвался каменщик. — Суд им всем был. Сам царь расписал — кого на каторгу, кого на поселение, а солдат прогнать сквозь строй в тысячу человек, — их шпицрутенами забивали насмерть. С плаца относили одни окровавленные лоскутья человеческого тела. Пятерых, запомни их, — Рылеева, Пестеля, Муравьева-Апостола, Бестужева-Рюмина и Каховского — царь осудил повесить.

Земляк мой Трофимов в ту пору служил в Петропавловской крепости сторожем. Слезно упросил я его допустить меня к себе на жилье, как близкого родственника. Еле-еле уговорил. Старик добрый, хотя и покорный начальству. Видать, и его жалость прошибла...

Двенадцатого июля поутру я слышал стук топоров.

«Что это?» — спрашиваю старика.

Он побледнел, затрясся и говорит:

«Плотники рубят на Кронверкском валу, из бревен возводят...
Подходит, видно, батюшка, их последнее прощание...»

На другой день мне довелось видеть тех, кого осудили на каторгу. Народу набралось много: чиновники, военные, лакеи, женщины. Но больше всего собралось людей у входа в крепость, перед подъемным мостом, да их не пустили. Я в толпу лакеев затесался, да и затаился. Вывели осужденных из крепостных ворот на гласис Кронверкской куртины. На валу виселица: вот почему плотники топорами стучали. Кругом войско. Узников построили, и между ними и войском на красивом гнедом коне разъезжает генерал-адъютант Чернышев. Он что-то крикнул, и тут стали исполнять царский приговор...

Вызывали их, братац, поодиночке. Бледные, измученные, они становились перед палачом. Каждый падал на колени, и палач ломал на его головой шпагу, сдирал мундир и бросал в костер, который развели тут же, на площадке. Бородатый кат в атласной жаровой рубашке держался грубо, жестоко, многим из них причинил излишние страдания. Трофимов по тайности мне рассказал, что Якубович и без

того сильно терзался от старой раны. Черкесская пуля пробила ему голову над правым виском, а палач шпагой нажал ему на мучительное место, а у Якушина содрал кожу с чела...

Около часа их терзали, потом обрядили всех в полосатые госпитальные халаты и снова под конвоем повели в крепость... А вскоре на тележках угнали их, скованных по рукам и ногам, на каторгу... Эх, милый, вот оно как!

— А что стало с теми пятью, которых царь приказал казнить? — с волнением спросил Мирон.

Каменщик промолчал, чело его нахмурилось.

— Тех не пощадили. Порешили, но как... И теперь не могу вспомнить без дрожи в теле... — Голос рассказчика в самом деле дрогнул, губы дергались. Овладев собой, он тихо доверился:

— Ты, парень, нашей, крестьянской кости, поймешь, что молчать надо! Сейчас, при царе Николае, вся Расея молчит, безгласна стала. Чуть что — ни милосердия, ни пощады...

— Так ты мне о них расскажи! — напомнил Черепанов.

— Изволь, всего не расскажешь. Про многих мне Трофимов сказывал, как они терзались перед смертью. Умер старик, а мне тайность доверил. Крепче всех запомнился ему тот, который про Ермака песню сочинил, — Кондратий Федорович Рылеев...

Мирон плотно придвинулся к рассказчику. Казалось, давнее время задело его крылом и воскресило минувшее. Кто на Камне не пел про Ермака? Эх, и песня! Как большая и широкая сибирская река, она захватывает и пленит душу русского человека!

— Скажи словечко о нем, — попросил механик, ласково заглядывая в глаза мастерового.

— Запомни, парень, что поведано старым человеком, до внуков донеси предание это! — строгим, величавым голосом сказал мастеровой. — В последнюю ночь Рылеев письмо писал жене. Часто отрывался, думал, метался по камере. С рассветом вошел к нему плац-майор с моим стариком Трофимовым и объявил, что через полчаса надо идти... Он присел, дописал письмо, а в эту пору ему на ноги железа надели. Узник держался спокойно, молчаливо. Он съел кусочек хлебушка, запил водой, перекрестился и сказал:

«Ну, я готов идти! Ведите...»

Черепанов сжал губы, хрустнул пальцами. Каменщик искоса взглянул на него и понимающе кивнул головой.

— Да, милый, хоть и за правое дело идешь на смерть, а душа зайдет. Ничего нет милее и дороже жизни!.. Тяжелее всего довелось другому узнику, Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину. Тому еле двадцать три года минуло. Все дни он метался, как птица в клетке. Бился, искал освобождения, когда принесли ему кандалы и сказали: пора!

Перед выходом из тюрьмы он снял со своей груди образок Спасителя и вручил его Трофимову. Потом я видел этот образок у старика. Старый солдат при мне клялся никому не отдавать эту святыню: на нем, сказывал, двенадцать богатырей из тайного общества клятву дали. До гроба обещал хранить его! Куда этот образок девался со смертью солдата, так я и не дознался...

Из оконца мне довелось увидеть, как всех пятерых повели на казнь. Их ввели в крепостную церковь в саванах и кандалах. И там они при жизни слушали свое погребальное отпевание...

Перед мысленным взором Мирона мелькнули трепетные огоньки восковых свечей, желтые застывшие лица живых людей в саванах и дребезжащий голос священника.

«Да, царь сумел больно ударить по сердцу, которое и без того источало кровь из своих ран!» — с ненавистью подумал он.

Каменщик продолжал глухим голосом:

— Народ издали глядел и томился, что будет на валу... Пятерых в саванах довели до виселицы. Все они крепко, по-братски обнялись и поднялись на высокую скамью, над которой болтались петли. Коренастый палач с рыжими баками, сказывали — швед, из-за моря за большие деньги призвали его на позорное дело. Он и накинул на осужденных петли и сильной ногой выбил из-под них скамью. Двое повисли неподвижно, а трое — Рылеев, молоденький Бестужев да Муравьев-Апостол — сорвались и всей тяжестью пали на ребро опрокинутой скамьи, сильно зашиблись. Народ ахнул, и в толпе закричали:

«Невинны! Невинны! Сейчас их помилуют...»

Их, конечно, никто не слышал, большой ров отделял народ от места казни. Трофимов по тайности передал мне, что Муравьев поднялся с земли и с презрением сказал:

«И этого у нас не смогли сделать!»

Страдал он сильно, да и все измучились. На их глазах снова водворили скамью, перетянули петли. И опять велели подняться на смертное место...

Я смотреть больше не мог, захолонуло на сердце. Еле отошел... Весь день тела для устрашения народа висели под виселицей в саванах. На другой день Трофимов только под утро вернулся домой.

«Ну, земляк, поспедай отсюда! — сказал он мне. — Боюсь я за тебя, место тут проклятое...»

Собрал я котомку, но все же спросил.

«Скажи по крайности, где эту ночь ты пропадал? Никому не скажу!» — пообещал я.

Солдат хмуро повел седыми бровями.

«Перекрестись, что после того не будешь приставать!» — сказал он тихо.

Перекрестился и жду его слова.

«Отвозил их на место вечного успокоения. Уложили их в рогожи, погрузили в лодку и сказали: „Вези!..“ Предал тела земле. Помяни, господи, их души...»

«А где их захоронили?»

«Это не народу знать...»

Больше я не испытывал старика, но скоро среди людей пошел слух, что зарыли тела казненных на берегу Кутуева острова, а другие думку держали, что на Голодае, а были и такие, что утверждали, будто бросили их в яму с негашеной известью, тут же неподалеку, и затоптали...

Каменщик замолчал, поник. То, что смутно рассказывали Черепанову на Урале, встало перед ним во всей жестокости. От сознания этого на душу навалилась тяжесть. Какая страшная сила держит в крепостном рабстве миллионы людей?

— Неужто всем народным мукам не будет конца? — взволнованно спросил он каменщика.

— Всему конец бывает, придет и на них расплата! — строго ответил тот. — В давние времена Степан Разин поднял на бояр всю голытьбу, потом Емельян Иванович зажег пожар на всю Расею. Думается мне, что семена, посеянные на этой площади, обильно взойдут. Придет время...

По лестнице поднимались. Скрипнули тесины, и в отверстии показалась бородатая голова сторожа.

— Это ты, Степанко? — хрипло сказал он. — И чего тебя спозаранку в такую высь занесло?..

— Земляка привел. Пусть полюбуется Питером да работенкой нашей!

— То-то! — безразлично отозвался сторож и, построжав, предложил: — А все-таки, братцы, не мешает сойти вниз.

— Что ж, можно, — согласился каменщик.

Втроем они медленно, осторожно спустились вниз. У стройки Степан сказал Мирону:

— Ты, милый человек, приходи ко мне в барак. Вечером на взморье сплывем, страсть люблю рыбу ловить...

Черепанов возвращался на квартиру, и тяжелые мысли томили сердце. Думы были тревожны, смутны, но совершилось большое и решающее: он потерял веру в царя.

Молча пробрался он в людскую, забился в свой угол и, подложив под голову дорожный мешок, прикинулся, что спит. Но сон не приходил, и беспокойство в душе нарастало. Он сознавал, что обо всем услышанном следует молчать. И Мирон молчал, а на сердце все кипело.

Вскоре Черепанова вызвал к себе на доклад главный директор демидовских заводов и вотчин Данилов. За эти годы Павел Данилович изрядно обрюзг, постарел, но важности в нем прибавилось на двоих. Он восседал теперь в обширном кабинете, уставленном мебелью из черного, мореного дуба. Облачен был директор в темно-синий бархатный камзол, на груди — белоснежное кружевное жабо, височки зачесаны вперед, щечки старчески розовые, маленькие склеротические глаза немигающе уставились на переступившего порог механика.

Мирон поклонился и выждал, что скажет Данилов. Директор чуть приметно кивнул на приветствие механика, но с разговором не торопился. Потянувшись к золотой табакерке, усыпанной бриллиантами, он поиграл ею, посверкал, осторожно взял щепотку душистого тертого табаку и медленно заправил в широкий багровый нос с синими прожилками. Потом сладко прочихался, утер кружевным платком верхнюю бритую губу, задумался. Казалось, Данилову не было никакого дела до Черепанова. Положив на стол жилистые руки, он долго играл пальцами, любуясь перстнями. Наконец, видимо насладившись игрой в барина, он поднял плутоватые глаза на механика:

— Здравствуй, Черепанов! Рад видеть. Ведомы мне твои рассказы о санкт-петербургских заводах. Хвалю за любознательность и старание! Покровитель и владелец наш, Павел Николаевич Демидов, не оставит тебя и в дальнейшем своим вниманием! — Он благочестиво взглянул вправо. Там, на стене, в золотой багетной раме красовался портрет Павла Николаевича. Узкое болезненное лицо, бездумные глаза смотрели с полотна. Мирон понял, что надо благодарить хозяина, и, снова поклонившись, сдержанно сказал:

— Спасибо, Павел Данилович, за ласку и заботу! Мы с батюшкой только и живем машинами! Ноне отец ладит станок для сверления насосных труб; это улучшит и удешевит работу по откачке воды из рудника.

— Весьма одобряю! — вымолвил директор. После минутного раздумья он внезапно вспомнил об Ушкове: — Слышал, что и Климентий ладит свою машину для откачки воды. Выйдет у него?

Мирон хорошо знал, что владелец заводской конницы не знает механики и не интересуется ею. Однако тагилец скромно ответил:

— О делах Ушкова не слышал. Может, что и надумал он, но, не оглядев его механизмов, судить не берусь. Одно скажу, по плотинной части старик Ушков — природный гидравлик. Чутьем доходит!

— Воли хочет! — выпалил вдруг Данилов. — Она не всякому дается. Перед хозяином отменно надо выслужиться! — Директор облокотился на стол и с мягкой вкрадчивостью продолжал: — Одного не понять мне, грешному человеку, к чему мужику воля? За господской спиной — как за каменной стеной! Воля — одно баловство!

Черепанова всего передернуло от суждений Данилова.

«А сам ты кто? Крепостной бывший. Выбрался из грязи в князи, так теперь другое запел! Забыл мужицкую долю. Эх!» — хотелось ему бросить упрек в лицо старому демидовскому холопу, но он сдержался и промолчал.

Главный директор побарабанил по столу перстами, вздохнул:

— Так! Вот и ты, Черепанов, не вознесись гордыней! Что вы ныне задумали с отцом?

— Ох, и сказать страшно! Ругать будете! — взволнованным голосом сказал Мирон. На его лицо легла тихая и грустная мечтательность.

— Говори! — потребовал Данилов. — Если умное задумали, то хозяин непременно одобрит! — Пронзительными хитроватыми глазами он уставился на механика.

— Паровую телегу, или дилижанс, надумали мы мастерить! — смущенно признался тагилец.

— Это что же, вроде дрожек Жепинского? — нахмурился директор.

— Совсем не то, Павел Данилович, — осмелев, запротестовал Мирон. — Дрожки для потехи, а телега — перевозить руду из шахты до завода. Это намного облегчит труд и удешевит железо!

— Разумно толкуешь! — похвалил Данилов. — О сей диковинке стоит подумать. А ну-ка, расскажи подробнее!

Черепанов, не таясь, рассказал о своих замыслах. Он толково и просто объяснил директору действие паровой машины и колесопроводов.

Старик просиял, потирая от удовольствия руки.

— Так, так... В Англии, сказывают, подобные дороги думают строить. Дельно! Ты только подумай, а что, если и в Расее такое? Сколько железа на колесопродовы пойдет! Прикинь, какие барыши да выгоды нашему хозяину привалют! — восторженно выкрикнул он.

Мирон в продолжение всей беседы стоял неподвижно перед главным директором. Хитрые заплывшие глазки Данилова насмешливо поглядывали на Черепанова, прозрачно намекая ему:

«Хоть ты и умница и самоук-механик, а все же раб, так посему потрудись выстоять перед управителем!»

Павел Данилович снова потянулся к табакерке и, заправившись табаком, чихнул. Мирон промолчал, не пожелал здравия директору. Данилов строго покосился, вздохнул:

— Ох, времена пришли тяжелые: не токмо люди наши переменялись, но и заморский отпуск славного уральского железа клонится к упадку. Недавно еще наш «Старый соболь» теснил Швецию на английском рынке. Досель мы первыми шли! Кто только не забирал у нас железа? Англичане Судерланд, Ригель, Торнтон! Годков тридцать тому назад шестнадцать контор и английских именитых купцов имели дела с нашей Санкт-Петербургской главной конторой. А маклеры и не в счет! Да что говорить! Довелось мне поставлять железо португальцам Велью и Мендесе да итальянцу Ливно! И опять же Голландия! — Он утер клетчатый фуляром широкий, изборожденный морщинами лоб и пожаловался: — В середине марта, бывало, перед навигацией в Санкт-Петербург наезжали иноземные купцы и маклеры, и тогда была горячая пора сделок на железо. И цены устанавливал наш хозяин. А на сих днях сэр Прескот со мной говорил, что по семьдесят пять копеек и не более за пуд даст, да и то, сказывает, хуже еще будет, а господин Сулим и в том сомневается, чтобы получить семьдесят пять копеек за пуд. Купец Кононов — тот отказался от сделки, не обвиняясь, сказывает: «Железо его высокородия хуже стало!» Вот ты с батюшкой Ефимом Алексеевичем и подумай, как бы поисправнее сделать машину для плющения железа, да и другие выдумки не помешали бы! Надо снизить цену, а то нас вытеснят англичане...

Механик внимательно слушал Данилова, а мысли текли о другом. Он встрепенулся только тогда, когда директор вдруг предложил ему:

— Нева-река в мае вскрылась, море на днях очистится, и пошлем мы тебя на корабле в Англию. Погляди там, что выгоднее: железо, прокатанное в валах, или кованное молотами?

Павел Данилович заговорил тише:

— Известное дело, англичане не уступят секретов, а ты все же взглядишь в их прокатные машины. Не пользительно ли будет и нам такое завести у себя на заводах? Главное, дешевле надо научиться робить железо! Вот что важно! — подчеркнул он и внимательно оглядел Черепанова. — Ты перед дорогой получше обрядись, контора толику отпустит на обмундирование, да будь бережлив, честь хозяйскую высоко держи, много денег от нас не жди. Ну, ступай, ступай! Будь здоров!

Мирон поклонился:

— Спасибо за доверие, господин главный директор!

Данилов снисходительно склонил голову и занялся табакеркой. Навощенный до блеска паркетный пол сверкал, отражал в себе шкафы красного дерева, хрустальную люстру и бра. Уходя, механик понял, как высоко вознесся старый управитель. Ни словом не обмолвился он о жизни работных, руками которых создавались демидовские богатства и на труде которых директор сам изрядно разжирел. Горько стало на душе Черепанова; то ли от унижения, что пришлось простоять целый час навтыжку перед Даниловым, то ли от грустного раздумья, но почувствовал он себя страшно усталым.

Выйдя от директора, Мирон побрел по Санкт-Петербургу. Хотелось отделаться от тягостных раздумий. Над Мойкой-рекой зеленели старые тополя, легкий пух цветения носился над водами и набережной. Деревья склонили густые кроны, освещенные снизу голубоватым отблеском воды, и не шелохнутся. Весенний свет лился прямыми потоками на дома, и под этим светом особенно прекрасным казался город. Мирон миновал Исаакиевскую площадь, стройку и вышел к Медному Всаднику. Мечтательно смотрел он на вздыбленного коня, который, казалось, готов был сорваться с гранитной скалы и, гремя огромными копытами, поскакать по берегу. Он вглядывался в лицо Петра, в его протянутую длань и чувствовал грозный взгляд и властную мощь стремительного гиганта. От Невы шла прохлада, запах

воды, закованной в гранит. Пахло смолой от причалов, барок и парусников. На плесе у Васильевского острова рыбаки тянули сети, и на солнце серебром сверкала бившаяся рыба. Весна во всей своей могучей силе и прелести чувствовалась здесь, на берегу полноводной реки. Она летела на крыльях вместе с легким влажным ветром, дышала в лицо, бодрила и вызывала в сердце какую-то смутную тревогу. Мирон думал о том, что в жизни хорошее и плохое лежит рядом и люди не хотят изгнать нелепости и гнет, которые мешают им жить.

Крепкая рука внезапно опустилась ему на плечо. Он оглянулся. Большая радость: перед ним стоял в своей измятой, широкополой шляпе улыбающийся студент Ершов.

— Что, братец, залюбовался? Любо и мило мне на Тоболе, но и тут сердце трепещет, глядя на всю эту красоту! — Лицо его сияло, он скинул шляпу, ветер взметнул слегка курчавые волосы. Полной грудью вдохнув глубоко невский воздух, он звучно, крепким голосом продекламировал:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...

— Ах, мой друг, это он прочел мне свои строки. Они еще никому не известны. Мне доверил! — весь трепеща от радостного возбуждения, воскликнул студент и прижал шляпу к сердцу. — Сегодня великая и незабываемая радость у меня: я был у него — гения нашей поэзии, у Александра Сергеевича Пушкина! Он принял меня, обласкал! С каким вниманием он выслушал мою сказку «Конек-горбунок»! Я видел, как засверкали его глаза, как осветилось лицо гения, и он молвил мне, простому бедному студенту: «Отныне этот род сочинений можно мне и оставить!» Это ли не чудесно? — Он схватил Мирона за плечи, потрясал его и горячо повторял: — Пойми, это диво!

Сказка! Очи сомкну в смертный час, в гроб лягу и при последнем дыхании благословлю его имя!

— Так это вы написали сказку! — ошеломленный открытием, воскликнул уралец.

— Я написал, мой друг, я! — горячо заговорил студент. — Да ты не чурайся меня. Ты задумал благое дело — паровые дилижансы, и я для своей Сибири стараюсь. Уж я ее, каторжную, разбужу! Сие чудо совершится поэзией! Гляди, что за диво совершает слово Пушкина! Какое волнение и мысли о свободе оно рождает в обществе! Его словам вторит вся молодая Россия. Ах, какие прекрасные слова:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Уральский мастерко смутился: его пленяли звучные стихи, очарование поэзии, но замыслы и значение, которые придавал Ершов стихам, его настораживали.

— Великие дела творит умное слово! — глухо сказал он опьяненному радостью студенту. — Но во многом не согласен с вами. Вот демидовский приказчик Шептаев не примет доброго слова. Не дойдет оно и до Данилова. Мнится мне, Петр Павлович, не поэзия совершит изменение жизни! Главное в другом! В чем оно, я и сам не додумался пока. Народы угнетены у нас, и одним прекрасным словом не прогонишь наших притеснителей и захребетников. Тут другое надо! Вот Емельян Иванович Пугачев хорошо начал, да где-то ошибочка вышла. Лежит вокруг нас огромная сила народная, а кто ее подымет на вековых наших угнетателей? Не слово одно, а люди тут нужны. И какие люди! — Мирон пытливо смотрел на студента.

— Поэзия, поэзия решит все! — горячился Ершов.

— Нет, Петр Павлович, не это решит нашу судьбу, — решительно отверг Черепанов. — Надо другой стезей идти. Хорошо начали здесь, на Сенатской площади, да побили их.

— Как, ты и о декабристах слышал? — удивленно вскрикнул студент и сейчас же оглянулся. На набережной было пустынно. — Значит, ведомо тебе и о Рылееве? — приглушенно спросил он.

— Не все, а кое-что ведомо. Дознался, что песню о Ермаке сложил он.

— Вот видишь, — опять за свое взялся Ершов. — Прекрасная песня. Весь народ поет, а что она делает? — Глаза его заблестели, он надел шляпу и спросил:

— А о Радищеве слышал?

Черепанов простодушно признался:

— Не довелось узнать.

— Вот видишь! А что его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» с умами людей сделала? Разбудила их! Да, разбудила! — сказал он восторженно и со страстью поведал о судьбе Радищева.

Мирон внимательно и молча выслушал. В душе его бушевало. Так вот как! Вокруг него лежит еще целый мир непознанного. «Были люди, которые смело говорили в лицо царям правду о крепостных!» — взволнованно подумал он и спросил:

— А что стало с ним?

— Известно что! По смерти императора Павла его, по просьбе Воронцова, царь Александр назначил членом комиссии по составлению законов. Но бывший опальный опять не по нутру пришелся начальству: он остался и после ссылки при своих взглядах. Председатель комиссии граф Завадовский, видя заступничество Радищева за права человека, зло сказал ему: «Опять принимаетесь пустословить по-прежнему. Видно, мало вам одной Сибири!»

День ото дня Радищеву становилось тяжелее. Умного и пылкого защитника крепостных травили и довели до крайности. В сентябре тысяча восемьсот второго года он принял яд и умер. Среди его бумаг нашли листок, а в нем было написано: «Потомство отомстит за меня». Эх-х... Хватит об этом! Идем, братец, со мной, и ты немного забудешь горе...

Он не договорил, зашагал быстро, увлекая Черепанова к Марсову полю. В Летнем саду, за строгой железной оградой, высились зеленые шапки лип. Над площадью лились потоки мягкого света и чистого теплого воздуха. На дорожках суетились воробьи, чистились, неумолчно кричали, как серые мячики прыгали из-под ног. Наступал

вечер, а солнце высоко стояло над Летним садом и городом. На лице студента светилась ласка и грусть.

Они дошли до Лебяжьей канавки; в ней на прозрачной воде колебались и морщились тени от зеленых купав. Группы господ разгуливали здесь, дамы кормили лебедей, которые белоснежными ладьями устремлялись к брошенным подачкам. Подошли к театру.

Молчаливый и послушный тагилец робко вошел со студентом в зал...

Со многим, о чем говорил Ершов, Мирон не был согласен, но он полюбил, крепко, на всю жизнь полюбил этого простого, умного и кипучего человека.

«Какое счастье, неизреченная радость, что довелось видеться и говорить с таким русским человеком», — с благодарностью вспоминал он о студенте.

После посещения театра им не пришлось снова встретиться: Мирон спешно отбывал в Англию. Так и не удалось ему со Степаном выехать на рыбалку. Зашел он на третий день после душевной беседы в барак и спросил о нем.

Женщина испуганно посмотрела на Мирона и прошептала:

— Уходи скорее, милый! Степанку-то Кашкина, жандармы только вчоры забрали. Остер был на язык, неугомонный... С богом, с богом, голубь, уноси ноги!..

Он поторопился уйти и все опасался, что дознаются и о нем. «Вот уеду, и все забудется», — думал он и торопился с отъездом. Перед отплытием Черепанов отправился в Летний сад. Он был насквозь просвечен солнцем, легкий ветер чуть шевелил листья тополей. Вдаль до чугунных узорных ворот уходила широкая дорожка, а по сторонам, под сенью дуплистых лип, стояли статуи. Впереди неторопливо шел невысокий, весьма подвижной человек в цилиндре и сюртуке, сильно перехваченном в талии. Незвестный смахнул с головы цилиндр и, держа его в руке, продолжал путь.

Неожиданно со скамьи поднялась дама и, не стесняясь, последовала за ним. Она многозначительно оглянулась на Черепанова и глазами показала на молодого человека.

— Это Пушкин! — прошептала она.

— Батюшки! — ахнул уралец. — Неужто сам великий сочинитель! — Он размашистым шагом свернул в боковую аллею и скоро обогнал молодого господина с цилиндром в руке. Еще минута, и он уже шел ему навстречу. Легкий, подвижной, Александр Сергеевич, не замечая Мирона, что-то бормотал под нос. У него были голубые глаза, в которых искрился смех. Смуглые щеки поэта обрамлялись светлыми бакенбардами.

Вдруг он поспешно надел цилиндр и проворно вынул из кармана записную книжку. Движение его было столь стремительно, что книжка упала на песок. Тагилец наклонился, поднял ее и почтительно вручил владельцу. Пушкин приветливо улыбнулся, крепкие ослепительные зубы его сверкнули.

— Благодарю! — певуче сказал он.

Черепанов не мог оторвать глаз от жизнерадостного, подвижного лица поэта; румянец застенчивости покрыл его щеки.

— Откуда же вы? — спросил Пушкин Мирона, разглядывая его костюм мастерового.

— С Урала, Александр Сергеевич. Довелось-таки увидеть вас! Простите! — Он учтиво поклонился и, по своей застенчивости, убежал.

— Погодите, погодите! — закричал вслед ему Пушкин, но Черепанов от счастья, охватившего все его существо, не слышал зова поэта.

Сейчас, стоя на палубе отплывающего корабля, Мирон безмолвно смотрел на прекрасный город, затянутый прозрачной дымкой. Из тумана, который стлался над заливом, бесшумно набегали волны и ударялись о деревянную пристань. Свежий воздух гулял по палубе, бодрил, но сердце щемила легкая грусть: уходила вдаль родная земля, ставшая ему сейчас еще более милой и дорогой.

На корабле все было чужое: английские матросы, сердитый и сухой, как палка, капитан. Он неприступно торчал на мостике с вечно дымившейся глиняной трубкой во рту, выкрикивая команду. На палубе сложены были тюки добротной пеньки, канаты, груды ящиков и бочек. Среди них разместились бедняки-пассажиры со своими узлами и дорожными мешками. На баке меланхолично мычали быки, беспокойно блеяли овцы, рядом стояли клетки с домашней птицей. Рабочие-скотоводы в истрепанной, помятой одежде, ругая скот и друг

друга, производили страшный шум. Все это — и рев быков, и блеяние овец, и крики людей — создавало дикую какофонию, вызывавшую тревогу. Ветер с хлестом полоскал паруса, носился по свинцового цвета водяному полю, бороздя его пенистыми волнами. Миновали маяк, и все постепенно стало заволакиваться туманом. У Черепанова тоскливо сжалось сердце:

— Прощай, Санкт-Петербург! Прощай, Россия!

Кругом простиралось серое, скучное море и бегущие над ним тяжелые дождевые облака. Крики одиноких чаек, провожавших корабль, бередили и без того затосковавшее сердце.

Мирон спустился в каюту, попробовал улечься на узкой койке, которая раскачивалась. Было неудобно, тесно и грязно. От непрерывного укачивания на теле выступил липкий пот, отяжелели веки. Он снова вернулся на палубу и под свежим ветром вглядывался в серую неприглядную даль. К нему неожиданно подбежала худенькая с рыжими косичками девочка, рассказывая что-то по-английски. Она вся сияла, щелкала языком, но Черепанов беспомощно улыбался и отмалчивался. Наконец он не выдержал, схватил ребенка на руки и поднял над головой. Радостное ощущение охватило его: щебечущая девочка казалась ему лучом солнца, внезапно упавшим с небес. Она поразила уральца блеском своих великолепных синих глаз. Он бережно опустил ее на палубу, ласково потрепал по румяной щеке и, вынув из кармана грецкий орех, предложил его попрыгунье. Глаза девчушки наполнились восторгом, она проворно схватила подарок и стала острыми зубками грызть скорлупу ореха. В эту минуту из-за нагроможденных ящиков и бочонков вышел багровый, с лицом бульдога, хмурый англичанин. Он видел все, подошел к дочке, грубо вырвал из ее рук орех и выбросил его за борт. Схватив ребенка за руку, джентльмен с нескрываемой ненавистью посмотрел на Черепанова и что-то прорычал. Его зеленые глаза метали молнии, — он готов был испепелить Мирона.

Разгневанный папаша увел своего ребенка в каюту, а обиженный механик остался одиноким на палубе.

Корабль по-прежнему плыл среди мутных волн; он то поднимался на пенистые гребни их, то опускался в пучину. Мирону не хотелось уходить в каюту; так и бродил он по палубе, поглядывая с тоской на

море, вспоминая родину. Спустилась ночь, бледно светила луна на мутном небе, и еще печальнее и безотраднее показалось все вокруг.

— Почему рассердился этот господин? — спросил Черепанов шкипера, умевшего говорить по-русски. Коренастый загорелый моряк добродушно посмотрел на уральца и простецки ответил:

— Вы должны понимать. О, это большой господин, сэр Дуглас Хег! Он имеет свои дома в Ист-Энде. Сэр совсем не желает, чтобы его дочь имела разговор с простым человеком! — Шкипер пыхнул дымком из коротенькой трубки и улыбнулся одними глазами. Наклонясь в сторону собеседника, он тихо закончил: — Сам он когда-то был тоже совсем простой человек, но пристроился к одной строительной компании и имел очень счастливые дела в Ист-Энде! Вы хотите знать, что такое Ист-Энд? Это лондонские трущобы! Сэр Дуглас Хег умеет выколачивать из бедняков последние гроши, он вырывает у них изо рта сухую корку хлеба и сейчас хочет, чтобы его дочь стала леди!.. Покойной ночи, господин! — Моряк учтиво приложил руку к шапочке и вразвалку удалился на капитанский мостик.

Черепанов всю ночь страдал от морской качки, лицо его позеленело, в ушах шумело, и к горлу подкатывалась тошнота. С нетерпением он ждал утра. Едва засинело, он был уже на палубе. Кругом по-прежнему простиралось темное небо и беспокойное море. Он ждал восхода солнца, — да бывает ли оно над этим скучным морем? На востоке начала робко заниматься заря. Бледный, слабый свет пробился сквозь густую синь и становился все ярче и ярче, пока наконец на горизонте не вспыхнула заря. Прошло несколько минут, и там, где небо сливалось с морем, вдруг запылал пожар. Красное пламя зари на глазах перешло в золотистое, и теперь казалось, что весь восток залит сияющим расплавленным металлом. Пурпурные волны превратили поверхность воды в огненное море. Зарево пожара разгоралось, ширилось, разливалось по волнам, приближалось к кораблю, и вскоре он весь был объят розовеющими бликами.

Миرون стоял словно замороженный, не в силах оторвать глаз от пламенеющего востока. Наконец по небу пронеслась тонкая золотая стрела, — засиял первый ослепительный луч, за ним брызнули сотни ярких лучей, заставивших тагильца на мгновение закрыть глаза. Ликующее величественное светило медленно поднялось из-за горизонта, и все сразу встрепенулось, оживилось и заликовало. Запели

в клетках петухи, замычал на привязи огромный пегий бык, завозились в загоне овцы.

Разгорелся теплый солнечный денек, море притихло, подобрело. Снова на палубу выбежала рыженькая девочка. Румяная и веселая, она мелькнула мимо Черепанова, задержалась на мгновение, дружески подмигнула ему и упорхнула дальше. В своем красном платье она, как пестрая бабочка, мелькала среди бочек. До всего ей было дело, хотелось все знать, потрогать руками, обо всем пошебетать. В тот момент, когда она появилась на середине палубы, свершилось страшное: пегий бык вдруг сорвался с цепи, могучим ударом рогов опрокинул барьер, заревел и с налитыми кровью глазами устремился на красное платье. Девочка пронзительно вскрикнула, закрыла ладошками глаза и, оцепенев, бледная, застыла на месте.

Из пасти животного валил горячий пар. Бык злобно хлестал себя хвостом и, опустив рога, готовился к страшному удару. Испуг за ребенка и жалость прожгли сердце Мирона. Не растерявшись, он быстро выхватил из груды теса толстую короткую доску и бросился навстречу разъяренному чудовищу. Он размахнулся и с такой силой ударил быка по черепу, что крепкая дубовая доска разлетелась в щепы. Только на одно мгновение глаза животного затуманились, бык опешил, и в этот миг Черепанов, проворно схватив ребенка, прижал его к груди и быстро поднялся на капитанский мостик.

Девочка обняла Мирона за крепкую загорелую шею: она вся трепетала от пережитого ужаса. Внизу разносились крики матросов, рев разъяренного быка, который долго метался по палубе, разбрасывая все по пути, наводя ужас на пассажиров. В конце концов моряки догадались взяться за шланги и, сильными струями воды охладив внезапную ярость животного, заставили быка отступить в загон, где скотоводы снова привязали его на цепь...

Перевалило за полдень, когда Мирон наконец уснул в душной каюте. Сквозь сон он услышал громкий стук в дверь. Механик вскочил и распахнул ее; на пороге стоял отец девочки. Важный, в серых клетчатых брюках и черном фраке, в блестящем цилиндре и в белых перчатках, — казалось, он собрался на великосветский бал и мимоходом зашел к Черепанову. Ничего не говоря, англичанин величественно вступил в узкую каютку и деловито положил перед уральцем туго набитый кожаный мешочек.

— Что это? — раздражаясь заносчивостью гостя, спросил Мирон.

— Сто фунтов стерлингов! Вы честно заработали свой приз! О, вы настоящий храбрец! — ломаным русским языком заговорил англичанин. Всем своим видом он старался придать большую важность своим словам. Он свысока кивнул русскому и, повернувшись, вышел из каюты.

Красный от гнева, механик схватил кожаный мешочек с деньгами и, распахнув дверь, бросил его вслед англичанину. Снова наглухо захлопнув дверь, он не отзывался больше на стуки и окрики до самого вечера.

«Как они смели, торгаши, лавочники!» — негодовал он, ворочаясь на узкой койке.

Когда он в сумерки поднялся на палубу, к нему подошел шкипер и, улыбнувшись, сказал:

— Вас приглашает к себе капитан.

Мирон неохотно вошел в каюту командира корабля. В ярко освещенном помещении сидели двое: капитан и отец ребенка. Черепанов нерешительно остановился у порога.

«Опять бульдог устроит очередную пакость!» — неприязненно подумал он, но в следующую минуту эта мысль исчезла. Высокий сухой командир корабля поднялся навстречу гостю и широким жестом указал уральцу на кресло. Мирон спокойно уселся и ждал; глаза его, быстро обежав капитанскую каюту, на секунду задержались на рыжих баках англичанина, который сейчас выглядел сконфуженным.

— Мы пригласили вас, сэр, сюда, чтобы уладить досадное недоразумение! — по-русски заговорил капитан, усаживаясь напротив Черепанова. — Сэр Дуглас Хег, — он кивнул в сторону купца, — очень извиняется перед вами! Вы благородный человек, и сэр теперь понял, что он совершил ошибку. Вы герой!

— Я просто русский, — скромно сказал Мирон. — Мой долг был спасти ребенка.

Капитан сурово взглянул в открытое лицо уральца.

— Я хорошо знаю русских и их язык, тридцать лет плаваю в Санкт-Петербурге. Вы молодчина, и вам следует простить его! — предложил он.

Купец встал и протянул механику руку:

— Я очень виноват, весьма виноват. Вы благородный человек, должны простить меня.

— Охотно прощаю! — поднялся Мирон и крепко пожал англичанину руку.

— Если вы будете в Лондон, прошу быть моим гостем. Меня все знают. Я имею дома, много домов в Ист-Энд!

— Спасибо за гостеприимство! — сказал Мирон, и, так как ему было не по себе, он быстро откланялся.

Несколько дней он томился на корабле. Хотя сэр Дуглас Хег извинился, но рыжая девочка больше не показывалась на палубе. Томительная скука охватила Черепанова. Он не находил себе места, с тоской вспоминая об Урале и Санкт-Петербурге.

Наконец после долгого ожидания ранним утром в тумане внезапно возник голубоватый берег Англии. Все чаще стали встречаться рыбачьи суденышки и торговые корабли. Появились чайки. И вдруг совсем неподалеку вырисовались высокие аспидного цвета крыши и строгая готическая колоколенка, — корабль подходил к Нью-Кастлю. Здесь, перед этим сумрачным чужим городом, особенно остро почувствовался гнилой рыбный запах моря, с берега подул пронизывающий ветер, и густой противный туман стал наползать на окрестности и корабль.

Зашли в порт, и началась обычная крикливая суетня. Мирон стоял у перил и смотрел на холодные, влажные берега чужой земли.

«Вот она, Англия! — подумал он. — Как неприглядно и чуждо все здесь!»

Мимо пробежал знакомый шкипер.

— Когда же Лондон? — спросил Черепанов.

Моряк энергично махнул рукой в сторону и прокричал:

— Скоро, скоро! Войдем в Темзу, придем в Лондон...

Корабль медленно двигался по Темзе — унылой реке в сумрачных берегах. На равнине в тумане дымили трубы, тянулись плоские, закопченные кирпичные здания, которые сменялись доками, у причалов стояли баркасы, корабли, чернели скопища рыбачьих лодок. Проплывали мимо судостроительных верфей, где на стапелях, как ребра допотопных чудовищ, просвечивали остовы будущих кораблей.

Мелькали фабричные городки с горами мокрого от туманов кирпича и кучами угля. Иногда туман рассеивался и прорывалось солнце. Золотые брызги сыпались на ярко-зеленые пастбища, по которым бродили стада длинношерстных овец. За живыми изгородями поднимались черепичные крыши фермерских домиков, редкие невысокие деревья...

В полдень ветер разогнал молочный туман, и навстречу поплыл мокрый от дождя, сумрачный огромный город: тесно прижатые друг к другу темные высокие здания, большие мосты, мощными арками перекинутые через Темзу. Проплывали нагромождения старых крыш, с торчащими трубами и дымами, узкие извилистые щели — тесные переулки Ист-Энда.

Оранжевое солнце висело над рекой, зажигая ее холодным сиянием. Мимо скользили вереницы барж. Дома становились все выше, среди них устремлялись к пасмурному небу колокольни церквей, башни из старого серого камня. Минув их, корабль подошел к пристани. Рядом — на огромной высоте висящий в воздухе ажурный мост, подле — каменные здания таможни. Вот и набережная! Первое, что бросилось в глаза Черепанову, это высокий, широкоплечий полисмен — «бобби». Заложив руки за спину, в каске с блестящим ремешком, опущенным под подбородок, он важно расхаживал по каменному тротуару.

Лондон! Каким жалким и потерянным показался себе Мирон! Огромный, шумный гигант-город давил человека, принижал его и готов был каждую минуту его раздавить. Однако уралец не впал в уныние: с небольшим дорожным сундучком он отправился к Мак-Милю — демидовскому маклеру, знающему русский язык. Англичанин принял тагильца хорошо, но был удивлен, когда тот попросил устроить его попроще.

— У вас прекрасное место! Сэр Демидофф заваливает Англию железом, богач! — сурово сказал он. — Ведь вы его представитель! Впрочем, понятно: все заводчики не щедры к своим работникам, — закончил он с грустью и вздохнул. — Идемте, я устрою вас в Ист-Энде у одного знакомого гончара! Он неплохо говорит по-русски. Это для вас будет хорошо. Не впервые ему принимать из вашей страны постояльцев!

Маклер Мак-Миль провел Черепанова в район, который представлял собою настоящую трущобу. Около часа ходьбы отделяло этот район от богатых, благоустроенных улиц Лондона. Словно в сказке, все быстро переменялось на глазах! Узкие переулки были стеснены грязными кирпичными домами, мимо которых по мостовой сбегали потоки мутной вонючей жижи. Тут же в мусорных кучах возились кривоногие, золотушные ребятишки. Навстречу попадались только простые люди, в убогой потертой одежде. Плисовые куртки, грязные шейные платки, истоптанные ботинки — вот все их одеяние! Миновали небольшую площадь, на которой размещался рынок. Что за торговля! Мирону стало не по себе: на грязных досках лежали груды бобов не первой свежести, увядшие овощи, кучи гнилых плодов и порченого картофеля. Подле них стояли с сумками в руках изможденные, с потухшими глазами пожилые женщины, одежды которых представляли жалкое рубище.

— Они не в состоянии купить и этого! Сейчас в Англии очень плохой заработок! — с мрачноватым видом пояснил маклер.

Да, бедность и одичание здесь лезли изо всех щелей. Мирон увидел двух мальчуганов, которые, как осенние мухи, липли к гнилым плодам, а еще дальше малыши исцарапали друг другу лица до крови, не поделив между собой извлеченный из вонючей жижи огрызок моркови.

После блужданий по переулкам Мак-Миль привел Черепанова в лачугу гончара. В небольшой, бедно уставленной только самым необходимым комнате приютилось целое семейство. Гончар Вильгельм Воорд, унылый худосочный мужчина, обрадовался, узнав, что Мирон русский.

— Мы с Фанни уступим ему свою постель! — сказал он маклеру. — Теперь мы сможем вносить плату за квартиру проклятому пауку Дугласу Хегу!

Рабочий указал уральцу на свою убогую постель.

— А где же вы будете сами почивать? — спросил Мирон.

Гончар махнул рукой.

— Проживем и без этого! — улыбнулся он. — Я когда-то служил моряком и привык ко всем невздам. Бывал и у вас, в России.

Последнее признание прозвучало особенно тепло. Мирону стало жалко эту приветливую семью, и он сказал:

— Нет, я не согласен занять вашу кровать. Разрешите мне занять этот топчан? — показал он на широкий деревянный диван.

Хозяева с благодарностью взглянули на Мирона, и он стал устраиваться на ночлег.

Стены в помещении пронизывала сырость, воздух был застоявшийся, прокисший. «Плохо живется английскому рабочему!» — подумал уралец и вечером, за огоньком, разглядывая гончара, спросил:

— Тебе, поди, лет пятьдесят наберется?

Слабая улыбка мелькнула на лице рабочего.

— Ты ошибаешься, — ответил он уныло. — Мне всего тридцать два года, но работа на господина фабриканта состарила меня на целых двадцать лет! Жена моя стала совершенным скелетом, а ведь ей всего двадцать девять!

В измученной, костлявой женщине трудно было признать молодую мать. Не только серое, изможденное лицо старило ее, но и потухшие мертвые глаза говорили о страшной усталости.

— Мы вечно голодны! Зарплата не хватает на питание, — пожаловалась молодая хозяйка. — Сестра моя работает на фабрике обоев, и ей приходится не слаще моего. Но моему мальчугану еще хуже: ему всего семь лет, а он уже работает!

— Где же он? — спросил Мирон.

— Он еще на работе, — ответил гончар. — Я скоро пойду за ним на фабрику. Каждый день я ношу его на спине туда и обратно, так он слаб. Работа по шестнадцать часов в сутки сильно изнуряет, приятель. В полдень, в обеденный перерыв, я убегаю к нему с работы, чтобы покормить. Он стоит у машины, ест и работает! Ему на минуту нельзя оставить ее и уйти на свежий воздух. Мне приходится становиться на колени, чтобы накормить его. Вот как живем мы здесь, в своей старой доброй Англии! — с горькой иронией закончил он и вздохнул.

Он долго смотрел на трепетный свет огонька, думая о чем-то своем. Не утерпев, он снова продолжал:

— Трудно нам изменить свою жизнь. Ведь и мое детство проходило так, как у сына. Я начал работать гончаром, когда мне исполнилось всего семь лет и десять месяцев! Сначала я относил в сушильню изготовленный товар в формах, а затем приносил обратно

старые формы. Каждый день я работал по пятнадцать часов. Теперь ты видишь, почему я так рано постарел!

Поистине тяжело было слушать Мирону правду о рабочей семье. Расстроенный, он улегся на топчан, а они легли на убогую кровать, подостлав лохмотья. Долго с открытыми глазами лежал Черепанов в густой тьме, перебирая в памяти увиденное в Лондоне. Здесь, в Ист-Энде, он впервые почувствовал, что, где бы ни жил рабочий человек, везде в чужой, незнакомой стране он встретит близкого товарища, такого же труженика, как он сам!

Ранним утром, когда Мирон проснулся, хозяева уже ушли на работу. Отец еще затемно поднял своего семилетнего сына и на плечах унес его на фабрику. В мутные окна вливался грязный скупой рассвет, одежда Мирона оказалась пропитанной сыростью, — за одну только ночь она впитала в себя столько влаги, что, казалось, была под дождем.

«Здесь даже не топят, хотя кругом каменный уголь. Беднякам и топливо не по карману», — уныло подумал он.

Мак-Миль за ничтожную плату представил Черепанову седого старичка переводчика Джексона. Еще недавно он работал клерком в Сити, в большой конторе Дугласа Хегга, где вел обширную переписку на многих европейских языках. Он знал русский, немецкий, голландский, французский, испанский языки, но однажды клерк перепутал какие-то бумажки, в результате чего хозяин потерял пятьдесят фунтов стерлингов, и Джексона уволили.

— Что ж поделаешь, сэр! Я действительно становлюсь стар и многое путаю! — жалобно заморгал глазами тщедушный старичок. — Теперь перебиваюсь случайной работой.

«Опять этот неутомимый Дуглас Хегг! И в море, и в Ист-Энде, и здесь — везде он властитель жизни и высасывает соки! — с возмущением подумал Черепанов, но сейчас же уныло опустил голову. — А разве Демидов не такой же кровосос?»

Клерк вел себя скромно, довольствовался самым малым. Он охотно всюду сопровождал Мирона. Везде он представлял Черепанова многозначительно:

— Представитель заводов Демидова. Возможный покупатель оборудования.

В Англии на всех заводах хорошо знали доброе уральское железо с маркой «Старый соболь» и инициалы «CCNAD». Перед Мирон

широко раскрывали двери мастерских. Механик радовался радушному приему, но вскоре радость эта померкла. Он увидел, что англичане предусмотрительно показывают ему только устаревшее оборудование. Подобные механизмы имелись и на Урале.

Разочарованным тагилец возвращался в Ист-Энд. Джексон догадывался о кручине жильца и утешал:

— Не волнуйтесь, не вы первый, не вы последний оказались в таком положении. Заводчик никогда не покажет новой машины. Поймите, он боится конкуренции.

— Но меня бояться нечего: я не заводчик и не конкурент им! — протестовал Мирон.

— Владельцы хорошо видят, что вы отлично разбираетесь в механике, а это для них невыгодно.

После неудачных осмотров заводов Черепанов приготовился к поездке по железной дороге. Об этом он мечтал долгие месяцы. Незадолго до его приезда в Англии открылась первая железная дорога Ливерпуль — Манчестер. Клерк сопровождал тагильца. Они проехали от большого дымного города Манчестера, где сотни фабрик занимались выработкой шерстяных материй. Машина быстро тащила за собой маленькие вагончики-тележки. Они пронеслись с большой скоростью по мостам, сквозь тоннели, по насыпям через зыбкие болота по проложенным чугунным колесопроводам. На остановках Мирон выходил из вагончика и внимательно рассматривал колесопроводы. Но больше всего его интересовала машина. Он оглядел лишь ее внешний вид, а с внутренним устройством машины так и не довелось ему познакомиться. Через переводчика он попробовал сговориться с машинистом, но тот держался недоступно, с большой важностью.

— Он даже не желает разговаривать с нами! — разочарованно сказал Джексон. — Стоит ли нам после этого спорить с ним?

Они снова забрались в тележку-вагончик и, покачиваясь, поехали дальше. Впереди показалась темная полоска воды. Море! Здесь, на маленькой станции, они сошли и долго бродили по берегу. О скалы бились волны аспидного цвета, серые горы высились над ними, а над пучиной с унылым криком летали чайки. Вдали в легком тумане белели паруса, — по большому водному пути из Англии в Ирландию плыли корабли...

Хмурый и недовольный, Черепанов вернулся в Лондон. Глухая, враждебная стена окружала его всюду. В Ист-Энде, в лачуге, он застал плачущую хозяйку. Крупные слезы безудержно катились по ее желтому лицу. Линялым передником она поминутно утирала их, но ей трудно было скрыть свое глубокое страдание.

— Что с ней? — огорченно спросил горшечника Мирон.

Горшечник поднял косматую голову и со вздохом ответил за жену:

— Ничего особенного не случилось. Это ждет каждого из нас. Наша молоденькая соседка, модистка Анна Ваклей, умерла от чрезмерной работы. Умная и хорошая была девушка!

— Выходит, надорвалась? Большой груз подняла?

Рабочий покачал головой:

— Она груза не поднимала. В Англии это делается иначе, мой друг. Девушка служила в богатой придворной мастерской. Хозяйка ее шьет исключительно на королевский двор. Наша модистка трудилась по шестнадцать — семнадцать часов, а когда выпадали срочные заказы, то и тридцать часов непрерывно.

— Разве может выдержать такую маяту хрупкая девушка? — сочувственно сказал Мирон.

— Может! — сердито сказал гончар. — Они умеют заставить работать мертвых! Чтобы работница не упала от усталости и ее не свалил сон, ей дают в счет заработка стакан черного кофе или хереса. Видите, как шикарно! На днях в мастерской предстояло приготовить для одной леди роскошный бальный наряд, и бедная Анна вместе с другими девушками проработала тридцать часов. Ей не хватало воздуха, так много модисток трудилось в одной комнате. Она каждый день недоедала и вот, не закончив бального платья, умерла от истощения. Хозяйка мастерской готова была усадить ее за работу мертвой. Ах, куда идет Англия! Как жить в ней бедному человеку! — с тоской закончил гончар.

Тяжелое горе простых тружеников глубоко тронуло Мирона. В этот день он долго ворочался и думал о судьбе отца и о себе.

Все лето Черепанов объезжал заводы, изучая выделку полосного железа посредством катальных валов. Ничего мудреного в этом он не находил и пришел к выводу, что ради этого не стоило ездить в Англию. Разглядывая на английском заводе чугунные валки, он заметил, что они часто ломаются при прокатке болванок. Несколько дней уралец

отыскивал причину частых поломок и наконец догадался. Англичане решали дело просто: вместо лопнувшего валка они ставили запасной. Черепанов не утерпел и сказал:

— Вы зря портите много металла. Попробуйте сделать валки из металлов разной упругости, и тогда будет другое! Соедините гибкость железа и твердость чугуна. Сделайте концы железными, а середину облейте чугуном.

Мастер изумленно посмотрел на русского.

«Подумать только, какой простофиля этот русский мастеровой. Выболтал секрет даром!»

Подходила осень, настала пора собираться домой. У Мирона повеселело на сердце. Перед отъездом он побывал на сталелитейном заводе. Здесь выплавляли сталь из русского и шведского железа. Только тут и поглянулось тагильцу, — англичане варили сталь умело и быстро. Однако и в этом деле русские литейщики могли с ними поспорить!

В октябре Мирон распрощался со своими квартирными хозяевами.

— Без вас мы пропадем! — глядя ему в глаза, жалобно проговорила хозяйка и утерла невольную слезу.

Горшечник большими печальными глазами смотрел на Черепанова и молча пожимал руку. Ему трудно было сказать слово, чтобы не уронить достоинство мужчины, так как спазмы сжимали горло...

И вот Мирон снова на корабле. Как легко дышалось на море сейчас! Только что корабль выбрался из пролива, как Мирон повернулся лицом к востоку и с жадностью стал всматриваться в морские дали.

«Там, за волнами, милая русская земля! Там, на востоке, всегда всходит солнце!»

В Санкт-Петербург пришла мрачная промозглая осень. Сеяли бесконечные надоедливые дожди, со взморья дул пронзительный ветер, который запырал в устье невские воды. Река вздулась, потемнела, — широкие волны бросались на гранитные набережные. В гавани море затопило склады. По небу тянулись грузные темные тучи, и все кругом выглядело мрачно. В парках и садах опустело, под ногами шуршал палый лист, — отошла пора листопада! В осенние дни поздно светало и рано наступали сумерки. Под косым дождем торопливо проходили унылые прохожие с позеленевшими от холода лицами. Все навевало тоску, однако на душе Мирона была радость. Он снова в родной стране, вскоре поедет на Каменный Пояс, и все будет хорошо.

Главный директор Данилов на этот раз принял Черепанова очень скоро. Он внимательно выслушал доклад механика и остался весьма доволен.

Усадив Мирона в кресло, Павел Данилович ласковым взглядом посмотрел на него.

— Покровитель наш Павел Николаевич остался доволен твоими замыслами. В сорочках вы родились, Черепановы! Дозволь поздравить тебя с хозяйской милостью! — Директор протянул свою жилистую руку: этого еще никогда не бывало!

Черепанов покраснел, на его сердце вспыхнула внезапная надежда: «Неужели вольную пожаловали?» Боясь спросить об этом, он вопрошающе уставился на главного директора.

— Отныне ты больше не выйский плотинный, а механик по всем демидовским заводам! — с важностью сказал тот.

Сразу померкло все.

— А как же батюшка? — удрученно вымолвил Мирон. — Он больше моего разумеет, да и переделал на своем веку немало. Мне до него далеко! Ох, далеко!

— Хозяином и сие предусмотрено, — ответил Данилов. — Твой батя станет первым механиком, а ты — вторым... Ох, господи, сколь внимателен к вам, холопам, наш многомилостивый барин! — Старик прослезился и глянул в сторону портрета хозяина, который висел на том же месте. Оборотясь к Мирону, он с лукавинкой спросил:

— Доволен ли ты? Отныне жалованье вам, Черепановым, удваивается!

— Спасибо, много благодарны мы с батюшкой Павлу Николаевичу! — Мирон нескладно поклонился Данилову, а в голове мелькнула и взволновала мысль: «Что случилось? Почему плутоватый лис вдруг стал чрезмерно любезен и залебезил?»

Насладившись смущенным видом Мирона, директор схватился за изборожденный морщинами лоб, как бы силясь что-то вспомнить.

— Ах, совсем было запамятовал! — спохватился он. — Хозяину понравилась твоя выдумка о паровой телеге. Велел он вам с батюшкой строить, да так заинтересовался сим делом Павел Николаевич, что просил доносить рапортами о преуспевании в работе. Ну, раз так повернуло, то выходит, и заведение ваше дозволяется расширить до потребности, да Александру Акинфиевичу Любимову наказано, чтобы все, что понадобится для паровой телеги, враз изготовлялось на заводах по вашей нужде!

Снова радость охватила Мирона. Он очарованный сидел перед директором, глаза его заблестели. Данилов угадал перемену в настроении мастера:

— Вижу, ты премного доволен?

— И слов нет сказать, как доволен! — не скрывая радости, ответил Черепанов. — Дозвольте немедля на Урал ехать?

— Поезжай, да по дороге в Тулу заверни, узнай, что потребно там, да механизмы огляди! О сем доложишь Любимову. Ну, с богом!

Неслыханное дело: Павел Данилович встал с кресла и проводил Мирона до двери. Прощаясь, он похлопал его по плечу:

— Мыслю, что паровую телегу сладишь вскоре!

— Постараюсь, Павел Данилович. И за батюшку то ж могу пообещать: он спит и во сне видит нашу машину! — Механик поясно поклонился главному директору и покинул кабинет.

В тот же день он отправился на Васильевский остров, в Санкт-Петербургский университет. Сильно хотелось Мирону повидать Ершова. С волнением он вступил в старинное здание, поднялся по широкой лестнице и оказался в длинном-предлинном коридоре, который уходил в сумеречную даль. Было пустынно, тихо, в аудиториях шли лекции. Из канцелярии вышел юркий писец и деловито оглядел Черепанова.

— Вам кого? — спросил он.

— Мне бы студента Петра Павловича Ершова.

Писец оживился.

— Вы его, батенька, здесь не застанете. Господин Ершов отбыл на время из Петербурга.

Так и не довелось Мирону поделиться своей радостью с полюбившимся ему человеком.

В мальпосте он приобрел за семнадцать рублей билет на место в «сидейке». Это было похуже кареты-дилижанса. Хотя «сидейка» была и крытая, но в ней было тесно и сильно трясло. Под осенним дождем ехать было невесело, да и путники собрались угрюмые и молчаливые. Вместо положенных восьмидесяти часов до Москвы добирались четверо суток. В Белокаменной Мирон не задержался, раздобыл билет на дилижанс в Тулу и с легким сердцем отправился на ночлег.

«До Тулы всего сто восемьдесят верст, — думал он, засыпая, — и шоссе года два тому назад построили: доеду быстро!» В действительности все выглядело иначе. По непролазной грязи, по топям, в объезд мостам, снесенным осенним водопольем, он испытывал все муки путешествия по невозможным российским дорогам.

— Где же шоссе? — спросил он у станционного смотрителя. — Ведь сообщали, что отстроено!

— Верно, батюшка, была и шаша, — согласился древний смотритель. — Верно, отстроили ее, да прошел годик — и не стало шаши. Разрушилась: была да сплыла, во как!

— Как же так? — возмутился Мирон. — Да таких строителей под суд надо!

Старик безнадежно махнул рукой.

— Да кто их, разбойников, уличит, все чисто сделано! Комар носу не подточит!

— Государю о сем надо написать! — сердито сказал Черепанов.

— До бога высоко, до царя далеко! Да разве царь в силах наказать сих грабителей? Истинно скажу, с большой дороги разбойники! Его императорскому величеству доложили дело, а там и не распутать, что к чему. И написал государь Николай Павлович такое: «Шаши нет, денег нет и виноватых нет, поневоле дело кончить, а шашу снова строить!»

Вот и ждем, батюшка, новых казнокрадов! — Смотритель лукаво улыбнулся и стал заносить в книжку пассажиров.

После уральских заводов Тульский оружейный не произвел на Мирона сильного впечатления. В Туле преуспевал по выделке оружия только казенный завод. Не так давно через город проезжал царь Николай Павлович, который посетил выставку заводских изделий. Эта выставка сохранялась в старом кирпичном здании, и Черепанова потянуло ознакомиться с изделиями тульских мастеров. Весь день ходил уральский механик среди столов и витрин, на которых было разложено изумительное оружие, потребовавшее от творцов его большого терпения, глубокого ума и сказочного мастерства.

Не случайно управляющий Санкт-Петербургской конторой Павел Данилович Данилов так живо заинтересовался затеей Черепановых. Иные времена наступили на белом свете! В минувшем, восемнадцатом веке Россия по выплавке чугуна занимала первое место во всем мире. Но сейчас, в девятнадцатом столетии, произошли огромные изменения; Англия значительно опередила нашу страну, меркла слава знаменитого демидовского железа с клеймом «Старый соболь». Что случилось за эти годы? Урал ведь не оскудел рудами, леса для пожого угля — необозримый океан, и не перевелись на далеком Каменном Поясе золотые руки, умеющие плавить чугун! Не все уяснил себе Павел Данилович, а хозяева уральских заводов и того меньше задумывались над переменами, стараясь только выколлотить побольше доходов из своих предприятий, работавших по старинке. А между тем техническая отсталость и каторжные условия крепостного труда губительно отражались на развитии уральской промышленности. Кроме того, первобытные топкие грунтовые дороги стали большой помехой в торговле. Из-за дороговизны и медленности перевозок на все хозяйственные предметы неизмеримо выросли цены. На Урале пуд железа стоил на заводе восемьдесят девять копеек, а доставленный в Нижний Новгород, на Макарьевскую ярмарку, продавался по рублю две копейки, в Петербурге же цена его доходила до рубля двадцати пяти копеек. Нечего было говорить о цене на железо, доставленное в западные губернии России. Там пуд железа стоил свыше двух рублей! Вот почему на западе в нашем государстве крестьянские савраски

редко подковывались: не под силу было обедневшему русскому мужику приобрести дорого стоившую подкову. Колеса у телег не обтягивались железными шинами, оси ставились деревянные. На постройках везде употреблялись только деревянные гвозди, о железных и помышлять не приходилось. Из-за плохих дорог еще разительнее росли цены на хлеб. В Саратове рожь стоила около рубля, в Прибалтике цена ее достигала четырех рублей и выше.

Доставка продуктов баржами по водному пути тоже не обеспечивала потребности страны. Перевозка товаров в столицу по Волге тянулась две навигации. Обычно караваны барок отстаивались зиму в Рыбинске или в Твери, а весной следовали дальше. Купцам это было невыгодно: ждущий полгода новой навигации груз лежал мертвым капиталом. Вот если бы в стране появились железные дороги, тогда по-иному бы закипела жизнь!

В 1830 году в журнале «Северный муравей» появилась статья профессора Петербургского университета Щеглова, который, описывая преимущества железных дорог, убеждал, что «металлические дороги прекратят жалкие для нас и смешные для иностранцев случаи возвышения в Петербурге цен на первые потребности народного продовольствия оттого, что барки останавливаются с половины лета на зимовку за недостатком воды в расстоянии 200 верст и менее от Петербурга...»

Как это ни странно, но против профессора Щеглова ополчился не кто иной, как сам генерал-майор корпуса инженеров путей сообщения Дестрем, который стал доказывать, что железные дороги России не нужны. Вслед за этим всерьез встревожились владельцы конно-степных заводов. Они испугались, что с появлением железных дорог никто не станет покупать лошадей. Помещики крупных имений задумались о своем: кто же у них будет покупать овес, когда появятся первые стальные пути? Хозяева ямских предприятий тоже загоревали — уменьшится число пассажиров. Не меньшая тревога всколыхнула и содержателей постоянных дворов и корчмарей: никто не станет больше покупать сено и пить водку! Каждый думал о своем. В газетах и журналах запестрели статьи о паровых перевозках. Противниками железных дорог выступали министры, помещики и даже главноуправляющий путями сообщения Толь. Он заявил, что «в России быстрая и срочная доставка по большей части не нужна».

Многого из того, что происходило, демидовский управитель Данилов не понимал. Но одно ему было ясно: постройка железных дорог потребует огромного количества железа. А где его брать, как не на Урале? На то и существуют демидовские заводы, чтобы поставлять железо! Поэтому Данилов так охотно одобрил планы Черепановых.

«Когда решится спор, — рассуждал про себя управитель, — к тому времени у нас и паровозная телега будет готова. Это лучше всякого слова убедит в том, на что способны наши заводы! Да и Демидовым лестно станет. Особенно возгордится этим Павел Николаевич. Нигде в России еще нет подобного, а у нас, в Нижнем Тагиле, уже своя первая железная дорога!..»

Павел Данилович не замедлил отдать по конторе распоряжение, чтобы все необходимое для Черепановых доставлялось без задержки.

Данилов отчетливо представлял себе, что может произойти, если в стране начнут строиться железные дороги. Хотя Россия и отстала в плавке чугуна, но уральские заводы все же давали в год свыше четырех миллионов пудов кричного железа. Шутка ли! Уральское железо проходило обработку под особыми кричными молотами и вполне заслуженно пользовалось доброй славой. Из-под прокатных станов на горных заводах выходили и плотный лист и крепкие шины. Верно, Англия сейчас шла впереди, но уральские умельцы многому могли поучить английских мастеров. Крепостное состояние мешало русским литейщикам и металлургам показать себя во всей силе.

Мирон Черепанов с большой радостью возвращался на Урал. Колесный путь — дальний и томительный. Сибирская дорога пролегла через Казань, Башкирию, пересекала глухие леса, горы и шумные реки. Чем ближе подъезжал путешественник к родному краю, тем пестрее становились краски осени. Леса сбросили золотую листву, только одни осиновые рощи пылали последним ярким багрянцем, да темно-синие ельники не меняли окраски и хмуро шумели под сибирским ветром. В небе не раздавались трубные крики журавлиных стай. Перелетные птицы покинули края, охваченные дыханием осени. Только на глухих озерах да в тихих речных заводях уныло плавали одинокие уточки-подранки да обессиленный лебедушка — не видать им больше ясных теплых дней!

Осень навевала тоску, но стоило показаться вдали синей гряде знакомых гор, и Мирон встрепенулся, загорелся нетерпением. Теперь до Нижнего Тагила рукой подать!

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

По возвращении в Нижний Тагил Мирон сразу взялся за работу. К этому времени Ефим Алексеевич постепенно оборудовал большую мастерскую. В ней работало около полусотни отборных мастеровых: семнадцать слесарей, шестнадцать плотников, семь кузнецов и четыре машиниста. Черепановы соорудили плавильную печь, в которой сами плавил металл и сами отливали детали машин.

Днем и ночью механиков одолевали мысли о конструкции «сухопутного парохода». Не раз они вдвоем шагали по пустырю по направлению к Выйскому заводу; здесь намечено было уложить первые колесопроводы. По ним и пойдет их машина. Загодя они заказали отливку колесопроводов на Выйском заводе, а колеса — в Верхне-Салдинском.

Постройка пути мало беспокоила Черепановых. К этому времени на русских заводах накопился большой опыт: подобная первая внутризаводская рельсовая дорога была проложена еще в 1763 году на Змеиногорском руднике, на Алтае, русским механиком Кузьмой Дмитриевичем Фроловым. Его сын Петр Кузьмич затеял большое дело. Он вынес железную дорогу за пределы завода и создал несколько проектов многоверстных железных дорог. В 1806-1809 годах Петр Кузьмич соорудил рельсовую линию между Змеиногорским рудником и заводом, который был ставлен на реке Кораблихе, притоке Алея.

Самое замечательное — то, что строитель впервые применил выравнивание местности. Он скопал крутые уклоны, сделал выемки грунтов, построил над глубокими оврагами мосты, пробил тоннели в горах — и дорога стала весьма удобной для движения, потребовала меньше тяговых усилий при перевозке грузов, да и опасности крушений исчезли.

Кроме того, Фроловы много думали и над формой колесопроводов. Это было чрезвычайно важно. До них применялись колейные рельсы, представлявшие собою углубление для колеса. Такие и видел Мирон за границей. Фролов придумал более надежные и удобные колесопроводы: он придал рельсу выпуклую форму. Такие колесопроводы не засорялись, с них легко скатывались упавшая руда, песок, грязь. А чтобы колесо прочно держалось на рельсах, он изменил

его форму, устроив по его окружности желоб. Теперь вагонетка прочно и беспрепятственно катилась по путям.

Об изобретении Фролова много позднее написал профессор Санкт-Петербургского университета Щеглов. Черепановы эту статью не читали, но через досужих людей знали о ней и решили применить колесопроводы русского механика. Однако Ефим и Мирон пошли дальше Фролова: на Алтайской железной дороге вагонетки двигались конной тягой, а Черепановы решили поставить на рельсы паровой двигатель. Это было в России впервые.

За плечами Черепановых был большой опыт: они построили несколько паровых машин. Механики понимали, что центральное место в двигателе займут котел и топка. Расчетами ни отец, ни сын никогда не занимались, до всего доходили чутьем и опытом. Вот и сейчас им предстояло решить, как устроить машину, чтобы топка давала равномерный жар и чтобы котел выдержал большое давление паров. До всего они доходили после больших раздумий и неудач. Опыты и работа отнимали много времени, а санкт-петербургская контора торопила.

Данилов, интересуясь ходом дел, обязал Черепановых представлять «двухседмичные» сведения о наличности материалов при Выйском заводе, «какие из оных продвигаются при заводе вновь заводимые постройки».

Вскоре Черепановы представили в Нижний Тагил рапортичку о своей работе, а в ней сообщали, что «ко вновь строящемуся пароходному дилижанцу приготавливаются деревянные модели, по коим отливаются чугунные и медные припасы, равно и отковываются железные принадлежности, кои изготовляются своими рабочими, где находились разных цехов рабочих до 21 человек».

Мирон с плотниками тщательно мастерил деревянные модели, а отец весь январь следил за отливкой главных частей двигателя. Ефим помолодел в работе и успевал всюду: вместе с кузнецами он занимался поковкой железных частей, с литейщиками отливал чугунные и медные принадлежности. Им мерещился «сухопутный пароход». Вот перед ними лежат только что отлитые, еще теплые детали. Как приятно взять их в руку! Теплая шестеренка согревает шершавую руку, приятно давит на ладонь. Еще приятнее смотреть, как на станке обрабатывается медная деталь. Ефим аккуратно и крепко прижимает резец, быстро

вращается валик. От резца вьется дымящаяся стружка. Она горит, сверкает, извивается змейкой и, обрываясь, падает у ног. Превосходно! Прекрасно дышится за кипучей работой, весело смотреть на белый свет! Черепановы так увлеклись делом, что позабыли об окружающем.

В работе все: и радость и печаль. В творческом труде обо всем забудешь!

Но люди не могли забыть о Черепановых. По Нижнему Тагилу прошел слух об их машине. Больше всех взволновал этот слух владельца заводской конницы Климентия Ушкова. Умный и строптивый Климентий Константинович давно уже недолюбливал Черепановых, страстно завидуя им. Весть о том, что Ефим с сыном строит «сухопутный пароход», на котором будет доставлять руду к заводу, сильно взбудоражила Ушкова.

Крепкий, важный старик явился в домик Черепановых. Он без приглашения, по-хозяйски уселся к столу и, сознавая свое значение, строго спросил Ефима:

— Правда, что ты новую машину строишь?

— Правда, — подтвердил Черепанов. — Если хватит сил, она во многом облегчит труд человека!

— Сатанинское дело ты задумал, Ефим! — И, подняв перст, Ушков указал на иконы. — Ты о боге подумал? Не вечны мы тут, человеки, на земле. Позовет нас господь ко престолу и спросит, как жили? Брось, Ефим, черта тешить!

Механик покраснел, вся кровь ходуном заходила в нем. Знал он: не о спасении души заботится Ушков, а о своей выгоде. Пойдет «пароходка», конница Ушкова останется без дела. Овладев собою, Ефим ответил сдержанно:

— Умен и силен ты в священном писании, Климентий Константинович, уважаем нами. Но прошу тебя, не страши адом! Работному человеку ад не страшен, ему пекло уготовано тут, на земле. Гляди, как маются!

— Молчи, вольнодумец! — прикрикнул Ушков. — За такие речи язык рвут!

— Не чаю в тебе доносчика видеть! — спокойно отозвался Черепанов.

— Доносчиком николи не был и не буду! — сердито перебил владелец конницы. — Но скажи, зачем хлеб отнимаешь у меня? Ты и

так счастлив: вольной обладаешь, а я все в ярме. Ах, Ефим, Ефим, для кого стараешься?

— Для народа своего стараюсь! — твердо ответил Ефим Черепанов. — Не обессудь, Климентий Константинович, не могу я отречься от своей мечты! И не завидуй, — что за «вольность» пожалована мне? Как медведь на цепи топчусь. Суди сам: вся семья в крепостных, сын Мирон тож в рабстве. Какие тут радости? Подумаешь, сердце кровью обливается. Не трави мои раны!

Ушков тяжело опустил голову. В густых темных волосах его серебрилась ранняя седина. С минуту длилось тягостное молчание, потом гость оживился, положил руку на плечо Черепанова.

— Послушай, друг, — вкрадчивым голосом заговорил Ушков. — Чую, тяжело тебе отречься от выдумки. Да и барские холуи строги, теперь не отвяжутся. Вот что скажу, друг: бери отступного, — молчи только, а машины пусть не будет. Скажешь, не вышла.

Словно огнем обожгло Черепанова.

— Не будет этого! — резко бросил он в лицо Ушкову и вскочил.

— Значит, ни так, ни этак? Подумай, Ефим, как бы потом не пожалеть! — со вздохом сказал тот.

— Не пожалею! Сам не сроблю — сын Миронка сделает. Он дальше моего шагает!

— Шагает-то шагает, но могут и остановить! — с многозначительной улыбкой перебил Ушков. — Ну что ж, тебе виднее!

Владелец конницы встал, надел шапку. У порога он снова задержался и сердито обронил:

— Не суждено, выходит! Отныне мы, Ефим, с тобой враги! Насмерть враги! — Он хлопнул дверью, и вскоре за окном проплыла его могучая прямая фигура.

На душе Ефима стало тяжело. Угрюмый, ссутулившись, он прошел на свою «фабрику», целый день лихорадочно работал и молчал...

На Камне всю зиму лютовали морозы, на дорогах и в степях бушевали метели. Глухо гудели боры в горах. Господский парк разубрался в иней. На льду пруда темнели фигуры одиноких рыбаков, ловивших на блесну рыбу. На берегу возвышались громадные ели,

отягощенные шапками снега. Застыла земля под зимним одеялом, укрылись звери в берлогах. Ночи пали темные, глухие, со спокойной и ясной тишиной. От жарких домен над Нижним Тагилом алело зарево.

В самую студеную пору, преодолев снега и расстояние, из далекого скита пришел старец Пафнутий, согбенный желтоликий кержак. Он забрел в избушку Черепановых, благословил хозяйку и попросил истопить баню.

Евдокия со снохой наносили воду, накалили каменку и проводили старца до бани. Приход скитника не сулил хорошего.

«До Ефимовой души добираются! — хмуро подумала поблекшая женка. — Обидится отец и прогонит наставника!»

Ей не хотелось обижать мужа, но она боялась и скитника.

Старец долго распаривал свое костлявое тело, кряхтел. Ополоскался, обрядился в чистое белье, вернулся в светлицу. Только уселся за стол, и Черепановы подоспели. Они низко поклонились старцу и стали умываться. Хозяйка тем временем покрыла стол скатертью, положила свежий пахучий каравай, расставила чашки, разложила ложки и с ухватом потянулась в печь. От горячих горшков запахло вкусным варевом — жирными щами, бараниной. Свежие, умытые механики сели за стол, настороженно поглядывая на старца.

Наставник Пафнутий молчаливо полез в дорожную котомку, извлек из нее деревянную чашку и ложку.

— Не мирщусь! — пояснил он хозяину. — Ни мяса, ни парного не принимаю. Сделай-ка мне, хозяйюшка, тюрю.

Евдокия тяжело вздохнула.

— Эстоль брел, через пустыни и горы, и на одном квасе. Сгибнешь, батюшка, этак! — заикнулась она.

Скитник строго посмотрел на женщину.

— Тело смердящее пусть гибнет, а душа возрадуется. Горе филистимлянам, кои душу дьяволу продают! — торжественно произнес он, и глаза его фанатически блеснули.

Мирон хмуро посмотрел на старца. Тленом веяло от хилого сухого скитника. Бледное, изборожденное глубокими морщинами лицо, сивая с желтизной борода делали его неживым, выходцем из могилы. Голос старца звучал глухо, зло.

Он настоял на своем: хозяйка налила ему чашку квасу, крошив туда хлебного мякиша. Старец поднялся, а за ним поднялись и

повернулись к образу хозяева. Стали истово молиться.

Старец Пафнутий женок за стол не пустил, и они насыщались за холщовой занавеской. Все ели молча, уткнув глаза в чашки. Время от времени скитник кидал грозные взгляды на механиков. Он привык к покорности своей паствы и потому, заметя торопливость Мирона в еде, постучал ложкой по столу:

Не торопись, малец! Бесовское дело обождет!

— Ты что, дедушка, грозишь? — вспыхнул Мирон. — Откуда выискался такой строгий? Батя у нас за столом за старшего, ему и строжать!

Глаза скитника недобро сверкнули.

— Кш! Кш! — застучал он ложкой. — Зелен речи держать! — Он отодвинул чашку. — Ефим, я к тебе пришел! — скрипучим голосом обратился он к Черепанову. — Пора подумать о спасении души! По земле идет блуд великий, ловцы сатаны пленяют души христиан. От скита послан сюда!

— Какая нужда во мне вышла, батюшка? — сдержанно спросил Ефим. Он отложил ложку, утер бороду.

— Без нужды, страсотерпцы, живем. Малому невеликое надо. Душу твою спасти пришел!

— Погоди, батюшка, что-то рано засобирался. Вот «пароходку» отладим, тогда и посмотрим, что будет.

— Не построишь ты своего демона. Прокляну! — Скитник вскочил, поднял над головой двуперстие. — Прокляну! Анафеме предам!

— Ни я, ни сын мой с демонами не знаемся! — не уступал Ефим.

— А какая сила сидит в железном чреве? Кто вечно в огне в кипящем обретается? Сатана! Вот кто двигает твои машины! Дьявол! Дьявол! — истошно закричал старец, и в углах рта его выступили пузырьки пены.

Черепанов пристально взглянул на скитника и спокойно ответил:

— Пар есть сила чистая, светлая! И облачко лебяжье — тот же пар на воздушях! Никакой нечисти в своей затее мы не видим. И ты не грози нам. Не дано тебе судить нас! Мы облегчение несем народу, а ты назад тянешь!

— Верно, батюшка! — обрадовался Мирон.

Холщовая занавеска шевельнулась, из-за нее выглянули встревоженные лица хозяек.

— Ты, младень, помолчи! — стукнул посохом старец. — С отцом веду речь, а не с тобой. Помолчи, окаянец! — сверкнул он мрачными глазами в сторону молодого механика.

— Он не дите, а умелец! — с гордостью за сына прервал скитника Черепанов. — И запомни, батюшка, Мирон не окаянец! На Камне он первый механик. И в Англии, в иноземщине, он побывал и людей и многое другое повидал. И тебя поучить может кой-чему!

— Эвон куда метнуло! — затряс в ярости посохом старец. — И ты, человек в разуме, мне перечишь? А коли в иноземщине был, то пусть пред святой иконой речет, что бритты — и те свои машины, сказывают, поломали, ибо злой дух в них хлеб от христиан поотнимал! Злой, песий дух в машинах!

Черепанов нахмурился. Упрямство кержацкого старца вывело его из себя:

— Злой дух у тебя под хламидой! Чего рычишь, как зверюга! Пришел под чужой кров и шумствуешь. Ведомо тебе, что бритты не потому поломали свои машины, что они худы для них. Восстали они против тяжелой кабалы своих заводчиков. Кабы машина — труженику, он радовался бы ей!

Старец опешил от неожиданного отпора, вылупил белесые глаза на Черепанова, и посинелые губы его задрожали в ярости.

— Свят, свят! Бес в нем, бес! — закрестился он, проворно собрал котомку и взял в руку посох. — Не место мне тут, где старших не почитают да с бесовской нечистью водятся. Николи подобного не видано и не слыхано! Не будет моего благословения на вас! — Он закинул лямки котомки за плечи, перекрестился на иконы и, не оглядываясь, плюясь и ахая, пошел прочь.

Только скрылась за дверью хилая фигура скитника, как Евдокия вышла из-за холщовой занавески и с укором посмотрела на мужа.

— Что ты наделал, Ефим? Теперь на весь Камень опозорит! И ты хорош, задираешься, с кем не положено! — накинулась она на сына.

Старик сел на скамью, улыбнулся жене:

— Ну, чего расхорохорилась, как воробей перед дракой! Честное, моя милая, не опозоришь! Золото и в грязи блестит. Дело само за нас с Мироном покажет. Садитесь-ка, женки, за стол, благо кислый дух

унесло! — оживился он. Угрюмость с его лица как рукой сняло. Он спокойно принялся за еду.

— Батюшка, а ведь он в Кержацкий конец побежал! — вдруг осенила Мирона догадка. — Вот светопреставление!

— Пусть, а мы свое дело знай: пустился в драку, кулаков не жалей! Мои думки сейчас о другом — о котле!

— Ты бы хоть за столом, отец, о другом сказал! — со вздохом взглянула на него женка.

— Матушка! — улыбнулся Мирон. — Разве можно думать о другом, когда всю душу одна мысль захватила!

За окном синел ранний зимний вечер. Вороны с граем кружились над высокими березами, примасиваясь на ночлег. Заголубели снега. В морозном небе замерцали звезды. Прямо из-за стола отец и сын снова пошли в мастерскую.

Черепановы упорно добивались своего, и в марте котел был готов. Его установили на железную раму-основу «сухопутного парохода» и решили испытать. На площадке, обнесенной плотным забором, было чисто, просторно. Синело апрельское небо. Неподалеку в овражке шумел ручей, — с верхов к пруду торопились талые воды. У закраин пруда лед вздулся, посинел. На фоне светлого неба черными ветвями четко рисовались деревья. Во всем — и на горах, и в лесу, и в беге облаков, и в первых талых ручьях, и в жухлости оседающего снега — чувствовалось приближение весны. Вот-вот на Урал — золотую землю — тронутся косяки перелетных птиц!

Радостное пробуждение природы придавало Черепановым сил, но в душе каждого из них росла тревога. Отец явно волновался за исход испытания. Сына сжигало любопытство: какое давление пара выдержит котел? От этого зависит все! Он решил не щадить ни себя, ни своего изобретения, лишь бы установить предел давления.

Ранним утром разожгли топку. Уголь разгорелся жарко. Ефим стал подбрасывать топливо, не сводя настороженных глаз с предохранительного клапана, к которому прижимался стальной рычаг с делениями, а на рычаге была прикреплена тяжелая гиря. Прошло много томительных минут, пока в котле нагрелась вода и гиря на рычаге незаметно сдвинулась с места. Из трубы колечками, с легким

шумом выбрасывало дым. Мирон с замиранием сердца следил за машиной. В нее быстро вливалась жизнь: заструилось тепло, почти незаметно для глаза задрожали стальные части. В железном чреве копилась и давала о себе знать нарастающая сила, толкавшая рычаг. Гирия медленно, ровно тронулась в путь: миновала третье, четвертое, пятое деление. Жар становился сильнее, вздохи паровика мощнее. Ефим усиленно подбрасывал уголь; раскаленный добела, он гудел в топке ярким пламенем. Черепанов стоял у рычагов и весело поглядывал на сына.

В чистый, прозрачный воздух неожиданно вырвалась белая струйка пара, клапан приоткрылся, и из него раздался радостный, ободряющий звук. Он призывно раскатился по горам, и на него вдали отозвалось эхо. Звонкий и певучий весенний простор! От этого звенящего, пробуждающего звука, схожего с заводским гудком, у молодого механика затрепетала каждая жилочка.

За дощатым забором слышались встревоженные голоса. В щели, в круглые дырочки от выпавших сучков смотрели чьи-то любопытные глаза. Там, за площадкой, происходило движение, суетня и говор.

Снова взвился белый рыхлый парок, толчками поднимаясь к небу и тая, а вслед за ним, как торжественный призыв, тонко и голосисто что-то загудело-запело. За оградой раздался хмурый, удивленный возглас:

— Ревет, дьявол!

Десятки глаз, потемневших от страха, настороженных, незаметно следили за Черепановыми и машиной. Поодаль на дворе толпились мастеровые: во избежание несчастий Ефим не допускал их близко. Они с радостным изумлением смотрели на механика. Широкоплечий, коренастый, с распущенной бородой, Ефим величаво стоял на мостике у котла, и лицо его лучилось от радости. Паровик работал ритмично, исправно, с пружинистой эластичной силой, — словно в нем билось молодое, крепкое сердце.

— Породил беса и тешится! — снова раздался за оградой неприязненный возглас.

Черепанов удивленно взглянул на сына:

— Кто это?

— С Кержацкого конца все старики и старухи прибрели. И откуда прознали?

Ефим нахмурился. На душе угасла радость. Темная, чужая сила вторгалась в его замыслы, не давала спокойно работать. Да что старики! Приказчики — и те, соблюдая приличие, боясь демидовской кары, шутя, а на самом деле с недоверием и ехидцей спрашивали:

— Ну, скоро своего змея-горынычапустишь? А как ты думаешь, доберется он до Санкт-Петербурга?

Не нравились Черепанову эти скрытые, но язвительные насмешечки. Спасибо, работные относились к нему доверчиво. Они, не скрываясь, гордились Черепановыми.

— Гляди, чего может достигнуть простой русский человек! — говорили в рабочих семьях. — Ума палата, руки золотые. Эх, кабы не крепостные цепи, ух, и размахнулись бы!..

Между тем давление пара в котле усиливалось: об этом говорили деления на рычаге. «Хватит!» — решил Ефим, но иначе думал сын:

— Давай, батюшка, до последнего!

— Да ты что! Не выдержит! — запротестовал отец.

— Может, и не выдержит, а испытать надо. Все нужно знать, чтобы добиться лучшего. — Глаза Мирона горели. Он с надеждой смотрел на отца.

— Пробуй, только осторожно! — Ефим уступил место сыну и, сойдя с мостика, озабоченно предостерег мастеровых своей «фабрики»: — Подальше, братцы, не ровен час взорвет! Покалечит!

На дворики стало тихо. Притихли и за забором. Мирон внимательно осмотрел котел, проверил, есть ли в нем вода, и подбросил уголь, а сам отошел подальше. Подле машины оставаться становилось опасно. Риск взбудоражил молодого механика. Скажи ему сейчас: «Оставь все, останови машину», — он ни за что не сделал бы этого! Он готов был лечь под плети, лишь бы добиться своего: узнать силу пара. А до этого приходилось доходить опытом.

Шли минуты. В наступившей тишине мощным дыханием гудел пар в трубе. Ефим насторожил ухо. За дощатым забором тихо возились и шептались ребята. Он слышал, кто-то скребется о доски. «Взбирается на забор!» — подумал механик, и в ту же минуту над тесинами показалась курносая ухмыляющаяся рожица мальчонки.

— Дяденька, а дяденька, погуди еще! Попугай старух, спасу от них нет!

— Подальше, ребята, котел может взорваться! — прикрикнул он.

Мальчонка ухмыльнулся и закричал со смехом:

— А мы не боимся!

За тесом завозились снова, и мальчуган исчез.

— Мой черед, мой! — зашпорили звонкие детские голоса за забором...

И вдруг разом котел рвануло. Невидимой страшной силой его сдвинуло с места. С могучим ревом, клубясь, словно из пасти чудовища, вырвался пар. Трубу из тяжелого листового железа подбросило вверх, и с громом, дребезжащим гулом она покатила к забору. Мимо Черепанова жихнули куски железа. Как золотые лобанчики, кинутые щедрой рукой, из топки разлетелись раскаленные угли. Чад и пар клубами закрыли развороченную машину, людей и самих механиков. Тонкий угасающий свист жалобно пронесся в воздухе, — из котла уходил последний пар...

— Га-га-га! — раскатисто раздалось за тесовым забором, и смех, яростный, ехидный и торжествующий, потряс воздух. Ржали, хохотали сотни плоток...

Ефим сжал кулаки, потемнел.

И в этот миг затрещали доски, что-то заухало, и большое прясло свежего теса под тяжестью многих тел упало на землю. Из парного тумана на Ефима на карачках поползли мужики, бабы, — бородатые старцы, ветхие старухи с горящими злыми глазами. Впереди всех добиралась, с распущенными космами, высокая жилистая скитница с исступленным взором. Ощерив темный гнилостный рот, из которого торчал большой желтый клык, она хрипло кричала:

— Бес! Бес!

— Ага, ага! — кричали-орали кругом.

— Не допустил господь, изгнал вражью силу! — извиваясь тощими телами, тряся головами, размахивая руками радуясь и беснуясь, торжествовали взбешенные старые кержачки.

Среди этого мрака, рева и визга колокольчиками зазвенели голоса ребят:

— Дяденька, дяденька, вот это си-и-ла!..

Они юлили, мелькали среди обломков, всюду слышались их радостные, полные жизни голоса.

— Ах, милые вы мои! — с заблестевшими глазами вымолвил Ефим и, схватив чумазого сероглазого мальчонку, одетого в мамкин шушун и в батькины сапоги, прижал к сердцу. — Родной ты мой стрижанок! Жаворонушка мой!

Из «фабрики» выбежали мастеровые и стеной двинулись на незваных гостей. Но осмелевшие старухи не хотели уходить. Они теперь толпились у развороченного котла и хихикали. Среди них высился старец Пафнутий. Он тыкал посохом в топку и рычал:

— Чуετε, адским смрадом несет! Дьяволице тут!

Мируну было и горько и смешно. Он не растерялся от взрыва, — все было впереди. Его не пугала работа, — таков удел всех пытливых людей. Не сразу Москва забелела, не сразу все в руки дается! Он подошел к отцу, обнял его:

— Не горюй, батя! Свое возьмем!

Перехватив горестный взгляд отца, Мирон вдруг озорно крикнул толпе:

— Эй, люди добрые, спасайся, кто может! Зараз еще тарарахнет!

Мигом все успокоилось, будто вихрь пронесся, прошумел и стих. Озираясь, молчаливо и торопливо убирались со двора кликуши и старцы.

— Эх, тьма египетская в бутылочке! — вдруг улыбнулся Ефим и махнул рукой. — Погоди чуток, наладим машину, и загудит она по чугунным рейкам! Эх, любо-дорого!

Повеселев, он сказал сыну:

— И то слава богу, что живы остались и народ не покалечили!

Усталые и взволнованные, отец и сын прошли в мастерскую. Один за другим от станков стекались к ним мастеровые. Тяжело было старому механику смотреть им в глаза.

— Ну как, братцы, что скажете? — глухо спросил он.

Вперед выбрался слесарь Мокеев, крепыш с густыми темными волосами, забранными под ремешок. Он вытер руки о передник, поднял на Ефима умные глаза.

— А так скажем: давай дальше! Сегодня не вышло — завтра осилим! Поглядим, кто последним возрадуется. Будет и на нашей улице праздник, Ефим Алексеевич!..

В ту самую пору, когда Черепановы обдумывали ладить новый котел, кержаки во главе со скитником Пафнутием отправились к дому механика. С причитаниями, вздохами они шумно ворвались в светлую горенку и обступили Евдокию. Женка побледнела, в отчаянии опустила руки.

— С Ефимом худое сотворилось? Что молчите? — умоляюще спросила она.

Костлявые, желтоликие кержачки исступленно заговорили:

— Жив, жив! Что ему станется, твоему ироду? Бес-то с грохотом убег и железки-подковки свои растерял!

— Бог силен! Не хочет господь губить праведные души! — возвысив голос, изрек старец. — Евдокия, убереги их от напасти! Ведомо тебе, что они бесов тешат! Без покаяния умрут, и душа уйдет прямо в лапы к дьяволу! — Голос его звучал предостерегающе-торжественно, большие свинцовые глаза вдруг зажглись безумием.

— Слушай! Слушай! — закричали кержачки, подталкивая женку к старцу. — Беда грядет от затей Ефима! Птица на лету сгибнет, куры перестанут нестись от сего дьявольского шума и дыма. Отговори строить машину!

— Не трожь! — сурово перебила старух Евдокия. — Не галди! Не базар тут! И ты, отец, не грози карой. Бог и без тебя распорядится! — Она неустрашимо встретила взгляд фанатика. — Не стращай! Черепановский корень не из трухлявых, не сломишь.

— Ты что же, против старца? — зашумели кержачки.

— Молчи! — насупилась Евдокия. — Я в своем доме! Добрые люди без шумства входят в избу соседа, а вы что? Где пристойность? Ведомо вам, женки, что муж есть глава семьи, его и слушать надо!

Старец дрожащими руками теребил бороду, молчал. Евдокия резко сказала:

— Умен мой Ефим, оба с Миронкой к свету тянутся, а вы их в ночь зовете! Стыдитесь!

— Ух, дьяволица, замолчи! Убью посохом, — не утерпел и пригрозил скитник. — Женки, прочь отсюда! Тут дочь вавилонская!..

Он раздвинул толпу и пошел к порогу. За ним, перекликаясь, потянулись женщины.

— Ах, Дуня, и в девках ты озорная была и по сию пору не угомонилась! — укорила старуха с Кержацкого конца. — Ты бы подластилась к Ефиму. Ведь муж...

— Уйди, не терзай меня! — отозвалась Евдокия и ушла за холщовый полог.

Невестки не было дома. Женка всплакнула. Не о том она горевала, что кержачки ругали ее, кручинилась она о другом: выдержат ли муж и сын тяжелые испытания...

Вечером она по-праздничному убрала стол. Садясь за трапезу, Ефим понял, что жена все знает. Она подкладывала сыну лучшие куски, смотрела на него с особой нежностью.

— Ешь, сынок! — В голосе ее разливалась такая сердечная теплота, что Ефим не утерпел и сказал:

— Что же ты нас не ругаешь? А ведь многие не верят в нашу затею! Особо кержаки!

— Кержаки — они всегда так! Строги! — сдержанно ответила она. — А ругать вас ни к чему. Небось на душе мука?

— Мука! — признался старик. — Руки опускаются, мать, когда подумаешь. По совести сказать, пал духом.

— Вот это зря! — с тихим укором отозвалась она. — Ты да Миронка — только и радости у меня. И радость та идет от ваших дел. Подумай, Ефимушка, работенка-то ваша не простая — дивная. Вы у жар-птицы золотое перышко похитить задумали. И в добрый час! А тем огоньком вы озарите темноту нашу: и Кержацкий конец и всех людей. Великая сладость в таком труде, родные мои! Ныне несмышлениши убоялись, а завтра славить будут! Дивный, идущий от сердца труд никогда не пропадет. От него вся наша радость идет!

Речь женки звучала тепло, просилась в душу. Незаметно отходили и таяли под теплым дыханием сочувствия и одобрения все дневные невзгоды и треволения.

— Спасибо, мать, тебе за доброе слово! — дрогнувшим голосом сказал Ефим и взглянул на сына. Миронка улыбнулся, глаза его без слов говорили: «Видишь, какая у нас матушка! Она сама золотое перышко, всякую печаль добрым словом живо смахнет!»

В июне 1834 года повытчик выйской заводской конторы Кирилка Королев в двухседмичной рапортчике доносил Любимову о том, что «вновь строящийся пароходный дилижанец с успешностью отстройкою оканчивается, который уже частовременно в действие пускается, через что успех желаемый показывает, и еще некоторые члены у него перестраиваются, где своих рабочих находилось до 9 человек».

Новый котел Черепановы изготовили с еще большей тщательностью. Мирон несколько раз делал чертежи механизмов, но отец браковал их. Сын не обижался: опыт показал, что котел долго нагревается, а паров дает недостаточно.

— Слабосилен будет! — рассматривая эскиз, говорил сыну Ефим. — Тут надо так, чтобы котел быстро нагревался и топлива шло помене. А главное, чтобы паров — могучая сила!

Вместе с Мироном они долго разглядывали поврежденную топку. Снова водрузили сверженную трубу на старое место. Жгли горючее и наблюдали, что творится в топке. Жар вместе с дымом быстро уносило в трубу.

— Видишь! — показал сыну Ефим. — Небушко отапливаем, а паров нет.

Много ночей не спали они. Черепановым казалось, что вот догадка где-то близко, но пока она ускользала от них. Отцветала весна. Отшумели талые воды. Леса наполнились буйною жизнью, ликованием. Брачная пора была в полном разгаре, парами собирались звери, птицы, отгуляла-отметала икру рыба в холодных горных речках. По ночам из-за крутогорья вставал такой ясный месяц, что все казалось облитым золотым сиянием.

Отбушевал май, подошел июнь. Мирон томился от бессонницы. Он вышел на крылечко подышать ночной прохладой. На дворе лежали густые тени от заборов, кустов и строений. В зеленом потоке лунного света пробежала кошка с фосфорическими глазами. Тишина плыла над горами, лесами, прудом, над Тагилом. Вдали на горизонте вспыхивали зарницы, где-то за горами гремела гроза. Там сейчас со скал низвергались бушующие потоки, шумели вековые боры, и темное небо из края в край озаряли зигзаги молний...

«Зигзагами, зигзагами, а если?..» — Внезапная догадка осенила Мирона. Он вскочил и заходил по двору. Мозг лихорадочно работал.

До чего же все просто! И как только он раньше не догадался? Надо увеличить число дымогарных трубок, и тогда... тогда тепло не убежит сразу в трубу, пары станут возникать быстрее, будут уплотняться и набирать силу.

Он тихо прошел в избу и разбудил отца. Ефим в одном белье, крадучись, вышел во двор. Отец встревоженно посмотрел на сына:

— Опять что случилось?

— Надумал, батя, как добыть скорее пар. Вот, гляди сюда!

Стоя среди двора, на залитой лунным светом площадке, Мирон стал рисовать на земле схему парообразовательных трубок.

— А сколько? — тихо спросил отец и, присев, стал рассматривать рисунок.

— Это как дело покажет! — отозвался Мирон.

Оба на четвереньках ползали по двору. Бородатый Ефим походил на ребенка, занятого увлекательной игрой. Он то пригибался к земле, разглядывая чертеж, то приглушенно спорил с сыном. Мирон суетился, рисуя чертеж на земле...

Они и не заметили, как на крылечко вышла Евдокия, покрытая стареньким салопом. Она долго молча смотрела на странную игру.

— Что вы тут робите? Сдурели и старый и малый! — с укоришной сказала она.

Ефим проворно вскочил и смущенно отозвался:

— На ветерок вышли да залюбовались. Месяц-то какой! Посеребрил все...

Она покачала головой:

— Шли бы лучше спать! Дня для вас мало. Все спорки да работа, и умирать некогда будет!

— А мы умирать и не собираемся; жить будем да радоваться! — весело ответил Ефим. — Иди, матка, мы сейчас...

Ночь прошла в раздумье. Хотелось скорее начать в мастерской работу. И как только месяц закатился за гребни гор, а на востоке заалела заря, Ефим появился у постели сына:

— Поспешим, Миронка!

По дворам на Гальянке и в Кержацком конце голосисто кричали петухи. Над прудом тянулись белесые космы тумана, веяло прохладой. В мастерской еще никого не было, а Черепановы уже принялись за работу.

День за днем они трудились над конструкцией парового котла и добились своего. Они увеличили число дымогарных трубок до восьмидесяти. Котел поставили на раму, подвели колеса.

Мастеровые залюбовались новой машиной. Ее поставили на колесопроводы среди двора, и «сухопутный пароход» ждал испытаний.

Был он более двух аршин длиною. Под котлом, обшитым деревом, диаметром около полутора аршин, располагались два цилиндра паровой машины, действующей на колеса. Надо всей этой конструкцией спереди возвышалась непомерно высокая труба, а позади на площадке — место для машиниста. Когда Черепанов становился на площадку, он на полтуловища возвышался над котлом, так что видел и машину и путь перед ней...

«Сухопутный пароход» не походил на «Ракету» Стефенсона и превосходил ее по силе. Но вот беда: «пароходка» двигалась только вперед! А как пустить ее обратным ходом? Снова начались муки, снова отец и сын часами присматривались к механизмам.

«Что двигает? Пар. Выходит, надо заставить пар идти в другую сторону, и тогда колеса побегут назад!» — раздумывал Мирон.

Он долго возился над приспособлениями, пока не добился своего. В августе «сухопутный пароход» стоял среди двора под ярким солнцем и ждал пути.

В двухседмичной рапортичке о работах по Тагильскому заводу сообщалось:

«Пароходный дилижанец отстройкою совершенно окончен, а для ходу оно строится чугунная дорога, и для сохранения дилижанца отстраивается деревянный сарай».

Черепановы ждали подвоза с Верхнесалдинского завода чугунных реек, чтобы начать возведение дороги к руднику. Тем временем они испытали машину и обучали молодых механиков управлять ею.

Этой порой в Нижний Тагил прибыл странствующий профессор, инженер венского политехнического института Франц Антон Риттер фон Герстнер. Он побывал в Казани, проехал на Урал, посетил Белорецкие заводы, Златоуст, Кыштым и добрался до демидовского горного гнезда. Иноземец интересовался литьем металла, рудной добычей, но, прослышав от Любимова об изобретении Черепановых, упросил управляющего допустить к осмотру «пароходного дилижанца». Любимов поколебался, помялся, но согласился. В

сопровождении приказчика Шептаева они отправились пешком к черепановской «фабрике».

Высокий, худой австриец журавлем вышагивал по полю, щурил близорукие глаза, поминутно утирал пот и жаловался:

— Сибирь — холодная страна, а почему летом тут такой жара!

— Так уж самим господом заведено, — подняв хитренькое лисье лицо, ответил Шептаев. — По русскому, значит, вкусу — в полной мере. У нас зима — так по-доброму зима: мороз трескучий, бодрый, кровь жжет, лицо румянит! Опять же и снега, батюшка, как перины пуховые! Ну, а летом, что верно, то верно, — жара! И то весьма хорошо. По русской пословице, пар костей не ломит. Вот и выходит: живем здорово и крепко!

Любимов строго посмотрел на приказчика, и тот умолк.

— Пожалуйте по сей дорожке, мимо березок, вон к тому забору! Там и машина! — любезно показал управляющий.

Герстнер хорошо понимал по-русски, но говорил с акцентом.

Черепановы издали заметили Любимова и вышагивающего рядом с ним долговязого человека.

— Батя, к нам идут! — крикнул Мирон.

— Ну и пусть идут! — спокойно отозвался Ефим, продолжая работать.

Во дворик вошли управляющий и Герстнер. Любимов шумно поздоровался:

— Здорово, хлопотунчики! Вот ученого привел, делами вашими он заинтересовался.

— Милости просим, — сдержанно поклонился Черепанов.

Австриец с любопытством разглядывал механиков. По виду — простые мастеровые, в кожаных запонах, в козловых сапогах, без шапок, но волосы аккуратно сложены под ремешок. Оба коренастые, рубахи на мускулистых грубых руках закатаны до локтей.

— Господин Герстнер из Вены прибыл, полюбопытствовал! — заскочил вперед Шептаев. — Покажи-ка свое рукоделие!

Отец и сын переглянулись. Мирону вспомнилось путешествие в Англию, где его не допускали и близко к машинам. Ефим нахмурился.

— Что ж, можно, — сухо ответил он. — Машина вся перед вами, любуйтесь!

Бывалый Ефим быстро понял, что иностранец хорошо разбирается в механике, и беспокойство за судьбу своего изобретения овладело им. Однако он и виду не подал, а взобрался на площадочку для машиниста и показал действие «сухопутного парохода».

Герстнер, изумленный, стоял перед машиной.

— Можно взглянуть чертеж? — заискивающе посмотрел он на управляющего.

— А мы без чертежей робили! — отрезал Черепанов.

— То есть как? — удивленно уставился на механиков иностранец.

— А так, вот этими руками, — сурово пояснил Ефим. — Чертежам мы не обучены. Мы во все домыслом доходили, что к чему.

— Не может этого быть! — еще более удивился Герстнер. Он подошел к машине и стал внимательно ее разглядывать.

Сняв перчатки, он ощупал каждую деталь. Улыбка не сходила с его лица; он заглянул и в топку, в которой ослепительно сверкал раскаленный уголь.

Время от времени он отрывался от машины и задавал вопросы.

— Вот у меня главный мастер! — показал глазами на Мирона отец.

Мирон простодушно почесал затылок.

— Да я, батюшка, не мастак говорить, — простецки сказал он.

Герстнер насквозь видел этого с виду простоватого, но умного и сдержанного мастерового. Он спросил Мирона:

— Сколько лошадиных сил ваша машина?

— А так полагаем, если ко времени повозки для руды подспеют, всю ушковскую конницу заменим! — уверенно ответил молодой Черепанов, и в серых глазах его заиграли веселые огоньки.

— Что такой есть ушковская конница? Единица меры? — изумленно уставился Герстнер. — Сила давлений пара на квадратный дюйм внутри котла? — хлопая ладонью по тесовой обшивке, поинтересовался иностранец.

— Вот этого не могу знать! — развел руками Мирон. — До этого не додумались!

Герстнер пожал плечами. Он насмешливо посмотрел на Любимова и спросил:

— Ви пробоваль этот сухопутный дилижанс?

— Колесопроводы еще не подоспели, — угодливо ответил управляющий. — Но так думаю, все будет хорошо!

— Не знаю. Полагаю, машина эта не потащит груз. Чугунная дорога — хорошее дело, но по ней надо лошадь пускать! Это очень выгодно. Молодой человек сказал, заменит конницу, но зачем и к чему? — спросил Герстнер.

Он слез с площадочки, вытер о белый платок руки. Кое-что он угадал в устройстве машины, но самое главное — мощность ее осталась невыясненной. Профессор догадывался, что молодой крепостной механик не такой простака, каким он прикидывается.

— Ви и ваш папаша — чудесный мастер! — покровительственно похлопал он по плечу Мирона. — Кое-что тут есть, но сомневаюсь, что паровой дилижанс будет столь полезен: он не сможет тащить груз! — Он улыбнулся холодной улыбкой и любезно предложил Любимову: — Можно возвращаться!

Управляющий засуетился и, показывая на подоспевший экипаж, предложил:

— По жаре ходить тяжело. Разрешите довести.

Герстнер забрался в экипаж, Любимов сел рядом. Приказчик Шептаев остался на «фабрике». Иностранец учтиво махнул Черепановым шляпой, и коляска скрылась в облаке пыли.

— Ты что-то не в духе, Ефим Алексеевич! — недовольно заговорил приказчик. — Немного немца обидел, и про господ Демидовых доброго слова не сказал. А подумай, чьим иждивением и по чьей мысли сей дилижанец устроен? Рвением и волею господ Демидовых. Что ж ты опростоволосился — даже чертежей не показал!

— Отстань! — сердито оборвал его Черепанов. — Не тебе судить меня!

Он круто отвернулся и пошел в мастерскую. Шептаев покрутил головой.

— Скажи, какой строптивый! Ну, погоди, мы тебя еще обротаем! — Он хмуро посмотрел на Мирона и поплелся вслед за коляской...

На уральских заводах издавна повелось: каждая рабочая семья имела коровенку и покосы. В Нижнем Тагиле так пестовали и

приучали к суровому краю свою кормилицу, что за долгие годы вывели невиданную на Камне, выносливую, непривередливую породу. Коровы-тагилки на всем Урале славны. Когда наступала сенокосная пора, приходил долгожданный праздник: работа на заводе останавливалась на месяц-полтора, и все от мала до велика переселялись на покосы. В поемных и лесных лугах строились балаганы, шалаши, и начиналась страда. И как легко и привольно дышалось в лугах после дымного завода! От зари до зари в лугах раздавались оживленные голоса, песни, смех. Только совсем дряхлые старики да старухи оставались на печи, все живое тянулось на покосы. Никакими силами не удержать было в эту пору тагильца в полутемном цехе и в угрюмом забое!

Черепановым пришлось все забыть: у них наступила своя страдная пора. К середине августа на выйский пустырь подвезли смолистые шпалы, а с Верхне-Салдинского завода доставили чугунные рейки. Под навесом стояли готовые фургончики для перевозки руды. В дни, когда в пойме Тагилки-реки звенела коса, на поле раздались другие звуки: копачи ровняли трассу и укладывали сосновые пластины плотно к земле, а на них тянули колесопроводы, прикрепляя их к дереву коваными гвоздями. Чугунные, грибообразные в разрезе рейки, отлитые по образцу фроловских, выглядели массивно и радовали душу Черепанова.

«Вот она, путь-дорожка! — восхищенно думал он. — Дождались-таки!»

Мирон работал с рвением. По его лицу струился пот. Солнце нещадно жгло землю, раскаленный воздух реял над полем, и все предметы принимали в нем зыбкие очертания. Провешенная линия протяженностью в четыреста сажен уходила вдаль, вешки расплывались в горячем воздушном потоке.

Однажды к полдню из-за горы Высокой выползла черная туча, блеснули молнии и загрохотал гром. По равнине пробежал порывистый ветер, поднял воронки пыли и, кружа их, понес вдоль трассы. Вслед за этим на горячую землю упали первые тяжелые капли дождя. Они запрыгали, как ртутные шарики, обволакиваясь песком. Дохнуло свежестью, и скоро набежали споркие косые струйки дождя.

Давно не было такой грозы. Гремело всюду: в горах, в борах и на потемневшем пруду. Гудела земля, под вихревым напором шумели и

скрипели деревья, но звонче всего гудели проложенные рейки.

Беспрестанно сверкали молнии, гремел гром, — казалось, земля раскалывается на части.

Глядя на увлеченных работой Черепановых, никто не ушел с дорожки. Ливень не в состоянии был прогнать людей. Мокрые, возбужденные, они укладывали шпалы.

Постепенно уползла туча, вслед за нею над полем пронеслись последние косые потоки дождя. И, как бы на прощанье, от края до края горизонта ослепительно блеснула зигзагообразная молния, ударил и рассыпался гром. Чудовищной невидимой силой разбросало по полю сложенные чугунные колесопроводы, и гроза, как укрощенный зверь, стихая, смолкла в горах...

Дождь утих, брызнули солнечные лучи над заводским прудом; упираясь одним концом в заливные луга, а другим — в Кержацкий посад, засверкала радуга. Запели птицы, повеселели травы, заблестела изумрудами близкая березовая роща.

Шлепая по лужам босыми ногами, через поле бежали женщины и ребяташки.

— Против бога пошли! Гляди, как шибануло! — кричали кержачки.

Никто на них не оглянулся, каждый делал свое дело. Ефим еще старательнее забивал гвозди, легонько позванивали рейки. Мокрый и веселый Мирон, завидя старух, вскочил и закричал озорно:

— Чего раскричались, милые! Это господь бог послал с небес кузнеца для прокладки колесопроводов. Чуюли?

Морщинистая, сгорбленная бабушка с клюкой в руке постучала по рейке, уселась рядом на шпалы и горько заплакала.

— Чего ты, голубушка? — ласково, не злобясь, спросил Ефим.

Она взглянула на механика зоркими глазами и, улыбаясь сквозь слезы, призналась:

— Сама вот не знаю, как быть: то ли радоваться, то ли плакать?

— А ты и поплачь и порадуйся за всех нас! — посоветовал Мирон.

— И то верно! — согласилась старуха. — Приходил с покосов Ушков, все страшал: «Гляди, через поле змей пойдет!» А как шибануло, ну и подумала я: рассказал господь грешников. Ан нет!

Целехоньки! Выходит, для прилику поворчал и смилостивился. Ну как тут быть?

Она подперла щеку костлявой рукой и умильно посмотрела на Ефима:

— Эх, и постарел ты, Алексеич! Гляди, паутинки в бородушке засветились. Господи, как скоро времечко летит, словно красное летечко проходит... А ты не сердись, мы ведь бабы. Что наставник скажет, ту погудку и тянем! — сказала она добродушно. — Скоро ли твой змей-горыныч за рудой полетит?

— Теперь скоро! — миролюбиво ответил Черепанов.

Солнце снова жарко пригревало, от одежды валил пар. Мирон с размаху ударил по рейке и засмеялся:

— Поет, чугунная душа! Радуется!

Воздух стал чист и прозрачен. Постепенно угасла радуга. Только кудрявые березки все еще сверкали крупными каплями влаги. Бодро и хорошо работалось...

Аккуратный повытчик выйской конторы в очередной двухседмиче сообщал в Нижний Тагил: «Прочие постройки по случаю страдного времени все остановлены, кроме как некоторые переправки происходят у пароходного дилижанца, и строится для оногo чугунная дорога по Выйскому полю, где и обращается рабочих своих до 26 человек».

«Сухопутный пароход» был построен. Он стоял среди двора за высоким забором. Возвышалась длинная труба, сверкали бронзовые части. Отец и сын много раз проверяли, осматривали его и целыми часами любовались своим детищем. Исполнилась их мечта! Много мучительных дней, беспокойных терзаний осталось позади, однако и сейчас Черепановых не покидала тревога. Отец и сын скрывали ее друг от друга: машина ждала последнего испытания. Отец волновался главным образом за сына.

«Пойдет она, волю принесет Мирону! Ему еще много жить и работать!» — с надеждой думал Ефим Алексеевич.

В последнюю ночь перед испытанием он не сомкнул глаз, ворочаясь, все думал о «сухопутном пароходе». В глухую полночь,

когда все уснули, старый механик неслышно поднялся с постели, быстро оделся и босой вышел из домика.

Стояла ясная сентябрьская ночь. Над Тагилом сиял месяц, в старом демидовском парке, залитом призрачным светом, тихо шелестели деревья. С гор лился свежий ветер, а в низинах клубился туман. Черепанов медленно побрел по улице.

В темном небе мигали частые звезды. Осень напоминала о себе: то зашуршит под ногами палый лист, то обдаст холодной крупной росой задетый кустик. Тихо. Только на Гальянке в низеньких оконцах мельтешат три огонька да лениво перебрехиваются псы. Темным шатром впереди возвышается гора Высокая.

Сердце застучало учащенно: вот и забор, а за ним — машина! Ефим Алексеевич бесшумно подходит к воротам и, томясь, молчаливо стоит перед ними. Он вглядывается в щель, видит залитый лунным светом двор, посреди которого, опершись на палку, стоит старый дед Потап. Опустив голову в бараньей шапке, он добродушно разговаривает с кудлатым псом.

— Ты да я, старина, — две живые твари тут! — глухо рассуждает старик. — А кто в трубе сидит, и не разберешь: может, бес, а может, разум?

Пес Лохматка повизгивает, трется о ноги старика. Ветер проносит облачко, на мгновение закрывает месяц, а затем снова все сияет: росистые травы, лужи с водой, заводский пруд. Но приятнее всего, изумительнее всего кажется Ефиму убегающая в зеленую дымку чугунная дорога. Завтра по ней пойдет «сухопутный пароход».

А сердце колотится сильнее. Знает Ефим Алексеевич, что все добротнo сделано, все пригнано и много раз испытано, но тревожные мысли не дают покоя.

Дед Потап зевает и говорит псу:

— Большой разум имеет рабочий человек! Он и горы рушит и диво-дивное творит. Эх, Лохматка, оберегаем мы с тобой, может быть, такое, от чего простому человеку светлее станет жить!..

Пес вдруг почуял человека и разразился хриплым лаем. Старик встрепенулся и закричал:

— Эй, кто тут бродит? Проходи дале, штрелять буду!

— Дед, открой-ка! — отозвался Черепанов.

Собака пуще залаяла. Сторож засуетился, подошел к воротам и брякнул запором.

— Проходи, проходи! — ласково позвал он механика. — Ты что ж, Ефим Алексеевич, полуночничаеть?

— Не спится, дед. Тревожно на душе! — признался механик.

— Сам понимаю, милоч. Дело такое, чуешь, выходит: на всю Расею, на весь свет чудо откроешь. Я и сам чуток не в себе. Дивно! Ну, иди, иди, погляди на свое детище!

Чтобы не смущать Черепанова, он отошел к воротам, присел на скамью и стал заправлять трубку. Потянуло махорочным дымком, дед крякнул и задумался.

Ефим Алексеевич долго ходил вокруг своей машины, всматривался в нее, улыбался и ласково гладил металл шершавой рукой. «Пароходка» казалась ему живым существом, частью его души, и, если бы поблизости не сидел дед Потап, Черепанов непременно сказал бы ей два-три хороших слова. Он поднялся на площадку машиниста, погладил отливающие синевой стальные рукоятки и не удержался, прошептал:

— Эх, сивка-бурка, вещая каурка, выручай!..

Старик выкурил трубку, подошел к Черепанову:

— Все не налюбуеться, все еще тревожишь, Ефим Алексеевич? Это, милоч, хорошо, очень хорошо, когда человек тревогу на душе за дело свое носит!.. Иди-ка ты спать, завтра ведь день какой! — напомнил он. — Вишь, стоит, словно сил набирается! — кивнул он в сторону машины. — Эх ты, змей-горыныч! — добродушно сказал он.

Оба они еще долго стояли и любовались «сухопутным пароходом».

— Ну, иди, иди! — заторопил старик механика. — Иди, усни чуток!

Черепанов тихо побрел к дому. Все так же ярко светила луна. Он осторожно скрипнул калиткой, и навстречу ему с крылечка поднялся сын. Отец слегка смутился, но сказал ласково:

— Ну, Миронушка, готовься, завтра поведешь пароходку!

— Нет, батя, машину вести тебе! — сердечно отозвался сын и проникновенно посмотрел в отцовские глаза; он без раздумья уступал честь отцу.

— Не спорь, сынок! — перебил шепотом Ефим Алексеевич и посмотрел на оконца: «Не проснулась бы ненароком старуха!»

Мирон догадался о тревоге отца и сказал тихо:

— Ты думаешь, она спит? Да матушка больше нашего тревожится, только виду не подает. Батя, повесели ты материнское сердце, веди сам машину!

Отец тихо вздохнул и стал подниматься на крылечко.

— Эх, ночка ясная! — вдохновенно прошептал он и скрылся в сенцах.

Мирон тихо пошел за отцом. Словно заговорщики, они неслышно разделись в потемках и улеглись.

Пропели первые петухи, предвестники утра, а старый механик все еще не спал. В оконца зеленовато-мутным потоком вливался лунный свет и растекался по дорожке.

Распахнулись настежь ворота, и прямо от них стрелой уходила чугунная дорога. У навеса стоял, дымясь и шумно вздыхая курчавым паром, «сухопутный пароход». Вдоль колесопроводов колыхалась шумная пестрая толпа, в которой суетились не только свои, демидовские, но и пришлые люди из окрестных заводов и горных селений. Прибтели серые, мхом поросшие старики. Из дальних скитов кержаки привезли старицу Марфу. У коновязей позванивали бубенцами кони, выстроились в ряд экипажи, бегунчики, таратайки, — все заводские конторы опустели. Управляющие, приказчики, повытчики, полицейчики во главе со становым, усатым, заплывшим жиром Львовым толкались у машины. Ждали появления Александра Акинфиевича Любимова.

На дорогу, которая тянулась рядом с чугункой, высоко неся голову, оглашая поля ржанием, вымахнул запряженный в легкий тарантас серый в яблоках жеребец: кожа на нем отливала серебром. В тарантасе в синей поддевке и в картузе важно сидел Климентий Ушков. Вытянув длинные руки, он придерживал иноходца. В толпе залюбовались ушковским выездом.

— Огонь-конь! — хвалили опытные коногоны серого. — Притчей и легче его нет на всем белом свете!

А Ушков все больше горячил лихого. Конь дугой выгибал лебединую шею, высоко выбрасывал ноги, гарцевал. В толпе женок с Кержацкого конца с умилением глядели на породистое животное:

— Святая скотинка!..

— На таком сам Егорий небось скакал...

— Ах, батюшки, резвый бегунок!

Среди женок выделялась сухая высокая старица Марфа. Она держала в руках что-то, накрытое белым рядном. Сурово сжав тонкие губы, скитница мрачно смотрела вдоль чугунной дороги...

Мирон стоял на площадке машиниста. Отец и мастеровые держались подле фургонов, прицепленных к машине.

Солнце поднялось высоко, когда на дорожке за клубилась пыль и показался экипаж управляющего.

— Едет, едет! — загомонили в толпе.

Все пришло в движение. Толпа растянулась вдоль пути. Засуетились полицейщики. К Черепанову подбежал становой и предупредил густым голосом:

— Так и знай, перво-наперво своих мастеровых повезешь! Других не дозволю. Не до-пу-щу!

— Ладно, будет по-вашему, — спокойно ответил Ефим и крикнул деду Потапу: — А ну-ка, служивый, оповести народ!

Сторож с флажком в руке и егерским рожком в другой важно откликнулся:

— Будет сполнено, Алексеич, в точности!

Он вышел в распахнутые ворота и зашагал по шпалам. Старик торжественно размахивал флажком и время от времени трубил в рожок.

— Стерегись, братцы, сейчас помчит! Сторонись! — просил он мужиков и женок. — Наш конь такой, без удил бежит. Не дай бог, потопчет! — шутил он и зорко поглядывал на колесопроводы, все ли на месте. От его хозяйского взгляда ничто не ускользало. Ровно, спокойно, словно темные змейки, отливая синью, тянулись рейки.

Дед Потап, поторапливаясь, утирая пот, прошел до тупичка и повернул обратно. На дорожке навстречу ему, играя и резвясь, шел ушковский иноходец. Климентий Константинович выпучил на сторожа серые глаза и рассмеялся в лицо старику:

— Ты что, как архангел, трубишь? Не надеешься на черепановское диво?

Дед хитро прищурил правый глаз, стрельнул взглядом и прокричал:

— Отпеваю отходную твоей коннице!

Ух, и жиганул бы его Ушков кнутом, если бы не волновалось кругом людское море! Только и крикнул вдогонку вестнику:

— Счастье твое, старый снегирь, что народу много!

Дед лихо подошел к воротам и махнул рукой:

— Айда, давай!

Любимов с дочкой Глашенькой уже стоял у машины. Завидя Потапа, он улыбнулся.

— Гляди, какой шустрый! Без деда пропадать тебе, Ефим Алексеевич! — с легкой шуткой сказал он и вытащил белый платок. — Ну что ж, господа механики, покажите-ка нам свое чудо-юдо!

Он взмахнул платочком.

Слесари, плотники, мастерки — все живо повлезали в фургончик и закричали:

— Подбавь жару!

Мирон подбросил угля в топку. Дымок из трубы стал гуще. Дохнуло белым облачком пара, и вдруг засвистел гудок, воя и переливаясь всеми оттенками своего сильного, певучего голоса. И так радостно было это пробуждение новой могучей силы!

Многие перекрестились. Снял шапку и Любимов, а за ним приказчики и все служащие.

— Вот оно как! До чего силен! — радостно выкрикнул дед Потап и весь засиял.

— В добрый путь, Мирон Ефимович! — напутствовал механика управитель завода.

«Сухопутный пароход» вздрогнул, двинулся с места и плавно полегоньку покатился по чугунным рейкам. Чем дальше отходил он от мастерской, тем быстрее набирал силу, ускоряя ход.

— Ура-а! — загремело в толпе. Мастерки, горщики, литейщики, конононы замахали шапками. — Ур-р-а-а! — радостно кричали они, пытаясь бежать за машиной. Но она все быстрее и быстрее уходила вперед. Над полем потянулся дымок, искры сыпались словно из пасти

сказочного чудовища, а Мирон для большего шика еще раз два дал пронзительный свисток, который подхватили горные дали.

— Змей! Змей-горыныч! — заголосили бабы из Кержацкого конца и вытолкали на дорогу скитницу Марфу. Она сбросила белую холстинку и с иконой на груди стала посреди колесопроводов. Мрачными, непреклонными глазами смотрела скитница на приближающееся к ней чудовище.

— Свят, свят! Сгинь, сатана! — истоиво крестилась она.

А-машина, распуская хлопья редкого пара, гудя, мчалась вперед. Вот она близко, совсем рядом. И дрогнуло сердце суровой скитницы, словно ветром ее сдуло с полотна дорожки. Она со страхом отступила перед новой, побеждающей силой.

Другие старцы взяли из ее рук икону и, поддерживая скитницу под локотки, повели прочь.

Мирон держался спокойно, уверенно, прислушиваясь к ровному дыханию машины. Позади вдруг закричали в толпе. Он покосился и увидел: по дорожке вдоль трассы горячил своего серого Ушков. Он рвал вожжи, визжал, с удил жеребца падала кровавая пена.

— И-и-и! — донесся до Мирона пронзительный, надрывный крик.

Механик не повернул головы, перевел рычаг, и послушная машина пошла так, что в ушах засвистел ветер. Крик позади смолк.

Замедляя перед тупичком ход, Черепанов оглянулся, — там вдали, опустив голову, ехал Ушков...

Когда механик дал задний ход, машина пошла так же плавно и ровно. Каждое движение хозяина она исполняла точно и скоро.

Поравнявшись снова с Ушковым, Мирон не рискнул его окликнуть, — жалко было тревожить старика. Но Климентий Константинович сам окликнул механика:

— Поздравляю с победой! Будь здрав, Мирон Ефимович! — И, печально опустив голову, подумал:

«Да, видать, другие времена пошли! И новые денечки требуют иных песен!»

«Сухопутный пароход» тихо вошел в ворота и стал на исходном месте. На сей раз в фургончик усадили управляющего с дочкой, забрались приказчики, старики и сам становой. На площадку машиниста поднялся Ефим.

У всех захолонуло сердце, когда машина тронулась; она шла ровно, ритмично постукивая колесами о чугунные рейки. Клубился парок, вдоль полотна размахивали платками, кричали что-то веселое. Глаза у Глашеньки заблестели, лицо разругнилось. Она прижалась к отцу и прошептала:

— Как хорошо, батюшка!

Отец думал о другом, — что дешевле: сей дилижанс или конница Ушкова?

Допоздна Черепановы катали народ. И только когда над лесом стал погасать вечерний закат, Ефим вспомнил про жену и позвал ее на машину.

— Прости! — огорченно проговорил он. — Сколько трепета на сердце было...

— Сама знаю! — тихо отозвалась она и проворно полезла в фургончик. Сердце ее ликовало.

Замерцали первые звезды. Народ нехотя расходился. Навсегда ему запомнился этот день. И как его забыть, когда в этот день в России появилась железная дорога — Тагильская, по которой побежал первый русский паровоз! Черепановы не знали, что в эту самую пору на западе, за границей спорили о целесообразности построения подобных дорог. Доминик-Франсуа Араго, знаменитый французский физик, астроном и политический деятель, высмеивал передовых людей, «которые думают, что два параллельно положенных железных прута могут преобразить гасконские равнины...»

От Уральских гор до гасконских равнин Франции далеко-далеко, и высмеивания французского ученого не дошли до России. А если бы и дошли, то все равно не помешали бы замыслам Черепановых. Слишком велика была их вера в свои силы. Непреодолимым препятствием к осуществлению мечты их стало другое — царская, николаевская Россия.

В то время когда отец и сын Черепановы пустили по Тагильской железной дороге второй, более мощный «сухопутный пароход», в Санкт-Петербург возвратился из путешествия по России профессор Франц Антон фон Герстнер. Он остановился в отеле «Кулон», сняв три прилично меблированные комнаты, и уселся за работу. Об этом немедленно стало известно демидовскому управителю Данилову. Прошел месяц с тех пор, как Павел Данилович получил секретную эстафету о посещении иностранцем Нижне-Тагильского завода; он давно поджидал его, догадываясь, что неспроста фон Герстнер заглянул в горное гнездо хозяев и не зря он обозревал черепановское изобретение. Только профессор переступил порог отеля, тотчас появился слуга — разбитной малый, секретный соглядатай, нанятый Даниловым.

Каждое утро он приходил в кабинет Павла Даниловича и, плотно закрыв за собою дверь, почтительно ждал вопросов.

Угрюмый грузный старик не сразу накидывался на доморощенного сыщика. Он медлил, выдерживал его долго в томительном ожидании, и лишь после частых и выразительных покашливаний слуги управляющий нехотя поднимал голову.

— Ну, сказывай! — строго приказал старик.

— Сидит и пишет. Всю ночь огонь горит! — таинственно сообщал соглядатай.

— Все пишет? — удивленно спрашивал Данилов.

— С утра пишет. Рвет и опять строчит, как приказна строка!

— И о чем бы ему, проклятому, писать? — прищуриив свинцовые глаза, допытывался Павел Данилович.

— Слушок есть: царю пишет о чугунной дороге!

— Ух, бес! — побагровев, сердито сжал кулаки управитель. — Я так и знал! А ну, иди, иди! Смотри, глаз не своди! Получай для вручения коридорному! — Данилов, кряхтя, вынул серебряный рубль и отдал соглядатаю.

Холоп тихохонько удалился за дверь, а старик вскочил и забегал по кабинету.

«Обойдут! Ой, обойдут! — хватаясь за голову, со злостью думал он. — Неужто без нас все сотворится?»

Ему хотелось забить тревогу и обо всем написать демидовским наследникам, но опытный, лукавый управитель знал, что из этого ничего не выйдет, — не понять молодым Демидовым его беспокойства! И не то в ярость приводило Данилова, что иностранец опередит русских. Злобило сознание, что барыши уходят из рук.

«Эх, жил бы Никита Акинфиевич, он бы показал этому немецкому шаромыжнику! Непременно добрался бы до самого государя. Глядишь, и хозяин не в убытке, и мы, его слуги, не в обиде, — погрели бы слегка руки! Ах, бес! Ах, идолице!» — в большом расстройстве хлопал себя по ляжкам старик.

И хотя это было весьма хлопотно и накладно, но решил он не спускать зорких глаз с иноземца.

Герстнер и в самом деле не думал покидать российскую столицу. Закрывшись в кабинете, он писал доклад императору Николаю о железных дорогах. С тактом, но напористо профессор доказывал царю выгоду постройки рельсовой дороги от Казани до Москвы, а затем и дальше, до самого Санкт-Петербурга. Это будет величайшая железная дорога во всем мире. По ней легко и быстро можно будет перевозить хлеб в столицу из плодородных приволжских краев!

Хитрый, ловкий, образованный, он быстро соображал и разбирался в обстановке. Но на этот раз Герстнер был в большом затруднении, нервничал и часто рвал написанное. Он столько наслышался о русском царе, о его холодных, леденящих глазах, что перо валилось из рук и по спине пробегал холодок. Про царя рассказывали, что, когда граф Пален доложил о тайном переходе двух евреев-контрабандистов через границу, реку Прут, и потребовал им смертной казни, император написал: «Винных прогнать по „зеленой улице“, сквозь тысячу человек двенадцать раз. Слава богу, смертной казни у нас нет, и не мне ее вводить».

В поисках счастья Герстнер объездил много стран: Англию, Францию, Швейцарию, Бельгию. Везде счастье, как синяя птица, улетало от него. Ему посоветовали отправиться в далекую Россию, где многие немцы хорошо устраивали свою судьбу. Он поспешил сюда и на лошадях объехал тысячеверстные пространства, приглядываясь к русским людям и к их жизни. Франц Антон Герстнер твердо решил

урвать свою долю добычи в этой стране, сильно поразившей его бескрайними просторами и неисчерпаемыми богатствами. Ему, выходцу из маленькой Богемии, все здесь было в диковинку. Он приехал в Россию без определенных проектов и совсем был далек от мысли о чугунных дорогах. Но вот на Урале, где он думал познакомиться только с рудами и заводами, в небольшом горном городке он увидел чудо. Простой русский мастеровой, плохо знающий грамоту, соорудил паровоз, и этот двигатель совсем не походил ни на «Ракету» Стефенсона, ни на другие виденные Герстнером двигатели.

«Чугунная дорога — вот что должно принести мне удачу!» — разглядывая черепановское изобретение, решил он.

С этой поры им овладела неотвязная мысль взяться за постройку подобных дорог в России. На первых порах он не мечтал о паровозах и в своем проекте удовлетворялся конной тягой. А паровозы, паровозы... Впрочем, покажет будущее!

Сейчас Франц Антон Герстнер целыми часами расхаживал по комнатам. Он прекрасно понимал, что самый убедительный проект останется бесплодным, если у искателя не найдутся влиятельные защитники. Тем более дела с русским царем при неудаче опасны.

Как-то в одном семействе ему рассказали, что владелец русских стекольных заводов Сергей Мальцев недавно посетил Англию и, конечно, воспользовался случаем, чтобы прокатиться по железной дороге из Ливерпуля в Манчестер. Русскому заводчику так понравилось удобное путешествие, воочию убедившее в пользе подобного предприятия, что по возвращении на родину он не замедлил написать царю докладную записку с подробным проектом о построении дороги в России. Николай прочел записку Мальцева, обозвал в сердцах автора проекта сумасбродом и, по виду в шуточной форме, а на самом деле еле сдерживая гнев, предложил министру финансов Канкрину отправить прожектера в сумасшедший дом. Конечно, купцу все сошло безнаказанно. Другое может случиться, если он, Герстнер, безродный скиталец, обратится к царю...

На время оставив проекты, профессор вдруг стал частым гостем немецкой колонии. Здесь ему удалось познакомиться и сойтись поближе с австрийским послом бароном Фикельмоном. В один из дней почтенный посол пригласил Герстнера к себе на обед. Гость не

замедлил воспользоваться случаем. Улучив удобную минутку, он рассказал о своих замыслах барону.

После сытного обеда они сидели в уютном хозяйском кабинете. Посол явно был в хорошем настроении, беспрерывно дымил сигарой и щурил свои близорукие глаза на профессора.

— Вы задумали необычное дело! — с нескрываемым доброжелательством говорил барон. — Как соотечественник ваш, я должен дать вам некоторый совет.

Он ближе пододвинулся к Герстнеру, пустил волну пахучего дыма и сказал тихо:

— В нашем деле все зависит от царя. Я хочу сообщить вам кое-что о его характере. Это играет большую роль, и вы должны учесть все обстоятельства в своем поведении. Русский царь весьма любит умную, вовремя поднесенную лесть. Не забывайте этого, мой добрый соотечественник, и будьте как можно более приятным!

Профессор угодливо склонил голову. Всем своим покорным видом он выражал высокое уважение к послу, что очень понравилось последнему. Между тем хозяин продолжал:

— Россия — страна случайностей. В Петербурге большую роль играют связи. Вы имеете покровителей при дворе? — Посол проницательно посмотрел в глаза гостя.

— Нет, — с ноткой грусти признался Герстнер.

— Весьма печально! — вздохнул барон и на мгновение закрыл глаза.

Гость догадался о колебаниях, которые происходили в эту минуту в душе посланника. Медлить было нельзя, и он вкрадчиво, угодливо сказал:

— Я всю жизнь буду признателен вам, господин посол, если поможете мне! Дорога должна принести доход не только мне, но и многим немцам...

— О, тогда другое дело! — живо подхватил посол. — У нас, немецких дворян, при царе есть защитник, великий защитник — Александр Христофорович Бенкендорф! Вы пойдите к нему с моим письмом, и он устроит вам высочайшую аудиенцию.

— Вы мой спаситель! — взволнованно заговорил Герстнер и раболепно поклонился посланнику.

Неделю спустя в кабинет Павла Даниловича ворвался потный, взмыленный соглядатай. Не ожидая разрешения, он уже с порога закричал:

— Уехал! Уехал к самому Бенкендорфу!

Данилов вздрогнул. Поднявшись с кресла, он мутными глазами уставился на малого:

— Чего орешь? Закрой хлебало!

Тяжелой шаркающей походкой он подошел к слуге и, словно старый гусь, зашипел:

— Да знаешь ли ты, о ком слово молвил? Да ведаешь ли ты, что граф Бенкендорф — самое близкое лицо к государю? Неужто этот плюгаш до самого начальника Третьего отделения допер?

Старик растерянно огляделся кругом, заохал:

— Ну, теперь не остановишь супостата, до самого главного добрался. Вьюн, лукавец, пройдоха!

Ругаясь, он вышел в людскую и велел закладывать экипаж. Приодевшись в новый камзол, Данилов срочно отбыл к знакомому «благодетелю» и там самолично дознался, что австрияк Герстнер и впрямь был принят грозным Бенкендорфом.

Не знал Павел Данилович, что и после приема у начальника Третьего отделения обласканный профессор вернулся с прежней смутной тревогой на душе, — слишком труден был доступ к царю. Чтобы не уронить достоинства государя, Бенкендорф любезно попросил Герстнера прислать свое подробное жизнеописание и сведения о прежних занятиях. Искатель счастья снова засел за письменный стол, со всей тщательностью исполнил требуемое и, что самое важное, закончил докладную записку царю. В ней Герстнер писал:

«Ваше величество! Проникнутый желанием ознакомиться с прогрессом промышленности и сооружениями государственного значения за последние десять лет счастливого царствования вашего величества, я прибыл в Петербург в конце августа прошлого года, где пробыл только несколько дней и, не задерживаясь более в столице, направился внутрь страны, добрался до Казани, откуда возвратился сюда несколько дней тому назад. Сделав более 4000 верст, я вынес убеждение, что счастье и благоденствие народов, которых провидение вверило вашему величеству, бесконечно возросло за последние 10 лет

во всех тех отраслях, на которые вы обращали внимание, и что народы не перестают благословлять творца их счастья...

...Несмотря на проведенные уже мероприятия, существует еще одна сторона народного хозяйства, введение которой принесло бы еще большую пользу для страны, а именно — улучшенные пути сообщения, облегчая сношения между отдельными провинциями, облегчат в то же время перевозку товаров и местных продуктов, содействуют процветанию торговли.

...Железная дорога, построенная с величайшим совершенством между Москвой и Петербургом, дала бы возможность в 20 или 24 часа доезжать от одной столицы к другой и с той же удобностью перевозить войска и огромные съестные припасы в продолжение 2-3 дней. Если же продолжить дорогу до Нижнего Новгорода или, лучше, до Казани и завести правильное паровое судоходство по Волге и Каспийскому морю, тогда товары могли бы перевозиться из Петербурга даже к пристани Каспийского моря в 10 или 15 дней. Сим скорым, дешевым и надежным сообщением азиатская торговля была бы упрочена для России и удалила бы сильное совместничество Англии».

Аккуратно изготовленные бумаги с приложением своих дипломов на пожалование в кавалеры Богемии профессор отвез в канцелярию графа Бенкендорфа и стал ждать.

Прошла неделя, медленно потянулась другая, а Бенкендорф все отмалчивался. Угрюмый и молчаливый Герстнер валялся на диване и с досады грыз ногти. Он даже с неохотой поднимался со своего ложа, чтобы отобедать. Чертежи покрылись пылью, а владелец их изрядно оброс щетиной: давненько с тоски перестал бриться.

Зато возликовал Павел Данилович. Бойкий малый докладывал ему в десятый раз:

— Валяется. Не спит, плохо жрет, только ногти грызет!

— Стало быть, с досады! — облегченно вздохнул Данилов. — Видать, мимо носа пронесло. Поманило, и нет! И все валяется?

— Пластом лежит! — весело подтвердил соглядатай.

— Скажи на милость! — удивленно пожал плечами управитель. — Немец немцем и в горе остается. Во всем своеобразный порядок. Наш бы русский купец с досады нахлестался. Ух, и нахлестался бы! Вдрызг! А тут, неужто это порядок?

Однако напрасно тешился Павел Данилович: когда, казалось, все забыли о Герстнере, его вдруг нежданно-негаданно пригласили к царю.

За окном кабинета серел обычный скучный петербургский день. В огромной мрачной комнате было мало света. Герстнер ожидал встретить в царских покоях пышность и очень изумился незатейливому убранству кабинета: несколько простых стульев, мебель красного дерева, обтянутая темно-зеленым сафьяном, небольшой диван, вольтеровское кресло и неподалеку высокое трюмо, около которого стояли сабли и шпаги императора, а на полочке стояла склянка духов, лежали щетка и гребенка. Но более всего поразило иностранца то, что в кабинете, впритык изголовьем к стенке, стояла армейская походная кровать, покрытая серым суконным одеялом. Тут же висела старенькая офицерская шинель.

Царь сидел за большим письменным столом, спиной к огромному окну. На нем был простой штаб-офицерский мундир с золотыми эполетами. Положив длинные руки на зеленое поле стола, Николай не сводил пронзительных глаз с профессора. Он даже не пригласил его сесть и поморщился, когда австриец с вождением посмотрел на кресло.

С большим усилием Герстнер поборол робость и сдержанно-льстиво, чуть склонив голову, доложил:

— Ваше императорское величество, я объехал многие страны, но таких беспредельных пространств и такого мудрого государственного устройства нигде не встречал. Всюду я видел отеческую заботу о народе вашего величества. В короне российской для полного благоденствия не хватает одного — победы над пространствами. С великим счастьем я приношу к стопам вашего величества всю свою энергию и познания для выполнения исполинского замысла, достойного вашего царствования. Железные дороги, государь, явятся той золотой цепью, которая соединит между собой все части империи, по справедливости называемой неизмеримой...

На неприязненном продолговатом лице Николая лежала суровая безмятежность. Он убрал со стола руки и оперся ими о колени. Царь безмолвствовал, и Герстнеру стало страшно, противный холодок пробежал по его спине.

«Все проиграно, последняя ставка бита!» — в отчаянии подумал профессор. Но тут Николай резким движением вдруг вскинул голову и

быстро спросил:

— Для меня самое важное — военное превосходство; что могут дать ваши дороги в военных целях?

Герстнер мгновенно оживился и горячо заговорил осмелевшим голосом:

— Ваше императорское величество, смею привести в доказательство существенный факт. Железная дорога будет в состоянии перевезти через двадцать четыре часа после предупреждения пять тысяч человек пехоты, пятьсот-человек конницы со всей артиллерией, обозом с лошадьми. Я позволю себе сослаться на Англию. Тамошнее правительство во время беспокойств в Ирландии в два часа перебросило войска из Манчестера в Ливерпуль для следования в Дублин.

Николай поднялся.

— Да, это заслуживает внимания! — отчетливо сказал он. — Ваш проект будет передан на рассмотрение комитета. В этом деле я ваш защитник! — Царь протянул Герстнеру руку, и тот поспешил оставить кабинет.

Оживленный и радостный, возвратился профессор в отель «Кулон» и впервые за все время заснул безмятежным, глубоким сном.

Проходили последние мартовские дни 1835 года. Над столицей простиралось ясное, заголубевшее небо. Невиданно рано вскрылась река. Потоки солнечного света дробились в невосковой волне. Река разлилась широко, плавно неся полые воды в гранитных берегах. По-иному выглядел Санкт-Петербург, на проспектах появились первые весенние цветы. Днем на солнышке изрядно пригревало, и, хотя в пригородных лесах и оврагах, по низким полям все еще белел снег, чувствовалось, что белизна эта ненадежная, последняя: вот-вот дохнет южным ветром, и все исчезнет, — побегут по оврагам шумные, резвые ручьи.

В эти дни Герстнер верхом на лошади несколько раз проехал полями и рощами вдоль шоссе, ведущего из столицы в Царское Село. Ему не терпелось начать изыскания. С каждым днем в нем росла уверенность, что на сей раз ему удастся добиться своего.

Действительно, вскоре австрийский посланник Фикельмон пригласил профессора к себе на обед и сообщил по секрету приятную новость: по приказу царя созывался комитет для рассмотрения проекта Герстнера. Сам Николай присутствовал на этом заседании.

— Мой дорогой соотечественник, вы угодили в самое сердце царю, — с улыбкой сказал посол гостю. — Наш высокочтимый Александр Христофорович Бенкендорф поделился со мной этой радостью. Русский государь дрожит за корону, так как еще хорошо помнит декабристов, и он сказал своим вельможам: «Дороги Герстнера принесут нам неисчислимые выгоды. Но особо обращаю ваше внимание на внезапность, когда потребуется передвижение войск!» Кто же посмеет в этой стране пойти против своего государя? Царь даже изволил пошутить: «Вот построят железную дорогу, и неплохо будет прокатиться из Санкт-Петербурга в Москву отобедать к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну и потом вернуться опять к ночи назад...»

Сообщение австрийского посла подтвердилось. На заседании единогласно была признана польза от железных дорог, и Николай приказал создать новый комитет. В него вошли главноуправляющий министерством дорог Толь, Бенкендорф и Сперанский.

Ни Герстнер, ни демидовский управляющий Данилов не знали, какие ожесточенные споры происходили сейчас на тайных заседаниях этого особого комитета, где сразу же обнаружились большие разногласия.

Слух о проекте Герстнера проник и в особняки крепостников, вызвав такие же оживленные толки. Однако никто из членов комитета не рискнул официально заикнуться о своих сомнениях, и только министр финансов Канкрин решительно выступил против железных дорог. Пользуясь благосклонностью государя, он осмелился представить свои возражения в письменном виде. В них министр доказывал, что «железные дороги не основаны на безусловных видах пользы, а имеют достоинство относительное. Предположение покрыть Россию, так сказать, сетью железных дорог есть не только мысль, превышающая всякую возможность, но одно сооружение такой дороги до Казани можно почесть на несколько веков преждевременным».

Канкрин категорически отрицал также военное значение дорог, ибо «для перевозки войск, — писал он, — потребуется громада

повозок, кои, может быть, в течение нескольких лет вовсе не понадобятся». Писал Канкрин и о том, что «паровые повозки не могут быть допущены».

Беспокоился министр финансов и о возможном истреблении лесов, так как у нас якобы «каменного угля нет», и о том, что от проведения железных дорог «понесет значительные убытки и расстройство обширный крестьянский промысел извоза, а может быть, и водяного сплава».

Граф Толь при царе держался весьма замкнуто и не выступал против построения железной дороги Санкт-Петербург — Москва, однако на заседаниях комитета, в отсутствие Николая, осторожно высказывал сомнения в пользу подобных дорог в России, где имеется много превосходных водных путей и где климат чрезмерно суров.

— Едва ли при таких обстоятельствах, — говорил граф, — железные дороги могут быть построены с надеждой на успех.

Неожиданно у Толя блеснула мысль, которая, по его мнению, должна была показаться убедительной царю Николаю. Зная, что император не любит и боится простого народа, он однажды в его присутствии воскликнул с пафосом:

— Нельзя отрицать, что идея Герстнера сулит некоторые выгоды, ваше величество, однако подумайте и о том, что перевозка пассажиров по железной дороге есть самое демократическое учреждение, какое только можно было придумать для преобразования государства!

Царь молча опустил голову. С минуту длилось тягостное ожидание.

— В этом есть правда! — после раздумья согласился Николай.

С тех пор как дело Герстнера перешло в комитет, судьба австрийца больше не интересовала демидовского управляющего.

«Теперь слово за царскими министрами! — думал он, однако не мог успокоиться. — Неужто такое дело затеют без русского купца и заводчика?»

Данилов строго соблюдал интересы своих хозяев, но и себя не забывал: прижимистый Павел Данилович кое-что утаил на «черный день».

Вольготно и хорошо жилось старику у Демидовых, ничто ему не угрожало, но в душу управляющего давно закрался бес алчности и как червь точил ее.

«Хватит с меня! Весь сивый стал, побурел. Пора пожить и для себя! — с необычным жаром, распаяя себя заманчивыми надеждами, думал он. — Эх, в купцы бы махнуть! Показал бы я им, шельмецам, где раки зимуют!»

В эти часы Данилов вспоминал жадного и хваткого Никиту Акинфиевича.

«Вот это демидовское семя! Весь в деда и в батюшку своего был, а внуки — проедалы. Лесть безмерно любят; оттого и слепы, что не видят своей выгоды!» — думал он о молодых хозяевах — Павле и Анатолии Демидовых. Однако старик спохватывался, сейчас же отгонял от себя «сомнительные» мысли и горько, по-холопски качал головой: «Эх, горе-то какое! Башка сивая, а бес покою не дает!»

Сказывалась у Данилова старая рабская привычка, которая вошла в плоть и кровь: сколько в душе ни бунтовал он против Демидова, но всегда холопски смирялся перед ним.

Не докладывая владельцу о своих намерениях, решил Павел Данилович на свой страх и риск добратсья до комитета. Мысленно он перебрал всех его членов и обдумал, к кому обратиться.

«Канкрин — немец, червивая душа. Жаден! Своим попустительствует, а русским — ни-ни, не смей! Сам старик, а молодых бабенок смертельно любит. Через них, что ли, захватить на крючок? — прикинул в уме демидовский доверенный, но тут же с брезгливостью отбросил подлую мысль: — Вот уж николи сводником не был, а на старости лет и подавно!»

Мысли Данилова перебежали на главноуправляющего ведомством путей сообщения.

«Граф Толь? Но и от него, как чесноком, разит немецким барством! Он не только нашего брата, но и русского духу не терпит! — поморщился старик. — А до господина Бенкендорфа, спаси и помилуй нас господи, не только с просьбой добратсья, но лучше за версту кругом обойти его!»

И вдруг он вспомнил о Сперанском и обрадовался.

«Этот — русский! — одобрил он свой выбор. — Хотя и русские разные бывают. Другой — ровно бешеный пес, норовит из зависти своего же русского ядовитым зубом цапнуть. Знали и таких».

Сколько ни прикидывал Павел Данилович, а выходило, что самый подходящий и доступный для него человек — Сперанский.

Старик тщательно обрядился в темный суконный камзол, в русские сапоги со скрипом, расчесал бороду. «Слава богу, давно из моды вышли парики!» — облегченно вздохнул он. В экипаже, запряженном парой вороных, он отправился к Сперанскому.

Словно наворожил кто Данилову: ему повезло, он удачно попал на прием к сановнику. Сперанский принял его запросто, усадил старика в кресло и сразу перешел к делу.

— Сказывайте, почтенный, по какой нужде пожаловали? — спросил он, разглядывая умными глазами кряжистую фигуру Данилова.

С лукавым видом, издалека начал свой разговор Павел Данилович.

— По столице, ваше превосходительство, ходят слухи о чугунке...

— Стало быть, вы о железной дороге? — улыбнулся Сперанский. — Скажите, любезный, купцы сим делом заинтересовались?

— Ой, как заинтересовались! Шибко засуетились, ваше превосходительство! — с жаром воскликнул Данилов. — Вы сами подумайте: где это видано, чтобы такое затевать без русского купца и заводчика! Да наш Урал-батюшка, к примеру будь сказано, испокон веков доброе железо на всю Расею отпускал! И топоры, и косы, и шины, и кровельное железо, а о пушках да ядрах и сказывать не приходится! Кто же, как не Демидовы, чугунные колесопроводы поставить могут для задуманного?

Сперанский внимательно слушал Данилова и кивал в такт головой. Его серые умные глаза смотрели прямо. Одет сановник был в темный мундир с двумя звездами, вокруг жилистой шеи тщательно повязан белый галстук. Опрятность и сдержанность чувствовались в его одежде и поведении. Павел Данилович тяжело вздохнул, утер пот, выступивший на обширной бледной лысине, и выжидательно посмотрел в глаза Сперанского.

— Согласен с вами, почтенный, — еле заметно улыбнулся сановник. — Для возведения, железных дорог понадобится очень много рельсов...

— Вот, вот именно, ваше превосходительство! — обрадовался Данилов догадке собеседника. — Кроме того, рассудите сами: если иноземцы свой капитал в стройку вложат, то, как божий день ясно, они и доходишки в свой карман положат. Не так ли?

— Вы правы! Хорошая мысль! — одобрил Сперанский и живо перевел разговор на заводы. Интересовался он буквально всем и особенно расспрашивал про работных.

— Скажите, любезный, как обстоит дело с правовым положением на демидовских заводах? — спросил он.

— Чего-с изволили сказать, ваше высокопревосходительство? — недоумевая, взглянул на сановника Данилов.

— Правовое положение, понимаете? — настойчиво повторил Сперанский.

— Ага, понимаю, понимаю! — угодливо подхватил старик. — Да у нас все как есть — по закону; как его императорским величеством государем предписано, так и держимся...

А в голове Данилова мелькнула злая, насмешливая мысль: «Нашел о чем спрашивать! Тоже „правовое“! Да у нас, поди, на всем Камне сплошное бесправие, и ничего; живем и бога славим! Да неужто про мужиков и работных законы пишутся? Это только для господ дворян!»

Злоязычен бывал порой Павел Данилович, но на этот раз крепко прикусил язык и умильно поглядывал на сановника...

Покинул Сперанского демидовский управитель обнадеженный. Неторопливо он возвращался домой. Сидя в высоком экипаже, весело поглядывал по сторонам и кому-то невидимому грозил:

«Погоди, и к нам придет удача! Демидовскую рельсу мы положим на дорогу. Непременно! И, кто знает, может еще Павел Данилович Данилов в купцах походит. Ух, и держись тогда! Размахнемся — удержу не будет!» И такая радость подмывала самоуверенного старика, что ему хотелось выскочить из экипажа, броситься первому встречному купцу на шею и сказать: «Гляди, милай, я вот этими самыми локтями немцев для вас растолкаю!»

Однако он не выпрыгнул из экипажа и никуда не бросился. Посмотрел угрюмо в спину кучера и властно крикнул:

— Эй ты, орясина, сворачивай к храму пресвятой Казанской божьей матери! Свечу надоть водрузить перед образом!..

Сперанский на заседании комитета в присутствии царя заявил:

— Ваше императорское величество, вам известно, что я сторонник железной дороги. Одно только соображение меня сильно беспокоит: капиталы на строительство будут заграничные, потому и

доходы все от устройства дорог будут навсегда принадлежать иностранцам!

Николай нахмурился. С недовольством, исподлобья, он посмотрел на Сперанского, но тот не смутился и спокойно продолжал:

— Рассудите, государь: по проекту привилегии, предложенному вашему вниманию господином Герстнером, начало уплаты налогов концессионерами предусматривается лишь через пятьдесят лет; значит, русская казна не будет даже участвовать в доходах от дорог!..

Царь не сдержался. Звеня шпорами, он поднялся перед столом и грубо прервал своего сановника:

— Не могу согласиться с вами: для России полезнее всего привлечение именно иностранных капиталов!..

На этом краткое заседание окончилось. Однако Сперанский не сдался: он сам составлял ответы Герстнеру и не хотел выдавать ему привилегии до тех пор, пока не будет организована компания.

Сперанский любил все устойчивое, солидное и поэтому не особенно доверял шаткому в своих действиях австрийцу. Не скрываясь, он отстаивал перед царем в своей докладной записке развитие отечественных капиталистических предприятий.

«Дух коммерческих компаний у нас только что возникает, — писал он, — правительству должно его поддерживать, а поддерживать иначе нельзя, как вводя и поощряя одни предприятия обдуманые и сколько можно верные. Один или два примера неудачи и упадка могут подавить рождающееся к ним доверие, и тогда трудно будет снова возбудить его...»

Герстнер вел себя весьма осторожно: он пока не просил у правительства ни субсидий, ни гарантий доходов, боясь преждевременно отпугнуть русские власти. Он рассчитывал на получение привилегии: если она будет дана, то, несомненно, появится и возможность образовать акционерное общество.

Между тем до этого было далеко. Комитет потребовал у Герстнера подробных финансовых выкладок: сколько будет стоить дорога, какой доход она станет приносить, какие имеются в виду капиталы и каков размер их?

Профессор, проклиная все на свете, снова принялся за расчеты и проекты.

Тем временем сведения о разногласиях в комитете постепенно просочились в печать, и сразу закипели страсти вокруг вопроса: нужны России или не нужны чугунные дороги?

Данилов, который до сих пор ничего не читал, кроме библии и Апостола, на сей раз с рвением взялся за журналы и газеты, в которых печатались статьи о дороге. В журнале «Общепользные сведения» Павел Данилович прочел статью, заманчиво озаглавленную: «Мысль русского крестьянина-извозчика о чугунных дорогах и пароводных экипажах между Санкт-Петербургом и Москвою».

«Любопытно, весьма любопытно знать, с каких это пор русские мужички-извозчики стали пописывать!» — с насмешливым недоверием подумал Павел Данилович.

Водрузив очки на багровый с синими склеротическими прожилками нос, он стал читать. Не сводя глаз с печатных строк, он то и дело ахал:

— Ну и бес! Ишь, леший! Да неужели это извозчик? Чую, милый, кто ты такой есть человек!

«Крестьянин-извозчик» писал в журнале:

«Дошли до нас слухи, что некоторые наши богатые господа, прельстясь заморскими затеями, хотят завести между Питером, Москвою и Нижним чугунные колеи, по которым будут ходить экипажи, двигаемые невидимою силою, помощью паров. Мы люди темные, неученые, но, проживши полвека, бог привел измерить свою родную землю, быть не раз в неметчине, на ярмарке в Липовце и довольно наглядеться иноземного да послушаться чужих толков. Затеваемое на Руси неслыханное дело за сердце взяло: хочу с проста ума молвить, авось люди умные послушают моих мужицких речей!»

— Ах, поганец, соловьем разливается! — ухмыльнулся в бороду Павел Данилович. — Ловко барин пишет. А ну-ка, посмотрим дальше! — Он снова с большим рвением взялся за статью.

«В самой Англии, как слышно, не все затеи по нутру народу, — продолжал „крестьянин-извозчик“, — говорят, что с тех пор, как завелось там на фабриках чересчур много машин, рабочие люди лишились дневного пропитания и так разрослась бедность, что приходы принуждены собирать деньги для прокормления нищих. Не дай бог нам дожить до этого! Пока господь бережет нас и царь милует,

есть у нас руки и кони, так не пойдем под окна напевать заунывные песенки.

Но русские вьюги сами не потерпят иноземных хитростей, занесут, матушки, снегом колеи, в шутку, пожалуй, заморозят и пары. Да и где взять такую тьму топлива, чтобы вечно не угасал огонь под ходунами-самоварами. Али тратить еще деньги на покупку заморского угля для того, чтобы отнять насущный хлеб у православных? Стыдно и грешно!»

Данилов лукаво покрутил головой. Из-под мужицкого армяка темного и неученого крестьянина явно выглядывали руки крепостников-помещиков и предпринимателей извозного промысла.

— Ох, милай, узнаю! — рассмеялся Данилов, закрывая журнал. — Такой мужичок-извозчик и у нас в Тагиле есть. Ушков! Крепостной, а вся заводская конница в его руках. Телеги его, кони его, и прибыль вся ему! Вот и взвыл... А ну-ка, что в сей книжице сказывается? — Павел Данилович взял со стола тощую брошюру и там прочел:

«Я признаюсь, с своей стороны, что, кроме необходимости, ничто в мире не могло бы заставить меня лететь со скоростью 40 верст в час... навстречу ветру, бросающему в лицо с противодействующей быстротой мелкий оледенелый снег, ветру, охлаждающему оконечности моего носа... (минус 1), что, по толкованию алгебры, доказывает, что я останусь без носа! Когда сошник вашего самобега встретит твердую массу оледенелого сугроба, — массу, которая сильным ударам ручных инструментов уступает незначительными кусками, тогда вы представляете собою жалкий, но поучительный пример ничтожеств искусства против элементов природы, и дорого дал бы я, чтобы быть свидетелем позорища, как паровоз ваш, подобно барану, который, не будучи в силах пробить рогами стоящей перед ним стены, уперся в нее могучим лбом своим и брыкается с досады задними ногами...»

— Сам ты баран! — не утерпел Данилов и отбросил книжонку. Заложив руки за спину, он прошелся по комнате. — Погоди, господа хорошие, придет наш час. Берегись, барин! Заводчик и купец шествуют!

Он снял очки, бережно положил их в футляр и неожиданно примирение подумал: «Ох, господи, господи, сколько шуму и грызни

возле сего дела!»

И вдруг Павел Данилович снова раскатисто захохотал: ему вспомнилась одна история. Ездил он во Флоренцию с докладом к Николаю Никитичу и видел там, как во дворе прислуга налила в тазик наваристую похлебку для барских собачонок. Изнеженные, капризные болонки брезгливо отворачивались от еды, повизгивали, чванились. Горничная девка и так и этак упрасивает песиков, а они сунутся острыми мордочками в тазик, нехотя, лениво лакнут раз-другой — и опять за чванство. И тут откуда ни возьмись налетел огромный, сильный волкодав. Своим большим телом он разом расшвырял болонок и прямо с бега, единым махом опростал тазик...

«Вот так и купец набежит и одним махом все заграбастает! Пиши не пиши, он хозяином будет вашей затеи!» — самодовольно подумал Данилов.

Герстнер понимал, что нелегко ему будет одолеть противников. Но чем больше на него нападали, тем упрямее становился он. Австриец сумел добраться до редактора журнала «Северная пчела» Фаддея Булгарина и уговорил его написать статью о пользе железных дорог. Булгарин был не из тех людей, которые оказывают содействие бескорыстно. В этом убедился и Данилов. Коридорный из отеля «Кулон», заглянув в отсутствие профессора в его записную книжку, нашел там запись: «Передано господину Булгарину 2000 рублей».

Когда соглядатай доложил об этом Павлу Даниловичу, тот в восторге хлопнул себя по ляжкам:

— Провора немец! Гляди-ка, по-купецки научился взятки давать. Вроде «барашка» в бумажке... Ах, черт!

— А чего тут учиться? — с насмешкой отозвался соглядатай. — На том в сию пору все стоит! Кто их, сударь, взятки, нынче не берет? Бог — и тот, смотри, лампадным маслом, свечами да ладаном не гнушается!

— Ты гляди! — строго прикрикнул на малого управитель.

— А чего, сударь, глядеть! Небось сами знаете, время ноне какое: все берут, а пристава да исправники просто на жалованье у воров и конокрадов!

— Кш, дьявол, о чем ты молвишь? — испуганно зашикал Данилов. Но малый не унимался. Смеясь, он рассказал:

— Да вы, сударь, послушайте, что на днях тут неподалеку в одном селе произошло. Становой пристав украденных коней разыскивал. Да где искал? В сундуке у попа! Там и нашел... Да что вы, сударь, — разъяснил соглядатай, заметив недоумение на лице Данилова, — не коней, известно, а восемьсот рублевиков, которые ему жеребчиками померещились. Ну и цоп в свою пользу!

— Уходи, уходи! — приказал Павел Данилович и удалил болтливого слугу.

В раздумье управляющий зашагал по комнате.

«Да, времена ныне николаевские! — со вздохом подумал он. — В строгости, кажись, держат всех, а хапуг и ворюг развелось как крыс в хлебном амбаре!»

Вскоре в «Северной пчеле» появилась статья Фаддея Булгарина. Данилов покачал головой над замысловатым названием статьи.

«Гляди, оповестила-то как! „Патриотический вопрос: могут ли существовать в России чугунные дороги и будут ли они полезны?“

В статье Булгарин рьяно ратовал за железные дороги и советовал Герстнеру скорее приниматься за дело.

— Так, так! — крякнул Данилов. — Ну, а далее что?

А далее Булгарин заканчивал статью с умилением и восторгом: «Подумать только, одно и то же лицо может отслужить во здравие государя императора одно молебствие утром в Казанском соборе, а другое вечером в Кремле!»

Данилов поморщился и, обращаясь к отсутствующему Булгарину, спросил мысленно: «А скажите, господин хороший, какому богу вы сами изволите молиться?»

Ответ на это последовал через несколько дней. В той же газете тот же Булгарин написал о противнике Герстнера:

«Дестрем, как дважды два — четыре, доказал превосходство каналов перед железными дорогами и трудности устройства последних в нашем климате».

Тут уж и демидовский управитель, сам изрядно плутоватый, не удержался от изумления: «Ловко! Выходит, и нашим и вашим, господин хороший, служите. А бог ваш един — золотой телец!..»

Тем временем Герстнер, видя, что дело сильно затягивается, внес новое предложение о постройке Царскосельской железной дороги. Не ожидая решения, он за свой счет, на риск приступил к нивелировке трассы.

Стояла ранняя весна. С утра разгорался солнечный звонкий день; всюду над полями распевали жаворонки, щебетали птицы, радуясь теплу. Высокий, худой Герстнер, без фуражки, в болотных сапогах, стоял за нивелиром и производил отсчеты.

Ничто его не интересовало, так он был увлечен своим делом. Он даже не заметил, как неподалеку от него на пригорке остановилась коляска, а из нее вышел демидовский управитель. Данилов долго любовался легкими пушистыми облаками, лебединой стайкой, плывшей в синем просторе; прищуриль полинявшие глаза, он с упоением прислушивался к трелям жаворонков и жадно вбирал в легкие живительный воздух весны.

«Эх, благодать-то какая! Жить бы да жить только! — со вздохом подумал он и с грустью посмотрел на свое обрюзглое тело. — А тут незваная, непрошенная старость!»

В эту минуту перед лицом животворящей природы он впервые пожалел о том, что вся его жизнь, как мутный поток, протекла в каменном сером городе.

Отгоняя от себя эти мысли, он недовольно встряхнул головой и заметил вдали инженера за нивелиром. Данилов узнал Герстнера.

— Гляди-ка, что делает чертов немец! Ну и напорист, сатана! — с восхищением вырвалось у него.

Старик снова сел в коляску и покотил среди зазеленевшей озими. Упорство иностранца ему понравилось.

«Был бы я, милоч, помоложе, тогда и я, пожалуй, показал бы себя, а теперь что же? Стар! Развалина!» — с огорчением подумал он.

Царь Николай разрешил Герстнеру постройку железной дороги из Петербурга в Царское Село. Резолюция императора гласила:

«Дорогу позволяю, одного я требую непременно: Герстнеру, по всей вероятности, для его дела понадобятся знающие иностранцы. Пусть их выпишет, но не иначе, как по предварительном соглашении о каждом из них с Александром Христофоровичем Бенкендорфом. Да

сверх того, чтобы между ними не было ни одного французского подданного. Этих господ мне не надо!»

В течение нескольких дней Герстнер нашел пайщиков. В дело вступили крупнейший русский сахарозаводчик граф Бобринский, купец первой гильдии Бенедикт Крамер, консул города Франкфурта Плитт и сам прожектор. Организаторы внесли всего семьсот пятьдесят тысяч рублей паевых из трех миллионов, необходимых для начала. Однако и с такими «средствами можно было приниматься за постройку.

1 мая 1836 года Герстнер приступил к проложению трассы.

Как только демидовский управляющий Данилов прослышал об императорском указе, он немедленно поспешил на Мещанскую улицу, куда из гостиницы перебрался Герстнер, заняв в частном доме обширные покои. Всю дорогу Павел Данилович торопил кучера, колотил его в спину кулаками и в запальчивости кричал:

— Шибчей гони, окаянный! Не ровен час, опоздаем!

Очень беспокоился Данилов, чтобы его не опередили другие поставщики.

«Проныра народ пошел; только и жди, что последний кусок из глотки вырвут!» — в расстройстве думал он.

Кони мчались, из-под копыт сыпались искры, а управляющий не мог спокойно и минуточки посидеть: ерзал на сиденье, привскакивал, — того и гляди на повороте из экипажа выбросит!

Кучер с распущенной черной бородищей свистел, щелкал в звонком воздухе бичом и на весь Санкт-Петербург орал:

— Пади! Берегись! Раз-дав-лю!..

Прохожие в страхе жались к домам, а кучера так и подмывало созорничать и крикнуть старому управителю: «Не вертись, леший! Как рвану, так и с катушек долой!»

Вихрем домчались до квартиры Герстнера. Мужик проворно осадил коней:

— Прибыли!

Данилов клубком выкатился из экипажа и вбежал в подъезд. На пороге перед ним мгновенно вырос швейцар в добротной ливрее, обшитой золотыми галунами. Он по-гвардейски вытянулся перед прибывшим, откозырял:

— Вам куда, ваше степенство?

— К профессору Герстнеру! — задыхаясь от спешки, выпалил Павел Данилович.

— Опоздали, ваша милость! — учтиво, с легким сочувствием вымолвил швейцар.

— Что так? Аль на стройку укатил барин?

— Укатил, только подале — в Англию! — ответил слуга.

— Не может того быть! — наливаясь яростью, заорал Данилов. — Я ему шины, железо, рельсы дам!

— Опоздали самую малость, сударь! Он за этим и укатил! — обеспокоенно поглядывая на горячего старика, сообщил швейцар.

— Ах, прострел его заberi! — сгреб с головы картуз и хлопнул им по коленке Данилов. Схватившись за круглую и плешивую, как тыква, голову, он заголосил:

— Обошли, кругом обошли, фоны-бароны!

Ливрейный с соболезованием взглянул на грузного, рыхлого управляющего:

— Не огорчайтесь, ваше степенство, вы еще свое возьмете. Стройка только что начинается; глядишь, все понемногу нахапают!

— Прочь, сатана! — обиделся не на шутку Данилов. — Да нешто мне пристало крохи подбирать? Да знаешь ли ты, кто я таков? Да слышал ли ты про Демидовых?

Швейцар смахнул с головы картуз:

— Вся Расея наслышана!

Почтительность швейцара обезоружила Данилова, запальчивость его прошла. Он сразу обмяк, раскис и шаркающими неверными шажками побрел к экипажу. Подсаженный под локти швейцаром, он отвалился на спинку сиденья и расслабленным голосом выдал:

— Вези, братец, на стройку!

Воронье зацокали подковами по мостовой. Ливрейный, с картузом в руке, остался позади. Поглядев разочарованно вслед укатившему старику, он тяжело вздохнул и покрутил головой:

«Эх, тоже демидовские выискались! Жадюга! Что бы честному служаке на чаек...»

Данилов поспешил на Царскосельское шоссе.

— Тут-ка потише коньков пусти! — приказал он кучеру.

Не слезая с экипажа, зорко, как старый плешивый коршун, поглядывая с высокого сиденья, управитель ко всему присматривался.

То, что он увидел вокруг, заставило его понемногу успокоиться. На всем обозреваемом пространстве, неподалеку от шоссе, поблескивали лопаты и топоры, — тысячи людей копали в низинах канавы и сооружали земляную насыпь. Проступающим контуром шла она от Санкт-Петербурга на юг, к Царскому Селу. Вереницы тачек, груженных сырой землей, тянулись к трассе. Покрикивали десятники. В чистых, ясных просторах вились синие дымки, горели костры с подвешенными над ними черными котлами. Иссушенные, истомленныестряпухи варили для грабарей обед. По пригоркам, словно кротовьи норы, виднелись землянки. Над резвой бегуньей-рекой разносилось дружное уханье, — плотники загоняли в илистое дно крепкие смолистые сваи.

Кучер осторожно провез Данилова через утлый мостик, и снова экипаж выкатился на зеленую горку. Перед стариком раскинулось широкое поле. Прямо через него, словно по шнурочку, выстроились полторы тысячи солдат. Бронзовые от загара, потные, они дружно, ритмично вскидывали лопатами, и, словно темная подвижная волна, на невысокую насыпь бросалась нагретая солнцем горячая земля.

— Попридержи коней! — глухо обронил Данилов.

Старик неторопливо вылез из экипажа и вразвалку, как раскормленный гусак, пошел к ближнему шалашу, устроенному из ивовых ветвей. Навстречу Данилову из балагана вышел испитой, с опухшим лицом мужичонка. Завидя Павла Даниловича, он быстро смахнул с головы истрепанный гречушник и с забитым видом поклонился ему.

— Эй ты, мякинное пузо, от кого робишь тут? — ткнул в него Данилов, бесцеремонно разглядывая посконную пропотевшую рубаху на мужике. В дыры рваной его одежки виднелось расчесанное до крови тело.

Мужик угрюмо поклонился Данилову.

— От белозерского купца Щедрина хлопочем... Ох! — схватился он за живот.

— А что же ты не работаешь? — строго спросил Павел Данилович.

— От пищи брюхом измаялся. Худо, хозяин, кормят! — с безнадежным видом пожаловался мужик. — Да и заработков не видно...

— А ты сбег бы! — прищутив ехидные глаза, со смешком посоветовал Павел Данилович.

— Что ты! Что ты! — испуганно замахал руками мужичонка. — Да нешто это допустимо? Да и куда без пашпорта сбежишь? Ни документу, ни денег подрядчик не дает на руки. Вот она, жизнь!

— Н-да, выходит, не сладко живется! — с наигранным сочувствием вздохнул Данилов. — Неужто так и все тут маются?

— Ой, маются, господи, как маются! Дотянем ли до осени? Только на линию вышли, а народ уж посочился, потихоньку, тайком, как вода под вешним снегом, — заговорил землекоп. — Солдатам — тем податься некуда. Попробуй, живо по «зеленой улице» проведут. А то как же? Самому царю дорожку выглаживают!

Данилов вдруг посуровел, сдвинул брови.

— Ну, ты гляди, пес, до царя-батюшки не касайся. Бит будешь! — пригрозил старик, недовольно повернулся и пошел к экипажу.

«Кто же это такой? Аль еще новый кровосос-подрядчик выискался? Сколько их на мужицкой шее сидит!» — уныло подумал землекоп.

Павел Данилович проехал всю трассу до Царского Села. На всем протяжении ее шла напряженная работа. Приглядываясь к ней, демидовский управляющий похвалил:

— Ой, и что только делает проклятый немец! Ну и напорист, сатана!..

На закате Данилов вернулся к столичной заставе. От кирпичных домов на землю легли косые тени, в тихом вечернем просторе носились стрижи. Экипаж выбрался к Обводному каналу. Над мутной вонючей водой высились копры. Несмотря на позднюю пору, полета поденщиков забивали сваи. Кучер показал бичом в сторону хлопотавших:

— Сказывают, день и ночь тут мастерят! Ох и работенка!..

Данилов хмуро посмотрел на плотников, на груды смолистого теса и тяжело вздохнул:

«Обвел чертов немец, обвел русских купцов!»

Старик привалился к спинке сиденья, затих. Уставшие кони мелкой трусцой побежали к дому...

Всю весну на трассе кипела напряженная работа. Прошли майские солнечные денечки, подошло хмурое, дождливое петербургское лето. Мучительно было работать по колено в гнилой ржавой воде и в грязи. День и ночь донимали гнус и комары, налетавшие тучами. Телеги с грузом зачастую уходили в топь, кони надрывались, падали. Случались дни, когда работа на дороге замирала и казалось, никогда в этом проклятом месте не будет жизни. По ночам потихоньку убегали со стройки грабари, землекопы, плотники. Только солдаты терпеливо надсаживались в непосильном труде.

На Обводном канале в шесть недель забили триста толстенных свай и возвели большой деревянный мост.

Данилов несколько раз выезжал на дорогу, приглядывался к работам. Каждый раз он возвращался раздосадованный.

«Этакое дело упустил! Как теперь прицепиться?» — раздумывал он и все поджидал Герстнера.

Профессор в эти недели пребывал в Англии. Он неумоимо разъезжал по заводам и делал закупки. Герстнер купил за границей 1938 тонн железных рельсов на 698 тысяч рублей, 132 тонны чугунных подушек, стрелок, гвоздей и чек^[31] на 219 тысяч рублей. Мысль о конной тяге была оставлена, и он сторговал у англичан шесть паровозов с запасными частями, уплатив за все 285 тысяч рублей.

Пайщики догадывались, что Герстнер переплатил много денег. По-хозяйски-то следовало бы выждать, так как в Англии начался промышленный застой и во всем чувствовалось катастрофическое приближение кризиса. Заказчик переплатил британцам по меньшей мере на одну треть дороже. Может быть, он был в сговоре с английскими заводчиками и не обидел себя? Акционеры подозревали это, возмущались, но молчали. Хитрый, увертливый Герстнер так же легко обошел их, как и русских поставщиков, у которых должен был покупать железо. А между тем в России имелось немало предприимчивых заводчиков, готовых взяться за изготовление рельсов, подушек, колес, шин. На это указывал и комитет. По настоянию Сперанского, на заседании было записано, что «приготовление требуемых железных полос не так затруднительно, чтобы оно на первый раз, хотя и посредством молотового действия, не могло быть произведено на наших уральских заводах, где при некоторых,

особенно при Тагильском Демидова, вводятся уже катальные машины».

К этому времени на Герстнера подал жалобу в министерство финансов заводчик Петр Андреевич Новиков, державший в аренде Дугненский чугуноплавильный и железоделательный завод. Он предложил поставить на стройку чугунные подушки в большом количестве по четыре рубля ассигнациями за пуд с доставкой на место, но Герстнер хитро отмалчивался. Купца это расстроило, и он возмущенно написал:

«Неизвестна прямая цель молчания его, но если он хочет получить материалы из Англии, то по вреду для отечественных произведений, притом тогда, когда я объявил цены, почти равные английским, допустить его к такому ввозу иностранных изделий, коими обильно наше отечество, не следует».

Несмотря на полученные исключительные привилегии, Герстнер обязан был покупать железо в России. Только тогда, когда русские заводчики откажутся по заказу Герстнера поставлять железо по цене не дороже чем на пятнадцать процентов английского, он имел право делать закупки за границей.

Австриец нагло обошел эти условия, поспешно выехав в Англию.

Вскоре из-за границы прибыли рельсы, два вагона, два шарабана, а позднее доставили в разобранном виде и паровозы. Для их сборки ждали английских и бельгийских механиков.

Вернулся из Лондона и Герстнер. Данилов сразу поспешил к нему. Профессор встретил демидовского управляющего с надменным видом.

— Я слышал, что и вы подали на меня жалобу в комитет? — с желчью сказал он.

— Правильно, я обращался к его высокопревосходительству господину Сперанскому, — оглаживая бороду, признался Павел Данилович. — Только не с жалобой, а добивался своего. Демидовское железо «Старый соболь» превышает других в мире! Рельсы и мы доставить можем!

— Я не мог ждать милости от русских заводчиков. Мне надо торопиться, дорога не ждет! — подняв острые плечи, сухо ответил Герстнер.

— Помилуйте, зачем этак! Только пальцем шевельните, мы в три счета железом вас завалим! — не сдавался Данилов.

Толстый, с обвислым громадным животом, сидел он перед сухопарым австрийцем и не сводил с него плутоватых глаз. Он насквозь видел душу этого искателя счастья и оценивал его.

«Ловок, проворен, бестия! Хапуга, ну да и наши купчики, хвала богу, охулки на руку не положат!»

Заплывший жиром, он говорил с тяжелой одышкой, хрипло:

— А потом «сухопутные пароходы» или «паровые дилижанцы» и мы строить мастаки. Взять наших Черепановых...

По лицу Герстнера пробежала нервная судорога. Он засмеялся деланным деревянным смехом. Данилов с изумлением поглядел на иностранца.

— Что вы надумали, сударь? — зло спросил строитель дороги. — Кто вам поверит, что ваш неграмотный мужичок может делать такое чудо? Нам надо солидное предложение!

— Погодите, господин хороший, этот мужичок сробил диво, паровой дилижанец, и на нем руду возит у нас на заводе! — нахмурился Данилов. — Да с таким делом я к самому государю Николаю Павловичу пойду да поклонюсь!

Герстнер вспылел.

— Вы забываете, с кем имеете дело! Граф Бенкендорф тоже участник нашего дела! — с резкостью сказал он.

Демидовский служака опустил глаза. Руки у него затряслись. Все ходуном ходило внутри Данилова.

«Поди ж ты, что творится на русской земле! Мы уж не хозяева на ней. Пришел чужой, без роду-племени, и что хочет, то и делает! Эх-х!» — тяжело вздохнул он и укоризненно покачал головой:

— Эх, милай ты мой! Господин хороший! Будем начистоту говорить: вижу, проиграли русские купцы. Одолели нас! Таких я люблю, ой, люблю! — залебезил Павел Данилович и потянулся, чтобы обнять строителя. Герстнер отодвинулся. Данилов встал, подошел к двери, прислушался. В квартире стояла глубокая тишина.

— По тайности у меня к вам дело есть, — шепотом заговорил он. — С глазу на глаз. Возьмите меня в компанию. Я акций у вас возьму и деньгу на кон, но чтобы ни-ни!..

Герстнер мгновенно повеселел, лицо его оживилось. Он с удивлением рассматривал беззастенчивого хитрого старика.

— Сколько? — спросил он.

— Могу сотню-другую тысяч доверить, только чтобы и барыши по достоинству! — глуховато сказал Данилов.

Герстнер понял, что этот прижимистый старик и впрямь отвалит двести тысяч на акции компании. Это весьма кстати!

— Тогда уж и я молчок! — тихо продолжал Павел Данилович. — Вези рельсы из-за границы, из-за моря, от черта-дьявола, лишь бы прибыльно, — я молчок! Только уж и вы молчок обо мне. Рассудите, господин хороший: и у меня крест на шее имеется, не хочется расстраивать своих благодетелей Демидовых, хоть по копеечке, по алтыну у меня малость скоплено. По рукам, что ли? — Не ожидая согласия, он схватил костлявую руку Герстнера и по-торгашески хлопнул. Профессор поморщился:

«Словно цыган торгует коня! Фу-у!»

Все же он приятно улыбнулся Данилову и похлопал его по плечу:

— Можете быть уверены, ваше степенство, что об этом никто не будет знать!

Он вежливо проводил демидовского управляющего до двери и учтиво раскланялся с ним.

Данилов раздумал ехать в экипаже и, приказав кучеру возвращаться на Мойку, потихоньку побрел пешком. На душе у него не шевельнулось чувство раскаяния. «Кругом иноземцы осилили. Куда пойдешь, кому пожалуешься? Царь — и тот полунемец. Только Сперанский русский, попович, умен, да один в поле не воин. С волками жить — по-волчьи выть, Павел Данилович!» — старался он оправдаться в своих глазах.

И ни разу не вспомнил Данилов, что стар, близок его конец, а детей нет, что только бесполезная жадность побудила его к сделке с иностранцем. Старик тяжело дышал, жирная шея в складках побагровела. Задыхаясь от тучности, он холодно и отчужденно думал:

«Черепановы? А что они? Нынче каждый о себе думает! Каждому кулику свое болото: мне тут, в Санкт-Петербурге, жить да поживать, а им там, на заводешке!»

Равнодушно он вспомнил и о «паровом дилижанце», махнул рукой: «Пустая затея!»

27 августа 1836 года у Царского Села началась укладка рельсов. Одновременно с этим на площади перед церковью Семеновского полка заканчивалось стройкой здание первого в Санкт-Петербурге вокзала.

Подошла осень. По небу тянулись серые вереницы облаков, березки стояли в позолоте с поникшими ветвями. Каждый миг отрывался желтый лист и плавно скользил вниз. Казалось, тонкие, гибкие ветки дерева струятся золотым сиянием. Из-за туч изредка вырывалось солнце, и тогда поля кругом озарялись теплым, ласковым светом.

Данилов стоял на мосту, построенном через Обводный канал, и смотрел вдаль. К синющему окоему убегала ровная прямая насыпь, на которой тускло поблескивали рельсы. Радостное, бодрящее чувство подмывало старика. Он не утерпел и сказал стоявшему рядом плотнику:

— Вот и путь-дорожка! Куда только заведет она?

Плотник, устюжинский мужичонка, человек себе на уме, хитренько прищурился и отозвался загадочно:

— Известно, куда заведет: кое-кого — в могилу, лихоимца — в тюрьму, а выжигу — к денежной жизни.

— Брысь, черт! — окрысился Данилов.

Плотник улыбнулся:

— Да вы не сердитесь, сударь! Это не про вас сказано. Про немцев да про наших купцов-ухорезов то сказано!..

Пробное движение по железной дороге началось за год до официального открытия. На первой поре по рельсам пустили шарабан, в который впрягли гуськом двух сильных коней. Поезд тронулся «во всю конскую прыть». Со всех концов столицы поспешил народ на любопытное даровое зрелище. Мещане с женами, дворовые толпами бежали вдоль насыпи, размахивали шапками, платками, кричали от восторга.

Экипажи катились ровно, быстро, и лошади без напряжения бежали вперед.

Данилов не удивлялся. В свое время он побывал на Алтае, в Змеиногорском руднике и видел чугунную дорогу Петра Кузьмича Фролова, по которой вагончики, груженные рудой, легко тащили сытые резвые кони. Он с нетерпением ожидал появления на рельсах паровоза. Частенько он заходил в длинный сарай, где бельгийцы собирали машину. К сараю были подведены рельсы, и ждали, что

собранный паровоз вот-вот тронется по ним. Тем временем ударил жестокий мороз, выпал глубокий снег и вдоль линии загуляли метели.

Павел Данилович упал духом. Исстари по первой пороше на Руси устанавливался санный путь. «Как побегут на морозе колеса — вот дивно!» — с тревогой думал он.

К этой суровой поре и подоспели собранные механиками паровозы. Они были приземистые, с длинной трубой и казались странными чудищами. Начищенные медные части их сверкали. Из трубы лениво вился дымок: машинист постепенно разогревал топку. Каждый паровоз имел свое имя: «Богатырь», «Слон», «Орел», «Стрела», «Проворный». Для опробования первым решили пустить «Богатыря». К нему прицепили два вагона, груженные лесом, за ними тянулись дилижансы с немногочисленной публикой. Паровоз тронулся, плавно вышел из сарая, подкатил к площади, на которой шел молебен. Данилов истово молился:

«Дай же, господи, побежать ему, тронуться в путь! Вывози, милый! — с трогательной любовью он посмотрел на паровоз. — Выручай, а то плакали мои денежки!»

Священник окропил иорданской водой поезд, и локомотив, пронзительно засвистев, тронулся в путь. Павел Данилович ни жив ни мертв сидел в дилижансе. Ему было и страшно и весело. Пышущий жаром и пламенем, железный зверь послушно катился по рельсам. Ни мороз, ни ветер, ни метелица, которая, вихрясь кругом, засыпала глаза, — все было ему нипочем! Напрасно в бессильной ярости голосила поземка, — паровоз пыхтел, осыпая золотым дождем сугробы. Мимо быстро мелькали высокие мачты с горизонтальными перекладинами, на которых висели черные шары. Эти своеобразные маяки служили для передачи депеш.

«Словно нечистая сила прет! — с суеверным страхом подумал Павел Данилович и перекрестился. — Ох, господи, прости мои прегрешения, вольные и невольные!..»

Между тем «железный конь», шумно выдыхая клубы белого пара, с нарастающей быстротой уносился вперед. Прошло немного времени, и в снежном сумраке показались очертания Царского Села. Паровоз постепенно замедлял ход, вздохи стали реже, тише, и он плавно, ровно подошел к вокзалу.

Метель стихла. На паровозе заиграл особый органчик, оповещающая публику о прибытии поезда.

Кондуктор обходил пассажиров и отбирал жестяные билеты, которые тут же сдал в билетную кассу для новой продажи.

Данилов вышел из дилижанса, ощупал голову, грудь, ноги, облегченно вздохнул. И вдруг в него точно бес вселился: такая неумная радость всколыхнула его, ну, хоть в пляс пускайся!

— Эхма, пошла-закрутила! Наша взяла! — подмигнул он служителю, стоявшему у поезда.

Кондуктор косо посмотрел на Данилова и с укоризной сказал:

— И не стыдно, так хмельного перехватить! Седина в бороду, а сам степенство потерял!

— Эх, милай, ничего ты не понимаешь! — весело отозвался Данилов. — Будешь радоваться такому делу: ведь я пайщик всему. Вот оно что!

— Прошу извинить! — подтянулся кондуктор и вежливо откозырял.

— Ну, вот видишь! Давно бы так! — отозвался Павел Данилович и важно зашагал к вокзалу...

29 июня 1836 года, в день Петра и Павла, в ниже-тагильском соборе шло торжественное молебствие о ниспослании здоровья и долголетия хозяину завода Павлу Николаевичу Демидову. Издавна повелось, что в день именин хозяева жаловали своих подданных «милостью». Управляющие, приказчики, ближняя демидовская челядь получали денежные подарки, а служащим читалось очередное распоряжение хозяев о наградах. Особенно любил писать напыщенные обращения к работным Павел Николаевич. По стилю и манере они во многом копировали царские указы и начинались торжественными словами: «Верноподданным нашим тагильцам».

На этот раз во время молебствия среди работных разнеслась весть о том, что сегодня вручат вольную Черепановым. Наконец-то! Все понимали, какой мучительной ценой досталась механикам долгожданная радость! Светло и ободряюще поглядывали тагильцы на Мирона Ефимовича, лишь один Ушков держался отчужденно и хмуро.

В храме все выглядело благолепно: сверкало многочисленными огнями золоченое паникадило, разукрашенное хрустальными подвесками, в которых дробился и рассыпался всеми цветами радуги теплый свет, приятно мерцали разноцветные лампы и желтые трепетные огоньки восковых свечей. Впереди всех, в новом бархатном кафтане, в окружении свиты из управляющих, приказчиков и станового, важно держался директор ниже-тагильских заводов Александр Акинфиевич Любимов. Рядом с ним стояла дочка Глашенька. Она не столько молилась, сколько любовалась своим нарядом — пышным розовым платьем, отделанным тонкими бруссельскими кружевами. Глашеньке шел уже двадцать пятый годик, по-уральски она считалась перестарком, — отошли годочки для выхода в замужество, но выглядела она совсем юницей. По сравнению с ней отец казался обрюзглым, дряхлеющим стариком. И впрямь, стан когда-то грозного заводского управителя согнулся, плечи опустились, и на голове морщилась большая розовая лысина. Александру Акинфиевичу было под семьдесят лет. Трудно было ему в эти годы справляться с большим делом, но он и виду не подавал, все молодился и держался важно, грозно. Обрюзглый, он тяжело дышал, крестил

грудь мелкими крестиками и склонял при поклоне только большую голову с бахромками седых волос. За ним шеренгой стояли служащие: уставщики, приказчики, повытчики, караванные, механики. А еще дальше теснились рабочие. Семья Черепановых приютилась в сторонке, рядом с приказчиком Шептаевым, обряженным в синюю суконную поддевку и в новые козловые сапоги со скрипом. Ефим терпеливо и чинно ждал окончания богослужения: радость наполняла его — он верил, что сегодня к Мирону придет счастье. Ох, как ждал его отец! Сам молодой механик сильно волновался: он пристально поглядывал то на грузного Любимова, то на знакомых, стараясь по их лицам узнать решение хозяев. Но, казалось, все только и заняты молитвой, чинно стоят перед иконами, истово крестятся и конца-краю не будет затянувшемуся богослужению. Смутное беспокойство все больше овладевало Мирonom. Неподалеку от него, прислонившись к стене, стоял Козопасов. Глаза его были опущены долу, весь он, постаревший и скорбный, вызывал жалость.

«Да, плохо сложилась судьба Степана, а ведь талантливый человек! — раздумывал Черепанов. — И что только сробили с ним! Искалечили, затравили. Так и пролетела жизнь без радости, в муках. Неужели так и со мной поступят?»

Молебствие подходило к концу, в церкви началось движение. Первым ко кресту и под благословение иерея подошел Любимов. Он неторопливо склонил голову, перекрестился, облобызал распятие и стал в сторонку. Как коршун, сурово поглядывал он на заводских, чтобы пристойно подходили ко кресту, зная каждый свой черед. Сохрани бог сунуться раньше старших! Где-где, а тут, в храме, сразу должно быть видно, какую ступень в демидовской иерархии занимает человек! Вначале шли управители, исправник, пристав, служащие, а после всех — рабочие.

Наконец и эта церемония окончилась, но никто не расходился из церкви. Снова все чинно заняли свои места и ждали. Поскрипывая ботинками, на амвон взошел управляющий, торопливо, мелкими шажками подбежал к нему повытчик и вручил две грамоты. Все затаили дыхание и не сводили настороженных глаз с Любимова. Он извлек из футляра сверкающие очки в золотой оправе, основательно водрузил их на мясистый нос и, оглядев богомольцев, развернул первую грамоту. Глухим, хрипловатым голосом он провозгласил:

— «Верным нашим тагильцам от его превосходительства, владельца тагильских заводов...»

Александр Акинфиевич медленно, с торжественным видом стал оглашать все чины и звания, награды и заслуги Павла Демидова...

Все поглядывали на Черепановых. Мирон покраснел, опустил глаза и дрожащими руками мял картуз.

«Почему же так долго? Зачем все эти титулы? Где же главное?» — с нетерпением ждал он заветных слов.

Увы, Любимов читал наставление хозяина работным:

— «Помните благодеяния наши и благодарите господа. Трудитесь и удесятрите свои заботы о нашем добре. Будьте послушны вашим наставникам, набожны и не прельщайтесь кознями лукавого...»

Мирон недоуменно посмотрел на отца. Лицо Ефима Алексеевича потемнело, он крепко сжал зубы. Стоял отец неподвижно, скрывая свой гнев. Из полутьмы храма донесся шепот:

— Искарיותы, иуды, поучают...

Мирон покосился — шепот показался ему знакомым, козопасовским. Но механик, склонив голову, мрачно смотрел в землю, а по его щеке катилась тяжелая слеза. На сердце у Мирона стало нехорошо. Он переглянулся с женой и хотел выйти из толпы, но в эту минуту Любимов окончил читать послание Демидова и, хрустя бумагой, развернул вторую грамоту.

Высокий, громоздкий управляющий вдруг подтянулся, с важностью оглядел всех и отдельно объявил:

— Ноне зачту вам об особой милости, о даровании вольности крепостному нашему механику Мирону сыну Черепанову!

— Как! — схватился Мирон за сердце и жалобно оглянулся на семью. — Где же слово о вас?

Он вытянулся весь в напряженном ожидании. Сердце гулко отбивало удары. Почему так медленно и нескладно читает грамоту господин управляющий? Механик насторожился, лелея последние надежды. Сквозь шепот толпы растерянный и смущенный Мирон слышал каждое слово, торжественно провозглашенное Любимовым.

А желанного среди этих слов упоминания о матери, о жене, о трех ребятках все нет и нет.

По храму, как шелест листвы, прошло изумленное перешептывание:

— Одного освободили... Одного... Гляди, что робится...

Управляющий закончил чтение грамоты и подозвал Мирона:

— Подойди!

Отяжелевшей походкой, опустив голову, Черепанов подошел к Любимову и протянул руку за «вольной».

— Кланяйся, кланяйся, благодари! — зашептал ему седенький иерей.

Мирон поклонился и, взяв грамоту, ничего не видя, пошел из церкви. Все молча расступились перед ним и скорбными взглядами провожали его угрюмую фигуру...

Следом за ним, пропуская управляющего с дочкой, высыпали из храма тагильцы. Любимов с Глашенькой уселся в поданный экипаж и отбыл в демидовский дом, который был совсем рядом. Он сидел с гордо поднятой головой, как будто совершил людям великое благодеяние. Ни разу он не взглянул на Мирона.

Молодой механик стоял под старой развесистой березой, зажав в кулаке скомканную «вольную».

«Вот так отпуская! — с горькой иронией думал он. — Поманули, а сами покрепче цепью приковали к Демидову!» Он возмущенно кинул грамоту вслед экипажу.

Подоспевший отец торопливо поднял бумагу и спрятал за пазуху.

— Что ж теперь делать, батя?

— Жить и работать! — твердо ответил отец. — Не мы первые, не мы последние. Барин на то и барин, что у него ни совести, ни чести!

Подошли мать, женка и ребятишки. Они жались к Мирону, заглядывали ему в глаза.

— Не печалься, родной! — утешала сына Евдокия. — Не думай о нас! Мы и так век отмаемся!

— Эх! — тяжело вздохнул Мирон. — Видно, конца-краю не будет нашему горю!

Откуда только и появился Степан Козопасов? Он положил руку на плечо механика и сказал загадочно:

— Сколько веревочке ни виться, а конец будет! — Он посмотрел на безоблачное небо и закончил: — Парит ноне сильно. Гляди, вот-вот подойдет гроза!

Летом 1836 года старик Черепанов побывал в Перми, куда по воде сплавом был доставлен отлитый в Париже памятник Николаю Никитичу Демидову. Весьма грузный монумент состоял из десяти бронзовых фигур; центральная, и самая величественная, олицетворяла покойного владельца ниже-тагильских заводов. К памятнику был изготовлен массивный каменный пьедестал. Все это доставили по воде из Франции, и сейчас предстояло переправить сухим путем от Перми до уральской вотчины Демидовых. Дороги на завод шли горами, увалами, болотами, лесами. Через дебри да раменья по ненадежным проселкам да по ветхим мостам через быстрые горные речушки не протащить такого тяжелого груза. Хотя лето стояло сухое, жаркое — трава посохла, болота порыжели, а в борах воздух курился ароматными испарениями, пахло лесной пушицей, шалфеем, свежей сосновой смолой, — все же пускаться в путь было рискованно. Да и как смастерить такие могучие колеса и оси, которые выдержали бы такую кладь? И кто поручится за то, что если они и выдержат, то не застрянут в пути? Отправить памятник дальше сплавом от Перми по Каме, а там по Чусовой, поближе к Вые, — тоже не годилось. Капризна и буйна Чусовая на порогах! И кто ведает, не ударит ли такой струг о камень-«боец», каких сотни на быстрой реке, и тогда пиши пропало! Самое удобное переправить груз морозной уральской зимой по санному пути, — в это время года всюду пути-дороги.

С большими трудностями Ефим Алексеевич и ватага камских бурлаков перетасили монумент с баржи и установили на временное хранение в сарае.

Подошел декабрь, ударили продолжительные лютые морозы, сковало реки, и установился зимний путь. Черепановы сладили особые сани, и старик отправился в Пермь за памятником. Через горы, увалы, через реки по ледяным мостам быстро бежали, пофыркивая, кони. Под монотонное пофыркивание, поскрипывание саней мастер вспомнил о столкновении с Ушковым. Зло, крепко рассердился Климентий Константинович на Черепанова за его паровоз! К тому же сильная зависть жгла сердце владельца конницы: он до сих пор оставался крепостным, а Черепановы получили вольную. Пусть без семьи, а все же вольные. В тайниках души Ушкова все еще копошилась надежда на то, что если чем-нибудь порадовать господ Демидовых, то и они в

долгу не останутся. С такой мыслью Ушков прибежал в заводскую контору и со слезой запросился перед управителем:

— Батюшка Александр Акинфиевич, смилуйся, окажи честь! Слов нет, Черепановы на чугунные дороги мастера, но уж там, где кони пойдут, там Ушковы не уступят своего места! Не дай, батюшка, механикам в таком деле перебить нам дороги. Из одной благодарности к благодетелям нашим Демидовым порадеем.

Любимов вызвал на совет Черепанова, тот не прекословил. Порешили на том, что механик поедет с конницей Ушкова только для наблюдения и сбережения памятника.

Выехали они с Ушковым на разных подводах. На остановках Ушков важничал. Переваливаясь уточкой, он ходил в добротной теплой шубе, в серых чесанках-пимах и зычно покрикивал на ямщиков:

— Живей, живей, ребята! Разумей, по какому делу торопимся!

Только накричавшись вволю, потешив свою хозяйскую душу и проверив, кормлены ли кони, он шел и садился за стол.

— Покорми нас, хозяйюшка, чем бог послал! — просил он стряпуху и тут же вытаскивал из дорожной укладки свою деревянную чашку и ложку. — Сполосни, да в нее и наливай щи погорячее!

Он строго соблюдал кержацкий порядок: ел только из своей посуды. Перед едой аккуратно и тщательно умывал над бадейкой руки, после чего истово и чинно молился. Ел он медленно, торжественно, точно священнодействовал. Черепанову нравились опрятность и чистота Ушкова, но было и другое в характере владельца конницы — прижимистость, тяжелая рука. Ямщиков своих он держал в ежовых рукавицах. Они трепетали от одного его взгляда.

Дорогой Климентий Константинович держался с механиком ровно, спокойно. Казалось, бесконечный зимний путь погасил его зависть и все обиды.

По доброму санному пути они наконец добрались до Перми. Остановились на строгановском подворье. Ушков принялся кормить коней, дал им роздых, а Черепанов обдумывал погрузку. Синел вечер, когда в комнатку, которую занимал Ефим, осторожно вошел незнакомый пожилой человек из строгановской конторы. Худенький, остроносый, весьма скудно одетый, он смущенно переминался у порога, поглядывая на кряжистого бородатого механика.

— Мне бы господина Черепанова, — учтиво спросил он.

Ефим ухмыльнулся в бороду. Он приветливо посмотрел на гостя и пригласил:

— Садись, добрый человек! Не знаю, сюда ли зашел по делу? Господина Черепанова здесь нет, а вот крестьянин Ефимка Черепанов пред тобою!

Глаза незнакомца вспыхнули восторгом.

— Довелось-таки увидеть! Бесконечно счастлив! — Он протянул Черепанову худенькую руку и крепко пожал большую крепкую руку мастера.

Черепанов удивленно разглядывал гостя.

— Не знаю, чему радуетесь. Мы с вами николи до этого не встречались, — суховаато сказал он, и недоверие закралось в его душу.

«Шаромыжник, что ли, пронюхал и обвести думает?» — кольнула неприятная догадка.

Но гость и не собирался «обводить» тагильца. Он уселся к столу и вытащил из кармана книжицы в сером переплете. Бережно развернул их и с довольным видом сказал:

— Вот счастлив, не токмо за вас, но и за отечественную науку; радуюсь и за себя, что довелось увидеть вас, Ефим Алексеевич!

— Что за черт? — вырвалось у механика. — Шутить, сударь, извольте!

— Нет, нисколь не шучу. Прочтите! В сих журналах о вас писано, о «сухопутном пароходе»... Вот, извольте! Последнюю страницу! — Гость раскрыл книгу и предупредил: — Сие есть «Горный журнал», книга пятая за тысяча восемьсот тридцать пятый год, и вот, сударь, о вас тут значится.

Просветленный и спокойный, он размеренным голосом прочитал заметку:

— «Нишне-Тагильских горных господ Демидовых заводов механик Ефим Черепанов, известный в уральских промыслах множеством полезных заводских машин, им устроенных, занялся в последнее время делом паровых машин... Машины его успешно действуют при известном медном руднике Нишне-Тагильского завода, где оные употреблены для непрерывного отливания воды, сильный приток имеющей, из глубины сорока трех сажен. После того устроена им же еще одна паровая машина силою в сорок лошадей в заводах

наследниц Расторгуева. По ходатайству главного начальника заводов хребта Уральского Черепанов всемилостивейше награжден серебряною медалью».

Время от времени отрываясь от чтения, незнакомец ободряюще поглядывал на механика.

— Дозволь книжицу, добрый человек! Не знаю, как и звать тебя! — с волнением протянул руку за журналом механик.

— Егорушкин Иван Власьевич, — поклонился гость. — Пожалуйста! Только еще не все зачитал о вас. Тут-ка написано и о «сухопутном пароходе». Кстати, у меня и еще одна книжица есть, и в ней тоже написано о вас. Вот! — Он извлек из кармана новый журнал и прочел:

— «В „Горном журнале“ сего же года номер пять напечатано было известие о том, что в Нижне-Тагильском заводе господа механики Черепановы устроили „сухопутный пароход“, который был испытан неоднократно, причем оказалось, что он может возить более двухсот пудов тяжести со скоростью от двенадцати до пятнадцати верст в час.

Ныне господа Черепановы устроили другой пароход, большего размера, так что он может возить за собою до тысячи пудов тяжести. По испытании сего парохода оказалось, что он удовлетворяет своему назначению, почему и предложено ныне же продолжать чугунные колесопроводы от Нижне-Тагильского завода до самого медного рудника и употреблять пароход для перевозки медных руд из рудника в завод...»

Голос чтеца прозвучал торжественно. Он закончил и весело сказал Черепанову:

— Как видите, в самой столице знают о «сухопутном пароходе»! Лыщу себя надеждой, что там обратят свое внимание на отечественное изобретение!

— Голубчик ты мой! — со слезами радости вымолвил Ефим. — Потешил ты мое сердце. На старости лет могу подумать, что недаром прожил век! — Он дрожащими руками расправил журнальчик в серой неприглядной обложке и не мог оторвать глаз от заметки о себе.

— Не знаю, чем и благодарить тебя, Иван Власьевич, — дрогнувшим голосом сказал он.

— А ничем. Я просто хотел порадовать вас. Мне, русскому человеку, весьма лестно, что наш мастеровой умен и превзошел

иноземцев. За славу земли отеческой радуюсь! — искренним тоном, горячо высказался Егорушкин. — Притом, по совести признаюсь, мне механика тоже мила, у Строгановых с малолетства повлекло на сие дело.

— Так ты механик! — радостно вскричал Черепанов и, схватив за руку, крепко пожал ее. — Вдвойне приятно мне!

— Да моя судьба поскучнее вашей, Ефим Алексеевич! Все мои замыслы пресекаются, и нет им ходу, а меж тем они сильно облегчили бы труд солевара!

— Эх, милый, и моя судьба невеселая! — признался чистосердечно Ефим. — Скажу тебе от доброго русского сердца: не дожидаться нам светлых дней...

— Может, и так, а может быть, и не так! — мягко ответил строгановский механик. — Мы, пожалуй, и не дождемся, когда будем работать на радость труженику, а вот внуки наверняка дождутся иных дней. Верую в это, Ефим Алексеевич, сильно верую!

— Кто же мужику и работному такую жизнь принесет? Уж не Пугачев ли, Емельян Иванович, явится? Так умер он! — печально сказал Черепанов.

Иван Власьевич задумался, потом улыбнулся и тихо сказал:

— И Пугачев сыграл в этом деле немало! За простых людей шел. Верно, умер он, но дух его силен среди народа. Но, скажу вам, тут сильнее люди придут, которые дальше видят, чем наш брат крестьянин.

— Да где же они, эти люди? Что-то не вижу их! — усомнился Ефим.

— Уже близко! — со страстью вымолвил гость. — Вы сами знаете, Ефим Алексеевич, что через Урал провозили тех, что против царя пошли...

— А ты, милый, тише... Бог знает, кто подслушает! — осторожно предупредил Черепанов. — И, по совести, я мало кумекаю в этих делах.

— В этих делах всякий понимает, потому что на своем хребте науку ненавидеть господ прочувствовал. Вот мне один списочек попал, прочитаю. — Иван Власьевич вытащил из бокового кармана затертый листик и пояснил: — Сие есть сочинение господина Радищева. Самому мне пришлось сего умного человека увидеть и говорить. Ах,

какое это счастье, Ефим Алексеевич, какое счастье! Послушайте, это ода «Вольность».

Строгановский механик вполголоса, но с большой выразительностью произносил грозные строки стихов. Черепанов, склоня голову, внимательно слушал. Его поразили блеск в глазах гостя, которому уже перевалило за пятьдесят лет, его огромная страсть и, главное, нескрываемая вера в то, что он читал.

Иван Власьевич окончил оду, воцарилось долгое молчание. Оба внимательно рассматривали друг друга.

— Да-а, — наконец со вздохом прервал безмолвие Ефим. — Вот оно как! Ничего не скажешь, когда читал, сердце мое будто в жменю взял... Только вот что, ух, устарел я, шибко устарел для таких дел! — с горечью вырвалось у него. — Дивлюсь, отколь у тебя такая сила?

— Жажда найти правду не дает покоя моей душе! Всю бы землю обошел, отыскивая ее! — мечтательно сказал гость.

— А найдется она, правда, на земле? — сомневаясь, спросил Черепанов.

— Найдется среди простого народа! — уверенно сказал Егорушкин. — Вспомните мое слово!..

До полуночных петухов засиделись механики. Черепанов слышал, как за дощатой перегородкой возился Ушков: долго молился богу, что-то бормотал про себя, потом хлопал костяшками на счетах, а затем все стихло, погас свет.

Вскоре ушел и гость, оставив после себя тихую радость и тревогу в сердце Ефима. Долго он не мог уснуть, да и среди ночи не раз просыпался, зажигал свет и читал заметки, раздумывая над тем, что рассказал Иван Власьевич.

Лежа впотьмах, он не мог успокоиться от радостного волнения. Ефим долго думал, что же его так беспокоит, отчего поднимается горечь?

«Большую правду поведал Иван Власьевич! — подумал он. — В самом деле, называют господами, а того не ведают, что семьи наши крепостными остались!» — кольнула сердце обидная мысль. И тут Черепанов вдруг понял, сколь много опасностей таят эти статьи. «Дознаются о сем в столичной конторе, найдутся завистники. Да и Павел Николаевич Демидов, который именует заводских своими

верноподданными, непременно обидится, что так мало в сих строках сказано о Демидовых!» — с огорчением подумал он.

Так до утра проворочался Ефим и не уснул. И боль и радость принесли ему столичные вести. Едва только засинело за окном, он поднялся, умылся и неслышно ушел с подворья. Медленно, в глубоком раздумье он вышел на берег Камы. Задумчивый, худощавый, одетый в старый полушубок, он скинул шапку и долго смотрел с крутого яра на Пермь, на Закамье и на застывшую под лебяжьим покрывалом реку. Все кругом было обычное, знакомое — простой северный русский пейзаж, озаренный скупым восходящим солнцем, серебрились снега, укрывшие Каму пушистым одеялом. В Закамье густо синели леса. Направо, в Егожихе, курчавились дымки завода. Хорошее, бодрящее чувство проснулось в душе у Ефима, он широко вдохнул полной грудью упругий камский воздух.

— Эх, мать-отчизна моя милая! — прошептал он и надел шапку.

Прямо с камского яра Черепанов пошел к сараю, в котором хранился памятник, и принялся за бережную укладку тяжелых литых фигур...

Обратный путь был долгим и трудным: то сани застревали в глубоких сугробах и подолгу приходилось их откапывать да проминать дорогу, то на раскатах, подгоняемые санями, кони разносили так, что и фигуры и литые детали летели в снег. С натугой и ухищрениями их снова водворяли на место. Несмотря на зимний путь, кони надрывались, калечились, и спустя шесть недель, когда вдали показались дымки Нижне-Тагильского завода, десятка два отощавших одров еле-еле тащили груз.

Ушков притих, угрюмо поглядывая на ямщиков. Ефим старался отвлечь его внимание от лошадей, но все было напрасно.

Завидев Тагил, Климентий Константинович снял шапку, облегченно вздохнул:

— Ну, кажись добрались. Боялся я, что осрамлюсь на весь Каменный Пояс!

Памятник доставили к Выйскому заводу и сгрузили подле строящейся церкви, неподалеку от линии черепановской дороги.

Пока отец хлопотал над доставкой памятника, Мирону пришлось возиться с перестройкой ларей у Выйской плотины. Старые, обветшалые, они отказывались служить, — того и гляди снесет их в ближайшее половодье. Из добротного теса Черепанов ладил водопроводы. Предстояло старое заменить новым, но для этого приходилось остановить вододействующие колеса. Против этого восстали Любимов и управляющий Выйского медеплавильного завода, который никогда не прерывал работу, даже в сенокосную страду. Чтобы не останавливать механизмы, Черепановым предложили устроить к воздуходушным мехам медеплавильных печей конный привод. Это был возврат к старинке. Мирон долго не уступал и добивался поставить двигателем на время смены лагерей свой первый «сухопутный пароход», но контора не соглашалась на это. И вот у Выйской плотины вновь появились кони, засвистел кнут погонщика. Стучали топоры плотников, перекликались мастера, ржали кони. На плотину наехал Ушков. Довольный, злорадствуя, он обошел стройку.

— Что, брат, кони вернее, чем пар? То-то! — с удовлетворением сказал он Мирону и показал в сторону чугунной дороги. — Не дымит и не сыплет больше искрами твой демон. — В голосе его прозвучало торжество.

Тяжело обошлась механику эта злая насмешка, однако он сдержался и спокойно ответил:

— Кони — верные помощники человека, это верно, Климента и Константинович. Но пар — сила более мощная! Она во много раз могучее коней и даже силы падающего потока. Ей принадлежит будущее!

Ушков рассмеялся:

— Слов нет, хороши твои машины. Одно плохо, дров много пожирают!

Сказанное Ушковым не являлось для Черепанова новостью. На это обычно ссылались и тагильские управители, стараясь притормозить достройку чугунной дороги.

...Лето было в самом разгаре: только бы и строить чугунные колеи от медного рудника до Вьи. Между тем работа у Выйской плотины отнимала много времени. Все же Черепанов решил не сдаваться. Он донимал Любимова, убеждал его, но управляющий долго уклонялся от прямого ответа, так как поджидал указаний из

Санкт-Петербурга, не зная, что Данилову было не до этого: все внимание его поглотила постройка Царскосельской железной дороги.

После долгих мытарств Черепановым удалось добиться своего. Когда Мирон заканчивал возведение ларей, ему вручили ордер на постройку чугушки.

Длина дороги намечалась в три версты. Мирон тщательно произвел все расчеты и рьяно взялся за строительство. Снова к нему вернулись радужные надежды. Помолодел и отец. Оба старались до заморозков закончить прокладку колесопроводов. В механической мастерской Черепановых снова закипела жизнь. Ефим Алексеевич отобрал двух лучших механиков — Панкрата Смородинского и Прохора Рышкова — и обучил их управлению машиной. Крепкие плечистые уральские парни были первыми машинистами на русском паровозе.

К осени на новой линии стали возить в фургончиках руду. Доставка ее производилась быстрее и обходилась дешевле конной. Александр Акинфиевич вынужден был признать все выгоды «сухопутного парохода», о чем и поспешил довести до сведения санкт-петербургской конторы, но и на это от Данилова не последовало отписки. Очевидно, там, в столице, случилось что-то, заставившее забыть о черепановском пароходе. Охладел к новой дороге и Любимов.

После поездки в Пермь Ефим Алексеевич забеспокоился сильнее. И не зря он волновался. Его опасения, что заводское начальство и Демидовы будут злы за статьи, помещенные в «Горном журнале», оправдались. Не знал Черепанов еще того, что оба известия, которые он привез, полностью перепечатала санкт-петербургская «Коммерческая газета» и в газете Черепановы снова именовались господами. Это не было оставлено без внимания Демидовыми. Вслед за этим отец и сын почувствовали в отношении к себе сильную перемену. Директор петербургской конторы Данилов, казалось, совсем забыл о тагильских механиках. Другим тоном заговорили с ними и управляющие заводов. Любимов стал замкнутым, диковато поглядывал на Ефима и вместо личной беседы с механиком слал ему официальные бумажки. Отныне в ордерах значилось другое обращение. Вместо обычного вежливого «контора просит вас», теперь писалось: «предписывается вам безоговорочно исполнить сие предписание».

Болея душой за дело, Ефим Алексеевич решил поговорить начистоту с управляющим. Любимов принял его с неохотой, долго продержал в конторе, пока допустил к своей персоне. Теперь он держался высокомерно и отчужденно. Молча выслушав Черепанова, он выложил перед ним «Постановление о механических занятиях в ниже-тагильских заводах».

— Прочти-ка! — указал он перстом.

Механик с волнением взял бумагу и стал медленно читать. Чем больше вникал он в смысл постановления, тем ниже опускал голову. Ефим хорошо понимал, что все написанное в грамоте в первую очередь относится к нему.

«Известно здесь, — писалось в постановлении, — что в заводах многие хорошие люди держатся весьма странного правила: что буде они составили какое-либо предположение, то они же должны выполнять оное и никто другой не имеет права вмешиваться, иначе они обижаются, якобы тем стесняется их усердие, но правило сие признается совершенно фальшивым и даже вредным заводовладельцем, ибо нельзя допустить мнения, чтобы домашние природные механики могли быть безошибочны, а члены главной конторы не могут быть всеведущими...»

У Ефима екнуло сердце, — вот строки и о них! Буквы расплывались перед его глазами, когда он читал о себе. Все становилось ясным.

«Черепановым предоставляется право, — сообщалось в грамоте, — везде иметь главный надзор и наблюдение за машинами, постройками и поправками оных...» Но «проект одного, порученный к исполнению другому, не лишает чести и награды за полезное первого: следовательно, сей последний не должен обижаться тем, что его мысль предоставлена другому лицу привести в исполнение...»

Горька показалась Ефиму незаслуженная обида: его святое право на осуществление своего изобретения объявлялось «совершенно фальшивым».

Он поднялся и, молча откланявшись, пошел к выходу. Управляющий поднял руку и бесстрастно остановил его:

— Погоди чуток, дело есть!

Ефим вернулся и, стоя перед столом, выслушал новый приказ:

— Памятуя великие благодеяния к тебе покойного господина нашего Николая Никитича, поручаю вам, Черепановым, иметь наблюдение в установке доставленного из Перми монумента. Великая честь выпала вам!

Механик снова молча поклонился и, разбитый духом и телом, вышел из конторы...

В 1837 году на главной площади против церкви водрузили памятник Николаю Демидову. По углам обширного основания гранитного пьедестала укрепили литые чугунные группы. В первой из них сидит прекрасная женщина в древнегреческой тунике, с крылышками на голове, а подле нее стоит мальчик с раскрытой книжкой и указкой. Сие означало, что отрок Демидов постигает мудрость. На втором углу — юноша высыпает из рога плоды в подол своей наставнице. В третьем — воин в доспехах, с лицом Николая Демидова, защищает отечество, которое изображает женщина в печальном образе. И, наконец, последняя группа представляет Николая Никитича в старости... Он беседует с той же богиней о пользе науки, искусств и торговли.

На вершине пьедестала величественно возвышается группа из двух фигур: Демидов в долгополом сюртуке, на который возложены все регалии, владелец заводов, протягивает руку помощи коленопреклоненной женщине с царской короной на голове.

Скульптор по просьбе наследников Демидова вложил в свое творение весьма дерзкую мысль: «Демидов в трудные минуты приходит на помощь отечеству».

Работные, однако, по-иному рассудили смысл монумента. Показывая на изящные фигуры, они разъясняли их:

— Наверху — главный петух Демидов, а кругом его женки да детки! Вот на кого мы робим!

Внезапно Черепановых всколыхнула последняя надежда. По Уралу прошел слух, что едет обозревать свое отечество наследник-цесаревич Александр Николаевич. Вскоре слух подтвердился сообщением из Санкт-Петербургской демидовской конторы, которая уведомляла, что цесаревич действительно отправился на восток, уже миновал Тверь, Ярославль, Кострому, Вятку, вскоре вступит в пределы

Урала и, весьма возможно, посетит Нижне-Тагильский завод. Ехал наследник с большой свитой, в которой состоял его воспитатель, поэт Василий Андреевич Жуковский. Сопровождали царского наследника генерал-адъютант князь Ливен, пять адъютантов, лейб-хирург и многочисленная дворцовая челядь: камердинер, рейткнехты, фельдъегери, мундткох с двумя помощниками. Блистательный поезд, состоявший из десятков экипажей, двигался быстро. Дороги просохли, реки разлились полноводно, и на всем пути путешественников сопровождала живительная весна. Флигель-адъютант при особе наследника, генерал Юрьевич, обстоятельно доносил в столицу: «Мы опереживаем в нашем пути природу и здесь находим весну почти в том виде, как ее оставили в Петербурге: деревья только что распускаются, и во вчерашний переезд по горам видели в ущельях еще много снега... В Перми, как и в Вятке, нет дворянства, да и знатного капитального купечества очено мало. В губернии хотя находится до 250 тысяч помещичьих крестьян, разделенных между 16 владельцами, но эти баричи живут или за границей, или в столицах. Строгановы, Голицыны, Бутеры суть главнейшие помещики-заводчики...»

Цесаревич и его свита, прибыв в попутный город, посещали больницы, школы, тюрьмы и выставки. Пермь не понравилась наследнику: даже иллюминация не могла скрыть убогости этого города, который состоял из немногочисленных каменных домов и скопления деревянных лачуг. На представление к цесаревичу пришли чиновники и купцы с женами и дочками, наряженными в шляпки и в чепцы. Увы, наследник успел заметить только два-три милевидных личика на весь город!

Каждый день из Екатеринбурга в Нижний Тагил мчались курьеры, привозившие новости. Любимов сбился с ног в беспрестанной суете. Он заботился об украшении завода: на видных местах соорудили транспаранты, приготовили тысячи плашек и свечей для иллюминации. В конюшнях стояли наготове выхоженные резвые кони. Чинились мосты, подновлялись дороги, а на въезде в завод воздвигалась пышная триумфальная арка, обвитая свежей зеленью. Полицейщики во главе с приставом Львовым выбивались из сил, наводя на дорогах и во встречных селениях порядок. Зная ретивость полицейских служаков, Любимов написал инструкцию о порядке обращения с народом на время проезда цесаревича, а в ней

указывалось, что полиция должна подавать собой пример вежливости и кротости в обращении с людьми.

Трудно, однако, было полицейщикам превратиться в овечек. Так и подмывало их совершить рукоприкладство. Одно только и удерживало — боязнь, как бы обиженные не пожаловались цесаревичу. Приписные крестьяне вели себя весьма подозрительно: собирались на тайные сборища, шептались; до Львова дошли слухи, что на всем пути следования наследника на дорогу выходили ходоки и падали на колени перед каретой, высоко подняв над головой свои прошения.

«Как бы и у нас подобного не стряслось!» — встревоженно думал пристав.

Это его больше всего пугало. Он притих и ходил поникшим.

Между тем приготовления к встрече подходили к завершению. Закопченные заводские здания побелили, убрали с глаз долой полуразвалившиеся хибары, разметали ветхие плетни, засыпали прозеленевшие лужи, дорогу к заводу посыпали золотистым песком и рубленным ельником, вдоль улицы натыкали ряды свежекудрявых березок. К этому времени пышно зазеленел барский парк, зацвела сирень, и белый демидовский дом высился среди зелени прекрасным видением. Далеко за полночь в главной конторе светились огни, повытчики спешно готовили выборки из дел, чтобы на любой вопрос цесаревича дать быстрый и толковый ответ. Над прудом в вечерний час разносилась приятная музыка — крепостные артисты упражнялись в игре.

Черепановы тоже ждали важных событий. Верилось им, что на их «сухопутный пароход» обратят внимание. Они до блеска начистили бронзовые части машины, тщательно проверили ее работу и оборудовали особо удобные вагончики на случай, если цесаревич пожелает прокатиться по железной дороге.

27 мая 1837 года из Екатеринбурга на взмыленном иноходце прискакал последний гонец, и по заводу быстро разнеслась весть: царский наследник приехал и намерен посетить Нижний Тагил. Начался переполох.

Бледнея и потея, Любимов в сотый раз подробно допрашивал гонца о поведении и привычках цесаревича. Вестник обстоятельно докладывал:

— В шесть вечера его высочество со свитой прибыли в Екатеринбург и, не теряя времени, отправились на старый монетный двор, в коем чеканятся только медные монеты. Цесаревич взял одну копеечку на память. Отсюда зашли в гранильную фабрику, где его высочество изволили залюбоваться мастерством гранильщиков камней. «Где научились сему искусству?» — спросил у них наследник. На это бородатый кержак-гранильщик степенно ответил: «От рождения далось оно в руки: деды и отцы наши тем занимались и нам по наследству передали...»

— Где их высочество изволили остановиться? — допытывался у гонца Любимов.

— Изволили они отдыхать в доме главного начальника горных заводов, что стоит над обширным прудом. И весь город в ту пору светился бесчисленными огнями, а вечером адъютанты его высочества вышли на высокое крыльцо и принимали просьбы от народа, а тех просьб было подано шестьсот тридцать три.

— Бес! — стукнул кулаком по столу Любимов, вскочил и взволнованно заходил по комнате. — Вот откуда дует злой сиверко! Злыдни переведенцы и приписные только и ведают, чтобы досаждают своим господам!

Он заметался, как зверь в клетке.

— Торопись, братец, — крикнул он, — зови сюда пристава Львова! Надо за народом последить.

28 мая цесаревич выбыл из Екатеринбурга, и в семь часов вечера он был уже на Старо-Невьянском заводе, где в старинном доме, строенном Никитой Демидовым, пил чай и после краткого отдыха поехал дальше, в Нижний Тагил.

Над горами простиралась теплая майская ночь. Бесчисленные зеленоватые звезды переливались над лесами. Кони вынесли коляски на возвышенность, и перед наследником еще ярче и заманчивее засветились огни множества площадок и фонариков, запылали костры и смоляные бочки, осыпаясь дождем золотых искр. На каланче пробили одиннадцать четких ударов, и торжественно-величавые звуки поплыли над озаренным прудом и широкими заводскими улицами. Цесаревич приказал остановить карету и на минуту залюбовался ночным Тагилом. По сверкавшему пруду плавал иллюминированный ботик. И

вдруг по чьему-то мановению раздался хор певчих и на соборной колокольне ударили в колокола.

Наследник уселся в карету и, встречаемый возгласами народа, двинулся по широкой улице.

После ужина цесаревич вышел на балкон и был оглушен ревом: пятнадцать тысяч заводских крепостных, согнанных полицейщиками со всей демидовской вотчины, кричали по команде «ура».

Только в два часа ночи гость изволил отойти ко сну. Ему отвели обширную хозяйскую опочивальню. Под окнами демидовского дома всю ночь ходили двадцать четыре почетных кафтанника, оберегая сон цесаревича. Любимов настрого запретил даже звонить на работу, а поселковому пастуху наказали не трубить на ранней заре, а прогнать стадо коров на выгон стороной...

Только-только над горами взошло солнце и засияли росой умытые травы, — Черепановы уже были на «пароходке». Мирон стоял на площадке машиниста и поддерживал пары. К машине вместо обычных грузовых тележек прицепили новенькую пассажирскую повозку, разукрашенную зеленью. «Сухопутный пароход» стоял на Выйском поле, неподалеку от плотины, по которой предполагался проезд цесаревича. Любимов приказал Черепановым держаться со своей машиной на одном месте, шума не производить и больше паров не пускать. Оборони бог, если кони его высочества испугаются и понесут! Полицейщики зорко наблюдали за дорогой и «сухопутным пароходом». Солнце высоко поднялось над горами, роса испарилась, и над прудом растаял сизый туман. Легкий теплый ветерок доносил запахи трав, соснового бора и цветущего барского сада. Из трубы машины лениво поднимался рыхлый парок и сейчас же таял в ясном воздухе. Над полем носились стрижи, распевали жаворонки. У дворца царило оживление: то и дело выбегали и входили слуги, повытчики и приказчики. Несколько раз на крыльцо выходил Любимов и щурился на солнышко.

Но вот распахнулись стеклянные двери, и на крыльцо по ковровой дорожке вышел наследник. Мимо «пароходки» в эту пору пробежал скороход.

— Ты куда? — окликнул его Мирон.

— К руднику. Его высочество выразили желание спуститься в шахту. Спешу предупредить о том управляющего! — запыхавшись,

прокричал в ответ скороход.

Между тем цесаревич неторопливо, со скучающим видом прошел в церковь, прослушал ектенью. После краткой молитвы он учтиво приложился к руке священника и последовал дальше. За ним поспешила блестящая свита. Столпившийся народ во все глаза рассматривал будущего правителя России. Был он высок, строен, взор имел задумчивый. В двух шагах от цесаревича суетился Любимов, давая ему пояснения. Наследнику показали больницу — большую светлую избу с десятком кроватей, застланных чистым бельем и одеялами. Василий Андреевич Жуковский пристально взглянул на управителя и спросил:

— Здесь всегда так чисто бывает? А почему нет больных?

Любимов низко поклонился и, не моргнув глазом, ответил:

— Всегда. Хвала богу, у нас все здоровы. Чистый воздух и умеренный труд делают работного счастливым!

По губам Жуковского скользнула ироническая улыбка.

Поспешили в доменный корпус, где шел выпуск чугуна. Раскаленный металл сыпал мириадами ослепительных искр, обдавая блестящую свиту сухим жаром.

— Великолепно! — восхищенный зрелищем, вымолвил наследник, но сейчас же заслонил лицо рукою. — Ох, дышать нечем!

Жуковский внимательно разглядывал горновых. По их лицам струился обильный пот, покрасневшие глаза слезились от жара, брови и волосы были обожжены. Со стороны казалось, что двигаются они легко и проворно, но трудно было обмануться, вглядываясь в литейщиков пристальней. Каждый мускул рабочих дрожал от страшного напряжения. Одно неверное движение — и беда неминуема.

— Ваше высочество, пора уходить! — обеспокоенно окликнул своего воспитанника поэт.

Цесаревич ласково посмотрел на Жуковского и повернул к выходу.

— А вот и школа, государь! — залебезил Любимов, показывая на приземистое каменное здание. — Здесь заводскому мастерству юношей обучаем.

Наследник молчаливо прошел в здание. Умытые и обряженные в чистую одежду юнцы чистыми голосами спели кантату.

Цесаревич потребовал порцию приготовленного обеда. Повар, одетый в белоснежный халат и колпак, поставил перед гостем чистую

миску с варевом. Наследник испробовал его.

— Хороши щи! — немногословно вымолвил он и приложил надушенный платок к губам. — Что там еще не осмотрено?

— Вот, пожалуйста, сюда, ваше высочество, — пригласил в бронзерную мастерскую Любимов. Там на столах и полках красовались расставленные изделия — литье из бронзы и чугуна. Навезли его по случаю приезда цесаревича из Каслей. Наследник долго разглядывал чудесную ажурную работу каспийских мастеров-кудесников. Вот старуха пряжа сидит и сучит длинную нить. Она сгорблена, глаза ласковые, но светится в них грусть.

— Отчего она печальна? — неожиданно спросил гость.

— Радоваться ей нечему, ваше высочество. Старость не радость! — расторопно ответил управитель.

Цесаревич усмехнулся, и взор его перебежал на бронзовую лошадь. Он протянул руку в белой перчатке и потрепал ее по холке.

— Славный жеребец!

Не обмолвясь ни словом о других каспийских изделиях, гость повернулся и сказал Жуковскому:

— А теперь пусть везут на малахит!

Наследник и свита уселись в экипажи и поехали к Выйскому руднику.

— Едут! Едут! — с криком проскакал мимо Мирона полицейщик Львов.

Черепановы подтянулись, скинули шапки. Сердце Ефима учащенно забилось: только бы увидели «сухопутный пароход» и заинтересовались им!

Экипажи приближались быстро. В первом из них Черепановы увидели цесаревича, а рядом с ним степенного Жуковского.

— Гляди, батюшка, и Любимов с ними! — показал отцу Мирон.

Напротив наследника сидел толстый управитель и давал пояснения. Внимание цесаревича привлек бронзовый памятник Демидову. Он приказал замедлить движение и, не сводя взора с фигур, спросил Любимова:

— Что за монумент?

— Это памятник владельцу здешних заводов покойному Николаю Никитичу, радением которого и процветает ныне наш завод и рудники!

Любимов похолодел, когда заметил, что наследник пристально взглянул на коленопреклоненную женщину с короной на величавой голове.

«Быть грозе!» — быстро сообразил он и втянул голову в плечи.

Однако гроза миновала его: равнодушный взор цесаревича перебежал дальше и остановился на машине Черепановых.

— Что за диковинка? — спросил он.

— Это, ваше высочество, первый «сухопутный пароход» в России! Он таскает руду и перевозит пассажиров.

— Кем устроена машина? — уставился наследник на Любимова большими, навывкате глазами.

— Наши заводские механики Черепановы изобрели машину, ваше высочество!

— Похвально! — улыбнулся цесаревич и махнул рукой. — Можно быстрее!

Черепановы уныло смотрели, как закружилась пыль и вереница экипажей покатились дальше.

«Теперь все кончено! — скорбно подумал Ефим: ноги его отяжелели, и он с хриплой одышкой сошел с „пароходки“. — Плох будет хозяин!» — разочарованно посмотрел он вслед наследнику престола и, горбясь, побрел по Выйскому полю.

Мирон все еще стоял на площадке, на что-то надеясь, но экипажи не вернулись больше. После осмотра Выйского рудника гости миновали плотину и укатили дальше, на другие заводы.

Приездом наследника остались довольны лишь Любимов, которому цесаревич подарил бриллиантовый перстень, управитель Выйского медеплавильного завода, награжденный золотыми часами, да полицейщики с прислугой. Им отпустили из казны цесаревича девятьсот рублей.

Обо всем, высказанном наследником, повытчики Нижне-Тагильского завода занесли в бархатную книгу, обернули ее шелком, уложили на вечные времена в кованый сундук и хранили ее под семью замками...

После посещения цесаревичем Нижнего Тагила больница вновь приняла убогий вид, ученики заводской школы обрядились в рвань, и хорошие щи сменил постный суп и плохо выпеченный хлеб.

Черепанову мечталось приблизить Уральские горы и леса, руды и богатства к сердцу отечества. «Сухопутный пароход» изменял представление о времени и пространстве. Все внезапно становилось ближе и доступнее. Если бы продолжить линию чугунных колесопроводов до Москвы и далее, до Санкт-Петербурга, соединить с ними хлебородные районы Волги, по-иному зацвела бы жизнь в отчизне!

Но мечта его меркла. Каждый день теперь приносил новые придирки со стороны заводских управляющих. При всяком удобном случае они старались ущемить и унижить Черепановых. Для наблюдения за машинами и усовершенствования механизмов у них не оставалось времени. Все дни механики пребывали в разъездах, приводя в порядок разные механические приспособления на заводах и плотинные устройства. Паровозы портились, подолгу стояли в ремонте, и творцы их постепенно возвращались в прежнее положение плотинных мастеров. Любимов не скрывал своего равнодушия к Черепановым. Спустя два года после появления «сухопутного парохода» он писал в Санкт-Петербургскую контору:

«Выгоднее строить плотины и водяные колеса, нежели строить и содержать паровые машины. Это в чужих краях земля с рекой или речкой стоит дорого, а здесь они ничего не стоят. Вододействующие колеса по простоте своего устройства редко требуют значительных исправлений, а также расходы на содержание, смазку и прочее для них не составляют почти никакого счета».

Так все и пошло по старинке. Одряхлевший управляющий не любил беспокойных новшеств, да они казались ему и ни к чему при даровой крепостной силе.

Ефиму Алексеевичу Черепанову шел шестьдесят пятый год, но он сильно осунулся, посивел и часто прихварывал, жалуясь на сердце. Его окончательно сломили бесконечные придирки и выговоры ниже-тагильской конторы.

В мае 1838 года Ефим Алексеевич написал прошение об увольнении его на пенсию.

«Достигнув преклонных лет, — писал он, — и чувствуя болезненные припадки, не в состоянии далее продолжать службу...»

На просьбу Черепанова не последовало ответа, и он продолжал работать по-прежнему.

26 ноября 1839 года в Нижнем Тагиле устраивали торжество в честь дня рождения сына Павла Николаевича. На праздник Любимов пригласил управителей, лекаря, исправника, пристава, почтмейстера, повытчиков, Ушкова и Черепановых.

Ефима и Мирона усадили на дальний край стола — «кошачий угол». Опустив глаза в тарелку, старый механик горько переживал это унижение. Подвыпивший Ушков пробрался к самому Александру Акинфиевичу и, поднимая чару, все время провозглашал льстивые тосты. Все пили и кричали «ура». Вместе, со всеми поднимался и Ефим, но, не осушая чарки, прикладывался к ней губами и снова отставлял ее.

— Ты что ж это, за господ чураешься пить? — заревел Любимов.

Багровый, с припухшими веками, он встал и, опираясь о стол, поднял чару.

— Гляди, вот как надо за здоровье нашего господина! — Он разом опрокинул чару в широко раскрытый рот и тут же поперхнулся, закашлялся и, побледнев, схватился рукою за сердце.

— Ох, худо мне...

Его подхватили под руки и, уведя в спальную горенку, сдали на руки лекаря, а сами поспешно вернулись допивать и доедать господское угощение.

Черепановы тихо поднялись из-за стола и незаметно выбрались из барских покоев.

Весной в Нижний Тагил пришел царский манифест о постройке железной дороги Петербург — Москва. Ни жив ни мертв стоял Черепанов в церкви, когда священник оглашал грамоту: снова на душе заворошились старые надежды. В мае на Урал прилетела еще весточка — председателем комитета по возведению железной дороги назначался наследник престола Александр Николаевич. Ободрился Ефим Алексеевич.

— Ну, сынок, может быть, и вспомнит о нашей машине! — утешаясь последней надеждой, сказал он сыну. — Ведь он видел нашу «пароходку». Зачем ему иноземные, когда свои машины налицо!

Сын скорбно посмотрел на отца и промолчал — не верил он больше своей удаче.

Очень удивился Черепанов, когда его в тот же день вызвали к управляющему. С того памятного дня Любимов так и не поднялся с постели: у него отнялись правая рука и нога. Пожелтевший, с обострившимся носом, он лежал, погруженный в пуховики. Но старик не унывал:

— Погоди, скоро, скоро отпустит, опять заверчу делами!

Встретил он Черепанова шумно:

— Слышал, что в державе нашей творится? Вот когда приспела обильная жатва для нас!

У Ефима Алексеевича в ожидании замерло сердце: вот-вот Александр Акинфиевич заговорит о машинах. Любимов заворочался в пуховиках, пытливо поглядел на механика.

— Каталные валы сможешь умножить на заводах?

— Мастерство знакомое, — спокойно ответил Черепанов и все ждал разговора о «пароходке».

Любимов одобрительно качнул головой.

— Хорошо. А печи пудлинговые, могущие нагреваться газами доменного колошника?

— И это в свое время ладили, Александр Акинфиевич, и успех был.

— Вот и я так думаю! — Управляющий вздохнул. — Ах, Ефим Алексеевич, нужный ты нам человек. Только и разговору сейчас о железной дороге между Санкт-Петербургом и Москвой. Выходит, будет спрос и на железные рельсы. И я так прикидываю: наш Нижне-Тагильский завод сможет выдать в год сто тысяч пудов. Вот где господам Демидовым барыши!

Ефим потускнел, но все же осмелился спросить:

— А что же с «пароходкой», Александр Акинфиевич? Вот уже с месяц по вашему приказу стоят на рельсах машины и ждут ремонта.

Любимов болезненно поморщился:

— Ну и пусть стоят! Коштоваты! Слышь-ко, Климентий Ушков согласился возить медную руду на конях во многожды дешевле!

Черепанов потупил глаза, руки его задрожали, но он все еще не верил такому решению.

— Зачем вызвали к себе, Александр Акинфиевич? — упавшим голосом спросил он.

— А затем, чтобы сказать тебе: не унывай, Ефим Алексеевич, может быть, рельсы катать будем, ну вот дела и прибавится на заводах. Ох-х! — Управитель тяжело вздохнул и снова заворочался в пуховиках. — И говорил мало, а устал! — пожаловался он.

Черепанов покинул покои управляющего. Вышел он на улицу, освещенную июньским солнцем, а в глазах его темно было от скорби. Его потянуло на Выйское поле. Вот они, чугунные колесопроводы: поржавели, между потемневших тесин-шпал пробивалась бледно-зеленая травка, а в тупичке одиноко стояла его машина — сиротливая, безжизненная. Бронзовые части потускнели. На высокой трубе сидела ворона и чистила перья. Завидев механика, закаркала, взмахнула крыльями и нехотя тяжело полетела прочь...

Ефим подошел к своему детищу, присел на подножку. Долго сидел он с тяжело опущенными руками. Давно ли тут, на линии, кипела веселая жизнь! Сколько было радостей и надежд, и вот сейчас все ушло безвозвратно!..

Он снял картуз, набежавший ветер зашевелил седые волосы. Механик горько вздохнул:

— Не дождаться нам счастья!

Сказал, и на душе стало невыносимо тяжело. В этот день он еле добрал до дома. Завидя его, старуха обеспокоилась:

— Что случилось, отец? Лица на тебе нет!

— Ничего, ничего, все хорошо! — печально отозвался Ефим. — Вот только прилягу немного, что-то сердце щемит...

Он разделся и лег в постель. Этого еще никогда не бывало, чтобы Ефим ложился в кровать среди бела дня.

— Захворал наш старик, — опечалилась Евдокия и погнала молодку: — Сбегай за лекарем!

Но Ефим услышал, поднял голову и строго сказал жене:

— Не зови лекаря, не надо! Не поможет он мне. Душа моя скорбит, и лекарь не порадует ее.

Он отвернулся к стене и замолчал. Чтобы не беспокоить его, женщины вышли из избы. Солнце клонилось к закату. Обеспокоенная долгим сном мужа, Евдокия осторожно вернулась, прислушалась к дыханию. Тих и неподвижен был Ефим Алексеевич. Женка заглянула в застывшие глаза и с криком упала на постель:

— Батюшки-светы... Да как же так!.. Ефимушка...

Лицо у механика было ясное, спокойное — все печали отошли от него. Евдокия упала на грудь покойника, ласкала его голову, разглаживала волосы, омывала лицо его теплыми, сердечными слезами...

Владельцы ниже-тагильских заводов не интересовались больше семьей Черепановых, и потому смерть Ефима Алексеевича несколько не тронула их. Они, казалось, забыли и об Урале, — никто из них так больше и не побывал в своем родовом гнезде. Для них важны были деньги, а они поступали исправно. Прижимистый Павел Данилович и ниже-тагильский директор за долгие годы сумели создать послушную машину — целый штат заводских управителей, приказчиков, надсмотрщиков, стражу, которые выжимали все силы и соки из работных. Денег Демидовым требовалось много! Старший брат Павел ничего не жалел для того, чтобы выбиться в столичную знать. Младший, Анатолий Николаевич, окончательно поселился в Париже; он не знал родины, забыл родной язык. Его не привлекали скучные донесения и рапорты заводских управителей. Всеми делами заправляли секретари, они и переводили отчеты управляющих с русского языка на французский. Но даже и эти переводы Анатолий ленился читать и, не ознакомившись с документами, писал неизменное «аргіа». Если ему и доводилось написать что-либо, то писал он столь неразборчиво, что и сам не мог понять своего письма. Только угодливые секретари понимали написанное.

Каждый год Санкт-Петербургская контора исправно переводила Анатолию Демидову два миллиона. Этот золотой поток привлекал к нему самых разнообразных людей. В Париже жили сотни и тысячи изящных мотов и мотовок, которые умели пускать по ветру целые состояния. Любовные истории всегда поглощали огромные капиталы. В золотой мешок постоянно метко направлялись стрелы Амура. Анатолий прекрасно понимал, что слишком долгие привязанности влекут за собой большую расплату, и потому старательно избегал их. Он менял своих любовниц так часто, как меняет модница шляпки. Ему были открыты двери самых чопорных салонов Сен-Жерменского предместья, но он зачастую предпочитал встречи с художниками, писателями, композиторами. С шумной ватагой представителей парижской богемы он любил посещать людные, задымленные табаком ночные кабачки Монмартра. Однако увлечения, попойки и угарные ночи не прошли бесследно для молодого повесы: в двадцать восемь

лет он стал лысеть, лицо его постепенно приобретало лимонный оттенок. В эту пору он сдружился с Эдмондом Гонкуром. Ему нравилась его маленькая, тихая, полутемная квартира в глухой улочке, заросшей травой.

Анатолий приезжал к Гонкуру в блестящей карете с фамильным гербом, степенно входил в тихую обитель, усаживался у пылающего камина, протягивал ноги к огню и, согретый ласковым теплом, молча отдыхал. Гонкур, высокий, изящный, с большими темными глазами, казался весьма нежным и хрупким. Он садился на подлокотник кресла, мечтательно смотрел на пламя и после долгой паузы принимался неторопливо рассказывать о светских развлечениях. Голос его звучал успокаивающе.

Однажды, когда они наслаждались теплом камина, в комнату ворвалась высокая щебечущая молодая парижанка, и все сразу наполнилось возней, смехом и восхищенными восклицаниями. Анатолий очарованно смотрел на девушку. Ее стройная, гибкая фигурка была обтянута черным бархатным платьем, а сверкающие золотые локоны в беспорядке рассыпались.

— Едемте! Сейчас же едемте! — весело выкрикивала она.

Эдмонд учтиво поклонился ей.

— Принцесса, но вы еще не знакомы с Анатолием Демидовым. Вот извольте!

«Так это принцесса Монфор, родная племянница Наполеона», — догадался и обрадовался Анатолий.

Они оба пристально посмотрели друг на друга. Анатолий был пленен ее красотой. Стройная, нежная, с пышными золотистыми волосами и с кожей удивительно матовой белизны, она казалась самой чистотой.

Демидов не удержался:

— Позвольте сопровождать вас? Моя карета к вашим услугам.

— Едемте! Едемте без отговорок! — защебетала она и, подойдя к столу, произвела на нем живописный беспорядок, опрокидывая фарфоровые безделушки, флаконы.

— Что вы делаете? — переполошился Эдмонд.

Матильда, схватив его за руку, оттащила от стола и закружилась с ним по комнате.

— Сумасшедшая! — пробормотал Гонкур. — Ну что с ней поделаешь? Разве можно сопротивляться этому бесенку? Анатолий, придется ехать!

— Но меня не приглашают! — с огорчением отозвался Демидов.

— Нет, и вы сопровождаете меня! Теперь вы не покинете меня, раз встретились на моем пути! — смеясь, многозначительно сказала она.

Принцесса уступила свой экипаж Гонкуру, а сама перебралась в карету Демидова.

— Скажите же, куда мы по крайней мере торопимся? — ласково посмотрел на нее Анатолий.

— Как, разве вы не знаете — сегодня четверг у баронессы Обернон де Нервиль!

— Но я не приглашен! — пожал плечами Демидов.

— И не надо! — капризно надув губки, отозвалась она. — Вы мой паж.

— Вы прекрасны и покорили мое сердце! — всматриваясь в ее глаза, шепнул он.

— Нет, нет! Не говорите мне этого! — жеманно запротестовала она. — Я не во вкусе современных парижан. Теперь им нужны толстые ленивые Магдалины.

— Это не в моем вкусе.

— Не говорите глупостей! — Она придвинулась к нему и взяла его за руку. Анатолий изумленно продолжал смотреть в мерцающие глаза спутницы и не мог оторваться от них.

— В чертах вашего лица есть что-то от дяди, Наполеона!

Она засмеялась:

— Почему вы так пристально смотрите на меня?

Он не знал, что на это ответить. Плечо его близко коснулось ее плеча. Они безмолвно мчались по вечерним парижским улицам, и у обоих было хорошо на сердце.

Кони внезапно остановились, распахнулась дверца кареты. Строгий лакей с седыми бакенбардами чинно стоял, ожидая их выхода. Матильда выпорхнула из гнездышка, успев ободряюще шепнуть:

— За мной, Анатолий!

Через обширный вестибюль они прошли в гостиную, озаренную множеством огней. Демидов и ранее встречался с баронессой Обернон

де Нервиль. Сейчас в зале шелестело платьями, сверкало драгоценностями, туманило голову ароматом тонких духов многочисленное дамское общество.

Навстречу Матильде и ее спутнику уже спешила хозяйка с застывшей улыбкой на лице. Анатолий превосходно знал этот тип парижской женщины. Эта заученная улыбка обратилась у нее в привычку, как у балерины входит в привычку умение держаться на пальчиках. Она выглядела чудесно в этом золотистом вечернем свете, но красота ее была фальшивой и безжизненной, как красота куклы.

Рядом с ней суетился муж, плотный карапузик с розовой лысинкой, большой охотник до трюфелей. Он слишком кревоугодничал и теперь растолстел. Его маленькие глазки, блестящие из-под очков, были похожи на пороссячи. Он глупо улыбался и не сводил глаз с жены, восхищаясь каждым ее словом.

— Ах, дорогая, как поздно! — приветливо встретила Матильду баронесса. — Тут уже давно затеялся большой спор! — Она выразительно посмотрела на Анатолия и взяла его под руку: — Я так рада, так рада видеть вас! Жозеф, поторопись! — обратилась она к мужу. И ласковый карапузик мгновенно покатился шариком среди шумящих платьев.

Анатолий вскоре остался среди толпы разряженных дам. То и дело слышались восклицания: «Ах, какой чудесный муар-антик!» — «Что за прелесть воланы!» — «Я перевернула горы тарлатана, поплина, гипюра, и ничего не нашлось к моему лицу. Просто ужас!»

Даже Анатолию становилось скучно среди этих взволнованных чем-то прелестных существ: все сводилось у них к разговорам о выборе материи, лент, к отделке шляпок, кружевам, к модисткам, парикмахеру и магазинам.

«Ах, бог мой, как скучно!» — тайком зевнул Анатолий и попытался выбраться из пестрого канареечника, но полная дама, в бархатном платье с вырезанным четырехугольником на груди, окаймленным брюссельскими кружевами, с головкой пылкой испанки, схватила его за руку:

— Где же Эдмонд? Скажите, где он?

К счастью, Гонкур сам подвернулся под руку, и дама бросилась к нему. Черные глаза ее горели, когда она прошептала:

— Мы все так жаждем услышать последние новости! Они всегда у вас в запасе.

Можно было подумать, что она и в самом деле ждет восхитительного рассказа Эдмонда, но Матильда, улыбаясь, прошептала Анатолию:

— Притворщица! Скажите ему, пусть остерегается. Она уже и так имеет вечным любовником этого плешивого поросеночка! — указала она глазами на карапузика-хозяина.

Вышколенный слуга, одетый в черное, внес на серебряном подносе крохотные чашечки с кофе и бисквиты. Его окружили, разбирая чашечки. Матильда подняла умоляющие глаза на Анатолия:

— Увезите меня поскорее отсюда!

Он не ждал вторичной просьбы: незаметно среди прибывающих гостей вышел в вестибюль, быстро оделся и выбежал к экипажу.

Через минуту со ступенек крыльца неслышно сбежала Матильда. Он распахнул дверцу кареты, и она, как летучая мышь, юркнула в уголок. Он привлек ее к себе, крикнув кучеру:

— Гони!

Как заговорщики, они понимали друг друга без слов. Желание другого угадывалось по одному взгляду, по выражению лица. Стоило только им покинуть знакомые чопорные салоны Сен-Жерменского предместья, как Матильда увлекала его прогуляться по ночному Парижу. Далеко за полночь Анатолий отправлялся с ней на шумные, людные бульвары. Наступила весна, цвели каштаны, поздно погасал оранжевый закат над крышами Парижа. Под деревьями густела тьма, синеватые огоньки газовых рожков придавали этой полутьме приятную таинственность, которая влекла к себе. Женский молодой смех в ночных аллеях каждый раз пробуждал в Демидове любовную тоску. Было что-то бесшабашное, озорное в поведении Матильды. Страсть к острым, запретным ощущениям всегда влекла ее к сомнительным приключениям.

Вместе с шумной толпой они шли по засыпающему Парижу. Матильда толкалась, оглядывалась, как мидинетка, ищущая дешевых приключений. Строгая, воспитанная и холодно-равнодушная в салонах, здесь, на бульварах, принцесса становилась другой.

Дольше всех сверкал и колобродил бульвар Рошешуар, растянувшийся у подножия Монмартра. Демидов уводил Матильду в артистическое кабаре, где всегда бурлило и кипело веселье. Художники-иностранцы со всех частей света растрачивали в нем последние сбережения, здоровье, устраивая в промозглых, прокуренных подвальчиках ночные праздники.

Париж! Самый веселый город в мире ревностно всеми способами выкачивал золото из иностранцев. Здесь растрачивались миллионы, но золотой поток не оскудевал. На смену одним приходили другие. И в то время, когда рабочий Париж спал, забывшись тяжелым сном, нарядные кафе, бары, кабаре были переполнены.

В кафе их всегда окружали толпой художники, — монмартрская богема хорошо знала русского разгульного барича. Охмелевшие от вина, они в присутствии молодой женщины говорили двусмысленные вещи, а Матильда ясной улыбкой поощряла их.

Над городом гасли огни, пустели кафе, безлюдными становились бульвары, когда они выбирались на улицу, охваченную предутренней свежестью. Она зябко куталась, прижималась к нему и томно просила:

— Теперь скорее отвезите меня домой!

...Они были знакомы около месяца, но уже многие завсегда и кабачков приметили красивую парочку. Каждый день Матильда придумывала все новые и новые капризы, искала новых, более острых развлечений.

В Париже, подле Центрального рынка, всегда кипела своеобразная жизнь. В глухие ночные часы этот район привлекал к себе голодных и тех, кто хотел кутить до утра, — здесь кабаки и бары были открыты всю ночь. Во мраке к рынку с грохотом двигались огромные фургоны, двухколесные фуры, повозки, запряженные медлительными грузными першеронами. Словно страшное, ненасытное чудовище, рынок распахивал двери для потоков овощей, мясных туш, корзин с фруктами, с рыбой, мешков картофеля. И в то время, когда раздавались крики грузчиков, огородников, толстых, расплывшихся торговков, в окрестных кабачках у стоек и за столиками шла своя буйная, неутомная жизнь. Кого только здесь не было! Старые, изношенные женщины, безобразие которых не мог скрыть грубый грим, наглые и циничные апаши, сутенеры, приказчики, всем пресытившиеся господа...

— Поедем в базарное кабаре! — упросила однажды Демидова принцесса. Ей хотелось видеть предутренный кабацкий Париж.

Анатолий повез ее. Он много раз бывал здесь раньше и знакомой узкой лестницей провел ее в этаж для «чистой» публики, к столику в глубине зала. В кабаре царили шум, угар и грязь. За соседними столиками кутили студенты, спуская последнее, иностранцы, дамы с кавалерами, захавшие сюда прямо с бала.

Матильда жадно вдыхала отравленный воздух кабака, глаза ее блестели от возбуждения. Лакей во фраке поторопился подойти к ним, и Анатолий начал выбор блюд по меню, в то время как принцесса, притихнув, очарованно смотрела на танцующую пару. Две плоские, длинные девушки, прильнув друг к другу щеками, телами, ногами, слившись вместе в одно четвероногое мрачное существо, танцевали странный танец. Глаза их глубоко запали в черные глазницы, лица были бледны, и улыбка напоминала оскал. Казалось, два мертвеца танцуют свой загробный танец. Чудился тлен могилы...

Это была не жизнь, а смерть, отрицание светлой радости и чистой большой любви, но Матильда не отрывала взора от танцующих. Анатолий изумленно посмотрел на принцессу. Он начинал понемногу разгадывать ее.

Все здесь кругом было полно самого беззастенчивого цинизма. Высокий сухопарый англичанин, хмельной, с тупыми мрачными глазами, поднимает бокал и льет вино за корсаж своей даме, а она громко визжит, визжит без конца. Она не отбивается, ей весело, чересчур весело. А рядом за столиком, уронив рыжую голову, навзрыд плачет девушка, подруга же ее с возбужденными от кокаина глазами тупо смотрит на пьяное горе.

Сизый от дыма зал наполняет неумолкаемый гомон; в него вплетаются тонкие, нежные звуки скрипки, которая захлебывается в этом грязном омуте. Седовласый старик с шарфом на шее, гордо подняв голову, водит смычком. Глаза его зажмурены. Он, видимо, не хочет видеть угарного веселья, беснования. Или, может быть, он вспомнил свою молодость, золотую юность? Или старается не смотреть на фрукты, вино, женщин, чтобы не раздражать свое голодное тело?

Матильда сидит не шевелясь, прищунив глаза, жадно разглядывая окружающее. Вот парочка — совсем молоденькие, только что

оперившиеся птенцы. Она — наверняка модистка или белошвейка, а он — приказчик, — это выдают его манеры. Они упоены, не сводят влюбленных глаз друг с друга. Время от времени он берет руку возлюбленной и медленно, полужакрыв глаза, самозабвенно целует каждый пальчик. Она улыбается, и на лице неподдельная чистая радость. Как хочется Матильде быть на ее месте! Хорошо испытать подобное!

В этот миг что-то слоновобразное, полосатое тяжелой походкой топает мимо столика, и густой злющий голос рокочет в зале:

— Вот он где! Я содержу его, а он — со шлюхой!

Анатолий, замерев, во все глаза смотрит на Матильду. Толстая рыжая торговка в клетчатом переднике и в бретонском чепце уперлась руками в бока и извергает потоки брани. Наконец она грубо набрасывается на девушку, только что млевшую от восторга, схватывает ее за высокую прическу, треплет и бьет кулаками. В зале раздаются смех и подзадоривания. Буянка опрокидывает девушку на пол, избивает, а хмельные рожи хохочут и ржут. Никто не думает вступить за несчастную.

Утолив ревность, слониха схватывает за руку своего напраказавшего любовника. Он покорно идет за нею, улыбается, а она, колыхаясь толстым, студенистым телом, все еще отпускает по адресу соперницы самую отборную брань...

— Какая мерзость! — с ужасом вскрикнула Матильда. — Ой, какая подлость! — Глаза ее наполнились гневом. Она схватила Анатолия за руку. — Нам здесь не место!

Когда они вышли к Центральному рынку, над стеклянной кровлей догорали огни. Обметали и обмывали тротуары, продавцы готовились к началу торговли. Матильда с брезгливостью посмотрела на толстую женщину с наглыми глазами, присевшую у прилавка, и вздрогнула.

— Какая мерзость! — возмущенно повторила она и затормошила Анатолия. — Подумайте, у него не нашлось мужества вступить за подругу! Низость!

...Над Парижем занимался рассвет. Анатолий взял фиакр, усадил рядом с собой принцессу, и они помчались по бульварам.

Она всю дорогу молчала, опустив голову на грудь. Он незаметно любовался ее возбужденным лицом.

Когда фиакр остановился, Матильда вдруг оживилась. Весело прошептала:

— Наконец-то вы мне нравитесь, мой милый!

И не успел Анатолий опомниться, как она обняла его и жарко, поспешно поцеловала. Выпорхнула из фиакра и приложила мизинец к губам:

— Молчите! Дальше нельзя... Вам следует поговорить с моим отцом!..

Темная фигурка ее мелькнула, словно бабочка, под фонарем подъезда, и быстро исчезла.

Извозчик вздохнул:

— Все они таковы, мосье! — тихо покачал он головой. — Только и стараются надеть упряжь нашему брату! Э-ге, пошли! — крикнул он на трусивших коней, и фиакр снова загремел по мостовой.

Отец Матильды, бывший вестфальский король Жером, занимал ныне очень скромную должность директора Дома инвалидов. Направляясь к нему, Анатолий предполагал встретить ветхую руину человека. В большом обществе очень много рассказывали о похождениях старого селадона, вся жизнь которого ушла на бесконечные амурные дела. В браке бывший король не нашел счастья: с первой женой, американкой Паттерсон, Жером развелся, а вторая жена, принцесса Екатерина Вюртембергская, мать Матильды, скончалась, оставив Жерома вдовцом. Все это должно было оставить на нем неизгладимый след, и Демидов весьма поразился, когда в скромной казенной квартирке Дома инвалидов встретил бодрого, молодящегося старика, державшегося с большим достоинством. Гостя он принял с распростертыми объятиями и удостоил его приглашением к обеденному столу. Развенчанный король был женат теперь на простой флорентинке Бартолини, высокой и строгой даме с ястребиным носом. Жером трепетал перед нею, величая супругу маркизой.

Когда усаживались за стол, он, по обычаю коронованных особ, усадил жену слева, а гостя справа, оказывая тем ему высокую честь. Трапеза началась в полной тишине, торжественно. Матильда, не спуская глаз с Анатолия и отца, то вспыхивала, то бледнела. Она

трепетала, когда Демидов украдкой разглядывал обстановку, представлявшую собой рухлядь, служившую по крайней мере нескольким поколениям. В квартире все выглядело убого, красноречиво говоря о тщательно скрываемой нищете. Плохо выбритый слуга в штопаных нитяных перчатках подавал на стол. Движения этого першерона с угрюмым взглядом были замечательно неуклюжи и грубы. Он с явным неудовольствием ставил перед Демидовым скромные блюда и наливал ему в бокал плохое вино. Мрачно склонившись над гостем, он в нерешительности несколько секунд держал графин над бокалом, видимо раздумывая, стоит ли наливать приглашенному драгоценную влагу? Только злой взгляд «короля» заставлял его наполнять хрустальный сосуд.

Обычно дерзкая, бесцеремонная и насмешливая в обращении с другими, здесь, в квартире отца, Матильда притихла, зябко поеживалась, внутренне трепеща за исход задуманного. Умная и предусмотрительная во всем, она, без сомнения, хорошо понимала, что Демидов догадывается о нищете их семейства.

«Что бы сказал Анатолий, если бы узнал, что этот увалень слуга является во всем доме единственным, играя роль повара, конюха, лакея и камердинера! — с ужасом думала принцесса. — И как держался бы он, если б узнал, что мачеха, „маркиза“ Бартолини, сама штопала слуге нитяные перчатки, ругая при этом его, как последняя торговка на базаре!»

Только поведением своего отца дочь осталась вполне довольна. «Король» Жером держался осанисто и, как опытный капитан дальнего плавания, ловко проводил свое суденышко среди рифов и подводных камней. Чтобы напомнить Анатолию, с кем он имеет дело, Жером весьма много говорил о недавней старине, о своих дворцах в Вестфалии и особенно широко разглагольствовал о привычках своего брата, Наполеона I. В движениях бывшего короля сквозило немало театральности, наигранности, и Демидову становилось приятно, когда сквозь всю наносную шелуху ему вдруг удавалось в лице Жерома уловить что-то величавое, строгое, отдаленно напоминавшее черты Наполеона I. Просто не верилось, что этот чудаковатый, церемонный старик когда-то сидел на королевском престоле.

Живя в Париже, Демидов многому научился. Он хорошо знал, что за всей этой словесной мишурой и наивной театральностью в

поведении бывшего короля скрываются огромные долги и пошлости. Сидя за столом Жерома, он прекрасно ощущал всю тщетность усилий бывшего короля прикрыть высокопарной болтовней свою бедность. Он знал, что за громким титулом принцессы Матильды де Монфор скрываются нищета и безденежье. Анатолий не самообольщался, но его тщеславию льстило, что все же его избранница — родная племянница Наполеона I и дочь бывшего короля. Из песни слова не выбросишь! Чего стоит одна слава!

«Пусть знают в России, что Демидов породнился с родом императора Бонапарта! — горделиво рассуждал он. — А все остальное — чепуха! У меня хватит денег прикрыть эту наготу!»

После обеда Жером увел Анатолия к себе, в полутемный кабинет. Перед истертым диваном на круглом столике стояли две чашки черного кофе. Жером устало опустился и пригласил гостя сесть рядом.

Наступил решительный момент, и Демидов хорошо это понял. Хозяин придвинул ящичек с сигарами и любезно предложил их гостю.

Лицо «короля» выглядело спокойно и серьезно. Наклоняясь к Анатолию, он сдержанно, как о самой обыкновенной вещи, спросил:

— Теперь скажите, мой милый Демидов, какие ваши намерения?

Анатолий встрепенулся, — все шло хорошо.

— Я хочу просить у вас руки вашей дочери! — с улыбкой признался он.

— Ах, мой милый! — прослезился Жером. — Как неожиданно вы нанесли мне удар в самое сердце! Что я буду делать без моего сокровища? — Он потянулся и, обняв Демидова, по-стариковски всхлипнул. — Я понимаю, очень хорошо понимаю вас, моих дорогих голубков. Когда любят, обычно не знают преград! — ласково заворковал он, но тут как бы спохватился, освободил Демидова и, тяжело опустив голову, сидя в задумчивой позе, вымолвил: — Что же вам сказать? Есть маленькое «но», однако я не смею огорчить вас им. Нет, нет, не смею! — решительным тоном выговорил он, поднялся с дивана и заходил по зашарканному ковру. — Право, не знаю, как и быть! — в деланном раздумье продолжал он. — В таких делах я, мой милый, совершенный профан, хотя и король! — В голосе Жерома прозвучали горделивые нотки. — Знаете что? Это маленькое «но» великолепно разрешит маркиза Бартолини. В таких вещах она разбирается лучше императоров и королей! Идем же к ней!

Он любезно взял Анатолия под руку и увлек к супруге. Матильды в комнате не было. В большом сумрачном зале их встретила одинокая «маркиза».

— Вот, передаю вам, моя очаровательная! — сказал Жером, учтиво поклонился и поспешил удалиться.

Грузная флорентинка с темными оливковыми глазами, под которыми набухли серые мешки, усадила Демидова рядом и сладчайшим голосом сама повела речь:

— Я догадываюсь, в чем дело, мосье! Вы избрали самое лучшее, что можно найти в Париже. Это прелестное существо, настоящий ангел! Да, да, ангел! — Она молитвенно сложила руки и возвела очи горе. С пламенной страстностью она в течение часа убеждала Анатолия в достоинствах своей падчерицы. Демидов диву дался: то ли она в самом деле так сильно любит Матильду, то ли старается поскорее сбить ее с рук?

— Ангел, ангел небесный! — сладко вздыхала Бартолини. — Но вы ведь должны понять, что мой король будет в большом затруднении. Сможете ли вы их преодолеть? Ведь вам предстоит не простой брак! — торжественно заключила она и пристально посмотрела ему в глаза.

— Постараюсь преодолеть все препятствия! — решительно ответил Демидов и, загораясь желанием разом покончить дело, стал настаивать: — Скажите, в чем дело? Речь идет о приданом? Оно мне не нужно!..

— Нет, нет, это еще не все! — сверкая глазами, обрадовалась флорентинка. В голове ее быстро промелькнула мысль: «Слава богу, половина дела устроена!»

Поколебавшись с минуту, она умильно призналась Анатолию:

— Матильда имеет титул... Дочь короля... Племянница императора... Понимаете, ей не совсем удобно в глазах общества выходить замуж за простого дворянина. Не обижайтесь; ради всего святого, не обижайтесь! — прильнув жирным плечом к гостю, залепетала Бартолини.

— Что же тогда делать? — огорченно спросил Демидов, а в душе его все бушевало от оскорбления. Ему хотелось вскочить, затопать ногами и закричать попросту, по-дедовски: «Нищebroды! А ты кто

сама, давно ли стала изображать собою маркизу? Хорош и король, у которого лакей прислуживает за столом в штопаных перчатках!»

Однако он сдержался, потемнел и опустил голову. Тогда послышался тихий, вкрадчивый голос итальянки.

— Что предпринять? — как эхо повторила она. — Для вас, сын мой, все это просто. Вы так богаты, так сказочно богаты! В конце концов можно купить титул. Я знаю одно княжество... Да, да, Сан-Донато, под Флоренцией... Надо его купить вместе с титулом. Вы станете князем Сан-Донато! Прелестно! Да благословит вас мадонна! — Она рассматривала его коровьими глазами и хладнокровно, как решенное дело, сказала Анатолию: — Когда вы едете в Италию? Завтра или через неделю? Впрочем... — Тень озабоченности легла на лицо флорентинки. — Впрочем, нужно позаботиться о приданом. Конечно! Отец разорился на ее наряды...

Она уже командовала и высчитывала, как хозяйка. Демидова коробило от бесцеремонности этой увядшей женщины, которая, не спрашивая, распоряжалась его богатством. Однако он терпеливо со всем соглашался.

Когда итальянка оговорила все до мелочей, она вдруг улыбнулась и захлопала в ладоши.

— Жером! Матильда! Где вы? Идите скорее сюда! — по-мужски зычно закричала она, упираясь короткими руками в крутые жирные бока.

На ее зов мгновенно появились отец и дочь. Раскинув руки, Жером привлек к себе Анатолия и Матильду и, снова старчески всхлипывая, заговорил совсем весело:

— Я очень рад, очень, что все хорошо устроилось! Будьте счастливы, дети мои!

Посредине комнаты, подбоченившись, в позе победительницы стояла «маркиза» Бартолини.

— Мосье Демидов, благодарите небо за ниспосланное вам счастье: вы роднитесь с королями! — торжественным голосом провозгласила она.

...С этого дня обрученные забыли дорогу в шумящий, разнузданный Монмартр. Они решительно избегали художников и былых знакомых по кабачкам. Анатолий и Матильда ревностно занялись приобретением приданого. Невеста неумоимо развозила

жениха по магазинам, ателье и антикварным лавкам. Приказчики выбрасывали перед нею груды шелка и нежнейших тканей. Она жадно зарывалась в их пену руками. Казалось, наслаждению ее не будет предела. Можно было ожидать, что вот-вот она целиком нырнет в этот поток шелестящей нежной пены, чтобы насытиться сладостью обладания им. Демидов поражался мотовству своей будущей супруги. Она покупала десятки, сотни ненужных вещей, отыскивая на берегу Сены мрачноватые антикварные магазины.

— Погляди, как он мило и загадочно улыбается! — тормозила она Анатолия, показывая на золоченого Будду, таинственно глядевшего из полумрака магазина. — Непременно эту безделицу надо отослать домой!

Долго сдерживаемая жажда роскоши овладела Матильдой, — ей хотелось все иметь. Особенно не давали ей покоя наряды...

На короткие часы Анатолию удавалось оставаться без невесты, и тогда он, по старой привычке, бежал в ближайший монмартрский кабачок, где его шумно встречали знакомые художники. Они пели ему шуточные печальные песенки, слегка подтрунивая над ним.

Только один раз за всю неделю удалось зайти к Гонкуру, с дружеской укоризной встретившему его.

— Вы забыли меня, совсем забыли! — упрекал он Демидова.

В эту встречу так и не наладилось веселого, приятного разговора об искусстве. Эдмонд держался настороженно, словно потерял что-то дорогое и теперь скорбит об этом.

Анатолий с легкой насмешкой рассказал ему о своих поездках по магазинам, ателье и модисткам. Гонкур покачал головой.

Провожая гостя, Эдмонд тяжело вздохнул:

— Берегитесь, Демидов, эта золотая курочка разорит вас!..

Назавтра Анатолий, благословляемый Бартолини, выехал в Италию.

Здесь, во Флоренции, все еще пустовало огромное отцовское палаццо, оберегаемое слугами во главе с управляющим Мелькиером — пронырливым, дородным итальянцем, с тяжелой нижней челюстью, выпиравшей, как у гиббона. Молодой хозяин ожил, почувствовал прилив сил и занялся устройством дел. Бартолини оказалась права — княжество Сан-Дonato продавалось вместе с титулом. Анатолий с Мелькнером поехали в имение, тщательно

осмотрели дворец, окрестности и остались очарованными. Бродя по залам дворца, Анатолий мысленно занимался его отделкой.

Если в Париже сгорала от нетерпения приобретать нужное и ненужное Матильда, то в Италии внезапно проявил бурную деятельность Демидов. Он добился признания за ним титула князя Сан-Донато. По его настоянию Мелькиер отыскивал по всей Италии три тысячи стройных, сильных стрелков, формируя из них придворную гвардию. Со всех концов страны в Сан-Донато съехались и сошлись каменщики, мраморщики, резчики, позолотчики и взялись за переустройство дворца.

Анатолий Демидов, князь Сан-Донато, готовился к приему принцессы Матильды де Монфор в своем крошечном государстве, отстоявшем на расстоянии всего нескольких миль от Флоренции.

...Анатолий Николаевич почтительно проводил супругу до дверей спальни, и оба весело переглянулись. Светло-серые с золотистыми искорками глаза Матильды призывно мерцали на бледно-матовом лице. Она раскрыла пухлые губки, хотела что-то сказать, но зарделась и только улыбнулась. Муж нежно поцеловал теплую ладонь жены и оставил ее одну.

Она вошла в огромную, высокую комнату, отделанную шелком с позолотой. Что-то театрально-бутафорское было во всем, что окружило молодую женщину за порогом спальни. Перед ней тотчас появилась камеристка, худощавая, но хорошо сложенная блондинка. Девушка сделала книксен и, ожидая приказаний, восторженно смотрела на госпожу. Нежные, тонкие черты лица прислуги были приятны. Матильда благосклонно улыбнулась служанке.

«Наконец-то окончилось скучное свадебное путешествие!» — облегченно подумала она и, краснея, сказала камеристке:

— Вы мне не нужны! Можете уходить!

Девушка послушно склонила голову, но не уходила. Она не могла уйти, не уложив госпожу в постель.

На минуту молодая женщина забыла о своей служанке. С чисто женским любопытством Матильда разглядывала комнату, ее будущее гнездышко. Посреди паркетного пола, на возвышении под шелковым балдахинном, стояла величественная кровать красного дерева —

замысловатое, подавляющее вычурностью сооружение. Балдахин поддерживали нежнокрылые амуры. А кругом — гирлянды искусственных цветов, раковины, драпировки, ленты, зеркала. Сверху на паркет и ковры ровно лился густо-голубой свет ночного фонаря, озаряя тонкие кружева и простыни. По правде говоря, она не ожидала такой пышности. Матильда медленно поднялась на возвышение, пристально оглядела подавляющую роскошь и сладко вздохнула:

— Какое прекрасное ложе!

С кошачьей легкостью, неслышно к ней подошла камеристка и стала ее раздевать.

Когда служанка ушла, Матильда легла в постель и закинула за голову тонкие руки. Матовый свет заливал ее голубой волной, играл нежным мерцанием в зеркалах. Лежа на пышной постели, молодая женщина видела себя отраженной много раз и долго любовалась собой. Глаза ее по-прежнему струили золотистые искорки, как костер в синей ночной мгле.

Она ждала мужа и томилась.

Незаметно подкрался сон, и Матильда не помнила, сколько времени она продремала под теплым голубым светом. На мраморном камине мелодично прозвенели часы. Она проснулась вдруг от непонятного страха. В спальне стояла сонная глубокая тишина, ровно лился свет. Никогда в жизни она не чувствовала такого одиночества, как в эту ночь! Ей хотелось вскочить, закричать, позвать камеристку, но гордость не позволила ей снизойти до этого.

«Что же он медлит?» — с изумлением подумала она, уткнулась в подушку и горячим дыханием обожгла ее. На ресницах заблестели слезы обиды и оскорбления.

Несколько раз проиграли затаенно-нежно часы, а она все не могла уснуть: ворочалась, маленькими сильными кулаками взбивала подушку и прислушивалась к тишине.

«Что же он не идет? — беспрестанно спрашивала она себя. — Это ужасно и недопустимо! Невозможно!»

Все в ней протестовало против неожиданного одиночества, но самое главное — ее все больше и больше обуревал страх в этой большой и молчаливой комнате. Терпение истощилось; страхась чего-то и дрожа от негодования и прохлады, она схватила легкую подушку и вместе с ней, в ночном халатике, вышла из спальни...

Было далеко за полночь. В широкие окна лилась густая лунная мгла, светившаяся, как изумрудное тело медузы. Матильда неслышно шла, как лунатик, — с протянутыми руками, белая, невесомая в потоках этого призрачного света. Глаза светились восхитительными искорками, — они сияли от злого возбуждения. Сердце бурлило гневом...

Вот наконец спальня мужа! С подушкой в руке, растерянная и дрожащая, она стояла перед высокой, массивной дверью. Мужество оставило ее, она готова была расплакаться, как девочка, но только робко постучала в дверь и тихо-тихо позвала:

— Анатоль! Анатоль!

Никто не отвечал. Лицо молодой женщины вытянулось, головка поникла. Какой несчастной она почувствовала себя в эту минуту!

— Анатоль! — вдруг резко закричала она и стала барабанить кулаками в полированную поверхность.

За дверью послышался шорох, кто-то неслышно подошел и встревоженно спросил:

— Кто здесь?

— Анатоль, это я! Это я! — задыхаясь, повторяла она.

Князь Сан-Дonato тихо распахнул дверь и впустил жену в свою комнату. Он был в ночной, доходившей до пят, рубашке и в колпаке, в дрожащей руке держал зажженный канделябр.

— Боже мой, что вы? — в ужасе прошептал он и взял ее за руку. — Как вы решились? Что может подумать о нас прислуга?

Матильда сердито взглянула на мужа. Искорки в ее светлых глазах превратились в гневные, колючие булавки.

— Идемте спать! — требовательно выкрикнула она. — Мне нет дела до других!

Она быстрыми шажками подбежала к алькову мужа, бросила туда свою легкую подушку и вслед за ней опустилась в мягкую постель.

— Гасите свет! — приказала она, и Демидов покорно затушил одну за другою свечи...

Утром она вернулась на свою половину грустная и разбитая. До полудня молодая женщина неподвижно пролежала в постели, задумчиво разглядывая амуров. Камеристка тщательно одела госпожу, но прелестный наряд не улучшил настроения Матильды, и вид ее по-прежнему оставался безрадостным.

С этого дня Матильда сходилась с мужем только за обедом и завтраком. Хотя они и совершали совместные прогулки, но супруга сразу охладела к Анатолию. Часто в минуты разъездов, когда они сидели рядом в экипаже, он ловил на лице жены выражение то презрения, то брезгливости, а прекрасные глаза ее обдавали его ледяным холодом.

Княгиня Сан-Дonato одиноко бродила по пышным, но неудобным залам дворца, в котором все было принесено в жертву показному великолепию. Слуги в роскошных, расшитых золотыми позументами ливреях, охранная дворцовая гвардия, конюшни с чистокровными выездными лошадьми — все это придавало внешний блеск существованию, но не приносило долгожданной радости.

Камеристка давно заметила томление и муки своей госпожи. Однажды, разоблачая княгиню на ночь, служанка понимающе улыбнулась, вздохнула. В ответ на это Матильда застенчиво призналась камеристке:

— Он робок или бог знает что!

Девушка сверкнула глазами.

— Мужчины всегда такие! — горячо сказала она. — Когда им дается счастье в руки, они слабеют, охладевают! Они любят препятствия!

— Полно, моя дурочка, это далеко не так! — весело рассмеялась Матильда и схватила ее за подбородок. — У тебя хорошие зубки, Аннет!.. Хорошо, сделаю по твоему совету! — сказала она, а сама разочарованно подумала: «Нет, он не придет ко мне! Нужно самой! Пора спросить, что же, когда?»

Она снова пришла к нему ночью, словно кающаяся грешница, и робко постучалась в дверь. Демидов открыл свою комнату и впустил жену. Она устало опустилась в глубокое вольтеровское кресло, закрыла рукой глаза, глубоко вздохнула:

— Анатолий, скажи, что случилось?

Тонкий, исхудалый, в длинной ночной рубашке, он походил на призрак. Ироническая улыбка скользнула по его губам. Он насмешливо ответил ей:

— Моя милая женушка, я очень долго ждал вас и сильно терзался. Что же мне оставалось в утешение? Одно — женщины! Видимо, я не рассчитал своих сил на будущее.

Не успел он окончить, как раздалась звонкая пощечина.

— Вор! Вы обворовали меня! — с негодованием закричала она и выбежала из его комнаты.

С этой ночи они были еще более сдержанны по отношению друг к другу. Никто не заметил трещинки в их семейном счастье. За завтраком Анатолий со святой невозмутимостью справлялся у жены:

— Как почивали, мой друг?

Лучезарные и радостные глаза Матильды устремлялись к голубому небу:

— Превосходно!

Однако княгиня скоро стала томиться. Чтобы развлечься, она решила заниматься живописью. Во Флоренции подвизались сотни голодающих художников, и Анатолий привез одного из них в Сан-Дonato. Но странное дело — он ни на минуту не оставлял свою жену наедине с черноглазым бойким итальянцем. Князь терпеливо долгие часы просиживал с ними в обширном светлом зале, где шли уроки, и не менее терпеливо выслушивал болтовню Матильды. В эти часы, казалось, она вспыхивала, как свечечка, и своим мягким золотым сиянием озаряла художника.

Жена разводила на холстах пачкотню, а итальянец умильно разглядывал ее и фальшиво восторгался:

— О, как превосходно, синьора! Здесь почти линия Рафаэля!

«Бесстыдник! Лжец! — хотелось закричать Анатолию и затопать ногами. — Как смеешь ты низводить гения до пошлости?»

Однако он сдерживался и учтиво прерывал учителя:

— Не говорите этого, княгиня возомнит о себе!

Матильда не обижалась на мужа, по крайней мере делала вид, что не обижается. При художнике она обнимала Анатолия и целовала в лоб.

— Какой же ты злой! — весело щебетала она.

Демидов чувствовал фальшь в ее смехе, в движениях, во взглядах. Однажды он перехватил мимолетный многозначительный взгляд Матильды, которым она перекинулась с итальянцем. Князю Сан-Дonato стало не по себе.

«Между ними что-то есть!» — решил он и еще строже стал наблюдать за женой во время уроков.

Наконец молодая женщина не выдержала комедии и покинула живопись, чтобы больше не возвращаться к ней.

— Скучно! — с нескрываемой зевотой призналась она и забросила искусство.

Многие месяцы молодые супруги вели отчужденный образ жизни. Сохраняя внешне мир и учтивость, они ненавидели друг друга. Демидов вполне удовлетворил свое самолюбие перед светским обществом: он, потомок тульских кузнецов, женат на дочери вестфальского короля! Во всех других отношениях его супруга ничем не отличалась от обычных пустых и легкомысленных женщин. У нее ничего не было святого и благородного. При заключении брачного контракта в мэрии Анатолий подписал торжественное обещание воспитывать будущих детей в духе римско-католической церкви, — этого настойчиво добивалась невеста. На самом деле уже тогда они заведомо обманывали друг друга, так как пользовавшийся Демидова врач заявил ему: «Мосье, вы вконец израсходовались. Я должен вас предупредить о печальном будущем: у вас не будет детей». Двадцатидевятилетний мужчина, лысоватый, с утомленными глазами, владелец огромных богатств, безразлично пожал плечами. «Не будет — и не надо! Сударь, меня интересуют мои потомки так же, как прах и кости моих предков! Я живу только для себя и в свое удовольствие, а остальное меня не касается!» — цинично сказал он.

Подписывая брачный договор, принцесса, в свою очередь, безразлично относилась к делам католической церкви. Она никогда и ничего не понимала в церковных обрядах, предоставляя этим заниматься священникам. На пункте о вероисповедовании будущих детей князя Сан-Донато настаивал кардинал, и принцесса не могла отказать ему в этом: она всегда с благоговением относилась к красной кардинальской мантии. Сейчас, живя в небольшом княжестве под Флоренцией, она давно забыла о важном пункте контракта.

Совсем неожиданно осанистый дворецкий корректно, с таинственным видом доложил Демидову:

— Ваша светлость, прошу уберечь княгиню от недоразумений. Эти жирные каплуны попы везде суют свой нос!

— Что им нужно в моем дворце? — взволнованно спросил Анатолий.

— Ах, ваша светлость, разве вы не знаете, что они стерегут наши души! — тихо сообщил дворецкий. — Они могут увидеть... Их светлость взяли из домашней церкви золотую чашу и по незнанию превратили ее в некий сосуд известного назначения...

Сан-Дonato улыбнулся выходке супруги.

— Ну, милый мой, это меня не касается. Предупредите ее светлость о грозе, — еле сдерживаясь от смеха, сказал он.

Дворецкий послушно поклонился.

Изящный, полный прелести безмятежный мирок, который окружал Демидову, показался ей чересчур тесным и однообразным. Через полгода она потребовала у супруга:

— В Париж! В Париж! Я задыхаюсь здесь, в пресной воде этого голубого аквариума!

Как древооточек грызет старинную мебель, так усердно она точила мужа в течение трех недель. Наконец он согласился, махнув на все рукой:

— В Париж так в Париж!

По совести говоря, он и сам не прочь был пожуировать в этом Вавилоне. Даже для него там найдутся утехи!

Они отправились в карете в приятное весеннее путешествие через Альпы, Канны, Ривьеру, полные оживления и радостей. Два месяца они прожили на лазурном берегу Средиземного моря, и Анатолий, чтобы не показать себя потомком плебеев, терпеливо сносил флирт своей супруги и сам не оставался в долгу. Покинутый Матильдой на долгие часы, Демидов бродил по берегу моря, уходил в горы, и там, в маленьких деревушках любовался стадами овец, домашней птицей и грузными медленными быками, тащившими по темной пашне тяжелый плуг. По соседству с пышной Ривьерой существовал иной мир — обиталище суровых и грубых поселян, тяжелого труда и простых отношений. За князем Сан-Дonato всегда бегали толпы оборванных ребятишек, жадных попрошайек с протянутыми за подачкой загорелыми ручонками.

Однажды на берегу моря он встретил смуглую смеющуюся девочку. Она была одета в сильно изношенную полинявшую рубашонку, но это единственное ветхое одеяние являлось самой

лучшей оправой для четырнадцатилетней резвуньи. Сквозь дыры коротенькой рубашонки мелькало ее крепкое бронзовое тело. Изумленными глазами дикарки она смотрела на Демидова, протянувшего ей золотую монету. Девочка растерянно смотрела по сторонам, не зная, что делать: верить ли внезапному счастью или поскорее убежать от него. Ее мелкие белые зубы блестели, как влажный жемчуг, жадный взгляд перебегал с рослой фигуры незнакомца на монету и обратно. В этом маленьком существе происходила борьба, но голод должен был в конце концов победить. Улыбаясь, она взяла золотую монету и крепко зажала в руке. Потупив глаза, девочка испуганно поглядывала на господина и чего-то ждала, но Демидов только нежно потрепал ее по щеке:

— Какая ты красавица, крошка!

— Благодарю, мосье! — быстро присела она и, мелькнув босыми ножками, побежала вверх по горной тропе.

В три дня он приручил к себе эту маленькую приморскую дикарку. Может быть, приносимая ею каждый раз золотая монета подкупила сердце ее родных, но она аккуратно в полдень прибегала на берег. Раз он опоздал и пришел внезапно, когда она купалась. В белой пене прибоя ее тело тускло блестело золотым слитком. Завидя Анатолия, она поспешно убежала за кустик и накинула на себя рубашонку. Дикарка не успела завязать на шее шнурок, стягивавший в складки ее старенькую одежду, и Демидов заметил маленькую обнаженную грудь, золотистую и почти созревшую.

Бесконечно взволнованный, он выждал, когда она закончит свой несложный туалет, сел рядом с ней, и давным-давно забытое волнение овладело им. Боясь спугнуть ее, он решил действовать осторожнее.

— Сведи меня в деревню, к твоему отцу! Я хочу видеть его и поговорить о твоей судьбе, — предложил он.

Девочка встрепенулась, смуглое личико ее вытянулось, в глазах была печаль.

— Ах, мосье! — грустно отозвалась она. — У меня нет ни отца, ни матери. Я живу у тетушки.

— С ней столкнуться будет еще легче, — сказал Анатолий и, взяв ребенка за руку, сказал, как повелитель: — Веди!

Она привела князя в какую-то трущобу. В лачуге без окон, без мебели, на куче травы лежала седая рыхлая женщина. Она изумилась

при виде гостя, но не поднялась. От нищенки разило вином. Мутными алчными глазами старуха уставилась на Анатолия.

— Ах, мосье, вы, оказывается, красавец! Если бы я была моложе, не уступила бы вас племяннице! — бесцеремонно разглядывая его, сказала она. — Кш! Кш! — замахала она на девочку. — Уйди, дай мне поговорить с мосье!

Сверкнув глазами, дикарка выбежала за порог. Там под густой тенью платана послышался ее ломкий, звонкий голосок. Тетушка прислушалась к пению ребенка, тяжело вздохнула:

— Поверьте, и я когда-то так пела! В ее возрасте я уже имела любовника. Ах, мосье, поверите ли, как мне жаль это сокровище! Как хотите, это же родная кровь! Но я дала покойной сестре слово устроить судьбу ее Мари. Отчего же нет? На что я могу рассчитывать, мосье?

Эта откровенность покорила Демидова, но привычка видеть во всем продажность взяла свое. Не опуская взора, он прямо смотрел на старуху.

— Тысячу франков, — тихо предложил он.

— О, мосье, это так мало! Из этого не сделать и приданого моей малютке. Ах, мне жалко ее, так жалко! — Она прижала грязную руку к сердцу, и пьяные слезы потекли по ее дряблым щекам. — А потом учтите: и мне утешиться необходимо. Нет, мосье, дайте две тысячи франков, и тогда я согласна!

— Хорошо! — согласился Демидов и протянул ей визитную карточку. — Отправьте девочку в этот отель!..

В сопровождении кавалеров и дам княгиня Сан-Дonato отправилась на день-два в Монте-Карло испытать счастье. В этот день старуха привела Мари. Девочка очень много потеряла в новом голубеньком платьице и башмаках.

Демидов бесцеремонно прогнал старуху:

— Вы пока не нужны мне!

Кряхтя и жалуясь на судьбу, женщина нехотя покинула отель, оставив подростка с Демидовым. Анатолий посадил свою маленькую гостью за стол. Бесстрастный, с окаменелым лицом слуга прислуживал им, подавая блюда и наливая в бокалы вино. Девочка со страхом

поглядывала на черный фрак лакея, на его белые перчатки и не могла сдержаться, чтобы не спросить Анатолия:

— Кто этот строгий господин?

— Это неважно: он не сделает тебе ничего плохого. Пей, моя золотая!

После двух бокалов шампанского Мари захлопала в ладоши и засмеялась. Она смеялась звонко, как заливается колокольчик в горах. Смех ребенка был беззаботен, радостен и брызгал, как искорки в бокале шампанского...

Ребенок опьянел, возился, словно котенок, всему удивляясь и резвясь. Демидов строго взглянул на лакея, и тот бесшумно удалился. Маленькая резвушка покорно уселась рядом с Демидовым.

— Ты пьяна, мое золотце. Иди усни немножко! — Он уложил ее на софу, а сам присел рядом.

Мари покорно прикорнула среди пуфов, сбросив грубые башмаки на ковер, и быстро безмятежно уснула...

Так до вечера просидел Анатолий подле своей гостьи, любуясь ее загорелыми ногами, крепкими, с легким золотистым пушком, и тонким, тихо посапывающим носиком. В углу комнаты стали сгущаться сумерки, когда Мари проснулась.

И в этот миг, точно по уговору, старуха переступила порог.

— Ах, как жаль, что вы уезжаете, мосье! — огорченно заговорила она, беспрестанно ощупывая в кармане тысячефранковые билеты. — Вы щедры, очень щедры!

Она пошептала с племянницей, и глаза старой женщины округлились от удивления:

— Ей положительно везет, мосье! — с материнским умилением сказала она. — Да благословит ее мадонна, она снова сухой вышла из воды! Полгода назад она на взморье понравилась одному невзрачному старичку. Этаким скряга с плешивой головой. Он уплатил триста франков и был так же снисходителен к моей девочке. Ах, мосье, какое это счастье! — Она подняла глаза к потолку и трижды набожно перекрестилась: — Пошли вам мать божия удачи...

Они ушли, а Демидов долго с балкона любовался маленькой гостьей. Она еле попевала за широко шагающей старухой, а в руках ее раскачивались на тесемочке снятые башмаки...

Матильда вернулась из Монте-Карло оживленная, без умолку щебечущая и сейчас же потребовала:

— В Париж! Скорее в Париж!

Но в летние месяцы «большой» Париж перемещался на взморье. На Елисейских полях, в Булони и на бульварах было пустынно: дамы и кавалеры отбыли на сезон купаний. И Матильда снова застонала:

— В Бретань! Скорее в Бретань! Там сейчас разгар сезона!

Попав в свою стихию, Демидова и минутки не оставалась спокойной. Она объехала знакомые салоны, всюду болтая об искусстве, литературе и музыке.

Наконец через неделю Анатолий увез супругу в Бретань.

На западном берегу Финистера, неподалеку от деревушки Сент-Этьен, у самого океана они сняли заброшенный старый замок — с зубчатой стеной, рвом и полуразрушенными бойницами. От него в глубь провинции тянулась широкая зеленая долина, утопавшая в яблонях и розах. Здесь все еще сохраняло бретонскую старину: тихие поэтические деревушки, развалины замков, ветхая часовня с выбитыми стеклами, остатками двери и портиком с древней статуей богоматери. Неподалеку от часовни валялись в чаще зеленого леса огромные камни — единственный остаток исчезнувшего монастыря.

В замке было все, что мечтала иметь Матильда. В огромном закопченном камине пустынного зала с мрачной мебелью вечерами весело трещали дрова, бросая светлое пламя и причудливые тени. Здесь, в покинутом гнезде феодала, было тепло и уютно. Хорошенькая служанка в жаркие полдни приносила из погреба холодный сидр и вино. Приятно было выпить его после прогулки.

В темные ночи в замок доносился глухой прибой океана, отчего мрачновато и страшно делалось в рыцарском гнезде. Раз в комнату ворвался сильный порыв ветра и задул свечи в канделябрах. Стало жутко, темно.

— Я боюсь! Ох, я ужасно боюсь! — закричала Матильда, прижимаясь к мужу.

— Тогда надо переехать в деревенский отель! — предложил Анатолий.

— Что ты, что ты, мой милый! — запротестовала жена. — В этом страхе вся прелесть. Хорошо бы, если б еще привидения здесь были!

Утром Демидов попросил старика управляющего, молчаливого, сурового бретонца, заделать получше рамы. Полушутя, он сказал ему:

— Жаль, что в замке нет привидений!

— Помилуй бог, сударь! — набожно перекрестился старик. — О них давно забыли, но...

Он приблизился к Демидову и таинственно прошептал:

— Мне самому недавно такое привиделось... Ох, мать божья!

— Да что ты! — весело вскрикнул Анатолий. — Ты хоть расскажи.

— Извольте, сударь! — Старик лукаво посмотрел на Демидова, подумал и тихо сказал: — Знаете, сударь, большой зал, тот самый, в котором камин. Мне довелось под хмельком весной отсиживаться там от старухи. Она, извольте знать, не любит, когда я посещаю «Приют трех разбойников». И вот сижу в одиночестве, чтобы не скучать, разжег в камине дрова и, пригревшись, вздремнул малость... Тут часы пробили полночь. И что вы думаете, сударь: с последним ударом часов распахнулась дверь, и в зал вошла похоронная процессия. Видит господь и пресвятая мать божия, не вру! — Бретонец снял шляпу и набожно перекрестился. — Впереди шел старик в широком плаще, высокий, с длинными седыми волосами. Под плащом у него блестели доспехи. За ним несли открытый гроб, а в нем лежало тело покойной госпожи. Медленным шагом они направились через весь зал, не заметив меня, молча прошли во двор замка, и я видел в окно, ваша светлость, как они направились к маленькой часовне... Я узнал их, мосье. Узнал и видел, как вижу сейчас вас. Это был дедушка нынешнего хозяина замка и его жена, которую он прирезал, застав наедине с пажом. Верьте мне, сударь. Да будет благословенно имя матери божьей! — Старик снова перекрестился и лукаво улыбнулся Демидову. — Как видите, здесь все есть. Мы денег даром не берем. Упаси нас бог!

Неторопливой походкой он ушел в глухой парк. Среди вековых деревьев долго мелькала его сухая согбенная фигура.

Когда Демидов передал жене рассказ бретонца, она радостно захлопала в ладоши.

— Как превосходно! Ведь это клад! Как хорошо, что здесь все угрюмо, пусто! Я жажду одиночества и тишины!.. Ах, Анатоль, я безумно устала! — капризно пожаловалась она...

Утром они уходили на море, которое струилось и серебрилось под солнцем. Бесчисленное множество чаек, гагар, бакланов носилось над волнами. Серые скалы, покрытые мхами, казались пилигримами, идущими на поклонение океану. Веселый свет струился с небес, украшая позолотой побережье. Однажды в полдень из местных казарм выехали к морю драгуны. Они сбросили на берегу мундиры и купали резвых лошадей. Под потоками солнечного сияния голые загорелые бретонцы, сидя без седел на гривастых конях, плыли в серебристое море. В изумрудной волне океана всадники казались золотистыми мускулистыми кентаврами, собравшимися плыть в заокеанские дали.

— Смотри, какая прелесть! — залюбовалась ими Матильда. — Это божественно!

Крепкие могучие тела сверкали от соленых брызг. Широкие груди лошадей, как ладьи, рассекали волны, и кентавры наполнили побережье крепким солдатским говором.

— Смотри! Смотри! — Супруга схватила Анатолия за руку.

Впереди ярко-рыжая резвая лошадь вынесла голого всадника из пенящейся волны. Он сидел с чисто звериной грацией, чуть подавшись вперед, уцепившись за гриву. У бретонца был низкий лоб с грубыми надбровными дугами, толстые губы и большой рот, блестели крепкие волчьи зубы. От всей широкой грудастой фигуры веяло огромной жизненной силой. Она ощущалась во всем: в крепких мускулах, в крупной голове, покрытой рыжей бараньей шерстью. Эта животная покоряющая сила звучала в его чересчур громком смехе, светилась в ярких, полных блеска, нахальных глазах.

Принцесса раздувала ноздри, с выражением неодолимого удовольствия разглядывая всадника.

— Боже мой, какое прекрасное чудовище! — вздохнула она.

В словах слышалась зависть. Демидов был подавлен невыгодным для себя сравнением: этот кентавр, разбрызгивающий кругом несокрушимое здоровье, и он сам, бледный, с усталыми глазами, с лицом, отливающим желтизной. «Ах, женщины, женщины, везде, во всех концах света, вы одинаковы!» — подумал он и вспомнил старую консержку^[32], которая однажды сказала ему: «Вы не удивляйтесь,

монсиньор, что эта мадам изменяет мужу. Что же делать, когда он слишком стар, а она очень молода? Ах, монсиньор, когда я была молодой, то даже звезды шептали мне: „Молодость должна быть молодой, а старость — старой!“ Не так ли? И вспомните, монсиньор, галльскую поговорку: „И скряга и мот — оба одинаково угодят на кладбище!“ Там, под землею, укроется все: и радости и грехи!..»

Демидовым снова овладело знакомое жгучее чувство ревности. Он хмуро смотрел на бретонцев. Давно известна истина, что любовь богата радостями, а ревность — муками, но Анатолий только сейчас во всей силе ощутил это. Он видел и скрытно возмущался тем, что Матильда при виде кентавра смеялась и вся сияла.

Анатолий сердился и тихо шипел:

— Вы слишком много внимания уделяете, моя дорогая, этому низколобому животному!

— Перестаньте! — сердито одернула она мужа. — Вы всегда во всем видите только грязное! Не были ли вы сыном прачки?

Все ходуном заходило в Демидове от злой насмешки, но он сдержался и решил выждать и отомстить. Здесь, на глазах публики, выпад был невозможен.

Спустя неделю Анатолию понадобилось выбыть в Париж по делам банка. Провожая мужа, Матильда нежно обняла его.

— Не думайте о плохом, Анатолий: все будет хорошо! — заговорила она тихо, ласково. Ее тонкие белые руки легли ему на плечи, и бесконечная нежность светилась во взгляде молодой женщины. Как огонь смягчит и топит воск, так ее обещания согрели его сердце, и он уехал спокойный и даже счастливый...

Десять дней, которые Демидов пробыл в Париже, его жена провела по-своему весело. Вечером, в сопровождении служанки Аннет, она пошла в грязный приморский кабачок. Здесь было шумно и весело. В почерневшем зале за дубовыми столами сидели и распивали сидр и вино загорелые погонщики мулов, фермеры, огородники, мелкие торговцы, солдаты и даже бродячие монахи. Матильде понравилось это шумное, беззаботное общество. Вместе со служанкой они заняли в полутемном углу столик, пили и много курили. В густом табачном дыму все время раздавался вызывающий смех Матильды. Со стороны казалось, что это падшая женщина поджидает очередного случайного любовника. К ним и подошел, как на приманку,

понравившийся ей недавно бретонец, громадного роста кавалерист с длинными волосатыми руками. Он без стеснения присел к столику и поставил перед Демидовой кружку пенящегося вина.

— Я вижу, ты скучаешь, красотка! Выпей — в жилах заиграет кровь! — Дитина пожирал ее глазами. Перед жилистым, загорелым бретонцем Матильда казалась маленькой и хрупкой. Он взял ее узкую мягкую руку в свою широкую шершавую ладонь и погладил ее. — Вы городская, мой чертенок! Откровенно говоря, ты мне во как понравилась, моя курочка! — Он провел ребром руки по горлу. — Ну, пей, пей! Это дешевое, но хорошее вино. Солдат рад быть щедрым, но знаешь, моя козочка, в нашем кошельке не всегда водятся денежки! — Он говорил по-крестьянски медленно, рассудительно, прижимаясь к ней плечом и обдавая острым запахом пота. Странное дело, этот запах непонятно возбуждал женщину. И, не отстраняя его от себя, она в один прием выпила кружку вина. С непривычки у Матильды закружилась голова, и, заигрывая с бретонцем, она томно улыбалась ему. Бретонец возбужденно раздувал ноздри, хрипло смеялся, обнимая ее сильными руками и прижимая к себе.

— Ох, и здорово же ты хлещешь вино, моя девочка! Какая ты теплая, словно добрая лошаденка!

Приключение становилось забавным. Аннет скромно опустила глаза, жеманничая. Солдат подмигнул служанке:

— Ты потерпи, крошка, сейчас придет Жан. Он сегодня немного запоздал. Вот явится и займется тобой. Угостит вином!

Матильда стала держаться настороженно.словно хорек, она выскользнула из сильных объятий конника, глянула в его зеленые кошачьи глаза и сказала:

— Мы торопимся, петушок! Но я всегда готова снова увидеться с тобой! — Она не устояла перед соблазном и, схватив его за густую рыжую шевелюру, затормошила. Он заржал от удовольствия и, обхватив ее, припал к ее устам толстыми влажными губами. Это было чистейшее колдовство! Никогда она не испытывала подобных поцелуев. Кривоногий, с длинными руками обезьяны, бретонец отравил ее любовным ядом.

Матильда вырвалась из объятий солдата и шепнула:

— Завтра приходи к часовенке... Там мы повеселимся, мой петушок!

Шурша дешевыми крахмальными юбками, молодые женщины исчезли в табачном дыму подвальчика. Послышалось хлопанье дверью.

— Хороша, шельма! Ох, хороша! — вздохнул кавалерист.

Приехал Анатолий и сразу заметил что-то неладное. Смутно догадываясь о несчастье, не зная, как рассеяться, он сел в седло и помчался по дороге к лесу. Свежий ветер не развеял страшной тоски, которая внезапно захватила его сердце. Он миновал старинную часовенку, всю утонувшую в глухой заросли жимолости. В чаще журчал ручей. В былые дни они с Матильдой нередко заглядывали сюда. Среди мшистых камней всегда стояла торжественная тишина, на серой, увитой плющом стене висело старинное распятие. Матильда дома никогда не молилась, но здесь, в этой благостной тишине, она вдруг становилась на колени и набожно крестилась...

Конь свернул по знакомой тропке. Вот и часовенка. Все так же лепетал ручей. Осиротело выглядело распятие. Тишина. Анатолий присел на камень и задумался.

Внезапно он вздрогнул, словно от прикосновения змеи. В шорох листвы всплеском ворвался знакомый смех. Дрожа от предчувствия несчастья, негодуя, он неслышно пробрался в кусты, и все закружилось у него в глазах.

В тенистой лесной берлоге, на примятой траве Анатолий увидел звероподобного кавалериста и Матильду. Она сидела подле него и смеялась...

Демидов с хлыстом в руке кинулся вперед, схватил за руку жену и отбросил от бретонца. Охваченный порывом неистовой ревности, он двинулся на соперника, но между ними встала жена. Не помня себя от гнева, она вырвала хлыст из его рук и дважды ударила мужа по лицу.

Кавалерист схватился за бока и покатился по траве: его потрясал неудержимый пароксизм смеха. Он хохотал, хватаясь длинными жилистыми руками за траву, выдирая ее с землей, скалил крупные желтые зубы, фыркал, брызгал слюной, как рассерженный барсук...

В князе Сан-Донато внезапно проснулась и забушевала кровь его предков — тульских кузнецов. Он выхватил из рук жены хлыст, переломил его и с кулаками набросился на женщину...

Бретонец вдруг перестал хохотать. Сидя на траве, подбоченившись, кавалерист что-то соображал. Минута — и лицо солдата преобразилось в благодушной улыбке.

— Так это ваша женушка! Понимаю! — снова засмеялся он и совсем панибратски подбодрил Демидова: — Так ей и надо! Она обошлась мне в три франка! Эй, милоч, не бей под глазок, не надо ставить фонарики!..

Анатолий брезгливо взглянул на драгуна и быстро, с бьющимся сердцем, вышел из лесной берлоги. Пошатываясь, он взобрался в седло. Конь пустился по тропке, а следом затрещали ветки, и из чащи выбежала Матильда.

— Анатоль! Анатоль, прости! — простирая руки, закричала она.

Демидов, не отвечая, хлестнул по коню и понесся в городок.

В тот же вечер он вернулся в Париж, а следом за ним на другой день в особняк на Елисейских полях прибыла и Матильда.

Тихая и покорная, она пришла в кабинет мужа. Склонив бледное лицо, Матильда каялась и просила:

— Анатоль, я великая грешница. Прости меня, дай мне развод! Я уйду, мы не можем жить вместе!

Демидов поднял на жену хмурые глаза.

— Развратница, а не грешница! — с сердцем вырвалось у него. — И запомни, что так легко не расстанешься со мной! Я муж, что хочу, то и сделаю с тобой! — Он угрожающе поднял кулаки.

— Ах, боже мой, как вы смеете! — закричала она, отступая от мужа.

— Все смею! Все! — в гневе заорал он.

— Нас могут услышать слуги, князь!

— Пусть видят, пусть слышат! Кто здесь хозяин? Я, я — Демидов...

В особняке стало тихо. Княгиня Сан-Донато покинула мужа и возвратилась к отцу. Старик не обрадовался дочери.

— Вы, моя милая, должны примириться с мужем, — умоляюще посмотрел на нее слезливыми глазами дряхлый Жером Бонапарт.

— Никогда! — запальчиво вскрикнула дочь. — Не смейте мне говорить этого! Уж не полагаете ли вы, что я сяду на вашу шею?

— Разве можно так разговаривать со своим королем? — укоризненно покачал головой отец.

— Вы были король! А теперь вы старая, дряхлая кляча! Чиновник Дома инвалидов! — гневно закричала она.

— Ах, боже мой, что случилось во Франции? Разве это допустимо? Я не слышу, не слышу! — Он закрыл пальцами уши и тяжело опустил в кресло...

Княгиня обратилась за помощью к адвокату. Слуга Фемиды разъяснил ей:

— Мадам, выйдя замуж за подданного России, вы стали, в свою очередь, подданной этой страны; следовательно, ваш брак целиком подпадает под действие законов Российской империи. А законы о браке там гласят вот что... Впрочем, лучше зачитаем текст. Слушайте!

Адвокат развернул толстый, в кожаном переплете, фолиант. Показывая на него, он пояснил:

— Это свод законов Российской империи, том девятый. Мадам, здесь написано буквально: «Жена обязана повиноваться мужу, как главе семейства, пребывать к нему в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение. При переезде куда-либо мужа жена должна следовать за ним, она не может наниматься на работу без позволения мужа...» Видите, мадам, вы уйдете, а он через полицейского вернет вас обратно...

Матильда растерялась, ей стало страшно.

— Но он может меня преждевременно вогнать в могилу! — огорченно выкрикнула она.

— В России так и бывает, — согласился с нею адвокат. — Вас может развести только духовная консистория русской православной церкви. Но тогда вам, мадам, придется взять на себя вину.

— Это же скандал!

— Безусловно! — согласился адвокат.

— Тогда, может быть, обойти закон? — робко предложила она.

Служитель Фемиды вскинул голову, усмехнулся наивности княгини.

— Мадам, вы забываете, что мы имеем дело с Демидовым! — с важностью сказал он.

Матильде предстояло сложное бракоразводное дело. Но вот, казалось, ей улыбнулось счастье: в Париж инкогнито прибыл

российский император Николай Павлович. На придворном балу Матильда упала перед ним на колени:

— Ваше величество, разведите меня с Демидовым!

Она умоляюще смотрела на русского царя, по ее нежному лицу катились горькие слезы. Однако княгине не удалось разжалобить русского императора, который в душе считал Наполеона узурпатором, ненавидел его и принцессу Монфор.

Царь учтиво поднял принцессу с колен:

— Увы, дорогая, я всего лишь император в моей стране! Если бы я был петербургским митрополитом, даже архиереем, тогда...

Он не закончил своей речи, — его увлекли светские дамы, обеспокоенные неожиданной скандальной сценой.

Старший брат, Павел Николаевич Демидов, оставил армию в 1826 году; лет пять после этого он пребывал егермейстером императорского двора, а в 1831 году получил звание камергера и должность курского губернатора. Хотя Курск существовал еще во времена великого князя Владимира и почитался городом старинным, но губернским он сделался только в 1797 году, в царствование Екатерины Алексеевны. Хлебный и богатый, расположенный в живописной местности на берегах Тускари и Куры, новый губернский центр тонул в обширных густых садах, в которых на зорьках дивно распевали прославленные курские соловьи. На краю горы, омываемой тихими реками, сохранялись остатки древней крепости, но былая слава курских порубежников давно отошла. После Санкт-Петербурга камергеру Демидову здесь показалось скучно. Привольно и по-сибаритски он разместился в обширном губернаторском доме. В большой сводчатой людской всегда толпились многочисленные праздные слуги: камердинеры, лакеи, официанты, кучера, конюхи, егеря. Немало числилось в штате и хорошеньких дворовых девок, обученных комедийному действу. Хотя после столичной жизни особенно ощущалось отсутствие шума и кипения в Курске, зато вновь назначенный губернатор сразу стал властителем целой области, маленьким феодалом, что очень пришлось по сердцу Павлу Николаевичу. Он всегда считал себя человеком особой, возвышенной породы, любил власть, величие и лесть. Направляя свои указы на уральские заводы, он обычно писал: «Моим верным тагильским подданным». Он требовал от заводских служащих раболепия, и в бумагах, пересылаемых ему из Санкт-Петербургской конторы, а также из Нижнего Тагила, пышно перечислялись все чины его, звания и награды. Он изо всех сил старался придать значительность всему, что окружало его.

Вновь назначенный губернатор удивил местную знать и окрестных дворян-помещиков шумными пирами, на которых гостей увеселяли неслыханным доселе в этих местах оркестром роговой музыки. Крепостные музыканты, привезенные Демидовым из столицы, были обряжены под придворных егерей. Роговые

инструменты, обтянутые черной кожей, с виду казались некрасивыми, но внутри были тщательно отделаны. Звуки, которые издавали они, отличались необыкновенной чистотой и тонкостью. Эти инструменты весьма походили на гобои, фаготы, кларнеты и охотничьи рожки, но тон их был неизмеримо нежнее и приятнее. Каждый музыкант издавал только одну ноту, не сводя своего напряженного взора с пюпитра. Упаси бог сфальшивить! Павел Николаевич немедленно отсылал «фальшивца» на конюшню для порки.

Роговая музыка пленяла слух всякого понимавшего в ней толк — так прекрасны и взволнованны были звуки, которые в безветренную погоду слышались за семь верст в округности.

Ко всему этому Демидов отличался еще одной страстишкой: он любил играть роль просвещенного мецената, отыскивая для этого самые разнообразные поводы. В свое время в Курске подвизался и умер в 1803 году известный поэт Иван Федорович Богданович, автор «Душеньки». К приезду нового губернатора могила поэта заглохла: обветшал крест, и все заросло могучим бурьяном. Демидов посетил кладбище, и вскоре по его желанию на могиле Богдановича соорудили превосходный памятник, изображающий «Душеньку».

Занимаясь искусством и науками, Демидов решил освободиться от управления заводами. Пристало ли ему, губернатору, заниматься этим делом? Он предписал главному директору Павлу Даниловичу Данилову принять бразды правления над всеми демидовскими заводами. В грамоте было написано:

«Даю вам полное хозяйское право управлять делами по нашему имени вместо меня самого. Я расположен на долгое время освободить себя от беспрестанного беспокойства для отдохновения после многих трудов своих и наилучшего поправления своего довольно порасстроившегося здоровья...»

Павел Николаевич в самом деле к этому времени изрядно износился — не прошла бесследно бурная молодость. Хворости и недомогание донимали губернатора; не помогал ему и мягкий южный климат. Демидов часто наезжал то в Москву, то в столицу, наверстывая отсутствовавшие в Курске радости, а от них еще большее недомогание овладевало им. Заботливые великосветские мамы уговаривали курского губернатора:

— Не пора ли вам, Павел Николаевич, оставить холостую жизнь и зажить семьей? Посмотрите, сколько кругом прекрасных и благовоспитанных девиц!

Каждая из матерей алчно поглядывала на Демидова, мечтая пристроить свою дочь. Но совсем о других невестах думал он. Молодой камергер всегда и везде оставался верен себе: он хотел, чтобы его невеста обращала на себя всеобщее внимание.

В начале 1836 года Павел Николаевич посетил Москву и был приглашен на бал к одному именитому московскому кресту. Он охотно поехал туда повеселиться. Бог весть, кого и чего здесь не было! Шампанское лилось рекой. Хозяин подходил к гостям и приглашал к столу. Что за осетры, за стерляди, что за сливочная телятина манили к себе! Но более всего Демидова привлекали хорошенькие, свежие лица московских девиц. Проказницы танцевали до упаду, и к полуночи их щечки побледнели, волосы развились, рассыпались, украшения пришли в беспорядок, платья обдергались, перчатки-митенки промокли от пота. Ах, как суетились маменьки, тетушки и бабушки, чтобы привести в порядок гардероб своих попрыгуний, — но танец следовал за танцем, и ни одна из милых девиц не хотела сойти с блестящего паркета.

Внезапно среди очаровательных головок, как царственная лебедь, мимо Павла Николаевича проплыла высокая стройная красавица, слегка склонив лицо, озаренное большими темными глазами. Демидов остолбенел. Он не мог оторвать взора от мраморных плеч, от сияния чудесных глаз. Девушка прошла величаво, не опуская взора, не смущаясь блеском бала, и своей спокойной ослепительной красотой пленила Демидова.

— Кто это? — взволнованно шепнул он хозяину.

— Аврора Карловна Шернваль! — восторженно отозвался тот и, взяв Павла Николаевича под руку, отвел в сторону. — Милый мой, эту прелестницу сам пиит Баратынский воспел. Послушай, дорогой! — И, не ожидая согласия гостя, он продекламировал возвышенно и важно:

Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари!
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!

Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
«Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?»

Сгорая от нетерпения, Демидов спросил:

— Да где же она была досель? Что-то я не видел ее — зарю прекрасного утра.

— Ах, милый мой, заря единожды пылает утром! Не торопитесь, я должен вас предупредить: эта дева божественная, но и роковая. Послушайте, мой друг!

Он увлек Павла Николаевича в дальние покои, продолжая на ходу рассказывать:

— Она была помолвлена в Санкт-Петербурге, и перед самой свадьбой жених оставил ее вдовой! Красавица приехала сюда, в Москву, к сестре Эмилии. Когда сердце ее излечилось от раны, она готовилась вступить в брак с полковником Мухановым — другом Баратынского, и вот печаль — опять жених до свадьбы умер! Рок, тяжелый рок тяготеет над сей красавицей!

— Пустое! Веди, знакомь! — попросил Демидов.

Губернатора представили Авроре Шернваль. Горделиво подняв голову, она прямо и внимательно смотрела на Павла. Ему стало и холодно, и жутко, и вместе с тем приятно. Пробыв на балу еще час-другой, красавица уехала вместе с сестрой. Демидову показалось, что с ее отъездом все окружающее потускнело. Она удалилась, а смех ее все еще звучал в его ушах. К своему ужасу, Демидов понял, что здесь он завяз навсегда, что глаза Авроры будут его преследовать всюду, как два манящих огонька, и что, одним словом, — прощай покой! Пришла любовь!

Он решил не тянуть с делом и, выждав приличием положенное время, сделал предложение. После колебаний и раздумий Аврора уступила его просьбам. Куда же деваться двадцатитрехлетней деве? Все наперебой ухаживали за ней: придворные вельможи, блестящие свитские гвардейцы, Лермонтов и Баратынский воспели ее прелести в стихах, но, увы, она была бедной невестой! Без приданого никто из

поклонников не решился сделать решительный шаг. А потом эта роковая слава...

Демидов объявил о своем решении директору санкт-петербургской конторы Данилову. Много лет прошло с тех пор, когда всему хозяином был покойный Николай Никитич, адъютант Потемкина. За это время сильно постарел Павел Данилович, ссутулился, шаркал ослабевшими ногами, но все еще крепился и держал подчиненных в большой строгости. Выслушав хозяина, управитель печально опустил голову.

— Не знаю, что и посоветовать вам, мой господин, — с разочарованием сказал он. — Когда ваш батюшка задумал сочетаться законным браком с Елизаветой Александровной Строгановой, то разумней нельзя было и придумать. Экие богатства сливались воедино! Подумать только: Демидовы и Строгановы! Вы сами, мой господин, рассудите: ведь это металл и соль на всю Расею! А ваша невестушка, слов нет, красы неописанной, благородства полного, но, кроме красы, за ней — ни одной крепостной душеньки, ни одной захудалой деревеньки или сельца.

— Разумно сказано! — согласился Павел Николаевич. — Но такая красавица, как она, одна на всей земле; подумай, она станет моей женой!

Старый управитель хорошо знал тщеславный характер своего владельца и потому покорно склонил голову.

— Лестно! Будет по-вашему, господин мой! Что прикажете по сему случаю?

— Наказываю, — торжественно заговорил хозяин, — не мешкая, конторе отпустить на мою свадьбу, кроме обычных расходов, полмиллиона рублей.

У Данилова задрожали руки, от волнения пересохло в горле. Такой суммы он никогда сразу не отпускал владельцам заводов! Не успел он прийти в себя, как Демидов предложил еще более неслыханное:

— По старому русскому обычаю, Павел Данилович, жених должен преподнести невесте подарок. Надумал я купить известный всему миру алмаз «Санси», а потому готовь еще миллион золотых франков.

— Да помилуйте, господин мой, разве можно тратить эти деньги! — воскликнул Данилов, и глаза его стали злыми. Так и хотелось сказать хозяину: «Ну и невесту вы себе подыскали, батюшка! Голь-шмоль перекатная!» Однако старый лис сдержал негодование. — Подумайте, господин мой, — заговорил он заискивающе. — Ваша покойная матушка, царствие ей небесное, оставила горы жемчуга да самоцветы превосходной игры. Можно выбрать, что заблагорассудится душе!

— Нет! — решительно сказал Павел Николаевич. — Я хочу приобрести «Санси», и он будет наш!

Через месяц Демидов держал в руке заветный самоцвет, — он купил его у герцогини Беррийской. И вот он теперь лежит на ладони нового владельца и переливается таинственным светом, чаруя взор.

На официальной помолвке Павел Николаевич преподнес невесте маленький футляр. Аврора раскрыла его, и глаза красавицы в первый раз вспыхнули радостью.

Она не знала, что тысячи крепостных работных, надрываясь, в муках и в страшной нужде, день и ночь не покладая рук, работали долгие годы, чтобы дать возможность придворной красавице, которая никогда не работала и презрительно смотрела на крепостных, приобрести этот камень.

В 1837 году Павел Николаевич женился на Авроре Шернваль, а через полтора года, в 1839 году, у них родился сын Павел. С этого времени Демидов, казалось, потерял последние силы. Он стал быстро хиреть, оставил губернаторство, и супруга повезла его к берегам Бретани. Но не пришлось ему воспользоваться мягким климатом: ранней весной, 25 марта 1840 года, он скончался в Майнце, оставив вдове и сыну сказочное богатство.

Прожив несколько лет в Петербурге, Аврора Карловна с единственным сыном Павлом уехала на Урал, в Нижний Тагил, где деятельно занялась делами демидовской вотчины. К этому времени угас от водянки старый ниже-тагильский управляющий Александр Акинфиевич Любимов. Перестарок Глашенька так и осталась доживать век на заводе в одиночестве. На место умершего, по договоренности со своим совладельцем князем Сан-Дonato, Аврора Карловна пригласила в главноуправляющие заводом польского шляхтича Антона Ивановича Кожуховского — человека галантного, с пышными темными усами и весьма обходительного с дамами.

С этих дней пустующие старинные покои вновь наполнились жизнью. Но как она не походила на былую разгульную жизнь времен Никиты Акинфиевича! Заново отремонтировав дворец, Аврора Карловна зажила в нем скучной, размеренной жизнью на немецкий лад. Несмотря на огромные богатства, она дрожала над каждой копеечкой, над каждым куском. Расчетливая хозяйка ограничивалась немногочисленной прислугой, за которой зорко следила. Ключи от всех кладовых и хранилищ она всегда носила при себе и строго взыскивала с челяди за малейшее упущение. Сама она разъезжала по заводам и рудникам и заставляла повытчиков выкладывать счетные книги, в которых умело проверяла записи.

Единственной радостью молодой вдовы был сын Павел. Мальчуган подолгу просиживал в заглохшем парке, созерцая пруд, прислушиваясь к пению птиц. Рос наследник ленивым и апатичным...

На заводе незаметно уходило старое поколение работных, приказчиков и плотинных. Степан Козопасов одряхлел, опустился. Его штанговая машина все еще работала, издавая на весь Тагил скрип, стон, скрежет. Ребятишки с утра веселой стайкой забирались на качающиеся штанги и забавлялись.

— Смазать бы механизмы, визгу не станет! — доложил как-то главноуправляющему Козопасов.

— То не выходит по доходам! — развел руками Кожуховский.

По примеру своей хозяйки он старался во всем ужимать, притеснять. Огорченный Козопасов по старинной привычке

отправился к Черепанову, уселся на завалинку и ждал механика. В тихие часы заката Мирон любил посидеть со стариком и вспомнить былое. В доме его беда шла за бедой. Следом за отцом на погост отнесли мать. Пусто стало в избе. Чугунная дорога на Выйском поле заросла травой, лопухами. По-прежнему у горы Высокой шумела ушковская конница: сотни одноколок, груженных рудой, тянулись вереницей к заводу. Разноцветные платки конононок пестрели на дороге, как маки. Тяжело было видеть запустение и возврат к старинке.

Глядя на все это, Козопасов пожаловался:

— Поторопились мы с тобой. Мирон, родиться! Нам бы лет через сотню появиться на белом свете. Неужто все так и будет?

— А может быть, Степанко, мы с тобой припоздали? Вот бы родиться лет за семьдесят до сего! По этим горам шел тучей и громом Емельян-батюшка!

Козопасов опустил голову и сказал удрученно:

— Ох, как много горести. И откуда она происходит? Почему господа не видят своей выгоды?

Мирон усмехнулся.

— Они все видят! — отозвался он. — Но то, что выгодно работному, невыгодно барину. Разные наши дороги!

— Верно! — согласился Козопасов.

Мирон все еще лелеял мечту освободить свою семью от крепостной зависимости, однако силы его заметно таяли. Его стали мучить сердечные припадки, но механик не сдавался. Он придумывал новшество за новшеством, а недавно решил использовать улетающие в воздух пламя и газы плавильных печей. После долгих раздумий ему удалось сконструировать свои приборы. Теперь жар от медеплавильных печей на Выйском заводе использовался для работы паровой машины. Ни одного полена дров больше не требовалось для двигателя! Но хозяева считали, что так и надо, и никто не подумал о семье Мирона.

— Горько! — вспомнив об этом, сказал механик. — Горько потому, что господа наши верят иноземцам, а своему, русскому, нет веры. Дешевы мы для них!

Сколько раз Мирон со своими проектами доходил до Авроры Карловны, но она молчаливо выслушивала его, а эскизы отодвигала в сторону.

— Это невыгодно нам. Мирон Ефимович, — холодно улыбаясь, прерывала она механика.

В эти минуты Черепанову казалось, что перед ним старый хитрый Любимов. Хотя слова звучат и другие, но смысл тот же: «Коштовато!»

Величественная, прекрасная, с большими сияющими глазами, она казалась недоступной для заводских дел, и Мирон все реже и реже появлялся в конторе.

Изредка Аврора Карловна выбывала в столицу и несколько месяцев проводила в придворном обществе. Она неизменно являлась просто одетой, но на груди ее, на тонкой золотой цепочке, сверкал драгоценный камень «Санси». Много льстецов и поклонников увивалось за молодой вдовой и ее богатствами, но она холодно встречала это лживое преклонение. Она знала ему цену и не торопилась в своем выборе.

Живя в обширном демидовском дворце на Мойке, Аврора Карловна воздерживалась от устройства пышных приемов. В доме стало глуше, излишнюю челядь перевели в сельские вотчины, оставив лишь самых необходимых людей. Посократили и число понытчиков в Санкт-Петербургской конторе. Владелица точно рассчитала доходы со всех вотчин и каждые сутки отчисляла Анатолию Николаевичу двадцать четыре тысячи рублей!

К этой поре умер в преклонном возрасте Павел Данилович Данилов. За три года до этого он потерял жену-старуху, загрустил и вдруг хватился: «Для кого же трудился, хлопотал, жульничал, копил, когда некому и наследства оставить?»

Скупой и жадный, он вскакивал среди ночи и, прислушиваясь, как хорек на охоте, подходил к окованному сундуку. Он раскрывал замки со звоном, долго рылся в радужных «катеринках»^[33], алчно разглядывал и пересчитывал их, в сотый раз спрашивал себя: «Кто же, кто же зацапает мое добро?»

Только сейчас он понял, что бессмысленно пролетела его жизнь. Алчность и страх смерти туманили его сознание. Обрюзглый, желтый, с безумными глазами, в одном белье, со свечой в руке, он лунатиком ходил по своей квартирке и все думал и думал, куда девать свое богатство, чтобы не досталось другим.

— Мое оно, мое! Я грехи за него принял на душу! — шептал он бескровными губами.

Старик заметно оскудел духом. По глазам все угадывали, что становился он безумцем.

Однажды Павел Данилович долго не выходил из своей квартиры. Слуги не могли достучаться, взломали дверь по повелению Авроры Карловны, и что же увидели?

За столом в спальне сидел застывший старик с откинутой головой, с расширенными от ужаса глазами. Перед ним стояла тарелка, жбан сметаны, а рядом лежала пачка сотенных ассигнаций. К блюду прилипли измазанные, подобно масленичным блинам, радужные «катеньки», а одна из ассигнаций, густо политая сметаной, торчала из раскрытого рта Данилова.

«Обожрался ассигнациями, скупец! Хотел на тот свет унести!» — подумали слуги и со страхом оглянулись на госпожу.

Аврора Карловна с безгливостью посмотрела на покойника и холодно сказала:

— Посмотрите, какая бесцельная скупость!

Отвернулась и предложила дворецкому:

— Добро Данилова немедленно опечатать!..

В Нижнем Тагиле все хорошо знали и уважали хозяина рудовозной конницы Климентия Константиновича Ушкова. Прижимистый и строптивый, он в то же время отличался большим умом и силой. Крепостной Демидовых, незаурядный и волевой самородок, он сумел пробиться в люди и заставил считаться с собой господ и управляющих. Словно кряжистый дуб, он отличался крепостью, и казалось, что время не трогает его. Высокий, плечистый, бородатый, с умными пронзительными глазами, он каждый праздник, в сопровождении сыновей Михаила и Саввы — рослых грудастых молодцов, отправлялся в церковь. Все невольно любовались выходом Ушкова. Гордился и он сам своей семьей. Медленно и важно, в старомодном кафтане, в черной шляпе, вышагивал Климентий Константинович по широкой улице и как должное принимал поклоны встречных. В церкви он становился сразу за господами, в одном ряду с демидовскими управителями, и те ему не прекословили. Любил Ушков громогласно почитать в церкви Апостола. Голос его отличался

глубиной и чистотой, покорял своей страстью и старух и молодых молельщиц.

С господами хозяин конницы разговаривал почтительно, «высоким штилем», витиевато, но слова выкладывал, как дом рубил, — властно, крепко. Большая душевная сила таилась в нем и пленяла многих. Все далось Ушкову — довольство, разумение грамоты и почет. Одного не хватало ему — воли. Семья Ушковых с незапамятных времен состояла в крепостных, и с этим никак не мог примириться Климентий Константинович. Из-за этого он недолюбливал Черепановых, получивших свободу, и завидовал им. Вся душа его кричала: «Воли! Воли!» Нужно было сделать что-то выдающееся, чтобы умилостивить господ. Ему казалось, что если бы не Черепановы, то он сам изобрел бы многое и это принесло бы ему свободу.

Прошло много лет после создания первого «сухопутного парохода». Ефим Алексеевич Черепанов ушел в могилу, постарел Мирон, изнашивались и старели товарищи Ушкова, но сам он по-прежнему оставался неугомонным искателем воли.

Однажды он встретил Мирона. Тяжело опустив голову, медленно возвращался Черепанов с работы. Ушков взглянул на его усталое, пожелтевшее лицо, на серые мешки под глазами, и ему вдруг стало жалко механика.

— Все еще горюешь, Мирон Ефимович?

— Нечему радоваться, когда годы бесцельно уходят, — строго отозвался Черепанов.

— Рано, милый, опускаешь крылья! Я вот стар, а еще постою за свою долю! Надо мне с тобой словечком перемолвиться. Светлый ум у тебя, Мирон Ефимович, и можешь ты мне хорошее посоветовать! — Он дружески взял механика под руку и, неторопливо вышагивая, повел к дому. Как не походили они друг на друга! Ушков был намного старше Мирона, годился ему в отцы, а выглядел молодцом. Мирон перед ним казался сутулым, хилым, и рыжеватую бороду рано пробила изморозь седины.

— Ты вот в механиках ходишь, — многозначительно начал Климентий. — Скажи-ка мне, почему на заводе перебой в работе? Где тут главное лежит?

— Мне думается, и сам ты это знаешь. Воды мало для двигателей! — спокойно ответил Черепанов.

— А пруд, гляди, сколь обширный! — прищурился глаза, с хитрецей вымолвил Ушков.

— Мал запас воды! А ставить вторую плотину на Тагилке-реке негде. Только паровые машины спасут завод, да управляющий против них. Сказывает, коштоваты!

— Так, — шумно выдохнул Климентий. — Коштоваты! Оно верно. В чем же тогда выход, Мирон Ефимович?

— Выход есть! — оживился механик. — Только на него не пойдут господа Демидовы. Гляди, речка и ручьи кругом мелеют, — лес-то повырубали, но есть пока выход: поставить на речке Черной плотину, собрать воду по весне и по каналу подать ее в Нижний Тагил.

— Это здорово! — ахнул Ушков. — Да в чем дело? Что за помеха?

— Дорого! Хозяевам денег жалко.

Мирон не договорил, Климентий схватил его за плечи, потряс.

— Ну, спасибо, брат, надоумил ты меня многому. Спасибо, милый! — Ушков заторопился домой. С неделю после встречи с Мироном он ходил задумчивым по Черноисточенскому логу, что-то прикидывая в уме. Наконец не выдержал и явился к Кожуховскому. Шляхтич очень любезно принял Ушкова.

Климентий уселся напротив в кресло и, вперишь в управителя пронзительные глаза, сказал:

— А что, господин, плохо на заводе? Скоро станет!

— Против господа бога не попрешь, всю полуую воду израсходовали. Да тут море воды потребно, прямо ужас!

— Я дам вам воду, господин хороший! — уверенно предложил Ушков.

— Вижу, ты шутковать мастер. Откуда ее возьмешь, Климентий Константинович?

— Река Черная польется сюда!

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — перекрестился управитель. — Да мыслимое ли это дело! Известно тебе, человек, что вода из Черной не пойдет! То невозможно! Тут инженеры проходили с отвесами и доказали, что это пустая затея!

Ушков насупил брови.

— Нет, это не пустая затея! — уверенно сказал он. — Ушков за пустое не будет браться.

Кожуховский пожал плечами, улыбнулся в усы:

— Но где сему доказательства?

— Будут и доказательства! Только не отрекайтесь в том, что Ушков для господ радеет!

— Порукой в том мое слово! — Управитель пожал большую, сильную руку Климентия и проводил его до дверей.

Ушков сотни раз проходил по логу речки Черной, хорошо изучил ее, и в голове его давно родилась простая, но вместе с тем умная затея. На своем веку он немало поставил на уральских речках и ручьях мельниц и меленок, много соорудил хитрых запруд, прокопал канав и обладал несомненным чутьем в изыскании мест, наиболее пригодных для каналов.

Не откладывая дела, Климентий Константинович вместе с сыновьями вышел на пойму Черной. От темна до темна они лазили, продираясь по таловым зарослям, внимательно изучали быстроту течения, измеряли ширину и длину струи. Старик не жалел труда, — обошел и осмотрел каждый окрестный холмик, скаты. Стоя на высотке, осиянный вешним солнцем, он восхищенно показал сыновьям на простор.

— Гляди, какая благодать кругом! Раздолье! Зимой сколько тут наматывает снега! А как только пригреет солнце, как пожухлеет снег, так и посочится вода. Подумать только, что со всего этого раздолья, от гор и до того синего бора, под вешним солнцем побегут талые воды в Черную. Ух, и сила! — он прижмурился, лицо его засияло. Чудилось, что он видит перед собой вешнее водополье и восхищается им.

Сыновья верили отцу. Старший, Михаил, сильный, черноволосый, сказал:

— Истинно будет так, батюшка! Повернешь все воды в Тагил!

— Ну, идите за мной да глядите, куда потечет вода из Черной! — внушительно сказал Ушков и размеренным шагом дошел до речки, а оттуда повернул через поля, вдоль ложков.

— Вешки ставьте! Тут и быть каналу! — крикнул он сыновьям.

Весь день Ушковы провешивали будущую трассу канала, а затем принялись за точный промер, учиняли «вернейший отвес» и убедились, что отец прав...

Климентий засел за письмо Авроре Карловне. Он не торопился, основательно обдумывал каждую мысль и медленно, четкой византийской вязью низал строку за строкой. Буквочки у него выходили строгие, внушительные, под стать хозяину.

Климентий Константинович сообщал Демидовой:

«...учинил вернейший отвес и нашел место удобное по занятию плотиною воды, после подпора вода поднимется до семи аршин. Из коего пруда можно будет с шести аршин пущать воду в канаву, чтобы непременно было падение до четырех аршин...»

Перед глазами Ушкова четко рисовалась будущая плотина, сооружения и земляные работы. Он просто и толково описал все, раскрывая перед хозяйкой большой инженерный замысел, который по мере углубления в писание раскрывался во всех деталях. Старик увлекся своей мечтой. Откинувшись на спинку кресла, он улыбался: «Пойдет вода, ей-ей пойдет!»

У него росла вера в свое дело, и это окрыляло его. Он чувствовал в себе огромную силу и ласково шептал:

— Ради вас, сынки, пускаюсь на такое дело. Ради вас только...

«Все сие и берусь упрочить в три лета, — продолжал писать он. — Или могу поспешить и ранее. И сверх того два года могу наблюдать, дабы сие действие всюду исправно было...»

Пока я не пущу Черноисточенский пруд той канавой из реки Черной на прописанном основании воду, дотоле мне никакой суммы на расход того производства не требовать...»

Ушков пообещал все взять на свой кошт, а стройка, по самым скромным подсчетам, должна была стоить пятьдесят тысяч рублей.

Одного только просил Климентий Константинович от владельцев в расплату и изложил это в своей просьбе:

«Не говоря о себе, но только детям моим, двум сыновьям — Михаилу с женой и детьми его и холостому Савве, прошу от заводов — дать свободу... а если не может даться детям моим от заводов вольная, то я не согласен взяться сие исправить поистине и за пятьдесят тысяч рублей, ибо неминуче полагаю, и мне таковой суммы оное дело расходом коштовать будет, кроме моих хлопот...»

Закончив письмо, старик собрал всю семью в большую горницу. Показывая на грамоту, он торжественно сказал:

— Все тут рассказано о нашем намерении. Помолимся господу богу о добром начале и заступе за нас, грешных! — Он вышел вперед, истово стал креститься и класть земные поклоны.

Примеру его последовали домочадцы.

Климентий Константинович переслал свою просьбу владелице завода, и Аврора Карловна не замедлила пригласить его для беседы. Поскрипывая сапогами, Ушков самоуверенно переступил порог дворца. Служанка повела его в покои Демидовой. Плечистый старик на ходу расчесывал бороду, покрывал, шел по-хозяйски размашистым шагом, шумно. Держался он словно купец, которому от шальных денег море по колено. Чувствовал он себя в большой силе, и потому хотелось ему порисоваться перед собой. В полутемном коридоре он ущипнул за крутой бок смуглую служанку и озорно подмигнул ей:

— А что, госпожа в духе? Красива?

— Не про тебя, старого козла, писана! — с едкой насмешкой злым шепотком ответила смуглянка. — Да не топай ты по паркету, как стоялый конь!

Ушков налился краской и готов был накричать на девку, но та быстро повернулась и глазами указала на дверь:

— Ступай, да потише!

И, высунув язык, насмешливо блеснула веселыми глазами.

— Ступай, ступай, шалый старик! — сквозь девичий смешок донеслось до него, и служанка растаяла в полумраке коридора.

Ушков присмирел, осторожно взялся за бронзовую ручку, нажал ее, и массивная дверь бесшумно распахнулась. Он вступил в зал и, ослепленный ярким солнцем, замер в немом восхищении.

У окна, в которое вливались потоки золотистого света, в кресле сидела молодая опекунша наследника Демидова. Ушкову доводилось видеть Аврору Карловну мимоходом, когда она проносилась в экипаже. Но сейчас она предстала перед ним во всей своей блистательной красоте — высокая, томная, с большими выразительными глазами, осененными черными ресницами. Вдова была в легком светлом платье, округлые плечи слегка прикрывал розовый газ. Склонив красивую голову, она с улыбкой смотрела на Ушкова. Подле нее, за креслом, стоял управляющий Кожуховский. Если бы не этот шляхтич, Климентий без раздумья опустился бы перед ней на колени.

«Господи, до чего дивная красота!» — восхищенно подумал он, растерялся и не знал, с чего начать. В эту минуту раздался голос Авроры Карловны.

— Климентий Константинович, что же вы стали у порога? Идите сюда! — с пленительной улыбкой посмотрела она на старика.

Ушков сделал шаг вперед, и на весь зал грубо скрипнули его новые козловые сапоги. Он поморщился от досады: неуместным и неприятным показался ему сейчас этот скрип.

Осторожно, затаив дыхание, он прошел вперед и низко поклонился Авроре Карловне. Она протянула белую узкую руку, теплую и приятную. Ушков вдруг упал на колени и прижался губами к руке.

— О, то светский человек! — одобрительно кивнул Кожуховский.

— Встаньте, Климентий Константинович, — ласково сказала Демидова и глазами показала на стул.

Ушков ног под собой не чувствовал, такой обаятельной и милой показалась ему хозяйка. Он осторожно уселся на краешек стула.

— Ваш проект я имел честь доложить госпоже, — вкрадчивым голосом сказал шляхтич. — Как видите, госпожа сильно заинтересовалась.

Аврора Карловна улыбнулась, грациозным движением руки оправила газовую шаль и подняла глаза на Ушкова.

— Вот вы какой дерзатель! — добродушно сказала она, не опуская глаз. Ей понравился этот высокий, статный старик в старомодном бархатном кафтане, одетый полукупцом-полудворянином. Она склонила овальное лицо и лукаво обронила: — Но ведь инженеры сказывали, что воду из Черной пустить невозможно!

Ушков встрепенулся и восторженно отозвался:

— Все возможно! Для вас, госпожа, я горы готов изрыть!

Поляк за креслом сдержанно кашлянул, глаза его вспыхнули. Однако он промолчал.

— Я охотно верю вам, но все же прошу не счесть за обиду, если знающие люди обсудят ваше предложение. Я ведь только женщина и ничего в этом не понимаю, — призналась она.

— Что же, одобряю! — повеселел Ушков, но в ту же минуту в душе его началось беспокойство.

«А как же насчет условий?» — забеспокоился он и, осмелев, взглянул в очи Авроры Карловны. Она догадалась о его сомнениях и сказала:

— Наше слово сдержим: даруем волю, как о сем просите! Только, чур, — она вдруг построжала, от нее повеяло холодом, — железо и дерево мы отпустим, а чего другого не просите. Согласны?

«Эх, красива, а жадна!» — вспыхнув, подумал Ушков и снова потянулся к руке Демидовой.

— Будь по-вашему...

— Ну вот и договорились! А теперь скрепим наше слово по русскому обычаю! — Она хлопнула в ладоши, и на зов явилась знакомая Климентию смуглянка с серебряным подносом, на котором стояли графинчик с темным вином и две рюмки. Служанка подошла к Авроре Карловне, та налила крохотные чарочки вином, взяла одну из них и предложила:

— Выпьемте, Климентий Константинович, за общую удачу!

Ушков покраснел от удовольствия, крикнул, осторожно, как перышко, поднял рюмочку.

— Дай господи вам всякого счастья, — искренне вырвалось у него, — а красы у вас на добрый век хватит!

Она пригубила чарочку и снова поставила ее на поднос. Ушков покосился на хозяйку.

— Дозвольте и к вашей приложиться! — поклонился он.

В ответ Аврора Карловна улыбнулась.

— Дай господи... — начал он и замялся: он хотел пожелать ей скорее окончить вдовство, да испугался и поперхнулся, а она от души рассмеялась его смущению...

Ушел он с волнующим неопределенным чувством. Впереди по коридору бежала служанка, игриво оглядываясь на него, но на этот раз Ушков и не взглянул на нее; шел медленно, словно не хотел расставаться с демидовским домом, и все думал:

«Ох, и до чего красива! Сущяя чаровница...»

Вечером, среди семьи. Ушков молчаливо сидел за ужином, а в мыслях его все еще рисовалось прекрасное лицо молодой вдовы. Он вздохнул и подумал: «И пошлет же господь кому такое счастье! Ах, голубка...»

Сведущие люди рассмотрели проект Ушкова и нашли возможным привести его в исполнение. После этого были подписаны «кондиции», и Климентий Константинович принялся за работу. Он не жалел ни сил, ни средств. Большую часть своей конницы он бросил на возведение плотины. На трассе работала вся семья Ушкова: брат, сыновья и молодая сноха. С восходом солнца у речки Черной начиналась работа и кончалась с наступлением сумерек. Сотни подвод со свеженарытой землей тянулись от канала к плотине. Пахло смолистым тесом, мхом, речным илом. Весело повизгивали пилы, громко стучали топоры, гудел под молотом каменотеса серый валун-камень. Там, где вели канал, ходил брат Ушкова — Ефим, такой же дородный и бородатый старик, и наблюдал за рытьем. Он часто приглядывался к породе, брал ее в руку и растирал. Искал он «знаки земных сокровищ». Хотелось и ему чем-нибудь обратить на себя внимание Авроры Карловны.

Демидова не поленилась и сама прибыла на осмотр работы. Полетному жгло солнце. Она, в легком платье, с зонтиком на плече, сошла с коляски и двинулась вдоль трассы. По росту она была под стать Ушкову. Он весь сиял, скинув шляпу, семенил сторонкой, показывая и объясняя работы. Она двигалась медленно, как лебедь по лону вод, и с лица ее не сходила снисходительная улыбка.

Сыновья Ушкова шли следом за госпожой, готовые исполнить любой ее приказ.

На солнце поблескивали лопаты, потные и грязные землекопы дружно выбрасывали тяжелую сырую землю. Аврора Карловна приостановилась против лохматого мужика, одетого в порточную рвань, и залюбовалась его работой. Крепкий, жилистый, он вгонял с размаху лопату глубоко в землю и, захватив огромную штыбу, размашисто бросал ее в подставленную тачку. Очарованная его проворством, Демидова похвалила:

— Скажите, как легко и весело у него дело спорится!

Мужик поднял черные мрачные глаза.

— А ну-ка, попробуй, барынька; узнаешь, что за потеха! — со свистящим дыханием насмешливо предложил он.

— Ты что, сатана! Смотри, Кашкин, на конюшню будешь отправлен! — закричал на него Ушков. — Или не видишь, кто перед

тобой?

— Вижу! — диковато посмотрел на Демидову землекоп и вдруг засмеялся. — Позавидовала, стало быть? Давай, госпожа, поменяемся! На такой работе небось жиру не нагуляешь!

Сыновья Ушкова бросились к дерзкому, но Аврора Карловна махнула платочком:

— Оставьте его! Когда человек со страстью старается, он всегда зол!

— Вот это верно — просиял Кашкин. — Что верно, то верно! Золотые слова.

— С охотой трудишься? — ласково спросила его хозяйка.

— Как сказать, — признался работный. — Одно утешает — для Расеи, для внуков стараюсь! Эх, взяли! — Он бросил последнюю штыву и схватившись за поручни, приподнял и покатил перед собой тяжело нагруженную тачку. На сутулой спине его, на рубашке поблескивала выступившая соль. Раскачиваясь, он выкрикивал:

— Эй, пошла, пошла, родимая! Весело и легко!

— Черт! — не сдержался и выругался при Демидовой Ушков. — Всегда строптивый такой, а работник первый!

— Забавный мужичонка! — обронила Аврора Карловна и пошла дальше. Ее внимание отвлекли цветастые платки и сарафаны, которыми пестрело поле. Женки и девки с песней таскали на плотину землю. По окрестностям разносился гул: плотники с копра забивали чугунной «бабой» сваи...

Демидова вышла на дорожку. Поспешно подъехал к ней экипаж. Аврора Карловна долго рылась в сумочке, добыла серебряный рубль и вручила Ушкову:

— Изволь, передай от меня тому холопу!

— Благодарствую за щедрость! — низко поклонился Ушков. — А только напрасно изволили беспокоиться — нетерпимый народ, сударыня. Все равно пропьет и спасибо не скажет.

Демидова улыбнулась:

— Уж как он желает, пусть так и делает!

Сыновья Ушкова бережно усадили хозяйку в экипаж, и она уехала, оставив за собой на дороге легкое облачко пыли.

Климентий Константинович вернулся к землекопу.

— Разбойник! — набросился он на Кашкина. — Тебя бы плетью огреть, а она, изволь, рублем наградила. На, супостат! — И он бросил ему в тачку рубль.

Землекоп, прищутив глаз, посмотрел на целковый. Колебался: взять или не взять? И вдруг вымолвил:

— Дурака и бархатным словом обходят, а умного и за деньги не купишь! — И он стал наваливать землю на рубль.

— Да ты, вижу, ошалел от радости! Что делаешь, леший? — набросился на землекопа Ушков. — Ишь богач выискался!

— Брысь! — прикрикнул на него работный. — Что хочу, то и делаю! Меня, брат, не купишь! Не ручной!

Ушков хотел подойти и опрокинуть тачку, чтобы извлечь рубль, но землекоп так угрожающе поднял лопату, что оставалось только поскорее уйти и не поднимать шума...

Два года на стройке кипела самая напряженная работа. За это время Степан Кашкин отыскал Мирона Черепанова и весной явился к нему. Долго механик присматривался к бородатому сильному мужику, не признавая его.

— Что, не помнится тебе наша встреча? — весело спросил Кашкин.

— Не помнится, — смущенно признался Мирон. — Глаза будто знакомые, а кто такой — не знаю.

Степанко без приглашения уселся на скамью и улыбнулся хозяину:

— Ну, милый, в таком разе я напомним тебе! Помнишь осень, когда в Питере был да на Исаакий лазил? Степанку-каменщика помнишь?

— Ахти! — вскрикнул Черепанов и бросился к мужику. — Да где тебя признаешь, экой бородищей оброс, да и, к слову сказать, постарел сильно!

— Да и ты, друг, другим стал. Гляди, и у тебя в бороде сивый волос! — с грустью сказал Кашкин. — Эх, молодость, отлетела, ушла и не возвратится более! Как живешь, милый?

— Хворый стал! — пожаловался Мирон. — Да и жизнь не радует. Сам знаешь!

— Известно, заели нас живоглоты! — резко выговорил Степанко и пытливо посмотрел в глаза Мирона. Тот сидел, опустив голову. — Ну, да меня не согнешь в бараний рог. Не сдамся!

— Ты все такой же неугомонный, — тихо обронил механик.

— Такая кровь, не терплю рабства! Все одной стезей иду и не сворачиваю. Погляди сам, что они, захребетники, с тобой сделали!

— Прожита жизнь, все на что-то надеялся, обманывал себя, вот и проморгал, — печально признался Мирон. — С какими людьми встречался, что видел, а слеп и глух оказался — всего целиком мастерство поглотило, о жизни и не подумал... Теперь поздно, сердце вот шалит. Ах, Степанко, растревожил ты мою душу, будто снова молодость свою увидел!

— Это хорошо. Мирон Ефимович, очень хорошо! — одобрил Кашкин. — А я не сдамся и буду, видно, до гроба таким неугомонным!

Они сидели и мирно беседовали, и у обоих было хорошо и светло на душе.

Наступила весна 1849 года. Ушковы закончили строительство плотины и прорыли канал. Шлюзы сверкали желтизной, свежая насыпь утрамбована, посыпана песком, вдоль плотины и канала зеленели натыканные березки. Закончилась трудная и беспокойная работа, и Ушков хотел показать ее во всем блеске. Он решил устроить веселый праздник; верил он, что в этот день ему вручат отпускную.

В конце апреля, в праздничный день, к ушковской плотине сошлось и съехалось много народу. Со всего Нижнего Тагила поспешили работные полюбоваться невиданным зрелищем. Запруженная река Черная разлилась широко, и по зеркальной глади нового пруда скользили разукрашенные ладьи. Сверкали медные трубы духового оркестра. В просторной ладье, гребцами на которой были рослые и плечистые сыновья Ушкова, был разостлан персидский ковер, а на нем поставлены два кресла. В одном из них под ярким цветным зонтиком сидела Аврора Карловна, а рядом — голубоглазый румяный сынок Павел, владелец заводов. За креслами стояли главноуправляющий Кожуховский и исправник.

В толпе на плотине, на голову выше всех, суетился Ушков. Подле самой воды был водружен аналой, горели восковые свечи, трепетным пламенем освещая икону. Священники готовились отслужить торжественный молебен. А народ все прибывал, — шли и ехали люди

и гости с дальних заводов. Ушков широко оповестил всех о празднике. Синий дымок из каминыцы вился легкой струйкой в теплом прозрачном воздухе. Окружавшие регента в черной поддевке певчие пробовали голоса, и он, высоко поднимая руку с камертоном, прислушивался к звукам. Приставив ладонь к глазам, Ушков нетерпеливо поглядывал на пруд.

Аврора Карловна с наследником поднялась на плотину, и хор певчих огласил просторы стройным и звучным песнопением. Священник начал торжественную службу. Ушков стоял неподалеку от Демидовой и, горделиво подняя голову, разглядывал водный простор и берега, усыпанные пестрыми толпами. Рядом с Авророй Карловной неугомонно вертел головой сынок, следя за полетом стрижей, точно стрелами пронизывавших голубой простор. Когда смолкал хор, мальчуган прислушивался к пению жаворонков, отыскивая их в небе. Сама госпожа смиренно склонила голову в шляпке и внимательно слушала возгласы священника. Розовое, свежее лицо ее было полно жизни...

Она терпеливо выстояла молебен и первой приложилась ко кресту, а затем подвела сына.

Наступила пора открыть шлюзы, но не прибыл главный приемщик стройки Мирон Черепанов. Управляющий встревоженно поглядывал на дорогу. В теплом мареве изредка мелькали женские сарафаны, а механика все не было. Все, кто в силах был ходить, пришли сюда на праздник. «Что же случилось с Черепановым?» — взволнованно подумал Антон Иванович, подошел к Демидовой и, угодливо заглядывая в глаза, посоветовал:

— Сделайте народу удовольствие, извольте оглядеть пруд!

Аврора Карловна снова спустилась в ладью. Сейчас же заиграл духовой оркестр. Мощные звуки потрясли апрельский воздух. За ладьей Демидовой следовали ладьи с управителями, приказчиками, повытчиками и стражей. С берега гремела песня. Ее пели повеселевшие певчие в ожидании возлияний, а на зеленом лугу девки завели веселый хоровод.

У шлюзов стояли самые отборные силачи, готовые поднять заслоны. Они ждали только сигнала. Мирона Черепанова все еще не было...

Внезапно среди праздничной толпы на иноходце появился смотритель Усть-Уткинской демидовской пристани. Он ловко соскочил с коня и, поспешно подойдя к Кожуховскому, что-то зашептал ему.

— Не может этого быть! — вскричал управитель. — Еще утречком мы с ним вели разговор!

Вестник пожал плечами.

Антон Иванович забеспокоился, стал искать кого-то в толпе, потом взор его снова остановился на прибывшем.

— Послушай, милый, случилось непредвиденное. Придется, братец, тебе за Черепанова рапортовать госпоже о плотине! — предложил он.

Ладья Демидовой описала плавный круг и остановилась у причала. Под гром оркестра Аврора Карловна с сыном сошла на берег. Важно надувшийся смотритель размеренным шагом подошел к ней и, вытянувшись по-военному, доложил:

— Всемиловейшая госпожа, осмелюсь оповестить вас, что осмотренные сведущими людьми плотинные строения и канал в четыре версты в полной годности и ждут принятия вод!

Демидова, удовлетворенно склонив голову, махнула кружевным платочком, и рослые богатыри мгновенно подняли заслоны. Пенясь и рокоча, вода буйно устремилась в канал. В весеннем певучем воздухе раздалось раскатистое «ура». Толпа побежала вслед за кипящим потоком, но не могла угнаться за ним: он клокотал, вздымался, как белогривый конь на скачке, и быстро уносился вперед.

Веселое, подмывающее чувство охватило всех. Над горами, прудом, логами все еще продолжало греметь громовое «ура»...

Аврора Карловна стояла на плотине над бушующими водами, любуясь пенистым каскадом. Уловив минутку, когда схлынул первый восторг, она повернулась к Ушкову и протянула ему свернутую грамоту.

— Усердный слуга наш, Климентий Константинович, вы и вся ваша семья отныне свободные люди. За верную службу роду Демидовых даруем вам волю! — Голос ее прозвучал торжественно.

Ушков и его семья упали перед ней на колени. Аврора Карловна милостиво протянула им руки, и растроганный строитель плотины без конца лобызал их, а по щекам его катились искренние благодарные слезы.

— Встаньте! — благосклонно приказала Аврора Карловна.

Вся ушковская семья поднялась с колен и проводила Демидову до экипажа.

Усаживаясь, владелица подозвала Кожуховского и спросила:

— Что же с Черепановым? Почему он не явился на осмотр плотины? Как смел он не послушаться моего приказа?

Управитель опустил глаза.

— Случилось несчастье, госпожа, — растерянно ответил он.

— Что же могло случиться с ним? Покалечился?

— Нет... Умер...

— Вдруг, внезапно умер? — удивленно расширились глаза Авроры Карловны. — От чего же?

— Паралич сердца. Некоторые подозревают другое, да это пустое... Такой великий жизнелюб не мог уйти от жизни по своей воле!

— Жаль, весьма жаль! Отличный был механик! — опечаленно промолвила госпожа, и по лицу ее пробежала скорбная тень. Она молча уселась в коляску, кучер щелкнул бичом, и экипаж покатился среди говорливого праздничного народа...

Когда он скрылся из глаз, Ушков еще долго смотрел на дорогу, потом встряхнул головой и, обратись к тагильцам, пригласил:

— Милости просим к столу, хлеба-соли отведать!

На лужайке, прямо под открытым небом, устроены были из свежего теса столы и скамьи, на холстинах расставлены ведра с брагой, с водкой, разложены ковриги хлеба, огурцы, соленые грибы да густо дымилось варево, которое проворные стряпухи разливали по мискам.

— Проходите, проходите, гости дорогие! — приглашали они народ.

Под голубым небом начался пир. Высоко в лазури распевали жаворонки, их трели вплетались в веселое журчание воды. По пруду плавали ладьи, и веселая музыка громче оглашала просторы. Серебром поблескивали воды, и теплый ветерок приятно обведал разгоряченные лица гостей.

Ушков, стоя среди великанов-сыновей, поднял большую братину, наполненную пенной брагой, и, шумно дыша, воскликнул:

— Дожил-таки, братцы, я до светлых дней. Вот когда я и мои дети свободны. Радуйтесь, родимые!

— А чего радоваться? — закричал из-за стола дерзкий землекоп Кашкин, не принявший в свое время дара Авроры Карловны. — Чего ликовать? Тебя освободили, а народ как был, так и остался в неволе!

— Замолчи, смерд! — зашумели на него сыновья Ушкова.

— Не могу молчать, когда на сердце горит! Ты ликуешь, а мы такого золотого человека потеряли — Мирона Ефимовича. Скажем по чести, исподволь да исподтишка затравили горемыку! — Работный вызывающе взглянул на Ушкова и сердито отодвинул берестяную кружку с брагой. — Не надо твоего угощения, мироед! — Он резко поднялся из-за стола и крикнул: — Погоди, я еще вернусь! Люди, пора нам из-под ярма выходить да волю для всех добывать! — Он твердым, решительным шагом пошел прочь от застольицы.

Хозяин оторопел и, остолбеневший, смотрел на землекопа, который уже медленно шел вдоль канала. И чем дальше уходил он, тем более четкой становилась его фигура. Вот он поднялся на холм, и силуэт его выразительно рисовался на светлой полоске неба; он показался Ушкову чудовищно громадным. Еще минута, и землекоп исчез в нагретом мареве, глубоко взволновав душу богатея своей угрозой.

Прошло несколько лет. Все такая же свежая, красивая вдова Аврора Карловна Шернваль-Демидова на время выбыла в Санкт-Петербург и неожиданно для всех вышла замуж за Андрея Николаевича Карамзина — сына знаменитого русского историографа. Однако и с ним не пришлось ей долго наслаждаться семейным счастьем: муж погиб в Валахии в 1854 году, и вновь Аврора осталась вдовой. Все помыслы ее сосредоточились на единственном сыне Павле, и она снова вернулась на Урал, к заводским делам. Первым, кто посетил ее, был Ушков, пришедший с жалобой на горное начальство. Оказалась преждевременной его радость при получении вольной. Горное управление ввязалось в это дело, так как начальник горных заводов строго следил за тем, чтобы заводы были обеспечены крепостной рабочей силой, и от него только зависел отпуск на волю. Давал разрешение владельцам он только тогда, когда была возмещена убыль в рабочих людях путем покупки новых крепостных.

Началась бесконечная переписка. За это время Ушков построил десятки новых плотин и мельниц, а в 1855 году он составил детальный проект соединения реки Сулемы с рекой Шайтанкой. На следующий год он доставил в Горное управление новый проект прохода вод реки Туры в Кушву. Стоявший на берегу Кушвинский завод всегда испытывал большой недостаток в воде. Горное начальство даже не отозвалось на предложение Ушкова. Ко всему этому Аврора Карловна, даря Ушковым призрачную свободу, так и не расплатилась с Климентием Константиновичем. За Демидовыми оставалось пятнадцать тысяч долга. Ушков пожаловался начальнику заводов Уральского хребта генералу Глинке, но тот передал дело на проверку в другие инстанции, и снова потянулась бесконечная волокита...

Невольно Ушков вспомнил своих соперников Черепановых, и на сердце стало горько. Как часто он бывал с ними несправедлив, завидовал! А чему было завидовать? Вот и теперь, кто он: свободный или крепостной человек? Кто знает?

«Эх, поманула воля, да так и оставила!» — со вздохом подумал он и затосковал.

Матильда де Монфор и князь Сан-Донато окончательно разъехались в 1845 году. По распоряжению царя Николая I разведенная жена получала от Демидова ежегодную пенсию в двести тысяч рублей, из которых она, в свою очередь, обязывалась выдавать отцу, престарелому экс-королю Жерому сорок тысяч франков. Принцесса стала очень скупой и под разными предлогами затягивала выдачу пособий отцу, а иногда и вовсе в них отказывала. Оскорбленный отец отвернулся от дочери, окончательно погрузился в дела Дома инвалидов.

Разведясь с Демидовым, Матильда безвыездно жила в Париже, играя видную роль в аристократическом обществе. Анатолий внимательно следил за успехами своей бывшей жены. Принцесса Монфор вела, на первый взгляд, веселую, беззаботную жизнь. Ее парижский салон затмевал многие столичные салоны.

Умная и ловкая, Матильда задавала тон всем разговорам, старательно предохраняя салон от политики. В нем занимались разговорами о литературе, и принцесса старалась проявить в них свое изысканное остроумие.

По субботам принцесса устраивала обеды, на которые обычно съезжалось не более восьми-десяти самых избранных людей, в том числе и князь Сан-Донато.

— Но почему вы умалчиваете о порядках в Париже? — тихо спрашивал Демидов хозяйку.

Глаза Матильды темнели:

— Ах, боже мой, разве об этом спрашивают вслух! После Страсбурга нужно молчать! Вы же знаете, он заключен в крепость Гам!

Сторонники Бонапартов мечтали о восстановлении этой династии. Родной племянник Наполеона I, Луи-Наполеон, дважды путем заговора с оружием в руках пытался проложить себе путь к власти, но был разгромлен королевскими войсками Луи-Филиппа: первый раз в Булони в 1836 году, второй — в Страсбурге в 1840 году. Он доводился двоюродным братом Матильде, и она боялась пострадать из-за этого родства.

— Прошу вас, Анатоль, не говорить здесь о политике! Придет время, напомню вам!

Но это время пришло не скоро... В 1846 году Луи-Наполеон бежал из крепости Гам, в которой отбывал пожизненное заключение, в Англию. Он долго скитался и, по всей вероятности, умер бы в неизвестности, но во Франции совершилась февральская революция 1848 года, и король Луи-Филипп был свергнут с престола. Укрывавшийся в Англии глава семьи Бонапартов воспользовался французской революцией и вернулся во Францию. 25 февраля он прибыл в Париж, но был немедленно выслан временным правительством. Во Франции остались друзья его — бонапартисты, которые повели за него агитацию. Они энергично взялись за дело: появились бонапартистские газеты и группы сторонников. Кто мог ожидать, что на президентских выборах кандидатом на пост президента в числе других будет выставлена и кандидатура Луи-Наполеона? Анатолий Демидов был поражен: 10 декабря 1848 года Луи-Наполеона избрали президентом Второй французской республики. За него голосовали роялисты, католики и очень много политически отсталых крестьян и рабочих. Бонапартисты ликовали.

В салоне Матильды де Монфор началось необычайное оживление:

— Теперь скоро, очень скоро произойдет реставрация!

Однажды принцесса отвела Анатолия в укромный уголок и таинственно сказала:

— Анатоль, наступают дни, когда Луи сбросит маску, но ему нужны деньги. Вы богаты, помогите кузену!

Демидов пожал плечами.

— Я не настолько богат, чтобы помогать королям Франции! — сказал он, проницательно посмотрев в глаза Матильды.

Легким кивком головы она подтвердила его догадку.

— Он будет императором! — прошептала она.

— Хорошо! Я согласен, но я должен видеться и поговорить с ним лично!

— Завтра мы будем у него! — решительно предложила Матильда.

На другой день она явилась в приемную президента. Принцесса де Монфор не умела ждать и, подойдя к адъютанту, молоденькому

офицеру, что-то прошептала ему. Тот мгновенно вытянулся и важно провозгласил:

— Принцесса Бонапарт, пожалуйста!

Он распахнул перед нею дверь, и они вошли в большой светлый кабинет президента. Навстречу им поднялся высокий военный; Анатолий узнал в нем Луи-Наполеона. Не случайно над его головой в форме груши потешались на все лады в народе. Это характерное продолговатое лицо сразу запоминалось. Выглядело оно усталым, желтоватым, усы были фатовски закручены, торчали, как два шпилья. Под утомленными глазами — большие, в морщинках мешки. У этого человека было сложное и тревожное прошлое. Лелея мечты о троне, он долго скитался по Америке, оставив там о себе незавидное воспоминание, в Лондоне он снисходил до грязных трущоб...

Однако Демидов весело улыбался идущему навстречу президенту. Луи-Наполеон принял это за учтивость и внимательно оглядел Анатолия.

— Вы превосходно выглядите, и я начинаю ревновать к вам мою кузину! — галантно сказал он.

— Теперь поздно; мы не сошлись характерами, но остались друзьями! — спокойно ответил Анатолий.

Президент взял Демидова под руку и прошелся с ним вдоль широких окон, в которые вливались потоки солнечного света. Здесь он показался Анатолию еще старше и изношеннее: у губ лежали продольные глубокие морщинки, усы были слегка подфабрены.

— Вам, наверное, кузина сообщила о моей просьбе... — начал Луи-Наполеон и смутился.

— Я помогу вам! — решительно сказал Анатолий. — Живя столько лет во Франции, я считаю себя французом и мечтаю о монархии!

Президент жадно схватил руку Анатолия и крепко пожал ее.

— Вы благородный человек! Я не забуду этого! Но до монархии еще многое предстоит сделать! Об этом — молчание! — Он приложил палец к губам.

Матильда бесцеремонно вмешалась в беседу:

— Луи, надо полагать, что вы договорились. Все остальное я беру на себя!

— Да, да! — поспешно согласился он. — Медлить нельзя!

Сан-Донато взглянул на Матильду, она вся горела нетерпением.

— Анатолий, идемте и будем действовать! — поднялась она и, шумя платьем, повлекла Демидова из кабинета.

2 декабря 1851 года Луи-Наполеон совершил государственный переворот, разогнав законодательное собрание и захватив в свои руки всю полноту власти. Через год, 20 декабря 1852 года, он провозгласил себя императором Наполеоном III. Сразу вокруг него появилась пышная свита. Окружающие и близкие ему люди только и мечтали о камергерских ключах, парадных мундирах придворных шталмейстеров и палатных мэров. Роскошь увеличивалась с каждым днем и принимала форму повальной болезни. Начались нескончаемые балы, охоты, спектакли, маскарады, увеселительные поездки, и принцесса Матильда принимала в них самое деятельное участие. Двоюродный брат, император, был влюблен в нее. Она не скрывала этого перед Анатолием. Встречаясь с бывшим мужем в салонах, Матильда сентиментально поверяла ему свои сердечные тайны:

— Ах, Анатолий, он воркует со мной, как голубок!

Ей шел тридцать второй год, и когда она улыбалась, вокруг глаз и губ появлялись едва приметные морщинки, очарование молодости угасало.

Император и в самом деле уделял ей много внимания: он присвоил ей титул императорского высочества и заказал отчеканить пятифранковые золотые монеты с ее именем. На выходах она появлялась вместе с Наполеоном. Матильда напомнила ему об услугах Демидова, и тот был принят во дворец. Предстоял обычный придворный бал; залы постепенно наполнялись знатью, блестели мундиры, сверкали атласные плечи дам, сияние исходило при движении их головок. В залах стоял легкий непрерывный шум, пробегал легкий интимный шепот. Почтенные люди с лентами и орденами расхаживали с видом неприступной строгости. И вдруг все пришло в движение: в распахнутой двери появился император. Матильда немедленно увлекла за собой Анатолия и представила государю. Хотя Демидов хорошо знал всю закулисную игру, но сейчас, в дворцовом зале, окруженный свитскими, Наполеон III показался ему

представительнее, чем при первом свидании. Восхищенный перевоплощением его, Демидов льстиво воскликнул:

— Ваше величество, меня привело сюда единственное желание увидеть настоящего монарха, и я его увидел!

Император улыбнулся, взял Анатолия под руку и повел по анфиладе дворцовых зал. Позади, в приличествующем отдалении, следовала свита. Луи-Наполеон тихо, укоряюще сказал Анатолию:

— Вы ошиблись, мой друг! Чтобы видеть монарха, вам надо снова вернуться в Россию или хотя бы в Австрию! Здесь я могу вам показать даже не короля, а только главу правительства. Август владел всем миром, Карл Великий — всей Европой, я же только стараюсь владеть сам собою, — и то мне не всегда это удается. Людовик Четырнадцатый говорил: «Государство — это я!..» Мне же приходится убеждаться, что государство — это все: печать, министры, чиновники министерств, уличная толпа, последний оборванец, бегущий вон там на площади, — словом, весь свет, кроме меня одного...

Он был чем-то раздражен и в запальчивости продолжал:

— Старая вывеска «Короли Франции» еще осталась, но товару в лавочке уже нет, и поверьте: через каких-нибудь сто лет у нас будут, как теперь в Египте, показывать только мумии королей!

Демидов посмотрел на его желтое, одутловатое лицо с тонкими шпильями вытянутых усов, и ему стало жалко этого человека.

«Да, ему далеко до королей Франции! Мещанин, серенький мещанин!» — зло подумал Анатолий, но улыбнулся:

— Ваше величество, вы сегодня злы.

— Если и зол, то на себя! — громко ответил Луи-Наполеон и вдруг спросил: — Интересуют ли вас спиритические сеансы? У нас сегодня вечером будет знаменитый Юм. Обязательно приезжайте...

— Благодарю! — учтиво поклонился Демидов и отступил, увлекаемый Матильдой. Свита приблизилась к Наполеону, и он удалился во внутренние покои дворца...

На западной окраине неба, над ельником, пылало зарево пожара. Аврора Карловна с тревогой смотрела в окно. На фоне заалевшей ночи резко рисовалось черное грузное здание завода, его высокие трубы, низкие склады и горы угля. Позади хозяйки стоял управляющий пан Кожуховский. Маленький, приземистый, с длинными нафабранными усами, он по-кошачьи недовольно фыркал, шумно сопел и, весь наполненный злобой, настаивал:

— Моя госпожа, цо робят тыи злодеи! Непременно то Кашкин подпалил! А кому же иначе? Засечь собаку потребно!

Аврора Карловна горестно вздохнула:

— Ах, Антон Иванович, надо поосторожнее с народом. Жаль заимки, убыток немалый. Но что делать, если кругом взбаламутились люди?

— Крепостному быдлу плети потребны! На то холоп, чтобы его стегали! Кабы мне волю, я бы их поучил! — с нескрываемой ненавистью заговорил шляхтич.

— Вы все горячитесь, а теперь жить надо иначе. Круто, но умно надо наказывать раба! В этом краю опять становится страшно. Не за себя волнуюсь, а за сына! — с грустью сказала вдова.

— Ах, моя обожаемая пани, нынче и съехать некуда от сих ворогов! Куда податься, если вся Россия вот так, как в котле, кипит. Крепостные только и ведут речь о воле. Хм! — ядовито ухмыльнулся Кожуховский. — Моя бы власть, я б показал им волю!

Аврора Карловна оторвалась от окна, подошла к старинному креслу и устало опустилась в него.

— Антон Иванович, на сердце у меня что-то беспокойно, — пожаловалась она. — Вот так бывает перед бедой...

— Что вы, что вы, моя пани! Все пойдет по-хорошему. От веку так повелось: холопы дурят, а паны плетью их за это учат!

Хозяйка замолчала. Зарево над лесом постепенно угасало, и в комнате сгущалась тьма.

— Спокойной ночи! — тихо сказала вдова управителю, и тот понял, что ему пора уходить.

Демидова осталась одна. Гнетущая тоска охватила ее, молодую женщину. Всем своим существом она чувствовала, что здесь, на Камне, на заводах поднимается новая страшная сила — просыпаются от вековой спячки работные люди. Становилось жутко среди этого житейского бурного моря.

Заводчица не ошиблась. Во всем расчетливая и холодно-рассудочная женщина, она понимала, что наступают тревожные дни. В народе родилась и вынашивалась заветная мечта о воле. Через Каменный Пояс пролегал гулевой Сибирский тракт, по берегам Камы и Волги без конца шли, утаптывая тропы, поливая их соленым потом, бурлаки. Из конца в конец по всей русской земле разносили они слухи и толки о воле. Да и прошлое еще не было забыто. И на Сибирской дороге и среди берегового бурлачества крепка была в народе память о временах Пугачева. Самое опасное было в том, что все крепостные были твердо уверены, будто цари не раз милостиво давали волю крепостным, да баре и попы прятали ее, и не доходила она до народа.

«Прав пан Кожуховский, надобно изловить смутьяна Кашкина и отменно высечь его. Да так, чтобы о воле забыл! — с ожесточением подумала Аврора Карловна. — И в самом деле, где это видано, чтобы руки опускать? Не все же мужики против барства. Вот хоть Ушков, — первый пойдет против Кашкина! Словить, схватить злодея!»

Зарево погасло. Во всем теле вдова ощущала гнетущую тяжесть. Она поднялась и со скорбным лицом пошла в спальню, легла в постель, но сон не приходил. Встревоженная Демидова твердо решила утром послать вершников, сильных и крепких слуг, и отыскать смутьяна...

Но пришло утро и принесло еще более тревожную весть. Гонец из Екатеринбурга сообщил о неожиданной смерти царя Николая Павловича. Кто мог ожидать ее? Всегда здоровый, крепкий, он вдруг простудился, и менее чем в неделю все было кончено. Смерть наступила так внезапно, что немедленно после кончины царя по столице пополз слух о том, что Николай был отравлен его доктором Мандтом, другие тайно передавали, что он сам отравился. Основанием к подобным легендам послужили военные неудачи под Севастополем. Несмотря на геройство и самоотверженность русских моряков и солдат, Крымская война была проиграна из-за тупости и ограниченности царя и его министров. Общество находилось в сильно

угнетенном душевном состоянии, все скрыто ненавидели николаевский режим, и царь это чувствовал. Еще до его роковой болезни по Петербургу ходила молва о том, что певчие Казанского собора во время богослужения, по какой-то непонятной ошибке, запели при возглашении многолетия императору «вечную память». Среди простого народа передавали рассказ о том, что на шпиль маленького бельведера на крыше Зимнего дворца, как раз над царской комнатой, уселась неизвестная черная птица и целый день кричала зловещим голосом, предрекая смерть. Мнительный и трусоватый Николай впал в уныние, и это мрачное настроение не покидало его до могилы.

Слушая сообщение, хозяйка и шляхтич смотрели на вестника глазами, полными слез.

— Боже мой, он был у дворян настоящий и крепкий защитник! — с тревогой в голосе воскликнула Аврора Карловна. — Как мы будем без него?

Несмотря на утешения, она грустно опустила голову и проплакала целый день.

Мимо окна, тяжело склонив голову, хмуро проходили в церковь работные. Седовласый священник со слезами оглашал народу скорбное известие, но люди угрюмо молчали, глубоко скрыв свои настоящие чувства.

Вместе с крепостными заводчица молилась за царя. Ее спокойные карие глаза пристально разглядывали понурых рабочих.

«Может, эта потеря и их сломит!» — с надеждой думала она.

А в это время на паперти, окруженная плотной толпой, убогая старуха-побродимка тихим напевным голосом вещала людям:

— Милые вы мои соколики, отошел-умер царь-батюшка Миколай. Умер от лихих тягот, на своем хотел поставить, да не вышло! И ноне едет, едет к нам другой царь Михаил, и думка одна у него: хочет он извести всех бар на русской земле. И везет новый царь-государь с собой золотую книгу и дарует ее всему честному крестьянству — всем мужикам, у кого мозолистые руки. А в этой книге написано простому народу: всю землю царь Михаил отдает исконному пахарю-крестьянину в вечное владение, а помещикам не оставляет ничего. И будет вскоре воля-волюшка на всей русской земле. И будет тогда...

— Чего брешешь, старая кикимора! Погоди, ведьма! — прервал старуху властный голос.

Энергично расталкивая мужиков локтями, из толпы вышел плотный, круглый пан Кожуховский. За ним выступала бледная и строгая хозяйка завода.

— Что за паскудные речи ведешь? — суровым голосом спросила у побродяжки Аврора Карловна, не выдержала характера и сорвалась: — Забрать брехунью! Плетей, плетей ей!

— Не горячись, барыня! Не на всякого человека можно плеть поднять! — сказал ей высокий костистый старик. Он бесстрашно смотрел госпоже в глаза, и его сухое загорелое лицо было полно решимости.

— А ты откуда брался, такая заступа? — взбешенно закричал шляхтич. Рысьи глаза его сузились от злости, и он протянул руки к старику. — И тебя заодно плетью отстегаем!

— Молод и горяч больно! Самолюб не в меру! — с достоинством ответил старик. — Погляди, на небе играет свет-солнышко! Разве упрячешь его? Никак грязными руками не схватить; так и матку-правду ни плетью не забьешь, ни тюрьмой не скроешь!

В жилистом, крепком теле деда, в его загорелых до черноты руках с огрубелыми пальцами, в мускулистых и прочных ногах чуялись сила и упрямство.

— Ты у меня смотри! — пригрозил ему управляющий и заорал: — Стражники, забрать эту побродяжку!

Полицейщики бросились к старухе. Мужик неустрашимо хотел ее защитить, но седая женщина остановила его.

— Не мешай им! Не страшны мне супостаты! — выкрикнула она, и в ее старческих глазах, как под неостывшей золой, сверкнул огонек.

Нищевродку потащили на барский двор и отхлестали плетями. Избитую, измученную, ее выбросили на дорогу.

— Иди-бреди куда хочешь, вот тебе и воля! — насмешливо сказал ей вслед шляхтич.

До позднего вечера она лежала в забытии, и только шедшие с работы заводские подняли старую и унесли в поселок.

Но и расправа со смутьянкой не принесла Авроре Карловне покоя. Всю ночь тревожно бродила она по старым демидовским хоромам, прислушиваясь к подозрительным шорохам и к шуму ветра в парке.

Над демидовским домом высоко стоял месяц. Нарушая гнетущую тишину, на каланче древний сонный сторож двенадцать раз ударил в колокол. Глухие звуки пронесли над прудом и лесами и замерли. Белесоватый туман напознал с водной глади и тянулся к деревьям и кустам, развешивая на них свои серые космы. Только под утро, когда стал нарастать птичий гам и щебет, Аврора Карловна постепенно успокоилась и уснула...

Прошли недели, на престол вступил Александр II. Демидова вздохнула свободнее и призналась шляхтичу Кожуховскому:

— Боялась я, чтоб опять не повторилась Сенатская площадь... Все сердце изболелось...

— То пустое, моя вельможная пани, новому не обратиться вспять. Так я полагаю, все сейчас пойдет к наилучшему!

Напрасно утешал себя так Антон Иванович — слухи о воле среди народа не прекращались. Они росли, ширились. Довелось шляхтичу Кожуховскому побывать по делам на Юрюзанском заводе, и там владелец Сухозанет усилил его тревогу. За доброй настойкой, среди приятной беседы об Авроре Карловне, хозяин вдруг таинственно сообщил:

— И среди дворянства ходит слух, что освобождение крестьянства возможно. Весь вопрос только, на каких условиях?

— Неужели его императорское величество обидит дворянство и заводчиков? Быть того не может! — убежденно сказал шляхтич.

— Безусловно! — согласился Сухозанет. — На это рассчитывать русской черни не приходится. — Он пододвинул графинчик с вином и предложил: — Пейте во здравие. Мы еще покняжим!..

Аврора Карловна давно поджидала из Москвы старую овдовевшую тетку. Выписала она старуху не из жалости к ней, а потому, что тетка прекрасно знала иноземные языки, и Демидова решила приставить ее учительницей к сыну.

Гостью привезли в разбитом рыдване и устроили в горнице. Аврора Карловна сгорала от нетерпения узнать московские новости. Она усадила старушку за стол, поднесла ей чашку душистого кофе и ждала ее речей. У госты были темные брови, большие пытливые глаза, некогда голубые, а теперь выцветшие. Большой тонкий нос,

заостренный подбородок придавали ей сходство с хищной птицей. Все лицо ее было изрезано мелкими морщинками, густо белела пудра, на щеках алел грубо намалеванный румянец. Старуха не торопилась, медленно пила кофе и хитро поглядывала на племянницу.

— А ты все еще хороша, моя козочка! — тихо заговорила она. — И цветешь и живешь хорошо. Да хранит тебя бог, что вспомнила обо мне. Вот одного боюсь — скукоты. Без мужского глаза погибнешь тут!

— Что вы, тетушка, мы ведь вдовы, не до этого нам с вами! — потупя глаза, запротестовала Аврора Карловна.

— Ах, милая, мы, женщины, не можем жить без галантов! Да вот времена пошли какие! Боюсь, что все с ума сошли и с волей придет утеснение...

— С какой волей? Что за вести? — встревожилась Демидова.

— Да то вести не мои; герольды на коронации в Москве рассказывали, грамотки кидали о воле...

— Что вы, что вы! Да разве ж это может быть? — устрашилась Аврора Карловна.

— Не знаю, как и сказать. Вот только послушай, милая, как было! — вкрадчивым голосом начала старуха. — В тот денек иду я по просторной площади, и вдруг со всех сторон точно плотину прорвало. Народ ото всех краев, словно вода в половодье, нахлынул. Тут появились герольды в золотистых одеждах, с орлами на спинах, с трубами. И стали они трубить, а из парчовых сум выкидывать в народ небольшие листочки. Ветер подхватил их и понес, а народ-то заметался за ними, будто за сотенными. Схватит один, десять на него набрасываются, опрокидывают, барахтаются в куче, рожи друг дружке царапают, пальцы ломают, да и порвут в остервенении бумажку на клочки. Целая редко кому и досталась. Сама видела, моя золотая, как один мужик с расквашенным носом схватил на лету бумажку, засунул в рот и проглотил. Только бы ему досталась!.. Изволишь видеть, моя милая, кто-то среди черни слух пустил, что царь перед коронацией дает волю мужикам и кому удастся поймать бумажку или хоть краешек ее ухватить, тому и вольная... Только, конечно, все это не так! Никому никакой воли и не обещали!..

— Ах, боже мой! — схватилась рукой за сердце заводчица. — А ведь я думала, что и на самом деле это правда! Напугали вы меня!

— Правда не правда, а народ такой, — раз надумал, то и ждет, чего ему хочется. Пугаться тебе, моя золотая, нечего. Никакой воли не будет! Все как было, так и пойдет...

И хотя глаза старухи добродушно улыбались, а за окном светило нежное, радостное солнце и так тихо было кругом, все же на сердце Авроры Карловны не было обычной радости. Она сидела молчаливая и притихшая.

Старуха грустно покачала головой.

— Ах, милочка моя, тебе ли в таких годах кручиниться! — Она припала к плечу племянницы и захихикала: — Погоди, найдутся счастливики, только помани, вот и тоска уйдет...

Качнув головой, она многозначительно посмотрела на вдову и улыбнулась.

Гром загредел совершенно неожиданно и недалеко: невеселые вести пришли с Юрюзанского завода. В августе работные этого завода отправились на покосы, и к ним явился бежавший из Тагила бойкий и скорый на слово Степан Кашкин. Он с неделю скрывался у косарей в балаганах и побудил их к неповиновению заводской конторе. Сметав стога, народ разбрелся кто куда. Крестьян ждала работа на рудниках и дровосушилках, а они ударились в соседние уезды в поисках хлеба. Дело принимало грозный оборот; главный приказчик Абаимов, хмурый, тяжелый, с волчьими глазами мужик, решил примерно наказать возмутителей. Вместе со стражей он поймал двух сбежавших с завода, жестоко высек их, а на другой день от поджога запылали синим пламенем угольные сараи. Работные не бросились тушить их. Абаимов суетился, угрожал, ругался, но никто и пальцем не шевельнул, чтобы помочь приказчику. Бородатый угрюмый рудокопщик долго и пристально смотрел на веселый огонь и как бы между прочим задумчиво сказал:

— Погоди, доведешь до того, что самого в жаровню сунут. Не грех бы, супостата!

Абаимов от слова до слова услышал сказанное горщиком, потемнел и, сразу прикусив язык, незаметно скрылся с пожарища. Засел он в конторе за крепкой дверью с железными запорами. Несколько дней не показывался людям на глаза: понял, как опасно сейчас раздражать работных. Беспокоился он не напрасно: все приписные его ненавидели, и недаром! Вместе с генералом

Сухозанетом он довел работных до невыносимо тяжелого положения; оба не щадили ни малого, ни старого, ни больного. Минувшей осенью, когда задували пронзительные северные ветры, приказчик выгнал всех на возведение плотины. Беременные женщины и матери с грудными ребятами тоже должны были выполнять урок, а в расплату многим достались плети. Две женщины после каторжной работы скончались в родовых муках. Вспоминая обо всем этом, приказчик думал лишь об одном, как бы поживу-поздорову унести ноги с завода. В Санкт-Петербурге у генерала Ивана Сухозанета работал старшим конторщиком его тесть Петр Помыкалов. К нему и написал 28 мая 1858 года письмо Абаимов, в котором сообщал:

«В нонешнее время очень трудно стало управляться... Мужичье, дураки, ничего не понимают, и как до сих пор живут на цепи, то и желают сорваться, как обыкновенно срываются цепные собаки и на воле не могут набегаться. А как уже из зла ко мне были зажиги^[34], то боюсь, как бы вместо подкладки огня под угольные сараи не подложили огня в людей... Зажигатели же все около меня, и прошлогодняя искра не погасла. Вот причина, по которой я боюсь этой обязанности как огня и почту себя в награду, ежели генерал освободит меня...»

Письмо благополучно дошло до места назначения, попало в руки старшего конторщика Помыкалова, а от него и самому Сухозанету.

Генерал в весьма сильном раздражении прочел просьбу приказчика, лицо его стало багровым и, не откладывая дела, он зло и сердито написал ответ Абаимову:

«Ах ты, безалаберный мужичишка, хвастун, пустомеля, не вы и не ты, а я тружусь, как на цепи привязанный, и всегда рад, всегда с удовольствием хочу служить вам примером трудов и усердия, с седою головою, не тебе чета, молокоосу. Однако в 33 года не могу похвастаться, что искоренил воровство и пьянство и что привел вас в порядок. А ты, ленивец, болтунишка, едва показываешься при работах, иногда только в пять часов вечера, и смеешь говорить о благоприятных обстоятельствах, будто тобою устроенных... Срамец! Ты живешь помещиком и смеешь говорить: „Отслужил, слава тебе господи!“

Не мужичье дураки на цепи, а вы, грамотеи, мошенники, пьяные и ленивые. Вам тошно, что вас хотя не на цепи, однако же на шнурке понемногу притягивают к ответственности и работе. Вам тошно, что

удерживают от разврата и не дают вам воровать вдоволь, как в старину бывало. Не мужики, а вы желаете сорваться и на воле беситься, но высочайшая воля вам гласит другое: «Всем оставаться в совершенном повиновении к установленным властям и в спокойствии ожидать решения, которое тогда последует, когда все обсуждено и государем утверждено и обнародовано будет.

Зажиги были не от мужиков, а от твоей братии грамотея, от вашей безбожной и злой зависти друг против друга».

Получив генеральскую отповедь, старший приказчик Юрюзанского завода распалился яростью и, чтобы облегчить сердце, решил поприжать приписных. Со стражниками он объехал лесные курени в надежде изловить зачинщиков возмущения среди рабочих. В одном лесном шалаше он застал спящего человека. Стражники схватили его и связали руки. Абаимов узнал в задержанном землекопа Кашкина.

— Ага, попался, сокол! Ну, погоди, разберемся с тобой!

Кашкин хмуро посмотрел на приказчика и промолчал. Однако от одного взгляда работного Абаимову стало не по себе. Окруженный стражниками, пойманный был доставлен на завод и заключен в подвал. В тот же день с завода в демидовскую вотчину поскакал нарочный. Пан Кожуховский сильно обрадовался, когда узнал о Кашкине. Он выслал трех конных, чтобы непокорного работного доставили в Тагил. Спустя неделю тагильские полицейщики вернулись унылые и раздосадованные. Оказалось, что проворный Кашкин перерезал веревки и сбежал по дороге в дремучем лесу. Заметался Антон Иванович, беспокойные думы не оставляли его ни на минуту: несомненно, Кашкина освободили его сообщники: «Но где они?» — со страхом размышлял пан Кожуховский.

Пока гроза шла стороной, он не беспокоил Аврору Карловну. Однако спустя немного времени волнения начались на самом Нижне-Тагильском заводе, и — кто бы мог подумать — среди кержаков! Издавна повелось так, что Демидовы с охотой брали на заводы староверов. Спасаясь от царского и полицейского притеснения, кержаки бежали на российские окраины: в Поморье, на Дон, но больше всего в уральские леса и горы. По милости приютивших их горнозаводчиков, кержаки строили свои часовни, молельни, а в глухих

чащах — даже скиты. Никита Демидов — основатель заводов — деловито рассуждал:

— Пусть стараются на благо моих заводов, а как богу молятся, это их дело!

Еще при внуке, Никите Акинфиевиче, богатый кержак Рябин построил часовню в Нижнем Тагиле. Угрюмые и замкнутые староверы, сохраняя старинные повадки и одежды, истово молились старописанным иконам, служили по древним книгам.

Пермскому православному архипастырю не по душе пришлось такие вольности раскольников, — было отдано распоряжение кержацкую молельню закрыть и передать единоверцам.

Старообрядческий наставник отец Назарий собрал свою паству на околице и, потрясая посохом, возопил:

— Вот коли и на Камень антихрист добрался! Что будем робить, православные? Кидай заводишко, уйдем в мать-пустыню! Побредем в Алтай-горы, там еще есть юдоль для наших молитв!..

Кожуховский с полицейскими налетел на мирян и разогнал их. В тот же день он послал гонца в Екатеринбург, в Горное управление, прося помощи.

Через несколько дней на завод прибыл подполковник жандармского корпуса Жадовский, с ним чиновники, и решили приступить к опечатыванию часовни.

Чтобы обезопасить себя, Кожуховский к тому времени отправил наиболее строптивых кержаков на лесные и горные работы. Староверские чтецы и певцы покинули часовню. Следом за ними управитель нарядил в рудники и тридцать кержачек, которые больше всего подстрекали народ на околице. Для пущего внушения всех старообрядцев вызвали к храму, вынесли им древнее евангелие и заставили начетчика громогласно зачитать по старопечатному тексту стихи из главы тринадцатой послания апостола Павла к римлянам о повиновении «властям предержавшим».

Кержаки чинно встали на колени, били земные поклоны и, с умилением слушая чтение, каялись в грехах. Жандармский подполковник многозначительно переглянулся с управляющим, — на лице офицера блуждала самодовольная улыбка. Все шло тихо и мирно. Доволен был и пан Кожуховский.

Аврора Карловна вышла на балкон и издали наблюдала за покаянием кержаков. Они истово крестились. Легкий ветер шевелил косматые бороды старообрядцев, цветные сарафаны и платки женщин. Над заводом простиралось голубое небо. Ближний лес и липы в парке дышали утренним светом, теплом и медовыми запахами. Чиновники стали опечатывать часовню. И вдруг среди осиянной солнцем мирной идиллии заголосили-закричали заводские женки. Они упорно сопротивлялись действиям властей, — их гнали из часовни, но они не шли. Старцы и женщины легли на пол и зашлись в крике. Седовласый наставник Назарий взошел на возвышенное место и, подняв крест, с горящими глазами фанатика истово кричал:

— Прокляты! Прокляты! Антихрист грядет!

Полицейщики хотели стащить его, но он отбивался медным крестом, плевал им в лица и проклинал. Женки голосили, их хватили и на руках выносили из часовни, — они опять возвращались. Откуда только у них сила бралась! Они царапались, кусались. Немало досталось полицейщикам, пока они вытолкали женщин из храма. Но и на паперти те продолжали бесноваться. Тогда управляющий отдал наказ приказчику, а сам с жандармом отошел в сторонку. С громом влетела на площадь пожарная команда и пустила из насоса тугую струю воды, перемешанной с сажей.

Потоки воды низвергались на озлобленных людей, опрокидывали их, били в лица, по которым стекала грязь. Среди всего этого копошащегося и беснующегося люда один старец Назарий непоколебимо стоял и взывал:

— Братие, сестры, примите поношение и муки!..

Аврора Карловна поморщилась.

«Какая мерзость! Не могли лучшего придумать!» — недовольно подумала она и послала горничную девку прекратить свалку, а господина офицера пригласить в покои для делового разговора.

По требованию хозяйки пожарные немедленно покинули место схватки, а приглашенный жандарм явился к госпоже и был любезно принят ею.

Подполковник Жадовский, пленившись красавицей, не сводил с нее восхищенных глаз. Аврора Карловна сидела напротив гостя, скромно потупив взор. Придворная прелестница догадывалась, что произвела на жандарма приятное впечатление. Она угадывала по его

умильным глазам, по склоненной голове, что этот пожилой, лысоватый офицер с оловянными глазами навывкате польщен приглашением и ждет авансов. Но хозяйка держалась строго и ровным, приятным голосом заговорила:

— Я прошу вас оставить им часовню.

Жандарм пожал плечами.

— Помилуйте, но это невозможно! Бог знает что скажут в губернии. Архиерей будет весьма недоволен.

Из-под черных ресниц заводчицы блеснул умоляющий взгляд:

— Ради меня! Архиерей далеко, в Перми, а я здесь одна, бедная вдова, на заводе. Мы можем остаться без работных!

— Не знаю, как и быть, — заколебался под взглядом Авроры Карловны гость.

— Послушайте меня, и все будет хорошо! — придвинулась она к нему поближе.

Подполковник растаял, его лоснящиеся жирные щеки порозовели от удовольствия, он склонил перед хозяйкой голову.

— Для вас я готов на все! Но почему вы вступаетесь за возмутителей? Не понимаю! — Он пожал плечами.

— Ах, боже мой! — с жаром воскликнула Демидова. — Поймите, ну какие же это возмутители? Они взвыли только потому, что им запретили молиться на их старые иконы. Кому это мешает? — Она придвинулась еще ближе, так что он почувствовал ее дыхание. Кровь прилила к голове жандарма, но он внимательно слушал ее, пожирая глазами. Заводчица продолжала:

— Нам кержаки не страшны. Не троньте их икон, и они успокоятся. Мнится мне, господин офицер, что не от них беда придет. Кержаки за наставников держатся, а наставники тянут назад, к старому!

— Кто же тогда опасен? — удивился жандарм.

— Опасны другие люди. Вглядитесь, что творится с работными. Их словно подменили, они стали другими людьми. Эти холопы опаснее всего, так как они решительнее. Они не о боге думают, а о жизни, и нас ненавидят. Они страшны!

— Да, вы правы! — с грустью согласился подполковник. — Их решительность может привести к пугачевщине, если дать им волю!

Аврора Карловна стала строгой, холодной, пожаловалась жандарму:

— Боюсь подумать... Прошу вас, не трогайте кержаков...

Они долго сидели за чайным столом. Хозяйка приветливо ухаживала за гостем, а он не сводил глаз с ее тонких красивых рук. Набравшись смелости, он взял теплые пальцы красавицы и приложился губами к ним.

— Поможете? — просяще посмотрела на офицера Аврора Карловна.

— Я счастлив, весьма счастлив, и все будет по-вашему...

Жандарм и чиновники уехали из Тагила на другой день. Часовня осталась неопечатанной. Старец Назарий, вызванный Демидовой в хоромы, поклонился в ноги заводчице. Пахло от него ладаном и тленом.

— Спасибо, барыня.

— Встань, отец! — властно сказала хозяйка. — Скажи-ка, довольны ли ваши?

— Я-то и женки премного довольны, барыня. А молодые — кто их разберет? Они сказывают, что не часовня, а воля нам потребна! Ох, грехи наши тяжкие! — сокрушенно вздохнул он и потухшими глазами выжидательно посмотрел на Аврору Карловну.

Она сердито свела брови над переносьем и ответила ему жестко:

— Иди и скажи своим, чтобы эти прельстительные мысли оставили. Биты будут. Иди с богом, старик! — Она отвернулась и ушла в свои покои.

Между тем слухи о близкой воле не прекращались. Возвращаясь с ярмарок, с базаров и богомолий, крестьяне привозили все новые вести. Сказывали на постоянных дворах проезжие, что царь давно послал грамоты о воле в бочках с икрой, но помещики и заводчики пронюхали про эту тайность и грамоты выкрали, а икру слопали за угощением. Ходили среди народа слухи, что царь вызвал к себе верных людей, заставил их поклясться на кресте в верности и вручил им для народа золотую строку о воле. Но господа пронюхали и про эту тайность, секретных царских посланцев схватили, обыскали, золотую строку отобрали, а вестников заковали в кандалы — да в острог, за каменные

стены! Подозревали и попов и полицейских в том, что они утаили царскую грамоту от народа. Среди крепостных все больше и больше росла уверенность в том, что вот-вот придет воля. Однажды в тагильской церкви после обедни люди долго не расходились и чего-то ждали. Священник обеспокоенно спросил прихожан:

— Что же вы не расходитесь?

— А мы ждем, отец, когда грамотку о воле зачтешь!

Поп побледнел, испуганно замахал рукой:

— Что вы, что вы! Побойтесь господа бога, с чего такое взяли? Не верьте лживым посулам смутьянов!

— То не посул, отец Иван, — сказал сероглазый старик. — Своими глазами видели, как волю провезли из Уфы в Пермь на тройке. Ямщики сказывали, что в Казани царская грамота о воле давно получена.

— Ты что пустое мелешь! — прикрикнул поп. — Какая тебе воля? Думаешь, что лучше заживешь?

— Бог весть, — покорно согласился старик. — Что-то еще будет впереди — неизвестно, а может, хуже! — И вдруг, тряхнув бородой, лукаво улыбнулся: — Нет, хуже не будет; да мне, дряхлому, спится, а одним оком взглянуть хочется на волю! Эх, дорогой! — закончил он мечтательно.

— Ты лучше помалкивай об этом! — пригрозил священник. — Сам подумай, для чего тебе воля? Ну что ты с ней будешь делать?

Старик не унялся; внушительно посмотрев на попа, рассудительно сказал:

— Как что? Уволят-то с землей, пахарем буду! Руки мои стосковались по сохе...

Мрачным священник вышел из храма и побрел в демидовские хоромы. Через горничную девку он попросил доложить о нем госпоже. Аврора Карловна приняла его приветливо, усадила в глубокое кресло и приказала принести наливки. Старичок пригладил седенькую голову, со вкусом осушил чару и крякнул от удовольствия.

— Премного благодарен, ваше сиятельство; по жилам так и побежало. Не осуди, милостивая, грешный я человек, люблю пригубить, — и, не ожидая приглашения, осушил вторую, а за ней и третью чарку.

Только после утоления жажды священник вспомнил о деле и поведал заводчице:

— Матушка ты наша, милостивица, слухи-то неблагонадежные ходят: о воле мужики толкуют!

Аврора Карловна построжала, хрустнула пальцами, лицо ее омрачилось. Попик перепугался: «Не в себе барынька. Расстроилась от недоброй вести; чего доброго, пожалуй, и выгонит, наливки не допью! Эх, и крепка, окаянная!» — покосился он на графинчик.

Однако Демидова овладела собою и сказала гостю:

— Слухи те отчасти верны, отец Иван. В столице собрался комитет и толкует об освобождении холопов. Ведомо тебе, что в Перми ныне заседает особый дворянский комитет по сему вопросу и на обсуждение выехали по нашему избранию заводчики. И будем мы добиваться своего, чтобы земли свои сохранить, и заводы наши не стали, и нас не обидели.

Аврора Карловна говорила священнику правду. В Перми на самом деле заседали крепостники-заводчики, которые заботились о своих интересах. Они настаивали, чтобы горнозаводских крестьян освободили без земли или по крайней мере отвели каждому такой надел, чтобы и привязать его к месту и заставить идти на заводскую работу. Обойдя земель работных, владельцы тем самым создавали резервную трудовую армию...

Меж тем священник воспользовался случаем, и пока Аврора Карловна объясняла ему замыслы заводчиков, допил наливку. Сокрушенно оглядев пустой графин, он поднялся.

— Да будет благословен дом сей! — провозгласил он и вдруг пьяненько захихикал: — Это весьма разумно — дать холопу такую волю, чтобы она в неволю обратилась!

Загребая большими яловичными сапогами, голенастый иерей прошел через обширный зал.

— Ох, лепость какая; боже праведный, как живут люди! — вздыхал он.

Его глаза обежали по богатому убранству хором: по мраморным богиням, по бронзе и шелковым драпировкам. В своей изношенной, много раз латанной рясе поп показался заводчице жалким и убогим...

На исходе зимы в Тагил прискакал нарочный, который привез важную бумагу. Исправник в присутствии священника вскрыл пакет, и

в нем оказался манифест, подписанный царем еще 19 февраля 1861 года.

Иерей несколько раз вслух перечитал его от первой до последней строки.

— Лучшего и не придумаешь! — удовлетворенно покрутил он тощей длинной шеей.

— Царское слово — умное слово! — внушительным басом сказал исправник. — Тебе, отец, завтра в церкви придется сию грамоту огласить. Такое дело без молебна не обойдется.

Поп прослезился.

— Господи боже мой, дожил-таки аз, грешный раб твой, до такой минуты. Оповещу народу моему такую благовую весть!

Спозаранку зазвонили во все колокола. Что-то тревожное и радостное чувствовалось в благовесте. Со всех концов Тагила сбегался народ. Пришли и молодые и старые; вековуньи древние старухи — и те с печи сползли и добрались до церкви, чтобы услышать о воле. Слово это, радостное, крылатое, облетело все уголки и было у всех на устах.

— Воля... воля... воля...

Церковь до отказа наполнилась народом. На паперти толкались и тщетно пытались попасть в храм опоздавшие. Кто только не пришел сюда! Даже кержаки — двоеданы^[35], не боясь оскверниться, явились в никонианский храм. Впереди особой группой выпирали заводские управители во главе с паном Кожуховским. Привлекая внимание прихожан, на возвышении стояла, смиренно склонив голову, Аврора Карловна. Дальше шли полицейские, приказчики, нарядчики, повытчики, а среди них выделялся Климентий Ушков. Он высился среди сыновей, как дуб на юру. Выглядел он строго, мрачновато. В мозгу его проносились обидные мысли. «Сколько старался я, чтобы добыть волю, — огорченно думал он, — а она, гляди, зимогорам даром достанется! Эх ты, что только робится!» И, заметив землекопа, побагровел: «Гляди, что за притча! И Кашкин тут. Вот окаянный!»

Землекоп Кашкин действительно притаился среди заводчины. Стояли тут горщики-рудокопы, сутулые, изъеденные ревматизмом, черномазые жигали, прибравшие издалека, из лесных куреней. Явились в церковь катали с длинными жилистыми руками и заводские женки — коногоны и дробильщицы руды. Все пришли сюда, чтобы

послушать заветную золотую строку о воле. С глубоко проникновенным чувством молились люди, ожидая радости. «Наконец-то дождались светлого денечка!» — думалось каждому. Молебствие продолжалось долго, — на что терпеливы кержаки, а уж и те стали переминаясь с ноги на ногу от усталости. После томительного ожидания отец Иван взошел на амвон, водрузил очки на длинный сизый нос, развернул грамоту, истово перекрестился и громогласно начал читать. Слова манифеста торжественно зазвучали под сводами храма. Священник читал долго, с упоением, но чем больше он углублялся в манифест, тем тревожнее становились лица работных. Радость поблекла, кто-то не к месту раскашлялся. Поп сердито посмотрел из-под очков, отыскивая нарушителя благолепия. Не найдя виновного, он чуть-чуть подался вперед и продолжал читать манифест. Возвысив голос, он огласил последние слова его: «Осени себя крестным знаменем, православный народ!» — и оглянулся. Редкие работные крестились, а среди толпы кто-то вдруг дерзко вымолвил:

— Вот так воля!

В голосе прозвучала явная насмешка. Священник спешно закончил чтение, и по церкви прокатился легкий гул. Ушков оглянулся и увидел черноглазого Кашкина. Степан что-то жарко шептал соседу. «И откуда опять шишига взялся? Смутьян!» — нахмурился владелец конницы. Он взглянул в сторону заводчицы. Аврора Карловна, казалось, ушла в молитву, а сердце ее бушевало.

Отец Иван бережно сложил манифест и ждал радостных восклицаний. Но в храме царило томительное безмолвие; никто не выказал ожидаемой радости; работные и женки стояли с поникшими головами. Священник снял очки и вопросительно уставился на прихожан.

— Что же вы примолкли, дети мои?

— Братцы, нас обманули! — раздался резкий и сильный голос в толпе молящихся.

Поп по-гусиному вытянул шею. Его зеленые кошачьи глаза рыскали по лицам прихожан.

— Что за смутьян возопил тут? — спросил он.

— Подменили царский указ! Подменили! — закричали дерзким голосом в сумрачном церковном углу.

— Украли золотую строку! — обиженно отозвались в другом.

— Не возносите лжи! — рассердился поп и перстом указал на бородатого кержака. — Вот ты, Ларион, что скажешь? Рад царской грамоте?

Старовер расставил крепкие ноги, большие глаза его мрачно блеснули:

— Врешь, батя! То не царская грамота! Разве это воля? Братцы, ведь он зачитал господскую выдумку, а золотую строку упрятал!

Священник взъярился, затопал ногами, но в храме поднялся шум, гам. Стуча подкованными сапогами, кержаки первые двинулись к выходу.

— Не обманешь нас! Не будет по-вашему! — закричали заводские женки и заголосили на всю церковь.

Голос попа погас в шуме. Толпа вела себя вызывающе, дерзко. Ушков заметил, что Кашкин вместе с заводилами пошел к двери.

Аврора Карловна опустилась на колени. Она струсила, но ничем, ни одним взглядом не выдала своего беспокойства. Священник закрыл окованную дверь и тяжело вздохнул:

— Ушли, супостаты!

Демидова встала и с возмущением сказала попу:

— Не понимаю, чего хотят эти неблагодарные!

Отец Иван укоряюще ответил:

— Известное дело, за долгие годы накопилось у них всего, поберегитесь, моя госпожа. Вы побудьте тут, а я схожу проведаю, что они удумали!..

Между тем у церкви все еще толпился разворошенный людской муравейник. Окружив плотным кольцом Кашкина, работные жадно слушали его речи.

— Господа обманули нас! — с жаром убеждал он. — Нам читали манифест, да не тот, не царский, а боярский! Царский за большой золотой печатью, а на том листе, что долгогривый читал, ничего нет! Не давайте, братцы, крепко стойте за свою волю! Требуйте, чтоб огласили настоящий манифест, за золотой печатью!

— Справедливо, Кашкин! Правда твоя речь! — поддержали жильцы с Кержацкого конца. — Земля ноне наша, и воля наша!

— Конец барам! — выкрикнул Кашкин и встретился взглядом с Ушковым.

Надвинув на глаза шапку, владелец конницы ехидно засмеялся.

— Ты чего, словно конь, зубы скалишь? — накинулся на него Кашкин.

— Плакать мне, что ли? — выступил вперед Ушков. — Тошно мне на вас глядеть, а еще — не по нутру ваши речи. Гляди, я такой же крестьянин, как ты, а не кричу! Я волю свою делом заработал, — вон какую плотину возвел! А вы задарма хотите получить и волю и землю! Эй, Степан, не туда оглобли поворотил!

— Врешь! — вспыхнув, перебил его Кашкин. — Ты не простой крестьянин! Нам не по пути с тобой, Климентий Константинович! Ты капиталами ворочаешь!

— Молчи, худо будет! — пригрозил Ушков. — Бунтовскую речь ведешь!

— Не пугай пуганого! Запомни, Климентий Константинович: не задарма мы землю требуем, мы ее потом взлелеяли!

— Я тебя плетью прожгу за такие слова! — забылся в гневе Ушков и пошел на противника с кулаками. — Даром, изверг, воли захотел? Выкупи ее!

— Ты что же это, супостат? — закричали кругом и накинулись на хозяина конницы.

Быть бы тут потасовке, но в эту пору из церкви на паперть вышел поп. Толпа оставила Ушкова и бросилась к нему. Отца Ивана схватили за полы и потребовали:

— Читай нам новую волю!

— Успокойтесь, православные, да я вам только что читал царскую бумагу.

— Не морочь нас! — зашумели кругом. — Ты прочти нам настоящую, а не поддельную! В настоящей-то истинно сказано, что земля теперь вся наша!

— Да откуда вы сие взяли? — отбивался поп.

— Скрываешь от нас! — закричали в толпе, и при уверении священника, что другой грамоты нет, заводские зашумели сильнее.

— Подкупили тебя господа! — стали осыпать упреками иерея заводские женки. — Сами знаем, что настоящая воля лежит в церкви, на престоле, под Егорьевским крестом! Давай нам ее!

— Сестры и братия, не совращайтесь с пути истинного! Господа о вас вечно пекутся, яко отцы родные! — вопил поп, но его толкали в

бока, грозились.

— Земля теперь вся наша! — кричали мужики. — Сам царь отдал. Работать на бар больше не пойдём! А тебя, долгогривый, — на вожжи и на ворота!

— Господи Иисусе! — съежился и сразу обмяк поп, испуганно оглядывал неузнаваемых людей. Они бурлили, как вешний поток, нежданно-негаданно сорвавшийся с крутых гор и сразу показавший свою силу. Черномазые жигали, обожженные литейщики, согбенные вечным трудом в шахтах рудокопы — все тянулись к попу и спрашивали:

— Пошто таишь правду?

Видя, что дело принимает решительный оборот, отец Иван заговорил просительно:

— Винюсь, винюсь: грешный перед вами... Может, не ту грамоту читал... Что дали мне, то и огласил... Отпустите меня, касатики. Может, к утру отыщется что другое!

— Врет поп! — закричал Кашкин. — Отблаговестил, батя. А ну-ка, братцы, я вам сейчас в другой колокол ударю. Есть такой Александр Иванович Герцен. Вот что он пишет про наших господ заводчиков! — Он смахнул шапку, вынул из-за подкладки газетку, развернул ее и пояснил: — Вы все, ребятушки, знаете о волнениях на Юрюзань-Ивановском заводе. Генерал Сухозанет зверь, не щадит нашего брата, рабочего человека. Вот что о нем в листке прописано! Слушайте! — Степан огласил громко: — «Под суд!» — так и зовется статья. А за что и кого под суд? Тут сказано: Ивана Сухозанета, Залужского и Подьячева под суд за варварское управление заводами!

— Ой, как верно! Куда как правильно! — одобрительно закричали в толпе. — И у нас не лучше! Везде бары одинаковы. Волю нам! Волю!

— Погоди, дай человеку зачитать справедливую весточку! — перебил степенный жигаль, весь перемазанный угольной пылью: она глубоко набилась в поры, и трудно ее было отмыть.

Кашкин стал читать листок «Колокола» за 15 декабря 1859 года. Он читал четко, отдельно, так что старый и малый хорошо слышали его крепкие слова.

— «Число крестьян Юрюзанского завода с престарелыми, увечными и детьми простирается до пяти тысяч душ мужского пола. Способные из них к работе отбывают работу по составленному самою

владелицей урочному положению, которое супруг ее весьма часто отменяет по своему произволу и сообразно своим расчетам. В последнее время уроки были увеличены по некоторым цехам до того, что при всех усиленных трудах крестьян они не смогли выполнить урока, в чем убедился и сам Сухозанет и в первых числах июля минувшего года отменил свое нововведение. Впрочем, существующее ныне урочное положение, несмотря вообще на незначительность задельной платы, еще далеко не удовлетворительно и это доказывается тем, что ни один почти мастер, работая все семь дней в неделю, не в состоянии выделать назначенного по положению урока...»

— Братцы, да и у нас такое же! Пан Кожуховский только плетями грозит! — закричали в толпе, и на минуту гул человеческих голосов заглушил чтеца. Кашкин перевел дыхание, выждал, когда народ стихнет, и продолжал все с той же страстью:

— «Не исполнивший же этого подвергается вычету из получаемой платы, по мере недоделанного урока, так что случается нередко, что мастер, вместо получения платы за месячную работу, остается еще должным. Сверх того, вычеты производятся и тогда, когда мастер и сделал урок, но при делании железа сжег более положенного количества угля или же не выделал из определенного количества чугуна назначенный вес железа. Подобные вычеты делаются по всем цехам. Самая высшая плата мастерскому производится в месяц по двадцати рублей ассигнациями, но это количество по случаю делаемых вычетов весьма немногие получают...»

— Точь-в-точь как и у нас! — вставил свое веское слово седобородый литейщик.

Кашкин повел на него глазами, и старик попросил:

— Давай читай далее. Вот это грамота, справедливая грамота! Умный человек писал...

Степан продолжал читать:

— «Нередко случается, что мастеровой, имеющий семейство в семь и более человек, получает в месяц восемь рублей ассигнациями, а иногда и менее, или вовсе ничего. Таким образом, существование крестьян их весьма мало обеспечено, и как у них по гористому местоположению и глинистому грунту навозной земли недостаточно, то они вынуждены покупать для себя всякого рода хлеб. Престарелые и неспособные к работам заводские люди собственно от

заводовладельцев никаким пособием не пользуются, но им дается вспомоществование из крестьянских же денег, которые образуются тем, что заводууправление выдает в счет задельной платы хлеб по ценам немного выше справочных, составляет из получаемой таким образом прибыли капитал, раздаваемый между престарелыми и неспособными к работам людьми, которые не имеют в семействах своих работников. Обращение главноуправляющего заводом было всегда очень строго и даже жестоко...»

— Что правда, то правда! — подхватили работные. — Все, все досконально известно! Придет и до нашей барыни черед! Погоди, отольются волку овечьи слезы!..

— «Несколько лет тому назад приказчик Абаимов, исправляющий и ныне эту должность, был наказан им семьюстами ударами розог, не говоря...»

— Ну, этому собаке так и надо! — одобрительно прокатилось по толпе. — По делам вору и мука!

Кашкин возвысил голос и дочитал:

— «Не говоря уже о других подобных сему жестоких наказаниях. Ныне Сухозанет наказаний уже не делает и в последнюю непродолжительную бытность его, осенью прошлого года, в Юрюзанском заводе, наказано им было только около сорока человек, причем самая высшая мера наказания простиралась не более ста ударов розгами».

— Самому барину всыпать столько, небось петухом запоеет! Молодец, Степан, твоя грамотка лучше поповской. Выходит, есть люди, которые думают о мужицкой доле! — загомонили в толпе.

— Есть, братцы, сами видите! Что написано пером, того не вырубишь топором! Не так ли, ребята? — спросил Кашкин.

— Так, истинно так! — закричали в народе. — Давай нам подлинную царскую грамоту, не то худо будет!..

Тем временем, пока шло обсуждение листка, священник незаметно отступил к церкви. Закрывшись на крепкие запоры, бледный, трясущийся, он закрестился: «Свят, свят, что только будет?..»

До вечера на площади шумела толпа. Барский дом высился над прудом мрачный и безмолвный. Наступили сумерки. Аврора Карловна приказала не зажигать огней. Спустили цепных собак, выставили караулы, и дом постепенно стал погружаться во мрак.

На уральских заводах с устарелой крепостной техникой работали подневольные люди, которые делились на государственных приписных крестьян, посессионных, то есть прикрепленных к заводам, и крепостных, составлявших личную собственность помещика. Законом от 15 марта 1807 года, изданным императором Александром I, были произведены некоторые изменения, но фактически как была, так и осталась тяжелая неволя для закабаленных работных. Одни из них — мастеровые — занимались исполнением технических работ на заводе, другие — сельские работники — выполняли различные вспомогательные работы для завода, в то же время не оставляя и хлебопашества. По горному уставу для мастеровых казенных и посессионных заводов полагался подле завода участок не менее двух десятин пахотной земли и сенокоса, а каждый «непременный» работник имел право получить пять десятин. Но так было только на бумаге; лишь очень небольшое число горнозаводского населения могло заниматься исключительно земледелием, а четыре пятых недополучили полагавшегося им земельного надела и должны были продавать свой труд на заводе. Царский манифест от 19 февраля 1861 года надолго сохранял прежнюю крепостную систему на Урале. Уставные грамоты, которые подписывались заводчиком и горнозаводским населением, снова закрепляли вековечную кабалу, так как крепостные получали волю без земли. Пореформенный уральский рабочий оставался прикованным к заводу так же, как и его подневольные дед и прадед. «Отработки» по-прежнему давали возможность заводчикам практиковать старое и не чувствовать недостатка в дешевой рабочей силе. Как тут не волноваться, если все фактически осталось по-старому и снова впереди ждало еще более страшное рабство.

Это хорошо понимали тагильцы, которые до глубокой ночи обсуждали на площади свое безвыходное положение.

— Работному не нужны уставные грамоты! Один обман в них! — горячо убеждал всех Кашкин.

— То верно! — согласился и кержацкий наставник. — Сегодня грамота, а там, глядишь, и антихристова печать воспоследует на чело!

— Ну, понес свое! — перебил его литейщик. — Не подпишем грамоты, работу кончим! Надо уходить, братцы, раз воля!

— И это верно! — поддержали в толпе. — Хватит хребет ломать на бар!

Рыжий лохматый многосемейный рудокоп насупился и отозвался на выкрики:

— Куда пойдешь с завода? Без земли умрешь с голоду. Тут кабала, но здесь и хибарка и коровенка, а уйдешь из своего угла — и вовсе гибель!

— Трудно, братцы! А грамоты не подпишем, хоть по сибирке гони! — закричали в толпе...

Из-за гор напоздали синие тучи, кругом потемнело. Нехотя и с тревогой на душе заводские разошлись по домам. В избах долго светились огоньки: не одна семья бодрствовала, обсуждая царский манифест.

Утром, только что поднялось ликующее солнце, в Тагил, звеня голосистыми бубенцами, ворвалась тройка серых. На сиденье, покачиваясь, развалился плотный генерал с седыми бакенбардами. На солнце поблескивали густо позолоченные эполеты.

Тройка подлетела к демидовскому дому. Не успели смолкнуть валдайские бубенцы, как услужливо распахнулись двери, и на крыльцо выбежал суетливый пан Кожуховский. Он торопливо сбежал со ступенек и устремился к высокому гостю.

— Ваше превосходительство! Как бога вас ждали! Вся надежда на вас! — льстиво заговорил управляющий.

Поддерживая генерала под локоток, он поднялся с ним на площадку с колоннами, огляделся и прошел в барские покои. В обширной гостиной прибывшего поразила роскошь. Генерал распушил серебристые усы и изумленно разглядывал драгоценный фарфор, бронзу, французские гобелены, развешанные по стенам.

— Поразительно! Не ожидал здесь такой прелести!

Он широким шагом ходил по мягким коврам, заглушавшим звон шпор. Извинившись, пан Кожуховский покинул гостя и поспешил к госпоже; на носках добежав до комнат госпожи, он тихонько постучал в дверь.

— Кто здесь? — встревоженно спросила Аврора Карловна.

— Вельможная пани, сам князь Астратион приехали! Ожидают вашу светлость!

Заводчица не заставила себя ждать. В легком утреннем платье, свежая и румяная, она величественно вошла в зал. Завидя Демидову, генерал-адъютант, звеня шпорами, быстро вскочил. Не скрывая своего восхищения красавицей, он молодецки расправил усы и поспешил приложиться к ручке. Голос его стал умильным:

— Извините, что в такой ранний час потревожил вас!

— Ах, князь, нам здесь страшно... Я трех гонцов за вами послала... Вы наше спасенье! — Аврора Карловна умоляюще взглянула на генерала.

— Все будет хорошо. Верьте мне! За мной следуют солдаты...

Они уселись подле мраморного бюста Никиты Акинфиевича и повели самую непринужденную светскую беседу. Горделивый, с ироническим взглядом, демидовский предок снисходительно рассматривал томную красавицу и генерала, старавшихся превзойти друг друга в светской вежливости.

В полдень на пожарной каланче ударили в набатный колокол, и тагильцы сбежались на площадь. Князь Астратион в сопровождении исправника и полицейщиков вышел к народу. Он развернул манифест о воле, и все покорно обнажили головы. Казалось, что заводские благоговейно слушали уже знакомые им слова. Никто не нарушил торжественной тишины, и генерал, довольный проявленным послушанием, продолжал звонко читать, время от времени самодовольно поглядывая на исправника.

— Ну что, братцы, довольны? — спросил он рабочих и серыми пронзительными глазами обежал толпу.

— Довольны! — как один, ответили рабочие.

Князь Астратион улыбнулся и, повернувшись к исправнику, мягко сказал:

— Видите, надо умело подходить к народу! А что, братцы, все поняли? — опять повернулся он к сходу.

— Все-е! — снова дружно ответили тагильцы.

— Помолитесь богу и поблагодарите за благодеяние своего государя! — предложил генерал и перекрестился. За ним стали молиться и заводские.

Пожарник-дед, наблюдавший с вышки это безмолвное повиновение, удивленно разглядывал тагильцев. Лица знакомых горщиков, жигалей, литейщиков выглядели серьезно.

— Гляди, что с нашим народом робится: то шумствовали, то разом притихли! Видать, князь зачитал им всамделишную царскую золотую строку! — решил старик и умилился до слез. Он поспешно спустился вниз и стал протискиваться сквозь толпу к генералу. Князь между тем, снова благодушно оглядев толпу, дружелюбно предложил:

— Ну, коли все понятно, работайте, братцы, с миром! Да уставные грамоты примите!

Из толпы степенно вышел Кашкин и с достоинством поклонился генералу.

— Ты кто такой и по какому делу? — помрачнел князь Астратион.

— Ваше сиятельство, это и есть главный подстрекатель. Беглый мужичонка! — прошептал князю исправник.

Кашкин без смущения поднял на генерала смелый взгляд и сказал ему:

— Из крестьян я, ваше сиятельство. Мир меня упросил сказать вам, что уставную грамоту мы подписывать не будем!

— Как, указ царя не хотите исполнять? — негодуяще закричал Астратион.

— Мы не будем больше на госпожу робить! Мы будем ждать истинной воли!

— Это что такое? — испуганно и растерянно оглянулся генерал на исправника. — Разве это не воля?

— Какая же это воля, без земли! — вразумительно сказал Кашкин.

— Ах, вот вы как! — разозлился князь и посулил: — Да знаете ли, что сюда солдаты идут! Засеку всех!

— О том известно; только попробуйте, ваше сиятельство, худо будет! — гордо выпрямился Кашкин. — Ваши надельные и уставные грамоты принимать не будем!

В эту пору дедка с пожарки протолкался-таки вперед и бухнулся в ноги генералу:

— Батюшка, смилуйся, зачитай-ка и мне золотую строку!

— Высечь бунтовщика! — совсем вышел из себя князь и указал полицейщикам на старика. Те, подхватив деда, повлекли его куда-то. Но тут заводские женки не утерпели и завопили:

— Смей только, окаянцы, наших мужиков тронуть! Попробуй, мы покажем тогда! Мы на рогачи вас поднимем!

И в самом деле, откуда только у них в руках появились рогачи, ухваты, кочерги. Они угрожающе кричали:

— Оставь деда! Глух и немощен он!

По площади прошло волнение, раздались выкрики:

— Не давай, братцы, наших бить!

— Громада, ратуйте! — закричал понявший все дед, и народ словно вихрем закружило. Кашкин с горщиками бросился на полицейщиков, отталкивая их от деда.

Генерал в страхе разглядывал мгновенно преобразившуюся толпу, не узнавая людей. И куда ни падал его взгляд, везде он встречал враждебные и решительные лица.

— Не будем на госпожу работать! — кричали кругом.

Чувствуя свою беспомощность, князь Астратион, опекаемый исправником и полицейщиками, дрожа от гнева, вернулся в демидовские покои.

Свою угрозу князь Астратион осуществил на другой день. К вечеру в Тагил пришла полурота солдат. Их разместили в Ключах, на Кержацком конце и в Гальянке, и там сразу начались переполох и суматоха. Обнаглевшие солдаты беззастенчиво без спроса ловили кур, поросят, резали их, и все шло в большой солдатский котел. Служивые приставали к приглянувшимся молодкам. На улицах стояли крик, визг и ругань. Отчаянно отбивались от назойливых вояк заводские женки. Полуротный поручик Ознобышев, пьяница с угреватым и неприятным лицом, на жалобы тагильцев только усмехался.

— Что, вкусили? Не хотели по-хорошему, отведаете плети! Постоем уморим! — грозил он.

Ни слезы женок, ни плач детей, ни просьбы степенных мужиков не доходили до его сердца.

— Разорят нас твои солдатишки! — пожаловался ему кержацкий наставник Назарий.

— А ты что думал, борода! На то и солдат, чтобы бить и зорить супостата отечества! — грубо перебил его поручик.

— Да нешто мы супостаты своему отечеству? — возмутился старик. — На рабочем да мужике отечество только и держится, лиходей!

— Ах, вот как заговорил! Высечь строптивного! — крикнул офицер вестовым.

— Батюшка, да за что же? — взмолился кержак.

— Высекут, там узнаешь, как разговаривать с господами! — Поручик указал на дверь. — Убрать немедленно и высечь!

Через минуту солдаты вытолкали старца и отхлестали. Однако кержак, не издав ни одного стона, только прикусил губу.

— Ишь ты, какой терпеливый и мстительный — и не застонал даже! — удивился солдат.

...В полдень заводских снова согнали на площадь. Против толпы замерли солдатские ряды. Вперед вышел князь Астратион. Обливаясь потом, к нему подбежал пан Кожуховский:

— На двух домнах идет выпуск чугуна. Прошу повременить, ваше сиятельство!

Но Астратион не пожелал ждать. Осмелевший в присутствии солдат, он быстро вошел в роль карателя.

— Шапки долой! — желчно закричал он толпе.

Нехотя и неторопливо заводские обнажили головы. Народ, понурясь, молчал.

— Выборных сюда, грамоту будем подписывать! — властно предложил князь.

Никто не отозвался. Глубокая тишина застыла над площадью.

— Что же вы молчите? — злобясь пуще, закричал генерал.

— Мы неграмотные и подписывать грамоты не можем! — сдержанно отозвался за всех Кашкин.

— Сечь буду! — расвирепел князь. — Тебя первого исполосую!

— Не смей! — отозвался работный и оттолкнул полицейщика, протянувшего к нему руки. — Убирайтесь, пока не поздно, пока народ не обиделся!

— Как ты смеешь! — побагровел генерал и сам с плетью бросился на Кашкина, но тот не дремал и, проворно вырвав из рук князя плетень, забросил ее в толпу.

— Уходи, твое сиятельство, не ручаюсь за себя! — поднял он увесистые кулаки и стал наступать на князя. На обветренных скулах мужика перекатились тугие желваки. Работный скрипнул зубами: — Эх-х, берегись!..

Встретясь с напряженным, решительным взглядом работного, Астратион попятился.

— Бунт! Это бунт! — истерически закричал он. — Стрелять!

Сквозь шум и крики раздалась отрывистая команда поручика:

— Приготовиться!

— Так ты в русских людей стрелять удумал! — разозлились заводские женки. — Мужики, чего ждете! Бей злодеев!

В солдат полетели камни, поленья, куски руды. Вся площадь пришла в движение. Работные бросились к солдатам, хватали за штыки, вырывали их. Раздался залп, двое упали убитыми...

Первая пролитая кровь отрезвила людей. Толпа стала разбегаться, голосили женки, плакали дети. Толкая друг друга, люди спасались в огороды, в распахнутые дворы, скрывались за грудями руды.

Солдаты не преследовали разбегавшихся. Полицейщики схватили одного Кашкина и озлобленно скрутили ему на спине руки:

— Попался, окаянный! погоди, разочтемся за твою брехню!

Кашкин угрюмо молчал. Толкая в спину, его увели и бросили в кирпичный амбар.

— Сиди, скоро доберемся! — посулили полицейщики.

Заводские женки подобрали убитых и отнесли к часовне. Оттуда доносился истошный плач обездоленных женщин. У тел столпились рудокопы. Старец Назарий горестно склонил голову и укоризненно промолвил:

— Эх, нехорошо получилось!.. Мыслью, покориться надо... Гляди, кровь братская пролилась...

Пожилой горщик с изборожденным ранними морщинами лицом угрюмо посмотрел на старца и сказал резко:

— Неправильно говоришь! Не покоряться надо, а стоять на своем. И запомни, дед: дело всегда прочнее, когда кровь за него человеческая пролита... Без крови и царь не узнал бы, что у нас робится. А теперь, глядишь, узнает и заступится за нас. Может, пожалеет о крови и вспомнит о воле!

— Это ты верно молвил! — поддержал его сосед, высокий сухой молотобоец. — Клад коли злые люди зарывают, и то заклинают на пять-шесть голов для того, кто хочет добыть его! А ведь мы ищем волю для всего народа, — что же тут плакать о двух. Гневаться надо против бар пуще!

...Князь Астратион пожелал увидеть Кашкина. Отворили дверь амбара и подвели к князю связанного возмутителя. Работный стоял прямо, горделиво подняв голову. Он не опустил глаз перед угрожающим взглядом князя.

— Дознался я, что ты читал мужикам обольстительный лист! — начал князь. — Где ты его брал?

— Насчет чего изволите спрашивать, не пойму! — спокойно отозвался Кашкин и угрюмо посмотрел на карателя.

— Кто читал «Колокол»? — не сдерживаясь больше, закричал Астратион. — Где его брал?

— Добрые вести попутным ветром занесло. И не знаю, какой колокол тревогу среди бар поднял. А что будет, барин, если в набат вдруг ударят? Тогда, поди, проснутся все! Вся Расея пробудится. Ух, и туго доведется вам, барин!

— Да знаешь ли ты, о чем говоришь! — закричал князь. — За такие речи тебя ждет виселица!

— Эх, ваше сиятельство! — презрительно сказал Кашкин. — Всю Расею не перевешаешь! Найдутся люди — и на тебя ошейник наденут! — Глаза заключенного озорно блеснули.

— Ты с кем разговариваешь? — побагровел генерал. — Ведь ты разбойник!

— Это еще кто знает, ваше сиятельство, кто из нас совершил разбой! — смело ответил работный. — Я за народ свой иду!..

Не сдержав гнева, генерал размахнулся и кулаком ударил Кашкина в челюсть. Тот отхаркался кровью и укоряюще сказал:

— Повязанного всякая козявка может обидеть! — Он напрягся, мускулы на руках его вздулись буграми, веревки натянулись, вот-вот лопнут. Астратион отошел от заключенного и на прощание пригрозил:

— Завтра же повешу!

— Меня-то повесишь, а думку народную не удастся. Она рано или поздно настигнет бар! И тебе, барин, не миновать расплаты!..

Генерал, не слушая его, удалился, позвякивая шпорами.

Над заводом спустилась ночь. Безмолвие охватило Тагил, демидовские хоромы и людей. Князь ходил из угла в угол, стараясь унять возбуждение. Оно не проходило, на душе росла тревога. Глухо отдавались шаги в большом зале. В темном кабинете старинные часы с башенным боем пробили полночь. А сон все не шел...

Не спала и встревоженная Аврора Карловна. Беспокойство заставило ее пройти в покои гостя. Он с нежностью посмотрел на молодую женщину.

— Все беспокоитесь? — ласково спросил он.

— Беспокоюсь, — призналась она и бессильно опустила руки. — Скажите, князь, долго ли продлится это?..

— Не знаю! — глухо ответил он. — Народ здесь особый, непокорный. Сегодня усмиришь их, а завтра они снова за свое...

— Я боюсь! — поеживаясь, с нескрываемым страхом прошептала Аврора Карловна. — Может быть, мне лучше на время уехать отсюда?

Князь Астратион помолчал, подумал.

— Пожалуй, для вас это будет лучше! — наконец согласился он. — Да и нам руки развяжете. С делами и без вас хорошо справится пан Кожуховский. Он бойкий и расторопный управляющий!

— О да! — подтвердила Демидова. — Спасибо за откровенность, князь...

Она протянула ему руку и с обаятельной улыбкой сказала на прощание:

— Мы с вами скоро увидимся в Петербурге, князь.

После пережитых на Урале событий Аврора Карловна снова перебралась в Петербург, где и поселилась на Большой Морской, в доме покойного мужа. Обширный роскошный дворец с его знаменитым малахитовым залом после смерти Павла Николаевича пустовал. Сейчас вновь все здесь ожило. Сын поступил в Санкт-Петербургский университет. Ему шел семнадцатый год, и он весьма походил на мать. Те же большие выразительные глаза, свежее, румяное лицо, статная фигура. Красота юноши была до того поразительной, что на прогулках в Летнем саду и в петергофских парках он обращал на себя внимание всех прелестниц. То и дело слышались затаенные вздохи более сдержанных и совсем откровенные восклицания бесцеремонных: «Батюшки, какой красавец!»

Не только красота его привлекала многих дам, но и то, что молодой жуир получал на карманные расходы по сто тысяч рублей серебром ежемесячно. Для матери сын был божеством, и Аврора Карловна считала вполне естественным, что вокруг него всегда увивались не только французские актрисы, знаменитые танцовщицы из балета, но и дамы большого света. Одно только беспокоило Аврору Карловну: как бы невзначай не повредилось здоровье Павлуши! Особенно она боялась француженок и упрашивала сына:

— Я понимаю, что это неизбежно для мужчины... Но ты старайся избегать этих... этих опасных дам... Право, я опасаясь за могущие быть неприятности...

Студент отлично понимал свою матушку, обнимал ее и успокаивал:

— Я берегусь, я знаю, что впереди еще вся жизнь!

Вдова с холодной немецкой практичностью следила за поведением сына, оберегая его от авантюристок. Но в свои юные годы он познал все, что только могла предложить столица. Его обыгрывали в карты, и мать терпеливо оплачивала долги. Ему подсовывали полотна фальшивых Корреджио и Рафаэля, и он покупал их за баснословную цену. Эксперты, приглашенные матерью, устанавливали подлог. Много раз она собиралась серьезно поговорить с ним, но под его взглядом замолкала и смиралась.

— Ах, маменька, ведь я об этом знал! — обезоруживал он ее своим откровенным признанием. — Но я так был влюблен в поворот этой милой головки, что не мог противиться соблазну! Посмотрите сами! — показывал он на полотно.

Все шло по-обычному, как должно было идти, — так вся столичная золотая молодежь заполняла дни. Но с некоторых пор Аврору Карловну стали беспокоить более шумные развлечения сына у известного всему Петербургу ресторатора Бореля.

Несмотря на «тонкую воспитанность», Павел Павлович на пирах, устроенных за его счет, вел себя по-купецки: бил зеркала, дорогие вазы, портил вилками картины. Попойка превращалась в мамаево побоище. Борель был в восторге, и, когда начинался погром, он после опустошения, произведенного в одной комнате, брал Демидова под руку и уводил в другую.

— Ах, monsieur Demidoff! — восторженно говорил он. — Voila une glace qui n'est pas brisee... [36] Прошу вас, умоляю, разбейте заодно и это! — показывал он на уцелевшее зеркало.

Счет Борель не отсылал матери Демидова, предпочитая сам рассчитывать с ее сыном, так как опыт показал ему однажды, что иметь дело с Демидовой невыгодно и неудобно. Аврора Карловна в тот раз тщательно просмотрела счет и по поводу каждого расхода наговорила ресторатору много злых слов.

— Вы поставили здесь, что разбиты венецианские стекла! — спокойно, с леденящим холодком сказала она ресторатору. — Но ведь это не так! Мой слуга точно установил, что стекла были самые простые. Вот здесь вами проставлены китайские вазы. Это же неверно. Вазы были изделий Кузнецова. Господин Борель, если вы хотите иметь дело с Павлом Павловичем, прошу вас счета проверять досконально!

Оплата по счету уменьшилась в пять раз, и ресторатор не мог спорить с этой практичной и упрямой дамой. Да, она знала всему цену!..

В конце концов поведение сына стало тревожить Аврору Карловну, но еще более волновало ее состояние уральских заводов. За последние годы добыча чугуна в Нижнем Тагиле резко снизилась. Управляющий Антон Иванович Кожуховский хотя и успокаивал госпожу, но упадок дел на предприятиях Демидовых был настолько очевиден, что у нее не оставалось больше никаких иллюзий. Ко всему

этому непрестанно волновались работные, предъявляя владельцам различные требования. Необходим был приезд старшего Демидова. Кстати, Авроре Карловне хотелось заглянуть в будущее своего сына. Прямой дядя Павла Павловича — Анатолий Николаевич — оставался одиноким и бездетным, годы его уходили, становилось ясно, что если он не вступит в брак, то единственным наследником всех демидовских богатств останется племянник.

Вдова написала трогательное письмо князю Сан-Дonato с просьбой приехать в Россию.

«Дела заводов требуют вашего пребывания здесь, — писала она. — Старые директора Любимов и Данилов, хорошо знавшие управление, давно сошли со сцены. Необходимо ваше присутствие и совет для бедной вдовы, которая и рада отдать все силы общему делу, но без вас многое мне не решить...»

Анатолий внял просьбе Авроры Карловны и явился в Санкт-Петербург. Он остановился на Большой Морской, в отеле «Наполеон», по соседству с особняком покойного брата. С десятком секретарей Анатолий занял множество комнат. Самые лучшие апартаменты бельэтажа отвели ему под покои. Под окнами отеля круглые сутки дежурили десятки карет и экипажей, запряженных кровными рысаками. Кучера долгие часы просиживали неподвижно на козлах, и Анатолию доставляло удовольствие наблюдать, как они томились в ожидании господина. Демидов и не предполагал выбывать на Урал. Он то и дело требовал срочно своих секретарей и заставлял их разбирать написанные письма и резолюции. Нацарапав их, он и сам не мог разобраться в своих иероглифах.

В первый же день приезда Анатолий явился к вдове. Несмотря на отшумевшие годы, Аврора все еще блистала красотой. Он невольно залюбовался ею и вслух восхитился ее неувядаемой молодостью. Демидова не могла сказать того же своему деверю: князь выглядел худосочным, лицо пожелтело, и на голове остались седоватые реденькие волосы.

«Износился, стар! — подумала она и практически решила: — Теперь жениться ему поздно!»

Чтобы увериться в этом, она по-женски кокетливо повела томными глазами и выговорила:

— Ах, Анатолий, вы тоже вечно молоды. Вас надо женить в Петербурге. Женить поскорее!

На лице Демидова изобразился ужас. Он устало покачал головой:

— Нет, нет! Теперь уже поздно! Никогда!

Он сидел перед ней с видом обреченного.

— Единственно желанная женщина — это вы! — с тусклой улыбкой сказал он. — Но на вдове брата не женятся. Я доволен и тем, что имею такую превосходную хозяйку наших заводов!

Он боялся одного — вдруг она откажется от управления заводами.

«Столько хлопот! Столько забот! — тревожно думал он. — И эти бесконечные волнения рабочих... Нет, увольте от всего этого!»

Вдова раздумянулась и смущенно ответила:

— Я согласна управлять заводами, Анатолий, но было бы лучше, если бы вы остались в России и сами хозяйствовали!

— Нет, нет! — решительно отмахнулся он и перевел разговор на светские новости.

Анатолий Николаевич явился во дворец и пытался попасть на аудиенцию к императору. Флигель-адъютант надменно оглядел Демидова, одетого в узкий фрак, и коротко сказал:

— Будет доложено.

Он удалился в покои, и Демидов провел более часа в томительном ожидании. Наконец флигель-адъютант вернулся, но еще более строгий и недоступный:

— К сожалению, государь не может оказать вам чести быть принятым!

Расстроенный и обиженный, Анатолий поехал на Большую Морскую, к вдове. Аврора Карловна по-прежнему была в курсе всех дворцовых событий.

— Чем же я провинился перед царем? — сокрушенно пожаловался Демидов вдове.

— Ах, Анатолий, вы совершили нетактичность! — воскликнула Аврора Карловна. — Здесь еще не забыли, что вы помогли Луи-Наполеону. Вы отдали русские деньги этому проходимцу... И притом, притом он сделал столько неприятностей России... Достаточно одного Севастополя...

— Как же нужно было поступить? — пытливо посмотрел на Аврору Карловну Анатолий.

— Выждать, вот и все! — ласково сказала она и томно взглянула на деверя. — Знаете, Павлуша дома и жаждет попасть вам на глаза.

Анатолий обрадованно ответил:

— Зовите!

Через минуту перед дядюшкой стоял стройный красавец в мундире, при шпаге. Он бросился к Анатолию, с искренним восторгом обнял его:

— Я столько наслышан о вас!

Глядя на приятную встречу, мать приложила к глазам, хотя они были сухи, кружевной платок.

— Ах, как очаровательно! Как трогательно!.. — сделанным чувством прошептала Аврора Карловна. — Вам нужно немного развлечься. Поль поможет вам... Но только вы, Анатолий, — я ведь вас знаю, — не сильно балуйте его! — погрозила она пальчиком деверю.

Мужчины уехали вдвоем в карете. Племянник с улыбкой посмотрел на дядю.

— Что бы вам хотелось повидать? У нас, в Санкт-Петербурге, есть много интересных мест!

— Вези туда, где можно вспомнить молодость!

— Тогда поедem к мадам Крааль. Там есть интересные блондинки! А может быть, к Борелю?

— Куда знаешь!

Племянник оказался просвещеннее дядюшки. Он свозил его к мадам Крааль, где девицы не уступали в проворстве парижским кокоткам, и к ресторатору Борелю. За все расплачивался племянник, что очень понравилось Анатолию. Он с удивлением разглядывал молодого человека, когда тот, не скупясь, расплачивался.

— Откуда у тебя столько денег? — удивился князь Сан-Дonato.

— Ах, дядюшка, матушка меня никогда не оставляет без внимания! А ей денежки текут с Урала... Столько у нас рабов!..

— Как ты сказал? — спросил с изумлением Анатолий.

— Рабов! — повторил Павел.

— А если эти рабы вдруг восстанут и не пожелают на нас работать? — серьезно сказал дядя.

— Что вы, этого не может быть! — убежденно воскликнул Павел. — Они не посмеют! Им этого не разрешат царь, церковь, урядники! Да так господом богом заведено!

— Н-да! — задумчиво процедил Анатолий и подумал: «Хорош петушок! Голосок еще ломкий, а шустрый, всех нас превзошел!»

Натешившись проказами у Бореля, они поехали на Большую Морскую. Подошла туча, полил частый дождик. Грязные лужи потянулись по мостовой. У подъезда демидовского особняка кучер осадил рысистых, и господа вышли из кареты.

— Эй, эй, пошли! — пригрозил кучер бичом седобородому мужику и мальчонке в рвани, которые хотели перейти тротуар. — Не видишь, куда лезешь! Дай дорогу господам!

Мужик в лаптях опустил голову, остановился.

Выходя из кареты, Павел вынул носовой платок, и в ту же минуту на мостовую со звоном упал золотой. Молодой повеса небрежно взглянул на него, отбросил ногой и прошел вперед.

— Молодец! — похвалил племянника Анатолий. — Сразу видно: барич, русский барич!

Они прошли в вестибюль, а карета покатила в распахнутые ворота.

Мужик оглянулся, бросился к луже и жадно стал искать в грязи золотой. Он нашел его и быстро заложил за щеку.

— Эко, паря, как ноне нам повезло! Гляди, что вышло!

— Тятенька, так он видел золотой, да ногой откинул. Зажирел!

— Это верно! — со вздохом согласился мужик. — Трутни! Чистые трутни! Знали бы, сколько трудовых рук потело, чтобы добыть сей достаток... Да где им знать, сынок! Они и понять того не смогут. Все салом да наглостью затянуло... Э-э, кажись тучи расходятся и дождик перестает! — сказал он и пошагал быстрее, увлекая за собою мальчонку...

Предстояла неизбежная поездка на Урал. Аврора Карловна торопила и подбадривала деверя:

— Вы мужчина и волевой человек! Не забудьте, что вы Демидов. Ваши деды хорошо умели держать в руках своих холопов!

Анатолий уныло повесил голову: его нисколько не радовало затруднительное путешествие на Каменный Пояс, но вдова продолжала наставлять огорченного князя Сан-Донато:

— Главное, будьте дерзки с ними. Они любят, когда господа с ними поступают круто! Волноваться вам нечего. Всему миру известно, что рабы издавна любят непокорствовать, но сейчас есть полицейщики, солдаты... Ах, боже мой, им надо дать почувствовать сильную руку!

— Но я ничего не понимаю в заводском деле! — пробовал заикнуться Анатолий.

— Для того чтобы разбираться в черной работе, есть другие! — властно сказала она. — На заводе существуют управители, приказчики, охрана. Ваше дело поучить их, как выколотить побольше доходов. Пригрозите пану Кожуховскому: постарел и отяжелел он; плохо радеет о нас, своих господах!

Вдова быстро собрала Анатолия в дорогу. Ехал он по новой железной дороге Петербург — Москва, отстроенной по приказу царя Николая. Герстнер так и не получил от русского правительства просимой им монополии на постройку железных дорог в России. Постройка Николаевской дороги была произведена на средства казны.

Приятную поездку до Белокаменной Демидову предстояло совершить в салон-вагоне. «Возможно ли это в России?» — с удивлением разглядывал Анатолий убранство вагона. Стены салона, покрытые стеганым штофом, создавали уют, потолок блистал нежной белизной. Двери украшала мозаика и бронза, и мягкие пружинные диваны были покрыты малиновым бархатом. Обогревательные трубы, замаскированные бронзовыми решетками, делали воздух теплым и приятным.

Поезд тронулся и долго шел среди столичных строений, пока не вышел на простор. За городом навстречу брызнуло осеннее скупое солнце и осветило бегущие мимо окна тощие сосенки, тонкие березки и низкорослые ели. Перелески перемежались болотами, покрытыми ржавой водой. Справа мелькали пестрые полосатые верстовые столбы.

Впервые Анатолий увидел панораму петербургских окрестностей, выглядевшую уныло и серо под низким небом. Поезд, стуча колесами, шел через поля, леса, долины, пересекая реки, глубокие овраги и лога.

Постепенно спускались сумерки, и тут же, у насыпи, потянулись холмы, на них цепь курганчиков с крестами. Кресты, кресты, простые тесовые кресты...

В эту минуту вошел проводник с военной выправкой, в руках у него фонарь и свечи. Он осторожно осветил вагон и подошел к окошку, желая опустить штору. В грустном раздумье он секунду смотрел на печальные могилы, наконец не выдержал и сказал:

— Глядите, барин, сколько мужицких костей тлеет!

Отвалившись на диван, покачиваясь, Анатолий Николаевич благодушествовал. Он не прочь был пофамильярничать с простым человеком. Глядя на бравый вид проводника, он спросил:

— Ты не из гвардии ли, служивый?

— Так точно. Отслужил, в запас вышел, ныне на чугунке работаю, — охотно отозвался отставной солдат.

— Закрой штору, могил в этих местах что-то много! — приказал Сан-Дonato.

— Да-с, дорогонько русскому народу обошлась эта дорожка! — со вздохом вымолвил служитель.

Анатолий обеспокоенно спросил:

— Неужели в этих местах восстание было?

— Беспокойство произошло, но восстание — разве возможно под столицей? — угрюмо посмотрел на пассажира проводник. — Просто мужики мерли как мухи. Голод! Извольте послушать, барин, как о том писано! — не ожидая согласия, отставной солдат громко и четко проговорил:

Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцев, ткачей.
Он-то согнал сюда массы народные,
Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе.
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...

Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?..

Демидов покраснел, поднялся с дивана и закричал резким, недовольным голосом:

— Да как ты смеешь! Да знаешь ли ты, что бунтовские речи ведешь! За это в Сибири сгноить могут! — Он задыхался от негодования.

Проводник смолк, лицо его стало строгим. Он терпеливо выслушал гневные окрики Анатолия Николаевича и, когда тот немного успокоился, тихо сказал:

— Виноват, барин. Не знал, что это вас так растревожит. Только напрасно изволите кричать. Это вовсе не бунтовские речи. Извольте знать, то стихи господина Николая Алексеевича Некрасова. Их сынишка мой читает. Поглядите! — Он вынул из кармана небольшую брошюрку и показал пассажиру. — Обратите внимание, тут и прописано: «Дозволено ценсурой». Вот оно как! Извините за беспокойство! — Проводник откозырял по-военному и удалился в соседний вагон.

«Что за времена пошли! — с возмущением подумал Анатолий. — Каждый хам занимается стихами! Почему до сих пор его величество не отправит этого Некрасова в Петропавловскую крепость! Там ему место!»

Он долго ворочался на диване, не мог успокоиться, брался за французский роман, но читалось плохо. Так в одиночестве он доехал до Вишеры. Здесь на остановке в вагон вошел сытенький румяный господин в золотых очках. Небольшая черная эспаньолка и клетчатый костюм делали его похожим на иностранца. Он учтиво поклонился Демидову и расположился на противоположном диване.

— Очень приятно иметь соседом благовоспитанного человека, — раздался его бархатный голос. — Далеко ли путь держите?

— До Москвы! — хмуро ответил Анатолий Николаевич.

— Мне повезло, и я добираюсь до первопрестольной! — добродушно оповестил он.

Он несколько минут возился, размещая багаж, а когда поезд тронулся, уселся к столику и заискивающе взглянул на спутника:

— Вы чем-то взволнованы! Позвольте спросить вас, как здесь прислуга?

— Смутьяны! Здешний проводник наговорил такого, что не придумаешь! — взволнованно высказался Сан-Дonato.

— О чем же таком наговорил он вам? — любопытно спросил сосед по салону.

— Мы проехали мимо бесчисленных могил. Слуга железнодорожный позволил себе по этому поводу прочесть стихи Некрасова. Каково? Намек на графа Клейнмихеля.

— Ну, батенька, это не страшно! — потирая руки, промолвил спутник. — Кто в России, и в Санкт-Петербурге особенно, не знает нрава Клейнмихеля? Он и иже с ним крали не по-русски! Жесток был! Приезд его на дорогу уподоблялся холерной эпидемии. Порка, недоедание — вернее, голод — и антисанитарные условия, да-с... Тяжело... Мужики-то отовсюду были согнаны: из Ковенской губернии, из Виленской, Смоленской, Орловской, Новгородской, Псковщины, Тамбовщины, из Калуги и Чернигова, ах, боже мой, всех не перечесать... Многие сложили кости...

Говорил он легко, свободно, горе мужицкое не вызывало у него сожаления. В столице и за границей говорили, что царь Николай Павлович построил дорогу на костях. Об этом слышал и Демидов. Он пристально посмотрел на спутника и, учтиво поклонившись, спросил:

— Дозвольте, с кем имею честь?

— Добрынин, Кузьма Ильич, акционер общества металлургических заводов на юге... Можете не называться... Знаю, знаю, что ваша светлость — князь Сан-Дonato, Демидов, владелец уральских заводов.

Анатолий поразился всезнайству господина. Нахмурившись, он посмотрел на его сытое, самодовольное лицо. Демидова шокировали и тон разговора и та легкость, с которой сосед высказывал обо всем свое мнение. Не понравилось ему и то, что случайный знакомый несколько запанибрата обращается с ним. В другое время князь Сан-Дonato презрительно посмотрел бы на него в монокль и обдал бы холодным душем — своей презрительной, уничтожающей улыбкой, — но то, что перед ним сидит один из заводчиков процветающего юга, его крайне заинтересовало. Давно Анатолия беспокоил вопрос, почему металлургические заводы на юге России процветают и поставляют

железо дешевле других, а демидовские уральские заводы хиреют и не могут угнаться за ценами на рынке. В чем дело?

Эта мысль сразу отвлекла его от созерцания картин природы; он уселся напротив Добрынина и недовольным тоном пожаловался:

— Вы счастливы, вам везет, на вас обращают внимание. А нас правительство забыло! По совести сказать, мы сильно обижены!

— Чем же вы обижены? У вас на Урале все есть: руда, лес и дешевая водяная сила. Не понимаю! — пожал плечами Кузьма Ильич.

— Понять это просто! — с ноткой сожаления о недогадливости соседа сказал Анатолий. — Судите сами: исторические заслуги Урала и наших демидовских заводов всем известны. Ведь этого не станете и вы отрицать?

— Не стану! — согласился промышленник.

— Вот видите! — обрадовался Анатолий. — В течение двухсот лет вся Россия пахала и жала, ковала, копала и рубила изделиями наших уральских заводов. Мало этого — русские люди носили на груди кресты из нашей меди. Мужик ездил на уральских осях, охотник стрелял из ружей уральской стали, бабы пекли блины на уральских сковородах, да что говорить, — медяки в кармане любого отчеканены из уральской меди. Мы два века удовлетворяли потребности всего русского народа! — Демидов горделиво посмотрел на собеседника, стараясь подчеркнуть: «Видите, я не выскочка, подобно вам! У нас прошлое!..»

Однако Добрынин добродушно засмеялся:

— Ну, батенька, куда хватили! История историей, а дело сейчас по-иному надо ставить. Полюбуйтесь, что делается в Англии! Вот у кого надо учиться, ваше сиятельство! Аглицкие промышленники ставят производство на вольном труде. Рабский, крепостной труд в наше время становится невыгодным. Конкуренция требует дешевой рабочей силы. Да, сударь, времена пошли иные!

Демидов пожал плечами, угрюмо проронил:

— Не понимаю ваших речей. Вы говорите как истый коммерсант!

Промышленник засмеялся.

— Я понимаю вашу мысль, ваше сиятельство, но поглядите, что делается кругом! Крепостное право пало, промышленность приходится строить на иных началах. Кто теперь будет отрицать влияние капитала! Надо быть коммерсантом, иначе вылетит в трубу!

Анатолий туго соображал, о чем говорит его сосед. Он считал себя аристократом и на промышленника смотрел как на человека низшей породы. Однако, сдерживая свое недовольство, он учтиво спросил:

— Все это так, но я не понимаю, почему у вас дела лучше пошли, а у меня на Урале хуже?

— Пенять все очень просто, ваше сиятельство! — спокойно ответил сосед. — Юг молод, милостивый государь, — сказал он напыщенно. — У нас технический прогресс, мы не связаны со старинкой! Мы вступаем в конкуренцию с европейскими заводчиками. Ваш Урал стар, у вас не изменились вековые порядки, сказывается техническая отсталость. Пора, сударь, перестраивать предприятия!

— Ну это вы уже слишком! Наши деды и отцы знали горное дело и ставили его умело! — холодно отозвался Демидов.

— Теперь деды ни при чем, ваше сиятельство. Ныне господин капитал шествует. Он себе пробьет дорогу! — В голосе Добрынина прозвучали торжествующие нотки, задевшие Анатолия за живое. Он отвернулся и замолчал.

Наползал серенький вечер. Над низинами потянулся туман. В вагоне зажгли ранний свет. Спутник раскрыл новый кожаный чемодан и стал извлекать из него обильные яства. Он разложил на столике балык, паюсную икру, сыр, ветчину, булочки и приятно пахнущие тмином хлебцы. Вслед за этим он добыл пузатую бутылочку венгерского и предложил Демидову:

— А не желаете ли, ваше сиятельство, выпить за процветание дел?

Лицо промышленника лоснилось от самодовольства. Он причмокивал губами, предвкушая удовольствие. Анатолий сухо поблагодарил соседа, но разделить трапезу с ним отказался.

— Жаль, весьма жаль! — для приличия закручинился тот и без проволочки стал насыщаться. Ел он медленно, чавкая, чмокая, обсасывая жирные пальцы. Князь Сан-Дonato с отвращением смотрел на это отталкивающее обжорство. Купец не смущался и священнодействовал, запивая закуски красным игристым венгерским. Все быстро исчезло со стола, и на смену из бездонного чемодана появилась жареная курица, огурчики, соленые грибочки в банке. Тяжело

дыша, пассажир продолжал с аппетитом есть. От сытости глаза у него стали сонными, блаженными.

— Ох, господи, не скрою от вас, люблю поесть! — полузакрыв глаза от наслаждения, сказал он.

Анатолий не выдержал, молча повернулся и вышел в коридор, где долго бродил, раздумывая о судьбе своих заводов. Когда он вернулся, купец, сладко посапывая, спал блаженным сном...

Утром промышленник поднялся очень рано и растолкал Демидова.

— А знаете, что я надумал! — неожиданно предложил он Анатолию. — Продайте-ка мне свои заводишки. Я живо преобразую их! Видать, вы и впрямь не интересуетесь вашим делом. Чего же лучше, и цену дам выгодную!

Весь день он бойко убеждал Демидова в выгодности сделки, но тот отмахивался. Анатолий не знал, как и отвязаться от назойливого соседа; счастье, что поезд подходил к Москве и можно было наконец расстаться с ним.

От Москвы Демидову предстояло ехать на лошадях. Он нанял в ямщики бородатого плечистого мужика, слуги приготовили карету, а лошадей решили менять на каждой почтовой станции.

В солнечный полдень тронулись в путь. Перед путниками распахнулись бесконечные дали. Но широкие просторы России, полноводные реки и шумные леса не привлекали сердца Анатолия. Он был равнодушен ко всему русскому. Стояла золотая осень, в чистом прозрачном воздухе плавно лилась разудалая песня бородатого ямщика, подпоясанного цветным кушаком. Демидова не радовали ни мотив песни, ни раздолье ее. На станциях он нервничал и с презрением разглядывал жалких, забитых станционных смотрителей. Когда они мешкали, князь Сан-Дonato грубо и требовательно выкрикивал:

— Лошадей!

Без конца тянулась дорога. Мелькали помещичьи усадьбы с обширными зеркальными прудами, с густыми ветлами над ними, на косогорах чернели убогие избы разоренных крестьян, да маячили полосатые верстовые столбы.

Ямщик разудало пел всю дорогу. Его песня то разливалась словно половодье, то вытягивалась в тихий ручеек и замирала. За Волгой

Анатолий не выдержал и набросился на ямщика с укором:

— Эх, распелся! Хватит! Чему, спрашивается, обрадовался?

Мужик замолчал, а глаза его улыбались.

— Ну как не радоваться, господин? Едешь-едешь, а кругом тебя мать родная русская земля. Гляди, барин, и небушко наше милое, васильковое, и солнышко на своей сторонушке светит по-иному, ласковее. Да разве можно русскому человеку без песни жить? Не я пою, господин, — душа моя поет! Чем с плачем жить, так лучше с песнями умереть. Эй, пошли, залетные! — Он свистнул, гикнул, и кони рванулись вперед...

Четыре станции минули, сотню верст отмахали молча. На очередном привале ямщик подошел к Анатолию и поклонился:

— Увольте, барин. Сделайте божеское одолжение. Не могу дальше ехать!

— Да ты с ума спятил! — вспыхнул Демидов. — Где же я сейчас найду человека? Разве тебе худо со мной?

— Грех про это молвить, но только не могу! — упорствовал мужик. — Найдете другого! Только поманите — явится! Всем пить-есть хочется...

— Но почему же ты все-таки отказываешься? — пристально посмотрел на него Анатолий. — Худое что-то задумал?

— Упаси господи! — отрекся мужик.

— Ну, тогда что за причина?

— Эх, барин! — с укоризной посмотрел ямщик на Демидова. — Еду, все еду, а сам молчу! Спаси бог, не могу так. Несподручно русскому человеку без песни. Ну ровно покойника везу... Увольте, господин, не могу без песни гнать на почтовых. И где это видано? Издавна, сотни годов, всегда ямщики песни пели! И как это можно: дорога без песни не дорога! Прощевайте!

— Постой! — окрикнул его Анатолий и предложил: — Вези дальше, золотой дам!

— Бог с ним, с золотым! Не поеду! — решительно отказался мужик и так и не поехал с Демидовым.

Пришлось на станции взять в ямщики первого подвернувшегося угрюмого бородача и с ним отправиться в путь. Покачиваясь в экипаже, Анатолий с недоумением думал:

«Что за страна Россия! Удивительный народ! Нищ, наг, и дома семья, поди, без куска хлеба сидит, а от золотого, упрямец, отказался. Без песни не может... Странно, очень странно...»

И все в пути ему казалось непонятным. Он двигался будто в неведомой стране. Как только из-за горки показалась золотая главка нижне-тагильской церкви, он восторженно и с удовлетворением подумал: «Вот и заводы наши! Мое, все мое тут!»

Он постучал в окно кареты и велел слуге:

— В Тагил въезжай как подобает господину!

— Это известно! Не впервые господ возим! — отозвался угрюмый ямщик и перекрестился. «Слава господу, доставил-таки сюда нелюдимого!» Он облегченно вздохнул: даже ему, угрюмому с виду человеку, бесконечное дорожное безмолвие тоже было в невыносимую тяготу...

В Тагиле никто не ожидал внезапного приезда хозяина. Обширная пустынная площадь перед барским домом поросла травой. Старый парк был охвачен пожаром осени: багрянцем пламенели дрожащие осины, в ярко-золотистом сверкании роняли листву березы, а могучий ветвистый дуб отливал бронзой. По ветру неслись серебряные нити паутины и цеплялись за кусты. С пруда шел первый осенний холодок.

Ямщик разогнал тройку и шумно подкатил к подъезду, перед которым на круглой клумбе пестрели последние астры; запах увядания их струился в воздухе.

На стук колес из ворот выглянула стряпуха и, завидев нарядного Анатолия, всплеснув руками, суматошно закричала:

— Батюшки, барин приехал!

На крик этот из дома выбежал растерянный, изрядно постаревший пан Кожуховский. Он заахал, бросился к Демидову, поцеловал его в плечо и льстиво заговорил:

— Ах, как мы все рады такому счастью! Весьма рады, ясновельможный князь!

Поодаль столпилась дворня, с любопытством рассматривавшая владельца заводов. Многие годы ушли с той поры, как Анатолий юношей приезжал в Тагил. Сейчас одни старики помнили первый приезд хозяина. Они с разочарованием смотрели на прибывшего,

печально отмечая: «Гляди, совсем старик стал! И ноги волочит... Эх ты, видать, сильно поизносился по заграницам!»

Только управляющий, по-видимому, не разделял разочарования слуг и беспардонно льстил Демидову:

— Вы еще орел, ваша светлость! О, только в такие годы мужчины и нравятся женщинам!

Анатолий не слушал болтовни управляющего, глаза его чего-то искали. Увы, никто из работных не пришел приветствовать своего господина! Это особенно задело Анатолия. Он огляделся кругом. Только две домны струили синеватый дымок; другие две безжизненно маячили на фоне ясного неба. Притихшим и покинутым выглядел завод, не чувствовалось здесь бывшего шума и кипения.

Князь Сан-Дonato огорченно вздохнул и подумал: «Что-то случилось! Почему отсюда уходит жизнь? Дряхлеют люди, и завод стал иным!»

Старый дом также выглядел сиротливо. Под дождями и непогодами он посерел, местами отвалилась штукатурка; радужно отсвечивали стекла в окнах. Ступени широкого и когда-то внушительного крыльца изрядно обветшали и скрипели под ногами.

Демидов молча прошел в покои и поразился упадку и запустению в них. В больших залах свисала пыльная паутина. Затянутые в холст бронзовые люстры были засижены мухами, грязны. В дедовском кабинете старинные часы заржавели и безмолвствовали. Запах тлена наполнял покинутое жилье. Откуда-то из темного угла выбежал еж.

— Не бойтесь, ваша светлость, — услужливо предупредил управляющий. — Это Андрейка — старая, но проворная зверюга, крыс ловит тут...

Пан Кожуховский сердито мигнул девке в полинявшем сарафане, и та проворно передником смахнула пыль с кресла.

— Садитесь, ваше сиятельство! — вкрадчиво попросил пан Кожуховский. — Прошу не обижаться запущенностью. Неведомо нам было о ваших намерениях посетить Тагил и потому не подготовили дома. Ах, боже мой, враз все будет! Стоит только господину на часок пойти погулять, бабы живо тут приберут! — Серые бегающие глаза старого лиса угрюмо поблескивали из-под нависших бровей.

Волей-неволей Демидову снова на время пришлось покинуть хоромы. Вместе с Кожуховским он спустился в парк, где по заросшей

дорожке брел до пруда. Стояла пора тихого листопада. От сознания, что все минуло, что дедовский дом заброшен и стал необитаем, на душе его стало грустно. В тоскливом настроении Анатолий прошел на плотину. Здесь он долго любовался могучим потоком, который, бурля и пенясь, выбегал из-под старого мшистого колеса.

От плотины управляющий повел его на завод. Тяжело было войти в цехи. Мертвящая тишина стояла в них. Рабочих заметно поубавилось, и держались они сухо и неприязненно; не торопились снимать перед хозяином шапок, старались за делом не видеть Анатолия.

Демидов с управляющим оглядел весь завод. Здесь все шло по старинке. Домны работали на древесном топливе, крепко держался старый кричный способ выделки железа. Работа шла вяло, и казалось, что все здесь угасало. Анатолию представилось, что они идут по огромному кладбищу, где из каждого угла дует мертвящим холодом. Крыши протекали, хотя завод готовил свое листовое железо, стены осели и дали трещины, и горны ветшали и разваливались.

Хозяин недоуменно посмотрел на управляющего. Тот понял его немой вопрос, развел руками:

— Что же делать, ваше сиятельство, если теперь с рабочей силой неуправка! Много народу разбрелось кто куда. В минувшие годы наши края посетил голод, бесхлебица, вот и разбежались. Да и работать не хотят при низкой цене, а высокую мы дать не можем.

Анатолий молчал. Стиснув зубы, он угрюмо проходил мимо запустения на заводе. «Всего только несколько лет прошло, и все так изменилось! Вот бы сюда Любимова или Данилова! — подумал он, однако сейчас же отбросил эту мысль. — Нет, и они не спасли бы положения. Иные времена пошли! Кризис...»

Тоска еще сильнее сжала сердце Демидова, когда он побывал на медном руднике. Паровые машины, сооруженные Черепановым, ржавели. На шахтах шло губительное разрушение. Одряхлевший смотритель Шептаев, узнав барина, прослезился и пожаловался:

— Захлебывается наш рудник-то... Ох, погибает...

В его словах звучала глубокая боль. Слово о человеке, охваченном смертельной болезнью, он рассказывал:

— Лежишь ночью и слышишь, как стонет вода в шахте... Сочится и сочится... Нет, не устоять руднику! — безнадежно махнул он

рукой. — Ох, и жалко же!..

Голодный и усталый, Демидов поздно вечером пешком возвращался домой. Он шел по Гальянке; жалким и придавленным выглядел поселок. Серые, ветхие избенки скособочились, а многие по оконца ушли в землю. Дворы стояли распахнутыми настежь. Дрожащий свет лучины озарял мутные окна. Если бы не этот свет, то казалось бы: все люди покинули жилье...

К этому времени прибрали несколько комнат и подали ужин. Демидов насытился и отпустил управляющего.

— О делах поговорим завтра! — уклонился он от неприятной беседы.

Спустилась темная ночь. Растревоженный увиденным, Анатолий не мог уснуть. В безмолвии осенней ночи он бродил по комнатам. Захватив медный шандал с горящими свечами, он прошел в прихожую и по скрипучей лесенке поднялся в горенку, где когда-то жила Глашенька. С замиранием сердца он переступил порог и с горестью огляделся. Все здесь пришло в ветхость. Паутина заткала углы, ворвавшийся в разбитое окно ветер старался потушить свечу в его руке. Заслоняя пламя от ветра, он подошел к деревянной кровати. В углу висел все тот же образ, но лик святого совсем стерло время. Сор, гнилое, источенное червем дерево, обломки — все наводило уныние. Безвозвратно ушла юность, пронеслись забавы!

Тяжелой походкой Демидов спустился к себе в кабинет и уселся в кресло. Долго с закрытыми глазами сидел он у стола. Перед его мысленным взором промелькнули дни молодости, вспомнилось улыбающееся задорное лицо юной подружки.

Утром он спросил у старика дворецкого:

— Где же теперь Глашенька?

Слуга скорбно опустил голову.

— Упокоилась, батюшка, годков десять назад упокоилась на погосте...

Анатолий не стал больше расспрашивать о ней: больно было сердцу тревожить далекое прошлое...

Три дня Анатолий Николаевич не выходил из дома, — рассматривал отчеты, в которых плохо разбирался. Пан Кожуховский

давал путаные и туманные объяснения, о многом умалчивал, и Демидов, окончательно сбитый с толку, совсем ничего не понял в заводских делах. С тяжелым вздохом он устало отложил в сторону книги:

— Будет! Хватит с меня!

— Может быть, ясновельможный князь заинтересуется отпуском железа за границу? — с готовностью стал разворачивать толстый фолиант управляющий.

— И без этого все ясно. Плохо ведешь дела! — резко сказал хозяин и выразительно посмотрел на Кожуховского.

— Изо всех сил стараемся, ваша светлость! — стал оправдываться Антон Иванович.

— Не виляй, мне нужны деньги! Ты плохо добываешь их. Веди дела как хочешь, но давай мне побольше прибылей!

— Я жилы рву с лайдаков^[37], но ничего не могу поделывать! Все время шумствуют!

— Что им нужно? Чего они хотят? — раздраженно спросил Демидов. — Вот погоди, я завтра с ними поговорю сам. Я им покажу!

— Стоит ли их дразнить, ваша светлость? Они и без того недовольны! — заикнулся было управляющий, но замолчал под жестким взглядом хозяина.

На другой день к подъезду потянулись толпы заводских. Анатолий из-за портьер тайно разглядывал их. Как изменилась их поступь! Это не те люди, что были десять — двадцать лет тому назад. В их поведении не чувствовалось рабского унижения. Держались они самоуверенно, с достоинством. После того как долго потомил их ожиданием, Анатолий Николаевич, опираясь на трость, вышел на крыльцо. Толпа встретила его молчанием.

— Шапки долой! — закричал Кожуховский, но только редкие из стариков смахнули картузы.

Демидов горделиво вскинул голову и спросил самоуверенно:

— Почему вы плохо работаете? Завод работает в убыток! Доходы упали! Что все это значит?

Вперед вышел небольшого роста, чисто выбритый, в опрятном запоне доменщик и ответил владельцу завода:

— Просим выслушать нас! Давно думали о том написать вам. Не можем мы больше так робить! Жалованьишко малое, на хлеб не

хватает! Покосов совсем лишили, коней и коров не стали держать. А как, скажем, жигалю без коня иль для многодетной семьи без коровушки? Погибель выходит!

— По работе и плата! — вставил пан Кожуховский.

— Нет, такого николи не бывало на заводе! — закричали в толпе. — Работаем как каторжные, по семнадцать — восемнадцать часов, а заработок мал, хоть по миру иди! А доходы — мы сами видим, кому они идут!

— Как вы смеете так со мной разговаривать! — покраснел Демидов. — Вы знаете, что наш завод работает на отчизну. А вы, лодыри, не желаете приложить труд в полной мере!

— Полно, сударь! — сказал доменщик. — Зачем поносить нас, работаем мы от всей силы!

У крыльца показались полицейщики. Пан Кожуховский повел глазами, и они подошли поближе. Демидов осмелел, сошел с крыльца и очутился в людской гуще.

— Так нельзя работать! — горячась, заговорил он. — Это измена государству. Не вижу вашего рвеня. Вы изменщики!

Кругом зашумели. Доменщик придвинулся к хозяину и сказал строго:

— Ты, барин, не бросайся словами! Николи изменщиками отчизне не были и не будем. Таким рожден русский человек! А вот про тебя наслыханы, что ты французскому императору помогал, когда он на Севастополь пришел! Как это назвать?

— Молчать! — вспыхнул Демидов.

— А если молчать не вмоготу? — поднял на заводчика потемневшие глаза рабочий и указал на грудь: — Вот тут все кипит. Еще бы! Мы из последних сил робили, лили пушки и ядра, чтобы оборонить наш русский город, а ты что делал? Продал нас!..

— Пороть буду! — выкрикнул Анатолий и оглянулся через головы на полицейщиков. Те злобно смотрели на работных.

— Только за тем и звал! — с едкой насмешкой вымолвил доменщик. — Эх, барин-суматоха, дворянская косточка! Гляди, сломается...

Демидов не помнил себя от охватившего его гнева. Надеясь на полицейщиков, он взмахнул тростью и хотел ударить по лицу доменщика, но тот схватил палку и сломал ее.

Анатолий очутился среди раздраженных им рабочих. Кто-то занес над ним кулак, но сильный доменщик отвел угрозу.

— Не трожь! — сурово сказал он. — Не стоит мараться, беду накликать. И так от господ лиха много!

Однако прорвало скованный гнев. В толпе устрашающее закричали:

— Уйди от нас, пока кровь не взъярилась! Кто ты такой? Не ведаем тебя и не знали всю жизнь! Не хозяйничал ты тут, на русской земле, не робил с нами и горе не делил!

— Убирайся, захребетник, пока цел! — выкрикнул кто-то.

— На каком праве нагулял жир от нашего пота? — высунулась вперед заводская женка и пригрозила Демидову: — Гляди, как бы сало не вытопили из тебя!

Демидову стало страшно. Куда ни взглядывал он, везде встречал злые, горящие ненавистью глаза, возбужденные, гневные лица. Ни один человек не проявил к нему сочувствия, даже его дворовая челядь — и та упрямо молчала. Словно затравленный волк, он тяжело опустил голову и с налитыми кровью глазами побрел прочь по узкой дорожке, которую, сгрудясь, открыл ему народ. Он шел, шатаясь, среди жарко дышащих людей, ощущая непреклонную ненависть к себе, которая кипела-клокотала и искала выхода. И стоило ему только бросить бранное слово, как мгновенно могла вспыхнуть и разлиться пожаром еле сдерживаемая, вековечная ненависть. И никто тогда — ни слуги, ни полицейщики, ни пан Кожуховский — не остановит расправы над ним!

Чужим, презираемым почувствовал он себя среди русского народа, который поднял против бар свой гневный голос.

Демидов шел, а сердце его замирало от страха. Однако он мысленно грозил рабочим:

«Погодите, я напомню вам, кто такой есть князь Сан-Дonato, Демидов. Я научу вас уважать собственность и владельцев!»

И, словно в ответ на его угрозу, бородатый, с запекшимся от вечного жара лицом литейщик насмешливо крикнул:

— А что, волчья сыть, отходит ваше времечко! Погоди, мы еще поспорим!

Грозный, страшный смех потряс толпу и унизил еще больше согбенного, втянувшего голову в плечи, жалко бредущего среди

людского потока барина.

Волоча ноги, Анатолий с трудом добрался до хором и вошел в кабинет. Следом за ним появился бледный, дрожащий Кожуховский.

— Ясновельможный князь шибко погорячился! То напрасно! — хрипло сказал он.

Демидов мрачно посмотрел на управляющего и приказал:

— Все двери — на запор! На окна — дубовые ставни!

— Все немедленно исполнят, ваша светлость! — угодливо склонился старый шляхтич.

Анатолий Николаевич пристально посмотрел на него и спросил:

— Где ты был, хитрый лис?

— Ваша светлость, я послал гонца к властям. Только штык и пуля могут успокоить непокорное быдло! — ответил управляющий, смущенно помялся и продолжал вкрадчивым голосом: — К утру сюда наедут воинские люди, будет холопам расплата за все, ваша светлость. Большая расплата! Чтобы ваши очи не видели этой гили и обид на вас не было, выезжайте, господин, в ночь подальше отсюда. И карета, кстати, припасена, и верные люди ждут...

Демидов опешил.

— Хорошо, я согласен! — после долгого раздумья согласился он и оживился. — Ты вот что, задай им перцу за мои обиды!

— О том ясновельможный князь может не беспокоиться. Все будет исполнено в наилучшем виде...

В доме застыла глубокая, мрачная тишина. И прадедовский кабинет, и стены старинного демидовского дома, и даже обстановка показались сейчас Анатолию угрюмыми и враждебными. Он со страхом озирался, словно отовсюду здесь ждал смертельного удара. Кожуховский заметил его тревогу, блуждающий взгляд и успокоил:

— Не тревожьтесь, ваша светлость! Тут, за стенами, вы можете уверенно отдыхать до ночи. А там, даст бог, все пойдет, как договорились...

Глубокой ночью, словно преследуемый вор, Анатолий выбыл из своего родового гнезда, чтобы больше никогда не возвращаться в него. Глухо в густую пыль ударяли копыта борзых коней; покачиваясь на рессорах, бесшумно катился экипаж с холма на холм. Изредка раздавался свист бича да мимо окна экипажа тянулись бесконечные леса, озаренные луной...

Утро застало князя Сан-Донато вдали от Нижнего Тагила. Озаренные солнцем, сверкали величественные уральские сопки. Каменную гряду гор рассекали полноводные реки. Золотые потоки солнца заливали вершины сосен, лесные елани, и все кругом начинало сверкать в отблесках утра. В небе разливались трубные звуки пролетных лебедей. Начинался день — время большого радостного труда. Шелестели придорожные березы, раскачивались черемуха и рябины под ветром, роняя листья. Ветер-гулена бесшабашно задувал по лесу. Вот послышался шум горной реки. В омуте, под скалистым обрывом, плескались хариусы. Голубовато-серый, с крапчатым подкрыльем мартын упал камнем с высоты небес в омут и мгновение спустя вновь взвился над скалами, унося в клюве трепещущую рыбу. Кругом перекликались сойки, постукивали дятлы, верещала желна и весело насвистывали поползни. На чернеющую пашню выехал пахарь, помолился на восток и пустился бороздить землю, мерно шагая за сохой.

Демидов сидел в углу кареты и через открытое окно слышал, как кучер, показывая слуге на ниву, глубоко вздохнул и сказал:

— Эх, мать-землица! Хороша и утробна. Родимая ты наша кормилица, русская земля!

Однако ни восхищение стосковавшегося по земле мужика, ни радостное пробуждение утра, ни картины благостного труда — ничто не оживило князя Сан-Донато. Он сидел холодный, равнодушный ко всей этой красоте. Чуждо и непонятно ему было здесь все кругом.

«В Италию, во Флоренцию! Подальше отсюда!» — мечтательно думал он.

И все дальше и дальше от Каменного Пояса катилась черная, покрытая пылью карета, унося Анатолия Демидова — чужого и враждебного своему народу...

До окончания навигации Анатолий вернулся в Санкт-Петербург. В столице он прожил около месяца. Аврора Карловна свезла его в старинный дедовский особняк на Мойке; Пустынно и уныло было в залах, затянутых паутиной. Пыль годами накапливалась на вещах. Ковры были убраны, люстры и картины укрыты полотном. Старичок, хранитель дома, пожаловался владельцу:

— Забыли нас, батюшка, совсем забыли...

Анатолий ничего не ответил на эту жалобу, переглянулся с Авророй Карловной и пожал плечами.

Она увлекла его в контору, где велись счетные книги, и вмиг перед Демидовым появился толстый гроссбух. Вдова уселась перед ним и, как понимающая дело, начала:

— Сейчас я вам изложу, как складываются наши доходы и расходы. Я ведь опекунша над сыном и ваша доверенная, а потому обязана отчитаться в своих действиях! — Она деловито стала листать страницы.

Анатолий с ужасом смотрел на красавицу и наконец не вытерпел:

— Только не сейчас, прошу вас!

Он так жалобно посмотрел на нее, что она захлопнула гроссбух и покорно согласилась:

— Не смею ослушаться вас...

Больше они не возвращались к счетным книгам. Он с утра уезжал на выставки, в магазины, скупал картины, всякие раритеты и отсылал в забытый дедовский особняк. Много времени у него отнимали встречи с артистами, художниками и литераторами. Анатолий всем им обещал большие заказы, но в самый разгар своей бурной деятельности вдруг сообщил Авроре Карловне:

— Нет, мне не нравится в Санкт-Петербурге! Хочу завтра покинуть его!

Она сделала грустное лицо, хотя на душе ее была радость:

— Почему же так скоро? Неужели мы вам надоели?

— Ах, нет, моя дорогая! — нежно поцеловал он ее холеную руку. — Ради вас готов на все, но увы — вы родственница! Уезжаю и в одном крепко полагаюсь на вас: доходы будут поступать ко мне исправно!

— Само собой разумеется. Мы с Павлушей свято оберегаем ваши интересы.

Они просидели вечер вдвоем. Отель «Наполеон» в это время осаждали владельцы картин и разных раритетов, скупленных Демидовым; они требовали денег, но секретари только пожимали плечами, ссылаясь на отсутствие хозяина.

Утром следующего дня Анатолий Николаевич покинул Санкт-Петербург. Аврора Карловна с сыном провожала его на корабль,

который отплывал в Англию. Состоялось нежное расставание, теплые обещания, и вскоре все отошло назад вместе с туманным берегом...

Князь Сан-Дonato в последний раз и навсегда покинул родную землю.

Анатолий Демидов снова разделял свои дни между Парижем и княжеством Сан-Дonato. Великолепное демидовское поместье под Флоренцией вновь оживилось. Сюда собирались русские художники, актеры и писатели, посещавшие Италию.

Но все прошумело вешней волной. Пролетели годы, прошла жизнь. Измученное, истощенное тело отказывалось жить. В самую цветущую пору, в апреле 1870 года, Анатолий умирал в своем роскошном особняке на Елисейских полях. В садах и на бульварах цвели каштаны, и на улицах Парижа кипела обычная жизнь. Вышколенный слуга принес письмо и подарки с далекого Урала. Дрожащими руками Демидов вскрыл конверт. Писал пан Кожуховский:

«Ясновельможный пан, у нас, хвала богу, все обстоит великолепно. Заложили новую шахту на медном руднике и просим милости вашей разрешения назвать ее вашим именем. Холопы наши поуспокоились; к тому было усердие господина исправника. Доходы обещают быть хорошими. Рабочие люди от усердия своего шлют, ваша светлость, вам подарунки. Взгляните на них! Смените гнев на милость, они сейчас пребывают в кротости и послушании!..»

Среди подарков была коллекция уральских самоцветов. Демидов с удовлетворением перебирал ее, веря обману пана Кожуховского.

Не хотел он знать, что под ударами новой человеческой силы уже содрогается почва под хозяевами сего мира. Хотя жестокостями и прекратили волнения рабочих, но не покорился народ.

На смертном одре Демидов, закрывая глаза, успокаивал себя: «Россия — особая страна. Там я был хозяином Каменных гор, им же я умираю для русских!»

Он искренне верил, что уральские богатства перейдут в демидовский род, который казался ему непоколебимым из века в век.

Смерть настигла князя Сан-Дonato в самый разгар весны. Умирая, он горячечно шептал:

— Хозяин я! Хозяин Каменных гор!

Но это было ложью, как была ложью вся его жизнь. Он никогда не знал своей родины и своего народа. Он думал, что тучи поднимаются с запада и оттуда придет гроза. Но буря не знает ни запада, ни севера, ни юга, ни востока. Она поднимается и бушует там, где произошло столкновение непримиримых встречных течений. И забыл Демидов, что солнце встает не на западе, а на востоке. Оттуда с зарей приходит лучезарный свет. Напрасно потомок уральских заводчиков утешал себя и самообольщался: никогда хозяином на русской земле он не был!

Хозяином Каменного Пояса был, есть и будет во веки веков трудящийся русский человек! Только он подлинный хозяин и творец на этой дивной земле!

notes

1

Мой бог! (*нем.*)

2

Лепешки со слоём масла или сметаны; ватрушки.

3

Общее название финских племен у славян.

4

Продавцов сбитня (горячего напитка из меда с пряностями).

5

В восемнадцатом веке при французском и австрийском дворах фанариотами называли греков, занимавших среди турецкой администрации высокие посты, независимо от своего происхождения.

6

Мирандоль — карточный термин (загибание угла карты)

7

Абцуг — карточный термин при игре в банк.

8

Имеется в виду командующий флотом.

9

Так иронически называли столичных штабных офицеров.

10

Больших каменных строениях, служивших гостиницами.

11

Так в старину назывались дрожки.

12

Бальный танец.

13

Перчатках без пальцев.

14

Легкая лодка.

15

Селения.

16

Главный повар.

17

Небольшими пиками.

18

Прямая доска со стойкой и отвесом.

19

Техник, инженер.

20

Дороговата.

21

Bopa.

Становище.

Плавильными печами для выделки железа (не чугуна) прямо из руды.

По суеверным представлениям горщиков старого времени — горный дух.

25

Рабочий, регулирующий движение клетки по стволу.

Телохранителями.

27

Золотая монета достоинством в 10 рублей.

28

Тулуп.

Лаптями из веревок; их надевали на сапоги.

30

О, прекраснейший зверь! (*итал.*)

31

Затычек.

Привратницу.

Сторублевые ассигнации с изображением Екатерины II.

Поджоги.

Платящие двойную подать.

Ах, господин Демидов! Вот еще одно неразбитое зеркало (*франц.*)

Лодырей.

Содержание

Евгений Федоров ХОЗЯИН КАМЕННЫХ ГОР

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

- 1
- 2
- 3
- 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

5
6
7
8
9

[33](#)

[34](#)

[35](#)

[36](#)

[37](#)